ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2016

16+

Алексей Ултургашев | Лики Бога | 70 × 90 | 2001

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2016

В номере

ДиН публицистика

3 Переписка Н. Н. Яновского с В. П. Астафьевым

ДиН краеведение

Галина Сизова
31 Мосты и город

ДиН диалог

Юрий Беликов, Василий Тихоновец
40 Дикий гусь, улетающий в прошлое

ДиН память

Владимир Яковлев
46 У иконы чудотворной

Гамлет Арутюнян
49 Некстати выпасть из игры…

ДиН лит

Дни и ночи Литературного института имени А. М. Горького

Екатерина Блынская
51 Смородина

Олеся Николаева
53 Четвёртая стража

ДиН ревю

Игорь Панин
52 101 разговор с Игорем Паниным

Фейзудин Нагиев
58 Три песни

Гамлет Арутюнян
147 Не студи душу, хиус

Сергей Кузнечихин
205 Уходящее время

ДиН мемуары

Владимир Никифоров
59 Улицы нашего детства

Александр Ломтев
65 В нашем старом дворе

ДиН стихи

Анна Гедымин
73 На двенадцатом этаже

Наталия Кравченко
75 На нитке над обрывом

Ольга Корзова
78 Осенины

Екатерина Монастырская
128 Тверское лето

Никита Брагин
132 Лимб

Олеся Рудягина
136 Иволги пенье

ДиН перевод

Джамбулат Магомедов
81 На небе нет такой звезды

Исраил Ибрагимов
82 Небесных гонцов колыбельные песни

Миясат Шурпаева
194 Путями памяти

ДиН роман

Сергей Кузичкин
85 Двадцать лет и одна ночь

библиотека современного рассказа

Александр Щербаков
138 Лавры Юрки Цезаря

Алексей Михайлов
142 Дед Илья

Александр Карасёв
148 Духовная жизнь

Рон Палин
153 Настя

Елена Брянцева
155 По собственному желанию

Игорь Корниенко
166 Старик и радио Бога

Екатерина Сергеева
169 Томатный час

Владимир Гольдштейн
172 Провожалкин

Семён Ермаков
177 Ане не спится

ДиН дебют

Василий Миронов
185 Белые кораблики ладоней

клуб читателей

Зульфия Алькаева
186 Метафизика Ларисы Васильевой

Елена Крюкова
190 Попытка воскрешения

Миясат Муслимова
195 «Элементарна линия крыла»

ДиН полемика

Сергей Арутюнов
206 Немыслимость поэзии

ДиН детям

Владимир Нестеренко
210 Детям войны—поклонимся

Марина Эшли
218 Принцесса-горшечница

ДиН дети

231 Синяя тетрадь

234 ДиН авторы

Переписка Н. Н. Яновского с В. П. Астафьевым

1965–1972 гг.

«Не перестаю удивляться Вашему мужеству, трудолюбию…»

Сюжет как будто бы не новый — переписка двух литераторов, писателя и критика. Тем более во времена литературоцентричные, докомпьютерные. У В. Астафьева, писателя, любившего общение, большой круг друзей, публичность, живое слово, таких сюжетов было много. Самые известные из них — с А. Макаровым и В. Курбатовым, людьми весьма известными, выдающимися для своего времени. Переписка с А. Макаровым длилась с 1962 по 1967 год, с В. Курбатовым началась в 1974-м и достигла своего апогея в восьмидесятые-девяностые. Можно сказать, что переписка с Н. Яновским автора «Пастуха и пастушки», так сказать, заполнила писателю «вакуум», ибо продолжалась с 1965 по 1988 год, и самые яркие её моменты пришлись на конец шестидесятых — семидесятые годы.

Слово «сюжет» здесь не случайно: отношения двух творческих личностей, ярких индивидуальностей всегда чем-то похожи на роман со своим распределением ролей, участием в событиях личной и литературно-общественной значимости и связанными с этим эмоциями — моментами горечи и радости, побед и поражений, ошибок и заблуждений — и, наконец, осознанием родственности душ и мировоззрений при разности темпераментов и веса в литературе. Если можно так сказать, Н. Яновский «сменил» А. Макарова в трагически, смертью, прерванной «литературно-критической» переписке В. Астафьева.

Для прозаика, только что начавшего ощущать свою силу и Божий дар, своё призвание, прощавшегося со своей писательской юностью, дружба с А. Макаровым была больше, чем просто общение. Не случайно В. Астафьев затем посвятит ему одну из самых «астафьевских», то есть беспощадно-правдивых, на срыве в чистую публицистику, книг — «Зрячий посох». И в основе её — письма А. Макарова автору книги. Это ли не свидетельство «романности» переписки непраздной, не ограничивающейся обменом любезностями и деловой информацией («приеду туда-то и тогда-то — встречай», «получил книгу — спасибо» и так далее), а жизнетворческой, когда письмо порождает смысл, осмысляет, стимулирует существование, не фиксирует жизнь, а живёт вместе с написавшим письмо и тем, кто его потом прочтёт?

Знакомство В. Астафьева с А. Макаровым началось с банальной присылки книги рассказов (Свердловское издательство, 1962) писателя критику, а переросло в редкий пример содружества, взаимопонимания, совместного восхождения по трудной дороге постижения литературы и жизни. Учились оба: А. Макаров — непривычно откровенному, но свежему и сильному показу жизни в прозе нового поколения писателей, В. Астафьев — необыкновенной эрудиции, уму и нравственной силе, которые должен иметь каждый настоящий писатель. И удивляться тому, что один — сибиряк из глухой деревни, далёкой от литературы, а другой — насквозь советский критик-коммунист. А. Макаров писал: «Вы ведь поразительно „свойский“, круто посоленный». Читал он его, «вдыхая запахи пряные и смолистые, любуясь людскими узловатыми характерами, экзотической силой жизни, так и бьющей русскими обжигающими родниками». В. Астафьев, уже спустя годы: «Он был не просто критик… но ещё и крупный мыслитель», в нём были «крепкие духовные устои, сильный мускул нравственности, чистое, хотя и страдающее сердце». В конце книги В. Астафьев приводит выдержки из книг критика, не выносившего «серого языка» в любой прозе и искусства, вычитанного «из других книг». А. Макаров посвятил писателю отдельную книгу, изданную на второй уральской родине В. Астафьева — в Перми («Во глубине России», 1969), написав о цикле его автобиографических повестей, начиная с «Перевала». «Кражу», с которой, по сути, начинается зрелый В. Астафьев, он так и назовёт — произведением, где «Астафьев проявил себя как большой писатель», вопреки мнению других критиков, например, Ю. Суровцева. И именно с «Кражи» началась переписка В. Астафьева с Н. Яновским. Именно это произведение о «нравственном росте» автобиографического Толи Мазова и его краесветского «Корчака» Репнина, руководствовавшегося в своей педагогике «не правилами, а сердцем», и стало тем локомотивом, который отправил «поезд» их переписки по долгому двадцатилетнему пути. Из «Нового мира» повесть переправляется в «Сибирские огни», где, при «опеке и помощи

заместителя главного редактора Николая Николаевича Яновского повесть и увидела свет в восьмом и девятом номерах за 1966 год», как суховато напишет В. Астафьев позже, в комментариях ко второму тому своего пятнадцатитомника. Это был настоящий прорыв, большая победа в условиях «заморозков», наступивших после хрущёвской «оттепели». Но тогда ещё, на её излёте, можно было воевать с ретроградами, отстаивать вещи в солженицынском духе сурово-обличительного, антикультового реализма, неудобной правды. Как раз в духе такой вот беспощадности В. Астафьев без обиняков пишет своему новому корреспонденту Н. Яновскому о «корректорских накладках» и необходимости «пропесочить» нерадивых. Хотя и знает цену этой публикации, которая ещё навлечёт на него упрёки в «сгущении красок», что «маяков» не заметил, «советских икон не описал». Столь же откровенно пишет Н. Яновскому он и о его новых книгах «С веком наравне» (1965) и «Илья Лавров» (1969): первая «вызвала досаду и желание поспорить», вторая — впечатление, что «ты изворачивался, чтобы сказать доброе слово об этом всё более хиреющем и обсюсюкавшемся писателе».

Вряд ли это было желанием обидеть, ниспровергнуть известного не только в Сибири критика. Н. Яновский был таким же солдатом недавней войны и литбойцом, воевавшим с поверхностной и официозной критикой, как в книге «С веком наравне», досадность которой он оценил в письме другому адресату: «Прочёл я её до середины, и до того мне стало тошно, и не из-за книги (книгу плохую всяк может написать), а из-за Николая Николаевича, из-за того, что он с серьёзным видом ратует за бесспорное, утверждает утверждённое, убеждает в величии социализма» (А. Макарову, ноябрь 1965). Но он верит, что и А. Макаров, правоверный коммунист, в силу тех же «чудесных» человеческих качеств, которыми и Н. Яновский был одарён и которые он увидел при знакомстве с ним осенью 1965 года на литературном семинаре молодых писателей в Чите. И Н. Яновский оправдывает свои качества: он тоже может и покритиковать рассказ В. Астафьева, как в письме от июля 1966 года, но и искренне восхититься: «Прочитал я залпом Вашу книгу — и ахнул: до чего же хорошо!» Возможные обиды на безапелляционность В. Астафьева отступают перед чудом его таланта, редкого по тем временам: «Это нечто подлинное, подлинная поэзия… Появление таких книг для меня праздник».

Таким праздником было появление в те же годы ещё двух знаменитых сибиряков — В. Шукшина и В. Распутина. Тогда как Н. Яновскому, входившему в литературу в пятидесятые годы, приходилось иметь дело с куда менее поэтичными, от которых в восторге не «ахнешь», писателями соцреалистического призыва и их опусами — Г. Марковым, Г. Кунгуровым, К. Седых, С. Сартаковым, рецензировать быстро канувших в Лету Н. Ященко, И. Супруна и многих, многих других. Может быть, и потому критика скоро потянуло в более яркие двадцатые годы, к Вс. Иванову и Л. Сейфуллиной, В. Зазубрину и Е. Пермитину, К. Урманову и И. Гольдбергу. О первых двух он даже напишет книги в 1955 и 1959 годах, или монографии, как он любил говорить. А со второй половины шестидесятых, к началу переписки с В. Астафьевым, Н. Яновский откроет целый «клондайк» забытых имён сибирских писателей, обнаружив при этом, что «забыли» их в основном по причине идейных расхождений с властью. Проще говоря, это были писатели репрессированные, расстрелянные. Верховной власти и их слугам, в том числе и литературным, это не нравилось.

Так возник сюжет «Н. Яновский и руководство „Сибирских огней“», явно перекликавшийся с «Новым миром» А. Твардовского, упорно гнувшего «оттепельную» линию и традиции «Ивана Денисовича» А. Солженицына. В. Астафьев напрасно не дочитал книгу «С веком наравне» дальше середины, ибо там была глава с явной уже тогда крамолой — о «лагерной» повести А. Солженицына, подвиге Ивана Денисовича, чуждого, утверждает Н. Яновский, толстовской «каратаевщины», его «сопротивлении» тому, что пыталось «уничтожить его как личность, превратить в нерассуждающего робота». Через три года в статье «Из полемических заметок» («СО», 1968, № 4) Н. Яновский будет защищать другую героиню А. Солженицына — Матрёну, в пику «известному критику Г. Бровману». В упоминании в положительном контексте героев-«мужиков» современной литературы из произведений Ч. Айтматова и В. Белова обнаруживается тот нерв и стержень критического творчества Н. Яновского, который соединяет в одно целое историю и современность — жизнь простого человека-труженика, крестьянина на земле как носителя подлинных ценностей, основы и опоры страны. Не зря статья «Адриан Топоров и его книга „Крестьяне о писателях“» («СО», 1967, № 9) стояла на видном месте в ряду компромата на Н. Яновского в «деле» о его «ошибках» и в конечном счёте увольнении с должности заместителя редактора «Сибирских огней» и из редколлегии журнала в 1972 году. Последней же каплей стала «зазубринская» статья («СО», 1972, № 7), где он подробно анализировал остававшиеся под запретом «Щепку» и «Общежитие» с их пафосом личности человека против превращения его «в бездушную машину» и сифилитического быта, в котором погрязли чиновные коммунисты. Отсюда был только шаг до опасного «вольнодумства» и диссидентства.

В. Астафьев, увы, не читал или не дочитывал некоторых статей и книг Н. Яновского. Видимо, потому, что ценил в нём прежде всего человеческие

качества, отражавшиеся на пафосе и слоге его критики, и этого писателю было достаточно. В переписке со своими многочисленными корреспондентами он и отзывался о Н. Яновском в первую очередь как о человеке: «чудесный человек», «милейший дядька, умница и разумница», «суждения его о литературе откровенны и прямы», «Н. Н. Яновский — человек хороший и очень», «умнейший критик и литературовед Сибири». И ещё раз: «милейший, встреча с ним для меня и для души — большая разрядка и удовольствие» (из кн. «Нет мне ответа…». Эпистолярный дневник 1952–2001 гг. Иркутск, Издатель Сапронов, 2009). Последние слова адресованы В. Курбатову, критику, сравниваемому по влиянию на В. Астафьева с А. Макаровым. Но вот факт. В 1975 году В. Курбатов было нелицеприятно отозвался о редактуре Н. Яновского его книги-брошюры о В. Астафьеве (Новосибирск, 1977): «Этот Яновский мне так надавал, что года полтора-два назад… я, может быть, и подняться не сумел… И хорошо, что без всякой деликатности, а даже с некоторой долей ненависти к инакомыслящему». Тут-то В. Астафьев и не замедлил защитить друга: «Н. Н. Яновский — человек хороший и очень…» Сам Н. Яновский после выхода книги В. Курбатова в начале 1978 года писал: «Валентин Яковлевич пусть на меня не сердится. Книга после доработки всё-таки стала лучше. А бесспорный талант его я отметил с первых же слов своей рецензии. Просто мы люди разных поколений и пишем по-разному. И хорошо, что по-разному. Мне ведь теперь не достичь такой лёгкости и красоты стиля, как у него…» В начале восьмидесятых их пути вновь сойдутся, теперь уже «монографически»: оба напишут книги о В. Астафьеве, с разницей в один год. Но это тема уже следующей публикации. Оставаясь в семидесятых, заметим, что именно тогда, после начала переписки с В. Курбатовым, В. Астафьев в письмах Н. Яновскому начинает ставить заглавное «Б» в слове «Бог», до того писавшемся с маленькой буквы.

Значение Н. Яновского для литературы прежде всего сибирской — заметим, что В. Астафьев постоянно подчёркивает именно это, региональное, значение критика — писатель сформулирует уже после смерти Н. Яновского (в сентябре 1990 года), назвав его «подвижником», склонным не к угождению партдеятелям и начальникам, а к «вольности суждений, излишней самостоятельности», чей «творческий подвиг» не оценён по достоинству. И написал это Виктор Петрович в статье об авторе «Щепки» В. Зазубрине. Таким контрапунктом для В. Астафьева и Н. Яновского в начале семидесятых годов, в их горячих симпатиях к русскому мужику и ненависти к бюрократам и перестраховщикам, в чаянии литературы высоконравственной, реалистично-бескомпромиссной, и стал В. Зазубрин. Точнее, том второй «Литературного наследства Сибири», о котором писал В. Астафьев, вспоминая подвижника Н. Яновского.

Этот 1972 год стал подлинным испытанием и для Н. Яновского, уволенного из «Сибирских огней» как сотрудник и автор, и для В. Астафьева, без колебаний вставшего на его сторону. Хотя всё было не так просто: В. Астафьев ещё питал надежды на публикацию своей повести «Пастух и пастушка» в «Сибирских огнях», писал А. Смердову, верил в его «подвижничество», проявленное при публикации «Кражи» в 1966-м. Но времена уже переменились, на дворе стоял ранний «застой», и наступило разочарование: «Замечания членов редколлегии „Сибирских огней“ в большинстве своём так же примитивны, провинциальны и тупы, как сами члены эти», — пишет он Н. Яновскому ещё в 1970 году. Случайно ли поэтому сам Н. Яновский спустя два года тяжбы называет тех же «членов» «сворой», «людьми нечистоплотными» и ещё похлеще: «шваль», «сволочь», «подонки», «рожи»? Вряд ли это только влияние В. Астафьева, не знавшего никаких авторитетов и деликатности в своей борьбе за честную литературу, подлинно художественную, очищенную от «серого языка». На несправедливость и явную конъюнктуру, особенно после истории с «Новым миром», тех, кто стоял тогда у руля «Сибирских огней», он отвечал только гневом изгнанного критика, которую не перевесила снисходительность к человеческой слабости и малодушию. А может, всё-таки и уважение к убеждениям, таким же, вероятно, честным, как у А. Макарова? Кстати, увольнение Н. Яновского не помешало ему печататься в тех же «Сибирских огнях» — а ещё в «Нашем современнике», «Дружбе народов», «Литературной России» и так далее, — издавать книги (в 1972, 1974, 1978 и 1979 годах выходили сборники его статей), развивать проект «Литературное наследство Сибири» (с 1969 по 1980 год вышло пять томов).

Ещё к вольнодумцам В. Астафьеву и Н. Яновскому примыкал В. Сапожников, столь часто упоминаемый в этой переписке. Их друг и единомышленник, он выступал, однако, их антиподом, когда ревновал к славе В. Астафьева, в сложном переплетении с тем же свободомыслием, которое неизменно укорачивает свирепейшая советская литцензура. Письма и В. Астафьева, и Н. Яновского переполнены проклятиями в адрес этого жуткого порождения советской идеологической машины (и их клевретов, среди которых и известный критик В. Чалмаев), вычёркивающей не только лучшие страницы их произведений, но и буквально отнимающей здоровье этих далеко не молодых людей. Один, Н. Яновский, — 1914 года рождения, другой, В. Астафьев, на десять лет моложе, но оба изранены войной физически и душевно, и оба то и дело попадают в больницу, хворая столько же от болезней, сколько от кромсаний их

задушевных произведений, маринуемых в редакциях и издательствах годами.

Тем теплее те страницы их писем, где друг старается поднять настроение, оживить душу друга лирикой описаний природы и быта, чуждого городскому уюту и ландшафтам. Оба охотно едут за город: В. Астафьев — в деревни Быковку или Сиблу, Н. Яновский — на родной Алтай или в Академогордок к В. Сапожникову; один любит рыбалку, другой — лыжи. Один не может без «фольклорного» слова, часто весьма «солёного», хлёсткого, нестандартно построенный синтаксис с лирикой и бранью в одной фразе (отсюда немалые трудности при расшифровке его писем-«каракулей», частые «нрзб» в тексте); другой достаточно предсказуем, ровен и строг, если речь не идёт о «Сибирских огнях» после 1970 года. Образцовым для В. Астафьева можно назвать «успокоительное» письмо от 3 марта 1972 года с его лирическими «картинками» из родной сибирской деревни, переходящими в гнев на литературных подонков, укол в адрес «ографоманившегося Л. Мартынова» и солидарность с Н. Яновским, преданном «равнодушными людьми». Для Н. Яновского это письма середины семидесятых годов, где он, постепенно отходя от потрясений начала семидесятых, взахлёб рассказывает о своей работе над наследием старых патриотов-сибиряков Н. Ядринцева и Г. Потанина. Как, например, в письме от 11 августа 1976 года о том, что при написании статьи «Проза Н. М. Ядринцева» (т. 4 лнс) он «целиком обитал в литературе 19 века», о своём «долге патриота-сибиряка» в стремлении открыть Н. Ядринцева для современников и где о только что изданной «Царь-рыбе» он пишет, явно оглядываясь на опыт эпистолярного общения с её автором: «Прочитал я Ваше истерзанное повествование с превеликой радостью… Вы с Вашим характером, насколько он мне открылся, видны в каждой фразе, в каждом слове. Это книга о Вашей любви и Вашем гневе. Пафос её я целиком разделяю и рад, что именно Вы написали такую жгущую сердце книгу». Есть в этой переписке и письмо-сенсация, где В. Астафьев, насколько нам известно — только в письме Н. Яновскому, сообщает о своей новой «военной» книге: «В Крыму… обдумывал я будущую книгу о войне. Получается трилогия: первая часть — запасной полк — „Чёртова яма“, вторая — фронт, плацдарм — „Бездна“, третья — доблестная послевоенная жизнь — „Весёлый солдат“, — весь роман остается с прежним названием: „Прокляты и убиты“». А впереди ещё были «Зрячий посох», «Печальный детектив», новые главы «Последнего поклона», рассказы, статьи, выступления…

Трудно представить, если бы не было в творческой биографии Н. Яновского этого яростного в любви и гневе человека, писателя с большой буквы. Их дружба не случайна, она даёт понять в Н. Яновском то, что заслонялось образом только «подвижника», собирателя и первооткрывателя сибирской литературы, человека-энциклопедии, огромным напряжением сил пытавшегося соединить историю и современность (название одной из лучших книг критика) в один литературный «текст», очищенный от лжи и лицемерия лакировщиков. Несомненно, что Н. Яновский прежде всего был историком литературы — это видно даже в его рецензиях на книги современных писателей, всегда поверяемых жизнью, — но то, что он был ещё и человеком, жаждавшим яркого, гениального, подлинно свободного творчества, не говорится и не пишется. А ведь, наряду с В. Астафьевым, ему дороги были В. Распутин и В. Шукшин, В. Шишков и его «крамольная» «Ватага», С. Залыгин и его неоднозначная «Солёная падь», он чтил А. Солженицына, читал его запрещённый «Август Четырнадцатого», эмигранта Г. Гребенщикова, его огромный архив, далеко не исследованный, таит ещё немало открытий для исследователя. В канон его итоговой книги «Писатели Сибири» (М., 1988) В. Астафьев входит, завершая, увенчивая собой всю книгу. Хотя цитируемые Н. Яновским его слова из «Царь-рыбы» на завершение совсем не похожи: «Так чего же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа». Переписка с Н. Яновским — это тоже вопросы, и тоже главные, большие, вечные. Творчество Н. Яновского, освещённое этим астафьевским мучительным поиском, позволяет взглянуть на его наследие по-новому. В следующей части переписки читателя ждут новые повороты «сюжета» в отношениях выдающегося писателя и знаменитого критика — В. Астафьева и Н. Яновского.

Владимир Яранцев

Материалы для публикации предоставлены: письма Н. Н. Яновского — Красноярским краевым краеведческим музеем (кккм); письма В. П. Астафьева — Государственным архивом Новосибирской области.

Выражаю благодарность директору кккм Ярошевской В. М., заведующей архивом музея Ореховой Н. А., замдиректора Зыковой Т. В., а также писателю А. И. Астраханцеву.

На бланке «Сибирские огни».
2.XI.1965

Дорогой Виктор Петрович!
Мне было очень приятно познакомиться с Вами поближе, чем это было раньше через книги. Чтобы Вы не сразу забыли меня, потому что человек я в общежитии скучный, посылаю Вам только что вышедшую книгу[1] — а вдруг прочитаете.

Поздравляю Вас с праздником. Хорошо бы встретиться на земле новосибирской!

Рассказы и повести Ваши, конечно, жду — не забывайте.

Привет сердечный.

Ваш Н. Яновский.

Штамп на открытке:
9.II.1965, Пермь

Дорогой Николай Николаевич! Я живу сейчас в деревушке, отринутой от мирской суеты и праздников. Пароходы уже не ходят, лёд ещё не встал, но мои ребята чудом добрались, привезли почту, в том числе книжицу с письмом от Вас. Это было приятным для меня подарком к празднику, который я провёл хорошо — трезво, без людей. Оказывается, я читал две Ваши статьи, но всё равно прочту книжку от доски до доски, и думаю, это будет приятной беседой с Вами, человеком, болеющим за настоящую литературу. Моя книжка ещё не вышла: не было бумаги! Как выйдет, пришлю. После ещё одной утомительной поездки начинаю помаленьку работать.

Привет Илье[2]. Читал его статью в «Литературке», поспорить бы надо с ним, да далеко он.

Ваш Виктор.

(На открытке: Новосибирск, журнал «Сибирские огни», Н. Н. Яновскому. Обратный адрес: Пермь, 68, ул. Ленина, 172, кв. 26, В. Астафьеву)

Штамп на открытке:
22.XII.1965, Пермь

Милейший Николай Николаевич! Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю здоровья, светлых праздничных дней и доброго рабочего вдохновения! Книгу Вашу прочёл. Многое в ней мне понравилось, но есть и такое, что вызвало досаду и желание поспорить с вами и длинно, хорошо поговорить.

Ваш Виктор.

(Адрес: Новосибирск, 99, ГСП-164, ул. Потанина, 38 «Сибирские огни», Н. Н. Яновскому. Обратный адрес: Пермь, Астафьев В.)

10.III.66 г. — помета
Н. Н. Яновского?
Возможно, дата ответа

Любезный Николай Николаевич!

Сегодня исполнился ровно год, как я передал «Новому миру» рукопись своей повести «Кража», и пошёл шестой год с тех пор, как я начал над нею работу.

Думается мне, что я имею моральное право передать рукопись другому журналу, ибо в «Новом мире» дальше объявления дело не идёт.

И страшно устал ждать!

И если сибиряки готовы проявить большую решительность (на то они и сибиряки!) и проявить какую-то долю участия в судьбе автора и в судьбе его рукописи — что, на мой взгляд, одно и то же, — я готов передать «Кражу» «Сибирским огням», надеясь при этом, что прочтут её быстро и ответ мне дадут определённый — «да» или «нет». И резину тянуть не будут.

Как я уже Вам говорил, в рукописи никакой крамолы нет, но действие её происходит в Игарке (переименованной в Краесветск), и, естественно, особой «светлости» там нету, она горьковата и печальна, как и та жизнь, которую я узнал в Игарском детдоме. Но улучшать жизнь художник может лишь посредством книги, а не в книге…

Впрочем, может, я и заблуждаюсь. Я уже многого понять не способен в нашей жизни!

Едете ли Вы в Кемерово, на семинар?[3] Я еду.

Если Вы и Ваши коллеги положительно отнесётесь к предложению моему насчёт повести «Кража», дайте телеграмму, и я немедленно вышлю рукопись.

Желаю Вам всего самого наилучшего.

Ваш В. Астафьев
5 марта — 66 г.

На бланке «Сибирские огни».
4.V.1966

Дорогой Виктор Петрович!

Мы должны сдать в набор Вашу повесть «Кража» для №8. Это значит, что рукопись должна быть готова к 20.V, иначе она уже в №8 не попадает. А. И. Смердов[4] просто не учёл этих сроков, когда разговаривал с Вами. Поэтому я вынужден *весьма и весьма настойчиво* просить Вас выслать в Новосибирск сразу же по получении этого письма. Думая, что это в наших и Ваших интересах. Надо

---

1. *Яновский Н. Н.* С веком наравне. Основные тенденции развития современной русской прозы. Новосибирск, Западно-Сибирское издательство, 1965.
2. *Лавров И. М.* (1917–1982) — прозаик, автор «СО» с 1956 года.
3. Семинар молодых писателей проходил в Кемерово весной 1966 года с участием в жюри Л. Соболева, Я. Смелякова, С. Антонова, В. Астафьева и др.
4. *Смердов А. И.* (1910–1986) — поэт, прозаик, критик, очеркист, руководитель Новосибирской писательской организации (1945–1956), главный редактор «СО» в 1964–1975 годах.

сдать повесть в № 8, потому что позже такого «окна» уже не будет и придётся снова ждать, в лучшем случае, конца года, потому что потом идёт большой — в 600 стр(аниц) — роман.

Посылаю вполне оформленный договор.

Приезжайте — очень прошу. Деньги получите здесь. Привет сердечный.

Ваш Н. Яновский.

1.VII.1966

Дорогой Виктор Петрович!

Посылаю рассказ[5]. Я его прочитал. По замыслу он очень хорош. О любви ко всему живому и доброму, об истинной любви к природе, любви разумной, терпеливой, понятливой (если есть такая). И выражаю своё недоумение перед тупой разрушительной силой царя природы — человека, и грусть оттого, что нет у нас понимания ценности земных творений. Так я понимаю Ваш замысел.

Но законченности рассказа я не ощутил — Вы и давали его как незавершённый ещё.

Мне показалось, что у Вас два стиля в этом рассказе — сатирический, резко обличительный и лирический. И беда не в том, что их тут два, а в том, что они не слились во что-то единое.

Когда Вы обличаете Ив. Ив., когда Вы рисуете его как фигуру мрачнейшую, Вы тут такое нагнетаете, что переход к главному звучит диссонансом. Очевидно, не надо делать его столь прямолинейно.

Деревенский народ слезливо прощает прегрешения Ив. Ив. У Вас получилась уничижительная картинка, а в незлобивости народа, в прощении зла, которое ему нанесено, — сила народа, его величие. Он не столь мелок, чтобы унизить себя местью. Я говорю об этом упрощённо, грубо, но где-то здесь, в этом надо искать истину. «Боялись, потом избрали в совет», — это не то что неверно, а только лишь одна сторона дела, пусть верная, но одна.

Вообще, я убедился, что мы, рисуя прошлое, изучая его, не должны впадать в односторонность. Это никого не украшает, не обогащает — ни нас, ни наших противников.

Ну — расписался.

Привет сердечный.

Н. Яновский.

19.VIII.1966

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляю Вас: № 8 журнала с вашей «Кражей» вышел. Радуюсь вместе с Вами.

Всё было б хорошо, если бы не цензурные требования убрать слова «спецпереселенец», «комендант», «комендатура». (Ссылки на специальные цензурные запрещения 50-х годов.) Понимая всю нелепость этого требования цензора, я вынужден был, не сходя с места, вычёркивать эти слова и заменять ненужными, нелепыми, наспех придуманными. Ругай меня на все корки, но пойми: я не мог затевать длительную полемику, привлекать внимание других цензоров и, наконец, обком.

«Кража» — это теперь литературный факт, и уже никто не помешает занять ему своё место в сознании современного читателя.

Я только что вернулся из отпуска. Прочитал Вашу автобиографию, для меня очень интересную. Дело в том, что мне хочется взглянуть на всё, что Вы сделали, целиком, особенно после появления «Кражи». И знакомство с Вами и Вашей биографией, и Ваши книги говорят мне о примечательной цельности Вашей как человека и художника. Словом, если Вам пока не нужны записки «О себе» (это 1960 г.?), то я их позадержу. За сохранность их можете не беспокоиться. Но если нужно, я их вышлю немедленно.

В книге «Мы из Игарки» (1957) упоминается 14-летний Витя Астафьев. Это не о Вас там случайно идёт речь?

Моя статья о Ч. Айтматове идёт в № 8 «Урала». Посмотрите её, понравится ли она Вам?

Привет сердечный.

Ваш Н. Яновский.

Дрогой Николай Николаевич!

После возвращения из Сибири я безвылазно живу в деревне, готовлю сборник рассказов для «Советского писателя» и, когда сходится время, рыбачу или брожу по лесу.

Впечатления мои о поездке на Родину такие, после которых нужно было время, чтобы прийти в себя.

Всё сделалось чужое.

> Мир детства моего
> На дне морском исчез,
> Где петухи скликались на рассвете,
> Где вдалеке синел далёкий лес,
> Теперь сквозят рыбачьи сети…

Словом:

> Спи, Атлантида, спи и не всплывай,
> Тому, что затонуло, нет возврата!

Грустно всё это. Родственники вымирают, Сибирь дорубают. В селе моём остался островок старых домов, а кругом посёлки, трубы, и на окраине дом сумасшедших да больница для алкоголиков!

5. «Синие сумерки». Впервые опубликован в журнале «Наш современник», 1967, № 6.

Дядя мой, единственный оставшийся в живых, работает санитаром в дому сумасшедших и говорит: «Ну, вы тут сидите, гуляйте, а мне надо идти на производство».

Он всю жизнь работал на сплаве да колол бадоги и рад месту санитара до невозможности. Зарплата больше, чем на сплаве, и в сухе да в тепле. «А сумасшедшие,—говорит,—они хорошие, мне их жалко. Я с ними хорошо обращаюсь, и они ко мне по-доброму относятся. Один раз, правда, засветил мне фонарь больной один. Ну, я ему, б…, как резнул, так и укола не понадобилось успокаивающего. А так производство хорошее. Сижу, табак курю, и никакой работы. Сухо опять же…»

Был я в Ярцево. Ходил на хариусов в самую что ни на есть тайгу. Ребята мои спали, а я глазел ночи напролёт, и плакать хотелось от изумления, что есть ещё это: нетронутая кедровая тайга, речка в завалах, светлая и полная рыбы, тишина древняя, и небо над головой спокойное, всё в звёздах, и голос ночной птицы, как бы говорящий: «Всё хорошо, всё хорошо. Зачем же вы так живёте? Нервы друг дружке треплете. Шли бы все сюда. Слушали бы меня и речку. Земли-то вон сколько! На всех хватит…»

В общем, всего и не напишешь.

Спасибо за поздравление. Я, конечно, несказанно рад, что «Кража» совершилась! Я уж и не верил, и теперь гора с плеч. Пойду дальше. Попишу ещё. Много чего ещё написать надо. А что правка была, я знаю. Причём сначала, когда я узнал, что слово «комендант» Вы заменили на слово «хозяин», то чуть было рубаху на себе не порвал и пуп не исцарапал, а потом додул, что это ещё лучше! Ведь каждому разумному человеку будет ясно, кто Ступинский, и коли его зовут «хозяином», то сколько в этом иронии и жёсткого сарказма. Так тупость цензорских параграфов помогает «исправлять»! Ха-ха! Как сказал бы товарищ Сатин: «Ложь—это пища рабов!» А пища эта, как показывают факты, имеет разный калорий, чем нас отравить норовят, тем сами подавятся!

Правил «Синие сумерки». Долго ничего не получалось. Но была у меня прекрасная мощная собака, западносибирская лайка. Травилась она и умерла на моих глазах. Умирая мучительно и мужественно. Я давно так не плакал, как при её смерти. А потом сел и… доделал рассказ.

Какое жестокое ремесло!

Вот уже больше месяца как нет моей собаки, а я всё вижу её во сне, и на каждый лай отзывается моё сердце. Всё ещё не верю себе.

А могилка её в огороде. В углу. Приду. Посмотрю. Нет, всё точно. Осенью я посажу сюда дерево…

Сейчас ночь. За окном, в черёмухах, дождь шебаршит. Деревня вся спит. Мои все уехали в город. Хорошо и немножко грустно одному. Рамы дрожат от ветра, так и кажется, что кто-то постучит сейчас, завернёт на огонёк лампы и скажет: «Всё хорошо. Ты живёшь в деревне, среди леса, сыт, в тепле, сухо. «Кража» печатается. Чего ещё горевать-то? Вон люди как живут…»

И верно. Всё хорошо. Завтра поеду в город. Отправлю сборник в Москву и возьмусь за новую вещь. И опять будут муки, сомненья, терзанья. А потом закопают где-нибудь в углу огорода. И хорошо, если дерево посадят…

Что-то всё не то пишется. Закругляться буду.

Биография моя писалась для книги «Звездопад»[6], но на нашего брата всегда что-нибудь недостаёт. Недостало бумаги. Объём сборника сокращён. На биографию места не осталось. Экземпляр тот, конечно, потерян. И у меня этот единственный. Он мне пока не нужен. Можете держать у себя, если нужно, а если перепечатать удастся, отдайте.

«Урал» ещё не видел. Но как увижу, непременно прочту Вашу рецензию. Читали ль Вы Катаева? Мне его вещь непонятна, не доходит, но сам по себе факт поучительный: от «Сына трудового народа» и к «Святому колодцу»[7]—это кое о чём говорит!

Даже «классики» наши умнеют и пыль с мокасин хотят счистить! Пыль-то, может, и счистят, а дерьмо едва ли. Тем более что многие из них в дерьме по уши. Но времена-то, времена наступили в литературе—прямо руками разведёшь! Твардовского-то[8] так и не могут на «курс» своротить! Упрям старик! И умён зело. Знает, что уступи, так и до философии «как торговать арбузами» быстро докатишься.

Ну, низко кланяюсь Фаине Васильевне. С удовольствием вспоминаю наши совместные «посиделки» и глубоко сожалею, что далеко Вы и приходится вот с помощью эпистолярии беседовать.

Привет мой Борису Константиновичу[9], Александру Ивановичу, Илье, а Володьке я только что написал.

Жму Вашу трудовую (?) и благодарю за хлопоты и заботы, которые, будем надеяться, не останутся втуне, и издатель заметит и… благословит на дальнейшие разные дела, и мы поднатужимся и чего-то ещё накарябаем и тиснем.

Здоровья Вам и вдохновения в работе!

Ваш—Виктор.
29 августа (1966).

6. *Астафьев В.* Звездопад. М., Молодая гвардия, 1962.
7. *Катаев В. П.* (1897–1986). Роман «За власть Советов» (1948–1951), повесть «Святой колодец» (1967).
8. *Твардовский А. Т.* (1910–1971)—главный редактор журнала «Новый мир» в 1950–1954 и в 1958–1970 годах.
9. *Рясенцев Б. К.* (1909–1999)—литературный критик, театровед, автор «СО» с 1949 года, соавтор Н. Яновского книги «Литературные очерки» (Тюмень, 1955).

22.IX.1966

Дорогой Виктор Петрович!
Сразу не сумел Вам написать — помешала чёртова сутолока, а тут ещё все разъехались, и был я в редакции един в трёх лицах. А на Ваше письмо надо было отвечать сразу, потому что навело оно меня на грустные размышления, да ещё о том, как мало знаю я свой край, как мало езжу, редко вырываюсь на простор. А родные места? Ведь на них тоже надо взглянуть когда-то, они же не безличны и душу нашу формировали, хотели мы того или нет и, конечно, не осознавали. Поехал я в родной городок — это было лет 12 назад — бог мой! Что это было: и радости, и слёзы, и обиды. Представьте, за 30 лет он не изменился, постарел, захламел… Обидно же! На пашню поехал — стыд: ни одного лесочка, ни одного колка не осталось.

А хорошо бы всё-таки проехаться по Сибири, и не как-нибудь, не самолётом, а на лошадках, как бывало, а где бы и пешочком. Мне кажется, я всю жизнь об этом мечтаю, и всю жизнь меня что-то не пускает.

Вы работаете над сборником. Пишите. Когда и где будет выходить «Кража»? №9 уже появился. На днях Вам вышлют несколько экземпляров.

Плохо мне нынче работается. Безрадостно как-то. Видимо, надо засесть за работу историческую, копаться в архивах, подбирать цитаты, выискивать забытое, ценное. Это тоже кому-то надо делать. Честно говоря, сижу на интереснейшем материале. Но тоже всё как-то отдвигается, заслоняется тем, без чего, кажется, и жить нельзя.

Отдыхал я дома, и не очень весело. Сыну стало хуже, и в весьма и весьма больном состоянии я положил его в больницу. Сейчас ему немного лучше, но пробудет он в ней, вероятно, все полгода. Создаётся не совсем рабочая атмосфера. И хотя он болеет 10 лет, привыкнуть к этому невозможно.

Будет у Вас что-либо новое — присылайте немедленно. Теперь Вы наш автор. Отныне и навеки, надеюсь.

Привет сердечный.

Ваш Н. Яновский.

P. S. Первые же отзывы о «Краже» пришлю.

(?) 66 г. отв.

Дорогой Николай Николаевич!
Спасибо Вам за письмо, за журналы и за все хлопоты, связанные с опубликованием моей повести. Теперь она уже есть, и я получаю первые отклики от знакомых, судя по которым, вещь состоялась и задевает за душу, даже людей мало поживших и сыто живших. Им, видите ли, неизвестно было о том, что на свете, а также под боком существовали дети и люди с такими судьбами и городами Краесветскими!

Плачут, читая повесть. Один тут, из Астрахани, прислал письмо — потрясло его и дочку вместе с ним. Но я знаю — будут и другие отклики с недоуменными, ханжескими вопросами о сгущении красок, о том, что «маяков» не заметили, сов. иконы не описал. Но я к этому готов. Надеюсь, и вы тоже?

Во второй половине меньше корректорских накладок. Но как много их в первой! Какая невнимательная у вас корректорша! Я точно помню, что мы с Александром Ивановичем, и он чёрными чернилами, жирно, ясно выносил на поля, а она и эти исправления умудрилась не заметить

Это оставляет досадный осадок. Ибо вот он, Паралитик, на костыле, а рядом уже на костылях, а уж «зыбилась» вместо «зыбалась» — это сплошь. Прямо бедствие для периферийных журналов такие блохи. Нету же их в «Новом мире»! А это ведь признак, один из первых признаков журнальной культуры!

Надо Вам пропесочить свои кадры за невнимательность.

Я живу всё ещё в деревне. Закончил повестушку на четыре листа из цикла «Страницы детства»; как и большинство вещей этого цикла, даёт «Молодая гвардия». Обещают в №12. Сейчас маленько отдыхаю. Бегаю с ружьём по лесу. Скоро деревню покину, хотя и не хочется. Зимою пришлю Вам новые рассказы — сибирские (?). А пока ещё раз спасибо Вам за всё. Поклонитесь Фаине Васильевне. Сочувствую Вам насчёт сына, и если б мог что-то сделать для Вас и для него — сделал бы, но есть такие вещи, где все мы бессильны. И в каждой семье свои несчастья и горести! Привет Александру Ивановичу, Борису Константиновичу.

Жму Вашу руку. Виктор.

XII.1966

Дорогой Николай Николаевич!
Поздравляю Вас и Фаину Васильевну с Новым годом, желаю доброго здоровья, новых хороших встреч с автором журнала, новых друзей и чтоб сын Ваш поправился и у Вас убавилось горя, а прибавилось радости, которую Вы заслужили своей жизнью и работой!

Я недавно был в Красноярске, на семинаре побывал и в родном селе. Впечатлений от поездки много, но простыл там здорово, потому как поехал-то в ботинках. До сих пор ещё не оправился от поездки, и здоровьишко шаткое, но работаю — готовлю «Кражу» для отдельного издания. В «Молодой» прочли «Кражу» по «Сиб. огням» и написали, что их «почти» устраивает этот вариант. Решили они включить в книжку и новую мою повестуху, которая идёт во 2-м номере

«Молодой гвардии». А в «Роман-газете»[10] пляска идёт. Портфель у них набит слабыми вещами, надо бы их разбавить, но «Кража» им кажется мрачноватой, а впереди юбилей — вот и хочется, и колется, да юбилей не велит…

Передам повесть на рассмотрение редколлегии, но чувствую — невпролаз повесть будет. Ну да бог с ними. Жил без того издания долго и ещё поживу.

В повести снова возникла правка, и немалая, но это уж, видно, закономерно и такова нормальная моя жизнь.

Рассказ «Синие сумерки»[11], который Вы смотрели летом, идёт в № 1 «Нашего современника». Как разделаюсь с повестью, возьмусь за новые рассказы, а потом, глядишь, и за новую повесть, но это уже ближе к лету.

Получаю много писем по «Краже», и хороших писем. Последнее получил от Аскольда Якубовского[12], ему повесть понравилась.

А как живёте Вы? Что нового у Вас и в журнале?

Хотелось бы повидаться и побалакать, ну, авось и свидимся на съезде или, может, до съезда. Ещё раз желаю Вам всего наилучшего. Вкладываю в письмо открытку всем «Сиб. огням».

А Вам крепко жму руку — Ваш В. Астафьев.

Отв. 20.IV.67

Дорогой Николай Николаевич!
Исполняя свой долг перед «Сиб. огнями», шлю Вам новый рассказ. Это из «Страниц детства» — предпоследний. Последней будет в книжке стоять повесть «Где-то гремит война», напечатанная в «Молодой гвардии». Надо было рассказ послать давно, и я хотел это сделать, но обстоятельства превыше наших желаний. Прихватило тут меня крепенько (?). Болел. Оттого и на пленум не ездил, и так жалею, что не увиделся с Вами. Теперь уж до съезда. Вы, если выкроится минута, напишите мне коротенько, что баяли (?) о «Краже» на пленуме. Мне это нужно знать не для голого интереса, а для ругани с издательством «Молодая гвардия», которое маринует повесть, мило мне обещает всё сделать и… не шевелится. Всё ещё боятся. Ну что за публика трусливая пошла! Прямо зла не хватает. Из-за этой публики с 64-го года не могу издать ни одной книжки. Все хвалят, мило улыбаются, все полны благости, а как до дела доходит, ровно сурки (?), хвост промеж ног — и я не я, и книга не моя!

Зиму прожил в трудах. В основном добил «Страницы детства», которые писал ещё в 56-м году. Вижу, что получилась мрачная книжка, и дальше какая-то пустота. Очень много я вложил в эту книжку самого себя и сейчас вроде вычерпанного колодца — чуть-чуть на донце осталось влаги, да и то мутной. Делал и ещё кое-что. Зима получилась довольно плодотворной и только теперь на время выбила из колеи, но сейчас живу в деревне, вот уже месяц скоро, рыбачить бегаю, когда голова устанет, а в другое время — тружусь и читаю. А то и читать приходится мало. Всё какая-то муть.

Читал, как Вы выдали по зубам Буковскому, да с цифирью, да так убедительно! Так и надо бить людей, которые в нетрезвом виде пытаются лезть из подворотни. Шукшина рассказы читал тоже, у Вас и в «Новом мире». Они перестают мне нравиться. В промартелях это называется «гнать шир», т. е. ширпотреб. Рассказы эти напоминают фрагменты сценариев и помесь из сценариев. Схвачено метко, «увидено», но и только. Не прописано, не исследовано ничего — всё очень внешне.

Когда был в феврале в столице, состоялся у меня разговор в «Роман-газете» насчёт «Кражи». Все они пугаются «мрачности» и определённого ничего не сказали. Может, мол, на будущий год Вас, Белова и т. д., а нынче даём вещи хотя и слабые, но зато…

Словом, год юбилейный! И всё-то у нас находятся условия и потребности гнать в массы дешёвую литературу. Я тут писал статью для «Литературки» о рассказах и в связи с этим листал наши многомиллионные толстые журналы. Господи Боже мой, какую херню (?) там печатают! «…Как посмотришь, поглядишь век нынешний и век минувший…», так ровно бы и не поминал журнал «Пробуждение» (?), и преобразован он для мещан уже нынешних и щекочет их нервишки, услаждает их дамским сюсюканьем и «покерными» советами»…

А что у Вас нового? Что хорошего ещё в этом году? Или тоже юбилей на горло наступает?

Как Ваши домашние? Как здравствует Фаина Васильевна? Кланяйтесь ей. Передавайте привет Александру Ивановичу и Борису Константиновичу. Как он здоров? Как сердчишко тюкает евонное?

Вот пока и всё.

Жму Вашу руку и желаю всего наилучшего.

Ваш В. Астафьев.
4 апреля 67 г.

На штемпеле открытки:
26.XII.1967

Дорогой Николай Николаевич!
Вас и Вашу милую супругу Фаину Васильевну поздравляю с Новым годом. Желаю Вам доброго здоровья, творческих радостей и, возможного, семейного покоя. Всех целу(ю). Виктор.

(Новосибирск, 102, ул. Восход, дом 18, кв. 23. Пермь, Астафьев)

10. «Роман-газета» — издаётся с 1927 года.
11. См. примечание к письму от 1.VII.1966.
12. *Якубовский А. П.* (1927–1983) — прозаик, автор «СО» с 1965 года.

На штемпеле открытки:
дата неразборчиво

Дорогой Николай Николаевич!
Поздравляю Вас, Фаину Васильевну с праздником! Желаю Вам всего самого наилучшего, а главное — здоровья всем Вам и сыну особенно. Получаю первые отклики на «Кражу», преимущественно добрые, а сам уже работаю над другой вещью — рассказом.

Ваш — В. Астафьев.

(Новосибирск, 50, Красный проспект, 80, журнал «Сибирские огни», Яновскому Ник. Николаевичу. Пермь, В. Астафьев)

8.1.1968

Дорогой Виктор Петрович!
Очень радуюсь Вашим успехам. Желаю искренне, чтоб в ближайшие годы он не утихал. 1967 год — был Ваш год. Дай Бог, чтоб в этом смысле он для Вас повторился.

Ваш рассказ появится в №1 «Сиб. огней», как мы и писали. Надеемся, что следующая повесть будет тоже у нас, хотя и от рассказа мы не отказались бы.

Умер А. Макаров[13]. Для меня это было так неожиданно! Он, конечно, был из числа самых талантливых наших критиков. Он всегда интересен, всегда основателен. И если осторожничал, то умно, убеждённо, без постоянства, которое так распространено сейчас в нашей среде.

Выходит, что его последняя работа — о Викторе Астафьеве. Она в какой-то части многословна, но бесконечно содержательна. Сожалею, что так рано ушёл такой человек. Я не знал, что он столь тяжко был болен. Говорят, что в последние дни ему было значительно легче (в декабре я был в Москве).

А над чем Вы сейчас работаете?

Может быть, в самом деле что-нибудь пришлёте?

Этот год у нас, увы, складывается не во всём так, как бы хотелось. Прёт какая то серятина, и цензора ей нет.

Пишите, не забывайте.

Ф. В. шлёт Вам привет.

Привет сердечный. Н. Яновский.

Отв. 10.11.68

Дорогой Николай Николаевич!
Ваше письмо застало меня в больнице. После похорон А. Н. Макарова, очень тяжёлых и гнетущих, на которые я ездил, что-то начало загибать меня, и я месяц почти перемогался дома, а потом пришлось идти всё же в больницу. Сейчас обследуют, и куда ни сунутся, что-нибудь да и найдут. Словом, расхворался. Нужно будет ехать на курорт, а планы были совсем другие. Издают «Кражу» сразу в трёх странах — в Чехословакии, Болгарии и ГДР, и хотелось поехать хоть в одну из них и попользоваться благами цивилизации, но, видимо, не получится.

Писания мои этим остановились. В прошлом году действительно печаталось у меня очень много. Всё, что накопилось в редакциях, вдруг пошло. Рассказ в «Огоньке», например, пролежал три года. А сейчас… Сейчас нет у меня ничего. Написал начерно повесть, но дальше дело не пошло. Как-то всё затормозилось. И апатия какая-то. Видимо, устал. Книжка в «Молодой гвардии» всё ещё тянется, и только недавно меня поздравили с подписанием её в печать — юбилей-то минул![14] В «Советском писателе» должен выйти нынче сборник рассказов, если опять же цензура не запретит. Все под цензурой ходим! Всех она жмёт и давит. И когда этому конец будет?

Передавайте мой привет Вашей милой супруге Фаине Васильевне и всем товарищам по журналу.

Желаю Вам доброго здоровья.

С приветом В. Астафьев.
17 января — 67 г.

Отв… 1968

Дорогой Николай Николаевич!
Посылаю Вам свою многомученную книгу, а с праздником не успел Вас поздравить — находился в пути. Ездил я в первый раз за рубеж, в Югославию, и прожил две счастливейших недели в своей жизни. Так здорово, так хорошо в Югославии относятся к русским, что ежели б и дома было такое же, то нам и гордиться собою сделалось бы возможно.

А дома? Дома 5-го мая провожали в армию младшего сына. В марте ему исполнилось восемнадцать. Я писал о новобранцах рассказ, и тяжело его было писать, но провожать новобранцев ещё тяжелее. Как старый солдат, я всё же держался и держусь, а у жены тяжёлый сердечный приступ был.

Так вот и живём — от горя к работе, от работы к очередному горю. И не одни мы так.

Весну работал над повестью, но оказалась она выше и сложнее моих творческих возможностей,

13. Макаров А. Н. (1912–1967) — литературный критик, заместитель главного редактора «Литературной газеты» в 1948–1951 годах, главный редактор журнала «Молодая гвардия» (с 1956 года), член редколлегии журнала «Знамя».

14. Имеется в виду 50-летие Великой Октябрьской революции.

и потому я её отложил до осени. Торопиться мне сейчас нельзя, да и возможность есть не торопиться — к весне у меня выходит четыре книжки, в том числе большой (на 20 листов) сборник рассказов в «Советском писателе», и если цензура ко мне будет благосклонна, в чём я шибко сомневаюсь, то все книги выйдут и года два-три я смогу пожить спокойно, не напрягая себя и перо своё поспешной работой.

В «Роман-газете» уже напечатали № выпуска — 12-й, и я уже написал редактору, чтобы за вступлением он обращался к Вам, но тут начались всякие лит. тревоги, а я в это время был в Ленинграде, на совещании военных писателей, и позволил себе оборвать пьяного лит. вождя, который говорил о святых вещах в расхристанном виде, и было стыдно слушать его, было стыдно за русских и за спокойного (?) Горького, место которого этот вождь занимает; ну, это мне даром не прошло, из «Роман-газеты» я вылетел. И бог с ней. Я жил без неё и проживу, а пишу вам это с единственной целью, чтобы Вы не верили тому, что говорят об этом пишущие: мол, моська лает на слона, мол, Астафьев допустил бестактность… А он тактичен был! Он свят! Он недосягаем! Он под калинами охраняем. Я ничего героического в этом не вижу. Всякий порядочный человек должен был оборвать этого заигравшегося лит. Барина, и чем раньше, тем хуже было бы для него и для литературы.

Ну да бог с ним. Или чёрт!

Скоро я поеду в деревню, чего я жду с большим нетерпением — истосковался по лесу, по тишине и по работе. Буду продолжать работу над воспоминаниями о Макарове, писать заметки, читать, а за серьёзные дела возьмусь только осенью. Надо маленько передохнуть, издёргался, издержался весь.

А что у Вас нового? Как здоровье Фаины Васильевны? Кланяйтесь ей. Сыновьям кланяйтесь. Читали ль Вы Камянова статью о «Краже»? Мне она очень понравилась. Нашёлся всё же критик, который весь механизм, «машину» повести разглядел и растолковал то, что я и писал, и хотел сказать. Люди разводят руками: хреновина, мол, какая-то, отвыкли от аналитического мышления критики. Привыкли к пересказу и комментариям. К прозе, и это ведь не дело критики — пересказом заниматься. Ей полагалось когда-то мыслить по поводу прочитанного.

Что нового в «Сиб. огнях»? Как Вам живётся? Наверное, трудно. Я чувствую это по литературной погоде. Но держитесь. Вы нужны нашему брату. Без такого, как Вы, нас бы давно в угол загнали.

Крепко Вас обнимаю — Ваш Виктор.
8 мая — 68 г.

7.VI.1968

Дорогой Виктор Петрович!

Получил я Вашу книгу и порадовался: как бы долго её ни душили, а она всё же увидела свет! За память — спасибо.

Не отвечал Вам долго, потому что навалились на меня события трудные, и выхожу я из всего этого нелегко, лезу в работу, зарываюсь в неё, но и в этом не ощущаю так необходимого мне удовлетворения. Собирал том «Литературного наследства Сибири»[15], долго возился с ним и до сих пор ещё не сдал в типографию, хотя нужно было сдать, т(ак) к(ак) книга в плане этого года.

А тут ещё события, Вам хорошо известные. Я попал в самую «бучу», поскольку в апрельском номере «Сиб. огней» появились мои «Полемические заметки»[16], в которых я посмел возразить Г. Бровману[17], оплевавшему Солженицына. Бог ты мой, наши защитники взглядов Бровмана хай подняли, ругаться начали на «ответственных» собраниях и т. п. И вообще, эти «Заметки» не мёд, и косо на них смотрят, хотя прямого «криминала» найти не могут. Результат всей этой истории один и довольно банальный: написал я большую рецензию на повесть В. Тендрякова «Кончина»[18], а печатать её уже не хотят. Снова «как бы чего не вышло». Хрен с нею, пусть лежит до более благоприятных времён.

В журнале, увы, хороших произведений мало. В этом году один роман Борщаговского[19]. можно назвать бесспорным достижением, остальное пока — нечто жиденькое, и главное — просвета не вижу.

А Вам, видимо, надобно хорошо отдохнуть — с полгодика, в деревне, без водки и прочих городских прелестей. Однажды я себе устроил такой четырёхмесячный отдых — ах, как потом хорошо работалось! Только один раз за это время случайно бражки напился — вернее, отравился: до сих пор на неё смотреть не могу. Ягодами и грибами увлекался. А у Вас же — охота!

Да-с, нелегко у нас всё складывается.

Крепко жму руку.

Пишите.

Ваш Н. Яновский.

15. Литературное наследство Сибири. Т. 1. Горький и Сибирь. Забытое и найденное. Письма учёных-сибиреведов и писателей М. К. Азадовскому. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1969.
16. *Яновский Н.* Из полемических заметок. СО, 1968, № 4.
17. *Бровман Г. А.* (1907–1984) — литературный критик, литературовед.
18. *Тендряков В. Ф.* (1923–1984) — прозаик. Повесть «Кончина» (1968).
19. *Борщаговский А.* Млечный путь. Роман. СО, 1968, №№

Отв. 30.VIII.68

Дорогой Николай Николаевич!
Пишу Вам из деревни, где сижу давно, охотно и, ввиду плохой погоды, занимаюсь довольно тяжким и увлекательным делом — пишу сценарий по «Звездопаду», и уже закончил его в основном. Работа, начинавшаяся неохотно, со скрипом, принесла мне удовлетворение — сценарий получился значительным по содержанию. Вы знаете моё строгое отношение к собственным трудам, и коли поставил такое слово, то, верно, есть моё в этом убеждение, вполне возможно, что и ошибочное. Но уже по одному тому, что сценарий вышел таким, ему скоро или совсем не увидеть света. Однако аванс я отработал, пока бы тем уже удовлетворён.

А теперь о деле, по которому, собственно, и взялся я потревожить Вас письмом. Уже больше полутора лет прошло, как утверждена «Кража» для издания в «Роман-газете». Две силы противоборствовали в этом, как оказалось, принципиальном вопросе, а я не участвовал. Кажется, одна сила одолевает другую. «Кража» запланирована в № 24 и скоро начнётся, или, возможно, начнётся её подготовка. Редактор письмом попросил меня «подготовиться» к работе и назвать автора очерка обо мне к номеру «Роман-газеты». Я назвал Вас. Это по многим причинам, и прежде всего по той, что вы в «Краже» принимали такое активное участие, и что сибиряк вы, и что не будете потом кочевряжиться надо мной и считать меня обязанным по гроб жизни, как это принято сейчас у московских лит. хунвейбинов.

Словом, Николай Николаевич, от Вас потребуется всего 4–5 страниц на машинке, и хорошо, если б Вы их набросали заранее, так как сам я вскорости уезжаю в Киев (там состоится встреча ветеранов нашей дивизии, на которую я имею честь быть приглашённым), оттуда я заеду в Москву, и может потребоваться срочно очерк обо мне, и могут снова воспользоваться тем, что его нет, и выкинуть меня вон. (Так уже было. Я должен был идти в № 12, но меня три дня не было дома, т. е. я не ответил сразу им на телеграмму, и под видом «срочности» меня попятили.) Если дойдёт дело, тогда я дам Вам телеграмму, когда и куда выслать очерк. Ну... ну а если всё кончится пшиком, то уж не посетуйте не меня, что пропадёт Ваше время. Может, написанное Вами всё равно когда-нибудь сгодится.

Вот и первая моя к Вам просьба. Скоро выйдет мой большой и на этот раз отлично оформленный сборник рассказов в «Совписе», и я Вам его пришлю. А пока желаю всего наилучшего. Кланяйтесь Фаине Васильевне.

А я обнимаю Вас и очень хочу как-нибудь встретиться с Вами и поговорить. Всё мне кажется, что мы ещё ничего не успели сказать друг другу. Где там Сапожников? Что-то не отвечает он ни на письмо, ни на телеграмму мою, данную в ответ на его. Уж не обидел ли я его чем?

Ваш Виктор.

30.VIII.1968

Дорогой Виктор Петрович!
Я с удовольствием напишу небольшое предисловие к повести «Кража». И очень доволен, что она наконец пробила дорогу к миллионному читателю. Но, само собой (так!), я хотел бы получить от них прямой заказ, а напишу я в два-три дня.

Ничего нового у нас нет, если не считать трагических событий в Чехословакии, которые всех касаются, всех волнуют. Вот уж поистине живём как на вулкане.

Мы, и я в особенности, ждём (жду) Ваши новые произведения. Во всяком случае, мы объявляем в своих проспектах, что вы на 1969 г. обещаете журналу свои рассказы. Было бы очень хорошо, если бы Вы в самом деле их прислали.

У меня весёлого мало. Работаю как конь, а результатов немного. Неблагодарна эта редакционная работа.

Сапожникова долго не было в городе. Вот только что появился вчера, снова уехал.

Ф. В. шлёт Вам привет.

Привет сердечный.

Ваш Н. Яновский.

На открытке: 18.XII.68 (?)

Дорогой Николай Николаевич!
Тебя и Фаину Васильевну с Новым годом! Пусть он будет лучше и легче нонешнего, високосного. Я живу всё по-старому. Мозолю новую повесть, а конца работе не видать. Ну, авось! К весне, может, и вывезу этот воз. Собираюсь покинуть Пермь. Надоела она мне хуже горькой редьки — поеду на запад, если дадут квартиру, скорее всего — в Вологду. Там живут мои друзья.

Обнимаю. — Виктор.

(Новосибирск, 102, ул. Восход, дом 18, кв-ра 23, Яновскому Николаю Ник-чу. Пермь, Астафьев В.)

24.XII.1968

Дорогой Виктор Петрович!
Поздравляю Вас с Новым годом. Пожелаю Вам больших успехов с новой повестью. Ну и, конечно, не могу не пожелать, чтоб эта повесть была опубликована в «Сиб. огнях», хотя, быть может,

автору хотелось увидеть её где-нибудь в другом месте. Чего только не пожелаешь ради сибиреязвенного патриотизма!

Да, поздравляю с выходом новой книги в Перми. Б. К. Рясенцев показывал мне её — роскошное издание! Хорошо издают книги в Перми — ничего не скажешь. Только вот странно: этот самый Б. К. был самым ревностным противником публикации «Бабушкиного праздника»[20] (из-за этого рассказ так долго лежал в редакции), и вдруг именно ему такой великолепный подарок! Поистине: неисповедимы пути Твои, Господи!

А что, «Роман-газета» всё-таки отказалась от «Кражи»? Очень будет жаль. Впрочем, не то слово: обидно за читателя «Роман-газеты». «Актуального», но плохо написанного Чаковского они издают мгновенно. Читаю его «Блокаду»[21].

В этом году мне не было удачи. Всё совсем-совсем наоборот. Измучился и, в сущности, отдыхал. Хочу бросить всё и с месяц покататься на лыжах — голову проветрить.

Приезжайте в Сибирь, к нам в Новосибирск. Конечно, не мёд, но зато вместе воевать будем. Или, наоборот, плюнем на говорильню и займёмся более важным делом — писать, писать, и больше — ничего.

С В. Сапожниковым встречаемся довольно часто, катаемся на лыжах, обсуждаем деятельность любимых им эсеров, конечно, спорим.

Ф. В. шлёт свои поздравления и приветы.

Обнимаю.
Ваш Н. Яновский.

7.11.1969

Дорогой Виктор Петрович!
Прочитал я залпом Вашу книгу — и ахнул: до чего же хорошо! Это — зрелость! Это нечто подлинное, подлинная поэзия. Несказанно рад, что такая книга появилась на свет. И издали её великолепно. Поздравляю Вас с большой творческой удачей. Появление таких книг — для меня праздник.

Понимаю я Вас, Вы сейчас как перед стартом по новому, не известному ещё пути. Но я уже давно понял: что даётся легко — не очень то весомо. Ваш «замах» на проблемы большого диапазона могу только приветствовать. На больших делах если и голову свернёшь — не обидно, даже неудача приносит пользу. Если Вы по окончании пришлёте повесть нам — это было бы просто превосходно.

Итак, Вы решили переехать в Вологду. Жаль, что не на родину. Впрочем, мне нравится такая «свобода» в передвижении. Сам я домосед и тяжёл на подъём. Мне это трудно понять.

Работаю над разными темами. А самое главное — готовлю для 1970 г. свою книгу. Изд-во соглашается. А что потом будет — не знаю.

Володя Сапожников работает много, но «на-гора» выдаёт мало. Однако же густо стал писать человек. Ему бы заняться «укрупнением» своей личности, и всё бы стало (так!) на своё место. Это между нами.

Ф. В. шлёт свой Вам привет.

Привет сердечный.

Ваш Н. Яновский.

Без даты

Дорогой Николай Николаевич!
Получил я твоё горькое письмо. Раньше я был в Москве, когда оно пришло. Я взрослый человек и знаю, что есть такое, в чём утешение не то что не утешает, но даже и, наоборот, кощунственно бывает. Поэтому — посидим, помолчим…

Я ездил в Москву, разгонять тоску. Был сначала на редколлегии, а затем обмывали «Роман-газету». Приезжал мой близкий друг и чудесный человек, Женя Носов. Я от дурости, хлопот и ещё от чего-то напился так, что помирать начал, да не дали. И какое-то до сих пор такое у меня настроение, что и зря. Всё чаще и чаще я с сожалением думаю, что возвращение с войны живьём было не такое уж большое счастье, за каковое я его принимал долгое время. Наверное, умереть на поле брани с верой в людей, в оздоровление нашего общества, в святое будущее, наконец, которое мы тогда принимали только всерьёз, было бы куда большим счастьем. Но судьбу и понятие счастья не выбирают, они чем-то и кем-то определяются, и Богу угодно одному дать по затылку, другому в сусало, а третьего погладить и обласкать, невзирая, как говорится, на лица.

Мне совсем почти не пишется. Да и не хочется, откровенно говоря. Раньше был стимул — дети, просящие жрать. Сейчас они выросли, появились деньги. И, главное, утвердилась уверенность, что дело наше бесплодное.

Да и бог с ним. Надо поговорить (нрзб). Мы с женой в середине июня двинем в Сибирь. От Урала поедем на поезде, и вот чего я подумал: а не махнуть ли мне, тебе и жене в Барнаул на недельку? У меня там живёт семья погибшего на войне друга, и пишут, что у них произошло «очень большое событие» — получили квартиру. Это, кстати, тридцать лет спустя гибели, горя и нужды, и до этого все в барачишке ютились. То-то радости у людей! Они меня давно и настойчиво зовут заехать. Съездили бы в деревню к ним и на Горный Алтай. Подгадай так с недельку, чтобы отпустили тебя. Не каторжник же ты, хотя бы

20. *Астафьев В.* Бабушкин праздник. Рассказ. СО, 1968, № 1.

21. *Чаковский А. Б.* (1913–1994). Роман «Блокада» (1968–1975).

формально! А просто так заезжать в Но-ск мы не станем — откроется пьянь, начнёт дичать (?) Сапожников, испортит поездку. Хорошо бы вылезть в Н-ке и сразу в Барнаул, а?!

В Москве околачивается Колыхалов[22]. Я раньше его не знал. Он ещё дичее Сапожникова — этакий варвар. Говно да говно! «Пастушка»[23]. моя, видно, так и не появится на свет. Правда, в сборнике сдали в набор, но никакой надежды на прохождение нет. О ней уж в Главпуре и в идеологической канцелярии Цека знают. А там догадываться умеют. Ну, дорогой Николай Николаевич, держись, голубчик! Что делать-то? *Глуши себя работой.* До встречи. Сможешь ли поехать-то? Только без бабы. Ну их, этих баб, от них тоже иногда отдохнуть хочется.

Будь здоров — твой Виктор.

11.V.1969

Дорогой Виктор Петрович!
Мы получили Вашу поздравительную открытку. Спасибо. 9 мая мы с Володей С. вспоминали Вас и пригубили за Ваше процветание, тем более что книги Ваши выдвинуты на соискание премии. Искренне желаем Вам её получить. А почему бы и нет, если другие её не раз получали?!.. Некоторых из получивших мы довольно прочно забыли, но это обстоятельство не мешает им бряцать медалями.

Меня больше всего заинтересовало Ваше намерение приехать к нам — почитать новую повесть, посоветоваться и, вообще говоря, «пообщаться» на разнообразные темы. Приезжайте, дорогой, хотя бы на несколько дней. Это было б великолепно! Володя тоже «за», мы и об этом с ним говорили.

В последнее время он написал несколько рассказов, и в них он значительно вырос как художник, способный обобщать, сосредоточивать внимание на типах (так!) немалой социальной значимости. В некоторых случаях рассказы его шире первоначального замысла, о чём он сам не сразу догадывается и оттого подчас мельчит их.

После Макарова о Вас писать трудно — необходим интервал, чтобы отделить от себя Макарова хотя бы во времени. Но теперь мне больше, чем раньше, (?) написать о Вашей работе, хотя сделать это сейчас не имею возможности.

Пишу Вам из Москвы, куда приехал поработать в библиотеке и в архиве.

Хорошее это дело — посидеть в архивах, я ведь архивная крыса с некоторого времени. Приезжайте к нам, честное слово. Это (бы) было здорово!

Ф. В. шлёт Вам привет — она тоже путешествует со мной по Москве.

Привет сердечный. Ваш Н. Яновский.

Дорогие Николай Николаевич и Фаина Васильевна!
Вышла «Кража» в ГДР, а так как аккуратные немцы прислали мне пятнадцать экземпляров, одну дарую Фаине Васильевне, в благодарность за рецензию и во искупление грехов, которые мы понаделали в пьяном виде, будучи на природе и в огороде.

Поездка моя на родину сложилась так тяжело и плохо, что я прервал её и в Игарку не добрался, ибо от потрясений, жары и всего прочего я сам маяться начал желудком, а лекарств в Красноярске не оказалось — на лекарства и водку там необычный спрос.

Первые известия в Красноярске были о том, что моего брата, с подозрением на рак, вальнули в больницу, и я его застал за пять минут до операции; следом узнаю: повесился Рождественский[24], мой милый школьный учитель и давний друг. Потом, в деревне, похоронил ещё одного самоубийцу — товарища по детству, зарезался ножичком, всё брюхо испорол. И так вот пошло-поехало, всё окрасилось каким-то другим цветом, всё сделалось чёрное, недружелюбное, и вернулся я домой с отмершей душой — родина моя, наверное, наполовину созданная моим воображением, отдалилась от меня, и, кроме природы, почти уж ничего родного в ней не осталось.

Рад, ещё раз рад, что забрался я в такую Вологду, где осталась ещё часть русского характера, говоря(т?), природы и исконной старины.

Тут и доживать буду, никуда больше не тронусь — от добра добра не ищут.

Сейчас занимаюсь текущими делами. Что с повестью в «Москве»[25], ещё не знаю, но, судя по последним критическим документам, ничего доброго её не ожидает.

Да и бог с ними, с этими витиями современными, идёт умственное одичание везде и всюду, которое нашими жидкими рядами не остановить уже.

Ещё раз Вам кланяюсь и радуюсь, что есть Вы на свете.

Ваш — В. Астафьев.
3 августа 69 г.

14.XII(?).1969

Дорогой Виктор Петрович!
Ф. В. шлёт Вам привет и свою благодарность за книгу. Она у меня в последние дни что-то основательно

22. Очевидно, Колыхалов Владимир Анисимович (1934–2009), автор «СО» с 1968 года.
23. Повесть «Пастух и пастушка» (1973)
24. *Рождественский И. Д.* (1910–1969) — поэт, автор «СО» с 1941 года.
25. «Москва» — литературный журнал, издаётся с 1957 года.

прихварывает. Видимо, наступает для нас такое время: ничего не попишешь — шестой десяток пошёл довольно уверенно, а главное, быстрее, чем четвёртый или пятый.

Да, я слышал, что произошло с Игна(тием) Рождественским. А от В. слышал и о Вашем настроении тоже. Теперь же вот Ваше письмо читаю, и грустно мне стало. Нет, какое там грустно — тоскливо! А тут ещё всякие подоночные заявления, набеги, скандальные слухи. Невольно повторишь: «Грустно на этом свете, господа!»

Сижу как проклятый, работаю — доколачиваю свою книгу. Не так-то они часто у меня выходят, чтоб отказываться от подвернувшейся возможности. И только после этого, после завершения книги — иду на отдых.

Посылаю небольшую книжицу[26], которая только что появилась. Как мог, всё сказал объективно. Ну а в остальном пусть немногочисленный читатель наш скажет, то или совсем не то я написал.

Ваша повесть[27] не из лёгких — присылайте её в «Сиб. огни», мы всё-таки подальше от столичных пристрастий и напечатаем Вас как *своего* автора.

Привет сердечный.

Ваш Н. Яновский.

Дорогой Николай Николаевич!
Вот и ещё год прошёл, какой-то пёстрый, бестолковый и непонятный, чем-то похожий на те, что были сто лет назад. Видимо, есть всё же закономерности какие-то в движении времени, но тем не менее я с надеждой, уже слабой, что следующий год будет лучше, поздравляю тебя и Фаину Васильевну, да и желаю добра и здоровья.

После последней поездки в Москву настроение моё преотвратительно. Ничего не делается, всё валится из рук, и причины конкретной вроде бы нет, но общая атмосфера литературная настолько гнетущая, и убогая, и насторожённая, что как-то не по себе. Видимо, с изъятием из литературы Твардовского так должно было и случиться. Мы-то не готовы, как всегда, ни к чему. Взял я повесть из «Н. мира». Окончательно. Теперь пишу и думаю: стоит ли мне соваться в «Сиб. огни», и если стоит, то до редактуры в сборнике или после неё? Редактура скоро будет. Напиши мне, как поступить. Наверное, надо писать Смердову, да? Советоваться? Или уж бросить всё? И наплевать, а? По мне, кроме всего прочего, хочется и с тобой увидеться. Может, всё же прилететь после Нового года? Напиши. А то у меня мозги нараскоряку.

Обнимаю — Ваш Виктор.
За книжку преогромное спасибо.

Отв. 1970 (?); на открытке

Дорогой Николай Николаевич!
Поздравляю тебя и Фаину Васильевну с Новым годом, желаю Вам здоровья, творческой радости и покоя в сердце.

Год у меня прошёл в трудах и заботах. Предварительно решился вопрос с «Пастушкой» в «Н. мире»: если мне удастся сделать «проходную» вещь, то после юбилеев, может быть, и напечатают. Делал и короткие вещи, писал книгу о войне, но не спешу с ней — это работа на многие годы.

Не знаю, писал ли я тебе, что прочёл твою монографию о Лаврове? Читается она хорошо, но видно, как ты изворачивался, чтобы сказать доброе слово об этом всё более хиреющем и обсюсюкавшемся писателе. Недавно, в Перми, я был на приёмке оперы по его повести «Чудо», Кабалевский был там же — музыку он написал хорошую, но опера — злая вещь, условная, как никакое другое искусство, она обнажает всю фальшь и вывёртывает вещь овчиной наружу. «Сёстры» — это сла-а-аденькое. Сквозь выдуманное действо с красивенькими девочками, словами и костюмчиками. Я не смог досидеть до конца, плюнул и ушёл. Как у вас зима?

У нас только ещё началась.

Обнимаю — Виктор.

16.11.1970

Дорогой Виктор Петрович!
Прочитал Ваши «Затеси». Хорошо. Поэтично. Некоторые зло — «Тот самый Комаров». А главное — это же жизнь, то самое, что нарочно не придумаешь. И тронуло меня в них — любовь к человеку, пристальное внимание к доброму в нём. Как ни крути, а прекрасен человек добротой своей, широтой взгляда на живущий мир, любовью. В сущности, об этом прекрасном в человеке и говорят «Затеси».

Что с повестью? Собираются ли где её печатать? Или к нам пришлёте? У нас, кстати, как и всюду, видимо, начинают свирепствовать и выискивать «крамолу». Оплеухи раздают направо и налево. Наступил период команд. Литературу жаждут выстроить по команде «смирно» и «ать-два». Грустно.

Живу плохо. Болен. Занимаюсь историей, библиографией и т. п. А что интересного в лит. текущей? Кочетов?[28] Но и о нём написали в «Литгазете» какую-то резину.

С приветом, Н. Яновский.

26. *Яновский Н. Н.* Илья Лавров. Новосибирск, Западно-Сибирское издательство, 1969.
27. Очевидно, «Пастух и пастушка».
28. *Кочетов В. А.* (1912–1973) — прозаик.

24.IV.1970

Дорогие друзья Мария Семёновна и Виктор Петрович!

Извините меня за долгое молчание — за долгое отсутствие накопилось столько дел, что я до сих пор «расхлебать» не могу. Конечно, я хотел написать Вам сразу, как приехал, но помешала мне переполненность чувств… Да-с, видимо, и такое бывает. Ходил, что-то про себя бормотал, даже сочинял что-то, мне несвойственное, а время-то шло. И вот сейчас пишу вам «спокойно», без половодья чувствований, трезво и здраво. Как хорошо мы у вас провели время! Как разумно вы нас встретили! Три хороших дня своей жизни провёл я у вас и давно уже не дышал так свободно и легко, как у вас.

Это моё послание, вероятно, придёт на праздники. Я поздравляю с Первомаем всё Ваше милое и дружное семейство. И это ещё одно открытие, которое сделал на древней русской земле, — дружба, семейная дружба, о которой мечтаешь как о манне небесной… Ах, извините мне мой высокий стиль!

Больше всего у меня отнимает время моя многострадальная книга, которая глупо и зло была опорочена Чалмаевым[29] — он читал рукопись, как «контролёр» по заданию Комитета. В результате большая работа — почти на 5 п.л. — о С. Залыгине из книги вылетает, т. к. никто не желает спорить с Комитетом-Чалмаевым. Да и я сам не хочу этой никчёмной возни, которая отодвинет книгу на неопределённый срок.

Как дело обстоит с Вашей повестью?

Идут споры. Так надо определить её положение сейчас. Теперь, кажется, её прочитали все, кто мог, кто из гл. редкол. — налицо. Буквально на днях собираем редколлегию, и если Смердов не дрогнет — будем Вас вызывать.

Посылаю Вам книжицу[30], на которую я ухлопал три года. Она плохо издана, но греет мою душу — сибиряка. Многих забытых, гонимых и загнанных я здесь вспомнил и даже портреты проложил, за что мне воздадут и сейчас, и спустя несколько лет. Сейчас, конечно, мне ни малейшего… (?)

Привет сердечный.

Ваш Н. Яновский.

29. *Чалмаев В. А.* (род. 1932) — литературный критик, литературовед.
30. Очевидно, «Голоса времени». Датой издания обозначен 1971 год.
31. *Решетников Л. В.* (1920–1990) — поэт, прозаик, критик, руководитель Новосибирской писательской организации ряда лет, секретарь правления СП РСФСР, автор «СО» с 1958 года.

На открытке,
без даты

Дорогой Николай Николаевич!

Дорогая Фаина Васильевна!

Я и моё семейство шлём Вам весенние приветы-поздравления!

У нас весна в полном разгаре. Уже закончилась зимняя рыбалка, и пошли пароходы. Рыбалка была нынче очень короткой, но после вашего отъезда я ещё успел хорошо порыбачить и даже двух крупных нельм поймал на блесну. Очень пожалел, что не попались они к Вашему приезду.

Что-то ни звуку, ни хрюку из «Сиб. огней» насчёт повести. Самое главное, чтоб долго не тянули и чтобы в случае отлупа мог я ещё вернуться с повестью в «Н. мир» или другой какой журнал.

Крепко Вас обнимаю.

Виктор.

19.V.1970

Дорогой Виктор Петрович!

У нас состоялась редколлегия специально только по повести «Пастух и пастушка», Мнения, как и следовало ожидать, разделились на диаметрально противоположные. Редактор занял примирительную позицию и взялся написать письмо автору. Я уезжал в Омск и не знаю, какое письмо он сочинил. Во всяком случае, решение было такое: повесть брать, вызывать автора и работать с ним, потому что были вполне конкретные предложения, требующие обсуждения с автором. Испуг, конечно, есть: как же, отрицается война! Но есть и дельные предложения Л. Решетникова[31]. Вы подумайте, может быть, есть смысл приехать. Лично мне очень хотелось бы, чтоб повесть увидела свет у нас.

Как вообще самочувствие, как работается? Я сижу в страшнейшей запарке — ничего не успеваю. Пишу сложнейшую статью и не вижу ей конца, хотя она должна быть предельно краткой. Именно потому — весомой.

Сердечный привет всему твоему семейству.

Обнимаю. Н. Яновский.

Отв. 1970 (?)

Дорогой Николай Николаевич и дорогая Фаина Васильевна!

Я приветствую Вас и желаю Вам всего хорошего, особенно лета и тихой воды в реке — Ине. У нас лето испортилось, а то было шибко хорошо аж с марта. Вернулся наш сын из армии, и они вместе с Машей на Урал уехали, а я не поехал оттого, что предложили мне побывать в ГДР (издательство, выпустившее

«Кражу», пригласило на какую-то встречу писателей прибалтийских стран), поеду туда в начале июля, а пока занимаюсь всякими пустяками.

«Кража» вышла ещё в Болгарии недавно и выходит у нас, в Латвии. Из Латвии деньги даже заплатили. А ещё мне прислали деньги из Новосибирска, напечатали в сборнике «Тропинка» (кажется?) повесть «Где-то гремит война», и если Вас не затруднит, купите мне экземплярчик этого сборника и пришлите, пожалуйста.

Присылали мне из Академгородка проспект двухтомника литературного наследства Сибири. Проспект, по-моему, серьёзный, и если так же будет в самом наследстве — дай Бог.

Пописываю «Затеси», листаю да кой-чего слегка правлю в «Пастушке». Замечания членов редколлегии «Сиб. огней» изучил внимательно — в большинстве своём они так же примитивны, провинциальны и тупы, как сами члены эти. Им надо, чтоб я на каждой странице писал: «А мы хорошие, а мы соколы, а мы освободители, а они плохие, а они завоеватели», — но это же удел посредственности — всё пояснять, всё разжёвывать. Из прозы, если она художественная, должно и так быть ясно, кто хорош, а кто дурён.

Словом, не вдохновили, а раздражили меня столь же самонадеянные, сколь и головотяповые, замечания Высоцкого, Никулькова[32] и иже с ними. Ещё раз представил, каково жить и работать с ними умному человеку — удавиться можно!

Будьте здоровы. Привет от Ирины.

Ваш Виктор.

21.VI.1970

Дорогой Виктор Петрович!
Не писал Вам долго, хотя несколько раз порывался, из-за бурных для меня событий последнего времени. Я имею в виду попытку убрать меня из «Сиб. огней». Заварилась каша, которая окончательно ещё не получила какой-то более или менее определённой смазки. Во всяком случае, пока я оставлен и чл. Редколлегии, и замом. Всё это мне не нужно, и действую я из принципа.

Писали «они» Вам по поводу повести без меня (я уезжал в Омск) и не без умысла. Однако же мнение редколлегии разделилось, и если бы Вы приехали сюда, то разговор бы пошёл легче. Как Вы решили? Что говорит Вам «Новый мир»? Конечно, обо всём только для меня.

Давненько от Вас ничего не имел. Как работается? Куда и когда собираетесь отдыхать?

Я, наверное, буду отдыхать не раньше сентября. Очень много работы. Только что развязался со своей книгой, на очереди ещё две — ЛНС т. 2[33] и «Л. Сейфуллина»[34] для изд-ва «Худ. лит-ра». Так что лето буду «вкалывать».

Состояние не бодрое. Если не сказать что-либо похуже.

Был В. Лихоносов. Приходил в редакцию. Договорились о встрече, а потом он исчез.

Марии Семёновне и всему Вашему семейству наш поклон.

Привет сердечный.

Н. Яновский.

Без даты

Дорогой Николай Николаевич!
По наитию, что ли, я знал или почувствовал, что Вам плохо, и написал письмо, а назавтра пришло от Вас, и вот сегодня книжки пришли Драверта и Сорокина[35].

Да, очень тяжело становится жить в нашей литературе людям порядочным. Всё чаще и чаще на ум приходят строки, написанные почти в это же время прошлого столетия: «Бывали времена страшней, да не было подлее…»

«Но надо жить и исполнять свои обязанности…» — сказал классик уже нашего времени, и ещё: «Раз в такое время родились и жить нам вышло. Ничего не поделаешь…» Это уж я сам себя процитировал.

Я тут более полумесяца славно жил дома один. Читал, думал, кое-что черкал. Хочу написать небольшую книжку (а может, и большую) по письмам покойного А. Н. Макарова[36], такое размышление о нашей доблестной литературе. Оно есть в письмах, и мне нужно лишь толково их прокомментировать и подумать дальше вместе с покойником грустным и мудрым.

---

32. *Высоцкий А. В.* (1897–1970) — литературный критик, главный редактор «СО» в 1930–1932, 1935–1937, 1953–1958 годах, автор «СО» с 1930 года. Никульков А. В. (1922–2000) — прозаик, литературный критик, публицист, руководитель Новосибирской писательской организации в 1961–1967 годах, зам. главного редактора «СО» в 1972–1975 годах, главный редактор «СО» в 1975–1987 годах, автор «СО» с 1957 года.
33. Литературное наследство Сибири. Т. 2. Владимир Яковлевич Зазубрин. Художественные произведения. Статьи, доклады, речи. Переписка. Воспоминания о В. Я. Зазубрине. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1972.
34. *Яновский Н. Н.* Лидия Сейфуллина. М., Художественная литература, 1972. Первое издание вышло в издательстве «Советский писатель» в 1959 году.
35. *Драверт П. Л.* (1879–1945) — поэт, учёный, автор «СО» с 1922 года. В 1968 году издавалась его книга «Северные цветы». Сорокин А. С. (1884–1928) — прозаик, автор «СО» с 1922 года. В 1967 году издавалась его книга «Напевы ветра».
36. «Зрячий посох».

С повестью пока ничего не произошло. Никаких слухов из «Н. мира» нет. Да и не жду я ничего обнадёживающего. Вы видели 4-й номер? Это же убожество, а не журнал! «Наш современник», особенно последние его номера, сейчас журнал среди журналов. Куда интересней последних номеров «Н. мира». «Погубили его господа»... хунвейбины! И в вашем журнале тускло тоже, ох как тускло! «Октябрь» вовсе утих и завшивел. Куда мы идём? Куда заворачиваем?

Днями уезжаю в ГДР на 10 дней. Попутно зайду в «Н. мир». По возвращении напишу, как и что. Да чувствую, что в стол положу повесть. На Смердова не ропщите. Он написал мне честное и откровенное письмо, по которому ясно, что и он выше яму (?) не может прыгнуть, как и все мы.

Привет Фаине Васильевне.

Всего Вам хорошего. Ваш Виктор.

6.VII.1970

Дорогой Виктор Петрович!
Вот черти — ни издатели, ни составители ни о чём не позаботились: ни деньги вовремя не выслали, ни авторский экземпляр. Деньги не посылали, потому что адреса не было! Смех, да и только.

«Тропинку» не сразу выслал — искал, расходится понемногу. Получили ли Сорокина и Драверта?

Как у Вас дело с повестью? У нас тут некоторые, приехавшие с конференции по военно-патриотической литературе, осатанели, такую ахинею лепят — не даёт им покоя милитаризация литературы, крови жаждут, войны. И невдомёк, что пропаганду надо вести, как раньше говаривали, «на два фронта» — за жизнь!

Был В. Лихоносов. Встречались два раза, на ходу, можно сказать, — что-то погода у нас была не ахти какая. Кажется, в Академгородке собирается хорошая компания — Вы тоже будете? А хорошо бы!

Мой поклон всему Вашему семейству.

Привет сердечный.

Н. Яновский.

26.VII.(1970?)

Дорогой Николай Николаевич!
Я получил книжки Драверта и Сорокина перед самым отъездом в ГДР и не успел Вам написать, а когда приехал, уже и «Тропинка» с повестью пришла.

Спасибо Вам за хлопоты и за всё, постараюсь и Вам в чём-нибудь быть полезным, когда потребуется.

Впечатлений от поездки много, ещё не отстоялись, но главное наблюдение оформилось: они дисциплинированней и оттого сильнее нас в работе. Они всё восстановили и живут на уровне западных немцев, а скоро будут жить лучше. Страна прибрана вся, порядок чувствуется во всём — от сельхозполей до улиц маленького городка. Нынче они собираются взять урожай 38 центнеров с га по кругу, а мы, по слухам, 13 цн. с га. Это при таком-то благоприятном лете! Многое в немце раздражает, пугает и даже злит, но много — вызывает и уважение. Ну да бог с ними. Как-то тут середь болот и дураков жить, да и противостоять им.

Повесть моя в «Н(овом) мире» Смирнову не понравилась и, как видно, не пойдёт, да и нигде не пойдёт в том виде, в каком я хочу, а уродовать не стану. Есть один шанс — «Мол. гвардия» запланировала мой однотомник на 1971 год. И туда включается «Пастушка». Может быть, выйдет в книге? Меня уверяют, что вполне. Попробую ещё ткнуться в несколько журналов, но знаю, каковы будут и там цветы (?), заранее знаю.

Сейчас я собираюсь на Урал, в деревушку свою. Хочу пописать маленько, а в сентябре вместе с Марией двину в Салехард, поплавать по Оби хочется. Потом напишу новую повесть, ведь «надо жить и исполнять свои обязанности»...

А как Ваши дела? Не доели Вас ещё? Ох и тяжка доля провинциального воина-мыслителя: ты их мыслью, умом, а они тебя поленом по голове или цитатой из К. Маркса, а то Горького, а то из последнего доклада мыслителя Кожевникова, создателя эпохального труда «Щит и меч».

На Урал я уеду числа 5-го августа, вернусь числа 30-го или 2-го с-бря.

Поклон Фаине Васильевне. Крепко Вас обнимаю.

Виктор.

22.IX.1970

Дорогой Виктор Петрович!
В отпуске я был, но не отдыхал, а работал, т. к. подзапустил свои договорные дела. Отдыхать буду зимой на лыжах. Плюну на всякие дела в январе и буду загорать на зимнем солнце.

Как у Вас с повестью? Дух милитаризма советского обуял многих, и о конечных целях человечества уже не желают думать.

Как съездилось на Урал? Привезли ли вдохновение для нового произведения?

У меня всё по-прежнему. Успокоилось пока что до следующей очередной атаки. А я пока стал сотрудником, штатным, на полставки, Института истории, филологии, философии СО АН. В любой момент могу спокойно расплеваться с «Сиб. огнями», если станет невмоготу.

Пишу, потому что давно не слышал Вашего голоса, и как-то иногда бывает тоскливо долго не слышать голоса друга.

Мой поклон всему Вашему милому семейству. Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

VII–VIII.1970

Дорогая Фаина Васильевна!

Дорогой Николай Николаевич!

Телепатия существует! Только я собрался написать Вам письмо, и тут как тут от тебя пришло, из которого я и узнал все ваши новости, а главное, что живы вы, здоровы и из журнала тебя пока не ушли.

А я только днями оказался дома и сегодня уж сел работать, начал новую большую повесть! А может, и роман под названием «Инвалид войны», куда хочу втолкнуть (?) всю боль и горе, пережитое нашим братом после войны, а ретроспективно за каждой главой давать куски войны как что-то постоянно сопутствующее и незабываемое в жизни нашей, что-то вроде проклятья и болезни.

Сегодня написал первые 7 страниц черновика, и странное уже совпадение: взял я эпиграф из романа Ремарка «Возвращение»[37], а сегодня открываю газету, и там известие о его смерти. Какое-то знамение или предостережение? В этой нашей литературе, как в тайге, со временем становишься суеверным

С «Пастушкой» пока всё без изменений. Все хвалят, но требуют исправлений и кастраций. Бог с нею, пусть лежит. Сейчас её читают в «Знамени», но я не думаю, что и они возьмут повесть в том виде, в каком она есть.

Ездил в ГДР, затем на Урал, а после в Салехард совершил очень важную, интересную и нужную для новой повести поездку. Обь внизу — своеобразная и необычная река, очень отличная от Енисея и ещё с хорошо сохранившимися обычаями и природой.

Дома пока всё в порядке. Сын, вернувшись из армии, поступил в университет в Перми, а сейчас в колхозе пока помогает нашему передовому сельскому хозяйству, как и многие миллионы студентов, бесплатно убирать урожай. Ирина работала в галерее, но сейчас не работает, ибо женщина, которую она заменяла, уже вышла из декрета, а новую работу найти не может. Так уж, видно, при нас и останется вековухой девка, а когда мы помрём, не знаю, что с нею будет. Она очень была обрадована, когда Вы ей прислали книжку, но написать Вам благодарность, наверное, постеснялась. Вчера она уехала в Пермь, увезла брату документы и одежонку.

Намечался у нас тут выездной секретариат, и я даже собирался речь толкнуть насчёт маразма текущей литературы, но перенесли секретариат из-за холеры на 14 октября, пока и речь откладывается. Однако и среди маразма есть проблески. Читали ль Вы с Фаиной Васильевной «Последний срок» Распутина в «Н. современнике»? Вещь совершенно классная и такая крепкая по письму, что впору ахнуть и руками развести.

А я летом поработал над пьесой по рассказу «Руки жены». Собирались пермяки к январю уже премьеру выдать, да что-то замолкли. Пьеса называется «Черёмуха»[38]. и получилась довольно любопытной.

Ну что ещё? 25 октября исполняется четверть века нашей совместной с Марьей Семёновной жизни, и поскольку в 45-м нам было не до свадеб, хотим погулять нынче.

Выберете вот время — да расхрабритесь и приезжайте, угостим максуном, осетриной, грибами и даже икрой чёрной и белой (привезли с Оби), а ещё будем просто рады, если Вы это сотворите. Пока же прижимаю Вас к сердцу. Фаине Васильевне кланяйтесь — Виктор.

3.XI.1970

Дорогой Виктор Петрович!

Л. В. Решетников показал мне Ваше письмо. Неужели с А. Т. действительно обстоит так плохо? Это же ужас, чёрт знает что, он же не принял так близко к сердцу всю эту возню вокруг него, которая не его самого, а нас, время наше позорит. Он был и остаётся нашим национальным, подлинно народным поэтом, нашей национальной гордостью. И никому не отменить это высокое звание! Он же это отлично понимает.

У нас пока ничего не изменилось. Но о Вашей повести я неотступно думаю. Думаю над тем, как спасти самое главное в ней, связанное с центральным героем. Его психологическое состояние и его гибель от пустяковой, в сущности, раны — это определяет идейный заряд повести. Другие «побочные» линии, Марченко и пр., разумеется, имеют значение, но если они произнесут какие-то патриотические (даже лобовые) фразы, если они из более разносторонних и глубоких причин ведут себя в бою героически и сам-то бой будет более осознанным и нацеленным, то это решительно ничего не изменит в судьбе и в смысле этой судьбы главного героя. Не стоит ли пойти по этому пути, чтобы повесть увидела свет, ибо в том угаре подготовки к войне милитаристскими средствами она сегодня нужна? «Чёрные полковники» просто радуются оттого, что такая повесть лежит в столе у В. Астафьева.

---

37. *Ремарк Э. М.* (1898–1970). Роман «Возвращение» (1931).

38. Премьера спектакля по пьесе В. Астафьева «Черёмуха» состоялась в московском театре им. М. Н. Ермоловой в 1976 году (режиссёр В. Андреев)

Подумайте над этим и *снова присылайте её к нам*. Как бы там ни было, но почва для её успешного продвижения у нас создана.

Верю, что Ваше 25-летие прошло хорошо. Жалею, что не мог побывать у Вас, т. к. очень был занят, да и Смердова не было в редакции. Низкий поклон мой и Ф. В. добро-гостеприимной Марье Семёновне.

Книжка моя после многомесячных мытарств и кровопусканий наконец-то пошла в набор. Читаю повесть В. Распутина в «Нашем современнике» и радуюсь: талант!

Поздравляю Вас и Марью Семёновну с праздником и желаю Вам хорошо его провести.

Обнимаю.

Н. Яновский.

Отв. x.1970

Дорогой Николай Николаевич!
Поздравляю Вас и Фаину Васильевну с надвинувшимся праздником. Тёплой, белоснежной зимы Вам и гладкой лыжни!

Я наконец-то отъездился, все «мероприятия» прошёл и собрался работать дальше над романом, да никак не могу в него войти, что-то всё барахлит сердце, и оно бы ничего, да глаз мой так начал сдавать, что и утром едва промаргиваюсь. Ездил нарочно в лес на 3 дня, чтобы ничего не читать и не писать. Чёрт знает что! — так рано начинает наш брат рассыпаться! И роман написать хочется. «Пастушку» приняли в «Знамени» и попросили внести ряд поправок, основная из них — не делать больным старшину, и это значит, надо переворошить всю повесть, снять с неё налёт трагизма; ещё просят кой-что убавить, ну, например, сделать так, чтобы Борис не встретился с мамой, потому что и в самом деле началось наступление…

На первый взгляд, вроде бы незаметные такие, почти лёгкие исправления, а повесть они сразу отодвигают в разряд привычных, бывших в деле и употреблении. Хитрые все какие стали, спасу нет, то и гляди, объедут с какой-нибудь стороны!

Повесть стоит всё ещё в сборнике, и редактор мой выказывает уверенность в её напечатании, и если это произойдёт с несущественными потерями — я буду рад, а нет — так в столе пусть лежит. Да в журналы предлагать скоро и поздно уже будет — однотомник мой должен выйти в первом полугодии 71-го.

Прочёл я в «Сиб. огнях» повесть Ромы Солнцева[39]. Ничего, славно и очень непринуждённо написана повесть. Способный парень Рома, но не о чем ему писать, видно, и потому так всё вторично и десятерично в его повести. Всё было — и герои, и ситуации, и было даже в лучшем исполнении, у Лихоносова, например, в «Тоске-кручине».

Секретариат в Архангельске прошёл очень интересно, там и настрой ему задал Сергей Павлович Залыгин[40], который полтора часа говорит без единой бумажки и даже цитировал всё на память, чем ошеломил литературную публику так, что ораторы многие тоже говорили без бумаг. Вот так, брат ты мой — чалдон барнаульский. Растём! Развиваемся! Вперёд идём!

Низко кланяюсь Фаине Васильевне, Сапожникову привет передай. Как хорошо он написал о Твардовском!

Виктор.

P. S.
Вспомнил!
Николай Николаевич!
Недавно в Новосибирске вышла книга повестей одного старого и погубленного писателя. Есть там повесть «Зашифрованный штрек», по-моему! Я всегда считал, что повесть эту и другие написал Иван Крат, но память меня подвела. Фамилия и автор другие. Помню, что в детстве я читал эти повести взахлёб и взаглот — так они мне нравились. Я опять забыл фамилию автора, но вы-то его, наверное, знаете? Книжка вышла недавно, где-то мелькнуло об этом сообщение. Если я Вам ещё не надоел — пришлите мне эту книжку, и я вам тоже какую-нибудь нужную потом пришлю. Добро?

Прошу извинить.

26.XI.1970

Дорогой Виктор Петрович!
Книгу я поторопился Вам послать, а вот за письмо никак взяться не мог. Кончается год, и дел недовершённых в этом году скопилась уйма. Сижу как проклятый за столом и не отдыхал ещё. Чувствую — надо. Выдыхаюсь.

Я со своими советами относительно «Пастушки» попал, что называется, в точку. То же самое примерно Вам предлагали и в «Знамени». Но ведь не от хорошей жизни я Вам это предлагал, а только как «выход» с наименьшими потерями. Если пойдёт в однотомнике, если пройдёт без потерь, это будет здорово. Очень хочется, чтоб журналы поскребли в затылках.

О повести Солнцева Вы правы. В ней было кое-что посерьёзней, но дошло до Смердова — он возмутился, и повесть совсем обескровили.

А меня всё обсуждают и прорабатывают. Задержали книгу, приготовленную в печать. Три месяца

39. *Солнцев Р. Х.* (1939–2007) — поэт, прозаик, драматург. В 1970 году в «СО» печаталась его повесть «Остаются мужчины» (№ 9).

40. *Залыгин С. П.* (1913–2000) — прозаик, автор «СО» с 1945 года.

вентилировали во всех инстанциях, трепали-обсуждали и буквально неделю назад сдали в набор, конечно, с потерями. Книга получится несколько иной, чем я её хотел видеть.

А вчера обсуждали 2 т. лнс. Опять меня поправляли за статью о Зазубрине. Того я обидел, другого незаслуженно критикнул, а Зазубрина «оправдал» и т. д. и т. п.

Ну а том в целом оценили высоко. Есть надежда, что выйдет.

О А. Т. Твардовском ничего не слышу. Нового. Что у него, как у него?

Марье Семёновне от меня и Ф. В. привет.

Привет сердечный.

Н. Яновский.

22.XII.1970

Дорогой Виктор Петрович!

Во-первых, посылаю Вам книжицу Л. Мартынова, хочу надеяться, что она всем в Вашей семье понравится. Конечно, это не шедевр полиграфии, но рисунки хороши, да и текст Русью пахнет.

Новогоднее послание Ваше получил, многочисленные приветы от разных лиц, вернее, через разных лиц — тоже. Спасибо за память.

О повести. Конечно, надо присылать. Тут и вопросов быть не может. Переработал и — прислал. Будут какие-то замечания — что ж, приеду, обсудим, лишь бы договор заключили. Повесть небольшая — в один номер, мы всегда можем что-то передвинуть. А я буду только рад. И тому, что повесть будет напечатана, и тому, что мы повстречаемся.

А. Смердов сейчас в Югославии. И по журналу, и по своим планам работы много. Прямо задыхаюсь. Ощущение, что делаю на бегу. И как хочется передохнуть, оглядеться, подумать над самым главным.

Очень возбуждённым приехал из Москвы В. Сапожников. Говорит, что «Наш современник» принял его рассказ «Вперёд, ветераны!». Рассказ, конечно, написан уверенно, и есть отличные куски, но трепать и драть его ещё надо основательно. И по материалу, и по цементирующей мысли он ещё не продуман. А неоправданных длиннот — Бог мой! Он уже не имеет права так распоряжаться необходимой площадью. Скука же местами смертная. Я полагаю, что Вы ему там обо всём этом говорили.

Ф. В. и я желаем Вам хорошо встретить с Марией Семёновной и детьми Новый год. Пусть не будет плохим словом помянут 1970 год, хотя ничего хорошего он нам не принёс. Год как год, не лучше и не хуже других, главное, видимо, в том: мы в нём жили, не кривя душой.

Привет сердечный.

Обнимаю.

Н. Яновский.

28.II.1971

Дорогой Виктор Петрович!

Сегодня для меня тяжёлый год — ровно три года как погиб мой сын Лёва, и я снова вне себя, снова как будто это случилось вчера. Память неумолима, даже спасительница водка ничего не может поделать — так я его любил, столько надежд было связано с ним!

Узнал я из газет, что погиб Коля Рубцов[41]. День этот был для меня как дурной сон, я не решился писать тебе, знал, как ты его любил, как тяжело тебе что-либо говорить, когда свежа ещё рана. Сейчас я решился, потому что и мне больно и за сына, и за милого, большого русского поэта, полностью ещё не раскрывшегося и унёсшего тайну своего дара в безвременную могилу…

Как там у тебя, мой дружище? Мне что-то тоскливо, и день ото дня труднее жить. И дома у меня нет радости, нет обыкновенного душевного покоя, так необходимого в мои годы. Живу как на вулкане и уже ничего хорошего не жду.

Пиши мне время от времени, т. к. без дружеского участия всё в тягость, даже книжка, которая наконец выходит и, конечно, не в том виде, в каком мне хотелось бы её увидеть.

Мой большой привет Марии Семёновне и детям Вашим.

Обнимаю.

Н. Яновский.

6.IV.1971

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за душевное письмо — оно мне было так необходимо. Я не писал так долго, потому что у меня тяжело заболела 83-летняя тёща, у неё рак, и дни её сочтены, но от этого никому не легче, особенно ей, т. к. начались уже боли и т. п. Всё это выбивает меня из моей рабочей колеи и заставляет последующие дни планировать с большой опаской.

Предложение поехать в Барнаул я всей душой принимаю, но лишь с поправкой на это печальное обстоятельство — как бы чего не случилось, и тогда я буду, разумеется, занят. Во всяком случае, о проезде через Новосибирск (отсюда добраться до Барнаула плёвое дело) сообщите мне, и тогда я буду решать вопрос конкретно. Из журнала меня, конечно, на недельку отпустят.

Стараюсь много работать. Только что отправил в изд(ательст)во «Художест(венная) литература» книжку на 8 п. л., уже принятую и отредактированную. Выйдет в 1972 году. А в этом году появится

41. Рубцов Н. М. (1936–1971) — поэт. Очерк В. Астафьева о нём — «Погибшие строки» (2000).

книга в Новосибирске — уже печатается. В апреле должен сдать «Лит. наследство Сибири», т. 2. Вот мои дела, конечно, далеко не полные. Сейчас готовлюсь к выступлению в Москве — будет там 15–16/IV совещание критиков.

Жалею, что «Пастушка» нигде в журнале не прошла. Если проскочит в сборнике, буду только рад.

Практически можно заехать ко мне — известите телеграммой, и в этот же день можно уехать в Барнаул, наверняка на др. день. Решайте, как лучше.

Всему Вашему милому семейству большой привет.

Привет сердечный.

Н. Яновский.

7.IX.1971

Дорогой Николай Николаевич!

Да, в конце концов, опять моя взяла: повесть напечатана, с потерями, но напечатана, и, судя по письмам, действие её столь неожиданно среди этой вовсе уж заданной литературы, что иные читатели в растерянности, а Стаднюк[42], узнав, что повесть ещё и в однотомнике стоит и однотомник пошёл после журнальной публикации в производство (вёрстка лежала с марта месяца), прибегал в издательство и орал: «Вы знаете, шо печатаете? Это же пацыхвызм!..» Этот «защитник» русского народа с замашками и ухватками бандеровца хотел, чтобы литература шла и развивалась по его указке и была похожа на его образ и подобие, т. е. вовсе продажная и сволочная, а за ним скалятся такие литературные шакалы и клацают зубами на всё, что не вертит хвостом.

Лето у меня вышло неудовлетворительное. Собирался я заехать к Вам, да куда там — еле живой домой вернулся. В Красноярске повесился сын моей бабушки, Марии Егоровны, и перед этим в пьяном безумстве решил её убить, в могилу вместе. Убить не убил, а ум и память отбил. И оставил её сиротой горемышной. Я определил её в дом инвалидов, хоронил сына её, а перед этим, пьяный же, забил насмерть мою сестру (Августину дочь — Лесю (?)) её дорогой супруг — эту хоронить ещё не пришлось, но на поминки угодил. Как всё было беспросветно, сколько я наслушался оскорблений от властей, не желающих марать руки о покойных и убогих, что прямо и сам едва очухался. Два тяжелейших сердечных месяца (дефект бумаги), потом поехал в Казачинское к Коле Волокитину[43] и у него немного «отошёл», побывав на Казачинских порогах, в лесу, на Енисее.

А тут ещё лит. дела эти. Столько суеты, столько рукописей, дрязг и прочего, что руки опускаются. И всё же поздней осенью возьмусь работать, что бы ни было, — есть замысел двух повестей коротких, двух рассказов, и роман «идёт» в голове. Пишу я сейчас не так уж быстро новое, но напишу за зиму. Может, хоть одну повестушку, если, конечно, ничего не стрясётся ещё. Бабушка-то всё ещё плоха, хоть и поправляется в доме инвалидов.

В середине октября я поеду на неделю в ГДР, а потом навещу бабушку, слетаю в Красноярск и тогда уж вплотную засяду работать.

Однотомник мой обязательно выпустят в конце года (дефект бумаги).

Говорят, в Перми вышел мой однотомник. Чалмаев говорил, но сам я его ещё не видел.

В Красноярске в театре поставили «Кражу», и недурно. Написал я кое-какие мелочи и рассказ про... космонавтов![44] Знай наших! Но космонавты погибли не ко времени, и литература на эту тему сейчас «заморожена», но это даёт возможность ещё и ещё пройтись по рассказу.

А что у Вас нового? Как живёт столица Сибири? Как Ваши дела в журнале? Что пишут, чем дышат сибирские писатели? Как дела у В. Сапожникова? Привет ему и Наташе.

Поклон Фаине Васильевне. Желаю Вам всего доброго.

Лето в Вологде было очень переменчивое: день — дождь, день — вёдро. Ребята были все в разъездах, но уже собираются.

Обнимаю и целую Вас.

Ваш — В. Астафьев.
За телеграмму спасибо!

11.X.1971

Дорогой Виктор Петрович!

Очень рад, что повесть наконец-то увидела свет, я прочитал её вновь, увидел, какую большую работу надо было проделать, чтобы сделать её такой яркой, поэтичной, трагичной. Считаю, что это — событие в нашей литературе, и у меня тянутся руки, чтоб написать о ней всё, что я думаю... Другой вопрос — кому это нужно. И всё равно хочу писать. Пацифизм? Бог мой! Ленин в 1922 году исповедовал пацифизм и убеждал Чичерина, что в тот момент — это лучшее, чем что-либо другое. Всему место и время. Или мы только на словах марксисты, или в нём ничего не понимаем.

Получил я Ваши рассказы. За память спасибо. А «военный» рассказ[45] я дал в отдел, его прочитали, дали Смердову, и теперь уже точно — он будет напечатан в № 1 за 1972 год. С № 12 за 1971 г. мы уже

42. Стаднюк И. Ф. (1920–1994) — прозаик.
43. Волокитин Н. И. (р. 1937) — прозаик, автор «СО» с 1970 года.
44. «Ночь космонавта».
45. Астафьев В. «Передышка». Рассказ. СО, 1972, № 3.

сдали в набор 25.IX хороший рассказ, и мы будем надеяться, что и новые произведения В. П. будут у нас время от времени появляться. Рясенцева у нас в редакции теперь нет, и некому в отделе прозы тянуть резину, играть в молчанку.

Лично я жалею, что повесть увидела свет не у нас.

У Сапожникова в №11 идёт его рассказ[46]. Тот самый, что был в «Нашем современнике», в «Знамени». Хвастал он, что и там, и там его хорошо встретили и едва ли договор на руки не выдали, но… Не напечатали, и пришлось ему обращаться к ним. Рассказ не лишён интереса, но неожиданный для Сапожникова. А может быть, и «ожиданный», поскольку головокружительные декларации нередко сходятся с весьма практичными делами.

Всему Вашему семейству земной поклон.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

8.XII.1971

Дорогой Виктор Петрович!

Не писал я тебе так долго, потому что был занят одним никчёмным делом—обороной от своры, спущенной на меня, деятелей литературы Сибири. Они меня «грызли» сначала за закрытыми дверями на бюро обкома, потом на правлении в писательской организации, уже выполняя решения и стоя по команде «смирно». И хотя я опроверг все их грубо состряпанные обвинения, они всё равно сняли меня с «заместителей» и вывели из состава членов редколлегии журнала. Словом, добились своего, затратив на это два года по меньшей мере. Непосредственный повод—моя статья о В. Зазубрине в №8 журнала[47]. Бог мой, чего только не говорилось! В связи с нею мне припомнили всё, что, по их мнению, было моей «тенденцией», каковая якобы противоречит их «марксистской ортодоксии». Видимо, наступил мой черёд стать «свободным художником». Самое же главное—такие люди, как Никульков, Смердов, Чикин, Коптелов[48], проявили себя людьми нечистоплотными и расправлялись со мною беззастенчиво и нагло. Пример с «Новым миром» их воодушевлял, они знали, что эта расправа пройдёт для них безнаказанно, наоборот, их там, в верхах, похвалят. И это накануне 50-летия журнала, которому я отдал 22 года своей жизни, славе которого я способствовал всеми силами. Уже это само по себе—подло.

Ну, всё. Чёрт с ними!

Твой рассказ набран для №1, но его передвинули на №3, юбилейный. Почему передвинули? Потому что, занятые «борьбой» со мной, никто другой не удосужился подумать о юбилейном номере, и идёт в нём сейчас, увы, некая скудь (?), твоим рассказом хотят хоть как-нибудь скрасить скудь прозаического отдела. «Затеси» я твои не читал—не до того было, да и не дают мне их теперь читать.

Вот такие пироги.

А в остальном—я бодр, здоров и вовсю работаю.

Обнимаю. Н. Яновский.

Низкий поклон всему твоему семейству.

На открытке

Дорогой Николай Николаевич! Дорогая Фаина Васильевна!

Примите наши с Марией Семёновной новогодние поздравления и все этому празднику сопутствующие хорошие пожелания!

Пишу я Вам из д. Быковки, с Урала, куда скрылся, чтобы хоть немного поработать спокойно и серьёзно. На работе так проголодался, что (дефект бумаги, почерка)…

20 декабря 71 г.

26.XII.1971

Дорогой Виктор Петрович!

В дни, когда я узнал, что умер А. Т. Твардовский, не находил себе места—это самая страшная потеря из тех, что я пережил за последние годы. Невеликая у нас разница в годах—он на четыре года старше меня, и, следовательно, мы вместе пережили одни и те же горести и радости, связанные с нашей эпохой. Он сильнее, ярче, трагичней, чем кто-либо другой, выразил всю нашу жизнь, он сделал всё возможное, чтоб мы её лучше поняли, познали самих себя… Его последняя ненапечатанная поэма свидетельствует, что под ней натискали всякой швали. Он не сдался, она осталась завещанием для нас, живущих, и, безусловно, рано или поздно будет обнародована. И верю, что скорее «рано», чем «поздно», ибо это явление слишком крупное, чтоб его можно было так просто замолчать. Мы все знали, что он тяжело болен, но всё равно узнать об этом было тяжко, ибо с его смертью ушла в прошлое целая эпоха нашей жизни, нашей борьбы.

У меня дела обстоят сравнительно ничего. Господа-товарищи немного очухались, снова «вернули» меня в редколлегию, причём вид у них при этом был бледный, и сейчас решают, как «восстановить»

46. Сапожников В. «Вперёд, ветераны!». Рассказ. СО, 1971, №11.
47. Яновский Н. Несобранные произведения Владимира Зазубрина двадцатых годов. СО, 1971, №8.
48. Чикин Л. А. (1927–1994)—поэт, прозаик, автор «СО» с 1952 года. Коптелов А. Л. (1903–1990)—прозаик, публицист, автор «СО» с 1925 года. Н. Яновский—автор книги о А. Коптелове («Афанасий Коптелов», Новосибирск, 1966).

отношения со мною, как оставить в редакции. Вот так, офонарели господа и под давлением «общественности» бьют отбой. Сволочами они от этого не перестали быть — чёрного кобеля не отмоешь добела, но факт остаётся фактом: пока что моральная победа за мной. Мне, конечно, очень хочется наплевать им в рожи, но уходить «добровольно» из журнала я пока не хочу.

Читал я пакостную рецензию на твою повесть в «Комсомолке», кажется, — вот ведь чьё «мнение» сейчас для некоторых кругов предпочтительней, эти люди съели и «Новый мир», и Солженицына, и многое другое в нашей литературе. В №1 за 1972 г. в «Сиб. огнях» идёт повесть С. Воронина[49] — прочти. Её решительно не понял Смердов, потому и взял, но за последние годы я ничего более критического о нашем обществе не читал.

Поздравляю тебя и Марию Семёновну с Новым годом, желаю, чтоб твоя повесть в этом году увидела свет в твоём избранном, т. к. написана она превосходно. А мне — не знаю почему — многие пишут, как хороша последняя повесть Астафьева. Живи, здравствуй и твори так же, как ты это делал до сих пор!

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

На открытке,
9.I.1972 (?)

Дорогой Николай Николаевич!
Я рад приятным Вашим вестям. На Ваше горькое письмо не отвечал оттого, что собирался быть в Москве, добиться посредством нашего секретариата приёма в инстанциях и поговорить обо всём начистоту. Но вот видите, пока не понадобилось.

Завтра, 10 января, я уезжаю в Красноярск — умирает брат, рак желудка, уже разрезали, зашили и т. д. Сколько там пробуду — не знаю, но на обратном пути *непременно* заскочу к Вам хоть на денёк, и тогда поговорим обо всём. А пока обнимаем Вас с Ф(аиной) Вас(ильевной).

Я, Мария и Иринка.

Виктор.

5.II.1972

Дорогой Виктор Петрович!
Пишу Вам из больницы, где пребываю уже полмесяца, а болею с 5/I — обострение моей гипертонии плюс сердечная недостаточность — первый звонок на тот свет. Причина одна — треволнения конца 1971 года, когда выслуживающаяся сволочь — Коптелов, Смердов, Никульков — решили выгнать меня из «Сиб. огней». Своих целей они достигли — уже отдан приказ о моём увольнении, хотя я в это время был на больничном. Незаконно? Конечно. Но эти дельцы плюют на закон, коль их поддерживает обком. Единственно, что удалось добиться, — я остался членом редколлегии, т. е. исключили, потом восстановили. По выходе из больницы, вероятней всего, буду работать в Институте истории, филологии, философии СО АН. Вот благодарность за 22 года работы в «Сиб. огнях» накануне 50-летнего юбилея журнала. Лицемеры, подонки, подлецы — иначе всех этих прихлебателей назвать нельзя. Общественное мнение на моей стороне, моральная победа моя — но что это всё стоит, если они всё-таки торжествуют: Яновского в журнале нет! 7 лет я был им костью в горле, и вот расправились, грубо, нахально, уповая на безнаказанность.

Был у меня В. Лихоносов, хорошо поговорили. Друзья меня не покидают, хорошо всё время меня поддерживали и сейчас частенько наведываются, сообщают все новости. Был приглашён на пленум совета по критике, но, к сожалению, не мог поехать — непременно бы выступил и показал бы, как расправляются за самостоятельность и принципиальность позиции критика и литературоведа. Но, видно, — не судьба.

Большой привет Марии Семёновне.

Обнимаю Вас. Н. Яновский.

3.III.1972

Дорогой Николай Николаевич!
Так у меня и не получилось заехать в Новосибирск. Когда я был в Красноярске, стояла жуткая стужа. Оцивилизованный Енисей, полый, чёрный, деревня, скалы и сама река в непроницаемом пару, и земля кажется преисподней. В непроглядном сыром тумане, от которого душа стонет, и, как сказала моя тётка, не особо расположенная к обиходным этикетным словам: «Сядешь в уборной — иней на жопе выстужает!», слышен тоскливый шум шуги, и мерцают зраки автомашин, день и ночь идущих со светом. Лёгкие разрывает кашлем, сверху сыплется белая пыль, и только деревья, век которых сочтён, стоят в онемелой красоте, покрытые такою белой бахромой, что она уже кажется не взаправдашней.

По деревне изредка прогуживается куда-то фигура одинокого пьяного человека и молчаливо сгинет. За плотно закрытыми ставнями нет-нет мелькнёт голубоватый космический гул — все смотрят телевизор и пьют водку или самогон. Один только раз попался мне навстречу человек из прежней Овсянки, шапка боком сидит, рубаха ниже телогрейки выпущена, ноги расхлябанные ревматизмом изверчены, как коленчатый вал,

---

49. «Заброшенная вышка».

а казанчешки подшиты и загнуты (нрзб) почти до колен. Идёт и повторяет в безголосом хмеле: «Я, это, никого не обматерил, не обругал, не ударил. Я, это, ничего…»

«Здравствуй,—говорю,—дядя Егор». По догадке сказал, подразумевая Егоршу Платоновского. Остановился, смотрит и начинает: «Я, это, ничего…» Думает, что в этакой-то темнотище я его запорю или ударю. Понял, что не ударю, не запорю. «Чей будешь-то?»—звонко, с хрипотцой прокричал, и я понял, что он крепко глуповат. «Астафьев»,—кричу. Вспомнил, что он таких не знает: «Витька Мазовский!..» «Мазовский?—поморгал, покашлял.—Мазовский?! Были, были такие раньше, а вывелись уж, все вывелись. Из Платоновских-то я уж, пожалуй, последний. Хотя-а-а Витька ишшо наш тутока. Витька-то тутока. Околеет тоже скоро. Пьяница он. Всё пропивает с себя. Бабу потерял, сына тоже. Э-э!..» Махнул рукой, заморгал часто и пошёл, оступаясь и всё повторяя: «Я никово не обругал, не ударил…»

Ну, это картинки. А ездил я на родину посмотреть, что с братом. Застал его уже разрезанным—рак поджелудочной железы. С трудом отправил его с семьёю домой. Баба евонная—дура, в такие морозы вылетела в Красноярск с ребятишками, а живут они в Ярцево—700 вёрст вниз по Енисею. Трое суток в аэровокзале ошивались, убавляли уж какое количество оставшихся дней у братишки, которого я когда-то баюкал и вывел в «Перевале» под наименованием Митьки. Славный парень, добрый, заботливый, от нашей семьи он лучший получился, и вот…

Ходил в инвалидку к бабушке. Она меня через полчаса с трудом опознала: «Мужик-то вроде на Вихтора похож?» Она звала меня через «х», а не «к»—только она так и звала.

Шестнадцатого февраля она скончалась, и горько, ох как горько было мне узнать об этом в Москве, и нашла меня телеграмма уже после похорон. Что Бог её прибрал—ладно. Намучалась, настрадалась, и годов уже 78—хватит, но чувство вины, чувство горя никак не проходит…

Я стараюсь не раскисать. Работать постараюсь. Делаю роман о войне и сценарий по «Пастушке» написал, но как-то уж не так удало я работаю, чем прежде. Не даёт мне покоя и Ваша беда. Всё я рвусь в Цека поговорить с одним человеком напрямую. Есть такой человек, звал меня несколько раз «поговорить по душам», вот и хочу поговорить насчёт Очеретина, у которого сын такой же подонок оказался, как он сам, совершил дезертирство из армии и кражу, но тем не менее Очеретина пасут и оберегают. И насчёт Вас. Хочу уяснить себе всё же—устарели мои моральные критерии или нет. Что сейчас дороже—подлость или честность! Мне говорят: бесполезно, Витя. Я не согласен с этим. Будет у нас в Вологде весной «мероприятие» по критике, приедет много начальства, и я всё же заведу этот разговор. Равнодушные люди, и прежде всего писатели наши, уж совсем омещанились. Я был в Переделкино у Жени Носова[50] в гостях. Мы напились там и поколобродили. Это стало для многих, и для администрации тоже, потрясением—уже не пьют, не бушуют писатели, и вовремя питаются, гуляют по воздуху, и щёлкают сразу на машинку толстые романы и «критические статьи» к юбилею Федина да монографии на беспроигрышных поэтов—на давно уже ографоманившегося Л. Мартынова[51], допустим.

Один только Алёша Прасолов[52] в Воронеже был так потрясён смертью Твардовского, что взял и повесился на собственном шарфике. Хороший был поэт, многим Твардовскому обязанный. А в 9 часов утра, когда открыли доступ ко гробу Твардовского, возле него оказался один только Симонов[53], больной и простуженный. Выспавшись, сделав прогулку и физзарядку, плотно покушав, писатели «хлынули» прощаться с любимым поэтом к полудню, шибко возмущались, когда их к оному не допустили.

Мещане, обыватели, стяжатели, прячущиеся с бабами под одеялом, завидующие тому, кто больше «огрёб» или вдруг попал в критическую перебранку («То ж слава! То ж успех неслыханный!»). Сколько я гадостей выслушал в Москве из-за этой перепалки критической, по которой можно судить отчётливо, что даже такую не очень сложную вещь, как «Пастушка», не сумели или не захотели прочесть как следует.

Одичали?! Нет, хуже. Оравнодушели. Самое ужасное наступило—что-то похожее на этическую куриную слепоту и полное усыпление гражданских чувств. Сейчас все довольны. Черносотенцы не скрежещут зубами, явреи потихоньку дерево точат и копят гроши на дорогу…

А чтобы всё пропало! Тебя ведь тоже равнодушные люди предали. Ты шеборшал, возмущался, а сейчас надо тихим, согласным со всем, сопящим в две дырки. Разве всё в письме напишешь?! Фаине Васильевне привет. Володька-то как живёт? Чтой-то он гордо смолк? Ну, поправляйся скорей, работай. Всё равно тебя выгнали бы из журнала. «Н. мир», кажется, по новой будут разгонять. Крепко тебя обнимаю, целую.

Твой В. Астафьев.

---

50. *Носов Е. И.* (1925–2002)—прозаик.
51. *Мартынов Л. Н.* (1905–1980)—поэт, прозаик, публицист, автор «СО» с 1922 года.
52. *Прасолов А. Т.* (1930–1972)—поэт.
53. *Симонов К. М.* (1915–1979)—поэт, прозаик, драматург.

27.III.1972

Дорогой Виктор Петрович!
Уже находясь в санатории, получил я твоё длинное и для меня нужное письмо. Приятно было посидеть с ним наедине и поразбирать твои только поначалу неразборчивые «каракули». В окно било солнце, и высоченные яркие сосны стояли словно на смотру, спокойные, подтянутые, величавые, и на душе у меня было так покойно, как никогда. В твоём письме много событий, названных и неназванных, которые и не вспоминаются с душевным спокойствием, но в них я видел прежде всего тебя, «переломившего» (?) горе своё с доброй улыбкой и тем самым оказавшего на меня удивительно «успокаивающее» воздействие. Ещё раз убедился я, что жизнь продолжается, что «лихому» в ней надо противопоставить свою жизнестойкость, несгибаемость, работоспособность. И, наконец, ещё—и это самое главное—я ощутил локоть друга, который ни от чего «заветного» не отступит. Это «чувство локтя» в неслучайном сочетании с солнечным днём и рождает моё спокойствие, мою уверенность, мою радость бытия.

24 марта в Новосибирске прошёл день празднования журнала «Сиб. огни» в связи с пятидесятилетием. На этом праздновании я не присутствовал по той простой причине, что долечивался и не хотел лишний раз расстраиваться, а потом ещё не хотел видеть некоторые самодовольные рожи. В обычной жизни я их как-нибудь обойду, а на празднике буду вынужден созерцать.

Когда я получил твоё письмо, я по случайному совпадению читал (перечитывал) «Последний поклон». Бабушке в «повести» отведено значительнейшее место по полному праву, и строчки, посвящённые ей в твоём письме, прозвучали для меня как последний аккорд в её многотрудном жизненном пути. Печальный аккорд, и я понял, как трудно навсегда расставаться с такими людьми.

Больно резанули по сердцу известия о последних днях и часах среди нас живого и мёртвого А. Т. Твардовского. Был в январе здесь С. Залыгин. Последние дни жизни А. Т. он довольно часто бывал у него. А. Т. уже не говорил и отлично понимал, что дни его сочтены, но держался мужественно. Поразил меня один трагический по сути своей факт. У А. Т. врачи заметили какое-то затемнение в мозгу, решили, что это метастазы рака, и поспешили облучить его. Оказалось, что никаких метастазов у него не было, это легко обнаружили врачи зарубежные, которые его лечили ещё год назад. Они горько посетовали и сказали: «Неужели у вас так много Твардовских, что можно позволить себе такую невнимательность?» В результате последние месяцы А. Т., по существу, не говорил, с большим трудом составляя простую фразу, и мы, вероятно, лишились многого из того, что он мог бы сказать, надиктовать в эти месяцы. Может быть, С. Залыгин и подробней расскажет о своих встречах с А. Т. в эти дни. Но и сейчас он рассказывает о А. Т. интересно и с большой любовью.

В начале апреля я буду дома и начну, наконец, работать. Очень истосковался по своему рабочему столу, устал от вынужденного безделья.

В. С. был у меня в больнице, как обычно, шумный и категоричный. Но ко мне был заботлив. Пишет роман, говорит, с увлечением. Ругал ругательно разных людей, часто, увы, без разбора, и ко мне иногда приходят люди с жалобой на него. Успокаиваю словами: «Да разве вы не знаете В. С.? Шумит по неразумению… Ну а дело своё знает и работает хорошо…» Но ведь обиды, которые он наносит походу, этим не заглушишь, и бывает, что хорошие люди избегают его.

Ф. В. живёт вместе со мной в санатории и шлёт тебе привет, я целиком присоединяюсь к ней и надеюсь, что всё у Вас благополучно.

Обнимаю.

Н. Яновский.

Открытка, без даты—апрель-май 1972

Дорогой Николай Николаевич!
Тебя и Фаину Васильевну поздравляем я и Мария с праздником весны и Победы. А также с награждением «Сиб. огней» орденом, половину которого заработали для журнала Вы, и, что бы там ни было, журнал был и останется (я в этом уверен) верен Вашей памяти, и вся шушера ссыплется, как и прежде, с его страниц, и останутся добрые имена добрых работников. Так уже было, и так будет. Рад, что Вы не падаете духом и поправляетесь. Начинай работать—тут и утешение, и спасение от всех бед. Читали ль Вы книжку стихов Толи Передреева[54] «Равнина»? Если нет—прочтите. Очень сильная книга.

Целую—Виктор.

6.V.1972

Дорогой Виктор Петрович!
Поздравляю тебя с Днём Победы—этим подлинно национальным праздником. Чем далее отходим мы от этих дней войны, тем большей болью сжимается сердце. Боже мой, сколько прекрасных людей там (в том времени) осталось! Казалось, что человечество поймёт всё бессмыслие организованной бойни, и уже ничто не заставит его ещё раз встать на этот путь. Мы любим

54. *Передреев А.* (1932–1987)—поэт.

повторять: никто не забыт, ничто не забыто. Увы, очень много забыто, да ещё как! Я размышляю над нашей прозой, посвящённой войне. Если взять её во времени, она просто соткана из потрясающих произведений, и определяющий её стержень найти нелегко — да и есть ли он? Да и нужен ли он? Но ясно: писать об этом нужно и честно, без кривляний, обусловленных конъюнктурой.

Апрель и май после болезни и лечений сижу дома и работаю. Отправил рецензии в разные журналы, пишу статью для «Дальнего Востока» (хочу съездить в Хабаровск — давно собирался). И вдруг — написал статеечку о В. Сапожникове (писал в своё время рецензию для издательства — она-то и выросла в статеечку). Хочу послать в «Наш современник»[55] — всё-таки он их автор. Где-то на днях я её дошлифую и пришлю тебе на совет — ведь ты всё у него знаешь.

Словом, работаю я дома и не меньше, чем в редакции, и надо полагать, что напишу больше.

Марии Семёновне и всему Вашему семейству наш с Ф. В. поклон и поздравления.

Вышли «Затеси» — пришли, буду рад и срочно напишу рецензию, например, для «Дружбы народов».

Поздравляю с выходом этой хорошей книги.

Обнимаю, целую.

Н. Яновский.

Дорогой Николай Николаевич!

Я уже в Сибири, в Красноярске, но! Ещё не на месте. Отсюда завтра на пароходе вниз по Енисею 700 вёрст, и там уж успокоится моя душа.

Шлю обещанное. Как дела? Вернувшись в Кр-к, числа 12–13 я позвоню Вам. А пока желаю всего доброго. Низкий поклон Фаине Васильевне. Увидите Володьку и Наташу Сапожниковых — им от всего семейства привет и доброе спасибо за приют.

3 июля. Ваш Виктор.

1972. Телеграмма

Буду проездом. Новосибирск 11 июля поезд 11 «Енисей», вагон 8. Виктор Астафьев.

Отв. 16.IX.72

Дорогой Николай Николаевич!

Фаина Васильевна!

Посылаю Вам свою самую толстую и нарядную книгу. В ней готовилась и «Пастушка», из-за которой книга выходила на полтора года дольше, чем могла бы выйти.

Давно собираюсь Вам написать и выяснить одно недоразумение, которое, может, было, а может, и нет?

Летом я был вызван к брату в Ярцево — он уже сделался совсем плох и вскорости помер. Съел его рак проклятый. Брата зовут Колей, он мне родной лишь по отцу, но я с ним выводился (?) когда-то, что и описал в повести «Перевал». Отец наш основной обязанностью считает сделать ребят, выполнить главную работу, а там уж дело его не касается: хочешь — сдохни, хочешь — живи, полная свобода. Малыши сдохли половина, а остальные вот дохнут уже взрослые, оставляя детей и горе, а мне приходится заменять им отца и *быть целителем — тяжёлая задача*, если учесть к тому же, что мне-то никто из родни никогда не помогал, не утешал и даже вспоминать обо мне не пытался, когда я жил в нетях (?), лапу сосал и из кожи лез вместе с Марьей, чтобы не уморить их голодом.

Не будь я русским, не поминай брюхом нашу дикость, нравственную дремучесть, в которой я ещё раз убедился, пожив на таёжном Енисее, то и обидеться мог бы, плюнуть на всех, но жалко, жалко убогих-то!

Вот я когда ехал с Енисея на коеке (?), то попросил своего красноярского друга дать тебе телеграмму, чтобы встретиться и хоть немного поговорить. Другу я наказывал: если поезд в Новосибирске будет поздно — не давай, а если подходяще — дай.

Сам я так отупел, что прочёл расписание в вагоне не с того боку, т. е. с запада на восток, и выходило, что будем мы в Новосибирске днём, а оказалось — глубокой ночью. Я не спал, а был в каком-то тяжёлом забытьи, весь разбитый, и почему-то подумал, что это уж сегодня Юрга или Тайга, наиболее запомнившиеся мне с давних времён, а потом выяснилось…

Словом, так я и не знаю: давал друг телеграмму или нет, приходили вы к поезду или нет? Если он всё же потревожил Вас и Вы были у поезда — простите мне великодушно, не из-за рассеянности или пьянства этакий казус получился…

Затем я оказался в деревушке Быковке, где поджидала меня Марья Семёновна. Однако и тут покоя не было, приехали сразу три племянницы жены, папа у них пьяница и идиот, и его шандарахнули по голове бутылкой и, хоть пустая башка, стрясли ещё чего-то там, кормить детей некому, мама моложе Марии, а расп…ка такая же, как и жена моего покойного брата, делать ребят умеет — содержать силов нет и старанья тоже.

Потом начали пермские писаки одолевать с жалобами на судьбу и невезение, потом у Дуси, живущей за речкой, девочка появилась, ангелица небесная, у которой на глазах простой советский

55. *Яновский Н.* Грани таланта. О рассказах В. Сапожникова. Наш современник, 1973, №2.

человек, т. е. папа, замучал и забил до смерти свободную советскую женщину т. е. девочкину мать. Так и не отходила от меня эта глупая девочка, хотя всех остальных мужиков боится до ужаса.

Ну, были и весёлые дела. Весь берег Камского водохранилища заселён сов. мещанами, пытающимися походить на аристократов. Вода кипит от моторов, берег волнуется от заграничных курортников. Одна «аристократка» приобрела гдесь-то за немалые деньги миниатюрную японскую собачку, а деревенский толстолобый низкопородный пёс, что назвали Пират! выследил эту собачку и съел её. То-то слёз было! То-то горя! «Вы знаете?! Это ж невозможно!..» Ну прямо графини Шереметьевы в трансе, а рожи вот только пермяцкие, да жопа не по циркулю, и ума чуть меньше, чем у Шереметьевой графини.

Невозможно стало—и на Урале жить. Правда, Быковка наша в удалении от берега, однако и тут достают. Приехал мой папа из Астрахани, почти слепой, прорвал все санитарные кордоны. Выпил, реветь взялся, головой трясти. (Ну, не тебе рассказывать, как это пьяные сибиряки делать умеют!) «Мне бы вместо Кольки лежать, мне бы!..»

Вот уже полмесяца я дома. Стараюсь работать и глушить себя занятостью, а вокруг тревога и смятенье. Всё лето в области нет дождей. Выгорело почти всё. В городе пуха с тополей нет, и уже падает лист с берёз. Горят лес и торфяники. Солнца не видать в городе, синий, даже серый цвет от торфа плавает. Подлое слово «смог», не знаю, уместно ли тут. Уж и проходил бы скорее этот високосный год, будь он неладен!

Дочка моя великовозрастная решила попробовать самостоятельной жизни, поехала в Ижевск устраиваться на работу и поучиться в открывающемся там университете, но что-то не налаживается у неё там—работу постоянную не нашла. Квартиру тоже. Незадачливая какая-то она у нас, а вот сын грызёт науку, и путь у него твёрд и прям—он в маму, а дочь в папу—бесхарактерная, как говорят на моей родине.

Пишу одну чудную штуку, навеянную пребыванием в Сибири и горем, пережитым там, а до рассказа пока руки не доходят—уж зимой добивать его буду.

В Москве не был с февраля, но одну повесть, облетевшую всю Россию (во всяком разе, страдающий от засухи центр её), услышал Евгений, который Носов, переметнулся в Москву, отбив у художника Юры Ракши его бабу—Ирину Ракшу, девицу, называемую в Москве—«вторая грудь», окончившую ВГИК, издавшую книгу «Катилось колечко», умеющую вести салонную жизнь и, конечно же, понимающую толк в сексе куда как глубже, чем прежняя Носова жена—курская Валентина. У Ф. Абрамова[56] тоже будто бы роман с крашеной девкой. Пошли «деревенщики» походом на Москву, и какого они там смеха и горя понаделают!

Ну, обнимаю и целую вас. Наташе и Володе Сапожниковым привет от меня и М. Семёновны.

Ваш—В. Астафьев.

Продолжение следует

56. *Абрамов Ф. А.* (1920–1983)—прозаик.

Галина Сизова

Мосты и город

К 75-летию Мостоотряда № 7

Мостостроение — вершина строительного искусства. Мосты пришли к нам из глубин цивилизации и всегда отражали уровень экономического развития общества.

Одинаковых мостов нет, как нет одинаковых рек. На примере красноярских мостов можно проследить эволюцию мостостроения: от мостов, стоящих на сваях и «свинках» по реке Кача, до железобетонных на прочных устоях; от наплавного на баржах через Енисей до уникального мостового перехода (с рабочим названием «Четвёртый»).

Красноярские мосты, несмотря на рационализм их конструкции, обогащают архитектуру города.

1. Истоки русского мостостроения

У истоков русского инженерного мостостроения — модели мостов И. П. Кулибина (1735–1818), механика Петербургской Академии наук. Первая (1773 год) — однопролётный арочный, с решётчатой фермой, деревянный мост. Вторая (1818 год) — трёхпролётный деревянный мост из раскосных (решётчатых) ферм, разводной у берега.

Интересен эпизод блестящего испытания первой модели: к начальной нагрузке в 3000 пудов добавили ещё 500 и… всю комиссию (1 пуд = 16 кг). Оба проекта предполагались для Невы на участках в 300 и 260 метров шириной, но воплощены не были. Первый мост сгнил в Летнем саду, второй стал экспонатом музея Института путей сообщения.

Новаторством мостов Кулибина было применение раскосных арочных ферм.

Первые чугунные арочные мосты — Зелёный, Красный, Поцелуев, Обводной — были построены в Санкт-Петербурге с 1799 по 1809 год под наблюдением архитектора В. Гесте. (Англичанин по происхождению, он всю жизнь прослужил России: под его руководством были составлены генеральные планы многих городов, в том числе Красноярска — план от 2 ноября 1828 года, утверждённый Николаем I.) До этого времени город обходился временными наплавными мостами на баржах и перевозами на паромах и лодках.

В 1850 году был построен чугунный арочный, с разводной частью у берега, мост через Неву — самый большой в России. Мост строился восемь лет по проекту и под наблюдением С. В. Кербедза, инженера и педагога Военно-инженерной академии. Первоначально мост назывался Николаевским, ныне носит имя лейтенанта Шмидта. (В 1940 году мост был перестроен, но не из-за потери прочности, а из-за необходимости большей длины разводной части. Перестройка моста осуществлена академиком Г. П. Передерием. Мост на старых опорах стал шире, разводная часть вынесена на середину.)

По инициативе С. В. Кербедза было выполнено множество других инженерных проектов: соединены Варшавская и Кёнигсбергская железные дороги, построены железные дороги Петербург — Москва, Петербург — Царское Село, оборудованы порты и каналы Северной Венеции. С. В. Кербедзу принадлежат первые попытки расчёта раскосных ферм.

В дальнейшем эту работу продолжил Д. И. Журавский, издавший в 1855 году свой труд «О мостах раскосной системы Гау». По проектам Д. И. Журавского были построены в середине девятнадцатого века все деревянные с раскосными фермами мосты по железной дороге Петербург — Москва.

В период с 1868 по 1872 год более ста деревянных мостов по этой дороге были заменены без перерыва движения на металлические. Автором проектов этих мостов стал Н. А. Белелюбский (1845–1922), профессор Института путей сообщения Петербурга.

В 1881 году по проекту Н. А. Белелюбского был построен крупнейший в Европе железнодорожный мост через Волгу у Сызрани, существующий до сих пор. Мост состоит из тринадцати пролётов по 111 м длины каждый, общей длиной в 1,5 км, представляет собой «трубу» с параллельными стенками из раскосных металлических ферм, покоящихся на каменных опорах.

Сызранский мост построен из «сварного железа» — металлические детали соединялись кузнечным способом. Электросварка в те годы только нарождалась: в 1880 году Н. Н. Бенардос предложил способ сварки металлов электрической дугой с помощью угольного электрода. В 1890 году способ был усовершенствован Н. Г. Славяновым, заменившим угольный электрод на металлический.

2. Среднесибирский участок Великого Сибирского пути

17 марта 1891 года император Александр III подписал рескрипт о строительстве Сибирской железной дороги. Идею постройки дороги высказывал ещё в 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Муравьёв-Амурский, понимая, какие несметные богатства хранит Сибирь.

19 мая 1891 года первую тачку в насыпь строящегося Транссиба отсыпал во Владивостоке наследник престола Николай Романов, который в дальнейшем активно курировал строительство, возглавив в 1893 году Комитет Сибирской железной дороги. Руководство строительством осуществлял министр путей сообщения князь М. И. Хилков. Трасса от Челябинска до Владивостока длиной в 7112 вёрст[1] была разбита на шесть участков: Западносибирский, Среднесибирский, Кругобайкальский, Забайкальский, Амурский и Уссурийский.

Строительство железной дороги от Челябинска до Владивостока продолжалось с 1893 до 1903 года, вспомогательных веток (участка Ачинск—Минусинск, Амурской, Южно-Сибирской, Уссурийской и Китайско-Восточной железных дорог)—до 1925 года. Помимо строительства железнодорожного полотна, производилась нарезка земли под будущие поселения, строились станции, вокзалы, водонапорные башни, гидротехнические сооружения и мосты—сотни малых и двадцать восемь внеклассных, то есть большой протяжённости: на малых реках—временные деревянные по проектам Д. И. Журавского, через крупные реки—постоянные из металлических ферм по проектам Н. А. Белелюбского, А. В. Семиколенова, Л. Д. Проскурякова. Границей Среднесибирского участка длиной в 1848 км, к которому относился Красноярск, на западе стал мост через Обь, на востоке—город Иркутск.

Мост через Обь—девятипролётный, длиной более 700 м, построен по проекту Н. А. Белелюбского. Руководитель изыскательских работ и строительства—инженер и писатель Н. Г. Гарин-Михайловский. Строитель моста В. И. Березин впервые применил «русский метод»—выморозку шахт под кессоны.

Геодезические изыскания были проведены для Транссиба в семидесятых—восьмидесятых годах девятнадцатого века. Этой работой на Среднесибирском участке руководил Н. П. Меженинов, возглавивший затем управление по строительству дороги на этом участке, укладкой пути руководил Г. Яворовский, строительством мостов—Е. Н. Кнорре.

Железная дорога от Оби до Красноярска, более 700 км, строилась с 1893 по 1895 год. Ещё через три года путь дошёл до Иркутска. Работы на участке Красноярск—Иркутск начались в мае 1894 года в пяти верстах от Красноярска по реке Бугач.

По воле императора Александра III при строительстве Сибирского пути использовались местные материалы и русская рабочая сила. Строили дорогу солдаты и казаки—государевы люди, арестанты и ссыльнокаторжные, пробиваясь через тайгу, болота, реки и горы, используя лопаты и кирки, подводы и тачки, но технология была чёткой—в день укладывали до пяти вёрст пути.

За строителями следовал поезд: четырнадцать вагонов—жильё для рабочих по двадцать человек в каждом, вагон—контора, вагон распорядителя работ, дорожных мастеров, санитарный, лавка и кладовая, кузница и церковь (на семьдесят человек). Иногда строители оседали в бараках населённых пунктов.

Материал для строительства доставлялся с русских заводов: цемент—с Глухоозёрского завода, рельсы, костыли—демидовской плавки с Урала, литое железо для мостовых ферм—из Нижнего Тагила. Единственный участок Минино—Красноярск (семнадцать километров) получил рельсы английские, ранее доставленные по Северному морскому пути.

18 июня 1893 года из Думбертона вышел англо-русский караван судов—под командой капитанов Виггинса и Л. Ф. Добротворского. (Капитан Виггинс неоднократно наведывался в Сибирь, на Енисей, доставляя из Англии техническое оборудование и увозя сырьё.)

Военные корабли, построенные в Англии,—«Лейтенант Овцын», «Лейтенант Малыгин», «Лейтенант Скуратов»—22 августа, пройдя Северным морским путём, прибыли в Гольчиху (река в устье Енисея) с грузом рельсов для железной дороги. Груз был перегружен на пароход А. Гадалова «Граф Игнатьев» и три баржи, но начавшийся шторм перевернул баржи. Только в августе—октябре 1894 года морские водолазы подняли рельсы (пятьдесят тысяч пудов), и пароход «Граф Игнатьев» доставил их в Красноярск.

На Среднесибирском участке пути были оборудованы двадцать две станции, построены шестнадцать вокзалов, 1480 пассажирских платформ.

Первый поезд прибыл в Красноярск в три часа дня 6 декабря 1895 года. К тому времени были построены вокзал высшего класса (архитектор Н. М. Соловьёв, строители архитектор Тисяковский, десятник Шевченко), каменный корпус локомотивного депо. Первым начальником станции стал В. Чернышов, под его началом—двести сорок девять рабочих и служащих.

В 1894 году для обслуживания железной дороги в Красноярске было открыто Первое Сибирское техническое железнодорожное училище (с 1895 года—имени Николая II), ныне—Красноярский техникум железнодорожного транспорта

1. 1 верста—1,0688 км.

(ул. Новая Заря, 2). Первый начальник училища — Н. Я. Добрынин. Здание училища сохранилось на территории бывшего комбайнового завода.

С 1905 по 1917 год директором училища был А. Ф. Порадовский, выпускник Петербургского технологического института. 28 октября 1918 года А. Ф. Порадовский (большевик, комиссар железной дороги) был расстрелян белогвардейцами.

По плану, утверждённому в 1890 году, активно застраивалась Николаевская слобода, где селились железнодорожные рабочие. В 1896 году открыта железнодорожная больница — ныне Дорожная клиническая больница на станции Красноярск (ул. Ломоносова, 47), по дороге — двадцать фельдшерских пунктов. В 1897 году в Красноярске заработали Главные железнодорожные мастерские (с 1930 года — паровозовагоноремонтный завод, с 1940-го — электровагоноремонтный завод).

В 1900 году (по ул. Профсоюзов, 32) построено здание железнодорожного собрания, с 1920 года — клуб железнодорожников имени К. Либкнехта (здание не сохранилось). В 1900 году основана дорожная (с 1905 года — профсоюзная) библиотека железной дороги, с 1981 года — дорожная библиотека Дорпрофсожа Красноярской железной дороги, с 2015 года — библиотека Дорожного центра научно-технической информации, находится по ул. Ломоносова, 102. Вблизи вокзала (на месте будущего здания «Красэнерго») в 1913 году была освящена Спасская железнодорожная церковь.

3. «Царский» мост через Енисей

До марта 1899 года железнодорожные составы от станции Красноярск по дополнительной ветке шли к станции Левый Енисей, оборудованной поворотным кругом, затем — зимой по рельсам, уложенным по льду, летом на пароме — до станции Правый Енисей.

Железной дороге был необходим постоянный и надёжный переход через Енисей. Работы по изысканию места для моста начались с июня 1893 года. В феврале 1895 года состоялась закладка железнодорожного моста через Енисей и началось его строительство. 30 августа 1896 года был заложен памятный камень в основании первого моста. Состоялись молебен, прогулка на пароходе «Россия», обед в Благородном собрании. Перед городом Енисей (на языке эвенков Ионесси — Большая вода, по-киргизски Эне-сай — Мать-река) шёл главным руслом и протоками, имел ширину в 1 версту 375 саженей[2] (1750 м), глубину местами до восьми метров и скорость течения три-пять метров в секунду. Толщина льда достигала полутора-двух метров. Замерзал Енисей, как правило, 13 ноября, вскрывался 2 мая.

Проектировал мост профессор Московского технического училища Л. Д. Проскуряков, строили инженер Е. К. Кнорре в качестве технического руководителя проекта и генподрядчика и инженеры П. И. Масленников и Зенькевич.

До постройки моста через Енисей с 1891 по 1895 год при укладке пути на Среднесибирском участке под надзором Е. К. Кнорре были построены несколько мостов и гидротехнических сооружений: мост через реку Томь (шестипролётный), труба через реку Тайменку, мост через реку Кию (четырёхпролётный), мост через реку Яю (двухпролётный), мосты через реки Тяжин, Косуль, Б. Кемчуг, Качу, Гладкую, Ушайку и другие.

Мост через Енисей имел длину в 907 м, был шестипролётным, с длиной пролёта в 144,5 м, на пяти русловых и двух береговых устоях. Впервые в мире были использованы облегчённые мостовые фермы с шириной пролёта в 5,9 м и высотой в 20 м.

При строительстве русловых устоев производилась выморозка шахт под кессоны на площадках в 179 кв. м, что давало возможность не только углубляться в русло (до 20 м), но и вести кладку опор на самих кессонах. Для береговых опор использовались кессоны из лиственницы, что было быстрее и дешевле. Для строительства опор использовали сиенит (сорт гранита), разобрав Такмаковскую гряду вблизи Мохового ключа, и бирюсинский гранит (шестьдесят километров выше Красноярска).

Фермы моста собирались на берегу, их детали изготавливались в механических мастерских, построенных Кнорре на станции Паломощной. Все соединения деталей выполнялись с помощью заклёпочных швов. Поперечно-продольная надвижка ферм (по три от каждого берега) производилась по каткам на рельсовых путях, уложенных на деревянных помостьях, с помощью специально сделанного деревянного крана (высотой 28 м и шириной 42 м).

28 марта 1899 года комиссия во главе с Н. А. Белелюбским приняла мост в эксплуатацию. Епископ Енисейский и Красноярский Евфимий совершил благодарственный молебен и окропил мост, дойдя до второго пролёта, дальше проследовал ключарь кафедрального собора. Испытания моста проводились составом из четырёх паровозов системы «Компаунд» и двадцати трёх платформ, гружённых рельсами.

Скорость испытания составляла 30–35 вёрст в час. В дальнейшем для грузовых составов предусматривалась скорость 12 вёрст в час, для пассажирских — до 20.

1 января 1899 года участок Красноярск — Иркутск был передан Управлению казённых железных дорог для организации платного движения. Поезд от Москвы до Красноярска шёл одиннадцать суток.

Мост получил мировое признание. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году были представлены макет моста длиной в четыре сажени

2. 1 сажень — 2,1336 м.

(точная копия железнодорожного моста через Енисей), деревянный, из лиственницы, кессон и панорама Великого Сибирского пути на 942 м полотна художника П. Я. Пясецкого.

Автору конструкции моста Л. Проскурякову присвоили Гран-при, Е. К. Кнорре вручили Большую золотую медаль за технологию строительства. Художник П. Я. Пясецкий за панораму Транссиба был награждён Большой золотой медалью и орденом Почётного легиона.

Модель моста хранится в Санкт-Петербурге, в Центральном музее железнодорожного транспорта; Большая золотая медаль — у наследников Е. К. Кнорре, в 1999 году экспонировалась на музейной биеннале в Культурно-историческом центре на Стрелке. Рулоны панорамы хранятся в запасниках Эрмитажа.

4. «Советские» мостовые переходы

Второй железнодорожный мост был построен по подобию первого, «царского», моста в 1937 году. 8 сентября 1936 года проект и смета на строительство моста были утверждены наркомом путей сообщения Л. М. Кагановичем.

В Музее истории Красноярской железной дороги сохранился календарный график работ по сооружению моста (начальник строительства — Домиянц, главный инженер — Гребенник). Все работы распределены подекадно в двадцати восьми пунктах графика — от завоза рабочей силы, материалов и оборудования до разборки помостий и очистки русла.

Стройка велась по старым традициям: устанавливали тепляки, кессоны опускали в водное русло, повышали давление внутри кессонов до трёх — трёх с половиной атмосфер, производили выемку грунта под фундамент устоя, огораживали место опоры забивкой шпунта, осушали котлован, вели кладку фундамента и устоев. Эту работу выполнили с октября 1936 года по май 1937-го. Детали ферм изготавливались Днепропетровским металлургическим заводом. Сборка и клёпка ферм производились на берегу с июля по сентябрь 1937 года, их установка — один месяц. В декабре 1937 года мост был сдан в эксплуатацию (строился всего полтора года). Мост служит железной дороге по сей день. «Царский» же мост разобрали (с 2002 по 2007 год), несмотря на то что в 1986 году мост был Министерством культуры оформлен как памятник инженерной строительной техники и отечественной архитектуры; в 1987–1990 годах специалисты ОАО «Трансмост» (руководитель И. А. Ляпустин) провели проверку прочности и капитальный ремонт моста. В 2001 году мост был включён ЮНЕСКО в список памятников, находящихся под угрозой уничтожения. Специалисты и общественность боролись за сохранение моста, предлагая перенести фермы или использовать его как пешеходный. Но, простояв сто три года, «мост трёх веков» был разобран.

В 1999 году на наращённых ледорезах опор царского моста встал новый железнодорожный. Проект моста выполнен ОАО «Трансмост» (Санкт-Петербург), построен Мостоотрядом № 7 (начальник отряда — В. П. Ильинов[3], главный инженер — В. П. Красильников[4]) .

Решение о строительстве Коммунального автодорожного моста через Енисей было принято 18 января 1940 года. Предполагалось его строительство в створе улицы Вейнбаума или Сурикова. Но до его строительства было ещё далеко. Временный мост появился в Красноярске в 1942 году. Мост состоял из девяноста пяти плашкоутов, сначала деревянных, затем металлических; в ночное время (с двух до шести часов) разводился для прохода судов. Мост прослужил городу девятнадцать лет.

В эти же годы пассажиров перевозили два парохода: «Пушкин» и «Вейнбаум». Капитан парохода «Пушкин» Ильина Мария Николаевна — лучший капитан Министерства речного флота.

Строительство постоянного автодорожного моста началось только в 1956 году. Проект моста разработали в 1953–1956 годах специалисты Гипрокоммундортранса (Ленинград)[5].

Общая длина мостового перехода — 2,2 км, ширина — 25 м; через основное русло — пять пролётов по 158 м, дамба длиной в 630 м со съездами по обеим сторонам и ещё шесть сборных сводов по 30 м длиной. Промбаза Мостоотряда размещалась на острове Отдыха, контора и жилые вагоны — на пустыре (от современного кинотеатра «Юбилейный» до гостиницы «Турист», ныне «Амакс»). Железобетонные полуарки моста массой в полторы тысячи тонн изготавливались на острове Отдыха, откуда с пирса «Ковш» на плавсистемах буксировались в рабочем положении вниз по течению почти на

3. Ильинов Василий Прохорович начал работу в Мостоотряде № 7 с 1975 года, после окончания Красноярского политехнического института. С 1994 по 2016 год — начальник Мостоотряда № 7. Почётный дорожник России, почётный транспортный строитель.

4. Красильников Валерий Петрович в Мостоотряде № 7 с 1978 года, после окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1988 по 2013 год — главный инженер предприятия. Почётный транспортный строитель.

5. Руководитель проекта Дмитриев А. И. (1878–1959), доктор архитектуры, профессор, обращался к теме «Мост через Енисей» ещё в 1945–1946 годах. Соавторы проекта — Т. К. Ивашова, П. А. Егоров, С. С. Решетников, А. П. Якубян. Строители моста — Мостоотряд № 7 (начальник отряда — Н. А. Богдзель, главный инженер — И. П. Калинников). Богдзель Николай Андреевич (1909–1987) — начальник Мостоотряда № 7 с 1952 по 1961 год, лауреат Ленинской премии; участвовал в строительстве мостов через реки Обь, Енисей, Днепр.

километр. Буксировка проводилась теплоходами «Вл. Ленин», «Красноярский рабочий», «М. Калинин». Руководил операцией капитан-наставник М. А. Чечкин, выполняли капитаны А. Н. Захаров, Г. М. Угрюмов, главный инженер Мостоотряда И. П. Калинников.

17 октября 1961 года, после испытания на прочность, с оценкой «отлично» мост был принят в эксплуатацию. В два часа дня по мосту прошёл первый трамвай. (Трамвайные пути убрали в 1995 году.)

Коммунальный мост стал украшением города, известен во всём мире, вошёл в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира». Лауреатами Ленинской премии стали проектировщики и строители П. А. Егоров, Т. К. Ивашова, Н. А. Богдзель, И. П. Калинников, А. И. Бахтин[6].

В 1986 году город украсил пешеходный вантовый мост на остров Татышев длиной 660 м («Гипрокоммундортранс», г. Москва, архитектор Г. М. Яновский). Мост носит имя Виноградова Сергея Николаевича — начальника Мостоотряда №7 с 1968 по 1994 год, Героя Социалистического Труда.

С 1978 по 1986 год велось строительство второго коммунального моста — Октябрьского. Мост прошёл через остров Татышев, соединив Советский район с Кировским и Ленинским. Проект моста разработало ОАО «Ленгипротранс» (Санкт-Петербург, руководитель проекта — К. П. Виноградов), подходы к мосту — специалисты института «Красноярскгражданпроект» (руководитель — М. И. Андреев). Строитель моста — Мостоотряд №7[7]. Производственная база строительства была подготовлена в 1977–1978 годах на территории бывшего лётного поля ДОСААФ в Кировском районе. Протяжённость моста — 2605 м, ширина — 35,8 м, длина судоходного пролёта — 200 м. При монтаже металлического пролётного полотна успешно использован метод автоматической сварки под флюсом (совместно с НИИ электросварки АН УССР имени Патона, г. Киев).

Одновременно со строительством Октябрьского моста строился мост «777» (1979–1982 годы)[8]. Мост «777» — стратегический железнодорожный переход, но в процессе строительства было принято решение совместить его с автодорожным, то есть связать выезд с Северной объездной дороги и проспекта Металлургов с правым берегом вблизи посёлка Фестивальный Ленинского района, что и было успешно сделано. Мост используется для пригородных электричек и автомобильного движения. Протяжённость моста — 602 м, общая ширина — 11,2 м.

Со строительством этих мостов — Октябрьского и «777» — началась новая эра в мостостроении: установка опор проводилась по новым технологиям — на буронабивных сваях. Буровые станки углубляются в дно русла на глубину до 30 м (в зависимости от породы), формируя скважину диаметром 1,5 м. В скважину опускается металлический каркас, который заполняется бетоном. Участок со сваями огораживается металлическими балками — шандором, откачивается вода, «посуху» сваи объединяются фундаментом — ростверком, на который устанавливается опора моста. Благодаря новейшим технологиям мост «777» построен за два года и девять месяцев вместо запланированных четырёх лет и девяти месяцев.

В 2008 году за три года и восемь месяцев построен ещё один мост через Енисей — Кубековский — на глубоком транспортном обходе города. Новый путь освободил Красноярск от большегрузного транспорта (до тридцати пяти тысяч единиц в сутки). Он включает тридцать два километра дороги, четыре транспортные развязки, восемь путепроводов, два малых моста и мост через Енисей — главный объект строительства. Новый обход — часть федеральной трассы М-53 «Байкал» — включён в федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России (2003–2010)», в то же время он соединил старинные местные дороги — Московский (1741) и Енисейский (1822) тракты.

Проект моста разработан ОАО «Трансмост» (Санкт-Петербург), руководитель Б. Кецлах. Строители моста — Мостоотряд №7, начальник отряда В. П. Ильинов и главный инженер В. П. Красильников. Заказчик строительства — Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю, руководитель В. Кисляков. Длина моста — 814,3 м, русловый пролёт — 231 м, самый большой на Енисее. Мост венчает и держит арка, опирающаяся ниже рабочего полотна дороги на опоры моста и арочки-подпруги.

Опоры моста установлены на фундаменте, стоящем на буронабивных сваях. Для надвижки неразъёмного пролётного полотна длиной в 483 м и массой 2750 тонн использовались четыре временные опоры и домкраты монтажного устройства.

Металлоконструкции моста изготовлены на Восточно-Сибирском заводе металлоконструкций в Назарово. Арки моста впервые в России окрашены в цвета российского флага. Мост в народе называют Путинским: 21 октября 2008 года красную ленточку перерезал Владимир Путин.

6. Дмитриев Александр Иванович умер 2 декабря 1959 года в возрасте 81 год, когда строительство моста ещё не было закончено. Бахтин Анатолий Иванович (1928–1979) — начальник Мостоотряда №7 с 1961 по 1968 год, лауреат Ленинской премии.

7. Начальник отряда — С. Н. Виноградов, главный инженер — В. А. Добарский.

8. Мостоотряд №7, начальник — С. Н. Виноградов, главный инженер — В. А. Добарский.

Со строительством Красноярской ГЭС (1956) началось строительство федеральной автодороги в Дивногорск (трасса М-54 Красноярск — Абакан) и железнодорожной ветки длиной в 30 км (1962). В строительстве десятков мостовых переходов и искусственных сооружений приняли участие строительные организации: Мостострой № 2, Мостопоезд № 442, Строительно-монтажный поезд № 298, Мостоотряд № 7, «Красноярсктрансстрой», «Красноярскгэсстрой», трест «Уралтранстехмонтаж» и другие организации.

В черте города по реке Базаиха три капитальных мостовых перехода: мост к канатно-кресельной дороге в Бобровом логу (2005), в створе улицы Свердловской (2006) и железнодорожный мост (1962). К этому времени построены все мосты и искусственные сооружения по железнодорожной ветке (более пятидесяти), крупнейший из них — совмещённый на пяти опорах мост через реку Мана в посёлке Усть-Мана.

До 1956 года от деревни Базаиха (основана в 1885 году) шла грунтовая дорога к старообрядческому скиту (на территории Дивногорска).

5. Четвёртый мостовой переход

Постановление о строительстве четвёртого автодорожного моста через Енисей было принято департаментом градостроительства в апреле 2007 года.

27 октября 2011 года на правом берегу, в ста семидесяти метрах выше по течению от железнодорожного моста, в присутствии министра МЧС С. К. Шойгу, губернатора Красноярского края Л. В. Кузнецова, главы администрации города П. И. Пимашкова была заложена капсула — символ предстоящего строительства.

В строительстве мостового перехода объединены два проекта: «Строительство 4-го автодорожного моста через реку Енисей в г. Красноярске» и «Левобережные и правобережные подходы к 4-му мостовому переходу через р. Енисей в г. Красноярске» (ОАО «Трансмост», Санкт-Петербург, руководители Б. А. Кецлах, В. А. Галахов; ТГИ «Красноярскгражданпроект», руководитель М. И. Андреев).

Технологической «добавкой» к проектам стала прокладка двух труб трубопровода подачи тепла от ТЭЦ-2 Центральному, Октябрьскому и Железнодорожному районам. Трубы диаметром 1000 мм рассчитаны на пятьдесят лет службы: толщина стенки — 14 мм вместо обычных 10 мм. Работа выполнена ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», входящим в состав ООО «Сибирская генерирующая компания». Заказчик строительства мостового перехода — Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю (руководители В. В. Цыщук, Н. М. Лукьянов). Генеральный подрядчик — ОАО «Сибмост», президент А. А. Кошкин (г. Новосибирск). Основные работы выполнены Мостоотрядом № 7.

В строительстве моста приняли участие пять строительных участков под руководством старших производителей работ (Крючков Д. Б., Звенцов П. А., Евмененко Н. А., Григорьев Н. В., Торубаров А. В.). Помимо головного отряда мостостроителей, в строительстве четвёртого автодорожного мостового перехода приняли участие городские и краевые предприятия: ООО «ДПМК Ачинская» (гендиректор А. А. Секирко); «Трансмост» (гендиректор А. А. Антонов); ПМК «Сибирь» (директор Р. А. Паниотов); «МС Антикор» (гендиректор Д. Д. Константинов); «Антарес» и «Антарес-С» (директоры Д. Г. Феоктистов и А. В. Манчак); «Сибтрансспецстрой» (директор В. С. Дмитриев); «Строймеханизация» (рук. А. А. Дмитриев); «КДСК» (гендиректор С. Н. Поворотный); «Дорремстрой» (гендиректор Ю. П. Бриц). Всего в строительстве принимали участие две тысячи двести человек.

Начало строительства мостового перехода — 4 июня 2012 года, окончание — 29 октября 2015 года. Четвёртый мостовой переход обеспечивает транспортные удобства жителей, связь двух федеральных трасс — «Байкал» и «Енисей», близость главных спортивных объектов города — Бобрового лога и Николаевской сопки, дальнейшее экономическое и культурное строительство на близлежащих территориях. Так, многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» на семь тысяч мест в микрорайоне «Тихие Зори» планируется построить к 2018 году для проведения мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады.

Помимо ледового дворца, здесь планируется разместить торгово-развлекательный комплекс, жилой район и мультимодульный пересадочный центр. Но полноценное использование мостового перехода будет возможно только к 2018 году, когда левобережная транспортная развязка улицей Волочаевской свяжется с улицей Копылова.

Начало трассы — улица Дубровинского, конец — улица Свердловская. При этом учтена возможность мостового перехода до улиц Копылова и Судостроительной.

Общая протяжённость мостового перехода — 6771,01 м, длина моста — 1273,35 м, длина пролёта — 144 м, мостовых опор — 22 м (из них семь русловых), движение по мосту — шестиполосное, по транспортным развязкам — двухполосное.

Мостовой переход конструктивно разделён на три участка: русловая часть, левобережная эстакада главного хода, правобережная эстакада главного хода.

Левобережная развязка с ул. Дубровинского — 2337,85 м с пятью путепроводами (903,05 м) и одной подпорной стенкой, правобережная с ул. Свердловская — 3159,8 м с тремя путепроводами (677,34 м) и пятью подпорными стенками (561,81 м).

Расход основных материалов составил: сборного и монолитного железобетона — 55 153 куб. м, металла — 28 622 т.

Опоры моста и транспортных развязок установлены на буронабивных сваях (диаметр свай — 1,5 м, диаметр неизвлекаемых труб — 1,42 м для русловой части моста).

Буровые установки размещались на технологических площадках либо в виде полуостровков на щебёночном основании с покрытием из железобетонных плит, либо в виде эстакад из труб диаметром 1020 мм. По мере заполнения скважин бетоном разрабатывался котлован, устанавливались шпунтовые панели (ограждение котлована), откачивалась вода, сваи объединялись ростверком, и сооружалась железобетонная конструкция опоры. Максимальная высота русловых опор от подошвы фундамента до опорных площадок — 28 м. Высота пролётного строения над опорами составляет 12 м.

Пролётное строение русловой части моста (776,68 м) — цельнометаллическое балочное, неразрезное, усиленное подпругами. Длина пролёта в 144 м и решётчатые подпруги — дань соответствия железнодорожному мосту по условиям судоходства и по стилю.

Неразрезная балка русловой части моста состоит из восьми главных балок двутаврового сечения длиной 21 м, высотой 3,16 м и 2,5 м в пределах подпруг. Балки попарно объединены в четыре коробки. Коробки соединены ортотропными плитами (повышенной жёсткости) и системой продольных и поперечных связей. Монтажные соединения — сварные и фрикционные болтовые (м22). Одежда ездового полотна — из защитно-сцепляющего слоя и асфальтобетонного покрытия. Предусмотрены наружное освещение, архитектурная подсветка, видеонаблюдение, судовая сигнализация и другие транзитные коммуникации.

Большие земляные работы проведены при строительстве эстакад транспортных развязок. Высота насыпи на левом берегу — до 17 м. Высота эстакад над автодорогами — 5 м, над железнодорожными ветками — до 7 м.

Торжественное открытие моста состоялось 29 октября 2015 года. Приняли мост в эксплуатацию министр транспорта Российской Федерации М. Соколов, губернатор Красноярского края В. А. Толоконский, спикер Законодательного собрания А. В. Усс, министр транспорта Красноярского края С. Ерёмин, глава администрации города Э. Ш. Акбулатов, депутат Государственной думы П. И. Пимашков, президент ОАО «Сибмост» В. А. Кошкин. Первыми по мосту с флагами Универсиады 2019 года проехали велосипедисты и колонна ретро-автомобилей. Автобусное движение открыто 31 октября 2015 года.

6. Мосты и мостики Качи

Река Кача (Изыр-Су — Езерская вода) берёт начало в отрогах Восточного Саяна. Протяжённость реки — 102 км, в черте города — около 6 км.

В книге «Енисейская губерния» (СПб., 1835) первого енисейского гражданского губернатора (1822–1831) А. П. Степанова читаем: «Ничего нет лучше, как мосты по всей Восточной Сибири, следовательно, и в Енисейской губернии. Неровные спуски с высоких гор, обрывы, утёсы, беспрестанные речки, места болотистые, и все на дороге большой требовали устройства надёжных переправ, — все мосты Восточной Сибири построены прочно и надёжно. В Енисейской губернии считается до 171, и один из них, прямой как стрела, простирается на 2½ версты через речку Пойму». В те годы в Красноярске не было ни одного моста. Первые мосты вблизи города были построены на четвёртой и восьмой верстах через реку Бугач по Московскому тракту в 1824 году.

14 апреля 1813 года красноярский городничий Осипов обратился в городскую Думу с предложением построить мост через Качу: «для безопасного и безостановочного движения по Енисейскому тракту почт, эстафет, курьеров и проезжающих по подорожным разных званий людей, ровно и для пользы жителей города для подвоза хлеба и различных припасов».

Строительство моста Дума 7 июня 1813 года отклонила, вспомнив, что «более уже тридцати лет назад мост был построен, но снесён половодьем». Особой нужды в постройке моста не нашли, так как наводнение недолгое, «не более недели или двух», и летом всегда есть «беспрепятственный проезд», то есть брод.

Брод находился в створе переулка Приютского (улица Парижской Коммуны) — отсюда начинался Енисейский тракт (1822), «транспортный поток» по которому постоянно увеличивался. В Енисейской губернии (с 1828 года) развивалась золотодобыча, на Старый базар из соседних деревень (Солонцы, Вознесенка, Нанжуль и другие) подвозились продукты, два раза в год совершался крестный ход к часовне на Караульной горе. С 1842 года хоронили горожан на Троицком кладбище.

26 января 1838 года генерал-губернатором В. И. Копыловым было принято решение о строительстве моста через Качу. Выбор места и составление проекта были поручены енисейскому губернскому архитектору А. И. Полякову.

Остановились на свайной конструкции: тридцать два ряда по восемь свай в ряд. Глубина забивки свай — 2 сажени, опиловка не допускалась. Длина моста — 46 саженей, ширина — 5.

18 ноября 1843 года первый мост через Качу был принят в эксплуатацию. Мост находился в створе переулка Покровского (улица Сурикова). В 1879 году мост пришёл в негодность, езда по

нему была прекращена, дорога снова пошла вброд через Качу.

В 1884 году мост был отстроен заново. Работа производилась при участии архитектора А. А. Лоссовского. Мост называли Хилковским, по фамилии купца, имеющего домовладения в этой части города, с 1921 года — Крестьянским.

В середине XIX века по Каче размещалось множество «заведений и торговых точек».

В 1866–1867 годах генеральная проверка торговли и промыслов в Красноярске установила наличие 538 таких учреждений. Население города составляло 10 700 человек.

Так, по берегам Качи размещались: водяная мельница купца М. И. Сажина; кожевенный завод купца И. Д. Попова; водочный завод купца первой гильдии Д. С. Щёголева; оптовый склад купца И. И. Токарева; пивоваренный завод купца К. Шнейдера; торговые бани казака Терентьева и купца М. Сажина; мясная лавка купца Ф. И. Хилкова; кожевенный завод купца М. Д. Петрова; оптовый склад хлебного вина Д. Щёголева; водочный завод купца Н. Водовозова.

Вдоль Качи размещать «заведения» было выгодно — вода уносила нечистоты. Берега Качи зачастую были местом свалки «назёма и мусора». Этим же материалом жители поднимали уровень низменных мест, строили жильё, разводили огороды, укрепляли берег деревянными сваями и «мостовой в плетнях».

В 1873 году был построен мост на каменных устоях в Закачинскую слободу. Он назывался Нижне-Качинским. Этот мост постоянно чинили и переделывали.

Мост снесло наводнение 1 мая 1941 года, когда у острова Татышев возник затор: огромные глыбы льда хлынули в Качу, затопило все мосты, кроме Юдинского.

В 1895 году был построен мост по переулку Почтамтскому (улица Перенсона). На месте висячего зыбкого мостика подрядчиком Т. Я. Вараксиным был построен мост на «свинках» (деревянных срубах, заполненных камнями). Мост называли Радайкиным, по фамилии братьев — владельцев конфетно-кондитерской фабрики у Качи. Юдинский мост через Качу построен вблизи жилого дома купца Г. В. Юдина (ул. Закачинская, 136). От юдинской усадьбы дороги вдоль Качи на запад (ныне улица Брянская) в ту пору не было.

Берега Качи в черте города в шестидесятые — восьмидесятые годы двадцатого века введены в единое русло, береговые скаты укреплены бетонными плитами. На участке в 3,2 км от переулка Речного до устья благоустроена набережная (проект выполнен ТГИ «Красноярскгражданпроект», руководители В. И. Кривоносов, М. И. Андреев, А. М. Погудин).

Наличие в городе зоны отдыха по берегам Качи — большая заслуга городских властей, в том числе П. И. Пимашкова. Старые деревянные мосты через Качу убрали, и её берега с 1961 года соединили десять железобетонных автодорожных мостов и семь пешеходных. Официальных названий мосты, кроме Юдинского, не имеют. Их обозначают по названию улицы, в створе которой они расположены: Белинского (240 м, 1987), Ленина (67,7 м, 1961), Каратанова (70 м, 1984), Сурикова (62,2 м, 1961), Вейнбаума (136 м, 1984), Перенсона (54 м, 1971), Обороны — Юдинский (60 м, 1988), два моста по Брянской (54 м и 68 м, 1983), Калинина (73 м, 1962).

Мосты через Качу проектировались разными организациями: в створе улицы Сурикова — «Гипрокоммундортранс», улицы Калинина — «Красскрайгорпроект», мостики у Колхозного рынка — трест дорожного строительства.

Все остальные мосты, как и набережную, проектировали специалисты ТГИ «Красноярскгражданпроект». Руководитель проекта — В. И. Кривоносов, главный инженер — М. И. Андреев, архитектор — А. М. Погудин. Все мосты Качи построены Мостоотрядом № 7 (руководитель — С. Н. Виноградов).

В 2015 году начата перепланировка мостового перехода по улице Калинина, которая свяжет улицу 2-ю Брянскую и улицы Маерчака и Калинина. Проект подготовлен ОАО «Трансмост» (Санкт-Петербург). Строители моста и двухуровневой развязки — Мостоотряд № 38 ОАО «Сибмост». Предполагается окончание работ к 2017 году.

Транспортная развязка на улице 2-й Брянской — часть первого транспортного кольца города, включающего в себя путепровод на участке от Северного шоссе до улицы Авиаторов и четвёртый мост через Енисей.

7. Творцы-созидатели

В строительстве мостовых переходов в Красноярске принимали участие многие предприятия города и края, но, начиная с 1956 года, основным строителем становится Мостоотряд № 7 — Красноярский филиал ОАО «Сибмост» (г. Новосибирск, президент А. А. Кошкин, с 2016 года — В. А. Кошкин).

В 2016 году предприятие отметило свой 75-летний юбилей[9]. В отряде (по данным 2016 года) 835 человек, из них 98 инженерно-технических работников.

По решению Государственного комитета обороны (председатель ГКО — нарком обороны И. В. Сталин) в октябре 1941 года, в тяжелейшее время Великой Отечественной войны, был сформирован военный восстановительный поезд № 53.

9. Директор Мостоотряда № 7 — В. Б. Русинов, главный инженер — М. В. Мельников, начальник производственно-технического отдела — Г. В. Пономарёва.

В сентябре 1942 года спецформирование получило наименование «Мостовосстановительный поезд №424», в 1946 году — «Мостоотряд №7».

В течение всего периода военных действий были восстановлены и отремонтированы сотни тысяч мостовых переходов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками. Среди них — мостовая переправа с пролётом в 158 м через канал Москва — Волга. После окончания Великой Отечественной войны Мостоотряд №7 восстановил крупнейший в Европе мост через реку Старый Днепр в Запорожье (совмещённый мост с 228-метровой железобетонной аркой).

С 1956 года деятельность предприятия связана с Красноярском и Красноярским краем.

Коллективом Мостоотряда №7 построены сотни мостов через крупнейшие реки Сибири — Енисей, Обь, Чулым, Ангару, Кан, Норильскую, Кемчуг, мосты и эстакады на федеральных автомобильных трассах «Байкал» и «Енисей», на путях Красноярской железной дороги ОАО «РЖД», путепроводы в городах Красноярске, Канске, Ачинске, Норильске и Дудинке, внёсшие важный вклад в развитие производственных сил региона.

Крупнейшие мостовые переходы: совмещённый мост через реку Норильскую в Заполярье, самый северный в мире — за 69-й параллелью, открывший путь к Талнахскому месторождению медно-никелевых руд (1963–1966, руководители А. И. Бахтин, В. В. Колпаков, В. Н. Никишов); внеклассный семипролётный металлический мост через Ангару в нижнем бьефе Усть-Илимской ГЭС (1970–1973, руководители Г. И. Сладков, В. Ф. Тищенко); мосты на автодороге Епишино — Брянка к Олимпиадинскому золоторудному месторождению (1986–1991, руководители А. М. Постоев, И. П. Торубаров, М. Б. Быков); мосты через Енисей в Республике Тыва (1987–1990, 1999–2002, руководитель М. Б. Быков); мосты по западному участку БАМа (1971–1980, руководители А. М. Постоев, И. И. Корсаков) и другие объекты.

Помимо мостовых переходов и путепроводов, Мостоотрядом №7 возведены крупнейшие инженерные объекты: стадион имени Ленинского комсомола на три тысячи мест на острове Отдыха в Красноярске (1965–1968); Красноярский завод мостовых железобетонных конструкций (1969–1973); причальная стенка Тобольского речного порта (1968–1969); морские, речные и пассажирские причалы в Дудинке (руководители В. Н. Никишов, В. В. Колпаков, А. К. Андросенко).

В сборник ЮНЕСКО «Мостостроение мира» включены четыре моста, построенные Мостоотрядом №7:

— мост через реку Старый Днепр в Запорожье;
— мост через реку Норильскую;
— Коммунальный и Октябрьский мосты в Красноярске.

Строительство мостовых переходов традиционно ведётся и за пределами Красноярского края: в Новосибирской и Иркутской областях, в республиках Тыва, Хакасия, Бурятия и на Дальнем Востоке. За многие годы в коллективе сложились добрые традиции и трудовые династии: Виноградовых, Кизиловых, Торубаровых, Редькиных, Галышевых, Лысенко, Лукиных, Федурановых, Милюкиных, Красильниковых и другие.

Мостоотряд №7, коллектив высококвалифицированных специалистов с большим производственным и техническим потенциалом, продолжает свой славный трудовой путь.

Юрий Беликов, Василий Тихоновец

Дикий гусь, улетающий в прошлое

Помните? «Лукоморья больше нет»,—пел Владимир Высоцкий. Ещё раньше советский классик сибирского происхождения Леонид Мартынов вопрошал: «Где оно, Лукоморье, твоё Лукоморье?» И, лишь оглянувшись ещё дальше, во глубину времён, мы услышим утвердительное—пушкинское: «У Лукоморья дуб зелёный…»

Однако убеждён: не всем известно, что, собственно, означает Лукоморье как таковое. Звуковое чутьё подсказывает: это изгиб морского берега, бухта, залив. А если взять славянский фольклор—заповедное место на краю мира…

На излёте две тысячи пятнадцатого года по приглашению поэта Евгения Евтушенко я принял участие в IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме, посвящённом Году литературы в России. И вот там—из уст ведущего телеканала «Культура», профессора МГУ и члена Совета по русскому языку при Президенте России Игоря Волгина—прозвучало, что сегодня отечественная литература становится, по сути, тем самым Лукоморьем, где человек ищет спасения и защиты.

«Закончатся у нас нефть и газ,—остроумно заметил Игорь Леонидович,—мы будем поставлять за границу русскую литературу, потому что это, кажется, единственное, что нам не изменит и на что не падает цена…»

Литература—наше Лукоморье. А Лукоморье—как Шамбала, перемещающаяся в пространстве. Нынче она—на Алтае, завтра—на Тибете, а послезавтра—на Северном Урале. Так и Лукоморье может, к примеру, сегодня перенестись в город Чайковский, который, как известно, географически примыкает к Удмуртии и Воткинску, а не к держащей над ним административное верховенство Перми.

Однако таково уж свойство Лукоморья, что сей прикамский град оказался ближе не только к Воткинску и Удмуртии, но и… к Канаде. Потому что именно здесь увидел свет недавний роман из серии «Сага об „Окрылённом“» живущего в Чайковском лауреата всероссийского конкурса имени Шукшина Василия Тихоновца—«Пассажир „Окрылённого“».

—Василий, по нынешним временам это почти невероятно: живёт себе в российской глубинке писатель, его даже нельзя назвать «широко известным в узких кругах». Ну да—победитель шукшинского конкурса. Но мало ли сейчас в России-матушке всяческих литконкурсов и премий?.. Наверное, каждый мученик пера (или правильней будет сказать—компьютерной клавиатуры) может щегольнуть наградной нашивкой. Однако роман этого писателя издатели замечают не на Родине, а далеко за её пределами. И книга обретает шумный читательский успех. Мне подумалось: «В былые бы времена за издание за границей собственного сочинения автору сразу бы „прилетело“. А сейчас—хоть заиздавайся». Не обидно?.. Неужели, как всегда, «заграница нам поможет»?

—Не хотелось бы начинать наш разговор «крас-сиво», но (увы!)—холстина жизни каждого из нас соткана из случайностей. Вот и мне попалась такая случайно-чужеродная заграничная «ниточка» в лице литературного агента из Канады с забавной фамилией—Ниточкин. Его предложение напечатать последний роман из «Саги об „Окрылённом“» за счёт издательства полностью совпало с моим глубоким убеждением: нельзя издавать написанные тобой книги за свой счёт. Это, мягко выражаясь, какая-то особая форма самовозбуждения или самоудовлетворения собственного тщеславия. И это тем более глупо в век Интернета, когда весь русскоязычный мир при желании может прочесть твою работу уже через минуту после её размещения на сайте.

Что касается «шумного» читательского успеха у бумажного варианта «Пассажира „Окрылённого“», то сведения об этом сильно преувеличены. К сожалению, любая бумажная книга в наше время—это заведомо безответное «письмо» по адресу «Никуда» адресату по фамилии «Никто». Обратная связь читателя с автором в виде мешков с письмами—дело далёкого прошлого. На моей страничке на сайте «Проза.ру» есть пара десятков откликов на «Пассажира…» из разных стран, где живут русские люди. Эти отклики мне дороги. А в родном городе—в цикле романов «Сага об „Окрылённом“» я назвал его Свиридовском—если обо мне ещё помнят, то, скорее, как об авторе разнообразно-скандальных статей о градо- и прочих начальниках. И это нормально:

из «большого газетно-политического секса» на провинциальном, разумеется, уровне я навсегда ушёл в две тысячи четырнадцатом году.

— В кратком биографическом предварении к «Пассажиру „Окрылённого“» сказано, что автор, явившийся на свет в пятьдесят пятом году, «родился на самом деле лишь полвека спустя, в две тысячи пятом, когда понял своё предназначение и всерьёз занялся литературой». Иными словами, ты родился как писатель не просто поздно, а заметно поздно — в пятидесятилетнем возрасте, если, допустим, вспомнить, что Виктор Астафьев, приехавший в Чусовой после Великой Отечественной, шагнул в литературу на границе своего тридцатилетия. Что же случилось с Тихоновцом в пору, когда среднестатистический россиянин задумывается о «пенсионной составляющей»? Отчего количеству потребовалось перерасти в некое качество, когда человек, говоря словами Данте, «земную жизнь прошёл до половины»?

— Потому Виктор Петрович и «шагнул в литературу» в достаточно юном возрасте, что имел уже колоссальный опыт жизни и смерти, полученный на страшной войне. Не спорю, к тридцати годам можно в совершенстве овладеть писательским ремеслом: научиться «рисовать лошадь» с помощью слов. Но, на мой взгляд, нужен ещё и собственный «строительный материал» — опыт переживания крайних состояний души и тела, опыт физических и моральных страданий, опыт любви и ревности, ненависти и предательства и множества прочих чувств. Если подобного опыта нет, то автор текста непременно «проколется» на мелочах. Так появляются пресловутые «голубые песцы на ветках развесистой клюквы». Одного такого «песца» достаточно, чтобы мгновенно перечеркнуть и обесценить весь свой литературный труд.

Потому первые полсотни лет моей жизни ушли на жестокие эксперименты с самим собой. К сожалению, от них страдали и самые близкие люди. Страдали по моей вине. Но в результате получилась довольно разнообразная биография, в которой многомесячное пребывание в той же тайге наедине с постоянными и верными спутниками — Голодом и Холодом — не самое ужасное испытание.

А потом возникло желание что-то написать. Появились первые рассказы. И понимание, что вся последующая жизнь до самой смерти — Ученичество. Наверное, в тридцать лет пишущий человек испытывает восторг от удачной строчки и собственной гениальности. В свои шестьдесят я подобных радостей уже лишён. Иногда бывает чувство спокойного удовлетворения: «Да, читать это не противно».

— У Виктора Астафьева многие произведения — от первого лица. И если даже не от первого, всё равно понимаешь, что главный герой — сам автор. У Василия Тихоновца, думаю, то же самое? Личный опыт и его осмысление, даже если «я» — это не совсем «я», — на мой взгляд, вот главное, что движет автором. Хочется выговориться. Достаточно беглой оглядки на твою биографию: служил на Кавказе в штурмовом десанте, занимался промыслом соболей, гонялся за браконьерами, был вожаком коммунистической колонии на берегах Нижней Тунгуски… Всё это жутко интересно. Обо всём хочется расспросить. Но давай остановимся хотя бы на последнем. Сейчас вновь коммунистические идеи бьют бумерангом по капитализму, который пытаются построить в России. Я вспоминаю строки образца тысяча девятьсот тридцать девятого года погибшего на полях Великой Отечественной Михаила Кульчицкого:

Уже опять к границам сизым
составы тайные идут,
и коммунизм опять так близок,
как в девятнадцатом году…

Что же в этом смысле подсказывает опыт Василия Тихоновца — не мифического, а более чем реального строителя коммунистической колонии?

— Я просто вынужден ответить цитатой из «Пассажира „Окрылённого“», в которой передан практический опыт строителя коммунизма на Нижней Тунгуске в семьдесят седьмом — семьдесят девятом годах прошлого века: «Мы вторглись на древнюю, дикую и бескрайнюю землю, чтобы добровольно-каторжным трудом застолбить для „Северной Гармонии“ первый участок нетронутой тайги, площадью в десять тысяч квадратных километров. Мы познали муки голода и близость смерти. Скудное облачение горело на нас у таёжных костров, которые только и спасали от всепроникающего холода. С упорным терпением мы латали рваное сукно одежд и зашивали раны на измождённых телах, мы строили зимовья и прорубали охотничьи тропы. И каждый испытал столько лишений, что их хватило бы не на одну человеческую жизнь. Всего за два года мы обжили и обстроили тайгу, сделав её своей. Но не было видно ни конца, ни края, ни срока этой каторге. А у любого человека есть предел… И не всякому кажется счастьем лезть в топку, чтобы сгореть за идею, если рядом нет доносчиков, глухих казематов и старательных палачей-кочегаров. И не все оказались честны… В колонии началась смута… И появилось инакомыслие…»

— «И вот уж первые доносчики… — подхватываю я твою цитату, раскрыв «Пассажира…». — Они предложили создать тайный орден по защите „Северной Гармонии“ от внутренних врагов. Судьбу тех, кто… бесследно исчезнет в тайге… „кто же станет искать?“… предлагалось решать на

особых совещаниях, состоящих из трёх человек. Для оступившихся — показательный суд... и возможное изгнание на год или два... с обязательным проживанием на виду у колонистов... разумеется, с добровольным трудом на благо колонии... и сохранением единственного права... на одежду и пищу... Всё повторилось...»

— К сожалению, это не художественный вымысел. Коммунизм — образ жизни для ангелов. А мы — животные, наделённые, к несчастью для всей планеты, человеческим разумом, подавляющим элементарный инстинкт самосохранения. Вообще, для русского человека, Юрий, самый подходящий «изм» выражается не мною придуманным, но симпатичным словом «справедлизм». Если ты достиг выдающегося положения в обществе благодаря своему труду и талантам, то это — справедливо. Народ простит тебе не только автопарк из «мерседесов», но и личный самолёт, и жилплощадь в виде роскошного дворца. Если всё то же самое нажито «непосильным трудом» на ниве коррупции, мошенничества или воровства, то такой человек — вор, он должен сидеть в тюрьме. И это — справедливо.

На мой взгляд, самый правильный вариант дальнейшего развития России можно выразить лозунгом: «Под флагом госкапитализма — вперёд, к победе справедлизма». Только государственные корпорации способны решать масштабные задачи. Мелочами пусть занимается частный бизнес.

Между нами говоря, все эти капитализмы-коммунизмы вовсе не самое главное для человечества. Согласись: каждый из нас понимает неизбежность смерти. И пытается что-то оставить после себя.

А человечество в целом почему-то уверено в своём вечном существовании, хотя способно само себя уничтожить за считанные часы. Я уж не говорю об опасностях, грозящих из Космоса. Мне кажется, что сверхзадача человечества — создание искусственного интеллекта как мозгового центра «безчеловечной» (именно так, хоть и не по правилам русского языка) цивилизации, в которой органические формы жизни просто невозможны в силу причин космического характера: отсутствия на Земле атмосферы, снижения активности Солнца, жёсткого радиационного фона и так далее. Эта цивилизация без человека должна не только сохранить и приумножить прижизненные достижения человечества, но и уметь создавать и расселять органическую жизнь, включая самого человека, на подходящих для этого планетах Вселенной.

Короче говоря, человечеству до своей неминуемой гибели нужно успеть создать Нечто с функциями и способностями Творца. Нужно не тупо верить в мифического Бога, а материализовать идею Создателя, как говорится, «в металле», опираясь на достижения науки и техники. Вот это — да! Достойная цель. А ты говоришь про какой-то коммунизм... Любой из известных истории «измов» — только один из вариантов устройства общественной жизни. Разве может набор правил быть целью? Это всего лишь средство для её достижения.

— Однако действие романа «Пассажир „Окрылённого“», который по жанру можно отнести к антиутопии, происходит осенью две тысячи шестнадцатого года. То есть, получается, мы до «той» самой осени уже докатились? И даже перешагнули? Понятно, что роман был написан лет семь или восемь назад... Так?

— Да, примерно в это время. Но последний вариант «Пассажира...» был «домучен» и опубликован на сайте в феврале две тысячи одиннадцатого...

— Но вот что любопытно: «„Железный занавес“ вновь отделил Россию от всего остального мира», — читаем на задней обложке книги. И далее: «Но кровавые репрессии остались в далёком прошлом. На их смену пришла „политическая санация“ инакомыслящих — иезуитское изобретение руководства страны». Василий, да ты, выходит, в известном смысле предсказатель? Насколько то, что описывается в «Пассажире „Окрылённого“», сбылось в нынешней — не романной — реальности?

— Как известно, реальная жизнь значительно богаче наших убогих фантазий. «Железный занавес» действительно слегка опустился, но экономические санкции — благо и спасение для нашей страны. Честно сказать, в «Пассажире...» я и не пытался что-то предсказывать. Мне было интересно создать такую модель развития России, в которой и жить — страшно, и не жить — невозможно. Если, конечно, ты любишь Родину. И потому герой романа, журналист-политсан, может уйти с поля боя достойно только одним способом: превратившись в дикого гуся, который улетает в собственное прошлое, описанное в первом романе цикла — «Тайна дикого гуся».

Приведу ещё одну цитату: «Великий смысл Закона о политической санации можно передать очень коротко: если ты не раб, а Человек, то будь готов доказывать это — в любое время дня и ночи. Лишь в этом случае твоя жизнь, и убеждения, и постоянная готовность к „смертному бою“ за счастье и свободу станут примером для общества».

В переводе с русского на «новорусский» это звучит проще и жёстче: «За свой базар нужно отвечать». Я сам старался так жить. Это очень трудная работа — не быть рабом. Особенно если живёшь в цивилизации всеобщего потребительского рабства, где потребление — смысл жизни, а Успешный Потребитель — герой нашего времени. Это настолько не совпадает с моими представлениями о смыслах и героях, что я не расстаюсь

с реально существующим кольцом из нефрита и надеюсь стать когда-нибудь диким гусём, чтобы «улететь как от сна кошмарного в пень-колоду тайгу». Эта строчка из стихотворения моего друга-колониста Ивана Климова. Он мой ровесник, а ушёл из жизни тринадцать лет назад…

И вот ещё одна мысль о том, что совпадает с реалиями жизни. Если дать полную свободу, к примеру, лесорубам или рыбакам, то первые вырубят все леса, а вторые выловят всю рыбу в Мировом океане. И профессии лесоруба и рыбака исчезнут. Потому и существуют специально обученные люди, которые занимаются лесопосадками и рыборазведением.

А теперь представь, Юрий, что полная свобода дана спецслужбам… И они искоренили всех опасно инакомыслящих. Чем дальше заниматься? Кого ловить и разоблачать, чтобы не потерять профессиональные навыки и охотничий нюх? У меня возникает наивное предположение: а не для того ли бесперебойно вещают радиостанция «Эхо Москвы» и подобные ей средства массовой информации, чтобы у спецслужбистов был постоянный фронт работы?

Приведу размышления героя романа: «Быть „политсаном“ — уже невозможно. Это звание предполагает активную борьбу с политическим режимом. В этой борьбе — единственный смысл жизни „политсана“. Но чем весомее его слово в обществе, чем выше авторитет, тем больше активных граждан становится его сторонниками, и попадает в зону интересов спецслужб, и повторяет судьбу своего кумира, становясь желанной пищей для дракона политсанации. Каждого „политсана“, абсолютно уверенного в необходимости борьбы за право людей не быть рабами системы, открыто и цинично используют как обычного провокатора. С его помощью и благодаря неуклонному соблюдению принципа „свободы слова“ выявляются инакомыслящие. Его мозг служит системе — помимо его желания».

Поэтому не удивлюсь, если современные «политсаны-провокаторы», весьма далёкие по моральным качествам от моего литературного героя, в скором времени начнут тайно или открыто получать награды «за особые заслуги перед Отечеством».

— Главный герой «Пассажира…» — офицер ГБ. Потому что «не быть офицером ГБ — невозможно», — свидетельствует автор. «Гротеск!» — скажет продвинутый читатель. А с другой стороны, когда я вчитываюсь в донесения Аркадия Алексеевича Алфёрова, по электронной почте обменивающегося информацией со своей кураторшей (к примеру: «Занятная игра „в демократию“ скрывает истинное положение вещей: абсолютную зависимость миллионов людей от некой „колоды“ политических фигур, которую можно перетасовывать в любом порядке — суть от этого не меняется…»), то понимаю: никакой это не гротеск, а фактический анализ сегодняшней ситуации в России. Я даже нашёл некоторое сходство произведений Василия Тихоновца с сатирическими творениями философа Александра Зиновьева, но он — больше философ, чем писатель. Поэтому хочу спросить: должен ли автор художественного сочинения заниматься анализом, или ему лучше остановиться в тех же границах гротеска?

— Начнём с того, что главный герой — всё-таки не офицер госбезопасности. Аркадий Алфёров — другое «я» исчезнувшего политсана, господина N. Они — антиподы. Сыщик Алфёров — один из вариантов того, кем мог стать главный герой, если бы сделал свой выбор (в романе «Деформация») в пользу «охоты на людей» в рядах КГБ. Я сам занимался охотой на браконьеров много лет подряд. Занятие весьма увлекательное и азартное. Потому что объект охоты — не дикий зверь с предсказуемо-типичными повадками, а Homo sapiens, человек разумный, да ещё и с оружием в руках. Деформация личности у любого «охотника на людей», если вовремя не остановишься, гарантирована. В конце романа Алфёров приходит к выводу: «Впервые я вынужден признать поражение и принести глубочайшие извинения за не выполненную до конца работу. Спасительная профессиональная деформация, это уже стало очевидным, не вполне коснулась моей психики. Цинизм оказался хрупкой защитой в тех обстоятельствах, к которым я причастен. Слово „поражение“ не соответствует непривычному состоянию полного опустошения». Возможно, из Алфёрова, «цепного пса» Системы, ещё получится Человек.

Что касается твоего последнего вопроса — «должен ли автор?..»… Думаю, что автор не должен, а обязан использовать все свои возможности, чтобы даже «фактический анализ сегодняшней ситуации в России» был уместен и интересен читателю. В какой форме даётся подобный анализ — «дело техники».

— Канадский издатель «Пассажира…» Борис Кригер пишет: «Сердечно благодарю Вас за радость, которую я получил от работы над Вашей книгой. Книга получилась интереснейшая». Вот ещё одна из оценок книги Тихоновца: «Три дня я читала роман, и три дня находилась под его очарованием. Как назвать, как определить то чувство странной тоски, охватившее меня по прочтении? Тоски по свободе жить своей жизнью, а не навязанной, по человеческой окрылённости или крылатости, по любви в самом высоком смысле этого слова». Многие читатели, познакомившиеся с твоей книгой, ставят Василия Тихоновца в самый престижный ряд русских писателей. А вот интересно: прочли ли

твой роман «рыцари плаща и кинжала», о которых, собственно, рассказывается в «Пассажире…»?

— Как-то не сложились у меня близкие отношения с этими «рыцарями». Поэтому просто понятия не имею, читали они этот роман или нет. Думаю, что у них и без меня хватает забот: борьба с терроризмом, бережный уход за грядкой «пятой колонны» — прополка, посадка, прореживание и так далее. Мой роман к плохому не призывает, он — предупреждение об опасности одного из вероятных путей развития России, когда бразды правления великой страной попадают в руки Центрального Комитета Государственной Безопасности и Единой Партии России. Вот такой модернизированный вариант недавнего прошлого — нквд и вкп(б) «в одном флаконе».

А свобода слова в этой выдуманной стране ставит любого честного человека перед страшным выбором: или живи молча, как все, смирившись с тем, что ты — раб Системы, или говори правду, но будь готов к «политсанации» — одиночному заключению и почётной роли «политсана» — свободного человека-изгоя, жизнь и здоровье которого тщательно охраняется Государством.

Ты бы, Юрий, хотел жить в такой России и быть рабом или политсаном, понимая, что другого варианта просто нет?

— Об этом ещё Михаил Юрьевич… «Прощай, немытая Россия! / Страна рабов, страна господ, / И вы, мундиры голубые, / И ты, им преданный народ…» Если же речь обо мне, то время от времени я себя именно таким вот «тихоновецким» политсаном и ощущаю. Это, к примеру, когда в моих текстах некий «уникальный» редактор (представь, я с этим столкнулся!) вычёркивает два «крамольных» слова — «русский» и «голубой». Причём последнее — из блистательного словосочетания, подаренного нам Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях»: «голубой воришка». Смешно?.. Уже цензурируем классику?

— «Голубые» — в мундирах и без — это отдельная тема. Чистая «крамола». Думаю, за мой рассказ «Подруги» меня бы в некоторых странах закордонья объявили отпетым гомофобом и затаскали по судам. Хватило бы первых строчек: «В промозглом ноябре 2018 года Александра Ивановна сидела у набиравшей жар печи и мелкими стежками пришивала атласную голубую звезду к тёплой куртке закреплённого за ней постояльца. Шурочка появился в её доме на окраине города Энска по разнарядке из краевого центра, почти сразу после вступления в силу Закона об амнистии и принудительной адаптации пассивных гомосексуалистов». Да простят меня мученики толерантности, но это слово вызывает у меня, русского мужика, стойкое чувство брезгливости…

— Если бы мне предложили сформулировать творческий метод прозаика Василия Тихоновца, я бы, пожалуй, назвал его приверженцем мистического реализма. Первые твои рассказы, такие как «Дим Димыч», «Когда прилетают кукушки», кстати, очень крепкие и одновременно лиричные, — это целиком и полностью произведения бывалого таёжника, чьё перо ещё не делает заступ за таёжную реальность. А вот дальше… Допустим, я читаю рассказ «Лента Мёбиуса»: «Депутатом городской думы он стал легонько, безо всяких осложнений. Если, конечно, не считать потерю ещё нескольких пальцев. Но они исчезали незаметно и безо всякой боли… В общем, он стал догадываться… почему крупные руководители никогда не ходят в общественные бани…» — читаю и осознаю, что это уже тот самый мистический реализм. Почему он вдруг стал овладевать вчерашним таёжником Тихоновцом?

— Наверное, ты прав. Но мистический реализм как метод используется автором при ощущении полной безысходности, когда ему кажется, что выхода нет. И у меня был в жизни такой период. Но при этом я всегда знал, что Россия — «огромный корабль с полями и лесами, реками и морями, с крепостными и дворянами, с героями, вождями и холопами… тихо плывёт внутри меня к какой-то неведомой цели… И убежать невозможно».

Сейчас я пытаюсь моделировать позитивный вариант будущего России. Не всё получается, потому что «придумать» целую страну очень сложно. Первая попытка — начало романа «Стена». Даже это начало было справедливо воспринято моими друзьями-читателями как очередная антиутопия. Пытался, как в анекдоте, собрать стиральную машину, а получился автомат Калашникова. Пришлось «сборку» этого романа отложить до худших времён. Вторая попытка — «Человек категории D». Началось всё с забавно-мрачного рассказа «Побочный эффект». А потом пошли продолжения, которые пока неизвестно к чему приведут. Но это уже не мистический реализм, а социальная фантастика. Писать её весело и очень увлекательно. Читать пока не стоит, хотя на сайте вывешиваю фрагменты для получения критических замечаний. Про тайгу и про любовь писать не могу уже физически.

— Кстати, на твоём сайте есть краткое предуведомление: «У каждого представителя Homo sapiens всего два серьёзных недостатка: во-первых, он — животное, во-вторых, он — разумное животное». Примерно то же самое я могу сказать о представителях фауны: у каждого животного есть два серьёзных достоинства: во-первых, они — не люди, во-вторых, они — не Homo sapiens’ы. Ты с этой перефразировкой согласен? Стало быть, ты что-то понял о людях?..

— Эта фраза на сайте приведена в очень сокращённом варианте. Суть её в том, что в фундаменте поведения биологического вида Homo sapiens лежат элементарные животные инстинкты. Мы, пардон, от рождения до смерти жрём и гадим, а в положенное время совокупляемся и размножаемся. И были бы мы органичной частью биосферы, занимая свою узенькую экологическую нишу и не мешая процветанию других видов, если бы остались животными. И всем было бы счастье. Но — увы…

Животное Homo sapiens приобрело опасное для всей планеты качество — разум. Если бы его воздействие на биосферу ограничилось только появлением кулинарии и унитазов, любовных сонетов и родильных домов…

Развитие человечества пошло по пути подавления в человеке животного начала, включая инстинкт самосохранения, и способности к выживанию. Природа планеты Земля может прекрасно жить без человека, а вот человек «один не может». Но делает всё возможное и невозможное для уничтожения собственной среды обитания. Мы рубим тонкую обшивку своего звездолёта — маленькой планеты Земля. И прорубим. Или отравимся собственными выделениями. Думаю, что всем это давно известно, но никто не испытывает при этом нормального и спасительного чувства — животного страха за будущее своего потомства. Возникает вопрос: а разумен ли Homo sapiens?

— Если смотреть конкретно на Тихоновца, который из всей череды дел, коими ему приходилось заниматься по жизни, считает (цитирую) «самым неприятным и опасным — журналистику, а самым тяжёлым и сложным — литературу», то кажется, что Homo sapiens вполне разумен. Тогда пусть он объяснит неразумным своё отношение к журналистике и литературе.

— После первой же статьи с опасным названием «Мы» в рукописной стенгазете случился большой скандал-столпотворение с воплями бдительных активистов: «Это второй Солженицын!!!» А статья была написана по материалам *открытого* партийного собрания факультета, в котором участвовали комсомольские вожаки. И меня, комсорга лучшей группы Кировского сельхозинститута, где я учился на факультете охотоведения, через некоторое время благополучно исключили «за академическую неуспеваемость и грубейшие нарушения дисциплины», без права восстановления.

Второй опыт в журналистике — рукописная листовка с критикой режима Брежнева — закончился неприятным знакомством с офицером Пермского областного управления КГБ и службой на Кавказе. Я, как теперь понимаю, очень легко отделался…

Возвращение в журналистику в постсоветские времена в качестве редактора одной из городских газет завершилось отстранением от должности за отказ написать заказной материал, а потом увольнением «за прогул». За год до скоропостижного редакторства случились выборы градоначальника. Я написал сатирическую сказку. Тоненькую книжицу размножали все, кому не лень, несметными тиражами. Народ веселился, а я, разумеется, потерял работу сразу после выборов — в связи с внезапным сокращением штатов. В этом же ряду журналистского опыта — окна в квартире, разбитые не камешками, а булыжниками. И так далее.

Если честно и бескомпромиссно заниматься журналистикой, особенно — расследованиями, то физическая гибель — очень вероятный результат. Примеров много. Один знакомый бандюган сказал мне лет восемь назад: «Ты ещё жив по одной причине: масть не меняешь. Но вопрос по тебе пока не снят». Вот потому я и считаю журналистику самым неприятным и опасным делом. Охотоведы гибнут значительно реже.

Что касается литературы, то для меня это действительно мучительный труд. Пишу очень медленно — не более пятисот-семисот слов за восемь часов работы. Во всём сомневаюсь. Почти всегда с отвращением читаю собственный свежий текст. Чувствую огромные пробелы в образовании, которые сложно заполнить. Написание романа легко сравнить с работой над художественным фильмом: можно быть гениальным оператором и снять прекрасные кадры, а потом смонтировать из них дерьмовое кино. Хорошие «кадры-картинки» у меня иногда получаются, а вот с монтажом (композицией) — большие проблемы. Короткие дистанции — рассказы — меня уже не привлекают. А марафонские расстояния — романы — мне пока не удаётся пробежать с достойным результатом. Утешаю себя тем, что занимаюсь литературным трудом всего десяток лет и всё ещё впереди.

Владимир Яковлев

У иконы чудотворной

Владимир Яковлев был человек могучий во всех отношениях — и в физическом тоже… Из астраханских рыбаков, служил в морской пехоте, мастер спорта по дзюдо, в молодости сам, без всяких там курсов-спецшкол, до очень хорошей степени изучил английский, каковой его, кажется, и кормил значительную часть жизни… По его словам, он перевёл с английского «тонну книг». Внешняя грубоватость и такой «простецкий» вид немного медлительного богатыря из русской сказки (высокий рост, мощное сложение) сочетались с добрым сердцем, мягким нравом, а кроме того — с огромной гуманитарной эрудицией. Кроме литературы, он хорошо знал русскую религиозную философию, историю…

Стихи его совершенно лишены суетности, склонности к непролазным словесным кунштюкам и частого, особенно у молодых поэтов, желания загнуть что-нибудь эдакое, языкастое, что для многих, мучающих рифмы, составляет главный предмет тщеславия перед сотоварищами по сочинительству… Тут нет ни тщеславия, ни поэтического кокетства, этой постоянной полуоглядки на себя, любимого, в его стихах — лишь горьковатый, как степная полынь его родины, привкус утекающей жизни… В молодости у него была апостольская профессия, а в конце жизни — пророческая. И вот этот невероятный всплеск его таланта и вдохновения перед смертью лично для меня является едва ли не самым убедительным доказательством того, что всякий талант — свыше и что у поэзии божественное происхождение и предназначение тоже. Может, ещё и поэтому он и не хотел печататься… Зачем? Ведь настоящие стихи — сразу Богу в уши.

Алексей Козлачков[1]

● ● ●

Мой белый кот, ушедший в зазеркалье,
Порой мне подаёт оттуда знак:
Зелёным оком в глубине сверкая,
Рассказывает он о странных снах.
И руку мне царапает до крови,
Когда, прильнув к ней, словно царь Давид,
Поёт о том, как ночь стекает с кровель,
Как ветер воли — зол и ядовит.
Мой чёрный кот, живущий в зазеркалье,
В мой сон глядит с усмешкою творца.
И зрак его, как воздух, вертикален.
И узок свет его. И нет ему конца.

● ● ●

Замыкаю свои уста.
Осеняю себя крестом.
Закатилась моя звезда
И погасла в окне пустом.

Ничего больше в мире нет,
Да и не было никогда —
Только ясный небесный свет,
Только горняя высота.

● ● ●

Где-то под Ясиноватой
Ты проснёшься (может быть)
И, ни в чём не виноватый,
Будешь в тот же миг убит.

Ты потом очнёшься в поле.
И тоска, как ржавый гвоздь,
Снова грудь твою проколет,
Прошибёт тебя насквозь.

Ты себя во сне увидишь
С мёртвым сыном на руках.
Ты на свет из мрака выйдешь
И увидишь снова, как

Где-то под Ясиноватой
Вас накроет тот снаряд
И как в дымке синеватой
Ваши души воспарят.

Ни креста, ни звёзд, ни крика —
Стылых губ не разлепить.
Будешь молча горе мыкать,
Боль глотать и слёзы пить.

Будешь каждый день, поддатый,
Горький дым зубами рвать.
Будешь под Ясиноватой
Каждой ночью умирать.

1. «Наша молодёжь» № 17 (131), 1–15 сентября 2016.

Дождь идёт

Дождь идёт по российской глубинке—
Мельтешит по суглинкам дорог,
Обрывает кусты голубики,
Обивает родимый порог.
И висит над пустой колокольней,
Утекая в бездонный песок.
И сбивается с рифмы глагольной,
И бросается наискосок.
Он идёт по бескрайним просторам
Летописной ковыльной Руси.
Остывает в лесах за Ростовом,
За Непрядвой в полях моросит.
Он идёт по заброшенным весям,
Где давно не осталось живых,
По таёжным ночным поднебесьям,
Мимо вышек сторожевых,
Мимо лагерных страшных погостов,
Где рассвет—неизменно кровав,
Где от слёз задыхается воздух
И от горя чернеет трава.
Он идёт мимо тюрем, где до сих
Пор стреляют в затылок, в упор,
Где во тьме надзиратель гундосит
И уводит в глухой коридор.
Мимо чёрных разбитых землянок
С полосою, свинцовой, сплошной,
И солдатских высот безымянных
Он идёт—проливной, обложной.
И встаёт у межи той последней,
Где кончаются беды и ложь,
Этот долгий, безудержный, летний,
Этот тёплый, сверкающий дождь.

Ветер

Выметает ветер-дворник
Наши души из Москвы
Вместе с дымом в подворотнях,
Вместе с ворохом листвы.

Выдувает, словно воздух
Из-под узких мостовых,—
Из разломов девяностых,
Из колодцев нулевых.

По Варварке и Покровке,
По Неглинке и Тверской
Гонит наши сны и склоки
И кружит их над Москвой.

И любовь, что гибла с нами,
Тащит, словно воробья,
Через морок, через память,
Через сумрак ноября.

…Заметает пьяный дворник
Наших судеб ветхий след…
Но Господь в пространствах горних
Видит нас. И брезжит свет.

• • •

С радостью, с молитвами Христовыми
Ухожу на все четыре стороны.
С мокрыми ветрами и сиренями
Ухожу за все четыре времени.
Ухожу дорогами солдатскими—
Адскими кругами сталинградскими.
Долгими ночами госпитальными
С голосами и гудками дальними.
По обрывам снов, по узкой досточке,
Где уже истлели наши косточки.
Ухожу в сырой рассветной роздыми,
Разодрав снегов тугие простыни.
По туманам рек, по хляби мартовской
Ухожу туда, где встречусь с матушкой.
Где с батяней разопьём по стопочке
Его горькой, как судьба, настоечки.
Где остановлюсь у края самого,
Всё переживу и вспомню заново.
В тишине, под золотыми кущами,
С небесами, на закат текущими.

Август

Гулко ударилось яблоко оземь.
Всхлипнула птица в саду.
Крылышком острым, хрустящим, стрекозьим
Август сверкнул на лету.

Стих на мгновение ветер, задувший
Лампу… Но ширится свет,
Прямо с небес протекающий в души
И шелестящий в листве.

У иконы чудотворной

У иконы чудотворной,
На краю юдоли смертной,
В глубине огнеупорной,
В круговерти беспросветной,
Мою душу ангел тронул,
Тихий ангел за плечами…
У иконы чудотворной
Улеглись мои печали.
У иконы чудотворной
Божьей Матери Моденской,
Где с молитвою упорной
И почти с мольбою детской
Вы ловили взор бездонный,
Восходя в печали светлой,
У иконы чудотворной,
На краю долины смертной…
Где лампады свет бессонный
Замирал во мгле рассветной—
У иконы чудотворной,
Над моей страною бедной.

Сашка

Кто заплачет над Сашкой Якутом,
Над московским пропащим бомжом?!
Вот лежит он, рассветом окутан,
Финкой резан и водкой сожжён.

Вот качается тенью бездомной
В жуткой бездне за тонким ледком.
И летят над судьбой его тёмной
Стаи птиц и кричат далеко.

Свищет ветер над Сашкой Якутом,
Режет листья острее ножа
Над землёй, по которой разутым
Он ходил и в которой лежать

Нам придётся когда-нибудь вместе,
Подпирать верстовые столбы…
Как не выкинуть слово из песни,
Нас не вынуть из общей судьбы.

• • •

В золотом кружевном полушалке
Заповедных заволжских лесов
Ты стоишь от меня в полушаге
И туманами застишь лицо.
До разрыва в груди, до озноба
Мне глотать их свинцовый настой
Вместе с горечью неба сквозного
И дотла прогоревшей листвой.
Побирушкой, калекой безногим
Мне ползти мимо этих дорог,
Заливая тоской опресноки,
Что подал мне твой нищий народ.
Мне страдать этой мукой бездомной
У порога родимой избы,
Этих листьев предсмертной истомой,
Этим холодом общей судьбы
И последним раскаяньем поздним
О годах, что растратили врозь.
…Кружевной полушалок. И осень.
И рябины кровавая гроздь.

• • •

Вот и мама приходит во сне,
Мнёт косынку.
Слышу голос, звучащий извне:
— Как ты, сынку?
Вот и батька заходит в мой сон
(Где ты, водка?)
Со слезою во взгляде косом:
— Как ты, Вовка?
Только брат задержался в пути:
— Где ты, братка?
Только ветер осенний гудит:
— Где ты, батька?

• • •

За калиткой с разбитой щеколдой
И за речкой, где зреет ранет,
За счастливой такой и недолгой
Нашей жизнью, сходящей на нет,
За разлукой и мукой кромешной,
За судьбой, обрывающей след.
И — сквозь свет, проникающий вежды!
И — сквозь мрак, проникающий свет!

• • •

Вечных странствий ветер горький,
Дым разлук, летящий вслед…
Дом высокий на пригорке,
Дальних окон тихий свет.
Блики скользкие на ставнях,
Листьев взлёт и крыльев взмах —
Где-то там, в сиренях давних,
В летних ливнях, в лёгких снах.
Первый снег в твоих ладонях,
Мёрзлых рельсов первый стык —
Где-то там, в пространствах дольних,
В долгих снах, в полях пустых.

• • •

Плывёт на небесном облачке —
На утлой, дырявой лодочке.
Свистит в свою птичью дудочку,
Спускает на землю удочку.

— Кого ты поднимешь, ангел мой,
Из праха, из персти лагерной?
Возьми мою душу грешную,
Всю муку мою кромешную!

Ни звука в ответ, ни отклика,
Ни образа и ни облика.
Плывёт золотое облачко.
Течёт моя утлая лодочка.

Преображение

Петух меня разбудит в Плёсе
В Преображение Господне,
Когда душа о счастье просит,
Преображаясь на восходе.

Когда ещё небесный пламень
Плывёт огнём неопалимым
Над голубыми куполами
И тонким сводом тополиным.

И вечной кистью Левитана
Преображает в буйство красок
И Волги плёс, и блеск металла,
И блики Яблочного Спаса.

Гамлет Арутюнян

Некстати выпасть из игры…

Эту подборку я готовил вместе с Гамлетом, она была поставлена в очередной номер и уже прошла корректуру, но смерть опередила журнал. Болезнь, от которой он 40 лет спасал людей, подкралась и отомстила ему за всех, кого он, не жалея себя, защищал от неё. Сколько их, которым помог доктор? Явно, что не одна тысяча. Он не считал, ему было не до статистики. Он просто делал для них всё, что мог. И в Абакане, и в Балахте, и в Кежме, и в Верхнеимбатске, и в Туруханске, и в Северо-Енисейске — нет, наверное, мест, где бы не помнили о добром докторе. Проводить его в последний путь пришли сотни людей. Родственники, друзья, коллеги, но большинство провожающих были незнакомы между собой, их привела благодарность к человеку, который им когда-то помог.

Блестящий хирург, доктор наук, он состоялся и как поэт. Честный поэт с неповторимой судьбой.

Сергей Кузнечихин

«Дело» мамы

Я увидел «дело» мамы,
«Дело» серое, как пепел.
Мама в жизнь брела упрямо,
Оглянулась — всюду север.

Незабудки, незабудки…
«Не забуду мать родную».
Крови сгустки, жизни сгустки.
Боль с досадой вкруговую.

В тех бумагах серых, серых
(А когда-то ведь зелёных) —
Жизнь в казённых серых стенах
Заключённых, заключённых.

Здесь ещё жарки пылали,
Как цыганские мониста…
В подмосковных прячась далях,
Убегаешь от фашистов.

Убегаешь от бомбёжек,
В брянских прячешься лесах,
Средь тропинок и дорожек,
Поборов девичий страх.

И тогда из всех расщелин —
Слово «Сталин», слово «Ленин».
Сколь былиночек сломали
Те кацо и генацвале!

Я увидел «дело» мамы.
«Дело» серое, как пепел.
В жизнь, как мать, побрёл упрямо,
Оглянулся — всюду север…

* * *

Столько лиц, столько лиц, столько лиц
мне запомнилось — хмурых, весёлых…
В них вместились и вспышки зарниц,
и глухой енисейский посёлок.

Лесорубы! Вы были людьми!
Вас статья роковая сближала.
И скользили морозные дни
с промороженного вокзала.

Ежедневно сквозь сизый туман
вас в тайгу уводила дорога.
Забывались скитанья, обман,
когда тело вскипало под робой.

Возвращались, не чувствуя ног,
вьюга в небо волчицею выла.
А душа, как замёрзший щенок,
под рубашкой тихонько скулила.

Спи, душа. Среди бурь и тревог
всё запомни и чистой останься.
Ведь когда-нибудь кончится срок,
и обмана откроется тайна.

Столько лиц, столько лиц, столько лиц
выплывает из зимнего мрака…
И мелькание маминых спиц,
и дощатый забор у барака.

Мама

Ты прости меня, мама,
Что был тебе в тягость,
В то далёкое времечко
Не помогал.
Лишь питался и спал
Девять месяцев кряду,
И узреть белый свет
Я, наверно, мечтал.
Между тем ты валила
Смолистые сосны
И делила с подружками
Скудный обед.
Так порою тебе
От меня было тошно,
Только всё-таки надо
Было есть этот хлеб.
Был он чёрен и мал,
Был совсем невесомый,
Эта боль, этот хлеб—
Ноздреватый, хмельной.
В нём из каждой ноздринки—
Морозная совесть,
И струилось дыхание
жизни большой.
Эту чёрную весть,
Что ты есть враг народа,
Ты узнала нежданно
Под сенью рябин.
Было время борьбы,
И ещё недорода,
И ещё приближавшихся
Горестных зим.
Что сказать тебе, милая?!
Чем обезболить
Твои зимние роды
В овраге глухом?
Чем тебя мне укрыть
В этой долгой неволе?
Только веткой смолистой,
Только поздним стихом.
Я, конечно, был слеп.
И, как снег, был бескровен.
Только всё-таки вскрикнул—
Не замёрз, не пропал.
Среди мёрзлых, сучкастых,
Истерзанных брёвен,
Среди женщин стоящих—
Я орал и орал.
Этот крик мой истошный
Забыла Россия…
Всё же мама попала
Из тайги в лазарет.
А ещё, чуть попозже,
Она попросила
Покормить меня грудью
И вышла на свет.

● ● ●

Некстати выпасть из игры—
Уж если жизнь считать игрою.
Зато останешься собою.
Как эти правила стары!

Некстати будут от друзей
Звонки—как битая посуда…
Ко мне приблизится Иуда,
Как будто новый чародей.

Он будет что-то мне шептать,
Зомбировать под этот шёпот.
В моей душе возникнет ропот,
Но голос вдруг подаст мне мать:

«Сынок, сынок, его не слушай!
Он привидение, обман.
Ему бы только дунуть в уши,
А после сгинуть, как туман.

Ты будь душой, как раньше, крепок.
И не печалься, не тужи.
А лучше сплавай-ка за реку
И костерок там разложи».

● ● ●

Ты засни хоть немного,
Хоть чуточку веки сомкни.
За тобой сыновья—
Три сердечка вблизи бьются ровно.
За тобой твоя дочь—
Кареглазая, нити ресниц…
За тобой твоя рана,
Зашитая нитью суровой.

Время вылечит боль,
Лишь останется горький осадок.
И не станет его…
Ты забудешь совсем про беду.
Вот кончается век.
Мама что-то ворожит у грядок.
И с седой головой
К этим грядкам я тоже приду.

Если глянешь на север,
Ещё так далёко до устья.
А холодную воду
Все цедят и цедят года.
С тех далёких времен,
Когда мама жила в захолустье,
Всё прошло, унеслось,
Не оставило даже следа.

Екатерина Блынская

Смородина

● ● ●

И с каждым днём становится спокойней.
Что ты на месте—чувствуешь хребтом.
Ты поднимаешь время, как подойник,
несёшь его наполненным ведром.
Ни от кого не пряча суверенно
свои морщины, как свои труды,
ты рад, что наконец—у края сцены,
недалеко от неба, от воды.
И ничего, что, чувствуя бескрылость,
любую жертву можешь ты принесть.
Хотя тоскуешь по тому, что было,
безудержней, чем по тому, что есть.
И вот причины выжить стали вески,
но ты в себя как будто бы ушёл,
где стынет тень твоя под переплески
забвенных лет и невозвратных волн.

● ● ●

У любви и вправду путь негодный.
За разгромом следует погром.
Кто волос пожар багрянородный
выстегал бедовым серебром?
Были мы невинны и наивны.
Обелила крылья седина.
Мы не верим россказням старинным:
«Нет такого в наши времена».
Но порой, когда невмоготу нам,
вынесет тебя в такую высь,
что поверишь картам, снам и рунам—
лишь бы их пророчества сбылись.
И тебя спасает в час последний
то, что гнал ты прочь из гордых сил
то, что ты считал уже за бредни
(а тайком молился и просил).
Чтоб потом на сердце новым шрамом
лечь, чтоб душу вытянуть из жил.
Чтоб потом мечтал о том же самом,
чтоб потом ты тем же самым жил.

● ● ●

Не процвести, не проясниться,
когда, напраслины боясь,
набрасываешь власяницу
молчанья, нужного сейчас.
Расходоваться начинаешь,
да так, что видишь гальку дна.
И красной костью иван-чая
пошуршивает тишина.
И не получиться воскреснуть
там, где уходит всё на слом.
Харон на донке одноместной
взбивает прошлое веслом.
Под ливнем легковесных строчек
не чувствуешь в бреду истом,
как, вдохновеньем обесточен,
дух покидает тесный дом.

● ● ●

Первый дождь после долгой зимы!
Загостился ты в горних высотах.
Ты впиваешься мелко в холмы
И бормочешь неясное что-то…
Заговариваешь семена,
Растворяешь зелёные почки.
И твоя легковесна стена,
И твои сокровенны шлепочки…
Ты по лужам—босым воробьём,
По кистям взбаламученных ёлок.
Не пора ли пойти нам вдвоём
На раскисший от грязи просёлок—
Распугать оголтелых грачей
И скворцов-пересмешников слушать?
Первый дождь, тебя можно прочесть,
Заманить, запустить себе в душу…
Ты пришёл—за тобою Весна!
Повторяй, не забудь моё имя,
Пробуждая поля ото сна
С одуванчиками золотыми…

Смородина

Протяни мне руку
Со смородиной в горсти.
Первобытным звуком
На зубах она хрустит.
Кто там даст мне роздых?
Как сегодня нужен он!
Прядает по звёздам
Круторогий Актеон.
И тропой небесной,
Душу времени продав,
Жёлтый карлик ездит
На злащёных ободах.
Кто родился чудом—
Намолили нас не зря!
И бежать отсюда
Стыдно в лучшие края.
Сердце слабо внемлет,
По-другому не стучит.
В горьком чужеземье
Явь и навь не различить.
Без пустых напутствий
Удержаться б на лету
И в раю очнуться
Со смородиной во рту.

Утро

Уплывает луна
в предрассветную рань.
На Голгофе окна
распинают герань.
Истекает времён
закипающий сок,
но уже озарён
сквозь стекло потолок.
Цветом грязная гжель—
обмирающий сквер.
Отчего-то в душе
обнуление мер,
растворение врат,
распадение сфер…
Сброшен в тлеющий ад
с облаков Люцифер.
Нет, пылающий гость…
Лишь заря мне видна!
Зонтик пурпурных звёзд
в средокрестье окна.
Чей мне голос и знак?
Чей он—пламень и дым,
свет несущий во мрак
и владеющий им?
За фонарным стеклом,
за дубовым столом
кто—добро или зло?
Как—с добром или злом?

ДиН ревю

Игорь Панин

101 разговор с Игорем Паниным

Москва: «У Никитских ворот», 2016

В книгу поэта, критика и журналиста Игоря Панина вошли интервью, публиковавшиеся со второй половины нулевых в «Независимой газете», «Аргументах недели», «Литературной газете», «Литературной России» и других изданиях. Это беседы Панина с видными прозаиками, поэтами, критиками, издателями, главредами журналов и газет.

Среди его собеседников—люди самых разных взглядов, литературных течений и возрастных групп: Захар Прилепин и Виктор Ерофеев, Сергей Шаргунов и Александр Кабаков, Дмитрий Глуховский и Александр Проханов, Андрей Битов и Валентин Распутин, Эдуард Лимонов и Юрий Бондарев.

Помимо этого, в книге встречаются и политики (вице-премьер Дмитрий Рогозин), видные деятели кино (Виктор Мережко), телевидения (Олег Попцов). Но всех их объединяет одно: в той или иной мере они являются писателями, авторами книг и публикаций.

Настоящее издание—это не только увлекательный путеводитель по нашей литературе, но и серьёзные дискуссии о политике, общественной жизни, социальных проблемах. Это книга о России, о странных и загадочных людях, которые живут здесь и сейчас.

Олеся Николаева

Четвёртая стража

Неподъёмный камень

Чуть больше года назад ко мне в институт пришёл мой бывший студент, лет двадцать назад изгнанный со второго курса за академическую неуспеваемость. Тогда это был молодой человек, очень непосредственный и живой, «народный», не без поэтических способностей, и я, со своей стороны не имея к нему никаких претензий, относилась к нему с симпатией.

Однако, как уверяет нас стихотворение для детей, «во время пути собака могла подрасти». Теперь передо мной стоял здоровенный лохматый мужик, с красным лицом, на котором отпечатались многолетние спиртные злоупотребления, ну—и что сказать?—форменный бомж.

— Олеся Александровна,—произнёс он радостно.—Я—вернулся! Хочу восстанавливаться в институте, а то у меня в Запорожье отняли жильё, выгнали на улицу, а в Москве мне жить негде. В общежитие Литинститута пустили всего на одну ночь! Поможете мне?

— А сколько вам лет?—спросила я, прикидывая, когда видела его в качестве своего студента в последний раз.

— Сорок,—признался он.

— Так вас на очное отделение уже по возрасту не возьмут, а насчёт заочного я, конечно, поговорю с ректором.

— Э нет! Заочное мне не подходит—в общежитии-то мне не разрешат поселиться, разве что во время сессий. А мне надо Москву покорить. Стихи по журналам разнести, книгу издать, на радио попасть, на телевидение. Почитайте—вот!—и он протянул мне помятые листки с отпечатанными на них строками.

Так и исчез.

Я прочитала его листки: за двадцать лет он так и не научился как следует рифмовать—так, чтобы рифма звучала органично и сама вела стихотворение, написано было небрежно и коряво. Но это была не стилистически выверенная корявость, которая умышленно царапает и слух, и сердце читателя, а корявость от досадной поспешности, когда всё тяп-ляп: много неточных слов, лишних строф.

Прошло месяцев восемь, и вдруг я читаю в «Фейсбуке» у своего «френда»-поэта тревожную запись о том, что этот мой бывший студент, которого он видел ещё совсем недавно у трёх вокзалов и которому привозил тёплую одежду, напрочь пропал. И он боится, не случилось ли с ним чего трагического. Ведь тогда, у вокзалов, их отовсюду гоняли полицейские, которых он по-прежнему называл «менты».

Я откликнулась на эту запись, в переписку втянулись ещё несколько человек, пошло обсуждение, каким образом можно найти пропавшего, были советы даже поехать дежурить возле трёх вокзалов—авось отыщется. И тут один из сочувствующих, профессор филологии Московского университета, предложил свою помощь: в случае, если мы найдём бедолагу, он готов отвезти его в Подмосковье, на приход к чудесному священнику, который собирает у себя и кормит бездомных, водит их на богослужения, учит, как жить по-христиански, и они постепенно обретают человеческие черты и восстанавливают в себе образ Божий. Одна была загвоздка: как же всё-таки пропавшего отыскать?

Я предложила за него помолиться: бывает такое—помолишься за кого-то, кого давно не видел, так он вдруг и откликнется. Кто-то на моё предложение хмыкнул, кто-то подшутил; во всяком случае, моё предложение не вызвало энтузиазма, отнеслись к нему весьма иронически. Ну да ладно, а я всё равно подала за бывшего своего студента заказную записку на литургию. И что же? На следующий же день он объявился, о чём я и сообщила всем, кто его разыскивал.

Мы договорились встретиться с ним у меня на кафедре, и к нам захотели присоединиться, во-первых, тот «френд»-поэт, который первым забил тревогу, а во-вторых, тот профессор, который предложил свою помощь. Бывший студент мой был примерно одного роста с моим мужем, примерно такой же комплекции, поэтому я насобирала целый чемодан вполне добротных и хороших вещей: куртку, ботинки, пиджак, свитер, рубашки, футболки, даже носки. Положила туда ещё и всякие гигиенические средства: мыло, зубную пасту, расчёску, зубную щётку,—да нашла у себя и старый мобильник, вполне себе пригодный для дальнейшего использования. Прихватила

кофе с чаем и печеньем, чтобы мы все вместе, расположившись для разговора на кафедре, могли заморить червячка. С тем и выгрузилась в институтском дворе.

Вскоре пришёл профессор, который принёс копчёную курицу для нашего голодающего, а за ним появились и «френд»-поэт с бывшим студентом. Вскипятили чайник, сели вокруг круглого стола, разложили на тарелке курицу, и бедолага, обгладывая косточки, повёл свой печальный рассказ.

Итак, ночует он с другими бомжами в каком-то заброшенном доме без отопления, а днём ходит отогреваться в ближайший «Макдональдс», где покупает кофе и, сидя с ним там целый день, пишет на салфетках стихи…

Как только в его речи образовалась пауза, профессор вставил своё словцо:
— Я готов вас хоть завтра отвезти в замечательное место, я сам туда уезжаю время от времени: Подмосковье, лес, чудесный храм, удивительной доброты и мудрости священник… Вас там будут кормить, содержать в тепле и чистоте, дадут постель, может быть, свою келью… А вы будете писать стихи, ходить в храм и выполнять какую-нибудь непыльную работу: курочек кормить, плетень подправлять,—словом, поддерживать чистоту и ухаживать за собой…
— Что?—неожиданно возмутился мой бывший студент.—Курочек? Кормить? Я? Да вы что! Я в Москву не за тем перебирался, чтобы где-то там на селе пасти курей! Моё призвание—поэт! Я вот сейчас могу вам подарить автограф со своим стихотворением, и вы через несколько лет сможете продать его за миллионы!

Мы притихли и переглянулись.
— Ну да, ну да, поэт,—закашлявшись, мягко проговорил профессор,—но я ведь и говорю, что там ничего не мешает писать. Я сам иногда туда уединяюсь и работаю… А что плетень подправить или во дворе лопатой снег покидать, поразмяться, так это даже приятно. Я вам обещаю: я вас довезу до места, собственноручно передам батюшке, замолвлю за вас словечко, чтобы вас особенно не обременяли трудом…
— А как повезёте? На машине?
— На электричке. А потом—на автобусе.
— Нет, на электричке мне что-то неохота. И потом—как меня там запрут, так и не выпустят. Это же как на зоне. А если я захочу оттуда уехать? Я же приехал в Москву не для того, чтобы гнить в безвестности где-нибудь в Подмосковье.
— Пожалуйста, в любой момент вы можете сами покинуть это место,—откликнулся профессор.—Если вам будет трудно уехать самому, вы мне звоните, и я в течение двух дней за вами приезжаю и—пожалуйста—доставляю вас прямёхонько в столицу. Никто вас там насильно держать не будет.
— А как я буду завоёвывать Москву? Не для того я родился, чтобы дворы чистить от снега. Моё призвание—это писать…
— Тьфу,—плюнул мой фейсбучный «френд»-поэт.—Пойду я. На работу опаздываю. Каждый день на службу хожу!

Я вышла следом за ним.
— Знаешь,—сказал он,—у меня всякое в жизни случалось: и на чердаках я, бывало, ночевал, подстелив газетку, и выпивал без меры,—но никогда я не позволял себе, чтобы от меня дурно пахло. А он—ишь какой!—вошёл, так хоть нос двумя пальцами зажимай… «Я не для того родился, что вот так работать!»,—передразнил он.

Меж тем наше скромное застолье подошло к концу, я отдала бывшему студенту вещи, которые он придирчиво рассмотрел на свет и перебрал, что-то даже и забраковал, а остальное увязал в большой тюк: чемодан ему был не нужен. Затем, обратившись к профессору, сказал:
— У меня что-то спина болит. Не донесёте ли вы мне эти вещи хотя бы до метро?

И тот—человек уже немолодой, невысокого роста—взвалил на себя этот тюк и, согнувшись, направился вслед за этим бугаём—моим бывшим студентом—к метро.
— Ничего,—сообщил он мне вечером по телефону,—я ему по пути ещё про этот церковный приход порассказал, может, он и согласится. Обещал позвонить, если надумает. Но вообще-то—помните этот классический вопрос: может ли Бог создать такой камень, который Он сам не смог бы поднять? Ну и ответ: может, это человек с его свободной волей. Так вот я вам скажу: неподъёмный какой-то камушек этот ваш студент.

А через несколько дней у меня в трубке раздался голос:
— Олеся Александровна? Это я, студент ваш бывший! А что вы думаете про этого профессора? Мне тут одна знакомая бомжиха нашептала, что это так заманивают людей, чтобы разделать их на органы. Привезут, потом опоят чем-то, усыпят, а просыпаешься—и ты уже без почки, без печени, а то и без глаза. Так что не поеду я никуда.

Тьфу! Я едва не плюнула от досады! Сама идея, что кто-то может польститься на отравленную алкоголем печень или почку этого синюшно-красного, траченного жизнью дуралея, была бы просто смешной и вдвойне комичной, если в роли таких посредников по продаже человеческих органов представить этого почтенного профессора и меня вместе с ним, если бы не лишала надежды всё же ему помочь.
— А вы листочки, которые я вам в прошлом году подарил, храните у себя,—дружественным тоном продолжал он.—Скоро вы сможете здорово разбогатеть, продав их на аукционе за пару европейских миллионов. Чувствую, слава уже не за горами!

Четвёртая стража

Решила вдова полковника навести на генерала N, по вине которого погиб её муж, «сухую беду». Это значит — покончить с собой, да не просто так, а в непосредственной близости от погубителя — в самом ли доме его, служебном ли кабинете или, если не выйдет туда пробраться, хотя бы и в саду, прямо под окнами. Да ещё и записку предсмертную оставить: «Прошу винить в моей смерти, как и в гибели моего мужа, генерала N».

Добыла она яду, и дело оставалось за малым — проникнуть в генеральское жилище, поскольку идея с садом отпадала сама собой: была зима, всё утопало на полметра в снегу, да и морозец лютовал преизрядно. Она представила себе, как, встав в сугробе, наглотается она яду и осядет в этот глубокий снег, так что её, может, до весны и вовсе не найдут, а записку либо ветром унесёт, либо метелью размочит, и никто так ничего и не узнает о генеральском коварстве.

Наконец придумала она, под каким предлогом можно будет прийти в генеральский дом, мышьяк положила в карман костюмчика, бутылку воды приготовила, записку написала разборчиво и уже надевала шубу, как раздался телефонный звонок.

— Сударыня? — спросил удивлённый голос. — А не пригласили бы вы, душенька, к телефону Гамлета, принца Датского?

— Вы не туда попали, — с раздражением ответила она и, не удержавшись, всё же съязвила: — А леди Макбет вам не подойдёт?

— Не-ет! — огорчённо произнес звонивший. — Я её совсем не знаю. Так это всё-таки театр? Мне нужен Володя Шик, который играет у вас Гамлета. А вы что — тоже актриса?

— Почти, — буркнула она, собираясь повесить трубку.

— Понимаете, тут такая история, — голос сделался мягким и доверительным. — Он поселил у меня своего брата, а сам отправился на репетицию и забыл у меня свой телефон. А брат этот наглотался лекарств, и у него изо рта пена. Я пробовал вызвать скорую, но куда там… Тогда я заставил его выпить много воды, чтобы промыть внутренности, а он опустил голову в ведёрко, и оно так крепко наделось, что теперь не снимается. Что делать? — голос зазвучал отчаянно. — Помогите!

— Да вы что? Как я вам помогу? И вообще я…

— Сударыня, только не кладите трубку! Не оставляйте меня одного в такой момент! Что же мне предпринять? У меня руки дрожат!

— Да я тут при чём?..

— Приезжайте, пожалуйста! Он, кажется, уже задыхается — бьётся головой в ведёрке о край ванны. А вдруг помрёт?! Спасите! Приезжайте, пожалуйста!

— Куда? Вы соображаете? Я с вами не знакома.

— Позвольте представиться: Пётр Илларионович Боголепов, сочинитель. А живу я на Лазоревой. Ой, он уже так бьётся, так бьётся…

— Ну хорошо, — вздохнула вдова-полковница. — Сейчас приеду. Говорите адрес.

Пока она ехала, брат Гамлета уже освободил дурную голову от ведра и полулежал своим распухшим и посиневшим лицом на диванной подушке, бессмысленно хлопая маленькими слезящимися глазами, а вокруг него хлопотал телефонный собеседник полковницы — сочинитель Боголепов.

— Чайку, сударыня? С печеньем?

Он уже снял с неё шубу и усадил в кресло.

Она с немым укором воззрилась на него: и чего она сюда приехала? И, тем не менее, было в сочинителе нечто настолько привлекательное и интеллигентное, что она решила не углубляться в свои чувства.

— Чаю? Пожалуй, выпью.

Пока он ставил чайник на кухне, она не без брезгливости оглядела неудавшегося самоубийцу и подумала, что и сама сейчас могла бы оказаться в его положении, если бы её успели откачать. Лежала бы с лицом в багровых кровоподтёках, источая запахи блевотины. А если бы не откачали, то и вовсе бы уже… того!

— Надо же, а вы не похожи на свой голос, — сказал Боголепов, внося на подносе чайные чашки и сахарницу. — Он у вас фиолетовый… А вы сама — зелёная.

— Зелёная?

— Да-да, тёмно-зелёная. Цвета бутылочного стекла. Это цвет жизни, земной жизни. Жить будете долго и счастливо.

— Да? — она аж задохнулась от этого внезапного предсказания.

— А зовут вас как?

— Зоя меня зовут. Зоя Петровна.

— Зоя? — Боголепов едва ли не ахнул. — Так это же значит «жизнь»!

— А почему вы думаете, что я буду жить долго? — всё-таки недоверчиво спросила она.

— Ну как же! Голубушка, Зоя Петровна, у нас, у сочинителей, для этого третий глаз всегда приоткрыт.

— Вот как? А можно ваши книги почитать?

— Да пожалуйста, сколько угодно — у меня в другой комнате целый книжный склад моих сочинений.

— Зачем это?

— А затем, что я их издаю на собственные средства, а книжные магазины их продавать не берут. Говорят, для этого издательству надо иметь специальный договор с ними. Вот мои книги и лежат дома — я же сам не пойду на улицу ими торговать.

И правда — он стоял перед ней такой благообразный, мягкий: было видно, что торговля — это самое последнее дело, которым ему стоило бы заниматься.

— Та-ак! — вдруг возмутилась Зоя Петровна. — Это они деньги хотят отжать… Ну, мы им покажем. Мы им устроим! — и она даже помахала в воздухе кулаком, в котором зажала чайную ложку. — Да хоть бы и я сама готова встать у магазина «Москва» с вашими книгами.

— Душенька, да неужели? — Боголепов едва не прослезился. — Вас мне просто Бог послал.

— Это вас мне послал, — скороговоркой откликнулась она. — Так, а когда у вас этого брата Гамлета заберут? Вы дозвонились? Звоните! И вообще: почему это именно к вам надо было его поселять?

Она почувствовала вдруг воодушевление, решимость всё здесь взять в свои руки: сразу видно — такой человек этот Пётр Илларионович неприспособленный, не от мира сего и не из этого века. И обстановка у него какая-то старинная, допотопная, хотя и не без изящества. И скатерть у него бархатная с бахромой, времён царя Гороха. Всё благородное, но какое-то неухоженное, пыльное.

— Баба у него там, — вдруг отозвался с дивана брат Гамлета. — Вот он и выставил меня за дверь. Не заберёт он меня.

— А ты что — вещь, что ли, какая, что тебя вот так можно из одного дома в другой перекидывать? — накинулась на него Зоя Петровна, уже явно почувствовав себя хозяйкой положения. — Давай-ка приходи в чувство и отправляйся восвояси. Вон как Петра Илларионовича напугал! Пол-Москвы на ноги поднял.

В общем, всем тут теперь распоряжалась вдова-полковница, которая, кажется, уже вовсе позабыла, чем собиралась заниматься в этот день. Проводив до дверей приехавшего Гамлета с его братом, она забрала у сочинителя Боголепова две пачки его сочинений и отправилась домой, с тем чтобы с утра заняться судьбой своего невольного спасителя.

За этим делом я с ней и познакомилась: она подошла ко мне у книжного магазина «Москва», солидная такая, серьёзная женщина в песцовой шапке, и предложила купить — недорого — замечательную книгу.

— Благодарить потом будете, когда это станет хитом, — пообещала она. — Вам фамилия автора ничего не говорит? Пётр Боголепов, — она протянула мне зелёный томик. — Берите, берите! Я вам расскажу, почему я, вдова полковника, здесь и почему продаю его книги. Это уже само по себе — целый роман. Чудесная история.

Последние слова зацепили меня, я вынула из сумки деньги и положила туда покупку. Тогда-то она и поведала мне этот нелепый сюжет о своём нежданном спасении.

— И знаете, — добавила она, — я ведь после этого почти совсем позабыла про «сухую беду», да и про этого генерала!

Придя домой, я пролистала книгу Петра Боголепова с таинственным названием «Четвёртая стража». Это были изящно написанные даже не рассказы, а зарисовки, но я никак не могла их связать с названием. Единственной ассоциацией, возникшей у меня, был евангельский рассказ о том, как в четвёртую стражу Иисус пришёл к своим ученикам по морю. А они встревожились и говорили друг другу: это призрак. И кричали от страха. Но Он заговорил с ними и сказал: это Я, не бойтесь.

Зато и этот новозаветный сюжет, и название очень перекликались с тем, что случилось с полковницей, когда она не только задумала, но уже приготовилась совершить, быть может, самый страшный из грехов. Всё, с точки зрения здравого смысла, абсурдно и как бы случайно: и этот раздавшийся в нужный момент звонок попавшего не туда Боголепова, и эти его особенные интонации, и тембр, и зачин, не позволившие полковнице сразу повесить трубку… С точки зрения здравого смысла — да, а по духовному рассуждению — промыслительно и спасительно!

…Я вот только не могу понять, каким это образом брат этого Гамлета ухитрился засунуть голову в ведро — да так, что она там застряла? Что это было за ведро такое? Да и в самом деле — было ли оно?

Голос из царства мёртвых

Архимандрит Алипий просил меня передать его совет убитой горем женщине, только что похоронившей сына:

— Скажи ей, чтобы она не сделала ошибку — не пробовала разговаривать с усопшим. Не исключено, что и ответ она может получить, но отвечать ей в любом случае будет бес.

Я, конечно же, передала его слова несчастной матери, но при этом вспомнила давнюю историю, которая произошла с одной из моих подруг. Ей стало казаться, что умершая незадолго до того актриса, с которой они приятельствовали, попросила её позаботиться о её муже-вдовце и хорошенько приглядеть за ним.

У меня это вызвало тогда лишь лёгкую усмешку: подруга моя была не замужем, мечтала найти себе состоятельного мужа, а вдовец, о котором беспокоилась жена-покойница, был процветающим художником, к тому же совсем не глупым и обаятельным, так что её желание оказаться возле него на опустевшем месте мне показалось достаточным объяснением, почему она с такой решимостью приступила к действиям.

Однако художник очень тосковал по своей умершей жене и, вопреки обыкновению, запер двери своей мастерской и погрузился в сумерки уныния. Она звонила и по телефону, и в дверь, но на телефонные звонки он отвечал кратко, что никого не хочет видеть, а дверь не открывал. А с некоторых пор и трубку перестал брать.

— Что же мне делать? Оленька аж с того света поручила мне заботу о своём муже, а я никак не могу до него добраться,— жаловалась она.— Может быть, в полицию обратиться, чтобы ему взломали дверь? Вдруг он там покончил с собой? Четыре дня уже не выходит! А Оленька там беспокоится. Она мне так и сказала: пусть ломают!

Так и сделала. Написала заявление и притащила двух полицейских к его дверям, которые стали неистово звонить и стучать в дверь. Впрочем, она и армию могла бы поднять в бой, если бы ей потребовалось.

— Откройте, полиция!

Он и открыл — цел-невредим, разве что спросонья, а может, и с похмелья.

— А что случилось?

Пока полицейские давали объяснения, подруга моя и проскочила в мастерскую. Уже там — с веничком, там — посуду моет, а там — что-то жарит.

— Слушай, да брось всё это,— сказал художник, застав её с тряпкой в руках.— Домработница придёт — всё уберёт. А ты иди домой. Только полицию больше не притаскивай.

Но она, столь сложными путями пробравшаяся наконец в дом, и не думала уходить. Нашла такую точку в сердце художника, на которую если нажмёшь, многие дверцы сразу откроются.

— Я так люблю твои картины… Можно взглянуть на них хоть одним глазком? У тебя такой виртуозный рисунок, такое чувство юмора, такой колорит! Сейчас так никто не пишет — просто не умеют, не владеют техникой… Дилетанты.

Он хмыкнул и пожал плечами:

— Ну что ж, пойдём, я покажу…

И вот она ходила по его мастерской, подолгу останавливалась перед каждым полотном, перед каждой картинкой, то приближалась к ним, то отступала, то прищуривалась, то склоняла голову набок, то глубоко дышала, то задерживала вдох…

— Шедевр,— время от времени кивала она.

В конце концов уселась в кресле в изнеможении от увиденной красоты.

— А как так получилось, что бездари водворились вокруг? Я слышала, тут на лондонском аукционе то заспиртованную акулу за несколько миллионов продали, то баночки с дерьмом какого-то шарлатана за сотни тысяч фунтов!

— Кураторы постарались,— развёл руками художник.

— Какие-такие кураторы?— нахмурилась она.

— Ну, это целые пиар-агентства, которые раскручивают товар. Вкладывают в это огромные деньги, а потом получают их с огромными процентами. Если у тебя нет куратора, никто тебе за твои картины гроша ломаного не даст.

Постепенно переместились за маленький столик, на котором появились коньяк, рюмки, какие-то сухарики.

— А у тебя — есть куратор? Давай я буду!

Художник смотрел уже не так отчуждённо, что-то даже промелькнуло в его глазах…

— Да у меня неплохо идут дела; конечно, цена могла бы быть на много порядков выше…

— Конечно! Только так!

Она почувствовала, что нашла верную тему и верную интонацию, и дело пошло на лад. Художник уже благожелательно на неё поглядывал, делился планами и охотно подливал бодрящий напиток в рюмку с золотым ободком.

И тут Оленька из загробного мира одобрительно ей шепнула: «Погладь его по головке теперь!»

Поэтому подруга и переместилась поближе, прямо так, с рюмкой в пальцах, уселась было на ручку его кресла, но, потеряв равновесие, просто упала на него, облив коньяком.

— Ты что?— спросил он, отталкивая её и вытираясь какой-то тряпкой в краске.

— Прости,— она всё-таки попыталась исполнить Оленькино указание и потянулась к его голове, чтобы погладить.

— Не трогай меня,— отшатнулся он.

Она от неожиданности опешила.

— Зачем ты так? Ты думаешь, я для себя? Это Оленька мне поручила о тебе заботиться. Отдала тебя мне…

— Так,— сказал он,— верхней одежды у тебя не было? Не было! Вот и иди, откуда пришла,— и вытолкал её в дверь.

Честно говоря, я думала, что про Оленьку она всё придумала, оправдывая себя тем, что просто выполняла последнюю (загробную!) волю усопшей, а не действовала сама, пытаясь завоевать желанный объект. Но всё оказалось куда печальней. Оленька стала вмешиваться в самые разные сферы её жизни.

Прежде всего ей не понравилась квартира, которую незадолго до этого купила и отремонтировала моя подруга, и она потребовала, чтобы та поменяла её.

— Оленька сказала: «Что это у тебя под окнами Хрюкино какое-то? Выбери себе район получше»,— объясняла она мне, почему снова принялась за тягомотное и дорогостоящее квартирообменное дело, при том, что квартирка на самом деле у неё была замечательная.

Когда нашёлся покупатель, Оленька шепнула ей вынуть из стоимости пятьдесят тысяч долларов и вложить в какие-то акции, обещая, что через год-другой они поднимутся в цене втрое. Что моя бедная подруга и сделала, а на оставшиеся деньги купила себе совсем маленькое жильё, хотя и в центре, но на первом этаже.

Не прошло и полугода, как акции превратились в бумажки, а люди, которые впаривали их ей, растворились. А под новой квартиркой, в подвале, оказывается, был ночной клуб, неприметный

при первоначальном осмотре, поскольку вход в него был со двора и напоминал обыкновенную дворницкую. Словом, днём ещё ничего, тихо, а вот ночью жить там было невозможно, поскольку она аж содрогалась от оглушительных звуков современной попсы. И подруга моя с жесточайшими мигренями угодила в клинику неврозов.

— Но самое ужасное,—сказала она,—что Оленька всё время меня ругает… Так злобно, знаешь… Матом. Я её спрашиваю: за что? Что я делала не так? А она мне в ответ тако-о-ое! И тебя ужасно не любит. Она считает, что ты плохо на меня влияешь.

Я даже засмеялась этой нелепости.

— Она даже сказала, что ты мне завидуешь. Да! У тебя аура плохая. А ей оттуда всё видно. И Оленька посоветовала мне… ну, отойти. Оказывается, нам с тобой вредно быть вместе.

И тут моё ироническое отношение к Оленьке сменилось возмущением:

— Да чушь это всё! Зачем ты всё это слушаешь и веришь?! Безумие какое-то: лежать в клинике неврозов, внимая потусторонним голосам и всё выполняя по их указке.

— Оленька меня предупреждала, что ты именно это мне и ответишь. Мне неприятно, что ты про неё так говоришь! Давай просто примем эту ситуацию как должное, и всё.

Я вылетела из этой клиники и долго шла быстрым шагом, желая, чтобы усталость победила во мне эту клокочущую бурю негодования.

Подругу я с тех пор не видела. Как-то, проходя мимо её дома, где она жила на первом этаже, я заметила в окне незнакомую женщину, которая, поставив на подоконник трёхлетнего ребёнка, показывала ему что-то на улице. Я поняла, что подруга здесь уже не живёт. Должно быть, Оленька дала ей отмашку переезжать на новое место, чтобы уже никто из старых друзей и знакомых её не отыскал.

ДиН ревю

Фейзудин Нагиев

Три песни

Махачкала: Типография «Наука-Дагестан», 2014

Поэзия Фейзудина Нагиева искренна и непримирима к человеческим порокам, но по сути глубоко гуманистична и добра. Хотя творчество поэта опирается на фольклор своего народа, его поэзия синкретична, гармонично сочетая лучшие традиции восточной, лезгинской, русской и европейской поэзии.

Поэта глубоко волнует и судьба своего лезгинского народа, разделённого Срединной рекой между двумя государствами:

> Мне кажется—безмолвная вода
> Не землю—сердце делит навсегда.

И при этом поэт понятен представителям других культур, языков, конфессий… В умении выхода из состояния энтропии, в умении сочетать в своём творчестве общенациональное и общечеловеческое—я вижу зрелость и значение поэзии Фейзудина Нагиева.

владимир фирсов
поэт

• • •

Всё может быть. Настанут времена
Забудутся народов имена,
И слух привыкнет к новым именам,
Забыв все те, что предки дали нам.
Уйдёт язык, что с детства нам знаком,
Что впитан с материнским молоком;
Что было свято—станет всем чужим;
Ненужным будет то, чем дорожим,—
И станут люди тем словам внимать,
Которых нам не говорила мать…
Благодарю судьбу свою подчас,
Что на Земле тогда не будет нас.

• • •

Река Самур—Срединная река,
Ты боль земли несёшь издалека;
С тех дальних гор, где твой сокрыт исток,
Ты с запада стремишься на восток.
О, если б эти воды унесли
Печаль тобой поделенной земли,
И море навсегда б принять смогло
То горе, что мне на сердце легло!
Мне кажется—безмолвная вода
Не землю—сердце делит навсегда.

Владимир Никифоров

Улицы нашего детства

1949. Новосибирск, Кривощёково, улица Озёрная, 4. Записался в рисовальный кружок Дворца пионеров. За садом им. Кирова…

1954. Декабрь. Наш Новосибирск и все его окрестности замело, дорог в деревню нет, даже поезда из Москвы и с Дальнего Востока прекращают движение. На нашей Озёрной заборов не видно, соседних окон не видно, выйти из ворот без лопаты нельзя. Я сижу и жду почтальона, я подписался на «Литературную газету», и мне теперь по случаю 2-го съезда писателей носят её каждый день…

1955. Поступаю в сельхозинститут на агрономический. Буду жить в деревне, поближе к народу.

Декабрь. Институт бросил. Там литературы нет. А я прочитал в журнале «Октябрь» «Золотую розу» К. Паустовского, купил «Повести и рассказы» И. Бунина, прочитал «Гамбринус» Куприна, захотелось в Одессу. Поскитаться!

1956. Июль. Вчера ездил на электричке на главный вокзал, купил билет на Краснодар.

Сентябрь. Далеко заехал… Первые дни не с кем было поздороваться.

Город Краснодар зелёный, маленький, деревенский.

Базарный толчок далеко, я купил там роман Амфитеатрова с выдранным названием.

1958. Читал на пристани Паустовского…

…В знойные выходные дни я читал на берегу страницы бунинской «Лики» одной глупенькой смазливой девочке

Март. Через год перечитал несколько рассказов Бунина. Их надо учить наизусть. После них мне хочется часами смотреть на рассветы, закаты, дожди, дороги, аллеи

Декабрь. 14-е. В какой раз перечитал этюд К. Паустовского об А. Грине. И опять сушат мозги четыре стены, и хочется такого, чтоб кружилась голова. Джека Лондона читать! Интересно жить. Чем больше узнаёшь, тем интересней и тоскливей живётся.

1959. Читаю «Жан Кристоф» Р. Роллана и выписываю кусками, и мне хочется, чтобы все эти страдания достались и мне, чтобы через страдания, (ради искусства) я нашёл себя, раскрылся, зазвенел способностями, до какой-то поры мне неведомыми.

Поэзия Паустовского свалена всё-таки с неба, тогда как у Шолохова она, как весенний пар, поднимается от земли.

10 июня. (Ейск)….Начитался Бунина и с первого курса мечтал окунуться в деревню.

4 октября. Написал повесть или рассказ (не знаю) о молодых чалдонках, называется «Клавка». И кому ж показать?.. Послал в Москву.

13 октября. Прочёл «Бросок на юг» Паустовского. Он не может поглядеть на небо, на горный ручей, полюбоваться камелией и не подумать при этом об искусстве, не сравнить то-то и то с чьей-то строчкой в стихах или в прозе. Вся жизнь процеживается через сито искусства. Даже в воспоминаниях о литераторах не может забыться и сказать что-то простое, «нехудожественное». Ему 68 лет. Удивляюсь: как можно сохранить детское сердце в такие годы?

12 сентября. Читаю «Капля росы» В. Солоухина. Не забыть написать ему письмо.

31 октября. Купил альманах «Наш современник», долго ждал его, наконец — вот он, с рассказом Бунина «Таня». Читал на затоне, чуть не растаял от умиления: такая красота, столько музыки, и так жалко эту простую крестьянскую девушку; расслабился и долго лежал, смотрел в небо; так же высоко, «где-то там», недосягаемы и совершенны были все, кого я читал и боготворил в последние годы. А какая в рассказе концовка: «Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни»[1].

О, как всё близко, как знакомо! Столько общего: в именах кумиров, в порядке их появления, в отношении к ним, в наших чувствах, ожиданиях, надеждах! И как много разного в судьбе: он сполна получил то, о чём мечтал я, и на меня уже ничего не осталось. Да и то: младше на семь лет, а с учётом позднего литературного дебюта, особенностей исторических и литературных процессов — навсегда. Дарования не сравниваю.

Как я пришёл к тем, к кому пришёл Лихоносов? Вначале был Паустовский, а что я читал до него, и вообще — что читал сын енисейского шкипера, семья которого летом жила на деревянной барже, а зимой снимала угол там, где заставал ледостав: в Красноярске, Игарке, Полое, Пискуново,

1. Выдержки из «Записей перед сном» В. Лихоносова («Сибирские огни», 2006, № 9).

Подтёсово? Сначала это были книги моих старших сестёр (рассказы Нины Артюховой, повесть Осеевой «Васёк Трубачёв», «Стожары» Мусатова, повести и рассказы Николая Носова, журнал «Новинки детской литературы») и отца, которые он брал в библиотеке завода или на культбазе: «Кавалер Золотой Звезды», «Белая берёза», «Далеко от Москвы», «Огни» Кетлинской, «Недра» (не помню автора). Ещё до школы наизусть знал «Конька-горбунка», а в первом классе дядя и тётя подарили мне на день рождения… «Записки охотника» Тургенева. Первый раз в первый класс я пошёл в Красноярске, но не закончил его по болезни. Глубокой осенью пятьдесят первого мы получили свою первую квартиру в Подтёсово, я снова пошёл в первый класс и вскоре перечитал всё, что было в школьной библиотеке, и переключился на поселковую, где мне давали не все книги из-за моего возраста или по случаю единственного экземпляра («Два капитана»). Эту книгу я ходил читать в читальный зал целую неделю. С 1955 года все зачитывались катаевским журналом «Юность», это было подарком, напоминанием о другой жизни, путеводной звездой. Во всяком случае, когда в шестьдесят первом в «Юности» прочитал «Звёздный билет», то решил бросить Красноярский машиностроительный техникум, чтобы пойти в плаванье по северным морям и написать такую же «крутую, забойную» повесть. Я приехал в свой родной (я родился в Подтёсово на случайной зимовке) посёлок, но на корабль меня не взяли по зрению, работал на заводе слесарем и по выходным пропадал в книжном магазине, подписался на клэ, а в книжном киоске оставляли для меня все журналы, приходившие в посёлок.

К этому времени я прочитал несколько рассказов Паустовского и слышал по радио гениальную инсценировку его дивного рассказа «Корзина с еловыми шишками», а наибольшее впечатление на меня произвела «Золотая роза». Поразил рассказ о том, как старик-корректор за одну ночь превратил рассказ, написанный талантливой, но небрежной рукой, в «прозрачную, литую прозу». Томик «Избранного» Паустовского стал моей самой любимой книгой. Как-то, зимним тихим вечером, после ужина, я прочитал родителям рассказ «Разливы рек» (о Лермонтове и Марии Щербатовой). Это было ново и незабываемо, до сих пор радуюсь, что сделал это. А весной шестьдесят второго я приобрёл двухтомник «Повесть о жизни» и зачитался с первых страниц, с тех самых, про то, как мать не смогла из-за половодья на реке Рось проводить в последний путь своего мужа[2]. А вскоре эти две книги буквально спасли меня.

В первую зиму после моего возвращения в посёлок мы сблизились с Шуркой. Был он простой парень, с трудом закончил семь классов, книг не читал, но мне выбирать было не из кого — все мои одноклассники уехали в город. А с Шуркой у нас было много общего: в прошлом — шкиперские дети, в настоящем — оба работали в слесарно-монтажном участке механического цеха судоремонтного завода, а в будущем нас ждала армия. Шурка был здоров на все сто, а я боялся не пройти по зрению. В армию я хотел пойти не для защиты родины, знал, что защитник из меня никакой: я стрелял-то из ружья всего раз в жизни; я мечтал написать повесть о службе в армии — в февральском номере «Юности» была напечатана очередная повесть Бориса Никольского, мне казалось, что я напишу лучше. Капитан из военкомата, побеседовав со мной и узнав, что я выписываю «Литературную газету» и «Юность», сказал, что армии нужны такие грамотные ребята, чтобы выпустить боевой листок и стенгазету, провести культурное мероприятие. В армию меня не взяли, и вовсе не по глазам, а из-за перелома правой руки в десятилетнем возрасте. А Шурка не дожил до призыва, его убили, и это произошло во дворе моего дома.

Был июнь, в посёлке после майского десанта и отплытия «эскадры» было тихо, сонно, пусто, заедали комары. С Шуркой мы виделись только на работе, по вечерам ходить было некуда: «кина» шли старые (зато какой ажиотаж был весной, когда крутили «Ихтиандра»: песню «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно!» пел весь посёлок, начинали на одном конце, подхватывали на другом), танцевали на бетонной площадке в полнейшей темноте. Я предпочитал полежать в своём уголке рядом с книжными полками, которые сам смастерил и сам заполнил, почитать, помечтать. Мы жили вдвоём с младшим братом, который только что сдал экзамены за седьмой класс. В тот трагический вечер пришла «Литературная газета», и мне был обеспечен прекрасный вечер. Хлопнула калитка, и я понял, что пришёл Олег, одноклассник брата. Олег был развитым, начитанным парнишкой из хорошей семьи (отец — четвёртый человек в посёлке), играл на саксофоне, стильно одевался, но было в нём что-то злое, неприятное; возможно, это впечатление создавали его мелкие зубы хищника. Брат одновременно тянулся ко мне (читали одни книги, ставили им оценки, мечтали издавать рукописный журнал) и к Олегу, которому он проигрывал практически во всём… Я лежал с газетой, и вдруг в комнату вбежал брат: «Олег Шурку зарезал!» Я выскочил во двор и обнаружил Шурку лежащим на недавно вскопанных грядках в огороде; меня поразила белизна его лица. Поодаль стоял Олег с непонятным выражением на лице: то ли ухмылка, то ли что-то скорбное. Я побежал

2. Через три с лишним десятилетия я вспоминал эту сцену на берегу Енисея, когда из-за ледохода и тумана еле успел к выносу матери.

в больницу, приехала скорая (тогда это была конная повозка), мы загрузили Шурку, из его живота раздались какие-то звуки. Он скончался по пути в больницу от потери крови. Потом наступило страшное время: милиция, допросы, визиты Шуркиной матери и её родственников.

И тут выпала командировка. Мы с напарником всю зиму ремонтировали бункербазу «Медуза», и вот нас вызывают, потому что её системы не работают. Мой второй напарник, в отличие от первого, у которого я начал ещё учеником, весельчака, хохотуна, бабника (перегон ленских судов застрял на Енисее, он связался с буфетчицей, да так и остался в посёлке, как оказалось—навсегда), был простым, скромным, хоть и родным братом директора завода. Мы поехали, и со мной была книга Паустовского «Повесть о жизни», я раскрывал её каждую свободную минуту. Стояла жара, я то и дело спрыгивал в воду с низкого борта бункербазы. Пришвартовался для бункеровки теплоход, где капитаном был зять моего школьного друга. Первое, что он спросил: что там произошло? А что я мог рассказать? По делу я проходил свидетелем, хотя не видел ничего из своего угла с «Литературкой». Запомнилась обратная дорога на пассажирском теплоходе, где вечером на второй палубе были танцы и лучше всех танцевали солдаты, а я смотрел на тёмные берега и думал словами Паустовского после встречи с Буниным в Одессе: «Я пошёл к морю, к Аркадии, и в который раз представлял себе свою жизнь. Я перебирал её год за годом и вдруг понял, что всему моему раздёрганному противоречиями прошлому может дать смысл и силу, значение и оправдание только будущее»[3].

В начале шестьдесят третьего я снова приехал в Красноярск, долго не мог устроиться на работу, ночевал в общежитии у своих бывших однокурсников, которые уже готовились к защите диплома. Тогда все говорили о перекрытии Енисея, о Дивногорске; однажды я поехал в Дивногорск на автобусе, ходил и что-то узнавал (я был здесь в пятьдесят седьмом, когда селение называлось Скит, здесь были только пионерские лагеря, а мы на своей барже привезли детали первых восьмиквартирных домов). Я искал эти дома и нашёл—на самой верхней террасе. Но там уже стояли и пятиэтажки кирпичные, в одной из них был книжный магазин, и я купил однотомник Бунина, о котором уже слышал, читал, ждал встречи.

Считаю, что это Бунин сломал мою литературную судьбу. От его всепоглощающего влияния, от бесплодного подражательства я избавился лишь к тридцати пяти годам в рассказах о шкиперском сыне.

Следующими потрясениями для меня стали книги Казакова. О первой из них я узнал из иронической рецензии в «Крокодиле» про кабиасов, а вскоре купил в киоске две его тоненькие книжки в бумажных переплётах и с радостью обнаружил, что рассказ «Голубое и зелёное», инсценированный на радио и оставивший во мне след не меньший, чем паустовские шишки, написан Казаковым. И, как много позже с Паустовским, совпадение с Казаковым состоялось совсем скоро. После первого курса института меня за ссору с вахтёршей (не дала позвонить будущей жене) выселили из общежития, и я устроился жить в домике на геобазе, и у меня была своя «осень в дубовых лесах»: я топил печь сосновыми шишками, а для чая растапливал в кастрюле собранный у крыльца снег… В своих многочисленных рабочих поездках неизменно вспоминал рассказ «На острове»: «Ему отвели комнату, и он хорошо выспался, потом напился из тонкого стакана крепкого чая своей заварки». Именно из тонкого…

Но вернёмся к Лихоносову. Прежде всего, к биографическим данным. Вот что он сам написал об этом. Родился в 1936 году в селе Топки Кемеровской области, но с малых лет жил на левом берегу Оби, в Кривощёково, на улице Озёрной, дом 4, недалеко от железнодорожного моста… Отец был железнодорожником, а перед самой войной работал кочегаром в котельной, погиб на фронте в 1943-м, когда Витя готовился пойти в школу.

Учился он в одной из лучших школ индустриального левобережья, в одном классе с замечательными ребятами, ставшими артистами, как Юрий Назаров, педагогами, врачами, инженерами. Школьное детство: летом—песчаная полоса у моста и озеро в пойме Оби, зимой—походы через Обь в знаменитый тогда театр «Красный факел», где главным режиссёром была легендарная Вера Редлих, а играли там Михайлов, Матвеев, Глазырин, Агаронова… О своём детстве и малой родине, о матери, которой, как он считал, обязан писательским восприятием, он писал потом с любовью и грустью в повести и предисловиях, но в 1956 году уехал из Новосибирска навсегда. Закончил в Краснодаре пединститут, работал учителем в сельской школе и после ошеломляющего дебюта вернулся в Краснодар и стал профессиональным писателем.

Лихоносов уехал из Новосибирска в момент и накануне глубочайших перемен в жизни города, когда там начиналось то, без чего уже невозможно представить современный Новосибирск: открылись консерватория, телестудия, хореографическое училище, Арнольдом Кацем создан симфонический оркестр, зрели решения о создании Академгородка и университета. Что же, при всей любви к Сибири, заставило его совершить «бросок

3. В 90-х брался перечитывать Паустовского и — не смог. Даже написал эссе «Прощание с Паустовским». Лихоносов в 2004 году записал в дневнике: «Паустовского давно не люблю…»

на юг»? Пусть в «сельхозе» не было литературы, как сетовал Виктор в своём дневнике, но был же пединститут, не из худших в Сибири, а главное, он располагался в самом центре города, в красивом здании и, наряду с театрами оперы и балета, «Красный факел», музкомедии, был культурным очагом Новосибирска. Во всяком случае, почти вся творческая интеллигенция города вышла из педа, как потом бизнесмены и политики были выпускниками НЭТИ. Разгадка, возможно, в дневниковых записях 1955 года: начитался Паустовского, Бунина, Куприна, и — «захотелось в Одессу. Поскитаться».

Виктора Лихоносова я отметил по первым публикациям в «Новом мире» (сохранилась странички рассказов «И хорошо, и грустно», «Домохозяйки», подшитые в самодельный сборник с «Элегией», «Таманью», «На долгую память»). А потом было поразившее меня предисловие Твардовского к девятитомнику Бунина (1965 год), где начинающий автор был представлен, вслед за Казаковым, наследником нобелевского лауреата: «Из совсем молодых, начинающих прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихоносова».

Как пишет сам Лихоносов: «*Крещение моё в литературе состоялось легко… Крестником*[4] *моим был Юрий Казаков*». Большинство из тех, кто вошёл в те годы в литературу, кто был отмечен, прошли через семинары в Москве, Чите, Кемерово, через долгие годы ожидания первой публикации. Лихоносов миновал это, но, по себе знаю, вот эти годы «больших ожиданий», может быть, самые памятные в жизни.

Мне не довелось участвовать в «больших» семинарах, но у меня были свои университеты. Знаменитый полярный капитан и автор замечательных книг Константин Бадигин создал и возглавил комиссию по морской литературе при СП СССР, организовалась секция маринистов, куда попали и мы, пишущие о речниках. Первый семинар писателей-речников состоялся в 1981 году в Горьком, что закономерно: Горький — речная столица России и родина буревестника, который, как потом оказалось, испугался бури. А для меня лично город Горький имел особенное значение. Здесь родилась и жила до защиты её отцом кандидатской и «ссылки» в Сибирь моя будущая жена, сюда я прилетал два-три раза в год к своему научному руководителю, здесь защитил диссертацию. Мне нравился Горький в том числе и тем, что на Свердловке было много рюмочных, как на Таганке, а на Маяковке был пивной бар, как в Москве в Столешниках и в Ленинграде на канале Грибоедова.

«Речных писателей» поселили в «Нижегородской», мне сразу понравился мой сосед, капитан рейдового буксира и поэт, и мы допоздна гуляли по Свердловке. Наутро на открытии семинара в Доме культуры речников я встретился со своим научным руководителем, из рук которого пять лет назад получил диплом кандидата наук, а сюда его пригласили выступить с рассказом о перспективах отрасли. К этому времени у меня был готов роман, и по совету одного из руководителей я повёз его в «Молодую гвардию» к Шугаеву, чтобы получить потом ответ за его подписью, что роман не может быть принят к публикации из-за мелкотемья.

При чём тут Лихоносов? А при том, что признание и слава не только дают, но и отнимают. Так получилось, что самые лучшие воспоминания — острые, отчётливые, незабываемые — связаны у меня с моими провалами: в редакциях, диссертационных советах, кабинетах начальников.

Не помню, какой рассказ Лихоносова я прочитал первым, но помню впечатление от рассказа «Что-то будет», от первых строк: «*Весь день обмазывали стены внутри нового дома, месили, возили и подтаскивали на носилках глину*»; от слов: «*Валя растопила во дворе времянку*», — повеяло дымом, но не дров, а кизяка, ведь Кубань — это и Запорожье, и Дон, и Кавказ, курени, глинобитные дома, это Гоголь, Лермонтов, Шолохов…

Про своё детство и семью, про улицу Озёрную Лихоносов написал в повести «На улице Широкой» («Новый мир», 1968), позднее названной «На долгую память». Она начинается письмами матери: «Здравствуй, дорогой сыночек, с приветом твоя родная мама… Женя, смотри старайся, не вздумай разочароваца, выстраивай жизнь себе как следует, а то у меня годы идут не к младости, а к старости, и так что, сынок, слушай мамин наказ, больше тебе никто так не посоветует, как родная мама… Нынче много денег надо, угля нет, пальто бы отдать шить (ещё воротника нет), ты купи себе обязательно костюм… бери только хороший, на 5 лет чтобы, пригласи товарища или девушку, они посоветуют, как на тебе сидит».

Читаю и не только слышу голос *своей* матери, но могу текстуально сравнить с письмами ко мне: «Здравствуй, Володя, с приветом мама. Володя, мы сегодня от тебя получили письмо и как будто повидались… Володя, ты почему не пишешь, как питаесся, в столову ходишь или дома, на сухом кусочке. Голодом себя не мори, на питание не жалей. Сильно про наряды не спрашивай, отправляем тебе денег на тужурку, купи хоть недорогу. Володя, у тебя, наверно, бельё поизносилось, скажи [старшей сестре] Тамаре, она поможет купить, или приедешь на каникулы, тогда здесь подберём».

Читая с восторгом «На улице Широкой», вспоминал Подтёсово и свою Северную, родителей, соседей. Почему-то мне тогда и в голову не пришло пройти по описанным в повести местам, а ведь я жил уже в Новосибирске, но не было тогда географического восприятия, и лишь этим летом,

4. На самом деле — крёстным отцом.

перечитывая «На долгую память», вдруг обнаружил, что по пути на дачу я проезжаю Кривощёково, а на покос Женя ездил с родителями по той самой дороге за Криводановкой, где перед Кудряшами мы сворачиваем налево, к Кривому озеру: «*На пути их стояла древняя Колывань. Падали от её домов луговые тропы к большой реке, зноем дымились леса, конца-края не было зелёному сибирскому небу*».

В 1964 году в Новосибирске вышла книга «Что-то будет», через пять лет в серии «Молодая проза Сибири» — сборник «Чалдонки». Всего одиннадцать повестей и рассказов, в пяти из них действие происходит в Сибири. Книги были приняты, у Лихоносова появился не только крёстный, но и критик, и читатель.

Помню, как мы с братом-студентом ждали, читали, обсуждали книги Лихоносова. Перечитывая их сейчас, видишь, что уровень первых публикаций в дальнейшем не достигнут. Размазалось, растерялось то бунинское, что отмечал Твардовский; счастливая находка рассказа «Брянские» («стройности, гармонии и успеху способствовали герои, нашептавшие мне слова») перестала работать. Но в то время на это не обращалось внимания. В Лихоносове хотелось видеть счастливое продолжение Казакова, но и стиль, и язык Лихоносова семидесятых годов не смогли достигнуть уровня «литой прозы». Возможно, потому, что бунинское влияние — это колея, по которой так же опасно двигаться, как и выбраться из неё. Лихоносов избежал опасности бунинского тупика, но не обрёл своего, лихоносовского, стиля… Как-то услышал вопрос: кто выше — Бунин или Чехов? Вопрос риторический, но для конкретного писателя ответ на него может стать судьбоносным. Лихоносова по первым, самым искренним, рассказам причислили к бунинскому ведомству, но потом он стал писать «так, как может».

Особенное место у Лихоносова занимает связь личного и автобиографического. Одни и те же события из жизни автора — но он то Женя, то Митя, то Миша. В повести «Чистые глаза» он вообще всё перепутал — специально: «*И если я в своих главах безбожно наврал, то простите меня, друзья. Я не хотел, и как ни плохо, как ни далеко мною написанное от того, что было, оно всё-таки похоже на юную нашу жизнь…*» Трое друзей-одноклассников приезжают в Москву из Кривощёково; Никита учится, по-видимому, журналистике, Димка срезается в театральном и возвращается домой, а Егорка не только успешно сдаёт в театральный, но и встречается с большим артистом на его даче (с Евгением Матвеевым?) и даже с большим писателем Астаповым (воспоминание о встрече самого Лихоносова с самим Твардовским), но это не суть важно: главное, что показаны через Егорку-актёра эти метания и поиски юноши с творческим потенциалом. В повести есть те реперы, которые и определили жизненный путь героя: спектакль «Хованщина» в новосибирском оперном с Гмырей, «Вей, ветерок» в «Красном факеле» с Матвеевым (оба артиста вскоре оказались в Москве), дореволюционное издание Бунина; в конце повести Егорка оказывается на Дону — матросом на буксире (приплыли, называется!), с Толстым и Шолоховым в голове, с Лермонтовым и Герценом под подушкой, с растерянными мыслями: «*Будет ли что сказать потом? Неужели зря мы проведём дни, недели, годы?*»

И не случайно Лихоносов, «когда же мы встретились» после первых книг, выступил с другой прозой, исходя как из литературных пристрастий, так и из своего образования — филолого-исторического. Возник цикл прощания с прошлым: «Люблю тебя светло» (о поездке по есенинским местам), лермонтовская «Осень в Тамани», «Элегия» — о поездке в Михайловское.

В «Элегии» герой-учитель едет на север, в поезде читает «Русский вестник» с воспоминаниями об усадебной жизни; перед Псковом знакомится с девушкой в брючках, студенткой техникума, потом целый день в Тригорском с восторгом бродит по комнатам Осиповых. Вдруг появляется автор и, сидя на склоне городища и глядя на дорогу, по которой прошли учитель с девушкой в чёрных брючках, размышляет о том же, что и Егорка: «Да разве писатель я?» — и, словно чтобы убедить и убедиться, что писатель, следуют две главки, напоминающие и бунинский «Солнечный удар», и казаковское «На острове»: учитель и хорошая девочка Лида прощаются в ресторане, он пьёт пиво, она вино.

«— Жена у вас красивая? — спросила она и поняла, что прозвучало как-то не легко.

— Женился — значит красивая.

— Налейте мне немножко».

У Казакова:

«— Вы сказали… — Густя покрутила радио. — У вас сын есть?

— Двое… двое! Мальчик и девочка. Так-то, милая!»

Интернетовские биографы делят литературную жизнь Лихоносова на до и после романа «Мой маленький Париж»: «Л. замолкает на целое десятилетие. Все эти годы он работает над лиро-эпическим романом „Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж“ (1986), построенным на большом ист. материале и охватывающим события на Кубани, в Петрограде, Париже, на фронтах „германской“ и Гражданской войн с 1908 по 1982. Писатель ходит по станицам, беседует с казаками-колхозниками и реэмигрантами, с местными краеведами, изучает документы в архивах, переписывается с рус. эмиграцией, „собирает слова“ — фрагменты былого, постигая трагедию пострадавшей от большевистского террора кубанской земли и ее народа. В романе 87 самостоятельных и одновременно

взаимопроникающих, хоть порой и незавершённых — как бы самой эпохой, разметавшей людей по чужбинам, — глав-новелл, вместе составляющих своеобразную „одиссею“ кубанского казачества, в которой переплелись судьбы многих людей разных эпох и сословий, известных ист. деятелей и безымянных станичников. Повествование отличает живая и колоритная языковая стихия, в её многоголосии слышны и шум праздничной толпы, и плач по родным и близким, интимные любовные признания и яростные филос. споры, и то ироничные, то глубоко сострадающие, всегда проникнутые теплом христианского милосердия авт. комментарии».

Привожу этот текст в виде компенсации за отсутствием своей оценки: ни тридцать лет назад, ни сейчас, когда прах Деникина предан московской земле, а каратель Сибири признан народным героем, я не смог полностью осилить двадцать пять условных печатных листов текста, изданного тиражом в четыре миллиона экземпляров, кроме первых страниц (описание Екатеринодара): скучно, тягомотно, неинтересно, и даже Валентин Распутин, который о-о-очень старался, вынужден был признать в своей рецензии: «Строгий и придирчивый критик легко отыщет в этом романе недостатки».

Между тем интернетовские критики считают роман, называя его то «Наш мелкий Париж», то «Наш небольшой Париж» творческой удачей автора, его данью Краснодару-Екатеринодару — второй родине. Сам автор объясняет обращение к теме кубанского казачества любовью к Шолохову: оказывается, ещё до знакомства с творчеством Бунина он был захвачен мощной стихией шолоховского таланта: *«2005. Шолохов вырастил меня. С 19 лет я опирался на его книги, сверял с ними своё отношение к жизни»*.

Что же помешало роману стать если не классикой жанра, то хотя бы интересным для массового читателя? Ответ, возможно, кроется в словах автора романа из письма к редактору: *«Каждый хочет видеть своё: антисемиты — чтобы я разгромил еврейство, долдоны — чтобы я писал всё, что похоже на многочисленные фильмы и романы о Гражданской войне, либералы — чтобы я опорочил консерваторов-патриотов, лжепатриоты — чтобы я загадил всю интеллигенцию. Я же исключительной политикой в романе не занимаюсь. Она касается всех так же естественно, как морская волна, когда войдёшь в воду. Вода эта — десятилетия истории»*.

Только литература — настоящая — всегда субъективна, и никто не знает настоящей правды.

…Тринадцатое сентября. Холодный дождливый день. Проголосовал (на листе моя подпись — первая) и поехал в Кривощёково искать Озёрную. Накануне с помощью ГИС определил, что идти надо от «лихоносовской» школы, которая в низинке на углу улиц Станиславского и Котовского. В школе сегодня голосуют, выходят избиратели, в основном пенсионеры, собираются кучками у крыльца, обсуждают. Петлял под дождём между пятиэтажками по дворам и всё-таки нашёл — и улицу, и дом.

Он оказался рядом с широкой современной магистралью с длиннющими, на несколько кварталов, строениями. Дом низенький, обитый досками, выкрашенными в голубое, в палисаднике жёлтые цветы. Забор из железных прутьев, деревянная калитка с кнопкой звонка. Вспомнилось: «Закрыта наглухо калитка у окон дома моего…» На звонок показалась из-за дома лохматая собака, потом вышла хозяйка в тёплом ярком халате, оказавшаяся довольно милой. Сказала, что живёт здесь больше тридцати лет, ни от государства, ни по ипотеке улучшить условия не удалось. Про хозяина сказала, что приезжал несколько лет назад, фотографировался на фоне своего дома. В дом нынешняя хозяйка не пригласила, да мне и не хотелось — как не хотелось даже во двор входить нашего дома в Подтёсово при новых хозяевах. *«Становится не по себе от мысли, что когда-то там, где ты спал, обедал, читал и писал, будут жить другие люди со своими порядками, вещами…»*

Попрощался, вышел на магистраль и вдруг над входом в торговый центр, в метрах ста от дома на Озёрной, 4, увидел баннер «Улица детства» — то ли в насмешку, то ли как напоминание, понимай как хочешь. Я так и понял, что ничего случайного в жизни нет, и эти пенсионеры у крыльца школы, и этот холодный дождь, и эта страшная в своей суперсовременности магистраль, и этот промокший баннер — всё это складывается во что-то цельное, чему ещё нет названия, но что томит и просит выхода…

1998. 10 августа (Новосибирск). Если от нашей улицы идти на восток, то с поперечной улицы Станиславского начинается многоэтажный соцгородок (так называли до войны и после), и туда, если не привозили хлеб на наш край, матушка посылала меня утречком в магазин. Теперь у белого дома, отличающегося от других, я вспомнил… 1946 год. Стою в очереди, а по радио передают, что умер М. И. Калинин, всесоюзный староста. Многое забыл, а это не стёрлось. Наверное, потому, что в простонародье, среди которого я жил, Калинин (благодаря пропаганде) считался… «как родной». Этакий домашний дедушка, старенький, бородка клинышком. Умер. Жалко было. Принёс домой две булки хлеба, сказал матери: «Передали: Калинин умер». А уж его теперь совсем забыли. Как в воду канул. Надо было успеть занять очередь, хлеба мало пекли, и в этой очереди стоит мальчик с авоськой и не знает ещё, о чём и когда он будет вспоминать. Почему-то у этого магазина я ощутил потерю Кривощёково так же сильно, как у своего дома на улице Озёрной. Как же это поверить теперь в то, что я жил когда-то в Кривощёкове?

Александр Ломтев

В нашем старом дворе

(Заметки к ненаписанному роману о дяде Васе)

Вместо предисловия

Молодой рабочий секретного завода Василий был ранней пташкой; он любил раннее утро. Особенно летом. Он не любил автобусной толкотни и на работу на свой секретный завод ходил пешком. Не торопясь. Наслаждаясь свежестью утра и игрой не жаркого ещё солнца.

В то утро он, как обычно, шёл знакомой улицей вдоль монастырской луговины, сохранившейся, не застроенной, не тронутой ни советской властью, ни изобретателями бомбы, когда увидел, как по противоположному тротуару почти вровень с ним идёт сухощавый человек. Он сразу узнал его—это был академик Сахаров. Но отчего не на машине и без охраны?—удивился Василий, озираясь. Ах нет, была и машина, были и охранники. Машина ползла по улице метрах в двадцати позади, и тут же шагали два плечистых молодых человека в одинаковых пиджаках и светлых рубашках.

Так они и шли—Василий по одной стороне улицы, а академик по другой. Один раз Сахаров посмотрел в сторону Василия, заметил его и, рассеяно улыбнувшись, кивнул. Василий в ответ снял летнюю кепчонку и тоже кивнул.

У милицейского стенда «Они мешают нам жить и работать» Сахаров остановился и внимательно прочитал о нехороших горожанах, которые всем мешают жить и работать. Потом так же остановился у стенда пожарной охраны, прочитав, где что загорелось и отчего, потом у стенда, на котором вывешивали газету «Правда». Правда, «Правду» академик читать не стал. Наверное, за завтраком уже прочитал, решил Василий.

А потом Василий свернул налево, к проходной завода, а Сахаров пошёл прямо—к Управлению. Больше они никогда не встречались.

Потом, позже, Василию доводилось слышать разные байки про бытовую рассеянность академика. Про то, как, оставшись один—жена уехала в отпуск, он пытался жарить сухие, неотваренные макароны, как приходил на работу в ботинках разного цвета и даже в двух—один спереди, другой сзади!—галстуках. Василий в таких случаях важно говорил: «Не знаю, не знаю, ничего такого я в поведении академика не заметил…»

Неизвестно, вспоминал ли когда-нибудь ту встречу академик Сахаров, вряд ли, а Василий вспоминал её всю жизнь…

День за днём

Дядя Вася, рабочий секретного завода, жил в соседнем подъезде, в «двушке» на втором этаже. Когда мы познакомились, было ему под шестьдесят, он любил свою работу и рыбалку, боялся заболеть алкоголизмом и свою жену. И хоть был простым фрезеровщиком, но любил выражаться фигурально и философски. По утрам, когда мы время от времени сталкивались в подъезде, он мог взять меня за пуговицу и неожиданно сказать:
— Жизнь просто-таки кишит парадоксами. Например: круглый дурак рождает плоские мысли.

Мы сидели на скамеечке под старым дворовым тополем и наблюдали. По двору, истошно квохча, вперевалку бежала курица, за уворачивающейся курицей весёлой припрыжкой нёсся породистый пёс жильца из седьмой квартиры художника Аполлонова, за псом, неловко спотыкаясь, семенил сам Аполлонов, за художником с прутяной метлой мчалась хозяйка курицы Анна Ивановна. Смотреть на это было забавно.
— Вот упрощенный пример нашей жизни,—прокомментировал происходящее дядя Вася.—Все бегут, много азарта, шума и энергии. Но зачем? На самом деле Джеку курица не нужна, Аполлоныч его покормил, и он сыт. Аполлоныч знает, что Джек курицу не съест, но ему неудобно перед Ивановной. И Ивановна знает, что пёс курицу не съест, но её раздражает интеллигент-художник, который ни хрена не работает, только картинки малюет, а деньги загребает лопатой, и пёс у него мясо жрёт…

Курица наконец ухитрилась проскочить в щель под дверью сарая, пёс удовлетворённо гавкнул и побежал спасаться от наигранного гнева хозяина к его жене, а Анна Ивановна, стукнув метлой по дворовой пыли, вроде бы про себя, но так, чтобы слышали все, пробормотала:
— А ещё очки носют… т-т-тилигенты…

Двор сонно затих. Мы помолчали. Потом дядя Вася вздохнул:

— Да-а, жизнь тянется до-олго, а пролетает в одно мгновенье…

Фрезеровщик дядя Вася и старший научный сотрудник НИИ Ферапонтов, которого на досуге все звали не иначе как Ферапонтыч, очень любили ходить на рыбалку. Они забрасывали удочки и забывали про них. Они пили водочку и интеллигентно разговаривали на разные темы, а иногда даже дискутировали.
— Ах, как же вы не понимаете, на российской почве всегда взрастали и будут взрастать истинные таланты,— говаривал почитывавший на досуге Ключевского, Карамзина и Розанова Ферапонтов,— сама почва России способствует появлению гениев!
— Ну почему же не понимаю?— пожимал плечами дядя Вася.— Почва — да, способствует… Говн… навоза в ней с избытком…

За вечерним домино под крики ребятишек, гонявших в пыли консервную банку, дядя Вася рассказал новый анекдот:
— Михаил украл на заводе двенадцать гвоздей. Григорий на этом же заводе украл двенадцать вагонов с металлом. Вопрос: кто из них депутат Государственной Думы?
Ферапонтов выбрал из заборчика домино в ладони нужную костяшку, аккуратно пристроил её к чёрной в белую крапинку змее на столе и научным голосом сказал:
— Всё в мире относительно: день открытых дверей в университете — это нормально; день открытых дверей в какой-нибудь Бутырской тюрьме — уже несообразно…
Дядя Вася покачал головой:
— Тебя с твоими сухими учёными мозгами, Ферапонтыч, всё время не туда сворачивает. Это же совсем не про то анекдот. Вот послушай ещё один. Ленивый крестьянин Иван выращивает помидоры и сдаёт их оптом по четыре рубля за кило. А трудолюбивый работник Ахмед реализует эти помидоры по тридцать рублей за килограмм. Вопрос: у кого из них большой чёрный «Мерседес» и красивый дом на Рублёвке?
— Нет, Василий, это ты мыслишь поверхностно, не чувствуя глубинной сути вещей,— всё таким же научным голосом возразил Ферапонтов.— Ведь Иван действительно ленив, он не хочет бороться с Ахмедом за место за прилавком, не хочет торчать за прилавком день-деньской, торговаться за каждый рубль. Он получил свои четыре рубля с килограмма, купил водочки — и свободен…
— А кто тебе ближе, Ферапонтыч?— спросил один из игроков.
— Иван, конечно,— не задумываясь, ответил Ферапонтов.— Но это уже другой вопрос; как я уже и сказал — всё относительно…

Несмотря на вечернее время, было ещё жарко и, словно перед грозой, душновато. Говорить не хотелось, и дискуссия увяла…

Дядя Вася вышел из подъезда, когда сумерки выползи из сиреней и доминошники уже доканчивали третьего «козла».
— Чё так засиделся дома-то, дядь Вась?— спросил кто-то из молодых.
Дядя Вася помолчал, потом сказал печально:
— Сейчас по телевизору передавали… Оказывается, всего через каких-нибудь семь миллионов лет Млечный Путь столкнётся с туманностью Андромеды. И Земле капец. Ужас! Как жить на белом свете, ребята?!

Дядя Вася в одиночестве пил пиво на дворовой скамейке. Домой ему не хотелось, дома была жена, и по телевизору ничего хорошего не показывали. Увидев меня, он вдруг загадочно сказал:
— А ты знаешь, что великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье?..

И чего только не услышишь за доминошным столом. Вот на днях…
— Ну, тэк-с, у нас дублик — «три-три», трёшник…
— Так вот, насчёт Лох-Несса…
— Да что ты мне толкуешь тут про Несси из озера Лох? Ты ещё расскажи мне про памирского Етти, ети его… Ты думаешь, неизведанное только где-то за горами, за морями? А в соседнем Арзамасе самое удивительное событие — Аркадий Гайдар? Вот и ошибаешься… Смотри, чего ложишь, помухлюй у меня…
— Да я случайно…
— Как же, случайно! Дак вот, жена моего двоюродного брата…
— Кольки, что ли?
— Кольки… работает в нашем краеведческом музее. И знаешь, чего они там нашли? Нашли старинную бумагу, в которой рассказывается, что во времена Петра Первого случилась у нас в Арзамасе страшная буря: ветер, град, дождь, гроза… И вот вдруг с неба упал змей! Большой, с головой как у крокодила, с перепонками вроде крыльев, страшный…
— Живой?!
— Не-а, мёртвый. Весь город сбежался смотреть на чудовище. Ну, попы завыли, что, мол, дьяволово отродье и надо его сжечь немедля. Но как раз тогда Пётр издал указ, что если где что чудесное или несообразное обнаружится, чтоб под страхом смерти не уничтожали, а везли в Кунсткамеру — это музей такой.
— Знаю, знаю, в Питере.
— Опять дублик! «Пять-пять» — начинай опять. Ну вот, служивые люди этого змея измерили, осмотрели и вот тогда эту бумагу, которую в архивах

нашли, и составили. Ну, змея, натурально, заспиртовали в огромной бочке и тихим ходом с попутным обозом отправили в Питер… Ну ходи, чего ты?
— Ну и что?
— Да ничего. Не доехал змей до Питера. Пропал где-то по дороге. Ходи давай.
— Как же?
— Да так… Я думаю, зря они его в спирте везли. Думаю, где-то по дороге мужики эту бочку распатронили. Выпили спирт. И ищи-свищи…
— Да-а-а… А какая сенсация была бы!
— Ну и так сенсация. Столько всего в газетах понаписали про этого змея, как бумагу-то эту нашли. Да вот посмотреть бы на него, а—фиг!
— Жалко.
— Ну да… Вот если бы он на Копенгаген упал или на Лондон, может, бы сейчас в музее каком вместе со скелетами динозавров красовался.
— Да, не там упал. Не угадал. Но как же они его пили, спирт из бочки? Я бы после змея побрезговал.
— Ну да, больно ты брезговал в прошлый раз, когда Васильич…
— Ну, это другое дело…
— Ничего не другое. Рыба!

Мы сидели на скамеечке и смотрели, как мужик на спецавтомашине подцепляет мусорный бак, как дёргает рычажки на борту машины—и бак поднимается, заваливается, и мусор с грохотом летит из бака в кузов. Мелкий сор и бумажки ветром сносит в сторону от кузова, и дворничиха сердито поджимает губы. Когда мусорщик уезжает, дворничиха начинает мести сор и материться. Матерится она громко—на публику.
— Такое дело,—подаёт вдруг голос дядя Вася.— Плохой работы не бывает. Профессий плохих не бывает… И произведений не бывает плохих… Литературных или там художественных. Такое дело… Вообще, в мире плохого мало. Наций, наций плохих не бывает. И религий… Люди бывают плохие, вот дело какое… Вот в чём беда…

Дядя Вася и Ферапонтыч скучали над удочками «с самого с ранья». Категорически не клевало. Вода зыбким зеркалом отражала молодой камыш, сонные ивы, стройные сосны, дальше—невесомые облака; утренняя свежесть уходила, и песчаная полоска вдоль воды начала наливаться июньским зноем.

Дядя Вася подобрал с песка старую сосновую шишку, как-то не унесённую половодьем, и обречённо бросил её в воду. Шишка булькнула, и ровные круги пошли по перевёрнутым соснам, камышу, заставили ожить облака.
— Жизнь—как эти круги на воде,—сказал вдруг дядя Вася,—нужно всё время что-то бросать, чтобы они были. Перестанешь—и нет их, как и не было…
— О-о-о!—помолчав немного, оценил Ферапонтыч.—Да-а-а…
— Знаете, что я вам скажу?—дядя Вася задумчиво выпустил струйку дыма в листья тополя, под которым мы стучали костяшками домино.—Человеческая жизнь—это кот в мешке! Тебе её взяли да и всучили, не спрашивая, не объяснив, что это, зачем, чего с нею делать. Разница только в том, что от кота в мешке отказаться легко, а попробуй откажись от жизни…
— Тьфу, на тебя,—разозлился Ферапонтов.—Сидели, ничего такого—и нá тебе, думай теперь!
— А ты не думай,—блеснул золотой фиксой в щербатом рту Витёк из соседнего дома.—Рыба!!!

Эх, хорошо нагрянуть в родную деревеньку, хоть на денёк. Бредёт дядя Вася по улице—не нарадуется. Ласточки кричат над головой, пудики в пыли то ли ссорятся, то ли играют, крапивой пахнет и смородиновым листом вперемежку с банным дымком. Тётя Маня навстречу бредёт задумчиво.
— Тёть Мань, ты что задумалась?
— Да вот тапки купила, хороши тапки, тока они мне малы.
— А ты зачем купила малы-то?
— Ну… Велики-то у меня уже есть!

Лето. Огурцов уродилось! Девать некуда. Идёт дядя Вася по селу, в проулке, среди тазов и банок,—тётя Маня.
— Тёть Мань, чего делаешь?
— Да вот огурцы солю. Огурцов-то ноне—не знай, куда девать… Не выбрасывать же…

Постояла, посмотрела на горки огурцов в тазах и, разведя руки, вздохнула:
— В крайнем случае, солёными выбросим…

Дядя Вася, вернувшись однажды из санатория, рассказал историю, которая долгое время не давала мне покоя, бередила душу и воображение. В один из евпаторийских санаториев родители привезли сиамских близнецов, сросшихся грудными клетками, а когда срок путёвки кончился, не приехали за ними. Бросили. Близнецов усыновил главврач санатория. Он очень полюбил их. И тут выясняется, что совершенно необходима операция по разделению близнецов. Не оперировать—умрут оба. Оперировать—умрёт один. Но который?

Чем завершилось дело, дядя Вася никогда не узнал: путёвка кончилась, и он уехал. Но неподъёмная тяжесть выбора поразила меня; мне было очень жаль доктора, которому предстояло одного из близнецов обречь на смерть.

Один мой однокашник пошёл в военное училище. А когда его спрашивали: почему?—отвечал не знаменитым: есть такая профессия—Родину

защищать. Он говорил: не нужно принимать решений; тебе приказали — ты выполнил. И всё!

Но это, конечно, иллюзия. Жизнь рано или поздно поставит тебя перед выбором, как того врача из Евпатории, и этот выбор придётся делать тебе самому…

— Дядь Вась, в чём смысл жизни?
— Жизнь — это разбег перед прыжком в неизвестность.
— Нет, а серьёзно?
— Я на старости лет сделал вывод, что смысл жизни — в поисках смысла жизни. Это один ответ. Другой — в самой жизни, то есть ни в чём. Третий, самый банальный, — в поисках своего предназначения; кто поймёт, для чего он родился, тот счастлив; впрочем, третий ответ закольцовывается с первым. И ещё такой ответ: смысл жизни в том, чтобы старательно избегать думать над вопросом: в чём смысл жизни? Многим это удаётся… А совсем серьёзно… Жизнь — это разбег перед прыжком в неизвестность.

Из окна на втором этаже донеслось:
— Ну зачем ты цветное вместе с белым положил, скажи мне на милость? Зачем ты вообще взялся, чего не умеешь? Эх ты, статуй гипсовый!

Хлопнула подъездная дверь, и к скамейке вышел «статуй» — смущённый дядя Вася.
— Постирать хотел, — пожал он плечами. — Хотел как лучше… Вот правильно ведь, не надо браться не за своё дело.
— Дядь Вась, я тут недавно в книжке прочитал: «Они постоянно ругались, но никогда не ссорились». Эт про вас с тётей Люсей. В молодости ты её, наверно, любил очень, раз терпишь…
— Почему любил? — искренне удивился дядя Вася. — Я и сейчас люблю…
— Эх, а что оно такое — любовь? — неожиданно вздохнул щербатый Витёк из соседнего двора. — Даже и не поймёшь…
— Да чего тут понимать? — махнул рукой дядя Вася. — Вот женщина твоя случайно пукнула, а тебе розами пахнет. Вот тогда — любовь…

Никто не возразил…

В доме поселились новые жильцы. Толстый угрюмый полковник с женой. Полковника с тех пор видели всего несколько раз, и то мельком, когда он садился в подъезжавшую за ним машину, а жена уже успела со всеми перезнакомиться.
— Очень активная женщина, — сказал о ней Ферапонтов, когда они вдвоём с дядей Васей курили под старым тополем и смотрели на апрельскую суету грачей.

Грачи громко ссорились из-за веток на починку гнёзд, что настраивало на философские раздумья о роли социума в жизни индивидуума. Именно в этот момент к ним и подошла энергичная полковница.
— Так, соседи, пора подумать и о субботнике! — бодро завела она разговор. — Смотрите, сколько хлама во дворе! Я вот думаю на следующие выходные всех пригласить, — и она помахала листочками с текстом, набранным на компьютере. — Как вы на это смотрите?
— Видно будет, — пожал плечом в ватной телогрейке дядя Вася, а Ферапонтов промолчал.

Полковничиха направилась к подъездам с намерением расклеить бумажки, а мужики смотрели ей вслед.
— Какой субботник? — сказал наконец дядя Вася. — Снег ещё во всех углах, грязь только развозить! Ещё недели две ждать надо… — и, помолчав, добавил: — Недалёкая женщина.
— Да, — согласился Ферапонтыч, — поэтому далеко пойдёт. Вот увидишь.
— А я спорю?

Дядя Вася и Ферапонтыч часто спорили. Иногда просто так, ради спортивного интереса, «для тренировки серого вещества», как говорил Ферапонтов. И дядя Вася любил читать, и Ферапонтов был книгочеем. Очередная книга иногда и становилась яблоком раздора. Вот и на этот раз они не могли сойтись в оценке Пауло Коэльо. Дядя Вася говорил, что книжки у него поучительные и философские. А Ферапонтыч ругал дядю Васю за наивность и сравнивал творчество модного Коэльо с рассказами для детей Льва Толстого. Только для взрослых детей… Дошло до повышенных тонов.

Спор этот происходил в присутствии мужичка из соседнего двора — щербатого Витька.
— Без писателей вообще можно прожить, — посверкивая фиксой, вклинился он в дискуссию, желая примирить друзей. — Вообще, непонятно, за что они деньги гребут — за сказочки. Вот без денег не проживёшь, без бабы плохо, а книжки-писатели — тьфу! Нашли о чём спорить.

Ферапонтыч с дядей Васей от неожиданности замолчали, а потом дядя Вася сказал:
— Да ты пойми, неумный, писатели и журналисты, актёры и художники, музыканты, да вообще люди творчества — это витамин для организма под названием «человеческое общество». Без этого витамина человечеству грозит цинга!
— Духовная цинга, — поддержал Ферапонтыч. — Понимаешь ты это?
— Да ну вас, — махнул рукой Витёк. — Сами ругаетесь, а сами… — и направился к пивнушке.

— Ферапонтыч, ты всё-таки научный сотрудник, — сказал дядя Вася, подходя к доминошному столу под летним тополем. — Так вот объясни мне одну штуку.

— Давай попробуем,— пробормотал Ферапонтов, не отрывая взгляда от шахматных фигур; поскольку столик хоть и был доминошным, но иногда на его поверхности возникала и шахматная доска.— Что за штука?
— Ну, ты знаешь, есть такой феномен — лента Мёбиуса…
— А, да, забавная штука,— оживился Ферапонтов,— лента с одной стороной… казус такой физический…
— Как это — с одной стороной?! — в свою очередь оживился щербатый Витёк, который, несмотря на свою бомжеватую внешность и неистребимую тягу к крепкому алкоголю, любил и неплохо знал шахматы.— Так не бывает.
— А вот смотри,— Ферапонтов оторвал от лежащей тут же газеты длинную узкую полоску, свернул её в кольцо, но перед тем как соединить края, один край развернул на сто восемьдесят градусов.— Вот теперь у этой ленты одна сторона.

Дождавшись пока восхищённые фокусом Витёк и болельщики тщательно проверят феномен, дядя Вася продолжил:
— Да, так вот, лента — это ведь часть плоскости? А если мы возьмём не часть, а плоскость вообще? Что будет?
— Как плоскость вообще? — не понял Ферапонтов.
— Ну, лента будет не в сантиметр шириной, а уйдёт в бесконечность. Но раз часть плоскости можно свернуть в ленту Мёбиуса, то и вся плоскость должна сворачиваться. Не может же у части иметься одно свойство, а у целого другое. Вот я и спрашиваю: что будет?

Все посмотрели на Ферапонтова. Тот долго молчал, потом сказал:
— Надо подумать,— и кивнул Витьку: — Ты пока ходи давай, чего рот разинул?

Игра продолжилась, но все видели, что Ферапонтыч не на доске, глаза его затуманились, смотрели сквозь фигуры, и партию Витьку — впервые за многие годы — он с треском продул.
— Ты, дядь Вась, ему почаще такие вопросики подбрасывай,— улыбнулся во весь свой неопрятный рот довольный Витёк.

А Ферапонтов какое-то время сидел задумчивый, от матча-реванша отказался и в конце концов сказал дяде Васе:
— Жаль, я в этой сфере не силён… А вот ты зря в своё время в институт не пошёл. У тебя мозги исследовательские, нестандартно мыслишь.

И все с уважением посмотрели на дядю Васю, а Витёк аккуратно сложил газетную полоску и молча спрятал её в карман своего потрёпанного пиджачка.

— Вот, смотри,— дядя Вася развернул газету и зачитал: — «В преданиях местных жителей Большачка — это огромного роста женщина с распущенными волосами, в белых одеждах, которая показывается людям примерно в полдень в одном и том же месте. О том, что предвещает её появление, в народе бытует несколько вариантов…»
— Ну и что? — я догадывался, что сосед не зря вынес эту газетку, и не ошибся.
— Я её видел.
— Кого?
— Большачку. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но — видел.

Я знал дядю Васю давно и знал, что к мистическим настроениям он не склонен и сам посмеивается над подобными историями. А тут говорил хоть и несколько смущённо, но серьёзно.
— Ты же знаешь, мы деревенские, это отец когда-то в город переехал, на завод устроился, я тут и родился, но с малолетства все лета проводил в деревне. Вот шла жатва. Дядька мой деревенский, отцов брат, на комбайне работал с утра до ночи. А то и ночью. Каждый день бабка давала мне узелок с обедом, и я бежал на дорогу ловить порожнюю попутку. Какой-нибудь шофёр меня обязательно подбирал и отвозил на поле. Иногда по дороге ещё какой-нибудь мальчишка присоединялся. Или девчонка. А потом назад на груженой возвращались, зерном пахнет, пыль из под колёс… В узелках у нас что было? Хлеба большая горбушка — ржаного. Реже лепёшка. Яйца, в русской печке печёные,— вкуснятина, это тебе не на газу в кастрюльке… Да, ну, огурцы — или свежие, или солёные, картофелин несколько штук, опять же печёных, бутылка молока, тряпочкой или газеткой заткнутая… Что ещё?..
— Колбаса,— подсказал я.
— Ты что? Колбаса! Колбасу в те поры в деревне и по большим праздникам не видели. Бывает, мяса кусок или курицы, соль, конечно, лук зелёный или репчатый. Дядька сырой лук не любил, так что я зелёный носил. Садились тут же у комбайна и прямо на стерне обедали. Фуфайку какую-нибудь бросишь, чтобы не кололось… А один раз ночью…
— Погоди,— придержал я дядю Васю от дальнейшего впадения в детство,— ты про Большачку хотел…
— А, да! Ну вот, как-то жали не так далеко от села, и я пошёл к дядьке пешком, напрямки. И есть там такое место, про которое говорили, что там плохо что-то. Ну, старались туда без дела не ходить. Ребятишки смеялись, конечно, над этим. Гагарин в космос слетал, а тут такие суеверия, косность… Вот я там и шёл — тропка выходит на круглый холм, на холме кольцом берёзы, внутри кольца — поляна, тоже круглая, и трава там высокая. Ну, иду, прохожу под берёзами, а в центре поляны остановился. Красиво очень мне показалось. Берёзы высокие, стройные, шелестят, трава шёлковая, небо синим кругом над головой в зелёной кайме берёзовых верхушек, а в вышине невидимые жаворонки

заливаются. И такая благодать. Я узелок поставил да в траву и повалился — так хорошо было. Смотрю, как облачка по небу бегут, кузнечиков слушаю, нежарко, ветерок веет, травой и полем пахнет, комбайны где-то недалеко стрекочут, машина гуднула… Я вдруг понял, не знаю даже, как это описать, что вот это вот — и есть счастье. Вот бы вечно так всё шло и шло. А что будет дальше — хорошее? И вот только я это подумал, как всё изменилось. Главное — тишина. Полнейшая. И так всё странно. Ни кузнечиков, ни жаворонков не слышно, трава замерла, берёзы застыли… Словно мне уши заткнули, или будто я на дне озера оказался. Смотрю — ветра нет, а облака по небу в три раза быстрее несутся, даже мне показалось, что облака на месте стоят, а это поляна вместе со мной летит куда-то! Ох, я и испугался! И, главное, пошевелиться не могу, даже головы не повернуть. И тут краем глаза вижу, как из-за берёз вышла высокая, очень высокая женщина в белом балахоне с капюшоном и идёт мимо меня. Сердце у меня заколотилось, только бы, думаю, не заметила! А почему не хочу, чтобы не заметила, и сам не знаю. Но не хочу. И вдруг она лицо ко мне поворачивает, а лица… нету! То есть что-то есть, как бы и глаза, и рот, и даже прядь волос из-под капюшона, но размыто, словно сквозь марево, — не узнать. Я весь по́том холодным облился, и при этом меня в жар бросило; как такое может быть — не знаю, но было. А Большачка шаг как будто призамедлила, и в голове у меня такое началось! Даже и не опишешь. Как будто мне в мозги что накачивать стали… В общем, потом, по жизни, как только что мне предстояло серьёзное делать или решить что-то, на меня такое же вот состояние на секунду-другую накатывало, и знаешь, сразу становилось ясно, как быть. И ни разу ещё не ошибся. Вот помнишь, меня пару лет назад в бизнес звали? Миша Чужой лично приглашал. И деньги большие светили, а я — все ещё удивлялись — не пошёл. Василий Иванович пошёл. И через полгода убили его, помнишь?

Эту историю я помнил: действительно, было такое…

— Ну вот. Случайность?.. Да-а… Тут Большачка вдруг капюшон скинула, а на лбу пятна, она руку подняла, а на кисти нескольких пальцев нет. И вдруг как дунуло, гул пошёл, думал, берёзы переломятся! Зажмурился я и с травы как ошпаренный вскочил. Смотрю, а вокруг всё по-прежнему: никакой Большачки нет как не было, кузнечики безмятежно стрекочут, жаворонки пуще прежнего заливаются, берёзы шумят, и облака по небу потихоньку шкрябают… Схватил я узелок да как дёрну на звук комбайнов. Хотел дядьке всё рассказать, но не смог, язык не поворачивался… Так никому и не рассказал, тебе вот первому… Я потом всё думал, думал: к чему же это она мне показалась? Перед этим-то её у нас, говорят, видели в сорок первом, прямо перед войной. А тут что? Потом только понял: это она к перестройке показалась. Предупреждала…

Я смотрел на дядю Васю, а он смотрел куда-то в далёкое прошлое застывшими глазами, давно потухшая папироска его меж пальцев едва заметно подрагивала, а на лбу серебрились бисеринками капельки пота. А было нежарко. Вечер уже был…

— Да нормальное у нас государство, — вклинился в разговор щербатый Витёк, — не хуже, чем при Союзе. Там одно, тут другое…

— Вот именно: как всегда, поставили перед выбором между плохим и очень плохим, — вздохнул дядя Вася.

Ему грозит пенсия, и он понимает, что это будет не та пенсия, на которую он рассчитывал «при Союзе».

— Знаешь, подумай прежде, чем говорить, — обратился к Витьку Ферапонтыч. — Ответь мне: как называется государство, в котором полицейский офицер получает в четыре раза больше, чем профессор?

Витёк подумал, нахмурив шершавый лоб, и вдруг весело догадался:

— Полицейское государство!

Стоял ясный морозный день. Очень морозный: вокруг солнца явственно просматривалось бледное гало, а тополя вдоль улицы легонько потрескивали; даже голуби, воробьи и синицы попрятались где-то по чердакам. Мы вышли из подъезда одновременно, и дядя Вася, направляясь к своей старенькой заиндевевшей «копейке», спросил:

— Подвезти? Если, конечно, заведусь.

Я пошутил:

— Прежде чем вставить ключ в зажигание, помолись — и заведёшься.

— Нет, не буду, — серьёзно ответил дядя Вася.

— Почему?

— Знаешь, Бога лучше лишний раз не беспокоить. Не обращать на себя внимания. Живёшь потихоньку — и живи. А то попросишь что-нибудь, Он присмотрится-присмотрится да и скажет: такой говённый человечек, а ещё и просит чего-то, — и — бац! Не-ет, к Богу надо лишь при крайней нужде.

Дядя Вася забрался в «копейку», повернул ключ, стартёр застонал, поднатужился, двигатель хрюкнул разок и замолчал. «Копейка» не завелась.

— Ну и что? — махнул рукой дядя Вася. — Ну и на автобусе проедемся, не баре.

И мы, подгоняемые укусами мороза, потрусили к остановке.

— Славянин… Европеец… Все люди одинаковые, и все люди такие разные, — дядя Вася уже минут

пять задумчиво глядел на шахматную доску, не решаясь двинуть фигуру.

Очень соблазнительно выглядел конь щербатого Витька, но, судя по отсутствующему взгляду Витька и его блуждающей улыбке, таилась тут какая-то опасность, какой-то подвох. Да и Ферапонтыч скроил непростую мину, а ободряющую или предостерегающую — не поймёшь.

— Русский от европейца физиологически совершенно не отличается, а вот психологически, а точнее сказать, духовно отличается кардинально, — изрёк наконец Ферапонтыч, которому прискучила несообразительность друга.

Витёк подсовывал обыкновенный гамбит, и как его не видел дядя Вася — было загадкой.

— А в чём разница-то? — отвлёкся от созерцания соблазнительного коня дядя Вася. — Одни только общие слова.

Он сбил-таки коня с его клетки и тут же с треском проиграл. Витёк довольно сверкнул золотой фиксой и повернул доску к Ферапонтычу.

— Чтобы понять разницу, — сказал Ферапонтыч, расставляя фигуры, — советую перечитать «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого и «Улисса» Джеймса не-знаю-как-по-отчеству Джойса.

— А он из чьих? — вклинился Витёк.

— Из ирландских, — ответил Ферапонтыч.

Недели где-нибудь через две в этой же компании дядя Вася доложил Ферапонтычу:

— Прочитал я твоего «Улисса»…

— Да ну?! — удивился Ферапонтыч. — А я не смог, даже половины не осилил, бросил. Ну что, понял, в чём разница? Русский, как правило, рефлексирует, любит поковыряться в душе, в своих сомнениях, непременно ему надо знать, в чём смысл именно его жизни. А европеец всё же больше думает о бытовой стороне быта, о бытовых взаимоотношениях, он даже в литературе более физиологичен, заметил?

— Да всё это можно сказать проще, — пожал плечами дядя Вася. — Русский думает о духе, а европеец о брюхе.

— Довольно упрощённо, — хмыкнул Ферапонтыч.

Но щербатому Витьку такая формулировка очень понравилась…

— Наши древние предки жили лучше нас, — размышлял вслух дядя Вася, глядя на застывший поплавок. — Проще и правильнее. Радовались солнцу, восхищались радугой, боялись грозы, мечтали оказаться за горизонтом. В плохую погоду спали, в хорошую охотились… Завалил мамонта — и счастлив. А у нынешнего человека одна настоящая радость — деньги…

— Всё гораздо хуже, — после долгого молчания ответил Ферапонтыч. — Ты пойми, что мамонт древнего человека — это те же деньги.

— Ах ты ж! — шлёпнул дядя Вася ладонью по коленке.

Дядя Вася, вороша по доминошному столу костяшки, сказал, обращаясь главным образом к Ферапонтычу:

— Сегодня услышал в рекламе: «Вы всё ещё думаете?!» Да-а, как ни старается наше телевидение оболванить население, по-прежнему встречаются люди, которые всё ещё думают…

— Знаешь, — пожал плечами Ферапонтыч, — а мне кажется, что телевизор здесь ни при чём. Всегда есть люди, которые всё ещё думают, и люди, которые не задумываются.

— Вот именно, — встрял в разговор Витёк. — Я вот, например, уж полдня думаю…

Дядя Вася и Ферапонтыч удивлённо повернулись к Витьку и синхронно поинтересовались:

— О чём?!

— Да вот у кого бы стольник стрельнуть на пиво?..

— Видишь ли, на самом деле весь род людской делится на три категории, — задумчиво сказал Ферапонтыч, — всего три.

— И какие же? — полюбопытствовал дядя Вася, понимая, что приятель хочет пофилософствовать. — Какие?

— Все люди делятся на, — Ферапонтыч сделал паузу, — карьеристов, романтиков и болото. Карьеристов и романтиков примерно поровну, но болота в два раза больше, чем карьеристов и романтиков, вместе взятых. А может, и в три.

— Наверное, это не касается людей творческих профессий, учёных, — решил подискутировать дядя Вася.

— Нет, к сожалению, это касается всех, — вздохнул Ферапонтыч. — Как мне подсказывают житейский опыт и многолетние наблюдения, карьеристов и болота в творческой среде примерно столько же, сколько и в любой другой.

— И к какой же категории относимся мы с тобой? — поинтересовался дядя Вася.

— Ты — романтик, а я болото! И не спорь, — замахал Ферапонтыч на пытавшегося возразить дядю Васю. — Ты вот работу свою любишь, на выборы регулярно ходишь. А я на выборы уж лет двадцать не хожу.

— А я хожу! — радостно вклинился в философию щербатый Витёк. — Несмотря на то, что там теперь даже пиво не продают на участках.

— А ты — карьерист! — отрубил Ферапонтыч.

— Я?! — изумился Витёк. — Почему?!

— На выборы ты ходишь, потому что начальника своего боишься. А ещё баню ему строил, сам хвастался.

— Да, и где же моя карьера? Как ходил в слесарях, так и хожу!

— Не всем карьеристам удаётся сделать карьеру. Просто ты мелкий карьерист, неудачливый. Твоя карьера — выгодные заказы получать, будучи у начальства в фаворе.
— Слушай, — задумчиво спросил Ферапонтыча дядя Вася, — а на ком же тогда всё держится? На чём мир стоит?
— Как на чём? — удивился Ферапонтыч. — На болоте, конечно. И по этому болоту скачут карьеристы и романтики. Чтоб не утонуть.

Витёк раскрыл рот, тоже задумался и вдруг громко заржал.
— Ты чего? — в один голос спросили Ферапонтыч и дядя Вася.
— Да представил себе, как мы с дядь Васей по болоту скачем. Как лягушки…

Дядя Вася сдул квасную пену с края пластикового стаканчика и повернулся к Ферапонтычу:
— Скажи парадокс.
— Парадокс.
— Да нет, — поморщился дядя Вася, — скажи что-нибудь парадоксальное.

Ферапонтыч на секунду задумался, потом сказал:
— Самая мирная профессия — военный.
— Обоснуй.
— Все войны начинают политики. А заканчивают их военные. Не зря говорят, что военные «стоят на страже мира». Если вокруг знают, что в стране крепкая армия, против неё никогда не начнут войну. Армии пугают друг друга своей силой и так сдерживают конфликты…
— Да-а-а, — покачал головой дядя Вася, — а самая немирная профессия — учёный. Ты, Ферапонтыч!
— Я понимаю, о чём ты говоришь, — Ферапонтыч отхлебнул прохладной живительной жидкости. — Действительно, почти всё, что придумывают учёные, так или иначе встраивается в военную тематику…

Любят они — дядя Вася и Ферапонтыч — так вот пофилософствовать на досуге…

— Я, конечно, православный, — дядя Вася прислушивался, как из-за луговины доносится колокольный перезвон восстановленного храма. — А ты разве нет? В душе?
— В душе — да, — Ферапонтыч пожевал скептически губами. — Но считаю, что церковь должна жить бедно. Считаю, что нужен один красивый богатый храм в Москве, ну, храм Христа Спасителя, и по одному в крупных городах — как символы веры, и всё. Остальное всё, что дают прихожане свыше «прожиточного минимума», церковь должна отдавать тем, у кого этого минимума нет. Бабушкам, которые на морщинистой ладошке считают копеечку, прежде чем купить батон или пакет молока, инвалиду, про которого забыло государство, сироте… Если по-другому — значит, безнравственно.
— Может быть, может быть…

— Новый анекдот, — провозгласил Ферапонтыч, подходя к доминошному столу. — Упала вилка на пол и давай валяться!

Дядя Вася усмехнулся, а Витёк пожал плечами:
— Ну и чё? Ну, упала и валяется. А чего ж ей ещё делать-то? Не смешно. Вот я вам лучше про Василия Ивановича расскажу.

Но Ферапонтыч про Василия Ивановича слушать не стал. Махнул рукой и пошёл в магазин за хлебом…

Какого счастья просят люди? У Бога, у рока, у судьбы, у фортуны… Богатства, здоровья, власти, любви… Иному понадобится вся жизнь, чтобы понять, какого счастья нужно по-настоящему просить.

На днях у дяди Васи погибла внучка…

Как же он радовался и гордился, когда стал дедом… И вот… А погибла внучка глупо. Полезла за какой-то яркой вещицей на шкаф и опрокинула его на себя. Одна из полок пришлась на шейку. Много ли пятилетнему ребёнку надо? Спасти девочку не удалось…

Ночью перед похоронами дядя Вася рубил и жёг во дворе проклятый шкаф…

На кладбище мы с Ферапонтычем стояли в толпе и старались не смотреть ни на игрушечный гробик, ни на камнем застывшего сына дяди Васи, ни на мать девочки с совершенно безумными глазами. Я стоял, глядя на землю, вынутую из могилы, и всё повторял про себя: «Боже, дай мне самого главного счастья: чтобы мои дети похоронили меня!..»

И думал о том, что мои родители, при всех их несчастьях и трудностях жизни, оказались счастливыми людьми. Они увидели, что их дети выросли и стали самостоятельными; они знали, что будут похоронены детьми, а дети будут жить дальше… И бабушка с дедушкой были счастливыми людьми, их похоронили их дети и внуки.

«Боже, дай мне счастья быть похороненному моими детьми, — бормотал я про себя и не мог остановиться. — Только не наоборот, Боже!»

Анна Гедымин

На двенадцатом этаже

На двенадцатом этаже

1.

Опять тебя, папа,
полночными бреднями потчую,
Не думая о пробужденье,
отбросив дела.
Скорее всего,
я была отвратительной дочерью,
Но хуже другое—
что больше не «есть», а «была».

О Господи,
как с фотографии смотришь
внимательно!
Как жить без тебя невозможно,
хоть время прошло!
Нет, то, что я стала для сына
посредственной матерью,
Так это, ты знаешь,
наверное, хорошо.

Пусть будет ко мне не привязан!
И даже куражится,
Когда, так сказать,
опустеет осенний мой сад!
Но если умру,
пусть ему ни на миг не покажется,
Что свет почернел
и в случившемся—он виноват.

2.

Небо озвучено галками.
Август. Домашние туфли.
Со скандинавскими палками
Мама шагает по кухне.
Мысли при этом осенние:
Зябко, дожить бы до Святок…

Кризис. Москва. Воскресение.
Полдень. Девятый десяток.

Мама, покоя не зная,
Ходит как заводная,
Ни от кого не завися,
Скудную жизнь не ругая,
Тихо, как палые листья…

Ты моя дорогая…

* * *

Новый год,
бенефис вечнозелёных растений.
Ёлка вырядилась,
как будто школьница во хмелю.
Я в эти сутки
шарахаюсь от собственной тени
И тебя
забыть уже не пытаюсь—люблю.

День прибавляется,
мы, наоборот, иссякаем,
Жизнь отнимается у нас
без следствия и суда.
Я гонюсь за тобой,
как Герда гналась за Каем.
(«Вам не холодно?»—
«Ах, помилуйте, как всегда».)

Спят пространства,
разлукой нашей казнимы.
Спят меж нами
самолёты и провода.
(«Что вы думаете
про легендарные русские зимы?»—
«Ненавижу
эти чёртовы холода».)

Так чего мы добились?
Давай с тобой подытожим:
Ты—как Этна в своих облаках—
в посторонней увяз судьбе,
Я—бреду в новый год
(«Вам не скучно?») с поздним прохожим
И, коль плохо будет вести,
расскажу ему о тебе.

Возвращайся!
Я постараюсь
возродиться к весне, как природа.
Возвращайся!
Я постараюсь
сделать радостным наше житьё.
А иначе—уйди из памяти,
чтоб не было Нового года.
И скорее, а то куранты
уже затевают своё.

● ● ●

Умела прощаться, как умирать,—навеки,
Сжигать мосты, сжигать корабли.
А ещё умела заговаривать реки—
Чтоб помедленнее текли.

Чтоб не так мелькали под небесами
Первый вдох—и последний звук,
Чтобы лодки, прядая парусами,
Успевали землю принять из рук.

Дождь идёт. Минувшее всё дороже.
Разреши мне, Господи, отдохнуть,
Потому что так—сгоряча—негоже
Начинать свой главный, ответный путь.

Время

1.

Время подводить итоги,
Подсчитывать сдачу,
Заглядывать в глаза,
Спрашивать, что для тебя значу,
Не спать ночами.
Ну, или спать ночами.
Любоваться чужими детьми.
Разражаться речами.

В общем, жизнь оказалась
Подарком с подвохом:
На выходе—расплатись по счетам,
Дай на чай скоморохам,
Ничего не бери с собой,
Всё равно ведь обчистят, черти.
Вот и всё, что узнала о жизни.
Потом расскажу о смерти.

2.

Время всегда идеально
Для повитух и могильщиков,
Пекарей и строителей,
Выпускников меда и педа…
…Напуганный еврейский мальчик,
Заброшенный разводом родителей
В район Текстильщиков,
Бреется наголо,
Перенимает повадки скинхеда…

Я буду кем скажешь:
Пекарем и строителем,
Учительницей и медсестрой,
Я всё могу, добрый Боже.
Только прости и помилуй
Самых запутавшихся и беззащитных на свете!
Ополченцы, и менеджеры,
И демонстранты,
И болельщики тоже—
Это всё
Наши дети…

● ● ●

А домик, что мы снимали,
    ты знаешь,—давно сгорел,
Что дачной округе
    добавило действительно лоску.
И загнанно смотрит бомжиха,
    боясь спросить папироску,—
Ну чистое чудо в перьях,
    на которое разрешили отстрел!

Лишь солнце,
    ныряющее в поле, как в озеро,
        всё так же красным—
Красно.
    А картофельных грядок нет и в помине.
Новодел победил бы
    в этой тихой благородной низине,
Когда бы не церковь,
    построенная крепостным…

● ● ●

Ветра нет, но зябко у воды,
И деревья смутны, как во сне…
Может, нынче свет моей звезды
Наконец дотянется ко мне?

Даже не очнутся берега,
Только сердце грохнет в тишине,
И у закадычного врага
Пробегут мурашки по спине…

● ● ●

Вспомню: клён позолоченный
    в небо глядит, не мигая,
Занимаются сумерки,
    пухнет дымок над трубой…
Это жизнь моя—сладкая, жалкая—
    набегает,
А потом—отступает. И всё.
    И не будет другой.

Морщат реку жуки,
    колобродит весёлая рыба,
Сено, россыпь черничная—
    всех и не вспомнишь потерь.
Но останутся светлыми
    дни на обочине взрыва,
А не в центре его,
    эпицентре его—как теперь.

Время шло—и ушло.
Так душа вылетает из тела.
Так в колодце единственном
    вдруг иссякает вода.
Я любила тебя.
    Я тебя потерять не хотела.
(Жаль, что всё позади!)
    Я любила тебя—навсегда.

Наталия Кравченко

На нитке над обрывом

* * *

Жизнь моя дремлет, и сладкие сны
ей навевают остатки весны.

Пусть мне уже не послушен реал,
но как воздушен ночной сериал…

Вот загорается в небе звезда,
приоткрывается дверь в навсегда…

Кружатся лица, как листья в лесу.
Сколько любви я с собой унесу…

Нежности кружево, сны наяву…
Чтоб вы так жили, как я не живу.

* * *

Вот дерева скрипичный ключ,
которым отмыкают душу.
Весной его ласкает луч,
зимой снежинками опушит.

Причудливо изогнут ствол,
и не один гадал фотограф,
что означает жест его,
замысловатый иероглиф.

А я на свой толкую лад:
как корчат их мученья те же.
Рай без любимых—это ад,
в каких бы кущах нас ни тешил.

Кривится, словно от резца,
как будто пламя жжёт утробу…
Но, чтоб глаголом жечь сердца,
сперва своё спалить попробуй.

И, сто ошибок совершив,
друг парадоксов—но не гений,—
спешу к кормушкам для души,
в места энигм и офигений,

здесь, на скамейке запасной,
в тиши дерев себя подслушать…
Укром, карманчик потайной…
Я рыба, я ищу где глубже.

Где небеса глядят в глаза,
где всё незыблемо и просто,
с души сползают, как слеза,
и позолота, и короста.

* * *

Когда хорошо—мне грустно.
Ведь это скоро пройдёт.
Читаю с помощью Пруста
себя всю ночь напролёт.

Пока глаза не смежались—
копалась в своей золе.
Какие пласты слежались
в душевной моей земле?

Когда устаёт дорога
и жизни замедлен ход—
вгрызайся в свою утробу,
в колодец глубинных вод.

Там дремлет ночная тайна,
скрываясь за далью вех…
Невидимая реальность
невидима не для всех.

Пусть карта навеки бита
и слёзы текут из век—
но детский кусок бисквита
вернёт тебе прошлый век.

И жизнь по глоточку цедишь…
Минуту, неделю, год
в конце особенно ценишь—
ведь это скоро пройдёт.

Узнаешь, души не чая,
по-новому жизнь кроя,
как выплыть из чашки чая
в лазоревые края.

Не надо делать ни шагу—
земля сама за тебя
идёт, вынося из мрака,
как плачущее дитя,

в боярышник и шиповник,
в сиреневый шум и дым…
Как важно всё это помнить,
чтоб было навек живым.

В погоне за вечным раем—
неужто же без следа?—
когда-то все умираем…
Но это не навсегда.

● ● ●

Если взялся за гуж—что с того, что не дюж?—
должен вынести ношу двуногих.
Я пишу эти строки по адресу душ,
для таких же существ одиноких.

Ни к каким себя группам не отношу,
что на ниточках—марионетки.
Я на нитке другой над обрывом вишу—
Ариадниной тоненькой нитке.

● ● ●

Жалость, состраданье, милосердье—
словно сон, забытый на заре.
Этих слов, запрятанных в предсердье,
нету в повседневном словаре.

«Жалость унижает человека»?..
Став Москвой, не верящей слезам,
расколола нас жестокость века,
разведя по разным полюсам.

На одном—Гобсек с его доходом,
стол Рабле, маркиз де Сад с плетьми,
на другом—Сервантес с Дон Кихотом,
Достоевский с бедными людьми.

Анненского кукла и шарманка,
Рыжего ли Петя-дурачок…
И сочится вечно где-то ранка,
и грызёт незримый червячок.

Но во избежанье сытой смерти
никому той боли не отдам.
«Жалость, состраданье, милосердье»,—
тихо повторяю по складам.

● ● ●

Скользну на улицу, спеша,
пока все горести уснули.
Как хороша моя душа
в часу предутреннем июля.

Весь город мой и только мой!
(Попозже выспаться успею.)
Куда б ни шла—иду домой.
Куда б ни шла—иду к себе я.

Шаги и звуки не слышны.
Лежит, потягиваясь, кошка.
Как страшен мир без тишины
и без герани на окошках!

Овечек поднебесных рать
залижет нам ночные раны.
Вставать, страдать и умирать
ещё так рано, рано, рано…

● ● ●

Луны недрёманное око
следит за каждым из окон,
напоминая, что у Бога
мы все под круглым колпаком.

Души незримый соглядатай,
ты проплываешь надо мной,
напоминая круглой датой,
что всё не вечно под луной.

Чего от нас судьба хотела,
в час полнолуния сведя,
когда в одно слились два тела,
над сонным городом летя?

И, может быть, ещё не поздно
вскочить в тот поезд на бегу…
Ловлю ворованный наш воздух
и надышаться не могу.

Придёт зарёванной зарёю
иной заоблачный дизайн…
Летящий отблеск над землёю,
побудь ещё, не ускользай!

● ● ●

Незаметна стороннему глазу,
я по жизни иду налегке
за волшебно звучащею фразой,
что маячит ещё вдалеке.

Начинается новой главою
день в косую линейку дождя.
Зеленеет и дышит живое,
о своём на ветру шелестя.

Чтоб мотив тот подхватывал всякий,
напевая его при ходьбе…
А когда моя муза иссякнет,
то я буду молчать о тебе.

● ● ●

Ветер обыскивал грубо,
но ничего не нашёл.
Был легкомысленно хрупок
юбок взлетающий шёлк.

Явно слетая с катушек
в виде каштанов и лип,
ветер обыскивал душу,
дуя на то, что болит.

Что у меня за душой?
След от любви большой.
Что у меня в крови?
Свет от большой любви.

• • •

Раньше жизнь мы пили из горла,
а теперь смакуем по глоточку.
Но пока ещё не умерла,
и над «и» не время ставить точку.

Кружатся над нами миражи,
маски на весёлом карнавале…
Где же то, что обещала жизнь,
что от нас так долго укрывали?

Праздник, обернувшийся бедой,
на дары наложенное вето…
Помнишь, как нам в детстве жёг ладонь
фантик, притворившийся конфетой?

Отыщи орех под скорлупой
и не бойся, что он там надкушен.
Приходи, безбашенный, слепой,
по мою облупленную душу.

Пусть не достучаться к небесам
и ларец с сокровищем потерян,
но откроет, что не мог Сезам,
ключик золотой от нашей двери.

• • •

Февраль! Чернил уже не надо,
когда есть вилы для воды.
Писать сонеты иль сонаты,
в сердцах растапливая льды.

Бумаге жизнь передоверив,
смотреть, как гаснут фонари,
в чужие не стучаться двери,
познав, что выход—изнутри.

Когда ж сойдёт на нет удача,
побив все карты до одной,
и вековая недостача
преобразится в вечный ноль,

когда все маски и личины
оскал покажут бытия—
и в минусовых величинах
надежда выживет моя.

Но даже там, где нет надежды,
моя любовь тебя спасёт.
Где утешенье безутешно,
она одна осилит всё.

• • •

Налицо улыбка,
а с изнанки—боль.
Ты играй мне, скрипка.
Сыпь на рану соль.

Старые обиды,
не поймёшь на что.
Вся душа пробита,
словно решето.

Сердцу нужен роздых.
Этот мир—дурдом.
Музыку, как воздух,
я хватаю ртом.

Гребни волн упруги,
хоть по ним скользи.
Помню твои руки
и глаза вблизи.

Надо мной смеётся
или плачет Бах?
Память остаётся
в пальцах и губах.

В этих звуках адских
радость—словно злость…
В королевстве Датском
что-то не срослось.

• • •

Запомнить это небо
и тени тополей,
чтоб там, где мгла и небыль,
мне стало бы теплей.

По тёмным волнам крови,
по лабиринтам снов
туда, где кров без кровель
и чернота без слов,

неси меня, кораблик,
в нездешние края,
туда, где всё украли,
чем жизнь была моя.

Держитесь мёртвой хваткой
за то, что у черты,
за милую повадку
и близкие черты,

чтобы хоть эхом в бездне,
травинкой в волосах,
когда оно исчезнет,
оставив нас в слезах.

Ольга Корзова

Осенины

* * *

Метался снег, и ветры голосили,
и выстыл дом — ни капельки тепла.
И словно я одна была в России,
да и Россия маленькой была.

Зажатая нахлынувшею тьмою —
домашний свет едва мерцал во мгле, —
я вспоминала небо голубое,
цветы и травы на родной земле.

Мерещились вокруг чужие станы,
в окно глядела мутная звезда.
И думалось, что скоро жить устану,
а утро не наступит никогда,

что середина жизни, как печатью,
межвременьем тягучим скреплена,
что раньше срока постарели братья,
что без войны давно у нас война,

и если горизонт зальётся алым —
не разобрать, пожар или восход.

Храни, Господь, причалы и вокзалы,
детей храни — хотя бы в Новый год…

* * *

По утрам тяжелеют обычные вещи,
даже чашку из шкафа с трудом достаю.
И оборванный сон представляется вещим,
и качается мир,
и стоит на краю.

Это жизнь. Это вечное преодоленье.
Я огонь разжигаю в печи,
и во мне
от живого тепла разбегаются тени,
поднимается день,
будто тесто в квашне,

набухает, ползёт
и становится хлебом
под моими руками,
привычно обмят.
И крошу, и ломаю его на потребу,
а к полуночи охну —
он был или не был? —
но плывёт над землёю его аромат.

Пчела

От младенчества до старости
было велено пчеле,
день за днём блуждая в зарослях,
мёд искать по всей земле:
на лугах, в траве некошеной
(ох и сладок травостой!),
на полях, где тенью прошлого
чахнет колос золотой.

Затравела-замуравела
вся округа до небес.
Богатырскою заставою
поднялся на пожнях лес.
Не добраться в тридевятое,
не найти путей-дорог.
Спи, царевна русопятая! —
Не поможет и клубок.

Только память неуёмная —
хвать! — и высветит до слёз
потаённое, укромное —
лето, детство, сенокос…
Раскосив гнездо пчелиное,
братья, дымом из земли
пчёл прогнавши, соты вынули
и опять косить пошли.

Слаще нету мёда дикого,
но гляжу на чёрный рой.
У пригорка с земляникою
над разрытою норой
кружит, кружит… Делать нечего —
улетает. Над золой
остаюсь одна до вечера
грустной маленькой пчелой.

Иногда теперь мне кажется,
что возмездья пробил час,
со старинных наших пажитей
жизнь выкуривает нас.
А во тьме взгляну на улицу —
от тепла и до тепла
у озябших окон трудится,
вьётся белая пчела.

Запах беды

А старухи опять
запасаются мылом и солью.
Запах близкой беды
им доподлинно с детства знаком.
И молчит в ожиданье
пустынное русское поле,
а с окраины тянет
и порохом, и табаком,
да не тем, заграничным,
с заморским густым ароматом,
а махоркой простой,
словно старый встряхнули кафтан.
И уснуть я не в силах,
как будто и впрямь виновата
в том, что плачут старухи
и смотрят с тоской на экран.

Сказочное

Премудрой и Прекрасной не была
и оттого не встретила Ивана,
и мне достались ступа да метла,
избушка да заросшая поляна.

Конечно, не дворец и не уют:
павлинов нет и золотого трона.
Весной и летом соловьи поют,
в иную пору царствует ворона,

да Серый Волк приходит ночевать,
а иногда и вестью поделиться,
что Ванька запил горькую опять
и грезит о походе за жар-птицей…

● ● ●

По снегам осторожно ступая,
проминаю дорогу вперёд,
а зима вслед за мной заметает
и тропинку, и лето, и год,
словно лепит пространства иные,
где не будет случайного дня,
и тревожно былинки сухие
из-под снега глядят на меня.
Их пугает неясная доля —
переход в угасание, в тьму.
Чтобы зря не тревожилось поле,
наклонюсь и его обниму.
Буду гладить ладонями травы,
не расстанемся — корень один.
Не увёл меня век мой лукавый
от любимых российских равнин.
Ты со мной, моя вольная воля!
Угасает закат в облаках.
Дремлет поле, бескрайнее поле,
как младенец на женских руках.

Осенины

Из сердцевины зябкого листа
Тревожно смотрит август.
Даль чиста,
Но щурится и осенеет небо,
Неумолимо двигаясь к земле.
Грибы ещё растут в дневном тепле,
И мёда вдосталь на цветках пчеле,
Хоть день пошёл на убыль,
даже в небыль…

Вздыхает лето, предвкушая миг,
Когда чужим окажется грибник
В пустом лесу,
глядящем исподлобья.
Для человека праздного закрыт,
Он, точно леший призрачный, стоит,
Костлявый, серый, сумрачный, на вид —
Паломник из времён междоусобья.

Увядшая качается трава,
Ей сохнуть и желтеть до Покрова,
Пока ветрами снега не надует.
И, уходя под этот белый снег,
Бескрайний луг,
заброшенный навек,
найдёт успокоенье и ночлег,
простив, быть может,
пустоту людскую…

На задворках

Осипла ворона.
Её безнадёжное «кар»
висит на задворках,
над местом былого остожья,
где набок склонился
торчащий из снега стожар,
забытый людьми,
точно вся задичавшая пожня.
Послушай, ворона!
Нельзя воскресить старину.
Не будем кричать
над останками прежних угодий.
Без боя отдали
и прошлое мы, и страну.
И сыты, и пьяны,
а пуще того — в новогодье.
Чего ж тебе надо?
Какого ты просишь житья?
Хрипишь еле слышно
над лугом и брошенной пашней,
и словно болит
неусыпная память твоя,
а нам будто вовсе
не больно, не горько, не страшно.

Начало лета

Отгородилась летом от невзгод,
Зарылась в лепестки, травинки, грядки,
Порой не зная, день какой идёт,
Живу, как лебеда или осот,
То сушь кляня, то вечные осадки.
И кажется — не давит небосвод,
Как будто бы и правда — всё в порядке.

Как будто навсегда — не на постой —
Пришла я к облакам, ромашкам, лугу,
И каждый одуванчик золотой
Кивает мне. Врастаю в травостой,
Ложусь землёю, подчиняясь плугу,
И знаю: ночью мне шуметь листвой
И соловьём свистеть на всю округу…

Яблоко

И Дерево, и Дева, и Змея
Существенны, почти первопричинны.
Ты помнишь голос вешнего ручья,
несущего песок речной и глину?
Казалось бы, да как вместятся в нём
Земля, и лес, и небо с облаками?
Но космос отражает водоём.
А яблоко — преображает — память.

Перекрестина

Ирине

В северных наших краях
живы обычаи местные.
Если хозяина нет,
палка стоит у ворот.
Если надолго ушёл,
смотрит крыльцо перекрестиной.
Взглянет прохожий на дом,
взглянет — и мимо пройдёт.

Мы понимаем без слов
то, что в слова не поместится.
С детства с тобой говорим
на диалекте одном.
Видишь, на сердце моём
встала, как щит, перекрестина.
Значит, с тобою теперь
просто поплачем вдвоём.

Больше не жду я письма
или другого известия.
Высушив слёзы свои,
снова впрягаюсь в дела.
…Долго стучалась я в дом,
где у дверей перекрестина.
Жалко, что этого я
раньше понять не смогла.

Возвращение

Хрупкий ваш мир я ничем не нарушу,
Просто вернусь в свой заброшенный скит.
Буду лечить там бессмертную душу.
Странно: бессмертна, а всё же болит…

Долго болит от укола любого,
Пуще всего — от твоей нелюбви.
Вылечить можно единственным словом,
Только слова облетели твои,
Сжались, померкли, становятся пылью
Горькой, надсадною, вязкой, как дым.

Знаю: былое покроется былью
И порастёт не одним — так другим.
Ведаю: лечит и время, и дело,
Если заполниться им за края.

…В горенке тихой сижу онемело,
В доме своём, а сама — не своя.

● ● ●

О Тихоне земля смиряет ход,
задрёмывают травы и овраги,
и птица звонко петь перестаёт,
и слово медлит вызреть на бумаге.

К макушке лета тянется июнь,
но шар затих, бока на солнце грея.
На одуванчик ночи белой дунь,
не то застынет время, как в музее.

Пусть шевельнётся, двинувшись вперёд,
гонясь за улетающим рассветом.
Земля пойдёт — и человек пойдёт
дышать июльским воздухом, согретым

желанной сенокосною порой,
где звон косы на дальних перелогах
сливается с вечернею зарёй
и ставят стог, как будто славят Бога.

● ● ●

Всё пошло, как водится, с молотка.
Что не надо — отдано просто так.
И остались реки, да облака,
Да за дальней далью — Иван-дурак.

Шлёт ко мне он весточки каждый день,
Только этих весточек нет грустней.
Смс-ки щёлкают — трень да брень,
Да не пишет он, как живётся с ней.

И пустынна утром моя изба,
И лежат — не тают весною льды.
Если мне Иванушка не судьба,
Может, вовсе нет у меня судьбы?

Джамбулат Магомедов

На небе нет такой звезды

Перевод с даргинского Наталии Елизаровой

Мы похожи

Зима. Как берег тих реки,
светла дорога льда.
И в скалах, где ходы узки,
бежит во льду вода.

Дыханье слышится её —
не крик, не плач, не стон.
Как древней бабушки житьё,
укутанное в сон.

Где раньше билась в глубине
оврагов кровь-вода,
там ныне льётся в серебре
река под толщей льда.

А на откосах — в стороне —
пасутся овцы на холме.

На покрывало то глядя́,
стою я в забытьи.
О Уллучай, река моя,
в тебе мне всё сродни!

Мы грубы, яростны порой,
но ждёт затишья миг.
Весной являешь нрав крутой
под тяжестью вериг.

Бурлишь, кипишь в сезон дождей —
Не жаль ни лодок, ни людей.

Как ведьма, пену из котла
Ты изрыгаешь, зла.
Не стоят для тебя гроша
берёза, мушмула.

Хватаешь, тащишь за собой,
Как будто принимаешь бой.

Во мне дурман встаёт порой
и заслоняет ум.
Темнеет мир, я — дух, я злой,
В ушах и свист, и шум.

Споткнулся, падаю и злюсь,
Назавтра — над собой смеюсь.

Но вот такой, неукротим,
пришёл на этот свет.
Тебе, река, я побратим,
тебе я шлю привет!

Твой звонок

Я в тесной комнате сидел,
в тревоги погружён,
но телефон вдруг зазвенел —
и стало хорошо.

«Здоров ли ты? И как живёшь?
Погода хороша ль?
Играет свадьбы молодёжь?
Поёт твоя душа?»

И голос твой ко мне летел,
воркуя голубком.
И мир внезапно посветлел,
стал словно незнаком.

Звонок спасительный, живой,
как после тучи грозовой
целительно дышать,
зашлась моя душа.

Как хорошо, что где-то ты
живёшь, и первые цветы
в мечтах тебе дарю,
молитвой говорю.

И, если встреча не близка,
пусть ваша наберёт рука
на телефоне номера,
и пусть слова добра

найдёте вы! Благодарю
мою далёкую зарю.
На небе нет такой звезды,
что ближе мне, чем ты.

Исраил Ибрагимов

Небесных гонцов колыбельные песни

Перевод с азербайджанского Виталия Молчанова

● ● ●

Создания Божьи на свете не вечны,
Цветы, распустившись, осыплются за день.
И радость, и счастье всегда быстротечны.
Живи, наслаждайся, с судьбою не сладить.

Век дальше продлить не помогут богатства,
И время на милость тебя не отпустит.
В людской красоте нет, увы, постоянства—
Ложатся морщины узорами грусти.

Ближайшего ближе для смертных Всевышний.
Тебя Он поставит с достойными вместе.
Полюбишь Его—в час кончины услышишь
Небесных гонцов колыбельные песни.

Расставлены снова капканы врагами.
Устанут ли злые от мерзких деяний?
Пусть тесто недобрыми месят руками,
Хлеб праведным станет в горниле страданий.

● ● ●

Как шах даёт фирман[1], дай право быть с тобой.
В моих мечтах живёт единственное чувство.
Жду взгляда твоего, так влаги дождевой
Сухая ждёт земля, страдая безыскусно.
…Зачем ты ушла от меня, неверная?

Поверишь или нет, другим в твоих глазах
Предстану я теперь, душа теряет силы.
Что для тебя стихи?—ухмылка на губах…
Не плодоносит сад заброшенный, немилый.
…Зачем ты ушла от меня, неверная?

Прикосновений жар не сохранит рука—
Увядшие цветы пред зеркалом забыты.
К любимым волосам тянусь издалека,
Но рядышком чужой ласкает их открыто.
…Зачем ты ушла от меня, неверная?

Захочешь быть со мной—промолви: «Исраил,
Приди»,—и я приду, себя не унижая.
Смотрю на образ твой, на ту, кого любил.
Жизнь мимо пронеслась, в любви забот не зная.
…Зачем ты ушла от меня, неверная?

● ● ●

Мой дивный ангел с талией тончайшей,
Живи и здравствуй без хлопот печальных.
В миг расставанья в тишине звенящей
Ты слёз моих не видела прощальных.

Погаснет память искоркой во взгляде,
Истлеет сердце на костре разлуки.
Когда чужой твои ласкает пряди,
Тепло их сохранят поэта руки.

Забот и устремлений видишь мнимость,
Впуская в дверь заждавшуюся старость.
О Исраил, в дугу несправедливость
Тебя согнёт… Что седина ей? Малость.

● ● ●

Оставила, в любовь ушла другую,
Скользнув меж рук протянутых былинкой.
Когда расчешет ветер прядь тугую,
Оторванной хочу быть волосинкой.

Родник любви журчит, не иссякает,
Несёт прохладу для тебя, но мимо.
Когда в разлуке сердце замирает,
Слезой хочу быть на щеке любимой.

О жизнь, ты оборвёшься вдруг на пике
С мечтой несбывшейся о счастье беглом.
Когда улыбка вспыхнет вновь на лике,
В костре её хочу быть мёртвым пеплом!

● ● ●

Где ангел мой, оставивший в огне
И жажде, что всегда неутолима?
Подъёмы, спуски… Жизнь моя во мгле,
А ты, как солнца луч, проходишь мимо.

Дни, месяцы, года текут без нас.
Слёз горьких разделившая лавина
Не высохнет ни завтра, ни сейчас.
Букета одного две половины.

Приходит осень жизни, Исраил.
Душа больна, лицо твоё не вижу.
На вздох последний вряд ли хватит сил.
Приди, любовь, и сядь ко мне поближе.

……………………

1. Указ.

* * *

Когда ты ушла, то весна обернулась зимой.
Сорвал ветер шквальный в садах восковую листву.
Закончилась молодость… Горе кричит за спиной:
«На сон не надейся, ты стал сиротой наяву!»
— Но ищут глаза мои снова тебя, Мама!

Покинула нас… Слёзы тайно текут без числа.
Ушла, не вернёшь — стоном сердца к себе не зови.
На душу мою селевая лавина сошла —
Обломки мечты, светлой радости, долгой любви.
— Но ищут глаза мои снова тебя, Мама!

Найдётся ли тот, кто насытился жизнью с тобой?
Таких не отыщешь средь жителей тысячи стран.
Нашёл сам Пророк в материнских объятьях покой,
И матери имя вписал он в священный Коран.
— Но ищут глаза мои снова тебя, Мама!

Быть с матерью рядом — превыше желаний иных.
Трудилась, чужих не просила, снискала хвалу.
Поклон мой тебе до земли, благодарственный стих…
К могильному я твоему припадаю холму.
— Но ищут глаза мои снова тебя, Мама!

Жду встречи я вечером поздним и солнечным днём.
Но волю Всевышнего смертному как изменить?!
Лишь только во снах суждено пребывать нам вдвоём,
В другое же время, не видя друг друга, любить.
— Но ищут глаза мои снова тебя, Мама!

* * *

О Боже, смотри, что Ты сделал с поэтом —
Он спутником горя стал в страшной пустыне,
Засохшим бутоном засушливым летом,
Кериму с Меджнуном подобен отныне.
Цветок не завядший поэтом не будет!

Всю жизнь воспевал ненаглядную Пери
Поэт Шахрияр, не смирившись с утратой.
Весну молодую оставив за дверью,
Грустил о былом и совсем был не рад ей.
Любовь не терявший поэтом не будет!

Восток — вот поэзии вечной столица.
Жаль, мало поверивших в искренность слова.
Кто сможет с великим Хайямом сравниться,
Умы будоражащим снова и снова?
Не мудро проживший поэтом не будет!

Пройдись по тропинкам родимого края,
Склонись до земли у Могилы шахидов,
Скажи: «Выпил музыку вод родника я,
И саз наиграл мне красу милых видов».
Талант не имевший поэтом не будет!

Загадочна жизнь, Исраил, и чудесна —
Мы делим и радость, и грусть почему-то.
Закончилось лето, и зимняя песня
О долгой разлуке мне слышится утром.
Слезы не проливший поэтом не будет!

Проснувшись рано, вновь глаза сомкнуть не мог.
Зарёй рождённый, в них купался тёплый свет.
Я день рожденья твой пускаю на порог.
Отпраздную один, пускай тебя здесь нет.
На фото милое смотрю, и грустно мне.

Поздравить утром не приду к тебе домой.
Любовь взаимная теперь, как сирота,
От взглядов наших обернётся вдруг тоской
Со складками вины — морщинами у рта.
На фото милое смотрю, и грустно мне.

Печаль прошедших дней останется в душе,
И в сердце рану не удастся залечить.
Столкнёт судьба нас на случайном вираже —
Умру, воскресну и продолжу дальше жить.
На фото милое смотрю, и грустно мне.

Как провела свой день рожденья?.. Не молчи,
Ответь… Забудут ли объятия тела?
Ты зря затеплила все сорок три свечи,
Любовь моя сама сгорит свечой дотла.
На фото милое смотрю, и грустно мне.

Султаном наших чувств звала меня не раз,
Теперь гора я неприступная средь гор.
Захочешь встретиться, прельстить сияньем глаз —
В тумане спрячусь, не пойду на разговор.
На фото милое смотрю, и грустно мне.

Как встречу первую забыть нам, подскажи?
Пожатья нежных рук, заре подобный взгляд…
Моё ты имя кровью сердца напиши.
Любовь состарилась на год, и я не рад.
На фото милое смотрю, и грустно мне.

● ● ●

Я слёзы лью опять, отбросив прочь перо.
Как наши дни вернуть обратно, подскажи.
Был красок полон сад, теперь серым-серо.
Оплачу соловьём на ветке боль души:
— В объятиях твоих позволь мне умереть!

Родительской любви лишённый сирота,
Подобный кораблю, застывшему во льдах,
Не ведая, что есть на свете доброта,
К тебе я обращусь, сжимая в сердце страх:
— В объятиях твоих позволь мне умереть!

Прекрасен для двоих бег времени, но быстр.
По миру рядом шли свободные, как ветер.
Дочь ангела, любовь — моих деяний смысл,
Сотру я боль с души — мир сразу станет светел:
— В объятиях твоих позволь мне умереть!

Случайно или нет, мы встретимся с тобой,
И молнии зигзаг тьму ослепит пути.
Колени задрожат… Застыв, как неживой,
Я, Исраил, скажу последнее «прости»:
— В объятиях твоих позволь мне умереть!

Сергей Кузичкин

Двадцать лет и одна ночь

(Избранники Ангела)

Роман в четырёх книгах

Мы не выбираем времена, мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас.

Джон Толкиен, английский писатель и филолог

Книга первая. Одна

Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы…

Гаврила Державин, русский поэт

Ночь выбора

Восточная Сибирь.
Городок районного значения.

12 января 1983 года. 3 часа 50 минут

В ту ночь Ангел Смерти стоял в небольшой комнате четырёхквартирного щитового дома, возле старой скрипучей железной кровати-полуторки с облупившейся местами краской. На ослабленной, провисающей почти до самого пола сетке её и ещё новом, но уже пропитанном детской влагой матрасе спали трое. Не стиранная долго заскорузлая простыня выбилась из-под спящих и теперь, свисая, стелилась по полу. Женщина, пытаясь укрыться, то и дело тянула её правой рукой на себя, левой прижимая к груди головку ребёнка, голые ножки которого торчали из-под одеяла. Лицом в противоположную от них сторону лежал мужчина. Бо́льшая часть одеяла была на нём. Он покоился посередине кровати, на правом боку: голова его сползла с подушки, а ноги вытянулись вдоль стены.

Электрический свет горевшей на кухне лампочки падал на письменный стол, освещая разбросанные исписанные листы бумаги, детскую одежду, кастрюлю с застывшей в манной каше ложкой, заколку для волос. Свет задевал край обшарпанной пустой деревянной детской кроватки и доставал до кровати железной, едва касаясь плеча женщины и спины мужчины.

Дышащие, сопящие и вздыхающие во сне люди мирно спали всей своей небольшой семейкой, ведущей во многом нескладный образ жизни. Ребёнку, мальчику, только что исполнилось полтора годика, и несколько дней назад его отдали в детские ясли шпалопропиточного завода. Он уже бойко бегал, но ничего не говорил и, в отличие от некоторых своих хорошо развитых сверстников, всё ещё отправлял естественные надобности в штанишки, о чём молодым родителям недовольно говорили по вечерам воспитатели детского учреждения. Женщина, двадцати двух лет от роду, третью неделю как вышла на работу после двадцатимесячного перерыва, связанного с рождением ребёнка. Сорок дней назад ей искусственно прервали беременность в городской больнице, и теперь, отыскивая на больших вагонных колёсах трещины с помощью дефектоскопа, всю рабочую смену она только и думала, правильно ли поступила.

Спёртый воздух квартирки, с окнами без форточек, был настоян на гари, пропитавшей стенку над печной плитой, запахе детской мочи и пота. Больше других потел мужчина. Он спал в футболке и спортивных штанах. Обильное потовыделение его было напрямую связано с тем, что он проходил в железнодорожной поликлинике тяжёлый курс лечения от алкогольной зависимости: получал внутримышечно сульфазин и глотал таблетки тетурама. До этого двадцатичетырёхлетний молодой человек пребывал в месячном запое, а по выходе из него был снят с должности составителя поездов в грузовом парке железнодорожной станции, направлен по решению профсоюзного комитета на принудительное лечение и поставлен посыльным по станции. Ежедневно, в послеобеденные часы, он ходил в поликлинику, где ему ставили уколы и заставляли в присутствии врача проглотить одну-две таблетки, после чего он чувствовал слабость во всём теле днём и вечером, ночью плохо спал, а утром шёл на работу с тяжёлой головой и красными глазами.

Вот и в эту ночь он долго укладывался, ворочался, перед тем как уснуть. Беспокоился мужчина ещё и потому, что никак не мог закончить очерк о ветеране войны, который должен был отнести в местную, единственную издававшуюся на город

и район, газету. В этой газете его знали как автора лирических рассказов и материалов из жизни трудовых коллективов и охотно печатали по две-три заметки каждый месяц, а вот рассказы подолгу ждали своей очереди. Это тяготило автора, считавшего, что главное для него — художественные произведения, а не газетные жанры, и он несколько раз в отчаянии бросал перо, ничего не писал по месяцу и более, но всё же, повинуясь непреодолимой и необъяснимой тяге, через некоторое время снова садился за стол у телевизора, брал блокнот или тетрадный листок, авторучку и начинал набрасывать на бумагу разные придуманные или услышанные им истории. И накануне вечером, вернувшись с работы, молодой человек попытался написать несколько строк про ветерана, но сил в ослабшем организме к концу дня почти не осталось, мысли путались. Тогда он взял чистый листок бумаги и попробовал записать уже сложившийся в его голове рассказ, но снова ничего не получилось. Он взял ещё один листок, а потом ещё один и ещё… В конце концов, два из четырёх до половины исписанных листов полетели на пол: один — смятым, другой — разорванным пополам. Бегающий из кухни в комнату и обратно мальчик поднимал с пола бумагу и, смеясь, уносил её к печке. Женщина улыбалась, а мужчина не мог понять, чему она смеётся: то ли разделяя радость ребёнка, то ли его тщетным творческим попыткам. Так и не разгадав этой загадки, он, дождавшись, когда женщина и ребёнок уснут, попил чаю, завёл будильник и осторожно лёг в постель.

Некоторое время Ангел стоял неподвижно, потом сделал шаг вперёд и вытянул руки над спящими.

На огромном пространстве земной территории, называемом Сибирью, где на одного человека приходилось по нескольку тысяч квадратных километров свободной площади, не хватало места для совместного существования этих людей. Время, отведённое для их общения в земной жизни, заканчивалось, и один из них, оставив приобретённое на этой планете тело, душой возвращался сегодня туда, откуда был послан, — к Творцу. Кто? Это было, по сути, не важно для Вечности, но определить избранника должен был посланный Ангел.

Ангел развёл руки и посмотрел в Даль Времени.

День мужчины

1.

Ангел смотрел в Даль Времени.

В шесть тридцать зазвонил будильник. Андрей проснулся, но открывать глаза и вставать не хотелось. «Алёнка пусть первая поднимается, ей сегодня в утреннюю смену», — подумал он, почувствовав лёгкое шевеление на другой стороне кровати, представляя, как жена сейчас старается осторожно освободить руку из-под головки ребёнка и тихонько встать. Тихонько не удалось: пружина кровати заскрипела, ребёнок зашевелился, Андрей тяжело вздохнул.

— Увезёшь сегодня Саньку? — спросила Алёна мужа, уже встав и расчёсывая опустившиеся на плечи волосы.

— Не получится. Мне к восьми тоже надо, — ответил Андрей, не поворачиваясь.

— Ну и что, что к восьми? Успеешь…

— Не успею. Францыч с Райкой опять на меня поволокут за опоздание. Вези ты, тебе всё равно мимо садика идти. А я заберу вечером.

— И на меня за опоздание поволокут! Так бы я на автобусе поехала, а с Санькой пешком волочиться придётся, — в сердцах бросила Алёна и, взяв заколку и кастрюлю с холодной манкой, пошла на кухню.

Тотчас же загремела крышка рукомойника, в тазик полилась вода. Через пять минут Алёна крикнула из-за деревянной перегородки:

— Ты хоть ребёнка одень, пока я с плиткой вожусь!

Андрей громко вздохнул, повернулся лицом к свету, опустил ноги на пол, сел.

— Санька! — тронул он за плечо мальчика. — Вставай, сы́ночка…

Сыночка, не открывая глаз, повернулся на бочок и потянул ручки к лицу. В такую рань вставать ему тоже не хотелось.

— В садик пора, — сказал Андрей, наклоняясь над ним, — сынуля-Санюля! Аллё!

Сынуля-Санюля, не поворачиваясь, замахал ручкой.

— Ну и хитрун, — потрепал его за плечо Андрей. — А вставать всё равно придётся.

Из кухни запахло разогретой кашей.

— Вы ещё не встали?! — Алёна появилась в дверном проёме. — Я уже суп согрела и кашу. Давай поднимай его. Сидишь, как филин на свету. Поднимай и одевай! Привык, что всё на мне. А ты для чего? Пьёт — стонет, не пьёт — тоже стонет. Никакого толку.

— Тебе бы сульфазину покололи, не так бы стонала, — огрызнулся Андрей.

— Мне нечего его колоть, я не алкоголичка! — продолжая возиться с кастрюлями и не глядя на него, проговорила Алёна. — Одевай ребёнка и одевайся сам, а то точно потащишь его! Я ждать не буду! Ещё хотел, чтобы я второго родила — наплодила здесь нищеты. С одним справиться не можешь!

Андрей поднялся, прошёл на кухню, набросил на себя полушубок, надел сапоги, вышел во двор.

Едва сойдя с крыльца, он помочился у калитки и глянул на утренние январские звёзды. Сегодня они были как никогда крупными и необычно низко свисающими над домами. Холодок пробежал по телу мужчины: ему вдруг показалось, что кто-то стоит рядом. Он непроизвольно вздрогнул,

оглянулся — никого, поправил штаны и побежал обратно в дом.

— Холодрыга сегодня! — сказал Андрей, вернувшись.

— Будет холодрыга. Зима на дворе, а ты вчера в печку три полена бросил — и довольный!

Алёна поставила на стол алюминиевую кастрюлю с подогретым супом.

— Сама вчера весь день дома была, могла и протопить как следует, — попытался защититься Андрей.

— Могла, если бы ты дров наготовил. Мужик называется! Те, что от бабушки привезли, кончаются. Экономить надо, а то опять придётся забор разбирать.

— Ну и разберём, а по весне новый загородим, — сказал Андрей.

— Загородишь! Где досок возьмёшь? Хиль тебе привезёт?

— А хоть бы и Хиль. Вместе с ним и загородим.

— Хватит болтать чепуху! Три года знаешь только, что болтаешь, а ничего не делаешь! Собирай Саньку давай. Я опаздываю… — громко оборвала мужа Алёна, наливая себе в тарелку сваренного вчера из концентратов супа.

— Мне оставь! — резко, но в то же время просительно выдохнул Андрей, проходя мимо стола.

Санька одеваться не хотел, а когда Андрей понёс его к умывальнику, стал сопротивляться и хныкать. Похлебав супу и выпив стакан чаю, в сборы сына включилась Алёна. Прошло не менее получаса, прежде чем ребёнка умыли, сменили на нём трусики и колготки, надели рубашку и кофточку.

Между делом Алёне удалось затолкать сыну в рот ложку с кашей, мальчик манку выплюнул и захныкал с новой силой. Уговаривать малыша не стали: там покормят! — запихнули в большее размера на три новое зимнее пальто, натянули на голову шапку, повязали шарфом, надели рукавички. Андрей вынес примолкшего ребёнка во двор, усадил в санки, на подстилку — детское ватное одеяло. Морозно-звёздное небо, казалось, опустилось ещё ниже, едва ли не на крыши щитовых деревянных домов. Вышедшая следом Алёна, в купленном с первой своей послеродовой получки новом зимнем пальто, взялась за верёвочку и покатила санки по скрипучему снегу.

— Печь к вечеру протопи как следует! В холодную квартиру ребёнка мне не вези! — бросила она, не оборачиваясь.

Калитка за ней захлопнулась.

Звёздное небо упало на землю.

2.

Небо упало на землю и поглотило собой — темнотой и звёздами — щитосборные дома, калитку, крыльцо и одиноко стоявшего во дворе молодого мужчину. Мужчина попробовал протянуть руки и дотронуться до звезды, но не достал. Звезда осталась недосягаемой для человека. Человеком снова овладело чувство страха и почти физическое ощущение кого-то невидимого, находившегося рядом и следившего за каждым его движением. Андрей вошёл в дом, закрыл за собой дверь на крючок — сначала в сенцах, потом на кухне. Ощущение страха не проходило и при электрическом свете. Он прошёл в спальню и включил небольшой ламповый телевизор; тот ответил сначала шипением, а потом экран заполнился мерцающими мурашками.

«Ещё рано. В восемь начнут показывать», — вспомнил он. До восьми было около получаса. Страх по-прежнему трепетал внутри человека. Андрей наспех похлебал супа (прямо из кастрюли черпая похлёбку поварёшкой), потом быстро собрался: надел полушубок, валенки, — взял в руки большой висячий замок и, выключив свет, вышел в сени. В сенях чувство страха возросло вдвое, и спешащий покинуть дом человек не сразу смог открыть крючок. Немного повозился он с ключом и на крыльце, прежде чем закрыл дверь на замок. Бегом Андрей добежал до калитки, выскочил на ещё пустую проезжую часть и, подгоняя себя, заторопился на свет автомобильных фар и шум моторов, видимых и слышимых на бесконечно далёкой, казалось, центральной улице. Утренний мороз пощипывал щёки и прихватывал за нос, а звёзды продолжали мерцать рядом, близко и неестественно. Андрей побежал ещё сильнее и почувствовал, как ему не хватает воздуха. Он боялся оглянуться назад, боялся остановиться и перевести дух, боялся, что тот, невидимый, преследовавший с утра, догонит его прежде, чем он добежит до людей. Вот он добежал до общественной бани с кочегаркой, дымившей трубой, вот пробежал мимо безлюдного телефонного переговорного пункта, узла связи с большими электронными часами на уровне пятого этажа, повернул к орсовской столовой и, выбежав к автобусной остановке, наконец остановился и отдышался. Человек пять ждали автобуса под деревянным навесом. Ещё несколько, в оранжевых жилетах, стояли поодаль, дожидаясь служебного транспорта. Андрей узнал в них работников железнодорожной станции, подошёл, поздоровался. Двое кивнули в ответ.

Ждать пришлось недолго: служебный автобус подъехал минут через пять-семь. Усевшись в конце салона и прислушавшись к разговорам железнодорожников про погоду, последнее постановление партии и размышлениям по поводу очередных инициатив нового руководителя страны, Андрей забыл о преследовавшем его страхе и, казалось, совсем потерял его в актовом зале, сидя под большой, в полстены, картиной с изображением железнодорожного моста через сибирскую реку и вслушиваясь в разнарядку начальства. Не вспоминал о нём и после, по ходу размышлений

старшего нарядчика, пожилого немца Францыча, на тему: пока не дают зарплату, прогульщиков нет, но едва только стоит выдать получку или аванс, «нарот начинать порсеть, как сипирский лайки вдали от хосяин, напиваться как сфинья и не хотить на рапота. Про арбайт сапывать совсем. Сачем рапотать, когда вотка есть?». Внимая ворчанию Францыча, нарядчица Раиса и посыльный Андрей согласно кивали ему, но от комментариев воздерживались.

Бегать по вызовам Андрею в этот раз не пришлось. Все составители поездов, их помощники, диспетчеры и регулировщики скорости вагонов, заявленные на дневную смену, явились на трудовую вахту согласно разнарядке, и поэтому, посидев с нарядчиками до одиннадцати часов, Андрей собрался уходить. Теперь ему предстояло прийти на планёрку ночной смены — к восьми вечера. Пока он находился в помещении, на улице тьма уступила место свету — наступил день.

Посыльный вышел на свет: солнце ярко светило и заставляло блестеть снег на крыше вокзала; несмотря на это, мороз всё ещё напоминал о себе, пощипывая за голые пальцы рук. К первому пути подкатил пассажирский поезд, и Андрей вспомнил, как три с половиной года назад (почти три с половиной) он впервые здесь, на перроне, увидел Алёну. Тогда тоже к перрону прибывал поезд. Теперь ему казалось, что с того вечера прошла целая долгая жизнь, имеющая определение «семейная», а бывшее до того его холостяцкое существование стало таким далёким и даже нереальным, отделённым от нынешнего Вечностью.

Домой, в пустую холодную квартиру, идти не хотелось, и Андрей решил заглянуть в поликлинику, к врачу-наркологу. Врач была женского рода, по имени Галина Георгиевна.

— Как самочувствие? — спросила она, увидев пациента у дверей процедурной.

— Нормально, — ответил пациент. — А было бы лучше, если можно было завтра обойтись без сульфазина.

— Что, тяжело?

— Сплю плохо.

— Зато потом будешь спать — без задних ног, когда пройдёшь весь курс, по полной программе.

— Ну, может, всё-таки завтра пропустим один укол?

— Завтра посмотрим. А сегодня на-ка, прими таблетки.

Андрей проглотил два поданных ему врачом маленьких белых кружочка, запил водой.

«К матери сходить, что ли? — подумал он, выйдя из дверей поликлиники и повернув к пятиэтажкам заводского квартала. — Сестра дома должна быть, может, чем горяченьким покормит».

В квартире матери оказалась не одна, а две его родные сестры. Старшая, Ольга, приехала из деревни к младшей, Елене, жившей вместе с мужем в городской материной квартире. Сестрички покормили братца пельменями и сообщили, что собираются сегодня вечером в областной центр: погостят у тётки, походят по магазинам, передадут от него привет двоюродным сёстрам.

— Уже билеты купили, мамку с работы дождёмся и на вокзал поедем, — сказала Лена, когда они втроём уселись на диване перед телевизором.

Шла передача «Шире круг», в комнате было светло и уютно. Можно было посидеть в родительском доме ещё, но на душе стало нарастать необъяснимое беспокойство, и Андрей засобирался.

— Привет областному центру! — прощаясь с сёстрами и пожелав им счастливого пути, сказал брат.

Едва выйдя из подъезда, Андрей встретил Гену Хиля. Тот, по привычке последних лет, уже был нетрезв. «Композитор в своём репертуаре», — вспомнил Андрей определение, данное когда-то работниками заводской котельной, часто видевшими Геннадия выпившим и весёлым. Три года назад они вместе с Хилем работали сантехниками на заводе по ремонту дорожных машин. Нередко вечерами и по выходным Гена с Андреем проводили за бутылкой-другой водки или вина, долго не могли расстаться после выпитого, провожая друг друга от дома одного до дома другого, а потом обратно, преодолевая по тёмным улицам городка по шесть, а то и по восемь километров. Общение их, однако, не ограничивалось пьяным времяпрепровождением — помогали они друг другу и в бытовых делах, будь то посадка или копка картошки либо поездка в лес за ягодами, грибами, кедровыми орехами. Однажды Геннадий целый день стеклил окна квартиры приятеля. Это случилось, когда молодожёны Андрей и Алёна очень эмоционально поговорили наедине, в результате этой беседы в доме не осталось ни одного столового прибора из фарфора и стёкол на окнах.

— Ну чё, Андрюха, ты ещё в завязке? — шапка сантехника была сдвинута на левое ухо, усы подёрнулись ледком.

— В завязке… — вздохнул Андрей.

— Бедолага, Андрюха! А то бы пошли ко мне. Я калымнул сегодня — мужику мойку на кухне новую поставил, а он мне пузырь коньяку пятизвёздочного и две банки импортных шпрот дал. Щас ка-ак мякну!

Гена облизнулся, предвкушая застолье, провёл языком по усам.

— Хорошо тебе, — ещё раз вздохнул Андрей. — А я никак не могу курс лечения закончить.

— Закончить, чтоб снова начать! — засмеялся Хиль. — Пойдём, хоть шпроты попробуешь.

— Нет, Гена, не буду сам себя искушать, — отрезал Андрей. — Сегодня я тебе не товарищ.

— Ну, как хочешь.

Геннадий пожал руку приятеля и направился к подъезду своего дома.

— Привет супруге! — крикнул он, не оборачиваясь.

Андрей посмотрел ему вслед и сделал шаг в противоположную сторону.

Большие электронные часы на здании пятиэтажного узла связи высвечивали тринадцать сорок пять, когда Андрей подошёл к своему щитосборному дому. Мёрзнуть, топить печку, ждать, когда нагреется квартира, а потом, попивая чай, тупо смотреть в телевизор или мучить себя над листами белой бумаги желания не было. С минуту он стоял, раздумывая возле калитки: войти — не войти? Мороз снова напомнил о себе; Андрей, сняв рукавицу, растёр одну щёку, потом вторую.

«Часов в шесть печь протоплю, когда Саньку заберу из детского сада, потом и посижу над очерком», — решил он и отправился дальше по улице, в район старого города, где в небольшом домишке, построенном ещё в начале двадцатых годов, жили родители его покойного отца.

И дед, и бабушка были дома. Зимой они редко выходили из дому. Бабушка старательно лепила пельмени — маленькие «пуговки», а дед, подложив под спину подушку и облокотившись о спинку, то ли лежал, то ли сидел на кровати.

— Ну и правильно, что пришёл, — радостно встретила его баба Аня. — Что дома-то один голый чай хлебать, без пряников и стряпни? Да ещё, наверное, без сахару сидите?

— Сахар есть, — сказал Андрей.

— Знаю я вас! Есть… — улыбнулась, глядя на внука, бабушка. — По дну ложкой скребёте. Ладно, раздевайся, проходи, садись. Сейчас пельменями накормлю вас с дедом и шанежек с собой дам, вчера стряпала. Дрова-то дома ещё есть?

— Да есть на пару растопок. Толик обещал привезти.

— Это материн муж-то? Ну когда он вам ещё привезет?.. Поешь — и давай наложи полешек ещё в санки да отвези. Ребёночку тепло нужно, а вы с Алёной сами мёрзнете и его морозите.

Андрей хотел было сказать, что они пока не морозят Саньку, но не стал возражать бабушке. Как не стал убеждать её и в том, что недавно ел пельмени в квартире матери. Бабушка отказа бы не потерпела. Умыв руки, он сел за стол.

Кряхтя, встал с кровати дед и тоже подсел к горячим пельменям с бульончиком.

— Что, проголодался? — спросил он Андрея. — К кому ходить будешь, когда нас не будет? Мать, небось, так, как мы, не угостит.

— А что мать? У него жена теперь есть, — вступилась бабушка. — Научится ещё хорошо и супы варить, и шаньги стряпать.

— Нынешние уже не научатся, — возразил дед. — Нынешние хозяйки не те, что были раньше. Помню, мать моя такие пироги с рыбой стряпала! Тебе и не снилось.

— Моя мама тоже стряпуха хорошая была, — сказала бабушка, — и я кое-что умею.

— Конечно, умеешь, — согласился дед. — Против нынешних хозяек ты просто как мастерица перед подмастерьем.

Пельмени с бульончиком, перцем и луком были, как всё, приготовленное бабушкой, очень аппетитны. И хотя Андрей не был голоден, от добавки отказаться не смог. Добавку нужно было ждать. И пока бабушка засыпáла в кастрюлю новую партию пельмешек, разомлевшего деда потянуло на разговоры.

— В газету писать ещё не бросил? — спросил он внука.

— Бывает, пишу… — несколько смутившись, ответил Андрей. — Больше, правда, рассказы разные…

— Про людей хороших тоже не забывай, — напутствовал дед. — Побольше пиши о стариках, о том, что они воспоминают. А то как перемрут все — где правду узнаете, как тут в гражданскую жили или при царе? Ещё лет десять — и никого из нас не останется. И что потом? Из головы придумывать начнёте? Как про Киевскую Русь?

Андрей промолчал.

— Ну а жёнушка чем занимается? — снова спросил дед.

— Пошла в вагонное депо работать. К матери в бригаду. Дефектоскопистка она, трещины ищет на колёсных парах: найдёт — бракует, если нет, то снова колесо на вагон ставят.

— Знаю такую работу, хорошая. Зарплата, небось, у неё теперь больше твоей?

— Побольше…

— Вот времена пошли: бабы больше мужиков зарабатывают! — воскликнул дед, поворачиваясь к бабушке. — Да когда ж такое было? Баба, она дома должна быть, с хозяйством управляться, детей растить. А у нас что? А ты бы не пил, — обратился он снова к Андрею, — а за ум брался, и, глядишь, давно бы корреспондентом в газете работал, а не бегал по станции за вагонами.

— Хватит тебе, — оборвала разгорячившегося старика бабушка, раскладывая пельмени по тарелкам. — Он пить уже бросил. Сейчас за ум возьмётся, а потом и в газету работать пойдёт. Правда, Андрюша?

— Сейчас там, в газете, все места заняты. Если появится вакансия, может, и возьмут, — сказал Андрей неуверенно.

— А ты добейся, чтобы взяли тебя, а не другого. Докажи, что ты лучше! — грозно сказал дед, опустив кулак на стол, и Андрей поверил, что перед ним бывший красный партизан, помыкавшийся по свету и повидавший немало бед в годы Гражданской.

— Что ты пристал к парню? — опять вступилась за Андрея бабушка. — Добьётся, если сильно захочет. Ты сам-то почему не всего добился, чего хотел?
— Я тебя добился, когда захотел, и отец твой ничего поделать не мог. Взял тебя шестнадцатилетнюю, — смягчился дед, глаза его заискрились.
— А самому тридцать было. Знала бы, что обманываешь, ни за что не пошла бы замуж за тебя, — бабушка тоже улыбнулась и посмотрела на Андрея, давая понять, что дед атаковать больше не будет.

Когда бабушка разлила по стаканам чай и достала шаньги, во дворе завозились, загремели цепями собаки.
— Игорь, наверное, от Алика, товарища своего, пришёл, — определила бабушка и пояснила внуку: — Сегодня у него выходной. Вчера с ночной смены — вторые сутки отдыхает.

Она оказалась права: вошёл Игорь — младший брат отца, тоже железнодорожник, работник ремонтно-восстановительного поезда.
— Дверь плотнее закрывай, не студи дом. Не май на улице! — бросил ему дед, сидевший ближе к порогу.
— Ой, прости, прости, батя, — запричитал Игорь, с силой потягивая на себя дверную ручку. Было видно, что он слегка навеселе. — Прости, пожалуйста. Я вот тут Андрюшу увидел, обрадовался… Чуть про дверь не забыл. Привет, Андрюха! Как жизнь?
— Да нормально, — ответил Андрей.
— Ну и слава Богу! Главное, чтобы всё всегда нормально было. Правда, мам?

Игорь, не раздеваясь, направился к племяннику. Андрей встал из-за стола.
— Правда, — согласилась бабушка, — только дай Андрею спокойно поесть. Ты опять выпил?
— Да зашёл к Алику, а там пьют, и мне подали… — начал оправдываться Игорь. — А я отказываться не привык — выпил рюмочку-другую. А что отказываться: пей, не пей — всё равно помирать! — пожав руку Андрею, вздохнул Игорь.
— Рано помирать. Ты дом сначала отремонтируй. Через два года уже шестьдесят лет будет, как я его построил, — сказал дед, — стоит без ремонта всё это время. То война была — не до того было, то хворал, в больнице лежал, когда меня корова рогом в живот саданула. Теперь вот силы не те. А на тебя надежда…

Дед подирижировал ложкой, выписывая в воздухе крест.
— Ладно, батя, летом возьмусь за ремонт. Нижние венцы заменить надо, — согласился Игорь и, сняв шапку, оголил наполовину лысую голову. — А на следующий год — остальное сделаем. Веранду расширим. Андрюха вон поможет.
— Помогу, — кивнул Андрей.
— Сделаете вы… — дед встал из-за стола, махнул рукой и пошёл в спальню снова прилечь.
— Не бойся, батя, всё будет как я сказал, — бросил ему вслед Игорь, снимая полушубок.

Пока Андрей пил чай, Игорь ел пельмени, торопливо забрасывая ложкой в рот сразу по нескольку «пуговок» и прихлёбывая бульоном.

Стрелки стоявшего на комоде будильника выстроили прямой угол, указывая на то, что уже три часа пополудни, и Андрей, поблагодарив, стал собираться, сказав бабушке, что за дровами зайдёт вечером, после девяти. Та кивнула, подала ему матерчатую сумочку с шаньгами. Андрей молча, испытывая неловкость, взял гостинец.

Дядька, не одеваясь, вызвался проводить племянника. Едва они вышли во двор, как залаяли собаки и в ворота настойчиво стали стучать. Игорь отодвинул засов, открыл двери. Пришёл Стас — двоюродный брат Игоря, племянник деда и ещё один дядька Андрея. Пришёл не один — привёл с собой приятеля. Стас был одного года рождения с Игорем. Примерно такого же возраста — за сорок — казался и приятель Стаса.
— Привет, Андрюшка, — поздоровался Стас с гостем и тут же обратился к хозяину: — Игорь, говорят, у тебя брага есть?
— Есть, но не налью, — сказал хозяин решительно, — даже не проси, Стасик. Я самогонки нагнать хочу. Через неделю у подруги день рождения.
— Ну дай хоть по ковшичку нам с Виталием, — взмолился Стас, — с утра болеем. Хватит и твоей подруге, и на самогонку. Сам спозаранку, видно, уже причастился…
— Причастился, — Игорь смягчился, улыбнулся, погладил себя по остаткам реденьких волос. — Пробу снял: ещё пару деньков постоять браге надо, чтобы на самогон пошла.
— Ну налей, братуха! — продолжал молить брата и надеяться Стас. — По кружечке хотя бы…
— По кружке налью, — согласился владелец браги, — ладно, но не больше. Пошли с нами, Андрюша, посидим немного, — предложил он племяннику.

Андрей начал было говорить о ребёнке в садике, нетопленой печке и вечерней смене, но Стас положил ему руку на плечо:
— Пошли, Андрюха, давно я с тобой не сидел, за жизнь не разговаривал. Мы недолго. Игорь долго рассусоливать всё равно не даст.
— Не дам, — замотал головой Игорь.

Андрей нерешительно переступил с ноги на ногу.
— Пошли, — сказал Игорь, положив руку на плечо племянника и увлекая с собой.

Четвёрка мужчин прошла через небольшой огород к утеплённому временному домику, сколоченному из пропитанных креозотом шпал, обитых снаружи вагонной дощечкой.

Времянка Игоря состояла из двух комнаток — входной, узенькой, с обогревателем у двери и маленьким окошечком, и более широкой, представляющей собой интерьер плацкарты пассажирского

вагона. Нижние и верхние полки вдоль стен, полка-боковушка с раскладным столиком, в углу водогрейный бак. Всё это хозяин времянки помаленьку перетаскал с базы восстановительного поезда, со списанных вагонов. Во времянке было душно и жарко, и гости, не сговариваясь, сняли с себя шапки, положив их на верхние полки. Наверх пристроил Андрей и сумочку с шаньгами.

Стас с Андреем уселись за столик боковушки, Игорь с Виталием присели по краям двух нижних полок. Игорь выдвинул из-за спины Стаса алюминиевую флягу, накрытую старым зимним пальто, подвинул ближе к себе, убрал пальто на полку и открыл крышку. Внутри фляги зашипело и заиграло, в ноздри ударил дрожжевой дух. Хозяин взял со стола алюминиевую кружку и зачерпнул игристый напиток.

— Пробуй,— протянул он Стасу.

Тот осторожно взял кружку за ручку, сделал выдох и залпом выпил.

— Нормально,— сказал он, крякая и отдавая кружку хозяину.— Готовая уже к самогоноварению. Никаких двух дней ждать не надо.

Игорь снова зачерпнул, подал Виталию.

— Хорошая,— поддержал приятеля Виталий, возвращая пустую кружку хозяину.

— Глядя на вас, и мне захотелось,— облизнулся Игорь и снова черпанул из фляги.

— Убедили,— выпив, согласился он с гостями,— завтра начну перегонять, как с дневной смены приду.

— Повезло твоей подруге,— расстегнув полушубок и поглаживая себя по животу, произнёс довольный Стас,— ты спец по браге и самогонке.

— Ас брагостоя и мастер самогоноварения!— сформулировал Андрей.

— Ты, как всегда, прав, Андрюха. Не зря в газету статьи пишешь,— улыбнулся Стас.— А почему не пьёшь?

— Ему не надо,— сказал Игорь,— пусть отдохнёт от выпивок немного.

— Ты, парень, тетурам, наверное, глотаешь?— спросил Виталий, расстёгивая пуговицы своего старого, вышедшего из моды, с каракулевым воротником, зимнего пальто.

Андрей кивнул. От дрожжевого запаха, наполнившего времянку, у него слегка закружилось в голове, но уходить на мороз не хотелось.

— У Галины Григорьевны лечишься?— снова спросил Виталий.

— Галины Георгиевны,— поправил Андрей.

— То есть Георгиевны,— согласился Виталий.— Это такая полненькая, в очках?

— В очках,— подтвердил Андрей.

— Знаю, хорошая баба,— продолжал Виталий (было видно: брага заиграла в нём).— Проверяет, чтобы таблетки глотали при ней. Только всё ерунда это. Я два месяца назад у неё курс прошёл, а через неделю снова пить начал.

— Поделись с пацаном опытом,— попросил его Стас,— а то смотреть на него страшно. И выпить хочет, и не может…

— Главное — вовремя разрядиться,— со знанием дела, видя, что он в центре внимания, произнёс Виталий, поднимая указательный палец правой руки вверх.— Тетурам по три года в крови бродит, не растворяется. Но если пить капустный рассол…

— У меня есть хорошая квашеная капуста,— перебил его Игорь, снова опуская кружку во флягу.— Принести?

— Неси, конечно!— взбодрился Виталий, перехватывая поданную Стасу брагу.— Парню разряжаться надо. От тетурама и кровь портится, и на желудок он влияет, и с женщинами потом проблемы.

Игорь снова зачерпнул брагу, подал кружку Стасу.

— Я щас,— сказал он и, не дожидаясь, когда брат выпьет, встал и вышел из времянки.

Вернулся он быстро, Стас едва успел опустошить кружку.

— Вот и капустка. Квашеная, с рассольчиком…— сказал Игорь, поставив на стол трёхлитровую банку с наполненной до половины растительно-усоленной пищей.— Холодненькая, только из холодильника. Давай, Андрюха, мы брагу, а ты рассол.

Игорь взял с полки пыльный стакан, протёр его висевшим на гвозде полотенцем, открыл крышку банки и нацедил рассола.

— Пей!— протянул он Андрею слегка мутную жидкость.

Андрей взял стакан, почувствовав в руке приятный лёгкий холодок, сделал глоток.

— Пей, не бойся. Лицо вначале покраснеет — реакция пройдёт, а потом легко станет,— подбодрил его Виталий, слегка косясь на хозяина, гадая, нальёт ли он им ещё или на этом интересном месте прервёт разошедшиеся было посиделки.

Андрей осилил половину содержимого, поморщился и поставил стакан на стол. Рядом, выпив брагу, опустил пустую кружку Игорь.

— Ну как?— спросил он племянника, краем полотенца утирая рот.

— Вкусный рассольчик, ядрёный… Аж холодок по желудку пробежал.

— А капусты поешь?— спросил заботливо племянника дядька, подавая ему с полки алюминиевую ложку.— На! Ныряй ей прямо в банку. Капуста — в животе не пусто, как отец твой говорил, когда живой был. Она — вещь в любом виде полезная, не то что брага.

— Ты, Игорёк, зря про бражку так не говори,— снова вступил в разговор Виталий.— Брага — вещь тоже во многом полезная. Вот и Андрею сейчас надо поесть капустки, посидеть минут пятнадцать и полкружечки бражки хлопнуть, чтобы тетурамчик рассосался.

— Ну ты скажешь! — возмутился Игорь и даже подвинулся ближе к Виталию. — Ты что, пацана погубить мне хочешь?
— Да ни хрена ему не будет плохого. Только польза… Поверь мне, старому пропойце! — воскликнул захмелевший уже Виталий. — Ну помутит его немного, зато вся химия из организма выйдет. Я в лечебно-трудовом профилактории лечился. Так там, в элтэпэ, нам провокацию делали. Напичкают тетурамом и специально водки дают. Мол, кто хочет выпить? Всегда желающие находились: выпивали по сто — сто пятьдесят грамм. Одним ничего, а другие корчились, воздух зубами ловили, сознание даже теряли. А потом в норму все как один приходили. Не загнулся ни один человек. Это так наркологи нам охотку к питию отбивали. На наглядном примере. Только ни у кого не отбили… Кого встречал потом из тех, с кем в элтэпэ был, — все снова пьют. Ни один на всю жизнь не вылечился. И даже пьют теперь больше, чем до того, как их лечить взялись!
— Ну есть же и такие, кто концы отдают, если выпьют после лечения, — сказал Игорь.
— Есть, — согласился бывший элтэпэшник, — только концы отдают они не оттого, что лечились и таблеток наглотались, а от страха. Внушают себе, что если выпьют — помрут, вот и помирают. Глотнут — и ждут смерти. Представляют, как у них сердце останавливается или кровь в мозг попадает. И останавливается мотор, и бьёт кровоизлияние в мозг. Потому что внушили себе и дали сигнал мозгу, что делать, а он через страх и скомандовал организму: «На самоуничтожение!»
— Ладно, ты, не по годам умник, кончай нам по философии пьянства лекции читать, — легонько ударил по плечу Виталия молчавший некоторое время Стас. — Скажи-ка лучше: пить ещё будешь?
— Если Игорь нальёт, буду! — с готовностью ответил Виталий.
— Налью! — хлопнул в ладоши готовый уже продолжать питие до упора хозяин времянки. — Другому бы не налил, а ему налью. Люблю умных мужиков — знатоков философии.
— Ну и мне наливай тогда, — протянул кружку Стас.
— А ты отдыхай! Сегодня пьют только философы! — шутя, отодвинул его руку Игорь. — Правда, Андрюха?

Андрей пожал плечами, запустил ложку в банку, подцепил капусты.

Капуста захрустела на зубах, холодком прошла по горлу, провалилась в желудок.
— Как он смачно её ест! — воскликнул Стас, опустошив очередную кружку браги. — И мне захотелось. Дай закусить!

Он взял из рук Андрея ложку, пододвинул к себе банку, подцепил капусты «с горкой», торопливо сунул в рот и медленно начал жевать.
— Ништяк! — произнёс он, прожевав и передавая ложку приятелю. — Особенно после бражки. Мировой закусон, как говорит Райкин.

Виталий тоже запустил ложку в банку. Разгорелся аппетит и у Игоря. Глядя на поедателей его капусты, хозяин времянки и банки с капустой взял с полочки, прибитой возле входной двери, вилку и двинул банку к себе. Через минуту все трое выпивающих, поочерёдно двигая банку и запуская туда столовые приборы, активно работали руками и челюстями. Времянка наполнилась дружным похрустыванием.

Андрей же тем временем почувствовал, как у него зарделись щёки, на лбу выступил пот. Он встал и, не надевая шапки, направился к двери.
— Ты куда? — спросил Игорь. — Рано ещё. Посиди.
— Я во двор выйду. Подышу немного, — сказал Андрей, не оборачиваясь.

Его сразу обдало морозцем, холодок полез под ворот. Андрей закрыл за собой дверь, глубоко вдохнул, набирая в рот побольше воздуху. На мгновение ему показалось, что он оглох. Страх новым холодком пробежал по телу. Вновь возникло ощущение кого-то стоящего рядом. Он осторожно оглянулся по сторонам — никого, приложил ладони к ушам, с силой сдавил голову и резко опустил руки. Из-за забора донёсся шум проезжающих автомашин.

«Всё в порядке!» — обрадовался Андрей и опять, набрав в грудную клетку воздуху, резко выдохнул. Машины продолжали шуметь. Во дворе дома за забором лениво перелаивались собаки. Андрей прогулялся по огороду до заборчика, вернулся к времянке. Чувствовалось, мороз закрепчал с новой силой. Взявшись за ручку двери, Андрей на мгновение физически ощутил стоявшего между ним и дверью невидимого человека. Он вздрогнул и с силой потянул на себя ручку.

Из открытой двери пахнуло тяжёлым дрожжевым духом и табачным дымом. Игорь курил у обогревателя, сидя на стуле у окошечка. Виталий, вытянувшись на полке, погрузился в сон. Задремал и Стас, положив правую щёку на стол.
— Слабаки! — сказал Игорь, кивнув на компаньонов. — Не нашей они породы, Андрюха. То ли дело мы — крепкие. В деда… Он по молодости полтора литра самогона за день выпивал и ещё на рыбалку к вечеру собирался. А Стас… Он в тётю Полю — отцову сестру… Или нет, даже в дядю Сашу — её мужа. Тётя Поля тоже наша порода, не дура выпить была — бутылкой не уговорить. Не зря девяносто два года прожила.

Игорь одобрительно похлопал присевшего племянника по коленке.
— А может, тебе тоже кружечку шарахнуть?.. Для разгрузки… Как этот… Стаса друг говорит…
— Я сегодня таблетки принимал… — глотнул слюну Андрей.

Ему вдруг захотелось испробовать хмельного напитка. Причём захотелось мгновенно, ещё секунду-другую даже не думалось, и вдруг — захотелось.

— Ну, если таблетки противоалкогольные принимал, тогда не надо, конечно… — покачал головой Игорь, затягиваясь папиросой и поворачиваясь в противоположную сторону, к обогревателю. — Хотя этот… Виталька — прожжённый волк уже, развязал — и ничего, живёт, похмелиться просит. Нет, тебе всё-таки нужно отдохнуть от пьянок, воспитанием сына заняться… Дети сейчас быстро растут — не успеешь оглянуться, как в школу собирать надо…

— Это со стороны кажется, что быстро, — не согласился Андрей. — Тут, пока в школу пойдёт, ещё с детским садом успеешь намучиться…

Внутри него уже проснулся, зашевелился и стал навязывать свою волю лукавый обольститель. Он искушённо повернулся к фляге, руки откинули крышку. Брага шумела, играла внутри алюминия, просилась, рвалась наружу — в ковши, кружки, стаканы. Андрей глянул на стоявшую возле головы Стаса пустую кружку, несмело взял её, опустил в горловину фляги, зачерпнул, поставил на стол. Теперь шипение напитка продолжилось в кружке. Андрей встал, поднёс кружку с брагой к лицу, понюхал, потом коснулся краешка губами.

— Андрюха! — окликнул его Игорь, и рука Андрея непроизвольно дёрнулась вперёд, выплёскивая брагу через край. Брага пролилась на стол, на пол, в валенки и на полушубок Андрея.

— Андрюха, — повторил Игорь, поворачиваясь в его сторону, — ты вечером зайдёшь?

— Зайду, — кивнул Андрей и снова поднёс кружку ко рту.

— Заходи, я новые записи в дневник жизни занёс. Почитаешь, оценишь…

— Ладно, — снова кивнул Андрей.

Кружка стукнула по зубам, рука снова отдёрнулась. На этот раз обошлось без пролития.

Игорь лет двадцать вёл дневники, записывая туда свои впечатления. Записывал он их не ежедневно, от случая к случаю, иногда вклеивая в тетрадку фотографии, однако за два десятилетия у него накопилось около пяти десятков общих тетрадок различной толщины. Особенно плодотворными были дни, когда он в очередной раз уходил от жены и детей и поселялся во времянке родительского дома. Иногда он зачитывал навещавшему его племяннику выбранные места из своих сочинений.

— Ладно, — ещё раз повторил Андрей и сделал наконец небольшой глоток.

Потом он присел напротив дремавшего Стаса и стал ждать реакции. Игорь молча наблюдал за его действиями из маленькой комнатки. Попавшая внутрь человека брага отдала терпкой сладостью и провалилась в пищеварительный тракт, уже через минуту отозвавшись лёгким жжением в желудке.

— Вроде прошла, — тихо сказал Андрей ещё через минуту.

— Пройдёт, — утвердительно кивнул Игорь. — А куда ей деваться? Не зря Виталька тебе говорил…

Андрей снова взял в руки кружку, на этот раз более решительно поднёс ко рту и, сделав большой глоток, тут же схватился за ложку, зачерпнул капусты из банки, стал торопливо жевать. Выпитое, прожёванное и проглоченное отозвалось новым жжением в организме, в желудке приятно заурчало, в голове зашумело, с души спала тяжесть.

— Больше не буду, — сказал Андрей, — сейчас минутку посижу и пойду. В детский сад пора, за ребёнком.

— Посиди, — кивнул Игорь, втягивая в себя дым.

Андрей почувствовал, как к вискам приливает кровь.

— Пойду, — сказал он, вставая и беря с полки бабушкин гостинец. — Сколько сейчас время?

— Шестнадцать тридцать пять часы показывают, — выдохнув изо рта волну дыма, ответил Игорь, потянувшись к стоявшему на узком подоконнике окна времянки синему, с треснувшим стеклом, будильнику. — Они у меня, правда, впереди шли минут на пять. Если сейчас вообще не стоят. Вроде тикают…

Рука дядьки, пытавшаяся взять часы, прошла мимо них, но будильника коснулся рукав куртки-спецовки. Будильник упал на пол, подпрыгнул, осколки стекла рассыпались по полу.

— Мать его! — выругался Игорь и наклонился, чтобы поднять часы.

Выпитая брага разморила изрядно и его. Кряхтя, дядька, присев на корточки, скорее нащупал, чем увидел, часы, взял в руку, поднёс к уху.

— Теперь точно остановился, — сказал он, поставив будильник на место и снова присев на стул. — Хрен с ним, возьму у матери другой…

— Пойду… — Андрей шагнул к двери.

— Я провожу до ворот, — поднялся следом Игорь.

Когда вышли из времянки, зимнее солнце скрылось за домами и морозные сумерки опускались на землю. Воздух становился гуще. Когда стали подходить к воротам, Андрей почувствовал, что виски сдавило ещё больше. С давлением стал возвращаться и нарастать страх.

— Давай, Андрюха, до вечера, прости, что не так… — сказал Игорь, отодвигая засов на воротах. — А мне ещё собак покормить надо…

«Давай!» — хотел сказать Андрей, глядя на выбравшихся из будки двух собак-лаек, ожидавших ужина, но лишь пошевелил губами. Страх подступил к груди и нарастал, нарастал, нарастал… Виски сдавило сильнее. Ему показалось, что дыхание пропало и сердце не бьётся. Он испуганно

положил ладонь на грудь. «Не бьётся!» Быстро отдёрнул, облокотился на ворота, крепче сжал сумочку с бабушкиным гостинцем, потом попробовал сделать шаг, тело подалось вперёд, но ноги не двигались. Андрей прислонился к воротам. В глазах потемнело. Дядька, стоявший напротив, поплыл в сторону, удалился, снова приблизился… Андрей поднял глаза: небо стало тёмно-синим, затем чёрным, в вышине появились звёздочки. Рука, державшая сумку, дрогнула, пальцы разомкнулись, и сумка упала на утоптанный снег. Губы затряслись, пытаясь втянуть хотя бы немного воздуха… Андрей снова глянул на дядьку и отпрянул назад, едва не потеряв равновесия. На месте Игоря стоял человек в серой длинной одежде. Андрей не сомневался: это был тот, кто невидимо преследовал его весь день. Человек приблизился, и Андрей увидел его лицо: серое, неживое, пугающее. Человек протянул левую руку, на ладони появился синий будильник без стекла, тот, что стоял на подоконнике времянки. Вначале он был меньше, чем обычный, но через мгновение стал в два раза больше, потом ещё больше и ещё, уже не умещаясь на ладони. Маленькая стрелка часов находилась между четвёркой и пятёркой, большая закрывала цифру семь. «Шестнадцать тридцать пять»,—произнёс, едва шевеля губами, серый человек. Часы качнулись: большая стрелка отделилась от циферблата и выпала, за ней маленькая, потом из круга поползли цифры: четвёрка, пятёрка, семёрка, девятка… Человек исчез, исчезли часы, пропали дом и ворота, провалились собаки вместе с будкой, растворился двор… Звёзды посыпались на землю…

— А-а-а-андрю-у-уша-а-а!—послышалось не то отчаянным криком Игоря, не то растяжной песней бабушки, не то перебивающей друг друга скороговоркой матери с Алёной…

И Андрей полетел вниз, вдаль, вверх…

Навстречу звёздам, вместе со звёздами, рядом со звёздами…

Женщина и ребёнок

1.

Навстречу звёздам, вместе со звёздами, рядом со звёздами бежала и катила саночки по утреннему морозу Алёна. Пряча лицо от холода в поднятый воротник пальто, она петляла по узким снежным тропинкам и тёмным переулкам мимо профтехучилища, железнодорожной больницы, школьной котельной, пока не вышла на главную улицу. Но вот наконец поворот на заводской проулок, калитка с тугой пружиной и аккуратно расчищенная от снега дорожка к освещённому крыльцу детского сада. Перед входной дверью Алёна легонько растёрла ладонью Саньке щёчки, в комнате для переодевания малышей сняла с притихшего сына пальтишко, шапочку, рукавички, сложила одежду в кабинку и, поцеловав чадо в сладкие губки, передала его вошедшей в раздевалку воспитательнице. Потом она вышла во двор, взяла санки и занесла в коридорчик, поставив их в ряд таких же транспортных средств. Минут пять постояла затем в коридорчике, погрелась, постучала ногами о пол и снова выбежала на мороз. Два года назад купленные зимние сапоги, разорванные у подошвы на одном, подклеенные и зашитые у голяшки на другом, тепло держать не хотели. Лицо обжигало морозом, и Алёна на ходу прикрывала подбородок то одной, то другой рукавичкой. От детского сада до вагонного депо ей нужно было пройти, а точнее, пробежать примерно такое же расстояние, какое она преодолела от дома до детского учреждения. Мимо шпалопропиточного завода, сортировочной горки, дважды пересечь железнодорожные пути. И всё это по утренней темноте и холоду. А ведь могла она спокойно ехать сейчас на служебном автобусе, сидеть в тепле, рядом с матерью и сестрой Ларисой, слушать рассказы женщин про мужей и детей, если бы муженёк её, Андрюша, повёл себя как настоящий мужчина: взял бы да и сам отвёз Саньку в детский сад, а не строил из себя больного страдальца.

Справедливости ради, она тут же подумала о том, что больным страдальцем муж её стал в последние год-полтора, а первое время их совместной жизни он хотя и выпивал, но был деловым, заботливым, настырным, талантливым. Таким, каким он встретился Алёне тогда, тёмным сентябрьским вечером, сразу же захватив её сердце в плен, заслонив собой все её мысли, заполонив все чувства, решив всё за себя и за неё, не дав ей ни опомниться, ни подумать. Да, он был выпивши и в вечер знакомства, выпивал и после, но не пил так запойно, как накануне и сразу после рождения Саньки. Невинные выпивки с друзьями Андрея, часто заходившими к ним по выходным «на огонёк», через год стали превращаться в продолжающиеся по нескольку дней пьянки, с тяжёлым похмельем и невыходами мужа на работу. Ещё через год стало ясно, что Андрей уже не может обойти застолье стороной. Водка брала парня в полон, а похмелье—в зависимость прямо на её глазах.

«И я в этом виновата,—корила себя Алёна,—могла ведь прекратить в самом начале все эти посиделки. Пока он во вкус не вошёл. И Ваську Яковлева отвадить от заходов к нам с бутылкой, и Витьку Тетёркина, и Генку Хиля. Хотя Генку навряд ли… Они с Андреем друзья—не разлей вода. И помогал он часто нам и с огородом, и с дровами… Ну ладно, пусть бы только с Хилем пил, а то приятелей у него было—заходи кому не лень… И что я ждала? Закуску ещё им готовила… Разгонять надо было эти застолья… Да я же вроде пробовала разгонять…»

Ещё в первый год их совместной жизни, когда у Андрея стали появляться осложнения на работе, а в доме — перебои с деньгами, Алёна пробовала оказать воздействие на мужа и начала тактично отхаживать от дома Андрюшиных приятелей. Андрей хотя и сопротивлялся, заступался за друзей, но с Алёной конфликтовать не решался. Привыкая к семейной жизни, Алёна заметила, что Андрей не может жить без общения, и больше старалась увлечь его полезным для дома делом, чтобы он меньше думал о друзьях и вольной жизни. Бывало, это ей удавалось, и она чувствовала на некоторое время себя самым главным человеком в жизни мужа. Чувствуя её внимание, он тоже стал уделять больше внимания ей, а вечерами чаще садился к столу и начинал писать статьи и рассказы в местную газету. Его публиковали, и он имел даже некоторый успех у окружающих молодое семейство людей: родственников, знакомых, соседей. Но рассказы печатались в газете не так часто, как хотелось мужу, и от этого он, случалось, впадал в затяжную меланхолию, оканчивавшуюся лишь после того, как в доме появлялись содержащие алкоголь напитки. А потом вдруг (а может, не вдруг — Алёна корила себя за то, что упустила момент) «проявление характера» Алёны в отношении приятелей мужа привело к неожиданному для неё повороту: отлучённый от компании Андрей через некоторое время научился пить один, а выпив, становился непохожим на себя — грубил, повышал голос. И Алёна, случалось, уходила ночевать к матери, надеясь, что Андрей образумится и, бросив выпивку, придёт за ней, попросит прощения. Один раз он приходил, но это было только один раз. Первый и последний. Дальнейшие уходы Алёны — вначале одной, а потом и с Санькой — завершались её же приходами к невозмутимому, казалось, мужу. «Не любит он меня», — делала каждый раз вывод Алёна, мысленно проклиная день, когда пришла на первое свидание. Иногда она плакала, часто нарочно, напоказ, чтобы он проявил чуткость и показал свою любовь. Бывало, он проявлял: подходил к ней, говорил какие-то слова, — но она отталкивала его, а он, быстро сдавшись, будто только этого от неё ждал, отходил. Она мысленно жалела, что отгоняла его от себя, но ничего с собой поделать не могла. Гордыня распирала обоих: каждый хотел, чтобы последнее слово оставалось за ним. Примирял их Санька. Словно понимая, что не всё ладно в отношениях родителей, не научившийся ещё говорить ребёнок начинал вдруг ни с того ни с сего поднимать такой безудержный рёв, что родители наперебой принимались успокаивать сына и в конце концов, объединённые одной целью, оттаивали. Начинали вначале разговаривать с ребёнком, потом между собой, и дело заканчивалось налаживанием нормальных, в их понимании, семейных отношений. После таких коротких «разводов» Алёна тоже чувствовала себя виноватой и не делала мужу замечаний, если он на другой день приходил домой выпившим. Воротившись нетрезвым, Андрей нередко просил жену купить ему бутылку или просил денег «на добавку». И она, было дело, уступала.

Недели за две до Нового года, после очередной меланхолии и последовавшего за ней запоя, а затем и перевода Андрея на низкооплачиваемую работу, в гости к молодым пришла мать Алёны — Александра Никитовна — и уговорила зятя пойти к врачу-наркологу. «Помогает ведь некоторым лечение», — сказала тёща зятю, и он не стал с ней спорить. «Поможет, может», — надеялась Алёна. Она сходила вместе с Андреем к врачу-наркологу, женщине лет сорока пяти, поговорила с ней по душам, и курс лечения от алкогольной зависимости для Андрея начался. Лечение Андрей переносил тяжело, хотя и стойко. Алёна мысленно жалела мужа, глядя на то, как он мучается после уколов, вернувшись из поликлиники, и прощала ему его временную, как она надеялась, беспомощность в бытовых делах. Но иногда она старалась показать свой характер и, пользуясь ситуацией, может быть (и даже скорее всего), подсознательно, стремилась занять главенствующее положение в доме. Получив зарплату, в полтора раза превышающую месячный заработок мужа, Алёна купила себе и сыну пальто, демонстративно долго любовалась обновой в комнате у зеркала и громко говорила, обращаясь к ребёнку: «Вот, Саня, мы и сами, без папкиных денег, теперь можем себя одеть-обуть. А себе он пусть сам покупает. Правда?» Ребёнок, глядя на маму в обновке, дёргал её за рукав и громко, радостно смеялся. Андрей же на провокацию жены не поддался, лишь тяжело вздохнул и, глядя на сына, постарался улыбнуться.

Насладившись кажущимся ей превосходством и не дождавшись от мужа реакции, Алёна, весь день готовившаяся к конфликту, вдруг увидела себя со стороны — здоровую, злорадствующую над больным человеком женщину, умолкла и почти тут же пожалела о том, что не купила Андрею вязаный шарфик, который купить хотела и уже было собралась, но передумала назло мужу. «А ведь хороший, тёплый шарфик, и немного стоил, — подумала она, вспомнив, как в первую зиму их знакомства Андрей купил ей варежки из козьего пуха. — Вредина я всё же, ох и вредина!»

2.

«Вредина я, вредина! — ругала себя Алёна, снова вспомнив о муже, в деповской бытовке, где переодевалась в одиночестве. — Что я прицепилась к нему с дровами этими? Он ведь еле ходит после лечения. Да привезёт он несколько поленьев от бабушки — и хватит пока, а нет, так забор разберём. Как в прошлом году. И ничего не случится.

А весной что-нибудь придумаем, новую ограду сообразим».

Хотя и пришла она в депо последней, но к началу предсменной пятиминутки успела. Войдя в кабинет старшего мастера, где все уже собрались, поздоровалась и села на привычно оставленное для неё место, рядом с матерью. Та понимающе, но недовольно покачала головой. Сидевшая в стороне сестра бросила на них острый взгляд и сразу же отвернулась.

Смена началась как обычно. С ночи в цех накатали для проверки с полсотни колёсных пар, и Алёна часа два работала без перерыва. В одиннадцатом часу мать позвала её на чай. Чай всегда пили тут же, в цехе, за столом нарядчика, над которым висел «Экран соревнования», делая небольшие перерывы, после того как загружали работой токарный и сварочный участки.

— Ну что, Алёнушка, зубки-то у твоего сынишки все прорезались?— спросила инструментальщица баба Аня, пододвигая ей коробку с рафинадом.

— Не все, но укусить уже может,— улыбнулась Алёна.— Меня так цапнул, когда я у него кочергу отбирала— в горящей печке хотел пошурудить,— я аж от неожиданности с размаху шлёпнула его, а он как заревёт. Сама напугалась… Тут ещё Андрюшка на меня отвязался: «Зачем хлещешь ребёнка? Ты ему внутренности отобьёшь!..» А то я не знаю… Так получилось, по инерции…

— Мужикам лишь бы орать…— вступила в разговор нормировщица Зинаида Степановна.— Сами бы повозились с детьми целыми днями, а то только советы дают. Мой зятёк тоже такой. На руки сына даже боится взять, а советовать не перестаёт: пеленать вот так и вот так надо… А я, видишь ли, неправильно пеленаю… Это я-то? Четверых воспитала, все выросли, ни один из пелёнок не вывалился… А он: неправильно! Как соску подавать— и то учит… Как меня всё это раздражает, вы бы знали… Но молчу, не суюсь в их дела. Хоть скорее бы в свою квартиру перешли— не видела бы их и не слышала… Вот хорошо тебе, Шура, твои к тебе только по праздникам ходят.

Последние слова касались Александры Никитовны, и та не могла не отозваться:

— Может, и хорошо, что живут отдельно, но когда по неделе не приносят мне внука— я скучаю. С зятем у меня тоже не всё в порядке. Парень он хороший, но не пил бы…

— Да кто сейчас не пьёт?— вздохнула Зинаида Степановна.

После чаепития Алёна делала работу с удовольствием. Она удивлялась себе: быстро привыкла к коллективу, быстро выучилась профессии и теперь трудилась без устали, не подгоняя времени. И сегодня Алёна посмотрела на часы только перед тем, как пойти в столовую, в полдень, а потом— сразу после обеда, приступая вновь к проверке колёсных пар. В очередной раз она взглянула на свои крохотные часики-копейки, подаренные в прошлом году ей ко дню рождения Андреем, в шестнадцать десять. Может быть, и не взглянула бы, но в это время подошла к ней нормировщица.

— Тебе ассорти нужно?— спросила она.

— Какое ассорти?

— Рядом с депо, на подъездных путях, проводники с секции продают компот-ассорти, в пятилитровых банках. Яблоки там, персики, абрикосы. Купи для сыночка,— посоветовала Зинаида Степановна.— Наши уж все понабрали. Пять рублей банка. Недорого ведь!

— Да у меня денег с собой нет.

— Попроси у матери. Не даст для внука, что ли? А если у неё нет, то я дам пятёрку. Ко мне подойдёшь.

— Иди, рефрижератор стоит напротив колёсного цеха,— сказала ей мать, достав из кошелька пять рублей.— Только Лариске не говори, что я тебе денег дала. Опять ворчать будет: мол, вышла замуж— пусть муж обеспечивает…

Алёна кивнула и побежала к выходу. Но через десять минут вернулась: на подъездном пути рефрижератора уже не было. Слесарь Василий Львович показал рукой в сторону сортировочной горки:

— В состав секцию, наверное, повезли ставить.

— Ладно, не расстраивайся,— сказала ей Александра Никитовна.— Отдам я тебе одну банку— пусть Лариска ворчит. Мы две купили. Иди, работай спокойно. За смену надо все пары проверить. Оставлять на ночь свою работу не будем. Сколько сейчас времени?

Алёна взглянула на часы, но прежде, чем ответила матери, почувствовала толчок под сердцем и машинально прижала левую руку к груди.

— Шестнадцать тридцать пять…— тихо сказала она.

— Что с тобой?— мать тронула её за плечо.

— Кольнуло что-то… Уже прошло…— полушёпотом произнесла Алёна.

— Что? Сердце?— испугалась Александра Никитовна.— Будет колоть, если ночами не высыпаешься и впроголодь сидишь.

— Да прошло, прошло уже,— заговорила быстро Алёна, убирая руку от груди.— Просто кольнуло. Это у всех бывает.

— Хорошо, если просто. А то, может, и не просто. Ты давай завтра днём, перед ночной сменой, сходи в поликлинику, проверься у терапевта, к невропатологу зайди.

— Ладно,— сказала Алёна, пробуя улыбнуться и уходя на своё рабочее место.

Мать проводила её взглядом.

За последующие полтора часа она проверила ещё несколько колёсных пар. После шести вечера работавшие в дневную смену обычно, если

не было аврала, начинали уборку рабочих мест и подготовку участка к передаче тем, кто придёт трудиться в ночь,—«ночникам». Подготовив дефектоскоп для сменщицы, Алёна присела передохнуть. Внимание её привлекла вошедшая в цех женщина в норковой шубе. Женщина что-то спросила у нормировщицы, Зинаида Степановна показала в сторону Алёны. Увидев Алёну, женщина пошла к ней. Алёна поднялась навстречу. Под сердцем снова кольнуло, кровь прилила к лицу. Фигура женщины, быстрая походка её показались знакомыми. «Неужели Мария, подруга свекрови? А что ей нужно?»

Мария остановилась шагах в двух от неё. Остановилась как-то вдруг и сразу, будто замерла на месте.

— Здравствуйте…—прошептала Алёна, сердце её забилось учащённо.

— Ты давай, Алёнушка, переодевайся, и поехали. Автобус нас ждёт,—сказала негромко, но торопливо Мария.

Слова словно вылетели из неё. Глаза были красными и влажными.

— Куда?—растерянно спросила Алёна.—До конца смены ещё два часа…

— Я тебя отпросила у начальника. Он разрешил…—проговорила, отводя глаза, Мария.—Поедем к матери Андрея. Санька уже там. Я забрала его из садика.

— Да что случилось?—спросила громко, почти выкрикнула Алёна.

Зрачки глаз Марии бегали, взгляд убегал от Алёны то к полу, то к окну, то скользил по отремонтированным колёсным парам.

Подошла встревоженная Александра Никитовна, следом за ней Лариса, Зинаида Степановна, ещё несколько женщин.

— Зачем мне ехать?—глядя на всех, спросила Алёна, прижимая ладонь левой руки к сердцу.

— Поехали, я по дороге всё расскажу,—сказала Мария, по-прежнему не глядя Алёне в лицо.

— С Андреем что-то?—насторожилась Алёна, взяв за рукав шубы Марию и поймав наконец её взгляд.

Мария, ещё молодая тридцатилетняя женщина, казалась Алёне теперь почти старухой. Она кивнула и, отвернувшись, заплакала, сначала негромко, потом уже не сдерживая слёз, обняла Алёну, уткнулась ей в плечо.

— Я знала… Я знала… Я знала, что этим однажды кончится…—запричитала Алёна, крупные слёзы покатились по её бледным щекам.

3.

Слёзы катились по её щекам. В доме свекрови она не находила места. Ходила из комнаты в комнату, заходила на кухню, рассеянно отвечала на реплики слонявшихся, как и она, по квартире неприкаянных людей. Их было много. Они выходили и заходили. Знакомые и незнакомые. Родственники Андрея и её родня. Незнакомых было больше. Люди входили молча, без стука в дверь. Мужчины снимали шапки, ещё не переступив порога, женщины, едва войдя, начинали беззвучно плакать. Вошедшие и здоровались молча. Кивали головой знакомым и проходили в зал к гробу. Свекровь и золовки Алёны, уже выплакавшись вволю, теперь только всхлипывали и утирали слёзы, глядя на входивших, уже не в силах приветствовать их. Мать Андрея сидела на табурете у изголовья сына и беспрерывно качала головой. Казалось, она вообще не видела никого. Все—и сидевшие, и ходившие, и вошедшие—чувствовали себя неловко и потерянно. Даже тётка Андрея Галина и его двоюродный брат Олег, приехавшие из деревни, всегда шумно шутившие, сидели теперь понуро на кухне и не могли найти утешительных слов для Алёны. Несколько раз, выходя на лестничную площадку покурить, тётка лишь громко вздыхала, а Олег, пытаясь сказать что-то хорошее об Андрее, едва начав, вдруг замолкал.

Один Санька не чувствовал неловкости. Ребёнок бегал из комнаты в комнату, толкал попадавшихся ему на пути людей, подбегал к матери, тёткам, бабушке, к гробу и тут же убегал, улыбаясь. Ребёнку хотелось играть, и он не понимал, почему взрослые не обращают на него, как обычно, повышенного внимания. Малыш несколько раз дёргал лежащего посреди комнаты папу за брюки и туфли и отбегал, веселясь и прячась от прикрикивающих на него людей. Ещё больше развеселился мальчик, когда появившаяся, как выяснилось потом, не знакомая никому женщина вложила в руки покойного свечку, зажгла её и, не обращая внимания на окружающих, стала громко читать молитву. Санька несколько раз пробирался вперёд, дул на свечу и, громко смеясь, убегал.

— Алёна, хоть ты успокой ребёнка!—вырвалось у свекрови.

Алёна поймала пробегавшего мимо неё сына. Санька, продолжая смеяться, стал вырываться, но мать взяла его на руки и понесла в прихожую одеваться.

Ребёнок понял, что играть с ним тут никто не собирается, и сменил смех на недовольство, начал куражиться.

— Перестань ныть!—прикрикнула Алёна на сына, поспешно одела его, оделась сама, взяла санки и, никому ничего не объясняя, вышла.

Она шла по вечереющему городку, волоча за собой санки с восседающим на них, теперь молчащим ребёнком, и пыталась представить, как будет жить теперь. Без Андрея. Ещё позавчера они с перебранкой расстались на кухне их квартиры-четвертушки, где всё, казалось, застыло на века и не обещало никаких перемен в ближайшие лет

сто. Муж, сын, кастрюли, зимой вечная нехватка дров, летом заросшие травой грядки огорода. Ещё позавчера ей представлялось, что она до конца жизни связана нитью судьбы, обречена на вечное существование рядом с этим человеком, отцом её ребёнка, которого она то ли жалела, то ли всё-таки любила. Два дня назад будущее ей не предвещало и отдалённого просвета. Сегодня она не знала, есть ли у неё это будущее. Тот, с кем она собиралась прозябать долгие годы, существовать в полуголодном состоянии и ждать, когда в нём раскроется талант великого писателя, в который он искренне верил, но мало что делал, чтобы его раскрыть, теперь навсегда покинул её. Он лежал в квартире, из которой она сейчас поспешно уходила, в красном гробу, в новом, купленном свекровью костюме-троечке, какой ни разу не имел в жизни, и нисколько не был похож на её мужа. Слегка почерневшее лицо, густая шевелюра, усы чуть скобочкой — были его, Андрея, но вся фигура лежащего, вдруг ставшая ладной в новом костюме, казалась ей незнакомой и даже чужой. Незнакомой и чужой казалась ей теперь хорошо за три года изученная квартира свекрови со всей обстановкой, и очень далёкими — родственники Андрея: сама свекровь, золовки, его отчим, дед, прихрамывающая, с вечным ревматизмом бабушка, которую привезли попрощаться с внуком и которая, как и свекровь, винила в гибели Андрея Игоря и корила себя: «Если бы Игорь не повёл его к себе пить бражку, а я бы вовремя вышла во двор…» — и вечно пьяный дядька Игорь, праведно и неправедно обвинённый в смерти племянника и жмущийся теперь то к стенке в прихожей, то к перилам лестницы на площадке в подъезде. А ещё Хиль, заходивший в полдень, под предлогом помянуть друга, выпить на дармовщину. От всего и от всех ей хотелось сейчас уйти, увести ребёнка подальше и не возвращаться больше в эту квартиру, к этим людям, в этот мир.

Дрожь била её изнутри, когда она думала о том, что завтра Андрея похоронят, забьют крышку гроба, опустят в могилу и закопают. Его больше не будет, а она останется. Вдовой, как сказал дед.

«Вдова в двадцать два года, с полуторагодовалым ребёнком на руках,— дед произнёс это утром, когда привезли из морга Андрея, и добавил: — А ребёнок — безотцовщина».

И хотя она стояла рядом, слова эти прошли тогда мимо, никак не волнуя её. Да и сейчас, в отличие от пришедшего к ней жуткого понимания, что Андрей больше никогда не будет ругаться с ней, укачивать на ночь Саньку, читать ей только что написанные им рассказы и вообще больше никогда не придёт ни к ней, ни к матери, не появится нигде на этом свете, слова «вдова» и «безотцовщина» казались ей чужими, взятыми из иностранного языка и ни к ней, и ни к её ребёнку совсем не относящимися.

Крепившийся всю неделю мороз накануне похорон ослаб, и копщики могилы, приходившие обедать к свекрови, благодарили погоду и говорили, что покойный, судя по всему, был хорошим, беззлобным человеком, ибо едва они приступили к работе, ни мороза, ни ветра не стало.

— И земля попалась ему хорошая, хватило одного костра разогреть. И работу сделали быстрее, чем думалось. Видно, человек он был Божий, и Господь, видя это, даёт проводить хорошего человека в последний земной путь по-человечески,— сказал один из трёх копщиков, поднимая высоко рюмку.— Пусть легко пройдёт он через все мытарства меж небом и землёй и Божий суд и войдёт в ворота рая.

Сказанное ещё не старым человеком всколыхнуло Алёну, подававшую на стол водку и холодец уставшим после работы людям, занимающимся столь необычным для неё делом — копкой могил и погребением покойников. «Неужели и вправду есть на небе ещё и Божий суд, и рай? — думала она.— Неужели есть место, где обитает душа после смерти тела? А может, правда, что умерший человек, до того как его похоронят, видит всё происходящее рядом с ним, слышит, о чём говорят вокруг него? Говорили, что он даже угадывает мысли находящихся возле него людей!»

Мысли об этом заставили сбавить шаг и осмотреться. Ноги сами привели её к началу улицы, где находилась их квартира-четвертушка. Сумерки, уже прилично овладевшие округой, погружали дом во мрак, и Алёне стало не по себе от мысли, что в убогой квартирке этого дома, где она потеряла почти три года своей жизни, ей ещё придётся жить.

«Нет! Нет! — едва не выкрикнула она.— Я уйду к матери. Сейчас она одна — будем жить втроём. А в барак я больше не пойду! Пусть свекровка поселит туда кого захочет».

Табло электронных часов на здании узла связи уже отсчитывало вторые сутки со дня смерти Андрея. Алёна вздрогнула, поспешно свернула на соседнюю улицу и покатила саночки к дому Александры Никитовны. «Пусть поводится мамочка, у неё выходной всё равно. Оставлю Саньку, а сама вернусь. А то что люди подумают? Последнюю ночь жена должна быть рядом с мужем».

По утоптанному снегу на пешеходной дорожке санки заскользили проворнее, и Алёна прибавила шаг.

4.

Алёна прибавила шаг. Отступивший на два дня мороз, своим отсутствием сделавший середину января похожей на март, теперь возвращался. Как будто Дед Мороз ходил рядом — выжидал, когда закончится церемония похорон и народ разопьёт

у свежей могилы несколько бутылок водки, а выждав, ударил оземь посохом и завьюжил сначала по сугробам, а потом стал донимать холодом собравшихся на кладбище людей.

К подъехавшей «Волге» подвели свекровь. Её подняли со свежего холма, подхватили под руки зятья Сергей и Виктор, и, сопровождаемая дочерьми Леной и Ольгой, она с трудом села в машину, присланную специально за ней начальником строительно-монтажного поезда. Все похороны мать кричала и рвалась то к гробу сына, не давая могильщикам опустить его в могилу, то к могиле, пытаясь прыгнуть в яму.

— Закопайте меня вместе с ним! — кричала она и теряла сознание.

Ей подносили нашатырь, она приходила в себя, но тут же снова бросалась к могиле:

— Это Игорь его погубил! Игорь! Никогда не прощу ему, не прощу!

Бедный Игорь, бледный и угрюмый, топтался позади всех возле машины, боясь подойти. И лишь когда свекровь в третий или четвёртый раз потеряла сознание и все переключили внимание на неё, Алёна заметила, как он быстро пробрался к гробу, стоявшему на табуретках возле могилы, и поцеловал племянника в лоб. Следом за ним, мало кем замеченная, подошла и Алёна, коснулась губами неживых, восковых губ Андрея. Её слеза упала ему на щёку.

С кладбища шли кто молча, кто — переговариваясь вполголоса. Тех, кто был без своего транспорта, за оградой ждал станционный «пазик». Алёна прошла мимо автобуса, пошла, не оборачиваясь, вдоль кладбищенской ограды к железнодорожному переезду. Её окликнули, но она не обернулась, а зашагала ещё твёрже и быстрее. «Пазик» догнал её, когда она была у переезда, посигналил, остановился, из отрывшейся дверцы закричали, стали звать. Она махнула рукой и вдруг побежала от всех через переезд, через линию. Из автобуса выскочил Олег, бросился следом, поравнялся с ней уже за переездом, остановил, взяв за руку.

— Не трогайте меня! Не трогайте! Я не поеду! — закричала Алёна, вырываясь.

Возле них притормозили вишнёвые «жигули». Подруга свекрови Мария и брат её Алексей уговорами и настойчивостью усадили Алёну в легковушку. Мария села рядом. Олег вернулся в автобус.

Алексей, давая Алёне успокоиться, повёл машину к дому Александры Никитовны окружным путём, по дальним улицам городка.

— Ну что ты так убиваешься? Успокойся! — говорила Алёне Мария. — Мне тоже Андрюшку жалко, хороший парень был. Но что делать? Надо жить, сына растить… Его не вернёшь, а ты ещё молодая: через год-два замуж выйдешь, новой семьёй заживёшь, ещё внучкой мать порадуешь…

— Не выйду! — всхлипнула Алёна. — Хватит! Не люблю я мужиков, они все алкоголики! Одна сына растить буду…

Мария закивала, легонько обняла её. И Алёна, прижавшись к молодой женщине, как к матери, дала волю слезам. Она плакала так, как, наверное, ревела только в детстве, — громко и безудержно.

Алексей остановил машину, а Мария, сильнее прижимая её вздрагивающее тело к себе, молчала, давая ей выплакаться. А когда плач пошёл на убыль, нежно, как мать, стала вытирать ей слёзы носовым платочком.

— Успокойся, успокойся. Приди в себя. Вот уже и приехали. Сейчас покормишь Саньку, спать его уложишь. А мы поедем с Лёшей поминать… Скажем там, что ты заболела…

— Я поеду с вами, — сказала Алёна, продолжая всхлипывать.

В квартире свекрови негде было протолкнуться. За столы садили вторую партию пришедших помянуть, а в прихожей, не желая быстро уходить и ещё надеясь на стопку-другую, толпились несколько человек из тех, кто уже помянул. Со второго захода за столы, накрытые в зале, там, где несколько часов назад стоял гроб, тоже вошли не все — несколько человек остались ждать своей очереди на лестничной площадке.

— А мы, свои, после всех сядем, — сказала встретившая их двоюродная сестра Андрея Тоня, помогая Алёне снять пальто. — Проходите в маленькую комнатку, там посидите, отдохните пока. Сегодня никто из нас не спал, все так устали… Наделал делов братец… — вздохнула простодушно сестра, смахнув слезу. — Матери-то совсем плохо: как привезли её, так она упала в спальне на кровать, не раздеваясь, и подниматься не хочет. Как бы руки на себя не наложила. Караулить буду опять всю ночь…

— Вместе будем… — сказала, обняв Тоню, Мария. — Бедная Валя… Десять лет назад мужа похоронила, теперь сына…

Они прошли в маленькую, свободную от людей комнату, сели на кровать. Напротив стоявший диван был сегодня местом для пальто и шуб всех пришедших на похороны. Когда-то комната эта была Андрея, и в эту комнату он впервые, когда знакомил со своими родными, привёл Алёну. На этом диване они впервые спали вместе. В углу, на письменном столе, под абажуром настольной лампы, стопкой лежали несколько тетрадок-рукописей Андрея.

Алёна встала, подошла к столу, вытянула наугад одну тетрадку из середины стопки, раскрыла. На листочке в клеточку шариковой авторучкой неровным почерком было написано:

С неба падали снежинки
Белою зимой,
По заснеженной тропинке
Ты ушла домой…

Ниже были другие четверостишья. Алёна глянула на дату: написано семь лет назад. Тогда они ещё не были знакомы, хотя жили в одном городке, недалеко друг от друга. Сколько же ему было в то время? Семнадцать. А ей пятнадцать. Тогда он был ещё в раздумье: поступать в университет и стать археологом или идти служить в армию? Она закончила восемь классов и просила родителей, чтобы отпустили в геологический техникум. Родители не отпустили, и она пошла в девятый класс. А ведь он часто бывал тогда в районе железнодорожного вокзала, возле белокирпичных пятиэтажек, где жила она: ходил в гости к дядьке Игорю, в соседний дом. А она долго, по месяцу, жила летом у бабушки, недалеко от одиноко стоявшего великаном среди бараков его каменного (тоже пятиэтажного), но из красного кирпича, дома. Из окна бабушкиной квартиры можно было видеть пустырь и бегающих каждый день за мячом мальчишек. Среди них был Андрей. Она много раз проходила мимо футболистов, когда шла за хлебом в магазин у кирпичного дома. Они наверняка не один и даже не два раза видели друг друга. Не могли не видеть. Видели, но не замечали. Ибо ни час, ни минута для их сближения тогда ещё не наступили. Это потом, через несколько лет, пришло время, и Андрею хватило мгновения, чтобы выхватить Алёну из людской суетливой толпы, остановить, заставить обратить на себя внимание. И она остановилась и обратила на него внимание, и взгляды их и чувства потянулись навстречу друг другу. Они встретились как будто впервые. Детские мимолётные встречи девочки с косичками и вихрастого мальчика стёрлись в их памяти, и уже повзрослевшие Алёна и Андрей встретились вдруг ранней осенью в определённое свыше время на вечернем перроне железнодорожного вокзала. А уже через день поняли, что это и есть та единственная встреча. Куда это понимание ушло потом? А может, и не уходило никуда, а спряталось, затаилось в ожидании нового всплеска?

Три года назад она уходила в новогоднюю ночь из этой квартиры от него, а он смотрел вслед ей из окна…

В середине декабря Алёна узнала, что ждёт ребёнка. Это должно было случиться, в принципе, хотя об этом молодые влюблённые, похоже, не думали. Весь сентябрь они встречались накоротке: ходили в кино, гуляли по городу, Андрей провожал Алёну до подъезда, и они расставались. В октябре дело дошло до поцелуев и объяснений в подъезде до полуночи. В середине месяца Алёна познакомила его с родителями и сестрой, а в ноябре случилось то, что должно было случиться. Первый раз это произошло на свадьбе Алёниной подруги Ольги, с шестого на седьмое ноября, на окраине города, где они пытались уснуть в нетопленой летней кухне, но так и не смогли: промёрзли и чуть свет подались домой. Следующую ночь они спали раздельно в квартире Алёниных родителей. Родители уехали к старшей дочери в лесозаготовительный посёлок, а с ними осталась Лариса, которая всем своим существом, умением и хитростью старалась развести Алёну с Андреем на ночлег по разным комнатам. Это ей удалось: Алёна задремала первой в маленькой комнатке, где они играли в карты. Накрыв одеялом младшую сестру, бдительная старшая постелила Андрею на диване в зале, у телевизора, а сама отправилась в спальню. Ночью Андрей встал, чтобы попить водички и, проходя на кухню мимо комнаты, где спала Алёна, заглянул к ней, а заглянув, прилёг на полчасика рядом, а затем вернулся на диван. Сестрёнка ни о чём не догадалась. Ну а следующие два дня и две ночи из затянувшегося в тот год на четыре дня ноябрьского праздника они провели у родителей Андрея. В этой самой комнате, где Алёна теперь читала тетрадку со стихами Андрея. Мать Андрея ничего не имела против ночлега в комнате её сына молодой девушки и даже сама постелила: ей на кровати, ему рядом, на раскладушке. Как потом оказалось, она была до того наивна, что даже не думала, что между ними может произойти близость. А близость стала для молодых делом обычным. Когда мать и сестрёнка Алёны уходили в ночную смену, а отец дежурил на путейском железнодорожном околотке, Андрюша оставался ночевать в доме подруги, а с субботы на воскресенье Алёна гостила у Андрея. Ей нравилось бывать в квартире, где её приветливо встречали мать Валентина Андреевна, ещё молодая, чуть за сорок, симпатичная женщина, её муж, отчим Андрея, Анатолий Васильевич, часто бравший в руки гитару, и сестра Лена, студентка медучилища. Иногда в гостях у них бывала молодая семейка из деревни: ещё одна сестра Андрея, Ольга, с мужем Володей и маленьким Лёшкой. Всем им находилось место в этой состоящей из трёх небольших комнаток, кухни и прихожей уютной квартире. И Алёна оставалась ночевать, глядя с улыбкой на то, как Андрюшина мама привычно уже стелет им в маленькой комнате: ей на кровати, ему на раскладушке, а всем остальным гостям — на полу в зале, у телевизора. Вместе с ней улыбались и Андрей, и его сёстры, и отчим. Алёна с Андреем полагали, что все давно уже понимают, что мать делает это для приличия и сама отлично знает, что молодым не тесно на односпальной кровати вдвоём. Они ошибались. Хотя в неведении матери оставалось пребывать недолго.

В двадцатых числах декабря, примерно за неделю до наступления долгожданного для всей страны олимпийского года, Алёна, почувствовав недомогание, пошла на приём к врачу; её неожиданно положили на обследование. Когда через день встревоженный Андрей пришёл к ней на свидание, то она сообщила сердечному другу, что собирается стать мамой, а он должен готовиться к роли отца. Парень принял известие спокойно. В канун Нового года пациентов стационара больницы отпустили домой на два дня, и Андрей привёл Алёну к своим.

— Ты пока ничего матери не говори,— сказал ей по дороге Андрей.— Новый год встретим, а завтра уже и объявим всем. В первый день Нового года. Торжественно.

Алёна согласилась.

Олимпийский год встречали небольшой компанией: Валентина Андреевна, Анатолий Васильевич, Лена и Андрей с Алёной. Молодые пришли около десяти вечера, когда Валентина Андреевна с Леной заканчивали приготовление салатов. Холодильник полнился настряпанными пельменями, котлетами и мантами, называемыми здесь позами. В морозильнике охлаждались шампанское и водка. Мужики предложили проводить год старый, и в половине одиннадцатого закуски выставили на стол. Ровно за час до наступления праздника сели ближе к ёлочке, у телевизора. Анатолий Васильевич налил всем в пятидесятиграммовые рюмочки водки и, сказав своё традиционное: «Ну, будем толстенькими!» — поочередно чокнувшись со всеми, выпил первым. За ним выпили остальные, только Алёна поднесла рюмку к губам и тут же отставила. Поведение гостьи не осталось незамеченным хозяйкой…

— Мне нельзя сейчас,— опережая вопрос Валентины Андреевны, сказала Алёна.— Из больницы отпустили с условием, чтобы спиртное не пить.

— Да ерунда это,— махнула Валентина Андреевна,— они наговорят. Выпей рюмочку, не бойся. Плохо не будет.

— Хуже не будет,— кивнул ей Анатолий Васильевич.

— Лучше не буду,— настояла на своём Алёна.

До наступления полуночи выпили ещё по две рюмки — за уходящий год, повеселели и наперебой советовали Алёне попробовать то салата, то винегрета, то селёдочки «под шубой». Алёна кивала, улыбалась и, глядя на хмелеющего Андрея, старалась сделать так, чтобы он заметил: ей сегодня не совсем уютно в компании. Но Андрей не замечал, рассказывал отчиму, как встречал новогодние праздники в армии, и на подругу, казалось, не обращал внимания.

По телевизору показали куранты, и с их боем Анатолий Васильевич открыл шампанское. Пробка полетела в потолок под крики «Ура!», наполнились фужеры. Алёна отодвинула от себя хрустальный, на высокой ножке, фужер.

— И шампанское не будешь? — удивилась мать.

— Нельзя,— сказала Алёна, устремив взгляд в экран телевизора.

Все сидевшие за столом, кроме Андрея, выразили недоумение: отчим громогласно, остальные молча.

— Ты, Алён, не от водки там лечишься, в больнице? — засмеялся Анатолий Васильевич.

— Я в гинекологии лежу! — не оценила его шутку Алёна.— Мне нельзя спиртное пить. Понимаете это вы или нет?

— Понимаем, понимаем,— взял её за руку Андрей.— Пельменей вот поешь. Может, тебе чайку горяченького принести? Мать вот завитушки с вареньем настряпала…

— Не хочу я! — отдёрнула руку Алёна и, встав из-за стола, стала разглядывать украшения на ёлочке.

— Так, мужики, на кухню! Ставьте позы на плиту. Я сама за будущей невесткой поухаживаю! — скомандовала Валентина Андреевна.

— Правильно! Пойдём, Андрюха, позы готовить. Пусть тут женщины сами выясняют: кому что можно, кому чего нельзя… — сказал, поднимаясь из-за стола, Анатолий Васильевич.

Едва мужики ушли, Валентина Андреевна подошла к Алёне.

— Ну, в чём дело, невестушка? Что с тобой? Чем заболела?

— Да ничем, тётя Валя,— сказала Алёна, глядя прямо в глаза будущей свекрови.— Я в больницу пошла, а мне сказали, что я беременная.

— Как беременная? Ты что?! — развела руками удивлённая Валентина Андреевна.— А Андрей знает?

— Знает.

Стоявшая недалеко от них Лена улыбнулась и опустила глаза.

— Вы что? — продолжала искренне недоумевать мать.— Я думала — дружите просто, гуляете, в кино ходите, что он у меня ещё мальчик, а вы… Вы уже…

— Ребёнок будет у меня,— сказала Алёна, вздохнув,— не знаю вот, оставлять или аборт делать.

— Ну Андрей, ну скотина! Вот что он вытворяет! — уже не слушая Алёну, разгорячилась Валентина Андреевна.

Она сняла с ноги тапок, сжала его в правой руке и быстрыми шагами направилась на кухню. Не прошло и минуты, как оттуда в прихожую выскочил Андрей. Уворачиваясь от летающего над его головой тапочка, он в недоумении хлопал глазами.

— Ты что, мам? Ты что? Сдурела, что ли? Мы позы только поставили в кастрюле, а водку со шкафчика не доставали.

— Это я — что? Нет, это ты — что? Что ты, скотина такая, сделал? — продолжала наступать на сына мать, прижимая его к входной двери.

Думая, что супруга подозревает их в тайном распитии водки, из кухни в прихожую выбежал Анатолий Васильевич. Стараясь перехватить неустанно работающую руку женщины, он тоже пытался объяснить:
— Да не пили мы водку. Даже шкаф не открывали. Посмотри сама: полный графинчик стоит…
— А ты вообще уйди, раз ничего не знаешь…— оттолкнула свободной рукой мужа разъярённая женщина, не переставая атаковать.
— Что, что я тебе сделал?— то уклоняясь, то пропуская удары матери, взмолился Андрей.
— Что? Ты ещё спрашиваешь? Алёнка-то беременная!— Валентина Андреевна с силой швырнула тапок в сторону, чуть не угодив в выглядывающих из зала Алёну с Леной.
— Ну и что?— спросил Андрей, поправляя рукой причёску.— Ты же сама нас в мою комнату вместе спать отправляла…
— Да,— подтвердил отчим.
— Что — да? Что — да? Ты ещё его оправдываешь,— вдруг напустилась на него мать.— Я им раздельно стелила. Думала, они там разговаривают, а они…

Валентина Андреевна ушла в спальню, закрыла за собой дверь.
— А ты чё болтаешь раньше времени?— набросился Андрей на Алёну.— Договорились же — завтра об этом сказать…
— Я не хотела…— начала было оправдываться Алёна, но Андрей, психанув, проскочил мимо неё в маленькую комнату и закрылся на защёлку.

На стук Алёны он не открыл и не ответил.

Анатолий Васильевич и Лена пошли на кухню доваривать позы-манты.
— Я ухожу,— сказала Алёна громко, постучав к Андрею ещё раз.
— Иди куда хочешь,— ответил он наконец через дверь.

Алёна накинула на себя пальто, быстро надела сапоги и выскочила в тёмный подъезд. Ни Лена, ни Анатолий Васильевич, занятые на кухне, не услышали, как хлопнула за ней дверь.

«Назло сделаю аборт!»— думала Алёна, выбегая из подъезда.

В свете фонарей падающий снег был похож на бьющихся о лампочку мотыльков. Подошвы сапог её захрустели по новому снегу, выпавшему в первые часы наступившего года. Алёна обогнула угол дома и направилась к автобусной остановке. Проходя под окнами дома, она обернулась и посмотрела на окно четвёртого этажа — второе от края. Свет в окне не горел, но на тёмном фоне проёма была видна фигура Андрея. Он смотрел ей вслед. Она повернулась и побежала. Через несколько шагов оглянулась снова — он продолжал смотреть.

«Ну и пусть! Ну и пусть! Ну и пусть себе сидит дома!— рвалось из груди сердце.— Не нужен он мне! Красавец нашёлся. Ничего в нём хорошего нет! Без него проживу!»

За домами, около автобусной остановки, она сбавила ход, отдышалась и пошла тише. По главной улице гулял праздный народ. Кто-то смеялся, кто-то даже играл на гармошке.

«Весело, весело встретим Новый год»,— слышалось вдалеке пение.
— С Новым годом, девушка!— сказал, поравнявшись с ней, шедший навстречу пожилой человек, когда она прошла мимо автобусной остановки.

Она не ответила и прибавила шаг.
— Чё тебе надо? Что пристал к ней?— услышала она вдруг знакомый голос и, обернувшись, увидела, как Андрей схватил за воротник пальто поздоровавшегося с ней человека.
— Я не пристаю. Ты что, парень? Я с Новым годом всех поздравляю,— не сопротивляясь агрессивно настроенному незнакомцу, сказал человек,— и тебя тоже поздравляю.
— Ты что, Дед Мороз, что ли, всех поздравляешь?— спросил уже без злобы в голосе Андрей, отпуская прохожего, и у Алёны отлегло от сердца.

Она улыбнулась, не показывая улыбки Андрею, и в душе простила его.
— Пошли домой,— сказал он и, подойдя к ней, взял за руку.

Дверь им открыла Валентина Андреевна.
— А мы спать ложимся,— как ни в чём не бывало, сказала она спокойно.— Три часа уже. По телевизору нет ничего хорошего. А вы, если хотите, то на кухню идите: салат попробуйте там «под шубой», чай пейте.

Андрей кивнул. В раскрытую дверь маленькой комнатки было видно, что на кровати расстелена постель с одним одеялом и двумя подушками. Раскладушки рядом нет.

Алёна положила тетрадку со стихами на место. Мария с Алексеем вполголоса переговаривались. В комнатке потемнело — очередной вечер опускался на город. Алёна глянула в наполовину промёрзшее окно, попробовала встать так, как примерно стоял в ту ночь Андрей, провожая её, уходящую, взглядом. Всмотрелась в хорошо утоптанную тропинку: примерно здесь же и уходила она три зимы назад. Тогда всё только начиналось. Теперь всё закончилось. Не вернуть той зимы, не вернуть того лёгкого, падающего с неба снега, не вернуть той ночи…

Алёна почувствовала, как ей стало трудно дышать, захотелось вдруг пить. Она быстро выбежала из комнаты, напугав Марию, которая тут же помчалась за ней. Алёна забежала на кухню, где толпился народ: Тоня и другие двоюродные сёстры Андрея готовили что-то на электроплите.
— Дайте попить что-нибудь, горло пересыхает!— сказала Алёна.

— Возьми чистую кружку в шкафу,— кивнула Тоня на высокий кухонный пенал,— на столе вся посуда грязная.

Алёна открыла верхнюю дверцу пенала. Там, за графином, бутылочкой с уксусом, вилками и ложками, хранившимися в стеклянных салатницах, она нашла эмалированную кружку, открыла кухонный кран и, набрав холодной воды, жадно выпила. Потом набрала ещё и снова выпила. Жажда не проходила. Ностальгия рвалась из груди, подступала к горлу, и Алёна чувствовала: ей не хватает воздуха.

5.

Алёна чувствовала: ей не хватает воздуха.

Она сидела за поминальным столом справа от Марии. Слева — пытался ухаживать за ней Олег: предлагал положить на тарелочку то винегрет, то толчёную картошку, то пельмени. Ей несколько раз предлагали водку, специально принесли для неё вина, она брала рюмку, подносила ко рту, но выпить так и не смогла. Не решалась.

— Выпей, полегчает сразу,— говорила ей Тоня, сидевшая напротив,— расслабишься хоть немного…

— Не могу. Ни пить, ни есть… Дышать тяжело…

— Глотни через силу, вот увидишь, как полегчает… Это у тебя от напряжения,— настаивала Тоня.

— Выпей сразу полную рюмку,— поддержал двоюродную сестру Олег, подвигая к Алёне рюмку водки.

— Выпей, Алёнушка! Выпей!— сказал кто-то ласковым женским голосом из глубины стола, и она выпила.

Поднесла ко рту в очередной раз, но теперь останавливать руку не стала и впервые в жизни выпила за один раз сразу пятьдесят граммов водки. Дыхание остановилось. Она не слышала, что говорят вокруг, не могла сама ни произнести слово, ни покашлять, ни пошевелиться. Прижав обе руки к груди, Алёна сидела бледная. Слёзы катились из глаз.

— Вот и хорошо, и молодец!— слегка похлопывая её по спине, говорила Мария.— Теперь закусить надо… Обязательно закусить…

Мария зачерпнула в ложку из салатницы, поднесла ей.

— Н-не… Не могу!— голос, дыхание и жизнь вернулись к ней одновременно.— Сейчас вырвет…

— Не вырвет,— уверенно сказала Мария, обняв Алёну за плечо,— сейчас полегчает. Поверь мне. Как выпила через силу, так теперь через силу надо и поесть…

Алёна взяла ложку, попробовала салат, называемый «зимним». Резанные мелко белки́ варёных яиц, зелёный горошек жевались легко и даже казались ей теперь вкусными. Она давно не ела такого вкусного салата. Наверное, со времён замужества. Через минуту она почувствовала лёгкое головокружение, но оно не испугало её. Наоборот, ей было приятно от этого головокружения, от тепла, пробежавшего по всему телу. Алёна почувствовала облегчение и осмотрелась. За двумя длинными, во весь зал составленными в один ряд столами с обеих сторон сидели люди, собравшиеся для одной цели — помянуть её мужа. В дальнем от неё углу — свекровь в тёмном платке и с заплаканными глазами. Её с трудом подняла с постели и помогла дойти до стола Тоня. Лицо в принципе ещё молодой сорокачетырёхлетней женщины, три дня назад выглядевшее свежим и круглым, казалось теперь каким-то высохшим, маленьким и старым. Рядом с ней в траурных платьях и платках сидели сёстры Андрея — родные, двоюродные и даже троюродные. Тут же были его тётки, племянники, отчим, зятья. Напротив них — убитая горем бабушка, уставший и ещё более постаревший дед, Игорь со своей новой подругой Нинкой, ещё один дядька Андрея — Евгений с женой тётей Женей, приехавшие издалека, двоюродная тётка Андрея Маруся и её муж — литовец Вилюс. Дальше — мать Алёны и ещё дальние родственники Андрея, о которых Алёна не один раз слышала, но почти не знала.

— С кем Санька?— спросила Алёна мать и тут же поняла: с Ларисой. Где ему и с кем ещё быть?

— Саньку на Лариску сегодня оставим…— пояснила Александра Никитовна.— С утра с ним сидит. Я ведь тоже на кладбище ездила. Тебе не до меня было, знаю… А я не могла зятя не проводить. Один он у меня такой вот был — писатель… К отцу ещё на могилку зашла. Там недалеко теперь они будут…

Александра Никитовна всхлипнула, утёрла платочком слезу.

Алёна кивнула, опустила голову.

— Выпей ещё,— сказал Олег, наливая ей в пустую рюмку,— надо, чтобы кровь разошлась по телу.

Алёна на этот раз не стала отговариваться, взяла рюмку и выпила — правда, до половины, и сразу набросилась на закуску, пододвинув салатницу ближе к себе. «Как бы алкоголичкой не стать»,— подумала она.

В прихожей раздался звонок, открывать дверь пошёл зять Сергей. Через минуту он вернулся и объявил:

— Там Стас пришёл.

За столом стихли негромкие разговоры.

— Ну и что?— сказала Ольга.— Пусть заходит, не чужой.

— Он матери боится. Просит, чтобы я ему в коридор помянуть вынес,— растерянно пояснил Сергей.

— Ещё чего!— встрепенулась свекровь.— По коридорам мы ещё не носили! Натворил дел и боится. Пусть идёт уж сюда, не убьют. Игорь вон живой сидит…

Игорь зашевелился на месте. Сергей привёл Стаса.

— Здравствуйте…— виновато явился перед сидевшими за столом Стас.— Извините, что не смог на кладбище прийти…

— Пить вместе время находишь, а проститься с человеком и проводить его в последний путь тебе некогда!— поднялась было свекровь, но её тут же бросились успокаивать дочери.

Стас, продолжая изображать виновного во всех грехах человека, сел рядом с Игорем и что-то стал говорить ему на ухо.

— А что им?— продолжила нападки уже потише свекровь.— Угробили парня, а сами сидят— водку пьют… Поминают… А он там лежит…

— Это тэло ехго там ле-ешит, а са-ам он, туша его хотит по клатбищ, карафулит сегодня нотч. Пока тругой покойник не притёт…— сказал молчавший до этого Вилюс.

Алёна почувствовала новый прилив крови к лицу и приподнялась.

— Ты куда?— спросила Мария.

— Пойду на кухню, открою форточку— подышу,— сказала Алёна.

Она прошла на кухню, свет зажигать не стала, с трудом приоткрыла прихваченную морозом форточку; на неё сразу же пахнуло прохладой. Морозный воздух клубами ворвался в квартиру. Ей вдруг представилась их щитовая, неуютная, холодная четвертушка.

«Нет!— крикнула душа Алёны, содрогнувшись от мысли, что ей снова придётся вернуться туда.— Нет! Ни за что! Эпоха та кончилась, жизнь та кончилась…»

Она снова почувствовала сухость во рту, захотелось воды. Алёна раскрыла верхнюю дверцу пенала, протянула руку, на ощупь отыскивая кружку. Пальцы коснулись бутылочки с уксусом, кружка стояла рядом. Она взяла кружку и, сама не зная почему, потянулась за уксусом.

«А что, если…— она попробовала отогнать нечаянно набежавшую на неё отчаянную мысль, но мысль упорно лезла в голову, совсем не пугая, а раззадоривая её.— А что, если мне туда, к Андрею? Вилюс говорит, что он там сейчас один сторожит… Будем вдвоём…»

Алёна решительно, удивляясь сама себе, открыла бутылочку с уксусом, отлила из неё больше половины в кружку. Бутылочку, не закрывая, поставила на стол, кружку поднесла к лицу. Резкий запах ударил в ноздри.

«Нужно выпить, как водку, залпом, не думая…»— сказала она себе.

«Нет, нет… Нет! Не надо! Зачем?!»— окликнул её чей-то голос. Алёна отдёрнула от лица кружку и оглянулась. Никого.

«Надо выпить… Надо… Надо! Зачем жить?»— застучало настойчиво в висках, и Алёна снова поднесла к губам кружку и на этот раз, резко откинув голову назад, сделала большой глоток.

Во рту обожгло, словно огнём, зажгло горло, грудь. Открывая рот, Алёна пробовала глотнуть воздуха, но жар, обжёгший ей нёбо и язык, перекрывал его доступ… Зажгло и сразу же отозвалось резкой болью в желудке. Алёна выронила из рук кружку, подалась вперёд, наклонилась, прижала руки к груди. Перед глазами вспыхнул яркий свет, потом наступила темнота… Голова пошла кругом, и Алёна поняла, что падает…

Она падала, но никак не могла упасть. Ей казалось, что пол под ней раздвинулся и она летит в темноту. Стремительное падение сменялось замедленным полётом, потом снова возрастало и снова замедлялось. И вот замедлилось, но не остановилось, она продолжала скользить в невесомости, но уже не вниз, а прямо. Алёна поняла, что теперь она идёт. Идёт вперёд легко, не чувствуя под ногами ни пола, ни земли. Тьма медленно отступает, и— вначале далеко, а потом всё ближе и ближе— виден силуэт человека. Она приближается к нему. Да, это человек. Человек в серой одежде зовёт её. Вытянув руки ладонями вверх, он сжимает и разжимает пальцы, так подзывая её. «Кто это?— спрашивает себя Алёна.— Андрей? Это он зовёт меня? Да, это Андрей. А кто же ещё? Конечно, Андрей!» Она хочет крикнуть ему, позвать по имени, но, приблизившись, видит вдруг совершенно чужое, каменное, неживое лицо. Немигающие глаза незнакомца смотрят прямо, его тёмные зрачки ловят её взгляд, и она, вглядываясь в них, видит ночное небо и летящие навстречу ей звёзды. Ещё немного— и звёзды притянут её к себе, заберут навсегда в ночное небо.

«Уходи! Уходи отсюда, скорее уходи!— слышит она откуда-то со стороны.— Уходи сейчас же! Назад!» Это звучит как приказ, и точно уже— голосом Андрея. Алёна пытается повернуться на голос, но взгляд серого человека её не отпускает. Она с трудом поворачивает голову и видит Андрея. Вот он, сам: бежит к ней, совсем не рад встрече, сжимает кулаки и больно с размаху бьёт её в плечо. «Назад!— кричит он.— Здесь нет тебе места! Уходи!» Он ударяет её ещё раз с силой по лицу ладонью и толкает от себя…

«Андрей… Андрюша…»— шепчет Алёна, протягивая ему руку. «Нет! Нет!»— звучит гулко в ответ. Андрей берёт её за плечи, она чувствует— сильно, цепко, разворачивает лицом от себя и толкает в спину: «Уходи! Уходи!»

Алёна открывает глаза. Над ней яркий свет— и лица, лица, лица. Знакомые и незнакомые. Её пытаются посадить, хлещут по щекам, трясут за плечи, бьют по спине.

— Ты что надумала?! На кого сына оставляешь?!

Она снова закрывает глаза и видит Саньку.

Ребёнок с улыбкой бежит к ней, тянет ручки. «Мама! Мама!»— зовёт он.

«Саня, сынок! Сыночка!»—хочет крикнуть она, но лишь ловит воздух губами.

6.

«Саня, сынок!»—хочет сказать она, но лишь ловит воздух губами.

Алёна открывает глаза. Сын, мать и сестра сидят возле её постели. Над головой белёный потолок, широкое окно с белыми шторами, кровати в два ряда. Алёна догадывается: она в больничной палате.

— Саня…— с трудом произносит она и пытается улыбнуться.

Губы не хотят слушаться, и с них слетает шёпот, слышимый только ей. Улыбка тоже не получается, мускулы лица ей не подчиняются.

Но ребёнок понимает её и улыбается в ответ. Увидев, что она открыла глаза, улыбаются и мать с сестрой.

— Как тебе? Лучше?—спрашивает Лариса.—Напугала ты нас всех… Девять дней на искусственной почке была. Боялись, что не выживешь. Из области оборудование привезли… Специально… Слава Богу, выжила…

— Как ты нас всех напугала…— мать вытирает слёзы платочком, продолжая улыбаться.—Ах, Алёна, Алёна! Ведь могла и умереть, и инвалидкой остаться. Как бы без тебя ребёнок был? Ни отца, ни матери… Круглый сирота…

— Хватит, мам… Всё хорошо уже… Раз осталась живая, значит, жить будет и сына воспитывать,— говорит Лариса.

— Значит, буду жить…— шепчет Алёна; кажется, что на этот раз её слышат мать с сестрой.

— Будешь, Алёнушка, будешь жить и работать, и счастливой ещё будешь… Организм у тебя крепкий оказался… Значит, судьба тебе жить,—мать берёт дочь за руку, осторожно гладит запястье.

Санька тоже ловит своими ручонками пальцы Алёны.

— Поцелуй маму,—говорит ему бабушка, и Санька, быстро чмокнув Алёну в щёку, тут же, смеясь, отворачивается и застенчиво закрывает личико ручками.

— Ух, озорник!—тихонько шлёпает под зад внука бабушка.—Делает вид, что стесняется. Ты что, маму стесняешься?

Ребёнок, оторвав руки от лица, снова улыбается, снова целует Алёну и снова закрывает лицо ладонями.

— Мы тебе соку принесли, томатного, яблочного, молока,—говорит Лариса.—Как только разрешат—попьёшь… Когда ты без сознания была, нам разрешали с тобой сидеть по очереди, а сейчас, как пришла в себя, говорят: долго не засиживайтесь, нельзя. Так что мы скоро уходим. А за Саньку ты не беспокойся—он у нас будет. Я его в садик наш перевела, возле дома, куда ещё мы с тобой ходили… И ты выпишешься—тоже у нас жить будешь. Правда, мама?

— Конечно, правда,—подтверждает Александра Никитовна.—А где ей с дитём ещё жить? Не в той же холодной хибаре. К нам жить пойдёшь?

Алёна кивает и, глядя на сына, снова пробует улыбнуться. Ей кажется, что эта попытка получилась лучше предыдущей. Эту улыбку замечают и мать с сестрой, а Санька смеётся, уже не пряча улыбку в ладони.

Когда посетители собираются прощаться и уходить, в глазах Алёны уже играют живые отблески, а улыбка не сходит с её лица.

7.

Улыбка не сходила с её лица.

Алёна шагала по улице в новом, сшитом по заказу специально для этого случая платье. Новая её причёска, с короткой, но так к лицу ей сделанной стрижкой, тоже была по этому же случаю. В последний день лета она вела на торжественную линейку в школу своё единственное, дорогое ей чадо—Саньку. Сам Санька, в школьном костюме, новой белой рубашке, с большим, закрывавшим ему обзор букетом цветов, сиял под стать маме. В школьном дворе среди сотни таких же нарядных и красивых первоклашек, выстроившихся в длинный ряд, он не растворился, а был сразу заметен. И не только Алёне.

— А наш Санька лучше всех смотрится,—сказала ей золовка Ольга, пришедшая в школу специально посмотреть на племянника.—А букетик какой! И георгины тут, и астры, и листочки рябины хорошо вписались. Не зря баба Валя старалась. Вчера вечерней электричкой с дачи георгинчики привезла. Сама хотела прийти, посмотреть на внука, но что-то задержалась, устала, видать, на даче.

— Конечно, Санька лучше всех,—согласилась с Ольгой Рита—подруга Алёны школьных и последних лет.—Самый красивый мальчик с самым красивым букетом. На него уже все девчонки заглядываются. Не одной ещё за десять лет сердце разобьёт.

Алёна продолжала улыбаться, она была сегодня горда и собой, и сыном. Ещё накануне, когда она привела Саньку записывать в первый класс, её встретила на пороге школы пожилая учительница Людмила Дмитриевна. Она жила в одном подъезде с матерью Алёны, Александрой Никитовной, и когда-то учила её мужа Андрея. «Он должен учиться у меня»,—настояла тогда опытная учительница и сама внесла Санькину фамилию в список учеников первого «Б» класса. Алёна не возражала. Она знала Людмилу Дмитриевну с детства; правда, сама ходила в другую школу, не в ту, где учила грамоте малышей учительница-соседка; но по рассказам знакомых, а потом и мужа знала, что все ученики Людмилы Дмитриевны и их родители очень хорошо отзывались о ней.

После линейки и посвящения в первоклассники самых юных учеников вместе с родителями пригласили в классы. Алёна взяла Саньку за руку, простилась во дворе с Ольгой и Ритой и пошла вместе с другими счастливыми родителями вслед за Людмилой Дмитриевной. Родители знакомились друг с другом, желающие брали слово и записывались в активисты—члены родительского комитета. Алёна сидела за третьей партой во втором ряду, рядом с сыном и темноволосым молодым мужчиной, который держал на коленях смуглую девочку с большим белым бантом в косичке. Алёна радовалась хорошему дню, хорошему настроению, тому, что сын её теперь школьник и будет учиться у самой лучшей учительницы. Она не принимала участия в происходящем выборном процессе и соглашалась с любой предложенной в комитет кандидатурой. Точно так же вёл себя и сосед Алёны.

—Николай,—представился он ей,—можете Колей называть, а это Катя,—показал Коля на девочку.—Мама у нас заболела, вот пришлось папе дочку в школу вести.

—Ну и правильно, не всё же маме,—сказала на это Алёна, не забыв представиться брюнету.

Опытная, добродушная учительница и со взрослыми говорила, как с детьми,—ласково и неторопливо. И заплакала, когда её завалили букетами. Каждый из малышей старался непременно отдать цветы в руки учительницы. Она взяла сколько смогла и ещё сверх того… А цветы всё несли и несли, и букеты, уже не умещаясь в руках, стали падать на пол. Тогда родители подкорректировали действия своих чад, и вскоре и учительский стол завалили разноцветьем.

—Спасибо, спасибо…—говорила учительница, слёзы катились из её глаз, но она их не вытирала, держала в руках цветы—астры, гладиолусы, розы…

—Какие вы все хорошие, ребята, какие все красивые…—повторяла сквозь слёзы пожилая учительница.

Алёна тоже смахнула слезу, глядя на такую умилительную картину, и вспомнила свой первый день в школе.

—Мама, а я в руки отдал цветы учительнице…—похвастался Санька.

—Молодец,—похвалила его Алёна, поправляя ему воротничок пиджака.

—И я в руки отдала,—сказала девочка, дочь Николая, с редким в их городе именем Катя, и посмотрела сначала на отца, а потом на Саньку и Алёну.

Николай молча, кивком головы, одобрил дочь, снова усадил её на колени.

Алёна тоже одобрительно кивнула Кате. Та смутилась и отвернулась.

Потом Алёна с Санькой шли домой. Шли не торопясь: ели мороженое, купленное в киоске возле гастронома, зашли в парк—покружились на карусели.

—Мама, а я с ранцем завтра в школу пойду?—спросил Санька, когда они снова прошли возле школы.

—Завтра,—сказала Алёна, вытирая ему остатки мороженого с губ носовым платочком.—Завтра рано надо будет встать, чтобы не опоздать на урок к девяти часам.

—А ты мне пенал в ранец положила?

—Положила.

—А цветные карандаши?

—Карандаши тоже положила. Придёшь домой—сам всё ещё раз проверишь. Ты теперь большой у меня—школьник.

Санька сиял. Утром, собираясь на линейку, он надел за плечи ранец, но Алёна вручила ему вместо портфеля большой букет цветов.

—Сегодня ранец не нужен,—сказала она сыну.—В первый день с цветами идут, без учебников. Сегодня букет подаришь Людмиле Дмитриевне.

Сын слегка нахмурился: ему не терпелось пустить в дело полгода назад купленный ранец, не один раз уже загруженный и разгруженный учебниками. Цветы он взял без большого желания, и по пути в школу Алёна несколько раз помогала ему нести нелёгкий букет. Но уже перед школой, когда Санька увидел, что все первоклассники идут с цветами, букет матери больше не отдал.

Когда вышли из парка, Алёна присела перед сыном на корточки, отряхнула пыль с брюк, поправила воротничок рубашки, чмокнула в губки.

«Большой…—подумала она.—Ой, сколько ещё надо помучиться, чтобы стал большой, вырос, школу закончил…»

Они прошли мимо железнодорожной больницы, мимо забора профтехучилища, мимо пустыря, где ещё год назад среди других стоял их щитосборный дом и где они жили с Санькой до последнего дня, пока их не переселили. Весной их четвертушку пустили под снос, а им, как и другим жильцам деревянного посёлка, дали однокомнатную квартиру на третьем этаже в новом панельном девятиэтажном доме.

На перекрёстке улиц, одна из которых вела к новому многоэтажному микрорайону, а другая—к узлу связи, их ждала Валентина Андреевна.

—А я к школе уже не пошла. Решила к вам зайти, поздравить любимого внучка,—сказала бывшая свекровь.—Позвонила в дверь—вас нет, ну вот и иду навстречу. На дачу надо опять ехать. Работы полно, картошку копать в субботу собираемся. Если хочешь, приезжай, привози Саньку. И себе картошки увезёте.

—В субботу я работаю с утра,—сказала Алёна.

—Ну, тогда приходите к нам, когда надо будет картошки…

—Спасибо…

— А ты что не приходишь, внучок?—обратилась она к Саньке.—Теперь ты уже школьник, сам к бабушке дойти можешь, без мамы. Тут недалеко.

Санька стоял, смутившись, прижимаясь к Алёниному бедру. Отношения между Алёной и Валентиной Андреевной и при жизни Андрея были скованными, и потом скованность эта не прошла. После смерти мужа Алёна была в доме свекрови один раз. Летом, в год похорон Андрея, сестра Алёны Лариса вышла замуж за Алексея, брата Марии, подруги Алёниной свекрови. Молодые поселились у матери. Алексей предлагал жене перейти в комнату строительного общежития, но Лариса не захотела. «Я привыкла здесь и никому, надеюсь, не помешаю,—сказала она публично.—В трёх комнатах места хватит всем». Первое время места действительно хватало и Александре Никитовне, и Алёне с сыном, и молодым. Но потом всё же возникли неудобства, характерные для совместного проживания трёх взрослых женщин, мужчины и малолетнего ребёнка, и Алёна решила вернуться в четвертушку. За год жизни без мужа её болезнь, а потом возвращение к жизни, заботы о сыне сделали Алёну взрослее. Она стала понимать, что и отдельное, своё жильё, и независимость ни от кого, даже от близких людей, ей необходимы. Она и сама должна жить как хочет, и воспитывать сына как считает нужным, без чьих-то советов. Четвертушку должны были вот-вот, с года на год, снести, а жильцам дать квартиры в новом микрорайоне. И это тоже сыграло свою роль в решении Алёны жить самостоятельно. И она пошла к Санькиной бабушке. Свекровь без разговора отдала ей ключи: «Это же ваша квартира»,—а потом несколько раз навещала её в четвертушке. Приходила и одна, и с Анатолием Васильевичем, и с дочерью Ольгой и её сынишкой Лёшкой, почти всегда с подарками для Саньки. Вот и георгины к школе были её. Их принесла вечером накануне золовка Ольга, нередко бывающая у Алёны. Ольга разошлась к тому времени с мужем-пьянчужкой, с сыном-школьником Лёшкой перебралась в город, ближе к матери, некоторое время жила в их четвертушке, а потом поселилась недалеко от Алёны, в давно списанном, но ещё прочно стоящем доме на двенадцать квартир. С Ольгой у Алёны были простые, почти доверительные отношения, и свекровь о жизни бывшей невестки и внука узнавала от дочери.

— Вот тебе, Санечка, подарок,—Валентина Андреевна достала из матерчатой сумки плоскую коробку.—Это конструктор строительный. Дед говорит: пусть конструкции собирает, может, архитектором станет.

Санька посмотрел на мать, и только когда она ему кивнула, несмело взял коробку.

— Спасибо,—сказал он тихо.

— А вот шоколадка,—Валентина Андреевна протянула ему плитку с яркой обёрткой,—«Алёнка» называется, как маму твою звать... Ну а бабушку поцелуешь?

Свекровь присела на корточки, обняла внука, тот стеснительно-быстро чмокнул её в щёку.

— Ну ладно, идите,—сказала свекровь, поднимаясь.—Учись, Саня, хорошо. Приходи к бабушке...

Часы на большом электронном табло узла связи высвечивали четырнадцать ноль пять, когда мама с сыном вышли на прямую бетонную дорожку и пошли к своему новому дому.

— Мы ещё успеем переодеться и к тёте Рите в гости сегодня съездить,—сказала Алёна и, крепче взяв за руку сына, зашагала чуточку быстрее.

Повернув во двор дома, она увидела у подъезда на скамеечке человека. Его фигура показалась Алёне знакомой. Когда же Алёна узнала человека, ей захотелось повернуть назад, но повернуть уже было нельзя.

«Опять он... Зачем?»

Человек увидел её, поднялся, пошёл навстречу. Это был Степан.

— А я тебя ждал...—сказал он ей, не здороваясь, подойдя совсем близко...

8.

— А я тебя ждал...—сказал он, не здороваясь и подойдя к ней близко.

Впервые они встретились через два с половиной года после смерти Андрея. Впервые в новой Алёниной жизни, начавшейся после её возвращения из больницы. Степан ждал её вечером на остановке. Служебный деповский автобус, развозивший по домам утреннюю смену, притормозил в районе вокзаловских пятиэтажек. Алёна вышла из первой двери, собралась пойти к дому матери за Санькой.

— Мне тётя Шура сказала, что ты должна приехать после восьми...

— Стёпа... Ты откуда?—только и смогла произнести тогда Алёна.

Не виделись они лет шесть. С того самого дня, когда его шумно проводили в армию. Майские молодые зелёные листочки тогда только-только пробивались на свет на берёзках, тополях, акации, черёмухе. Сибирская весна наступала на город неспешно, но по всем фронтам. Уже вовсю зазеленели откосы дорог, на вокзале, рынке, у магазинов торговали свежей черемшой, а на подоконниках жилых домов и государственных учреждений в вазах можно было видеть букеты первых лесных цветов; мальчишки всё ещё носили с ближних рощиц берёзовый сок, но уже появились на людных местах бочки с квасом и открытые точки по продаже мороженого, а бойкие скворцы, вернувшись с зимовки в скворечники, обживаясь в своих домиках, с раннего утра до самой темноты трудились, чирикая. И девчонки...

Девчонки, как всегда, хорошея весной, вносили свой вклад в её наступление на лиц мужского пола. Надев мини, они доводили до кипения кровь многих мужчин, застоявшуюся в жилах за зиму. И вскипала кровь, и вздувались жилы…

Но не всем девчонкам было до весеннего кокетства, самые добросовестные из них готовились к школьным выпускным экзаменам и ждали новых, своих вёсен. И некоторые молодые люди, сдерживая естественные порывы, покусывая губы, делая над собой усилия, отводили взгляды от мини-юбок и держали путь на призывные пункты и далее — к воинским эшелонам. Эшелоны увозили их на запад и на восток: и от дома, и от остающихся девчонок — обольщающих в мини и зубрилок-домоседок, и от друзей, и от матерей, печально машущих вслед уходящим поездам.

В один из таких деньков середины мая уходил в армию Стёпа. Стёпа был братом Марины, Алёниной подруги, жил в соседней пятиэтажке и имел виды на одноклассницу сестры.

Алёна, Марина и Рита — подружки, соседки и одноклассницы — заканчивали десятый класс. Рита уже решила, что пойдёт в медицинское училище — станет, как и мать, медсестрой, а Алёна с Мариной ещё не знали, чем заняться после школы. И хотя учились обе без троек, на учёбу в вуз за пятьсот километров ехать не хотели, в медицину их не тянуло, а профтехучилище считали для себя недостойным заведением.

На последние предэкзаменационные школьные денёчки выпали Стёпины проводы, и Алёне, считавшей, что лучше хорошо подготовиться к экзаменам, чем бесцельно терять время, не пойти на них было нельзя.

Привокзальные пятиэтажки, где жили подруги, строились почти в одно время. Их возводили сразу по паре для семей железнодорожников, до того по много лет ютившихся во времянках. Железнодорожный узел, станция и вокзал развивались ударными темпами, отчего выигрывал городок. Строители не скучали. За каких-то два-три года пустырь за водонапорной башней, построенной ещё в царское время, превратился в микрорайон из восьми семидесятиквартирных домов. В новом микрорайоне поселились вначале Алёна и Рита. Встретились, познакомились и стали учиться вместе они в третьем классе. А на следующий год с окраины переехали туда родители Марины и Степана. Алёна с Ритой к тому времени уже крепко подружились, часто бывали в гостях друг у друга. Рита жила с мамой — небольшой женщиной, немного сутулившейся и всю жизнь, сколько помнила Алёна, работавшей в медицинском пункте железнодорожного вокзала. Родители Алёны Александра Никитовна и Василий Васильевич (его больше звали Василь Васильич) тоже были связаны с проходящей через город Транссибирской магистралью. Мать работала бригадиром в вагоноремонтном депо, отец был бригадиром монтёров пути. На Транссиб после школы пошла работать и старшая сестра Алёны, Лариса. Настойчивая гордая девушка, не похожая на Алёну ни внешне, ни по характеру, закончила железнодорожный техникум без отрыва от основной работы и вскоре после этого, как отец и мать, стала бригадиром — правда, в роликовом цехе вагонного депо. Но это произошло после, а тогда семья бригадиров-железнодорожников охотно привечала симпатичную малолетнюю дочь медицинской сестры, а сама медсестра с любовью относилась к подружке дочери, красивой девочке со слегка прищуренными «лисьими» глазками. А когда в их классе появилась новенькая — общительная девочка приятного вида, подружки сразу приняли в свой круг смуглую говорливую Марину. Теперь компания уже из трёх красавиц всё время проводила вместе. Девчонки нередко гостили друг у друга. Мама Марины — такая же говорливая, как дочь, кудрявая женщина-хохлушка — никогда не отпускала зашедших к её дочери подруг без сытного обеда или хотя бы чаепития, непременно со сгущённым молоком. Бывало, за стол к девчонкам подсаживался и старший брат Марины Степан, всегда рассказывающий подругам сестры, в какой кинотеатр или клуб он ходил за последний месяц и какие фильмы там видел. Рассказы свои Стёпа дополнял жестами рук и мимикой лица. Особенно хорошо у него получались истории про наших разведчиков и американских шпионов, а также про Фантомаса. Рассказывая про фантастического человека, Степан натягивал на голову старый матерпин капроновый чулок, и его лицо мгновенно делалось неестественным. Ни Алёна, ни Рита, ни даже Марина на нашумевший фильм тогда так и не сходили, зато очень хорошо представляли себе по рассказам Стёпы и журналиста Фандора, и комиссара полиции Жюва, и самого Фантомаса. После таких застолий и Алёна, и Рита только и рассказывали дома, чем их угощала тётя Тамара и про какое кино им рассказывал Степан.

Впервые Стёпа проявил интерес к Алёне, когда перешёл в восьмой класс. Алёна закончила пятый, и если в то время ей и нравился кто-то из мальчишек, то наверняка это был не Степан. Брата подруги она никак не представляла своим другом, мальчиком, которого она могла бы выделить из всех мальчишек класса и города, а может, даже всего мира. А ей нужен был именно такой — лучший. Может быть, похожий на артиста Леонида Харитонова из фильма «Солдат Иван Бровкин», на которого мама Алёны не могла смотреть без умиления, и когда по телевизору показывали фильм «с Харитоновым», Александра Никитовна бросала стирку или лепку пельменей, прекращала любое общение с окружающими и замирала

перед экраном. Как-то раз пришедший с работы Алёнин папа вместо привычного борща, щец или супа с вермишелью нашёл на электроплите лишь чашечку с немытой картошкой — и шарахнул по говорящему и показывающему ящику с размаху кулаком. Ящик заверещал, но уцелел, а мама с причитаниями побежала на кухню готовить папе ужин. На некоторое время резкий поступок Василь Васильича возымел своё действие: Александра Никитовна перед фильмом с любимым артистом стала переносить неотложную работу поближе к телевизору. Но со временем грозная выходка отца стала забываться, и мать, увидев на экране Леонида Харитонова, снова стала забывать о реалиях быта.

Среди тех, кто окружал Алёну, таких героев, каким был Харитонов для мамы, она не находила. Хотя признавала: хорошие мальчишки и во дворе, и в школе были. И Стёпа был хорошим, но чтобы он, этот потешный плотный мальчик, мог стать для неё и вообще для кого-то из девчонок самым лучшим, Алёна не представляла.

Не представляла ещё вот по какой причине. Примером для всех в классе была дружба её одноклассников — Оли Курагиной с Сашей Новиковым. Оля с Сашей как-то сразу, класса с третьего, обратили друг на друга внимание. Сидели они вместе за одной партой, вместе шли домой из школы, часто вместе учили уроки. Ни родители, ни учителя не препятствовали этой дружбе, и как-то сразу все поняли, что это что-то большее, чем дружба между мальчиком и девочкой. Так впоследствии и получилось: Оля с Сашей через год после окончания школы, осенью, пригасили всех на свадьбу. Таким другом, каким был Саша для Оли, Алёна для себя Степана не видела и проявленные к ней его повышенные знаки внимания старалась не замечать. Степан же настойчивости не проявлял. Лишь однажды он попытался передать для Алёны записку через сестру и даже отдал ей в несколько раз сложенный тетрадный листок, но потом передумал и забрал. Марина сразу же рассказала об этом Алёне, намекнув, что братец хотел пригласить её в кино. Алёна сделала вид, что не поняла, о чём говорит ей подруга, но неожиданно для себя уговорила Риту пойти с ней на первый дневной воскресный сеанс в центральный городской кинотеатр. Зачем она это делает, Алёна не могла объяснить себе сама. Она просчитала правильно. В кинотеатре показывали фильм «Звонят, откройте дверь», о котором писала местная газета. В городе тогда телевизионные трансляции только налаживались, Москва показывала с перебоями, фильмов шло мало, и люди по выходным семьями ходили в кино. В той стороне, где жила Алёна, был ДК железнодорожников, но все поступающие в городской кинопрокат фильмы обычно вначале показывали в центральном кинотеатре «Победа», и самые нетерпеливые любители кино торопились туда как можно скорее. А если накануне о показе очередного кинофильма писала районная газета, то аншлаг был обеспечен. Естественно, Стёпа тоже был там. Алёна с Ритой пришли в кинотеатр за полчаса до начала. Две работающие на входе кассы не справлялись с наплывом желающих попасть в «Победу». Очередь за билетами тянулась с улицы двумя рядами и уходила в парадную дверь. Кроме того, желающие протиснуться в здание кинотеатра вне очереди мальчишки создавали у входа давку. Девчонки было загрустили, и вот тут проявил себя Стёпа. Он знал другой вход в фойе — через библиотеку — и провёл подруг незнакомым для них путём, возле касс быстро нашёл знакомого паренька, стоявшего недалеко от окошечка, и передал ему под шум возмущающейся толпы деньги на три билета. Протискиваясь в середину семнадцатого ряда за пять минут до начала, Алёна специально пропустила вперёд Риту, и та оказалась между ней и Степаном. Вот так и прошло их свидание, которого хотел Стёпа. Первое и последнее. После фильма Стёпа возвращался домой пешком в компании друзей, а девчонки поехали на автобусе.

— Как тебе этот мальчишка, что в фильме? — спросила Рита Алёну. — Я запомнила фамилию — Витя Косых, он, по-моему, ещё в нескольких картинах снимался.

— Да так себе, лопоухий… — ответила Алёна. — Мне больше понравилась Лена Проклова. Как хорошо играла… Как взрослая настоящая артистка. А она нас ненамного старше, а уже…

— Хорошо им там, в Москве, жить, — вздохнула Рита. — Режиссёры сами приходят в школу, артистов ищут… А у нас, как мама говорит, глухомань: до одного большого города пятьсот километров, до другого семьсот…

Алёна тоже вздохнула, показывая Рите, что полностью согласна, вздохнула по-взрослому, так, как делала её мама, глядя на артиста Харитонова. Москва и другие большие города, где по улицам ходили троллейбусы и трамваи, казались им далёкими и существующими только в кино.

Стёпа ещё несколько раз предлагал Алёне пойти в кино и помощь в покупке билетов в «Победу», когда ожидался новый аншлаг, но Алёна находила предлог и отказывалась. А потом в городе наступило повальное увлечение мальчишек футболом, и Стёпа, разрывавшийся между кинотеатром и стадионом, перестал мозолить ей глаза.

Новые, уже более настойчивые попытки добиться взаимности от Алёны Степан предпринял после десятого класса. Алёна в восьмом классе «заболела» геологической болезнью. Начитавшись книг «про геологов», собралась поступать в геологический техникум и после восьмого класса даже забрала из школы документы, но встретила вдруг неожиданный протест со стороны родителей, вроде бы благосклонно относившихся к её увлечению.

А особенно от старшей сестры. Лариса горой стояла за то, чтобы сестру не выпускали из дома, пока не начнутся экзамены в техникуме, и лично спрятала Алёнино свидетельство о неполном среднем образовании. В общем, в техникум Алёну не отпустили, и она пошла с подругами в девятый класс. Почти всё лето она была в трауре. Во двор выходила редко и пропадала у бабушки, на другом конце города, в районе шпалопропиточного завода. Естественно, Степан почти не видел её и попыток признания в любви сделать не мог. Тем более ему тоже предстояло сделать выбор: ехать на учёбу в областной центр или пойти учеником слесаря либо в локомотивное депо, где работал его отец, либо на завод по ремонту дорожных и строительных машин. Вообще-то Стёпа хотел стать помощником машиниста электровоза, но на курсы помощников брали только отслуживших в армии ребят, и Стёпа пошёл на завод, где открыли два новых цеха и активно набирали молодёжь. Он проработал там чуть ли не два года, получив по какой-то ему одному известной причине отсрочку от армии. Массированную атаку Степан развернул чуть позже. Целый год, до самого призыва в армию, Стёпа то подступал к Алёне, то отступал. Приглашал её на танцевальные вечера, поездки «на речку», но Алёна если и ходила на вечера танцев, то только вместе с Ритой и Мариной; один раз она даже откликнулась на предложение Степана, среди других, покружить в паре с ним по залу под какую-то заунывную песню, но не более.

Ко времени ухода Стёпы в армию почти все знакомые знали о его чувствах к Алёне. Некоторые, кто постарше, просто сочувствовали влюблённому, что его дело стопорится; другие, из сверстников, подстрекали Стёпку действовать решительнее, вплоть до лишения невинности предмета его страсти; третьи, более рассудительные, наоборот, сдерживали, полагая, что время само рассудит, быть ли молодым вместе, убеждая уже не в шутку захандрившего юношу подождать, пока девочка дозреет до настоящих чувств.

Что-то вроде объяснения в любви случилось межу Стёпой и Алёной за месяц до проводин. Он подкараулил её в подъезде и спросил прямо:
— Ждать будешь?
— Не знаю...— сказала она нерешительно.
— Может, тебе кто-нибудь другой нравится?— добивался ответа Степан.— Ты мне сразу лучше скажи...
— Никто не нравится...
— А я? Хоть немножко тебе нравлюсь?— не отставал он.
— Не знаю... Не могу сказать, что нравишься, но и что не нравишься — тоже...— отвечала уклончиво она.
— А мне что делать? Некоторые вон идут в армию после того, как с девчонками поспят... Потом знают, что они их ждут...— говорил Степан, отводя глаза в сторону.
— Я ни с кем спать не собираюсь. Мне одной хорошо,— отвечала, прямо глядя на него, Алёна; ей доставляло удовольствие смотреть, как он смущается и прячет глаза.— Пиши домой письма, передавай привет. Если мне скучно будет без тебя, напишу... Маринка адрес даст...

Стёпа ушёл домой расстроенным. А Алёна вспомнила сто раз слышанное раньше выражение: чувствам не прикажешь,— и впервые по-взрослому подумала: «Действительно, не прикажешь...»

Она пришла на проводы Степана вместе со всеми. Села рядом с Ритой, поддерживала компанию, но когда выпившая тётя Тамара как бы случайно стала подсаживать её ближе к сыну, она, улучив момент, после очередного танца под магнитофон, когда гости и хозяева хорошо захмелели, ушла домой.

На другое утро она пришла к военкомату, где собрались родственники уходящих на службу призывников и сами призывники, а оттуда вместе с большой компанией пошла на вокзал, к поезду. Она хлопала в ладоши, когда танцевали на перроне, и пела со всеми: «Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты...» А когда скомандовали: «По вагонам!» — и вчерашние юнцы и уже почти солдаты, лобызая всех подряд, стали прощаться с родными, знакомыми и вроде бы случайно оказавшимися здесь незнакомцами, пившими под шумок дармовую водку, щёку для поцелуя Степану подставила и Алёна. Он это оценил и поцеловал её не как всех — один раз, а два и надел ей на голову откуда-то взявшийся у него венок из жёлтых первоцветов. Алёна смутилась, а он, прощально махая провожающим, смотрел только на неё.

Потом Марина передавала ей от него приветы, но она так и не написала Степану ни одного письма. Он служил где-то в Забайкалье, потом в Монголии, а после службы поехал по путёвке на ударную молодёжную стройку. Алёну уже не интересовало куда, потому что к тому времени у неё появился Андрей, а потом и Санька.

От подруги она знала, что Стёпа живёт неплохо, работает на стройке и даже стоит в очереди на легковой автомобиль. Слушая рассказы Марины о брате, Алёна кивала, улыбалась, всё ещё представляя Степана пухленьким, потешным и даже немного глупым юнцом. Он всё дальше и дальше уходил из её памяти, растворялся в воспоминаниях. В сознании он оставался частичкой её детства, мальчишкой, уехавшим однажды на поезде во взрослую жизнь. Она была уверена: уехав на том майском поезде, Стёпа исчез из её жизни насовсем...

9.

Она была уверена: Степан исчез из её жизни насовсем...

Но вот объявился.

Он уже не выглядел юнцом с гладкими пухлыми щеками. Из глаз ушла детскость, исчезла наивная улыбка. Летним вечером, шесть с лишним лет спустя, недалеко от того места, где они виделись последний раз, Алёну ждал на остановке возле вокзаловских пятиэтажек тот же, но совсем другой Степан. Уверенный в себе человек, с уверенным взглядом, басистым голосом, крепкой фигурой. Лицо его, с усами чуть скобочкой — по-хохляцки, с едва заметными морщинками у глаз, отражало немало пережитого и познанного за прошедшие годы.

— А я думала, что ты уже давно режиссёр, киноэпопею про разведчиков снимаешь... — попробовала шуткой скрыть свою растерянность Алёна.

— Я не режиссёр, я — строитель, — сказал Степан, принимая шутку, и в глазах его по-доброму отразились лучи вечернего солнца. — Хотя с некоторыми режиссёрами знаком. Я ведь в Москве три года жил. Олимпийскую деревню строил после армии.

— Ну и как столица наша? — спросила Алёна уже более уверенно и осмысленно. — Я там так ни разу не была и, наверное, уже не буду.

— Нормально столица. Разве там может быть плохо? Это же наша столица! — обрадовался Степан, начиная понимать, что разговор может получиться. — А поехать туда — много не надо. У тебя же билет железнодорожный бесплатный. Взяла отпуск, получила отпускные и... айда в Москву!

— Так просто — айда — не получится. У меня ребёнок маленький. Придётся Москве подождать меня.

Они шли по асфальтовой дорожке к микрорайону, и солнце, опускаясь на крыши пятиэтажек и цепляясь за телевизионные антенны, светило им прямо в глаза.

— Можно и с ребёнком поехать. На него билет не надо, — сказал уже не так оптимистично Степан, щурясь от солнечных лучей. — Можешь и меня за компанию взять. Я помогу там устроиться. Друзья ещё остались, есть у кого остановиться...

Алёна сбавила шаг.

— А что, больше никто компанию такому красивому составить не может? — спросила она. — Я думаю, найдутся здесь молодые незамужние девчонки. С радостью поедут с тобой хоть на край света...

— Может, найдутся. Но мне хочется с тобой по Москве погулять... — сказал Степан, не глядя на Алёну.

— Я подумаю, — Алёна остановилась возле двухэтажного деревянного здания, бывшего детсада, за которым начинался пятиэтажный городок. Лицо её было серьёзным. — Спасибо за предложение, Степан. Только сейчас мне не до поездок и, извини, не до разговоров. Дел полно. Саньку заберу от матери — и домой надо... А там — стирка, уборка, ужин... Завтра снова с утра на работу... Вот так и живу...

— А я помочь бы мог... — проговорил Степан вполголоса, будто надеясь, что его не услышат, и Алёне снова вспомнился тот пышнощёкий Стёпа, не решающийся передать ей записку.

— Не получится, — отрывисто сказала она. — У меня сынок чужих в доме не любит. Злиться начинает. А я женщина покорная, для меня желание мужчины прежде, чем моё личное.

— А я с ним познакомлюсь. И мы, как мужики, поймём друг друга! — не растерялся Стёпа, снова оживая и загораясь улыбкой. — Меня дети хорошо понимают.

По лицу Алёны тоже пробежала улыбка.

— Ну, как-нибудь, может, познакомитесь. Но не сегодня, — сказала она. — А сегодня — пока. Передавай привет Маринке.

— Передам... — опять едва слышно произнёс Степан.

Уже вслед уходящей Алёне.

Закончив стирку, Алёна развесила бельё в ограде: Санькины шортики, носочки, свою юбку; потом полила грядку с луком, огуречный парник, вымыла руки под краном летнего водопровода и вошла в дом, когда закатившееся за здание узла связи солнце уже прятало свои последние следы — отблески затухающего заката. На улице быстро темнело. Она зажгла на кухне свет, прошла в комнату. Будильник на телевизоре показывал начало двенадцатого. Санька, возившийся до этого с карандашами и альбомом для рисования, уснул прямо в кресле, так и не дорисовав «бабы-Шурину пятиэтажку».

Алёна подумала, что опять не умыла и не раздела ребёнка перед сном. Она осторожно взяла сына на руки, уложила на кровать. Санька открыл было глаза, поняв, что «переезжает», хотел что-то сказать матери, но, едва коснувшись затылком подушки, снова уснул.

Вернувшись на кухню, Алёна поставила на электроплитку чайник. Немного постояла у плиты, подумала, что опять ничего не успевает. Она хотела пройти снова в комнату, но, остановившись в дверном проёме, решила не делать лишних движений: пусть Санька уснёт покрепче, а потом она снимет с него одежду, уложит под одеяло, приготовит на утро чистую рубашку, брючки, плавочки. Свет от электрической лампочки полоской падал на письменный стол в спальне, где поодаль от альбома и цветных карандашей, возле вазы с уже подвядшими и опадающими жарками, стояла на подставке фотография Андрея. Лучшая из тех, что остались в фотоальбоме. До плеч вьющиеся по краям причёски волосы, прямой чуб, спадающий на брови, аккуратные усы и приятный, добрый взгляд. Такой взгляд обычно у него был, когда он рассказывал какую-нибудь историю с неожиданно смешным концом и, закончив, ждал, когда суть рассказанного дойдёт до слушателя

и все рассмеются. Кажется, ещё мгновенье — и по квартире разнесётся его смех.

Он смотрел на неё с фотографии на подставке, с письменного стола, за которым сочинял свои рассказы и газетные статьи и на котором оставил, уходя из этой комнаты, неоконченный очерк про ветерана войны.

Время неумолимо приближалось к полуночи. На плитке зашумел чайник. Алёна достала из буфета кружку, сахарницу, баночку свежего варенья из красной смородины, что вчера принесла золовка Ольга, и собралась пить чай.

Тихий, едва слышный стук в окно был для неё неожиданным и напугал её. Она вздрогнула и притихла. Стук повторился.

— Кто там? — спросила Алёна, подойдя к окну, но не поднимая занавески.

— Я… Степан… — ответили за окном тихо. — Открой, Алёна, поговорить надо.

Алёна хотела было сказать, что разговор у них уже был и говорить больше не о чем, но побоялась разбудить Саньку: вышла в сени, откинула крючок, открыла дверь.

Степан стоял на пороге.

— Можно войти? — спросил он.

— Ты, Степан, извини, но у меня сын уже спит, — сказала Алёна, выходя на крыльцо и закрывая за собой дверь. — Я боюсь разбудить его. Если что срочное, давай поговорим здесь.

— Алёна… — начал Стёпа и не смог продолжить.

— Если с сыном пришёл знакомиться, то поздно уже… — сказала Алёна после минутной паузы.

— Я с тобой пришёл знакомиться, — сказал Степан теперь уже уверенно. — Я тебя такой не знаю. Знал другой — смеющейся красавицей. А теперь строгая какая-то…

— И уже не красавица? — перебила его Алёна.

— Нет… Вернее, да… То есть нет… — опять сбился Степан, запала его уверенности надолго не хватило. — Ты ещё красивее, чем тогда, но… другая…

Его нерешительность развеселила Алёну.

— Я другая, ты другой, я с другим, и ты с другой! У нас как в песне… — сказала она. — Поздно, Стёп, уже знакомиться.

— В каком смысле? — не понял Степан. — Сегодня поздно или вообще?

— И сегодня, и вообще… Разные у нас, видно, в жизни пути-дороги…

— Ну почему разные? Кто тебе это сказал? Ты одна, и я один… Что нам мешает?

Степан снова обрёл уверенность, распрямил грудь, подошёл ближе. Новая вспышка его решительности немного испугала Алёну.

— Я к этому не готова… — сказала она тихо.

Степан хотел ещё что-то сказать, но осёкся и замер, глотнув воздуха.

— Если хочешь, я тебя чаем угощу, — сказала Алёна. — У меня чай остывает. Заходи, попьём, посидим немного, а потом ты домой пойдёшь, а я спать лягу. Завтра с утра Саньку в садик надо, а мне на работу…

Стёпа молчал. Алёна поняла это по-своему, вошла в дом, не закрывая за собой двери.

Степан несмело прошёл в сени, заглянул через порог в дом.

— Садись вот сюда, к окну, — сказала Алёна полушёпотом, показывая на дальний стул за кухонным столом. — Здесь у меня всегда хозяин сидел, здесь теперь сын сидит, сюда я и гостей редких усаживаю.

Стёпа осторожно, стараясь не топать, прошёл к окну, сел на указанное хозяйкой место.

— Чай у меня с кислицей. Любишь? — спросила хозяйка, подвигая гостю блюдечко с вареньем.

— Люблю, — кивнул гость. — Я когда в Москве жил, мать мне всегда привозила литров по девять кислицы. Я один почти её ел. Друзья не любили. Сибиряков там со мной не было, а те, кто с России, они и слово такого — «кислица» — не знают, больше «красная смородина» говорят…

— А подруги? Подруг бы угощал… Куда тебе одному девять литров-то? — оборвала его Алёна.

Стёпа покашлял в кулак. Было видно, он снова смущён.

— Не было у меня подруг… — сказал он.

— Не верю. Мужику двадцать семь лет, скоро тридцать, и не было ни одной подруги…

— Знакомые были, а подруг близких не было… — сказал, набравшись снова решительности, Стёпа.

— Значит, всё-таки не очень близкие подруги были, а вот близких не нашлось… — сделала вывод то ли для себя, то ли для него Алёна. — Не завёл таких… Почему, интересно?

— Какая ты колкая стала, иронизируешь всё время, хоть не говори тебе ничего… — сказал Степан, поняв, видно, что терять ему всё равно нечего, и впервые посмотрел ей в глаза.

Алёна взгляда не отвела. Было видно, что вот-вот Стёпа не выдержит, лицо его становилось пунцовым. Она не ошиблась: Степан отвернулся и, приподняв занавеску, стал смотреть в тёмное окно.

Он сидел напротив неё, здоровый, ещё молодой парень, не избалованный женщинами и не познавший взаимной любви. Сидел беззащитный, пришедший к ней на растерзание в новом костюме, так хорошо, ладно сидевшем на нём и надетом, видимо, по случаю его прихода сюда. Глядя на беспомощного перед ней, отвернувшегося от неё к окну человека, Алёна вдруг неожиданно пожалела его и стала в душе осуждать себя. Зачем она так с ним? Что надо ей теперь от жизни? Кому она нужна — больная, с ребёнком? Тем стреляющим глазками молодым мужикам на работе в депо, постоянно бросающим в её сторону реплики? Или некоторым из бывших знакомых Андрея, при жизни причислявшим себя к его друзьям, а после смерти приятеля положившим глаз на его

вдову? Может, и нужна кому-то из них для коротких свиданий, не больше. А ведь вот он, Степан, может, и вправду любит её с юных лет? Может, поэтому и не женится, не заводит себе подруг? Может, действительно есть на свете люди, которые всю жизнь несут светлое чувство только к одному человеку? Может, с этим сидевшим сейчас у окна человеком ей и суждено прожить все остальные годы? Ведь и мать её, Александра Никитовна, до встречи с отцом выходила замуж за любимого человека, а он погиб на охоте. Потом вышла за отца и прожила с ним двадцать с лишним лет. Правда, к пятидесяти годам похоронила и второго мужа, но ведь была и с ним счастлива. На несчастье не жаловалась. Так, может, и она, Алёна, тоже… Ведь ей в августе будет только двадцать пять… Как говорит мать, вся жизнь ещё впереди.

Эти мысли словно подтолкнули Алёну, она встала, несмело подошла к Степану. Он продолжал смотреть за занавеску в тёмное окно. Алёна осторожно положила ему ладонь на голову, провела по волосам. Он вздрогнул от неожиданности, повернулся к ней, поймал её руку.

— Прости, Стёпа, но я…— сказала тихо Алёна.

Степан обнял её свободной рукой за талию, притянул к себе. Сердце Алёны забилось сильнее, дыхание остановилось…

Она закрыла глаза, поймав в горсть его жёсткие волосы. Тело задрожало, вся женская натура, успевшая отвыкнуть от мужских рук, заклокотала изнутри и ждала, когда сильные руки возьмут её, приласкают, прикоснутся к женскому естеству и…

Она ждала… Она была готова к тому, что Стёпа сейчас встанет, возьмёт её на руки, поцелует в губы, и тогда… Тогда в её жизни снова появится мужчина… Муж…

Но Степан не встал, не взял её на руки и даже не попытался поцеловать. Он продолжал сидеть, прижав свою голову к её телу, одной рукой держал Алёну за талию, а другой гладил ей руку и был счастлив этим. На большее он не решался.

Прошла минута… другая…

Овладевающая было Алёной страсть, победившая на время рассудок, стала остывать, и холодный разум, не успев раскиснуть в жáре страсти, возвращался. Алёна вспомнила о Саньке, об Андрее, о стоящей в комнате фотографии.

При мысли о стоящей на письменном столе фотографии Алёна напряглась, ей показалось, что кто-то вышел из комнаты, сделал несколько шагов и остановился возле неё. Алёна открыла глаза и повернулась: рядом никого не было. Но ощущение присутствия кого-то не проходило. Более того, она почувствовала на плече тяжесть. Будто этот кто-то взял её за плечо и потянул к себе. Алёна встрепенулась, оторвалась от Степана, убрала его руку. Внутренний клокот и ликование сменились смятением.

— Не могу я, Стёпа…— сказала она, ещё продолжая стоять рядом.

— Почему?— прошептал он.— Что нам мешает?

— Андрей…— сказала она почти неслышно и отошла от Степана к середине стола; чувство тяжести на плече сменилось облегчением.

— Кто?— не сразу поняв, спросил Степан.

— Муж. Я, Стёпа, мужа не могу забыть. Он был у меня первый и последний мужчина. Его фотография стоит на столе, а мне кажется, что он на меня иногда как живой смотрит. Порой ходит, кажется, где-то рядом. Я слышу его шаги. Иногда слышу, как он вздыхает. Я даже разговариваю с ним. И не боюсь. Сначала боялась, как сюда жить вернулась, а сейчас не боюсь…

— Ну это же неправда!— воскликнул Степан.— Его же нет! Так недалеко до сумасшествия…

— А может, я уже сумасшедшая?— сказала Алёна, снова сев на своё место.— Пей чай давай! Остынет… Мне кажется, что и Санька его чувствует. Он же здесь, в этом доме, родился. Он тоже иногда разговаривает с фотографией отца. Когда меня нет рядом. Я слышала один раз, как он просил его о чём-то. Что-то хотел от него. Я, правда, виду не подала, что слышала, а он мне сам ничего не рассказывал…

Алёна хлебнула из кружки ещё не остывший чай. Смятение отходило от неё.

— А можно мне посмотреть на фотографию?— попросил Степан.— Мне Маринка писала, что ты вышла замуж за парня, с которым мы когда-то, в дошкольном-первоклассном детстве, до переезда в вокзаловские пятиэтажки, жили рядом.

— Посмотри.

Алёна встала, прошла в комнату, вернулась с фотографией, отдала её Степану.

— Что-то знакомое в его лице есть,— сказал Стёпа.— Хотя тут мужик уже на фото, с усами как у меня. А у тебя его детских фоток нет?

— Есть где-то в альбоме две или три, свекровка приносила Саньке показать. Так и оставила у нас. Санька-то что ещё понимает? Хотя иногда, смотрю, понимает уже кое-что…

— Давай посмотрим?— попросил Степан.

— Ну давай,— согласилась Алёна.— Всё равно сейчас я не усну… Весь сон ты мне перебил…

Пока гость пил чай, хозяйка, не зажигая света в спальне, стараясь не разбудить ребёнка, тихо искала альбом.

— Нашла,— сказала Алёна, вынося на свет старый картонный фотоальбом. Ей вдруг стало легко.— В тумбочке под телевизором. Так и лежит, как положили. Сейчас фотки поищем.

Она снова села на своё место, стала разбирать фотографии.

— Вот, нашла!— обрадованно воскликнула она, перевернув очередную страницу.— Две фотографии, как я говорила. На одной он фотографировался

на школьную Доску почёта—ударником в первом классе был, до отличника не дотянул. Вот на верхней губе видно—простуда. Простыл, но так и сфотографировался с болячкой. Лопоухий какой! Смешной! А другая—групповая. Тоже в первом классе. Тут, правда, не один, а два первых класса вместе сфотографированы. Они тогда в деревянной школе учились… В сорок пятой. Теперь её уже нет, разобрали.

— Я тоже в первом классе в «сорокпятке» учился!—оживился Стёпа.—Дай мне групповую посмотреть.

Алёна протянула ему глянцевую фотографию с пожелтевшими краями.

— И у меня такая есть!—чуть было не закричал Степан, поднимаясь и подбегая к ней.—Вот смотри: вот он я!—ткнув пальцем в середину снимка, показал Стёпа.

— И точно!—удивилась Алёна.—Как я раньше тебя не узнала? Раз сорок, наверное, ещё при Андрее смотрела, и потом без него раз двадцать. А вот Андрей…

Она опустила палец в нижний ряд и указала на чуть хмурого мальчика, третьего слева.

— Конечно, я его знаю!—снова чуть не закричал Степан, но тут же прикрыл рот рукой и поправил себя:—Знал, вернее… Это же Андрюшка, а рядом Сашка Чугунок, а со мной рядом Валерка Куликов… Они все жили в красном длинном таком бараке на четырнадцать квартир, здесь недалеко, возле железнодорожной больницы. А мы—в доме напротив. Года три-четыре рядом жили. И в чику на пробки от газировки играли, и в лес на Грибанову гору вместе ходили, к роднику за водой, и в кино—в клуб стройучастка… Я хорошо его помню. Ему велосипед «Школьник» купили, и мы все учились кататься на его велике. И мать моя его хорошо знала, и отец…

Стёпа остановил свою страстную речь и посмотрел на Алёну.

— Какой у нас всё-таки маленький город,—сказала Алёна.—Я стала с Андреем дружить—вроде парень с другого конца города, а оказалось, что он учился у нашей соседки-учительницы…

— Ты про Людмилу Дмитриевну говоришь?—спросил Стёпа.

— Да.

— Андрей с Чугунком учились у неё, она тогда ещё совсем молоденькая была, после училища, а мы с Валеркой Куликовым у Тамары Фёдоровны, та постарше… А здесь мы все вместе сфотографировались. Правильно ты говоришь, два класса собрали, и с учителями фотографировались перед Новым годом. У фотографа плёнка кончалась. Он отличников-ударников нафотографировал, а потом решил, видно, денег подзаработать—на память все классы запечатлеть. У нас хоть школа маленькая была начальная—четырёхлетка, зато каждых классов по два. Он сначала четвёртые классы отдельно каждый сфотографировал, потом третьи, а когда до первых дошёл, то у него два кадра осталось. Решил, видно, не рисковать—собрал сразу два класса и два кадра на нас потратил…

Стёпа снова прервал речь. Алёна сидела напротив него, глаза её блестели.

— Не могу я, Степан, не могу. Понимаешь?—сказала она, и слёзы покатились по её щекам.—Не могу! Он не отпускает…

— Извини…—вздохнул Степан, положив фотографию на стол.—Я пойду…—сказал он растерянно.

— Иди,—сказала Алёна.

Степан осторожно вышел, закрыл за собой дверь. Алёна слышала, как скрипнула калитка, и наступила тишина.

Она так и не уснула в ту ночь. Разглядывала фотографии, пила чай, гладила Санькину рубашку.

Степан больше не приходил и встреч с ней не искал. От Маринки Алёна узнала, что он устроился работать в отдел снабжения новой организации «Строймехзапчасть» и, как сказала подруга, «не вылезает из командировок».

— По всей стране мотается, и даже в Японию летал…—уточнила Марина.

Алёна первое время часто вспоминала приход Степана и их разговор. Иногда она оправдывала себя, вполне искренне считая, что поступила правильно, иногда жалела…

Но время шло. Жизнь вокруг не стояла. Сын подрастал. И Алёна стала всё реже вспоминать о полуночном визите к ней Степана и о нём самом. И ей уже начинало иногда казаться, что никакого Степана не было и никто к ней не приходил…

10.

Ей уже казалось, что никакого Степана не было и никто к ней не приходил…

Никого не было тогда, в полночный час, а то, о чём она вспоминала всё реже и реже,—её фантазии. Но вот спустя ещё два года, в один из самых памятных дней жизни Алёны, когда её сын стал школьником, на самом исходе лета, Степан снова появился возле её дома.

В широкополой шляпе, импортном пиджачке, с портфелем-дипломатом, он смотрелся солидно.

— А я тебя ждал,—сказал он не здороваясь, и улыбка заиграла у его глаз.—Вас, извиняюсь,—поправился он, взглянув на Саньку.—Что, мужик, в школу пошёл?

Санька молча кивнул.

— Ну и молодец!—подмигнул ему Степан.—А что такой невесёлый?

— Что ж он невесёлый? Весёлый был весь день,—заступилась за сына Алёна.—Устал, видно, столько впечатлений…

— Да-а… Первый раз в первый класс. Это не шутка. Сам помню, как мать меня водила. Кстати, вместе с вашим папой были тогда на одной линейке.

Правда, по разным классам разошлись… Сколько уж лет-то прошло? Двадцать три, по-моему…
— Много,—сказала Алёна.
— Немало,—согласился Степан.—Ну, это дело надо отметить. Человек в школу пошёл. Не отметить нельзя. В гости приглашаете?
— Мы к Ритке собрались…— Алёна сжала крепче Санькину руку.
— Ну, поедете попозже. И я с вами в ту же сторону. А пока давайте дух переведём, посидим, чаю попьём, коньячку хорошего.
— Я коньяк не люблю.
— Ты такой ещё не пила. «Наполеон» называется. Сейчас такой и в Москве-то не везде достанешь, я уж не говорю про наш городишко…

Степан был уже не тот, что два года назад. Алёна это поняла и приняла настороженно, но отказать и не пригласить в дом в такой радостный день набивавшегося к ней в гости человека не могла.
— Ну, пошли, раз пришёл,—сказала она.—Мы не из тех, кто гостей в дом не пускает. Даже не приглашённых. Правда, Санька?

Санька смутился и опустил голову.

Кроме «Наполеона», в дипломате у Степана оказались баночка чёрной икры, балык омуля, ветчина, печенье и конфеты в упаковке.
— Ничего, кроме чая, от вас, хозяюшка, не требуется,—сказал гость, раскладывая продукты на столе в комнате.
— Да ты никак для себя уже продовольственную программу решил?—глядя на деликатесы, спросила Алёна, присаживаясь вместе с Санькой на диване.—Или взаймы живёшь, а напоказ работаешь?
— Ты меня сегодня своими колкостями не заведёшь,—ответил ей, не оборачиваясь и продолжая своё дело, Степан.—Я свою программу выполнил—продовольствия мне хватит, а мало будет—ещё достану. И вас, если пожелаете, в число выполнивших включить могу. Прямо с сегодняшнего дня. А пока несите, пожалуйста, Алёна Васильевна, тарелочки под рыбу и мясо, рюмочки под коньяк и кружечки для чаю.

Алёна ушла на кухню, Санька остался сидеть на диване.
— Трудно тебе с мамой?—спросил его Степан.
— Нет,—ответил Санька, с любопытством глядя на хозяйничавшего у них дядю.
— Строгая она у тебя…
— Она не строгая. Она хорошая…— сказал Санька.
— Кто бы спорил?—согласился Степан.—Хорошая—точно сказано. По этому поводу—нá тебе конфетку. Хочешь?

Санька хотел, но, не решаясь подойти к Степану, лишь качнулся вперёд, оставаясь сидеть на диване.
— Что, боишься, мама заругает?—понял его Степан.—Не заругает. Это не простая конфетка, а жевательная. Жвачка называется. Я из Японии привёз. У нас таких не делают. На, не бойся.

Степан протянул ребёнку тонкую длинную пластинку в обёртке, с нарисованным на ней лимоном и человеком в японской национальной одежде.
— Вот, лимонная. Разворачивай и жуй.
— Ты чем там его угощаешь?—спросила Алёна, вернувшись из кухни с чайником и тарелочками.
— Же-ва-тель-ной ре-зин-кой,—произнёс нараспев Степан.—Я-пон-ской.
— Пусть поест сначала, а сладкое на десерт,—сказала строго Алёна и обратилась к сыну:—Саня, принеси из кухни кружки. Там на столе стоят.
— А жвачка аппетиту не повредит—наоборот, поднимает желание что-нибудь съесть,—слово «съесть» Степан произнёс, клацнув зубами.
— Да-а, совсем ты там испортился, катаясь по заграницам,—сказала, глядя на это, Алёна.
— А ты возьми меня на перевоспитание,—попросил Степан, подойдя к ней близко.—Я послушный.

Из кухни с кружками пришёл Санька.
— У меня уже есть один воспитуемый,—отстранилась от гостя хозяйка.
— Будет два,—сказал Степан и, не дожидаясь приглашения, первым сел за стол.
— С меня одного достаточно,—Алёна села рядом.—Саня, руки, сыночка, мыть—и за стол!
— Я всё время жалел, что тогда так получилось… Растерялся, когда мы так близко были друг к другу,—сказал тихо Степан в отсутствие Саньки, разливая коньяк по рюмочкам.—А ты?
— А я нет!
— Я тебе не верю.
— Почему?
— Потому что это неправда.
— Правда!—воскликнула Алёна, понимая, что её неискренность заметна гостю.

Коньяк Алёна нашла неплохим. Закуску—хорошей. Степан рассказывал про Японию и японцев, говорил, что скоро собирается в Западную Германию за запчастями для большегрузных автомобилей—«Магирусов». Когда разговор зашёл об автомобилях, глазёнки у ребёнка загорелись, и он, до того, словно в нагрузку к жевательной резинке, угрюмо и долго жевавший кусочек ветчины, сразу оживился. Степан это заметил.
— Ты, наверное, шофёром хочешь быть?—спросил он мальчика.
— Хочу,—согласился Санька.—Как дядя Лёша, на «жигулях» ездить…
— Кто это—дядя Лёша?—Степан перевёл взгляд на Алёну.
— Муж Лариски, сестры. Ты что, его не знаешь?
— Я уже многих не знаю ни в городе, ни в наших пятиэтажках,—Степан откинулся на спинку стула.—Совсем отстал от жизни. Приезжаю, смотрю, всё какие-то новые люди ходят, молодых полно парней, девчонок…

— Жизнь идёт, Стёпа, новые люди приходят на смену старым. И нам уже не по двадцать… — вздохнула Алёна.
— И даже не по двадцать пять… — уловил грустную нотку в голосе хозяйки гость.

Покончив с кусочком ветчины и попив чаю с конфетами, Санька наконец добрался до жевательной резинки и попросился у матери на улицу.
— Ну иди, погуляй с часик, — разрешила Алёна. — К тёте Рите, видно, не придётся сегодня поехать. Хотя ждать нас будет…

Когда Санька ушёл, Степан пододвинул стул ближе к Алёне.
— Ой, что-то я от твоего коньяка совсем опьянела, — сказала хозяйка, собираясь встать, но гость остановил её, осторожно взяв за локоть.

Она посмотрела ему в глаза и поняла, что сегодня он не отведёт взгляда.
— Ты пользуешься тем, что я выпила, — сказала Алёна, продолжая смотреть в глаза гостю. — Напоил женщину и хочешь из этого что-то поиметь? Так? Не выйдет… Понял?
— Не понял…

Степан подвинулся ещё ближе, положил руку ей на плечо.
— Ты сколько будешь меня мучить, Алёнка? — прошептал он ей на ухо.
— Не знаю… — ответила она также шёпотом.
— Давай покончим с этим?
— Не получится…
— Ну почему?! — воскликнул Стёпа, приподнимаясь.
— Не получится, и всё! — ответила громко Алёна и, отодвинув стул, встала.
— Скажи мне: в чём причина? — Степан снова взял её за локоть. — Ты любишь кого-нибудь?

Алёна молчала.
— Да или нет? — настаивал Степан.

Алёна продолжала молчать.
— А я? Я тебе всё так же безразличен?
— Если б был безразличен, то в дом бы не пустила… — сказала наконец Алёна.
— Ну в чём дело, Алёнушка? В чём?

Степан перешёл на шёпот, снова приблизился к Алёне, взял обеими руками за талию, притянул к себе.

Алёна покорно шагнула навстречу. И хотя она всё ещё оставалась верна покойному мужу и женская суть её порой изнывала по мужской ласке, на этот раз она не загорелась от близости мужчины и не затрепетала в его руках. Может быть, слегка затуманенный алкоголем разум приглушал чувства. Алёна не трепетала, но и не отталкивала добивающегося её мужчину. И когда он начал целовать ей лоб, щёки, губы, Алёна решила отдаться на волю судьбе. «Будь что будет…» Она закрыла глаза и стала ждать, как в прошлый раз, уверенная в том, что Степан не повторит ошибки, не упустит сегодня момент и возьмёт её на руки, как это делал Андрей, и понесёт на ложе любви. На новую, купленную Алёной недавно кровать, не ведавшую ещё греха, на не знавшую мужчины новую постель: матрас, простыню, одеяло, помнившие только Алёнино тело… И это наконец свершится… Свершится в её новом доме, где не ночевал ни один взрослый мужчина… Она ждала этого без страсти, но более желанно, чем в тот раз, понимая, что затянувшаяся на четыре с половиной года её никому не нужная верность ушедшему навсегда мужу, стоившая ей многих усилий, лишала её сил, женственности и превращала в колкую, порой злую, быстро стареющую женщину…

Она ждала, а он медлил. Он продолжал целовать её лицо, прикасался губами к бровям, щекам, подбородку, шее. Казалось, он не знал, что делать дальше, и повторял и повторял одни и те же движения. Алёне стало жарко, она открыла рот, чтобы глотнуть воздуха, открыла глаза, чтобы посмотреть, открыта ли форточка…

И увидела…

С верхней полки книжного шкафа на неё смотрел Андрей. Смотрел с фотографии на подставке добрыми, не осуждающими её глазами, готовый вот-вот рассмеяться…
— Нет… нет, нет! — сначала прошептала, а потом закричала Алёна, вырываясь из объятий.
— Нет! — выкрикнула она и, увернувшись от рук Степана, побежала на кухню, закрыв за собой дверь.

11.

Она закрыла за собой дверь и просидела на кухне всю ночь.

Почти до рассвета Алёна думала о своей судьбе, листала фотоальбом, вспоминала. Она проводила на кухне уже не первую ночь. Бессонница всё чаще доставала её воспоминаниями, а они уносили её во времени назад, вновь заставляли переживать давно пережитые дни и ночи и открывали, как ей казалось, истину. А время шло вперёд. Ей исполнилось двадцать восемь… тридцать… тридцать два… Степан снова исчез из её жизни. Да, она вспоминала о нём, теперь чаще, чем прежде, и иногда хотела, чтобы он пришёл ещё хотя бы раз и сделал новую попытку приблизиться к ней. Но он не приходил. Марина говорила ей, что брат всё мотается по заграницам, что снова хочет перебраться жить поближе к Москве, что с ним при желании можно связаться по телефону…

Алёна звонить не хотела.

После первой близкой встречи со Степаном в четвертушке Алёна заметила: мужчины вдруг стали проявлять к ней интерес. Некоторые — интерес настойчивый. Заинтересовавшись этим фактом, Алёна (как она считала, от нечего делать) почитала на досуге некоторые медицинские книги и сделала

вывод, что полнокровная, способная жить половой жизнью, но воздерживающаяся женщина выделяет особые запахи, которые без труда улавливают некоторые особо чуткие мужчины.

— Ничего в этом удивительного нет,—сказала ей подруга, медсестра Рита,—закон природы: кобели идут за сучками. За тобой, как женщиной невостребованной, идут падкие до этого дела мужики. Наверное, они чуют в тебе эту невостребованность…

И Алёна интереса ради, а больше по необходимости, довольно быстро выявила группу знакомых ей «падких» мужиков. Первым в этот список попал двоюродный брат Андрея Олег. Но с ним ей было всё понятно. Молодой ещё, в принципе, парень, отслужив в армии, никак не мог найти себе подругу. Часто выпивал. Жил он у матери на небольшой железнодорожной станции. Алёна замечала: Олег ещё при жизни Андрея заглядывался на неё, но это было чисто мужское и больше теоретическое любопытство молодого парня к женщине. Она была уверена: он бы никогда не посмел посягнуть на жену брата. А вот когда Андрея уже не было… Олег вначале приезжал к ней вместе с матерью—сестрой свекрови. Привозили они подарки для Саньки, приглашали Алёну к себе в деревню. И Алёна несколько раз ездила к тётке мужа погостить и даже ходила раза два с Олегом по грибы в недалёкий от посёлка сосняк. Ничего такого она за ним не замечала. Но вот после разговора с Ритой она сделала открытие, что Олег ведёт себя с ней странно: ищет повод вроде бы случайно коснуться её рукой, ведёт разговоры на тему близости мужчины и женщины, рассказывает интимные истории и неприличные анекдоты. В один из приездов Олега в город Алёна прямо сказала ему, чтобы он думать перестал о ней как о партнёрше. Олег не ожидал такой прямоты, смутился, попытался оправдываться. Оправдание получилось неубедительным, с заиканием… После чего Олег в четвертушке больше не появлялся…

Вторым в списке неожиданно оказался Игорь. В год смерти Андрея его дядька стал косвенным виновником гибели ещё одного человека. Старенькая и больная ревматизмом бабушка Аня, с трудом выходя во двор, с усилием преодолевала высокий порог из дома в сени. Порог этот остался ещё с тридцатых годов, когда площадь дома в связи с пополнением семейства расширили. Хотели сразу же переделать и порог, но сели, как это нередко бывает, праздновать, обмыли новостройку, а порог отложили «на потом». Это «потом» растянулось на полвека. Родившийся уже после и перевалявший отметку сорокалетия Игорь последние лет пять всё намеревался сделать специально для больной матери ступеньку у порога и уже готовил инструмент и материал, но так и не сделал. Как-то летом бабушка Аня собралась выйти в сени, где стоял холодильник, за продуктами, подошла к входной двери… И, как нарочно, в это же время готовившийся к своему очередному дню рождения Игорь, «забодяжив» очередную флягу браги и сняв первую пробу, весёлый, решил войти в дом. Он резко, как делал всегда, рванул скобу двери на себя, и с обратной стороны, с порога, на пол вывалилась бабушка Аня. Игорь бросился к матери, но та ни сама, ни с его помощью подняться не смогла. Не помог и подошедший на подмогу дед. Приехавший на скорой врач определил, что у старушки сломаны два ребра и ушиблено колено. Доктор попытался отправить старушку в больницу, но Анна Веденеевна, как ни уговаривали, не поехала. Её уложили на кровать, пытались лечить, но бесполезно. Промучившись два с лишним месяца, бабушка Аня, будто подгадав, умерла в тот же день года, что и родилась, на Покров. В смерти матери Игорь публично винил себя. На похоронах масла в огонь подлила свекровь Алёны, сказав принародно: «За один год на его совести две смерти. А он живёт как ни в чём не бывало. Когда же ему наказание будет? Божья кара?»

То ли с горя, то ли с расстройства Игорь запил ещё крепче. Чаще пил один, сторонился родни и знакомых. Однажды осенью он уснул на пороге дома, простыл и заболел бронхитом. Направление в областную больницу закончилось для него удалением одного лёгкого. «Так ему, гаду, и надо»,—говорила свекровь, встречая Алёну на улице, останавливаясь для короткого разговора.

Проживший с бабушкой пятьдесят семь лет и оставшийся без родного человека, дед с горем пополам пережил зиму, весной слёг, а в начале июня похоронили и его.

Небольшой домик в частном секторе города остался Игорю. Ни о каком ремонте он уже разговора ни с кем не вёл. Работу в восстановительном поезде сочетал с постоянной выпивкой. И как-то однажды вечером, набрав водки, колбасы, печенья, Игорь зашёл в гости к Алёне.

От него пахло прелым, давно не стиранным бельём, был он плохо выбрит и выглядел неопрятно, но Алёна всё же пустила его в квартиру. Да и не захоти пустить—наверное, не смогла бы: Игорь шёл напористо, как делал всегда, подвыпив. Он зашёл, поздоровался, пожелал мира её дому, вручил Саньке кулёк шоколадных конфет и, выставив на стол бутылку пшеничной водки, сделал первое предложение, от которого отказаться было никак нельзя.

— Давай помянем всех наших,—сказал он, вытаскивая из сумки гору сарделек и бросая колбасу на стол, рядом с бутылкой.

Потом, не дожидаясь Алёниной реакции, он взял первую попавшуюся ему из стоявшей на столе посуду, каковой оказались железная четырёхсотграммовая кружка и стакан в подстаканнике

с чаем. Чай Игорь выплеснул в тазик под умывальником и налил в стакан водки.
— Ну, давай, Алёнушка, красавица ты наша несчастная,— сказал он, взяв в руки кружку.— Выпьем не чокаясь, стоя. За Андрюху, за бабку, за деда, за бабу Полю — тётку мою… За всех… Пусть им хорошо будет хоть на том свете…

Не дожидаясь её, Игорь выпил до дна всё то, что налил в кружку. Алёна, молчавшая всё время, пригубила со стакана.
— Валентина, ты знаешь, говорит всем, что я мать угробил и в смерти Андрея виноват,— сказал Игорь, продолжая стоять.— Да, виноват. Но я же не убийца. Я никого специально не убивал. А они мне по ночам снятся. Вот что, Алёнушка, страшно. А не то, что там Валентина говорит. Я суда на том свете боюсь, а не на этом… Как подумаю про это, оторопь берёт. Одному страшно даже дома ночевать. Я уже пить бросал — ещё хуже. Жутко. Поверишь, нет: я, здоровый мужик, со светом спать ложусь…

Игорь налил себе снова, потянулся к стакану, но Алёна отодвинула его.
— Тут ещё есть,— сказала она.

Игорь выпил, сел на стул, взял сардельку, за ней потянулась ещё вязанка из пяти-шести колбасок. Он откусил верхнюю, бросил колбасу обратно на стол.
— Знаешь что, дорогая,— сказал он после выпивки и закуски, поднимаясь и беря её ладонь в две свои руки.— Знаешь что? Будь ты моей…

Алёна дёрнулась от неожиданности, но Игорь её руку не отпустил.
— А что? Будь. У меня дом остался. Я тебе не чужой. Я ещё с твоим отцом на пто в вагонном депо работал. Ты знаешь об этом. На фотографии мы вместе с ним есть. Царство ему тоже небесное, забыли помянуть. Ну, щас поправим. Переходи ко мне. Огород есть… Я пить брошу, дом поправлю… Подумаешь, на двадцать лет там тебя постарше… Чё в этом такого? Есть — и на тридцать старше живут…

Убеждать пьяного Игоря, что-то доказывать ему Алёна не стала. Она решила перевести всё в шутку и, сказав, что подумает над его предложением и на днях даст ответ, проводила гостя, пока он ещё стоял на ногах.

На этом дело не кончилось. Дня через два Игорь явился снова, и не один. Пришёл в сопровождении Стаса. На этот раз он был почти трезв.
— Ты помнишь о моём предложении?— спросил он, сразу усевшись за стол на кухне.
— О котором?— снова попробовала отшутиться Алёна.— Ты мне их много делал. Обещал на море свозить, серьги бриллиантовые подарить…

Игорь захлопал глазами:
— Правда, что ли?
— А ты что, забыл? Ну и я в таком случае забыла. Что ты там мне предлагал? Неужели денег?
— Нет, без бутылки не разобраться,— сказал несколько оторопевший от атак Алёны Игорь.— Доставай, Стас.

Стас, до того застывший у входных дверей, вытащил из внутреннего кармана бутылку водки, поставил на стол.
— Что, опять поминать будем?— спросила Алёна.
— Не ругайся, Алёнушка,— сказал Игорь.— Посидим немного и пойдём.

На этот раз колбасы у Игоря не было, и Алёна принесла из холодильника на закуску мужикам огуречно-помидорный салат, приготовленный ею накануне.

От выпивки она отказалась. Мужики заняли оба стула, выпили, разговорились о рыбалке и, казалось, забыли, зачем пришли.
— Ну что, Игорь, ты о главном говорить будешь?— спросил Стас двоюродного брата, когда водка в бутылке кончилась.
— Скажи ты,— разрешил ему Игорь.
— Алёна,— обратился к хозяйке Стас,— Игорь хочет…

Стас посмотрел на Игоря.
— Игорь хочет…
— Хочу, хочу я!— соскочил Игорь.— Рожай быстрее, что ли!
— Он хочет у тебя спросить,— Стас показал на Игоря.— Хочет спросить: есть ли у него шанс в отношении тебя?
— В каком отношении?— засмеялась Алёна.
— В прямом!— не растерялся Стас.
— В прямом нет, а так шансы всегда у всех на что-то есть,— сказала Алёна, убирая остатки салата со стола.— Ну всё: банкет закончили, пора по домам. У меня дел ещё много…
— Понятно,— сказал Игорь, собираясь уходить.— Шансов нет и быть не могло. Это ясно было с самого начала. Пошли, Стас.

Алёна проводила их до крыльца.
— Дай я хоть тебя в щёчку поцелую. По-родственному,— попросил Игорь и, не дожидаясь разрешения, чмокнул её, слегка согнувшись, в подбородок, под бурные восклицания Стаса.
— Ух, ты бы знала, как я тебя хочу!— сказал Игорь, закрывая за собой калитку.

После Олега и Игоря повышенный любовный интерес проявил к ней одноклассник Святослав. Но с ним было покончено на ранней стадии. После двух-трёх повышенных знаков внимания и якобы случайных встреч на улице Алёна сказала ему, что ничего быть у них не может, и Слава отстал.

Потом она говорила примерно то же ещё нескольким молодым и не очень молодым людям, объясняла, что никаких чувств к ним не питает и питать не будет, не уточняя почему. И они, хотя некоторые не сразу, её понимали.

Новая волна повышенного к ней мужского интереса нахлынула, когда начавшаяся в стране перестройка дошла до своего пика и населению страны не стало хватать продуктов питания и промышленных товаров. Некоторые ушлые мужички, большей частью женатые, пытались добиться расположения Алёны и получить у неё аудиенцию с помощью подарков: мясных и рыбных консервов, мыла, стирального порошка. Но и тут Алёна не поддалась. Правда, чтобы отвадить чересчур ретивых, ей иногда приходилось пускать в ход кухонные приборы.

Мужские атаки вначале раздражали Алёну, но потом она стала привыкать к повышенному, не такому, как к другим женщинам, вниманию к ней некоторых лиц мужского пола и даже стала считать внимание это нормальным.

— Что ты хочешь: красивая, молодая, одинокая… Это хорошо, что ты ещё в таком маленьком городке, как наш, живёшь. Тут ещё совесть у людей есть, стыда многие боятся. А жила бы в областном центре — проходу бы тебе не давали, — говорила ей Рита в процедурном кабинете железнодорожной поликлиники, когда Алёна заходила к подруге. — Вон, посмотри, Маринка замужем, двое детей — и то клеятся. Что сделаешь, у мужиков натура такая… Я вот женщина вроде не такая заметная, как ты, не вышла ростом, и то всякие в поликлинику специально приходят. Запишутся, как надо, в регистратуре на приём, напридумают болезней, выпросят у врача направление, а потом ко мне на процедуры. Приходится с некоторыми по полчаса общаться. Такого наслушаешься…

Развив интерес (как считала сестра Лариса — нездоровый интерес), Алёна стала подходить к «мужскому вопросу» творчески. Анализировала и даже записывала в тетрадку: с какой фразы начинают с ней флиртовать брюнеты возрастом до тридцати, как ведут себя пожилые шатены (блондины ей не встречались), предлагая свидание. Развивающийся интерес подвигнул Алёну на эксперименты и провоцирование ситуаций. В поле её зрения попал Коля, отец Санькиной одноклассницы Кати. Коля год назад похоронил жену и пребывал в трауре. Алёна сидела с ним рядом за партой на родительских собраниях уже не первый год. Этот молодой хозяйственный мужчина был ей симпатичен. И вот как-то после окончания собрания она сказала соседу мимоходом, что автобусы в городе ходят плохо, а одной идти ей по вечерним улицам боязно. Коля клюнул сразу и взялся проводить до дому. По пути он даже проявил инициативу, намекая на чай. Но Алёна сделала вид, что не поняла провожатого, и рассталась с ним у подъезда. Ещё один эксперимент она провела с Хилем. Но тот закончился для неё не совсем удачно. Один из близких друзей её мужа, встретившийся как-то случайно на улице, конечно же, не мог не быть любезен с женой приятеля, память о котором хранил. Он тоже не отказался проводить её до дому, но напрашиваться не стал, а попросил взаймы до получки пятёрку. И хотя Алёна испытывала затруднения с деньгами, отказать Геннадию она не смогла, задумавшись после: кто же над кем из них провёл эксперимент, и в чью пользу он закончился? Но большинство Алёниных опытов с мужчинами заканчивалось в её пользу. Она квалифицировала мужиков по возрасту, росту, семейному положению, профессии. Было время, когда Алёна до того увлеклась своими исследованиями, что стала забывать о делах бытовых: помыть вечером посуду, например, или постирать в субботу… Но это было, по её мнению, полбеды; надвигающейся же бедой она считала своё ослабевшее влияние на сына. Внешне, правда, это было мало заметно, но Алёна видела: Санька подрастал, переходил из класса в класс, и время, когда она не сможет говорить с ним о каких-то вещах, неизбежно приближалось. Неизвестно, чем бы закончились исследования Алёны и как далеко она могла в них зайти, если бы её не отрезвила Лариса.

— Ты заканчивай давай со своей теорией, — сказала сестра, когда Алёна гостила в материном доме майским погожим деньком.

Лариса нянчилась со второй своей дочкой, которой дала имя сестры — Алёна. (Первую назвали Марией, в честь сестры Алексея.)

— Давай устраивай свою жизнь. Не хочешь со Степаном жить — найди такого, который тебе больше по нраву. Хочешь, я тебе помогу? У Лёшки двоюродный брат есть. Неженатый, отличный парень, живёт, правда, далеко — в Забайкалье, но ничего: любви не страшны расстояния…

— Нет, нет, нет… Не надо мне никого сватать! — сразу же остановила сестру Алёна.

— Хорошо, не буду, — согласилась Лариса. — Только мужа тебе всё равно надо. Я ценю твои теоретические исследования в области психологии, но они хороши, когда диссертацию писать будешь на учёную степень. А пока задвинь их куда подальше. Какой с тебя психолог, если ты сама не можешь преодолеть психологическую зависимость от давно умершего человека? Он держит тебя, как в оковах. Ты должна их порвать. Давай я тебя к одной ворожее отведу. Она мне помогла однажды, сняла психологический барьер. Я ведь могла остаться старой девой Ты же, младшая сестрёнка, раньше меня замуж выскочила, что не полагается, по народному поверью… Мне баба Нюра помогла…

Лариса настояла и буквально на другой день повела сестру к ворожее.

— Фотографию принесла? — едва ли не с порога спросила Алёну баба Нюра, на вид моложавая, но седая старушка, совсем не похожая на забитых

скряг, повязанных чёрными платками, живущих за семью запорами, какими обычно представляют ворожей в кино или книгах.

Она разглядывала фотографию Андрея на свету у окна, уносила в глубь комнаты к зеркалу, зажигала свечу и ставила на стол рядом с фотографией.

— У него в родне кто-нибудь знахарством занимался? — спросила баба Нюра Алёну.

— По-моему, бабушка его лечила людей. Приходили к ней, помню. Некоторые тоже с фотографиями… — стала припоминать Алёна.

— Видно по нему. Его бабушка знала толк в этом деле, и ему кое-что по наследству перепало, но он этим не воспользовался. Водку часто пил?

— Пил. От этого и умер, — пояснила за сестру Лариса.

— А не замечала, в тетрадку он что-нибудь записывал? Мысли какие-нибудь свои? — снова спросила Алёну ворожея, тут же обращаясь к Ларисе: — А ты пока помолчи, пусть сестра отвечает…

— Он рассказы писал. Их в газете печатали…

— Понятно, куда энергия уходила… — возвращая фотографию, сказала баба Нюра. — Вот что, милая, скажу я тебе: у нас, у славян, до христианства своя вера была. И сейчас ещё многое от неё осталось: лешие, домовые, банники, Масленица, снегурочки… Так вот, по славянскому поверью, тех людей, что не своей смертью умерли, не прожили свой, отмеренный им, положенный век, небо не принимает. Они считаются неправильными, заложными покойниками. Твой умер от опоя. Небо его не приняло и не примет, пока срок не придёт. До тех пор он останется ходячим покойником. Ходит, бродит между тем светом и этим. И здесь ему нет места, и там ещё не приготовлено. Снится тебе он часто? Бывает — чувствуешь, что он рядом? Ходит будто по комнате?

— Бывает… — кивнула оторопевшая Алёна.

— Вижу, что бывает. Держит он тебя, к себе утянуть хочет, чтобы не одному быть. Найди в себе силы и сожги фотографию. Тогда сила его ослабеет. Может, освободишься от его пут и замуж выйдешь. И вот ещё что: я вижу, ты колечко обручальное носишь? Тоже снять надо. Смерть его с тобой уже развенчала. Не надо быть обручённой с покойником. А с него перед похоронами кольцо сняли?

— Я… я не помню… Не знаю… Тогда не до того всем было… — запричитала испуганная Алёна, нащупывая палец с обручальным кольцом.

— Плохо, что не помнишь, — баба Нюра печально посмотрела на неё. — Если с кольцом на руке похоронили, плохи твои дела. Тут или с верой молиться надо, но ты, как я вижу, неверующая, веры в тебе нет совсем никакой, или ходить на могилку почаще, просить, молить его, чтобы отпустил. На могилке-то бываешь?

— На родительский день, на Троицу иногда… — едва выдавила из себя совсем оробевшая Алёна.

— Сходи на днях. Лучше в субботу. Поговори с ним. А потом в баню надо обязательно, попариться, очиститься…

После сказанного ворожеёй Алёна потеряла чувство реальности. Она рассеянно положила на стол десять рублей, прошептала «спасибо» и «до свидания» и, поддерживаемая Ларисой, вышла на улицу.

— Неужели всё, что она говорит, правда? — спросила она сестру.

— Правда не правда, но что-то в её словах недалёкое от истины есть, — сказала не менее поражённая услышанным от ворожеи Лариса. — А что тебе остаётся? Только верить. В церковь же ты не пойдёшь? Свечи ставить не будешь. Верь ей. Я поверила и замуж вышла. Удачно. А тебе, ты извини меня, Алёна, твоё раннее замужество стало наказанием. И муж был пьяница, и вдовой рано осталась, и выйти замуж больше не можешь…

Алёне хотелось возмутиться, наговорить сестре резких слов, но встреча с ворожеёй отняла у неё почти все силы.

— Проводи меня домой, — попросила она ждавшую от неё резкого ответа сестру.

«Бессонная ночь мне сегодня обеспечена», — думала она, направляясь вместе с Ларисой к автобусной остановке.

12.

«Бессонная ночь сегодня мне обеспечена», — думала Алёна, придя домой.

Её бил озноб. Фотография, кольцо, неприкаянный Андрей — всё это казалось теперь настолько реальным, что она не сомневалась: всё это правда, и рядом с физической, видимой силой существует невидимая. И они пересекаются. Пришедшего из школы Саньку она не заставила после обеда, как обычно, делать уроки, а отправила погулять во двор. Крепкий чай, а затем кофе ей не помогли. Она не могла успокоиться. Не помог ей и коньяк, оставленный года три назад Степаном. Он стоял в кухонном шкафчике, плотно закрытый пробкой, и не испортился. Алёна выпила без закуски граммов пятьдесят, но ожидаемого облегчения не наступило.

«Напиться пьяной, что ли? Может, заснуть удастся, — подумала она, глядя на оставшийся в бутылке коньяк, но тут же отогнала эту мысль. — А что подумает Санька? Он же ни разу не видел маму пьяной. Нет, надо перетерпеть, перестрадать. Наверное, права Лариска, это мне наказание за то, что поторопилась выйти замуж раньше старшей сестры».

Она прошлась по комнате, вышла на балкон, пошла в ванную — попробовала заняться стиркой, но ничего не получалось. Тяжесть давила на грудь и не давала покоя. Алёна включила телевизор, присела на стул, осмотрела комнату.

«Надо обои новые наклеить,—подумала она.— Пыль со шкафа протереть…»

Она умышленно старалась не смотреть на фотографию Андрея, но взгляд помимо её воли притягивался к стоящему на верхней полке, на фоне книг, прямоугольнику. Он так же смотрел на неё по-доброму, готовый засмеяться.

«Что ему? Смеётся, а ты тут мучайся, страдай…»—прошла в голове откуда-то взявшаяся мысль.

«Нет, нет! Мои мучения по сравнению с его—просто суета, блажь…—заспорила с неожиданно пришедшей мыслью Алёна.—Это он страдает, а я просто не могу свою плоть обуздать и мучаю сама себя…»

«Да что ему мучиться, он отмучился уже, десять лет как на небесах, а ты будешь ещё страдать не один год. Смотреть на его фотографию и страдать. А его, такого, уже нет и не будет… Люди придумали себе забаву: хотят остановить время, запечатлеть образ близких людей,—и мучаются потом, мучаются, глядя на фотографии… Перестань мучиться. Перестань!»

Алёна вздрогнула, поднялась, как будто её подтолкнули, подбежала к книжной полке, взяла в руки фотографию. «Давай!»—вполне ясно услышала она и осмотрелась: в комнате никого не было. «Давай!»—прозвучало второй раз чётко, как приказ. И Алёна рванула. Плотный картон, на который была приклеена фотография, сопротивлялся, фотография смялась, но не поддалась. «Рви!»—послышалось над её ухом снова чётко и ясно, и Алёна, оторвав сначала подставку, рванула картонку пополам, потом ещё раз и ещё. Упавшие на пол куски картона она собрала и, заскочив в туалетную комнату, бросила в мусорное ведро. Потом вернулась к шкафу, достала фотоальбом и, найдя школьную фотографию Андрея, разорвала её на несколько частей. Бросив и их в мусорное ведро, Алёна забежала в кухню, налила себе ещё коньяку и выпила. Сердце билось так, как будто в груди крутился пропеллер. Немного отдышавшись, Алёна вышла на балкон, посмотрела во двор. Санька с ребятишками стоял возле беседки. Соседи сидели на скамейке возле подъезда, кто-то возился около своих «жигулей», за соседним домом торчала и дымила труба городской бани.

«Найди в себе силы и сожги фотографию»,—вспомнились слова ворожеи.

«Сжечь, конечно, надо сжечь!—согласилась с ней Алёна.—Если я выброшу порванное фото в мусорный ящик, оно попадёт на свалку, а там вдруг кто-нибудь найдёт его и склеит, тогда его портрет снова будет на этом свете, будет меня искать… Сжечь!»

Алёна выскочила в прихожую, зажгла свет в туалетной комнате, перевернула ведро и стала искать среди использованной туалетной бумаги клочки порванной фотографии. Шевелюра, часть подбородка, глаза… Разбросанные на полу кусочки фотографии словно стремились собраться в целое. Алёна сгребла обратно весь мусор в ведро, принесла из кухни большой полиэтиленовый пакет и пересыпала бумаги туда. С пакетом она выбежала во двор и побежала к городской бане, не помня и не думая о том, закрыла ли за собой дверь квартиры. Увидевший её у подъезда Санька бросился к ней, но она остановила ребёнка, махнула ему: мол, потом,—и, чуть сбавив шаг, направилась к дымящей трубе.

Небольшого роста, ещё не старый мужчина возился у котла: шурудил в топке длинной кочергой.

—За водой, что ли?—спросил он, не останавливая своего дела.

—Пакет надо сжечь,—сказала Алёна, подходя ближе к нему.

—Оставляй, сожгём… Делов-то… Бросай его на кучу с углём.

—А можно, я сама брошу?—попросила она.

Кочегар остановил работу, повернулся к ней.

—А что у тебя там?

—Бумаги,—ответила Алёна, подумав, что напрасно пришла сюда. «Лучше бы сожгла сама».

—Точно бумаги?—покосился на неё дотошный мужик.

—Бумаги, говорю же тебе…

—А почему хочешь сама? Вдруг ты это… после аборта зародыш человеческий сжечь у меня надумала?.. Это нет. Тут не крематорий. Иди в больничную кочегарку.

Ничего не объясняя мужику, Алёна повернулась и побежала к выходу, где чуть не столкнулась с входящим в кочегарку человеком.

—Алёнка? Ты что тут делаешь?—остановил он её.

Алёна узнала Игоря.

Она обрадовалась и растерялась, увидев дядьку Андрея.

—Да вот, бумаги хотела в топке сжечь, а кочегар боится, думает, я после аборта ему выкидыш принесла.

—А… Валерка у нас фантазёр,—сказал Игорь, улыбнувшись, и пояснил мужику-кочегару:—Это невестка моя.

—Понятно,—сказал кочегар, присев на табурет возле стола.

—Давай я сожгу,—сказал Игорь Алёне, забирая из её рук пакет.—Вместе с пакетом?—спросил он, подходя к топке.

Алёна кивнула ему. Игорь раскрыл топку, бросил пакет в огонь.

Пламя сразу же схватило брошенную ему на съедение пищу, накрыло его, взвилось вверх. Огонь дыхнул, рванулся молодо оранжевым языком из печи, будто хотел благодарно лизнуть подкармливающего его человека, но, не достав, отпрянул назад.

—Всё… Сгорело!—весело сказал Игорь.

Закрыв дверцу, он подошёл к Алёне.

— Я знаю, что ты тут, в девятиэтажках, живёшь, переехала. Хотел зайти как-то, да неудобно. Ты прости нас, дураков, со Стасом, что сватать тогда приходили…

Алёна молчала, растерянно глядя на Игоря. Если бы он знал, что сжёг сейчас своими руками… А если бы об этом узнала свекровь…

«Что же я делаю?—думала Алёна.—Беру на себя грех и ещё на грех другого подталкиваю… Он же и так…»

— А я теперь тут работаю,—продолжал говорить Игорь.—Меня за это дело,—он щёлкнул себя по подбородку,—с восстановительного поезда уволили. Вот, сюда перешёл. К тебе поближе. А ты что не заходишь? Приходи когда, дом совсем опустел: никто не ходит, кроме Стаса. Саньку приводи. Я же не чужой ему: обоих дедов хорошо знал. Могу сам быть вместо деда.

— Приду!—пообещала Алёна и выбежала из кочегарки.

Она бежала по улице, и ей казалось, что рванувшееся к Игорю из топки пламя всё-таки вырвалось наружу и теперь догоняет её. Она бежала по пустынной улице, где когда-то стояла их четвертушка и где на месте дома сейчас был заросший крапивой пустырь. Она бежала, а вслед ей, мелькая зелёными огоньками, высвечивались цифры городских электронных часов. Алёна не смотрела в их сторону. Она не хотела знать, сколько сейчас времени. Она ничего не хотела больше знать. Ей казалось, что рванувшее пламя догонит её именно там, где стояла четвертушка, и накроет, сожжёт за грех. «Зачем? Зачем я сожгла фотографии? Зачем я ходила к ворожее? Не надо мне никого, не надо! Дайте мне покоя… Покоя!»

Алёна пробежала мимо заросшего крапивой места, сбавила, задыхаясь, шаг и повернула сначала в сторону новых девятиэтажек, но потом передумала, вернулась к пустырю и через футбольное поле и двор профтехучилища быстро пошла к автобусной остановке.

Она поехала к Марине и нашла её прогуливающейся с детьми во дворе тех самых пятиэтажек, где прошло их детство.

— Мне надо срочно позвонить Степану,—сказала она подруге, тяжело дыша.—Ты мне его номер дай. Я с переговорного позвоню.

— Что с тобой?—встревожилась, глядя на неё, подруга.

— Я тебе потом объясню… Попозже…

— Я номер могу тебе дать,—сказала Марина, вздохнув.—Только… Я тебе не говорила, знала, что тебе всё равно…

— Что всё равно?—поторопила её Алёна.

— Стёпа… В общем, у него есть теперь женщина…

— Он что, женился?

— Вроде того… Нашёл хорошую женщину в Подмосковье…

Алёна повернулась и, не прощаясь с подругой, побежала обратно.

Ей хотелось плакать, но она не могла. Она не стала ждать автобуса, пошла пешком от вокзала в сторону железнодорожной больницы. Майский вечерний ветерок освежил её.

«Стёпа женился…—думала она.—Ну и правильно: сколько можно ему одному? А как же я? Я же ему отказала! Но я не говорила, что не люблю его… Нет… И никогда не говорила, что отказываю… Я же ждала его… А он не знал этого… Надо было хоть один раз позвонить…»

Она перешла светофор возле стройучастка, прошла мимо нового пятиэтажного дома из белого кирпича и вспомнила, что в этом доме живёт Коля, Николай—отец девочки Кати из Санькиного класса.

Алёна зашла во двор, спросила у сидевших в беседке старушек номер квартиры Николая. Ей назвали, проводив любопытными взглядами до подъезда. Она поднялась на второй этаж, позвонила в указанную дверь.

Открыла ей Катя.

— А папы нет дома,—сказала девочка, стоя в дверях.—Он в поездке. Он на машине большегрузной работает и уехал за грузом.

— А скоро приедет?—поинтересовалась Алёна.

— Не знаю.

— А ты с кем?

— С бабушкой.

Из-за двери выглянула бабушка—женщина лет пятидесяти пяти. Алёна поздоровалась с ней и тут же, попрощавшись, ушла.

Санька всё ещё гулял во дворе. Алёна окликнула его, позвала домой.

— Собирай всё, что тебе нужно, мы пойдём к тёте Оле. Может быть, будем там ночевать,—сказала она.

Дома она старалась не смотреть на шкаф, но книжная полка невольно притягивала её взгляд. Ей показалось, что фотография снова стоит на месте. Подойти к шкафу Алёна не решилась.

Ольга обрадовалась приходу Алёны. Ещё больше обрадовался Саньке её двенадцатилетний сын Лёшка.

— Оля, можно, мы у тебя переночуем?—сразу спросила Алёна.

— Да ночуйте. Места хватит: у меня же две комнаты,—закивала Ольга.

Она никогда не задавала лишних вопросов, чем вызывала к себе симпатию у многих знавших её людей.

Пока мальчишки играли во дворе, Алёна, ничего не скрывая, рассказала Ольге о хождении

к ворожее, о том, как Игорь помог ей сжечь фотографии Андрея.

— Зря я это сделала,— сказала она.— Зря я ей поверила. У тебя, я знаю, тоже есть фотографии Андрея, и у матери твоей, и у Игоря. Это, выходит, я должна все, какие существуют, его фотографии сжечь. И фотоплёнки заодно. С ума точно сойти можно.

— Знаешь что? Если ты будешь постоянно думать об этом, то точно с ума сойдёшь. А если из головы всё выкинешь, то снова всё хорошо будет,— дала совет, выслушав её, золовка.— Если верить во все эти дела и приметы, то попадёшь в их зависимость, а если нет, то они обходить тебя стороной будут. Я раньше, после смерти отца, покойников боялась. На кладбище ходить боялась. А потом пересилила себя — и ничего. Не надо думать об этом.

— А ты со мной на кладбище пойдёшь?— спросила Алёна.— Мне нужно на могилку Андрея сходить.

— Конечно, пойду,— согласилась Ольга.— Давай сходим… Хоть завтра. Завтра как раз суббота…

— А давай сейчас пойдём?— попросила Алёна.

— Сейчас?— удивилась Ольга.— Сейчас поздно уже. Завтра. Завтра как раз Лена наша с мужем приезжают в отпуск с Севера. Встретим их, проводим к матери и пойдём. Может, и они с нами…

— Нет, нет! Не надо столько много народу. Мне нужно одной или хотя бы с тобой…

— Хорошо, хорошо…— согласилась Ольга.— Пойдём вдвоём. Завтра пойдём. А сейчас тебе надо отдохнуть, поспать. Я тебе сейчас мятного отвара сделаю, уснёшь…

— Не усну я сегодня…

— Я рядом побуду, уснёшь…

Ольга уложила Алёну в зале на диванчике, включила магнитофон с приятной тихой музыкой, минут через пятнадцать принесла отвару.

— За Саньку не беспокойся,— сказала она.— Я уроки проверю и завтра с Лёшкой их в школу отправлю.

Алёна попила отвара, повернулась набок, лицом к стенке.

Под тихую музыку с переливами, под нешумную возню золовки на кухне, под едва слышный разговор мальчишек во дворе она задремала.

Тихая музыка тянулась издалека, она проходила мимо неё и уходила в другую даль по узкой дороге, по пшеничному полю, по березняку. Алёна пошла за музыкой прямо по полю к берёзовой роще, и крупные жёлтые колосья не сгибались, когда она шла. «Алёна-а-а-а…»— услышала она чей-то зов со стороны березняка. «Кто это: мать? Лариса?» Она пошла на зов, прибавляя шаг. Поле кончилось, и началась дорога. Неровная, узкая, она местами становилась шире и ровнее, ныряла вниз к ручью, а потом поднималась вверх. Неожиданно Алёна увидела кресты. Они стояли вперемежку с памятниками со звёздами и простыми тумбами с заострёнными оконечниками, без знаков. Алёна поняла, что она на кладбище. И музыка, и зов стихли. Стих ветерок, обдувавший её длинные волосы. «А почему волосы у меня длинные? Я уже давно стригусь коротко». Она узнала могилы деда и бабушки Андрея. Они были рядом, и она не один раз была здесь раньше. Алёна постояла немного, осмотрелась. Отсюда вела прямая тропка к могиле Андрея; она искала её, но не могла найти. «Тропа к ней начинается от чьей-то могилки с золотистой оградкой, вернее, от чуть скривившейся берёзки возле неё»,— вспомнила Алёна. Она стала искать берёзку и нашла. Она пошла к берёзке, но едва подошла, как небо стало затягивать, и сверху посыпались мелкие кусочки картона и бумаги. Это были клочки порванных фотографий. Шевелюра, подбородок, глаз, часть носа, шея, ворот рубашки…

«Собери меня, собери меня…»— молил голос. Она узнала голос Андрея.

«Собери-и-и…»

Она наклонилась, чтобы собрать обрывки, но налетел ветер и понёс их, понёс…

«Алёна-а-а!»— услышала она снова и повернулась. Далеко на горизонте стоял Степан. Рядом с ним — незнакомая женщина. Алёна не знала, что ей делать: идти вперёд или вернуться. Ветер становился сильнее, небо темнело. У ног вспыхнул огонь. Он рванулся вслед за улетающими разорванными фотографиями, догонял раздуваемые обрывки и сжигал их.

«Со-бе-ри-и…»— слышалось уже издали, удаляясь и тише.

«Кольцо, брось кольцо…»— услышала она шёпот. Огонь тем временем возвращался, разрастался и подступал к ней. Уже не было видно ни берёзки, ни Степана. Алёна попыталась снять кольцо, но оно не поддавалось. Огонь заплясал у её лица.

«Сейчас я сгорю»,— подумала она и, уже смирившись, закрыла глаза. Ей стало хорошо в темноте. Она не видела теперь ни огня, ни света. «Наверное, это и есть вечность?»— подумала Алёна.

Её снова окликнули по имени. Громкий, резкий окрик вернул к сознанию.

Она с трудом, раздирая руками веки, открыла глаза.

«Алёна! Мне сказали, что вы меня искали…» Человек стоял по ту сторону огня и смотрел на неё. Алёна не могла сразу его узнать, но глаза и голос ей были знакомы. «Кто вы?»— спросила Алёна, и ей показалось, что человек её не услышал. Но он услышал. «Это я, Николай. Отец Кати — одноклассницы вашего сына. Помните, я провожал вас однажды?»—«Помню…»— прошептала Алёна; огонь плясал перед её глазами, и человек то исчезал за языком пламени, то снова появлялся. «А что вы там стоите, в огне? Идите сюда»,— позвал её Николай и протянул к ней руки. «Коля, Николай, спасите меня! Спасите!»— крикнула Алёна,

потянувшись к нему. Она хотела пойти навстречу, коснуться хотя бы пальцев протянутых к ней его рук, но не могла. Тогда Николай сам сделал шаг навстречу, прямо в огонь, взял её за руки и потянул к себе.

«Коля, миленький, Коля, забери меня отсюда, забери!»—закричала Алёна, прижимаясь к своему спасителю. «Заберу»,—сказал Николай, обнимая её, испуганную и дрожащую.

Алёна открыла глаза. Майская короткая ночь заканчивалась. За окном светало. Она вспомнила страшный сон, но страха уже не было. Он остался там, в нереальном мире сновидений. Во сне всё закончилось хорошо—значит, Алёна не сомневалась, она будет жить. Она села на диван и почувствовала боль на безымянном пальце правой руки.

«Кольцо!»

Кольцо было на месте. Она покрутила его на пальце, попробовала снять. Не получилось. Она раньше никогда не думала о кольце—оно оставалось как память о былом замужестве и только. Было время, когда она годами не вспоминала о нём. Оно было на пальце привычно, как сам палец.

Алёна встала, накинула на себя покрывало, прошла в спальню. Ребятишки, Санька с Лёшкой, спали на полу, одеяло сползло с них в ноги. Алёна укрыла детей и подсела на стул к кровати, где спала Ольга.

— Оля, Оль…—позвала она золовку.

Ольга зашевелилась, повернулась к ней.

— Ну? Поспала?

— Поспала немного…

— Я же говорила, что отвар поможет…

— Знаешь что? Я, наверное, пойду сейчас,—сказала Алёна.

— Куда?—оживилась Ольга.—Поспи ещё. Рано…

— Пойду на кладбище. Уже светло. Мне сон приснился… Потом расскажу. Ты помоги мне кольцо с пальца снять. Сама пробовала—не получается…

— Сейчас попробуем,—сказала Ольга, поднимаясь с постели.

Она пригласила Алёну на кухню, где они стали снимать обручальное кольцо с помощью сначала мыла, потом—подсолнечного масла. За несколько лет кольцо так вросло в палец, что снять его оказалось непросто. Тем не менее Ольге удалось сначала сдвинуть золотистый металл с места, а затем сдёрнуть с косточки изгиба.

— Спасибо тебе,—поблагодарила Алёна золовку, потирая место, где было кольцо.

— Потри палец одеколоном или водкой,—посоветовала Ольга.—У меня есть водка.

Алёна убрала колечко в сумочку, натёрла водкой палец.

— Слушай, Оля, а ты мне не отдашь эту бутылку?—спросила Алёна, показывая на водку.

— Возьми…

— Я на кладбище с собой возьму…—объяснила Алёна.—Магазины ещё закрыты. А оттуда приду—принесу тебе… Верну бутылку.

— Да ладно тебе… Подожди, после обеда пойдём вместе.

— Нет, Оля, я не буду ждать, одна пойду. Светло уже на улице, не страшно…

Она подошла к железнодорожному переезду, за которым начинался спуск на кладбище, когда солнце начало понемногу припекать. Перешла через ручей по шаткой досточке. Вышла к началу кладбища. В оградках возле памятников и крестов цвела несмело сирень. Алёна сразу же нашла место, где были похоронены дед и бабушка Андрея. Широкая оградка, крест у бабушки на могилке и памятник со звездой у деда. Фотография, где дед в фуражке железнодорожника, сохранилась хорошо, а вот бабушкино фото почти выцвело, и её было трудно узнать. Алёна постояла у оградки и перевела взгляд в сторону, надеясь сразу же найти тропу, ведущую к могиле Андрея. Она отыскала взглядом ориентир: покрашенную золотистой краской оградку и согнутую берёзку возле неё. Оттуда начиналась нужная ей тропинка. Возле берёзки было тихо и спокойно. «Какое хорошее место,—подумала она.—Наверное, кто-то специально бережёт его для себя». Она постояла возле берёзки, потрогала зеленеющие веточки, посмотрела, кто похоронен за золотистой оградкой. Женщина, лет шестидесяти. Согласно дате на памятнике, похоронена она здесь двадцать два года назад. Могилка прибрана, возле неё зеленеет травка и пробиваются бутоны цветов.

Алёна дотронулась до ствола берёзки, На стволе остались подтёки от обильно бежавшего весной сока.

— По ком ты плакала нынче, берёзка?—спросила её Алёна и, увидев тропинку, шагнула на знакомый ей путь.

Она шла по дорожке и осматривалась вокруг. За последние годы кладбище разрослось. Тропа эта осталась потому, что в этом месте старого, как его называли, кладбища давно уже никого не хоронили. Она прошла через всё старое кладбище; слева от тропинки хорошо была видна могила отца Андрея. Он умер, когда Андрею не было и пятнадцати лет. Алёна его не знала, но на его могилке бывать ей приходилось. А по другой стороне, примерно во втором или третьем ряду, лежал отец Алёны. Перед появлением Саньки на свет, месяца за четыре до этого, крепкий ещё пятидесятилетний мужик крепко выпил с вечера, а утром, похмелившись, дал нагрузку на поджелудочную железу, и та, не выдержав, лопнула.

В планах Алёны не было посещения могил отцов, и она шла майским солнечным утром прямо туда, куда задумала. Долго искать нужный холмик

не пришлось. Памятник, сделанный другу Геной Хилем на заводе по ремонту дорожно-строительных машин, был виден издалека. Немного не доходя до оградки, Алёна на ходу перекрестилась. Калитка была приоткрыта. Она вошла осторожно, поставила сумочку на стол.

Андрей снова смотрел на неё: тот же знакомый взгляд, лицо в полуулыбке, будто готов рассмеяться. На памятнике была точно такая же фотография, что стояла у неё на книжной полке.

— Ну, здравствуй,— сказала она вслух.

Алёна ещё раз перекрестилась, достала из сумочки газетку, расстелила её на столе, поставила бутылку, две стопки, положила рядом хлеб, яйца, соль, колбасу. Присев на минутку на лавочку, она налила в стопки водку, сняла с яиц скорлупу. Одну, полную, стопку поставила к памятнику, положила сверху на неё кусочек хлеба, на него яйцо. Вторую взяла сама.

— Ну что, Андрюшка? Сын-то почти вырос без тебя. А я остаюсь верна тебе. Хочу этого или нет, но остаюсь. Прости, что сожгла фотографию. Не ругай меня и, если можешь, отпусти.

Она посмотрела на него. Ничего не менялось вокруг: шумели сосны и берёзки, а над ними светило солнце, тепло его пробивалось через верхушки к земле. Алёна выпила водку, всю, до дна, откусила хлеб, подсолила яйцо и тоже откусила. Потом она достала из сумочки кольцо, положила на ладонь.

— Вот колечко, которым ты меня окольцевал,— сказала она, глядя на фотографию.— Я возвращаю тебе его. Я больше не твоя. Ты сам выбрал себе дорогу, ты сам ушёл от меня, от сына. Тебе нужна была выпивка больше, чем мы!

Водка ударила ей в голову. Зная, что памятник ставят в ногах покойника, она определила, где примерно могла быть его правая рука, и, присев, ножом разрыхлила землю на могилке и рукой выгребла её. В образовавшуюся ямку она положила кольцо и засыпала.

— Вот, теперь оно твоё,— сказала Алёна, поднимаясь и глядя на фотографию мужа.

Деревья продолжали шуметь, Андрей смотрел на неё всё так же добродушно.

— Ты принял кольцо?— спросила Алёна.

Ветерок шевельнул газету на столе, пустая стопка опрокинулась.

Алёна поставила стопку на место, наполнила водкой.

— Отпусти меня,— сказала она, подойдя близко к памятнику, и выпила из стопки.

— Отпустишь?— спросила она снова.

Андрей смотрел на неё с фотографии невозмутимо.

Алёна присела на лавочку, обтёрла нож о газетку, отрезала пластик колбасы. В голове шумело, ноги стали наливаться кровью, тяжелеть. Алёна налила ещё полстопочки, закрыла бутылку пробкой, поставила её за памятник.

— Это тебе,— сказала она, обращаясь к фотографии.— Только отпусти.

Она снова выпила, на этот раз закусила колбасой, потом свернула всё, что было на столе, в газету и запихала в свою средних размеров сумочку.

«Надо идти»,— решила она. Перед тем как уйти, взглянула ещё раз на фотографию и почувствовала, что плачет. Слёзы лились из глаз, катились по щекам, капали на руку. Она бросила сумочку, упала перед памятником на колени, обняла металлическую тумбу и зарыдала.

— Опусти меня! Отпусти меня! Отпусти!— кричала она, ползая и ложась на могилу.— Я не твоя больше, отпусти!

Потом она, опьянев, блуждала возле незнакомых ей могил, шла по кустарнику, поцарапав лицо о голые ещё ветки, в двух местах переходила ручей и только после этого вышла к переезду. Она не стала ждать автобуса, а пошла пешком мимо остановки, вдоль железнодорожной трассы, и вышла к знакомым улицам уже после полудня.

Только подходя к дому, она хватилась, что сумочки у неё нет, и поняла, что дверь квартиры ей не открыть. Повернув к дому, возле подъезда она увидела какого-то знакомого ей человека в джинсовой куртке, с кудрявыми тёмными волосами. Это был Коля, Николай — отец Кати, Санькиной одноклассницы.

— Алёна, вы меня вчера искали?— спросил он стеснительно.— Вернее, Катя говорит, спрашивали…

— Коля! Коленька, Коля! Забери меня к себе. Я больше не могу одна! Забери!— закричала Алёна и бросилась к нему.

— Заберу,— сказал Коля уверенно, заключая её в свои объятья.— Мы будем жить вместе и очень хорошо.

13.

— Мы будем жить вместе и очень хорошо,— сказал он тогда.

И Алёна все эти годы, все восемь лет жила с ним вместе и действительно хорошо. Он забрал её к себе. Через год родилась Юля. Они обменяли две квартиры на одну большую — четырёхкомнатную. Несколько раз ездили всей семьёй отдыхать к морю. Санька с Катей подрастали и жили-ладили друг с другом. Катя после школы прошла конкурс в медицинский, а Санька ещё до армии поступил в автомобильный техникум, сдал на права и стал ходить с Николаем в дальние рейсы. После армии Николай устроил его в фирму по доставке японских автомобилей, где уже работал сам, и дела первое время у них шли хорошо. Но однажды муж и сын попали под обстрел бандитов, и Николая смертельно ранили. Он был ещё жив, когда его привезли в железнодорожную больницу, и Алёна

застала его в сознании. Её ненадолго пустили в реанимационную палату. Он лежал забинтованный, с открытыми глазами.

— Я знал, что не умру, пока ты не придёшь,— сказал он ей, собирая все силы.— Я любил тебя, Алёнушка. Жаль, нам не пришлось вместе пожить подольше: вырастить Юльку, дождаться внуков. Ты береги себя, береги детей. Не обижай Катю: кроме вас, теперь у неё никого нет…

Колю хоронили в декабре, в последние дни уходящего века и тысячелетия. На его могиле Алёна взяла клятву с сына, что он больше не будет перегонять иномарки и найдёт другое занятие. Санька обещание сдержал и пошёл работать в мастерскую по ремонту автомобилей. Быстро научился слесарному и сварочному делу, и через год на пару с двоюродным братом Алексеем, Ольгиным сыном, они открыли свою мастерскую.

Время шло, новый век набирал ход. Единичка на календаре сменилась двойкой. Алёна работала теперь технологом в родном депо. Дети взрослели, и Алёна видела и понимала: они не такие, какой была в их годы она. У них не было комплексов, они сами знали, лучше её, что им надо от жизни. Катя на пятом курсе приехала на практику в родной город, стала снова жить в их квартире, и иногда Алёна замечала, что отношения её сына и падчерицы стали более открытыми, чем ей хотелось. Она не ошиблась в догадках. В начале третьего года нового тысячелетия Санька и Катя объявили матери, что решили пожениться. Алёна не возражала. Свадьбу сыграли в марте, в апреле разменяли квартиру на две. Алёна отправила молодых жить в двухкомнатную, сама с Юлей пошла в однокомнатную.

В том же году она снова встретила Стёпу. Он приехал погостить в родные края. Пополневший и немного поседевший, Степан мыл свою иномарку во дворе вокзаловских пятиэтажек.

— А ты нисколько не изменилась,— сделал он ей комплимент.— Маринка говорит, ты снова одна живёшь?

— Почему одна, Стёпа? С дочкой.

— Что-то тебе не везёт на мужей.

— Не везёт, ты прав. Судьба такая…

— Это потому, что ты меня отвергла…— сказал Стёпа.

— Может быть, и так…— согласилась Алёна.— А как у тебя дела?

— Да… так себе. Живу в Подмосковье, имею свой магазин автозапчастей, квартиру, гараж… Всё вроде хорошо, но только я снова один. Как и ты,— признался Степан.— Не могу никого, кроме тебя, любить.

— Так уж и не можешь?

— Не могу…

— Это что? Ты снова мне в любви признаёшься?

— В любви не в любви, а сердце болит, когда тебя вижу. Хоть бы в гости пригласила когда…

— Ну что ж, приходи… Когда…

Она не сомневалась, что он придёт, и ждала каждый вечер. Но он не торопился. И однажды Алёна не вытерпела и позвонила Марине.

— Он улетел срочно по делам каким-то своим,— сказала Марина.— Но скоро прилетит снова. Я знаю, он говорил, что к тебе в гости собирается. Готовился даже… Придёт, не сомневайся. Жди с подарками…

На Троицу Алёна с Ольгой, Ларисой и встретившейся им по пути двоюродной сестрой Андрея — постаревшей Тоней — были на кладбище. Все вместе побывали на могилках у деда с бабушкой, зашли к Андрею, прошлись «по всей переселившейся сюда родне», как сказала Тоня. Были на могилке Игоря — он умер в середине девяностых, один в своём доме, больной и одинокий. Постояли у оградки Стаса, во многом повторившего судьбу Игоря. Вместе с Алёной все пошли к месту, где были похоронены Василь Васильич, а потом Николай.

Путешествия по кладбищу утомили Алёну, и она, собираясь с вечера на новую трудовую неделю, вдруг почувствовала себя неважно. Прилегла, но боль с левой стороны под ребром не проходила. Юля вызвала скорую, и приехавший врач определил, что у Алёны не всё в порядке с почками. Проверка ультразвуком показала: нужна операция.

— Ничего страшного при современной технике нет,— успокоил её врач.— У вас же почки больны. В истории болезни написано, что вас уже лечили с применением искусственного аппарата.

Алёна была спокойна и на операцию согласилась без уговоров. Её положили в подготовительную палату железнодорожной больницы. Санька, Катя и Юля посещали её каждый день: приносили соки и всё, что разрешали врачи. Как-то, уходя, Санька задержался возле неё, подождав, когда все выйдут.

— Мама, я не хотел тебе говорить сначала; может, ты и не имеешь к этому никакого отношения, но я всё же спрошу. Я перед родительским днём был на кладбище, поправлял могилки отца, дяди Коли, дедушки. На могиле отца я нашёл кольцо. Вот…

Санька протянул ей на ладони колечко. Она узнала его: то самое, обручальное…

— Ты кольцо своё не теряла? Я помню, у тебя было, когда я в школу ходил. Ещё до дяди Коли.

Алёна не испытала ни трепета, ни волненья.

— Знаешь что, сынок? Ты лучше положи его туда, где нашёл. Хорошо?

— Хорошо,— кивнул Санька.

— Я тебя прошу: сделай это один, сам, и никому не говори.

— Ладно,— сказал Санька.— Как скажешь…

— Да,— остановился сын уже на выходе.— Звонил дядя Степан, он приехал. Хочет прийти, просил спросить: можно?

Алёна улыбнулась:

— Скажи, что можно…

Степан пришёл вечером накануне операции, с большой охапкой роз.
— Хоть в больницу, а всё равно на свидание,— сказал он, улыбаясь и стараясь подбодрить.— Да это пустяковая операция. Не волнуйся только…
— А я и не волнуюсь, Стёпа. Ты надолго?
— Пока тебя не выпишут.
— Это не раньше, чем через дней десять…— предположила Алёна, не понимая, шутит он или говорит серьёзно.
— Значит, буду ждать десять дней,— сказал Степан.— Но ты уже поняла, что я, как сын хитрой хохлушки, пришёл к тебе в тот момент, когда ты не сможешь сказать мне нет?
— То есть?— не поняла его Алёна.
— А то, что ты сейчас же, до операции, должна мне пообещать, что как только будешь чувствовать себя лучше, сразу же поедешь со мной.
— Куда? Не ужели в Москву?— улыбнулась Алёна.
— Сначала отдохнуть на море, а потом и в Москву. Насколько я знаю, ты так в столице и не была.
— Не довелось. На море ездили, но другой дорогой, стороной от Москвы.
— Ну вот, теперь у тебя есть возможность. Пообещай мне, что воспользуешься и поедешь со мной.
— Обещаю…— сказала Алёна.
— Ловлю на слове,— обрадовался Степан.— А теперь разреши поцеловать тебя…

Стёпа подошёл к ней, присел на кровать и, осторожно навалившись, стараясь не причинить боли, поцеловал её в щёку. От него приятно пахло мужским одеколоном.
— Ой, не раздави!— засмеялась Алёна.
— Не раздавлю!— сказал довольный Степан.

Всё утро она чувствовала себя хорошо, улыбалась хорошему летнему дню, медсёстрам, врачам.
— Что такая довольная?— спросил её хирург, подготавливая к операции.— Всё дома хорошо?
— Даже очень!— сказала Алёна.— Хорошо.
— И у нас будет хорошо,— улыбнулся хирург.— Разве может быть плохо у такой улыбающейся красавицы, правда?
— Правда…— согласилась Алёна.— Я думала, что наркоза бояться буду, а теперь чувствую: не боюсь…
— Да ты его и не почувствуешь,— сказала ей анестезиолог, ставя капельницу.— Капнет с иголочки вовнутрь венки, и заснёшь…

Анестезиолог подождала, когда медсестра привяжет к столу руки и ноги Алёны, а потом быстро и умело воткнула иголку в вену.
— Не больно?— спросила она.
— Нет. Как комарик укусил…— ответила Алёна.
— Ну и хорошо. Сейчас ты уснёшь, а когда проснёшься, всё будет уже позади…

Женщина ласково улыбалась, и Алёна улыбнулась ей в ответ доверчиво и открыто, так, как она улыбалась только добрым людям, и была в этот миг красива, как двадцать лет назад.

Ночь выбора

Восточная Сибирь.
Городок районного значения.

12 января 1983 года. 3 часа 51 минута

Женщина улыбалась во сне. Она была молода, естественна и красива. Свесившаяся на пол простыня закрывала её до колен. Кружева облегающей её тело ночной рубашки, расшитые по бретелькам и на груди, так шли ей. Румянец на сонном лице, длинный русый волос, разбросанный по подушке, розовые губки, длинные ресницы — всё подчёркивало в ней естественность и совершенство. Волнистый волос женщины спадал на голову спавшего рядом на боку, поджавшего под себя ножки ребёнка.

Ангел Смерти опустил руки.

Ребёнок заворочался, повернулся на спинку, вытянул ножки. Женщина интуитивно подвинулась к нему, задев при этом ноги лежавшего головой в противоположную сторону мужчины. Мужчина завозился, потянул одеяло, и так бывшее на нём одном, к подбородку. Обитатели квартиры-четвертушки продолжали спать всем своим семейством на кровати-полуторке, и Ангел, посланный решать их судьбу, стоял рядом. Людям оставалось быть вместе ещё несколько часов, до наступления времени, называвшегося здесь утром. Ангел делал выбор. Он снова поднял руки над спящими, развёл ладони, раздвигая ему одному видимую завесу, и вновь посмотрел сначала в Даль, а затем в Глубь Времени.

В шесть тридцать зазвонил будильник…

Конец первой книги

Екатерина Монастырская

Тверское лето

Дед

— Не зови беду, молодец-глуздырь[1], не кидай угольку бесам.
— Не накинешь, дед, на язык узды, не закажешь не лаять псам.
На роток — платок? Клювик на замок?.. — Вразуми, поди, сорванца,
Как в крови насквозь белый свет промок, лишь вкусивши того ржанца[2],

Что не ведал, ухнувший по глаза в раскалённую топь беды,
Как нащупать кончик того аза, за которым камни тверды,
За который стоит едва потянуть — можно враз распутать клубок,
Ну а дальше справимся как-нибудь: свиньи сыты — не выдаст Бог.

Но беде, проклятой, коли взалках, ей-то и небеса тесны,
И у старца Ионы на Соловках не найдёшь от неё стены.
И за каждым углом притаится тать — смерть, и каждый встречный — злодей,
Смута выйдет в круг и почнёт плясать — до костей вприсядку вспотей.

Не посмотрит на племя твоё и род: кто ты сам, кто отец, кто мать, —
А наточит нож да разинет рот — и давай свежевать и мять.
Ты не кличь беду, кровосос-упырь, пустобрёх, баранья башка.
Прежде чем схватить этот куль, узырь, что торчит из того мешка.

Что ж ты к правде слеп и к наказу глух? Стать задумал, видать, ей-ей,
Тучной пажитью, внучек, для жирных мух? Злачным поприщем для червей?
Мало баяли, что ль, каково в аду? Жутких мало казали притч?
Не буди беду, не мани беду. Не накличь беды, не накличь.

Иван-чай

Только лето верхушку сломало: ночь на час как бы невзначай,
И не папоротник на Купалу — зацветает враз иван-чай.
На пожарище, прежде жилом, ах, где б до веку земле горевать,
В ярых розово-дымных шеломах поднялась иванова рать.

Складками то низин, то взгорий светит в сумерках, зарева́,
Всколыхнув пурпурный мафорий, богородицына трава,
Сквозь волокна тумана мрея, много ярче июльских звёзд,
Просияли копья кипрея высотой в человечий рост.

Здесь, в краю, где Русь да Корела, где прошёл Калининский фронт,
Сколько, сколько земля горела в чёрном облаке за горизонт.
С той поры в полях всесожженья полыхает иванов цвет.
Нет отраднее утешенья, и целебней снадобья нет.

1. Глуздырь — умник, так на Руси шутливо называли несмышлёных детей.
2. Ржанец — спорынья.

* * *

Хоть не мягко Ты стелешь да снимаешь лихву,
По Твоей доброте лишь я на свете живу.
Мил же, Господи, люб же в кронах лепет мольбы.
Ближе к осени глубже в лес уходят грибы.

Прежде тут, на тропинке, в медно-пряном бору,
Сдув со шляпок хвоинки, сорок штук наберу
Спелых, крепеньких белых, удивляясь: как так?
Что ж червяк-то не ел их и не тронул слизняк?

А теперь — ежевика зреет, чёрно-сиза.
Лес кругом обживи-ка, напряги-ка глаза
И беги, не щадя ног: цапанёт — и каюк, —
Не умея медянок отличить от гадюк.

Что, судьба, учудишь? Но далеки холода,
Я живу никудышно, я живу хоть куда,
Дни, силёнки и книги на две трети смолов.
Полыханье брусники у замшелых стволов.

Лес качается, в хвое горний ветер гудёт,
И со мной неких двое — что придёт, что уйдёт.
Эта — мара и ересь, и вернёшь разве ту?
А на просеке вереск, мох да вереск в цвету.

Отъезд из деревни

В безотрадной предотъездной
Суете замри над бездной
Ранних сумерек в окне.
За стеклом веранды шелест
Ветра, дождик и в ковше лист,
Прилепившийся на дне.

Отходя ко сну, не в муках,
В осах, бабочках и мухах
Лето умирает, и
За линялой полосою
Рощи осенью босою
К нам по лужам в забытьи,

Шлёпая о шлях размытый,
Прошептав ольхой, ракитой,
Расставание с листвой,
Время движется другое,
В первой наледи нагое
На московской мостовой.

Погрузясь в туманы, спите ж,
Лес и поле. Словно Китеж —
Вся окрестность ввечеру.
По весне раскрою раму
И хитинового хлама
Зимний мусор уберу.

Златая книга

Свят Государь — бразды держит и правит, ниц
Падает люд перед ним.
Только десяток юродов и праведниц
Волей иною храним,

Ведают странное, ищут в нетронутых,
Тёмных для мира словах,
Огнь осияет их, змеи не тронут их,
Лягут им львы в головах.

Им присягают овраги и пустоши,
Всё нежилые места,
Где на безводье былинок — негусто же,
Где мурава негуста.

Матерь-пустыня поила их жаждою,
Мраз напитал теплотой,
Людные площади — каждого, каждую
Тяжкой давили пятой.

Тело до кости стирая веригами,
Радуйся о Женихе!
А и бывало — дарили ковригами,
Кесарь скулил о грехе.

А и бывало, что, выхаркнув скверное,
Что и погано сказать,
Должно и то непотребство: наверное,
Бесы кишели позадь.

Девку срамную утешь, ибо речено:
Ей-то попреже до кущ.
Как ни крестись, тут погибель-туретчина,
Смраден здесь дух, проклятущ.

Видишь — богатая книга не читана,
Кто не дурак, тот поймёт.
И хороша разве только на вид она,
Даром что злат переплёт.

Снег… А на нём — только отблески жёлтые,
Только житьё бичёво́.
Что-то в сей книге прелестной нашёл ты? Я
В ней не ищу ничего.

Баллада о русских реках

Так нарядно-пестры на Неве дома, корабли, как с картинки, глянь.
А судьба, как и прежде, неведома и всего наливает всклянь,
До краёв, а стало быть — пей до дна, полной чаркой, одним глотком,
И зовут сирены, и даль жадна
Павианьим откликом ревуна
За качающимся буйком.
Русский флот, виват: мол, и не горим, и не тонем — в воде, огне.
Что ты ведал, весёлый гардемарин, о кипящем цусимском дне?
Огибая Африку, гордо вдаль, за морзянкой рябых минут,
Оттеняя синью броню и сталь,
Накреняя дымами горизонталь,
Две эскадры на смерть идут.

На Москве весомо-звонки рубли, колокольни — гляди, не счесть,
Принимай на веру, за правду ли, чем обяжет купецка честь:
Не обманешь, знай, так и не продашь, не обмеришь — нагим пойдёшь.
К барышу барыш, а иное — блажь,
Чти завет отцов и во всём уважь
Церковь-мать, надёжу надёж.
— Что ж ты, Савва Провыч, как сам не свой, ходишь, тучи черней, ворча?
Будто бы до дыр над рекой Москвой прогорает небес парча,
Словно ситец сада поблёк, сопрел, ленты ветра свились в петлю?
— Погоди, охальник, ужо, пострел.
Ты не видишь, что ль, свет в очах истлел,
Да и бесы, лишь задремлю?

Горячи, резвы кони на Дону, ярок день, и тиха волна.
Голова на пику, раз надо, ну а душа, как прежде, вольна.
Пой, гутарь, казак, на девчат смотри да руби лозу за лозой,
Пылью, ветреным всплеском голодной зари
За полынной далью, судьба, взвихри
Предосенней сухой грозой
Всё, что будет отмерено на веку, на скаку — ринься в свист пальбы,
И рокочущим ропотом льнёт к виску ширь, встающая на дыбы.
Круговертью сабельных молний в гром, с маху наискось — пополам…
За рекой Медведицей, за Хопром,
Над земным ребром, за ночным костром
На разживу степным орлам.

А над Волгой утра златой разлив, пурпур перистых облаков,
И полощут листья склонённых ив песни прачек и бурлаков,
И лопочут плицы, и на куполах звёзды, впаянные в лазурь,
Высь прозрачней глазури на пиалах,
И казанский месяц, велик Аллах,
В небе ль сверху, в воде внизу ль?
Но вспухает на горизонте вал, и, насколько хватает глаз,
Он подмял рассвет, и луну сжевал, и навалом идёт на нас,
И небесная твердь закипает свинцом, клокоча, сжигая дотла.
И земля шатается под голбцом,
И река меж Самарой и Городцом
Развернулась и вспять пошла.

Ой, Днипро-Дняпро, батька-Днепр седой, уроженец оковских мшар,
От истока к устью по-над водой хлад полночный, полдневный жар,
Из чащоб смоленских, тверских болот до лиманов и солончаков
Ты несёшь то Купалы цветочный плот,
То Коляда тебя обряжает в лёд,
То Весна слободит от оков,
Вся земная сила в волне живой и небесная правда в ней,
Красен Киев-град, славный крестник твой, древний волхв от начала дней,
Но в ночи ноября Чернобогов мрак поднимает нежить со дна,
И могильным холодом Виев зрак—
Веки подняты, и ненасытен враг,
И Украйна в крови бледна.

С Городненской кручи у Рождества Богородицы в Духов день
Заповедных берёз шелестит листва, над погостом прозрачна сень,
Словно синим контуром обведены на вечерней заре впросвет
Их стволы в сребре нагой белизны,
Ветви в косы девичьи сплетены
Для стрибожичей-непосед.
От заката ветер—дитя громов, от восхода—хладный гордец,
Что им пыльная заверть людских умов, горький трепет людских сердец?
Водной гладью стелется путь в Орду—больше тысячи вёрст пути.
На июльском пекле, январском льду,
О Всеведущий, отведи беду,
Отстрани беду, отврати.

● ● ●

Эх, долюшко-счастье в ладони само, да пьяной гневишь Духа рожею.
Сменял ты, Ванюша, клеймо да ярмо на волюшку-волю хорошую.
Тебе бы тотчас в облака вопреки земным кандалам тяготения,
А ты зеленеешь, пустил корешки да сделался вроде растения.

Чего ж ты, Иван, шелестишь да шумишь, под ветром склоняясь рябиною?
Лети, говорю, выше башен и крыш, взмывай в синеву голубиную,
Пари, ясный сокол, над миром кружи—чай, крыльям преграды неведомы,
Не сможем расчислить твои виражи за росчерком горнего следа мы.

Ты станешь единственно первым из нас, кто сам, без фанеры-люминия,
Смог тело закутать в надзвёздный атлас, в пространство облечь ярко-синее;
Чего ж ты робеешь? Дерзай же, чудак, таланты под спуд не закатывай,
Изведай, паршивец, немыслимый мрак, сокрытый за кромкой агатовой.

А он отвечает, напрягши листву, древесными соками булькая:
Я мог бы витать в облаках наяву, да только не стриж и не гулька я.
Другая мне воля, видать, суждена и доля инакая дадена:
Чтоб грозы бороли мои рамена, гнездилась в корнях моих гадина;

Я стаям пернатых стол буду и кров, чтоб трелям отрадно внимали вы,
Чтоб лепет мой—благостен, гул мой—суров и почки в апреле эмалевы.
А вы мне о пёрышках, полой кости, пустом щебетанье—кой бес с него?
Мне—тысячу лет выпрямляться, расти до самого свода небесного.

Никита Брагин

Лимб

* * *

Ах, если бы я все простил и забыл
достоинства наших кумиров!
Ушёл бы в излом аббевильских рубил,
во рдяный галоп Альтамиры
и охрой чертил бы природную злость,
и похоти древнюю жажду,
и детскую нежность, как жжёную кость,
на своды накладывал дважды!

Ах, если бы выразить каждый отщеп
под траурным слоем кострища,
увидеть под пеплом и землю, и хлеб,
в ладони—и пламя, и пищу,
и слышать былое как музыку сфер,
и видеть, как вечные Альпы…
Но память не фреска в покое пещер,
а кровью алеющий скальпель!

* * *

А что останется, когда
затянет небо паутина,
замрут в тоннелях поезда
и льды покроют Палестину?
Когда из всех земных щедрот
не выберешь и неликвида —
ни банку залежалых шпрот,
ни пересохшую акриду?

Останется неяркий свет,
останутся сухие зёрна,
останется любви завет
и цепкость ранящего тёрна,
и Духа древние моря
неумолкающим прибоем
ответят, сызнова творя
рассвет и небо голубое.

А что останется, когда
забвение на смену слову
придёт, как мёртвая вода,
как скрежет ржавого засова?
Останется младенца крик,
огонь звезды над смертной тенью,
останется единый миг
сотворчества и сотворенья!

* * *

В тишине пришли снега,
словно тать в ночи,
поседевшая тайга
стынет и молчит,
птица встала на крыло,
затаился зверь,
лёд порошей замело —
не ступай, не верь.

Погоди, раздует хмарь
ветер ледяной,
солнца заревой янтарь
растечётся хной,
стужа выстелет пути
крепостью зимы,
и тебе шепнёт «иди»
вечность Колымы.

Ровным шагом навсегда
поведёт река,
стает колкая звезда
в темноте зрачка,
частоколом гребни гор,
кровь во рту как медь,
а за поясом топор,
а на сердце смерть.

Дай мне пригоршню огня
да глоток воды,
светом утренним граня
голубые льды,
дай рассеять горький дым
и вдохнуть покой,
дай уйти мне молодым
ледяной рекой!

Лимб

I had a dream, which was not all a dream
Lord Byron

Мне это снилось или наяву
случилось, не узнаю я вовеки,
лишь помню, как покинули Москву,

как стылой рябью покрывались реки,
и неподвижность ледяной воды
напоминала сомкнутые веки

покойника… и пепельные льды
в морскую тишину стадами плыли,
как антиподы облаков. Сады

роняли пепел. Струйки серой пыли
покрыли всё—асфальт, металл, траву,
цветы Земли—покрыли и убили.

И небо потеряло синеву,
и море, остывая, умирало,
а ветер гнал опавшую листву,

и солнце закрывалось мутным гало,
как глаз бельмом. Движенье корабля
бесшумным было—или нам казалось?

Я не могу ответить. Но земля
была реальной—плоская, нагая,
пустые бесконечные поля,

где снежным воем север настигает
и гонит сквозь безликость городов,
холодными порывами стегая…

Вот и проплыли льдины вдоль бортов,
открылась гавань. Здания—как глыбы,
из голых плоскостей, прямых углов,

ни завитка, ни одного изгиба,
повыстрижено всё. В какой стране
мы оказались? В Нидерландах либо

на Готланде? Тонули в тишине
скрещенья улиц, и везде стояли
размытые, как тени на стене,

беспамятные люди. В их печали
сквозило ожидание конца
и страх страданий. Все они молчали,

но на вопросы с видом простеца
нам каждый встречный отвечал по-русски,
и опадала серая пыльца

с бесцветных губ и глаз, как пепел, тусклых.
Чего вы ждёте?—я спросил тогда,
и отвечали мне: к началу спуска

пора готовиться. Вот-вот спадёт вода,
и успокоится холодный ветер,
и мы уйдём, и в нас умрёт беда…

Какое безразличие в ответе,
покорное смирение в глазах—
никто на умирающей планете

не помнит о любви, листая страх!
Разлюблена, покинута, забыта,
проспорена, пропита на пирах

Россия. Вы сошли с её орбиты
и ждёте наползающую тьму,
и жизнь уходит, словно прах сквозь сито,—

ни памяти, ни сердцу, ни уму.

• • •

Когда коснётся одиночество
изломом высохших ветвей
и отзовётся только отчество
из горькой памяти твоей,
тогда ты всё увидишь заново,
как в детском радужном стекле,
предутреннее, первозданное,
единственное на земле.

Увидишь, словно не утрачены
в десятках прошуршавших лет,
в быту и беготне горячечной,
в дыму дешёвых сигарет
ни муравы прохлада дивная,
ни тёмных елей тишина,
ни восхищение наивное
смешной девчонкой у окна.

На картину Серебряковой «Катя у окна в Ментоне»

Она стояла у окна,
лазурью утренней любуясь,
мечтательно погружена
в покой и дымку голубую.

Искрился воздух, как вино
великокняжеских подвалов,
и счастье было суждено,
и муза руку подавала.

Круженье белого крыла,
призыв цикад, цветенье дрока…
И только родина была
неприкасаемо далёкой.

Город-камень

Город-камень, город-крест,
крепость золотая,
словно древний палимпсест,
я тебя читаю
про себя и по слогам,
сквозь гранит и гравий,
сквозь базарный шум и гам
на остывшей лаве.

Посмотри: на белый свет
сквозь узор дешёвый
проступает шрифт газет,
лозунги Хрущёва,
и сквозят, и режут глаз
правдой полуголой
подзабытый новояз,
мёртвые глаголы.

Но осыпались трухой
ветхие обои,
закружился лист сухой
в небо голубое,
льётся талая вода,
заливает мрамор,
всходит ясная звезда
над бессонным храмом.

И не верится уже
в ужасы пророчеств—
на последнем рубеже
лето всё короче,—
город обронил парик,
платье бросил наземь,—
в горле дозревает крик:
вырвать всё и разом!

Город—матовый кристалл
в золотой оправе!
Неужели час настал
роду и державе?
Проступили шрамы слов
на твоих скрижалях,
когти бронзовых орлов
рукояти сжали!

Город—горькая строка
грянувшего грома!
В этот миг твои века
станут невесомы,
в белокаменном ковше
растекутся мёдом
и расплачутся в душе
твоего народа!

Воздух, терпкий, как вино,
золотая осень…
Сколько будет нам дано?
Всё, что ни попросим!
Город, вымытый дождём,
радугой увенчан…
Начинайте! Что мы ждём?
Занавес—и вечность!

Ливан и смирна

Ливан и Смирна, как вы далеко!
Дистанции умножены на время,
зыбучее, как душный сон в гареме,
как дышащее пеной молоко
на огненной плите. Часы что годы,
и годы что часы, и нет им счёта,
они текут, как восковые соты,
как масло и как медленные воды
Евфрата. Жизнь проходит стороной,
по автобанам и аэродромам,
а здесь, у кучи глины и соломы,
смолу разогревает новый Ной.

Ливан и смирна… золото горит
кристаллами дубайских небоскрёбов.
Аравии бездонная утроба
всё пожрала—и Ур, и Угарит,
и снежные вершины Арарата,
и кряжи кедров, и виссон Сидона,—
остались только кровью на ладони
рассыпчатые зёрнышки граната
да музыка молитвенных стихов,
взывающая на листах канона.
Но языки мертвы, иссохли кроны,
пейзаж пустыни бледен и суров.

Ливан и Смирна, мрамор и порфир
колонн и сводов, а над ними купол—
огромный опрокинутый потир;
вино и злато льётся по уступам
огромных контрфорсов. Тяжесть храма
в сухую землю вдавливает стены,
и понимаешь: это тоже тленно,
и нет защиты от людского гама;
царит всепроникающий базар,
по всем углам торговцы и менялы—
сплошные распродажи, только мало
монет любви, и очень дорог дар.

Ливан и смирна, вечные дары—
от первого дыханья до кончины,
а между ними лики и личины,
вода и кровь, аскезы и пиры,
всё то, что у тебя течёт меж пальцев,
всё то, что ты под вечер забываешь,
вся суета сует, вся тварь живая,
все звёзды и пылинки, в лёгком вальсе
летящие в небытие. Лишь на краю
материка и на границе света
открыты таинства и явственны приметы…
А злато я в закате узнаю.

Память пустыни

На дальнем разъезде, под бархатным небом пустыни,
где падали звёзды — беззвучные слёзы Вселенной,
где след их на сердце моём не остыл и поныне,
где стёрлись преданья, но память души сокровенна, —

Там край мой ковыльный с песчаным встречается краем,
и волжская воля течёт в азиатском покое,
там кровью весенней тюльпаны горят, умирая,
и время развеялось прахом, оно здесь такое —

сухое и пыльное, словно саманная кладка…
Из пальцев моих рассыпается пепел былого —
волшебники, принцы, разбойники, джинны, лошадки,
в лазурном огне изразца воплощённое слово!

Прости мне, Восток, что беру твой калам и пергамент,
что стройный алеф оплетается суздальской вязью,
что пресным лепёшкам отныне лежать с пирогами,
что древние стены под ливнем становятся грязью.

Твой древний язык расточается в брани базарной,
твоим матерям заграждают дорогу солдаты,
и дети твои, словно толпы разгромленных армий,
сквозь тучные земли Европы уходят к закату.

И где та пустыня, и кто её скорбный Овидий?
Погибшие земли, покрытые гипсом и солью,
где кости животных да хлам человеческий видишь,
где сердцем немеешь, горюя над мёртвой юдолью.

Спаси, моя память, царей с барельефов Нимруда,
снега Бадахшана, красавиц, уснувших в Сидоне,
и пальмы проросток, взошедший из каменной груды,
и тайну улыбки, лежащей на детской ладони.

Олеся Рудягина

Иволги пенье

● ● ●

Я тебя сторожу сторожу
и совсем на исходе сама
словно время прилежно слежу
как мельчает дыхание сна
как проносится тень по челу
как меняет улыбка лицо
как в окно в жаркий полдень пчелу
не пущу эту смерть на крыльцо
рядом рядом прилягу с тобой
на соседнюю детства кровать
может быть кто-то там даст отбой
или спутают что выбирать

Она

Всё так
как ты для себя не желал
поёт и поёт
и нет от неё избавленья
и отдыха нет
проснёшься в ночи копошится
до света встаёт
и пробуя голос ликует
и солнце встаёт
под эту незримую птаху
под эту дуду
реликтовую
под неё ли Господь колдовал
над горсточкой глины
и долго прохладу вдыхал
в пока ещё мёртвые губы
но вот же
вот-вот
уже розовеют
уже тень улыбки едва
коснулась
теплеющих глаз
мир испит словно спет

но мой осторожный создатель
мой тихий поэт
боится услышать
не слышит
в себе
будто
нет

● ● ●

Убалтываю смерть повременить:
«Ну что ты к ней, Босая, привязалась?
Оставь её,—пусть дышит, нам осталось
ещё мгновение. Попробуй-ка прожить
его вот здесь, присядь, я не гоню!
Давай сюда косу,—не затупилась?—
пусть полежит на лоджии». Смутилась.
Нестрашная. Ночь уступает дню.
…
А в Королевстве—сказочный Улов,
и мама «шлёт» с восторгом телеграмму,
и рукоплещет площадь капитану,
гам, туш, цветы,—прибой последних снов…

● ● ●

ну что за побег мне будет
раз этот меня не любит
не ласков соколик не сужен
а тот никакой не нужен
и млечный беспамятный город
льёт дождик холодный за ворот
забыв на столе в одночасье
зонт песенку в жизни участье
бредёшь душным телом трясиной
асфальтовой кожей гусиной
так что ж это будет так что же
когда на себя не похожи
подруги красавицы лани
и треснуло зеркало в длани
закончилось в нём отраженье
листвы влажноокой движенье
так чем подари́т воскресенье
убогую
—Иволги пенье

Совершенноосеннее

1.

Проживаем-долгоживём в избушке
на курьих ножках:
когда ливень снаружи,—
ниагара льёт с потолка,
избушка квохчет.
Кот-баюнбегемот под зонтом
вяжет шапочки и пинетки,—
в мягких лапах мелькают спицы,—
глядит с укоризной поверх
бериевских слепящих очков:
— Где же ваш город-сад,
где изумрудный город?!
Где дорога из солнечного кирпича—
к морю,
к бригантине, поднявшей тугие свои паруса?..
— Сторожит её выживший из ума
весёлый мечтатель Гудвин
с легионом пикирующих,
плюющих огнём, обезьян.

2.

По самые окна врастаем
в траву незабвенья.
Тени
ушедших
приходят под вечер—
под вечером хорошо.
Рем и Ромул
прикипают к лунной волчице.
Утолив голод,
становятся почти различимы.
На рассвете
можно
улыбки бледные их
застать в пустых зеркалах…

3.

Он.—Не видит, не слышит,—
так много прекрасных занятий
у духовно богатого человека!
Ему совершенно не важно, какие на мне одежды,
ему безразличен цвет моих длинных волос,
он не заметил даже, как они, поломавшись, слиняли,
не сумев пережить нежных братьев.

Меня больше не держит здесь ничего,
меня больше не мучит гремучая нежность,
но
он впускает меня с сорокой, жар-птицей, бедой,
он впускает меня с ещё одной кошкой ребёнком,
он впускает меня с разноглазым воркующим псом,
и я, потому, никогда не уйду от него.
Наверное.

Ноябрь

Опереньем райских птиц
расцветает листопад
Падают мгновенья ниц
неоглядные назад
невозвратные
В лице
изменяется мой сад
Падают столетья ниц
как Сократ пригубив яд
запах стылых хризантем
чьи сердца снедает снег
что укроет глух и нем
поле битв пиров и нег
Лепестками хризантем
облетает Млечный Путь
небо может быть совсем
станет мной когда-нибудь
(Так стократ возжаждав жить
вены вскрыв истёк закат)
Райским пёрышкам кружить
обнажая чёрный сад
Дупла сучья да кору
муравьиные бега…

Можно, Бог, я не умру?
Никогда, о, никогда!..

Александр Щербаков

Лавры Юрки Цезаря

В присаянском сельце Смолино долго не было учителя по истории. Настоящие специалисты вообще не спешили сюда, в подтаёжную глубинку, а в школу — тем более, потому что число учеников в ней резко убавилось в последние годы, сократилось и количество классов. Но чтобы уж совсем не прерывать исторического образования юных смолинцев, сельский голова Алексей Иванович предложил временно повести этот предмет пенсионеру Антону Фомичу, бывшему конторскому счетоводу, который слыл большим политиком и активным читателем местной библиотеки, особо налегавшим на книги «касательно истории». Правда, в его речах проскакивали словечки типа «хвакт» или «хведерация», но на уровне бытового общения это не особо резало ухо. Однако когда и на уроках истории из уст Фомича посыпались разные «хвиникии», «хвермопилы», короли «хвилиппы» и цари «хвёдоры», то ушлые ребятишки догадались, что дело не в издержках произношения, а в скромных «классах с коридорами», пройденных им, и самого его окрестили Хвомичём, заметно охладев к науке о прошлом человечества.

Но вот к концу третьей четверти к ним всё же прислали из края настоящего историка, Игоря Николаевича, молодого, грамотного, красноречивого. Он не просто излагал ход исторических событий со сменой государственных правителей и военачальников, но рассказывал о них самих так, словно был лично знаком с ними. По крайней мере, чувствовалось, что живо представлял их сам и старался донести это представление до слушателей. Ребятишки сидели, как говорится, с раскрытыми ртами.

К примеру, на уроке, посвящённом знаменитому древнеримскому полководцу и писателю Гаю Юлию Цезарю, он поведал не только о его победах над Галлией и над войсками Помпея, соперника в борьбе за власть, после чего был провозглашён пожизненным императором, а затем убит заговорщиками из сенатской аристократии, но и о том, что провёл реформу календаря, известного как «юлианский», оставил ряд исторических работ и множество крылатых выражений, поныне украшающих нашу речь: «пришёл, увидел, победил», «жребий брошен», «перейти Рубикон», «и ты, Брут?»…

И уж, конечно, не забыл учитель помянуть о необыкновенных способностях Цезаря, который мог одновременно отдавать приказы, читать и писать обеими руками разные тексты, что ребятишек удивило особенно. Они даже не услышали звонка с урока и очнулись, вернувшись в нашу эру, лишь после второго напоминания Игоря Николаевича.

Более же всех потрясён был его рассказом Юрка Голованов, известный в классе книгочей и фантазёр. Он решил стать «как Цезарь» и, не откладывая намерения в долгий ящик, приступил к тайным тренировкам. Сперва — к параллельному чтению и писанию одной рукой, а потом и обеими. Впрочем, здесь он задумал пойти далее самого Цезаря. Однажды, во время очередных упражнений в закрытой горнице, после довольно удачной росписи «за Цезаря», синхронно выведенной правой и левой рукою, его вдруг осенило: «А что, если подключить ещё и ноги? И тем превзойти хвалёного римского императора? Пусть знают сибиряков российских!»

Юрка непроизвольно погладил свой русый ёршик, тут же сбросил тапочки, разломил пополам карандаши, которыми работал, достал из кармана перочинный ножик, быстренько подчинил тупые обломки и вставил их между большим и вторым пальцами ног. Затем подложил под них по листку бумаги, вырванных из тетради по русскому языку, взял в руки по укороченному карандашу и, мысленно скомандовав себе: «Раз-два-три!» — начал выводить букву «ц» всеми четырьмя конечностями сразу. Руки привычно сработали. И довольно-таки неплохо. С ногами дело оказалось сложнее. Под правой ещё вышло что-то наподобие буквы, более, правда, похожей на «у», чем на «ц», но под левой обозначилась лишь бессмысленная вилюшка, не тянувшая даже на каракули дошколёнка. Однако Юрка был не из тех, кто пасует перед первыми трудностями и неудачами. Результат правой ступни утвердил его в том, что поставленная цель в принципе достижима. Надо только приложить побольше старания и почаще тренироваться.

И упрямый смолинский цезаревец перешёл к ежедневным упражнениям.

До времени — секретным. Он тренировался дома, подальше от посторонних глаз, в закрытой горнице, за тем столом, за которым обычно готовил уроки. К концу учебного года у него

уже довольно послушно ноги выписывали слово «Цезарь». И он мечтал продемонстрировать свои успехи в классе до роспуска на каникулы, но потом решил, что лучше освоить всю Цезареву «роспись» и показать, как говорится, товар лицом. К концу учёбы, когда домашних заданий уже почти не стало, он упорнее приналёг на тренировки. Тому способствовали и новые свободы, наступившие в связи с временным отбытием отца, который не поощрял его «вздорных» увлечений. Борис Голованов, работавший шофёром в сельхозкооперативе, после посевной отпросился на «отхожий промысел» — улетел вахтовиком на Таймыр, где осваивалось нефтегазовое месторождение Ванкор и срочно требовались водители. Словом, Юрка усилил занятия, и роспись почти покорилась ему, хотя конечные «р» с мягким знаком зачастую всё ещё завивались петлями, не доступными для прочтения, а то и вообще вылезали за пределы тетрадного листка. Однако откладывать далее демонстрацию опытов уже было невозможно. Юрка сам проговорился о достигнутых успехах своим приятелям, и они, заинтригованные, но сомневающиеся, потребовали от него наглядных доказательств, то есть прямого показа цезаревских способностей.

И Юрке ничего не осталось, как предъявить им эти доказательства. Одним прекрасным деньком наступивших каникул он пригласил друзей к себе домой. Пришли семеро, в основном те, что жили по соседству. Юрка провёл их в горницу и плотно закрыл дверь, лишний раз подчеркнув необычность и таинственность предстоящего действа. Сам он важно и торжественно, как подобало бы мудрому Цезарю, уселся за своим столом на старинном плетёном кресле, а гостям предложил присесть на скамейку и деревянный сундук, стоявшие вдоль боковых стен. Однако они предпочли расположиться поближе, прямо на полу, устланном половиками, чтобы удобнее было наблюдать за самым главным объектом зрелища — за Юркиными ногами, между пальцами которых он уже вставил обломки карандашей.

Но едва только был дан старт невиданному фокусу и Юркины ноги и руки пришли в движение, как вдруг распахнулись створы горничных дверей, и на пороге появилась Юркина мать Елизавета, работавшая поваром в детсадике. Она строго взглянула на вихрастую компанию и, уперев руки в бока, обратилась к сыну, восседавшему на кресле перед замершими гостями:

— И что ты творишь тут, хозяин?

Юрка растерянно взглянул на мать и, кивая на свои руки и ноги, вооружённые карандашами, вымученно заулыбался:

— Да я это… как Цезарь…

— Який такий Цезар? — вспыхнула мать, непроизвольно перейдя на южнорусский суржик, каким говорила в донском девичестве. — А ну, геть до воли! Лето на дворе!

Она решительно шагнула в ребячий круг и прогнала всех вон. Вместе с гостеприимным хозяином. Потоптавшись на крылечке, мальчишки уже хотели было разбрестись по домам, но Юрка заверил их, что готов показать свои достижения хоть на улице.

— Погодите, я щас! — махнул он рукою и нырнул обратно в избу, а через минуту появился с четырьмя книжками под мышкой.

— Предлагаю пройти на зады, за наш огород, там есть добрая полянка и трон.

— А это зачем? — кивнул на знакомые учебники Колька Прохоров.

— Растолкую потом, — буркнул Юрка и повёл ватагу переулком вдоль огородного тына на задворки. Здесь, на заброшенных назьмах, образовалась небольшая стихийная свалка из разного мусора и лома с подворий. Огибая её, Юрка заприметил среди обломков мебели и посуды бездонный чугун и прихватил его свободной рукой.

— Может сгодиться для нашего опыта, — загадочно обронил он в ответ на вопросительные взгляды приятелей.

На задах Юркиного огорода перед зелёной полянкой росли две старые покляпые берёзы, а между ними стоял толстущий пень «со спинкой» — широкой щепой, оставшейся от спиленного дерева. Юрка важно уселся на этот пень, словно на трон, а книжки и чугунку положил к ногам.

— Итак, жребий брошен, и Рубикон перейдён! — обратился он к зрителям. — Продолжим работу по Юлию Цезарю. Прошу внимания и тишины.

Ребятишки присели перед ним на зелёную мураву, более заинтересованные уже не столько «параллельным» письмом «по Цезарю», сколько бездонной чугункой подле ног Юрки.

— Потому как здесь нету стола, поручаю Грине Бабину и Прохорову Колюне подержать чистые листки бумаги на «Математике» и «Географии» под моими руками, — распорядился фокусник и добавил: — Чтоб удобнее было писать. Ну а с ногами я сам управлюсь, — и он поставил босые ступни на оставшиеся учебники, покрытые тетрадными страничками.

Прогонистый Гриня с малорослым Колюней послушно встали по бокам от Юрки, держа на ладонях указанные книжки.

Юрка многозначительно кивнул, давая знать о начале небывалого представления, но прежде, чем взять в руки и в ноги карандаши, поднял бездонный чугун и нахлобучил его себе на голову. Естественно, следом раздались недоумённые смешки и едкие замечания очевидцев. Чтобы пресечь их, Юрке пришлось дать пояснение для недогадливых.

— Это будет царская корона триумфатора Цезаря, — сказал он тоном знатока, хотя не был уверен,

что римского полководца и императора когда-либо короновали. На его статуях, скульптурных портретах, приводимых в учебниках истории, он был либо простоволос, либо с почётным лавровым венком на кудреватой макушке, чем-то похожим на корону.

Юрка гордо вскинул увенчанную чугуном голову, устремил взор к солнцу и дал отмашку, сопроводив её, поскольку не владел ни греческим языком, ни латынью, восклицанием на знакомом по урокам немецком:

— Форвэрц!

Руки и стопы его, вооружённые карандашными обломками, тотчас ожили и задвигались, так что Грине с Колюней невольно пришлось поднапрячься, чтобы удержать на весу подставленные учебники. Через несколько мгновений сеанс был окончен, о чём Юрка оповестил наблюдателей очередным цезаревским изречением:

— Пришёл, увидел, победил!

Ребятишки бросились к нему наперегонки, чтобы первыми засечь результаты опыта. Они подняли шум, споря и вырывая бумажные листки друг у друга, но всё же в итоге вынуждены были признать Юркины достижения. По крайней мере, три или четыре начальные буквы от «ц» до «а» оказались написанными вполне разборчиво, а на листках из-под рук вышла даже и «р», но, верно, без мягкого знака.

Получив всеобщее признание, Юрка встал с трона и, широко улыбаясь, хотел было снять не то корону, не то лавровый венец с головы в знак окончательной победы в испытаниях, но вдруг с тревогой обнаружил, что чугун провалился слишком глубоко, до самых ушей, и теперь не поддавался его усилиям. Особенно мешали надбровные дуги и затылок. Увидев затруднения приятеля, первыми пришли на помощь ассистенты Гриня и Колька. Они снова посадили Юрку на пень и попытались снять чугун вдвоём, слегка поворачивая его, как гайку, на Юркиной голове, но триумфатор болезненно сморщился и замахал руками.

И тогда остальные ребятишки, наблюдавшие за сценой со смешками и подначками, поняли, что дело принимает нешуточный оборот. Перестав смеяться, они тоже ринулись помогать коронованному бедолаге кто словом, кто делом. По чьему-то совету Юрку положили на покатой полянке ногами на пень, а потом вообще подняли за ноги вниз головой и потрясли, но и в этих положениях бездонный чугун упрямо сидел на буйной головушке и, кажется, всё туже сжимал её, словно обруч. Юрка более не цитировал Цезаря. Бледный и растерянный, он молча держался руками за чугун.

Наконец ближайший его сосед Гошка Филин, по прозвищу Филя, подал мысль, которая всеми была признана единственно разумной в создавшейся обстановке.

— Покажем-ка его, братцы, нашему врачу,— сказал он.— Время ещё есть, больница сёдни открыта до обеда. Я попрошу принять без очереди…

И ассистенты Гриня с Колюней, которые недавно держали книжки под волшебными руками «Цезаря», теперь взяли его под белые рученьки и повели в больницу. Та, кого Гошка назвал врачом, была фельдшер Маша Филина, жена его двоюродного брата, потому он и обещал столь смело внеочередной приём необычного пациента. Однако родственные связи не понадобились. Страждущих в больнице не оказалось. Маша сама вышла из кабинета, заслышав в коридоре шаги и голоса. Гошка начал сбивчиво объяснять ей суть визита, указывая на чугунноголового Юрку, но она уже и без того догадалась, в чём дело. И хотя этот пациент был заведомо не по её профилю, всё же для формы пригласила Юрку в кабинет и усадила в кресло. Потом обошла вокруг, постучала пинцетом по чугуну и сказала нарочито громко, чтобы все ребятишки услышали через приоткрытую дверь:

— Тут я вам не помощница. Попробуйте обратиться в мастерские к нашим механизаторам или вон хотя бы к кузнецам.

При этом она махнула на окно, за которым виднелась сельская кузница, издававшая железный перезвон.

Кузнецы оказались не столь понятливыми, как фельдшерица Маша. Они всё не могли взять в толк, зачем парень вдруг напялил чугунку на свою голову. Пришлось им долго объяснять, что это не просто чугун, а как бы венец Юлия Цезаря, древнеримского полководца и писателя, которого изображал потерпевший. Но и это дошло не до каждого. После стихийного консилиума мастеров по железу старший из них, бородатый старовер Лаврин Агеич, взял молоток, зубило и осторожно прошёлся ими по бездонному чугуну, прислушиваясь к глуховатым отзвукам, а потом выдал заключение:

— Дело непростое, мужики. В чугунине трещин не слышно. Надо как-то колоть либо резать её. В наших мехмастерских сейчас ни души, все в поле. Так что выход вижу один: срочно выдвигаться в райцентр, к автодорожникам в Саянский дээрсэу, у них оборудование посерьёзнее…

На счастье Юрки, который уже ничего не говорил, а только кусал губы, всхлипывал и всё ниже клонил голову, к дверям кузницы в ту минуту подрулила председательская «Нива». Из кабины выпрыгнул шофёр Вадик, поднёс кузнецам порванный дергач от сенокосилки и передал просьбу шефа: срочно восстановить деталь.

— Мы у косцов были, они режут зелёную рожь на подкормку скоту,— добавил Вадик.

Лаврин Агеич принял обломки дергача и начал осматривать дефекты.

— А это что у вас за клоун в колпаке?—воскликнул Вадик, увидев Юрку с чугуном на голове.

— Не клоун, а сам Юлий Цезарь, римский император,—криво усмехнулся стоявший рядом молотобоец Киря.—Только вот корона оказалась несъёмной.

— Не корона, а венец лавровый,—со всхлипом поправил Юрка, приподняв голову от плеча.

— Ну-ну, похож, как свинья на быка,—хихикнул Вадик.

— Вот что, Вадим,—серьёзно обратился к нему Лаврин Агеич.—Чем зря зубоскалить, сгоняй-ка в Саянский, в мастерские автодорожников, покажи огольца, там должны помочь. А я займусь дергачом, тут часа на два работы. Думаю, шеф твой поймёт. Да и родителей бедняги заране пугать не стоит…

До Вадика дошло наконец, что дело впрямь нешуточное, и он, покивав согласно, отдал команду Юрке:

— Садись за заднее сиденье, парень! Подальше в угол, чтоб встречный народ не шарахался от твоей макитры и патрули не приставали.

Юрка послушно влез в кабину, но не сел, а лёг на сиденье, придерживая рукою бездонный чугун за край круглой дыры.

Мастера дорожного ремонтно-строительного участка ему действительно помогли, хотя и не слишком скоро. Юного чудака из Смолино, коронованного чугункой, они подводили к разным диагностическим аппаратам, к приборам и стендам, опутывали проводами, «били током», как потом не без гордости рассказывал Юрка, прежде чем самому молодому, но дошлому специалисту по «неразрушающему контролю» Ларику Ольгину с помощью ультразвука удалось-таки обнаружить поперечную микротрещину в металле. По ней-то и был наконец расколот надвое злополучный чугун…

Назад Юрка приехал уже на первом сиденье председательской «Нивы». «Усталый, но довольный», как писали о нём позднее в районной газете. Там, между прочим, сообщалось также, что мастерам-дорожникам за выручку подростка из беды была объявлена благодарность самого главы района. Поблагодарили всех, кто помогал Юрке, и глава смолинской администрации вместе с председателем местного сельхозкооператива. А Юркина мать, которая, конечно, более всех была рада освобождению сына из чугунного плена, свезла в подарок мастакам дорожного участка целый бидон сметаны, корзинку пирогов с яйцом и луком и даже, говорили знающие люди, бутылёк своей фирменной настойки на сорока травах от сорока болезней…

Ну а Юрка, понятное дело, вмиг стал героем Смолино, и его с той поры все звали в селе не иначе, как Юрка Цезарь. А ребятишки ещё и Юркиного собачонка, лохматенького беспородного Шарика, переименовали в Цезарика, и Юрка смирился с новой кличкой пса, как и со своим ироничным прозвищем.

…После всех этих событий я много лет не бывал в Смолино, не встречался со знакомыми смолинцами и не имел никаких сведений о дальнейшей судьбе Голованова Юрки. Можно сказать, уже и забыл о нём и о той забавной истории, в которую он «влип», состязаясь в талантах с самим Юлием Цезарем. Но вот недавно, будучи проездом в посёлке Саянском, вдруг встретил его на улице. Точнее, он встретил меня, ибо первым окликнул и поприветствовал.

— А-а, Юрий Цезарь!—невольно вырвалось у меня в ответ.

Назвать Юркой возникшего предо мною плечистого богатыря просто не повернулся язык.

— Он самый. Только уж не Цезарь, а скорей слесарь,—рассмеялся Юрий.

И в короткой беседе рассказал мне, что по окончании автодорожного факультета Красноярского политеха вернулся в родные края и работает начальником слесарного цеха тех самых мастерских дорожного участка, где когда-то был освобождён от злополучного чугунного венца.

— Но историю люблю по-прежнему,—подчеркнул он напоследок,—охотно читаю исторические книги, в том числе о Древнем Риме. А что не рвусь в центры по нынешней моде, так ещё Цезарь говорил: лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе.

Алексей Михайлов

Дед Илья

Прошла почти неделя с момента смерти нашей соседки — доброй бабушки Марины, с которой я так и не успел близко познакомиться, но тех минут, когда нас сталкивала лестничная клетка, мне хватило, чтобы привязаться к этой простой и отзывчивой старушке.

Съёмная квартира — это всегда новые соседи. С ними за время бесчисленных переездов нам зачастую везло. И сейчас: слева — безобидная и добрая бабушка, а напротив — её друг, пожилой офицер Илья Фёдорович. Четвёртую квартиру нашего этажа занимала семейная пара, о которой мы знали только то, что они там есть. Вживую мне удавалось поговорить только с пенсионерами.

Список унылых хозяйственных дел, покорно ожидающих своей очереди, только рос, и с этим надо было что-то делать. Слева за стенкой что-то громыхало: внук Марины Константиновны, примчавшийся из Подмосковья, судорожно оценивал вещи умершей, фотографировал мебель и выкладывал её в Интернет по бросовым ценам. Найдя его профиль в социальной сети, я был поражён тому, что по бесценку уходило всё — от разваливающейся мебели до слежавшихся ночных сорочек бабушки Марины. Наверное, думал я, пыль в углах тоже уйдёт с молотка. За невесёлыми мыслями удалось доклеить обои, привести в порядок кран в ванной, подтянуть дверцы шкафа, собрать и пропылесосить кресло и одинокий ковёр, который прошлые хозяева свернули пыльной трубой в углу.

После обеда пришёл дед Илья в своих вечных трениках и простой, незапоминающейся серой рубашке. Он задумчиво почесал за ухом:

— Сосед, ты заходи ко мне, как сможешь.

— Хорошо. Чем-то нужно помочь?

— Просто заходи, поговорим, а то живёшь рядом — и не знаемся, — проговорил он, подмигнул и зашаркал восвояси.

Сказать, что я был удивлён, — ничего не сказать. Возможно, моё поколение не привыкло дружить площадками и жить с соседями одной семьёй. В современном мире приглашение одинокого мужчины к себе в гости несколько настораживало.

Мы перестали разговаривать с соседями. Мы почти не просим у них табуреток на праздники, потому что перестали что-либо справлять за столом. Попросить соли в соседней квартире стало гораздо сложнее, чем пройти по улице до ближайшего магазина. Теперь мы неловко прячем глаза, открывая дверь одновременно с соседом, не находим слов, столкнувшись с ним в магазине, и тем более не оставляем у них детей, если нужно куда-то срочно отлучиться.

— Да, сегодня заходи. Тем более наши играют.

Во что играют наши, я не уточнил.

Вечером, чувствуя себя полнейшим идиотом, я с небольшим тортиком отправился в гости. Внутренний голос говорил мне, что с пустыми руками идти не стоит, но ничего лучше я придумать не смог.

Уже потом я сообразил, что, скорее всего, должен был купить бутылку чего-нибудь горячительного, но, так как совершенно не пью алкоголь, подобрать гостинец не смог.

Дед Илья отворил мгновенно — почти одновременно с трелью звонка. Мне даже на мгновение показалось, что он стоял за дверью.

Дед на минуту замер, перевёл взгляд с меня на тортик и обратно, а затем взорвался хриплым хохотом:

— Заходи. Ой, принёс… как к девице пришёл, ну даёт.

Я посмеялся с ним для компании и прошёл. Эта квартира была чем-то похожа на квартиру Марины Константиновны. Разница заключалась в том, что у бабушки по всей квартире в самых необычных местах лежали какие-то пакетики, тюки и тряпочки, а у деда Ильи всё это было расфасовано по коробочкам. Причём на каждой из них была скотчем приклеена бумажка с аккуратной каллиграфической надписью. «Бот. — лето», «Бот. — зима», «Сапоги» — читал я надписи с коробок, распиханных по антресолям и шкафам. Даже под кроватью стояла большая коробка с неаккуратной подписью «Хер знает». Вся эта обстановка создавала ощущение близости переезда, но оно было обманчиво.

— Очень удобно, когда вещи на своих местах, — отметил я, — только надо же всё в голове держать.

— Военная привычка. Я служил в *специальных частях*,— здесь Илья сделал особый акцент.— Приходилось постоянно переезжать, так что со временем привык всё держать на своих местах. В какой бы квартире ни жил, все вещи всегда на месте. А то вдруг память подведёт, и… Не смотри, что тесно. Где тесно, там солдату и место.
— Главное, что дальше квартиры ничего не убежит.

Дед шутку не оценил и пошёл ставить чайник. Как выяснилось позже, он на самом деле боялся потерять память и старательно её тренировал. Для этого он заказывал газеты и журналы со сканвордами, решал судоку и даже утверждал, что изобрёл собственный вид головоломок, но пока не довёл дело «до ума» и показывать изобретение категорически отказался. Упорядоченные кирпичи коробок странным образом сочетались с какой-то неряшливостью старческого холостяцкого быта. В прихожей стояло старое трюмо с потемневшими краями большого зеркала. В углу зеркала на скрепке висела старая чёрно-белая фотография с изображением не то обелиска, не то памятника на братской могиле. Качество фотографии не позволяло разглядеть какие-либо слова на плитах— хорошо была видна лишь засвеченная солнцем серая звезда на фоне серого неба.

В воздухе витал специфический пыльный запах старой мебели. Трюмо было только пробником. Проходя мимо основной комнаты, я заметил большой продавленный диван, какие-то облупившиеся табуретки, затёртый линолеум, большой рабочий стол с железной лампой в углу и длинный книжный шкаф. Корешки книг запылились и потемнели, поэтому авторы со своими произведениями спрятались от меня за вуалью времени.

На столе лежали: половина батона, нож, пакет, рекламный буклет из почтового ящика и начатая пачка сигарет. Я не успел толком расшифровать это бытовое послание и прошёл на кухню.

На кухне Илья открыл дверь холодильника, грустно заглянул внутрь и вздохнул:
— С тобой водки не выпьешь, а хорошо готовить я разучился.
— Да вы пейте, не обращайте внимания. Я чаем поддержу.
— Ну…— засомневался дед.
— Пейте, пейте— всё нормально.

Илья достал початую бутылку, упаковку плавленого сыра и какую-то зелень в миске.
— Какой чай пьёшь?
— Зелёный.
— Ну вот,— задумался Илья.— У меня только чёрный. Зачем я спросил?
— Давайте чёрный. Тоже сойдёт. Со сладким особенно.

Я чувствовал, что без разгонных ста грамм разговор с соседом не пойдёт, так что с его разрешения сам заварил чайник, протёр стол и налил ему рюмку. Как может выглядеть кухня бывшего офицера, нынешнего одинокого пенсионера? Старенькая газовая плита, грубо прикрученная чёрными шурупами к стене полка для полотенец, деревянные шкафчики, две холодные табуретки и небольшой стол с блёклой клеёнкой. Несколько выцветших цветов в вазах было порезано, а один угол изрядно потрёпан.
— Это от кота осталось, Рыжика, он любил сесть на табурет и медитировать, калеча скатерть.
— Потерялся?
— На том свете потерялся. Заболел после кастрации и того.
— А нового?
— Хватит мне пока переживаний,— грустно улыбнулся дед.— А уж когда хоронить пришлось— вот мороки было. Куда его прикопать?
— И куда вы его?

В ответ дед махнул рукой в сторону цветастой коробки на подоконнике:
— А… вон туда.

Глоток чая остановился где-то в горле.
— Можно я посмотрю?
— Конечно,— удивился он,— только там уже не на что смотреть.

Я медленно подошёл к коробке, стараясь угадать трупный запах животного, и когда крышка почти была открыта, услышал удивлённое:
— А в коробке кассеты, если тебе интересно.

Внутри действительно лежали кассеты для магнитофона.
— А где Рыжик?— я впал в лёгкий ступор.

Дед, похоже, на минуту последовал за мной, но вернулся и пробормотал:
— Так в палисаднике перед домом. Я же тебе показал,— и вновь махнул рукой в сторону окна, за которым угадывался небольшой пожухлый садик.— А ты что подумал?

Уф… я эти кассеты на карандашах вертел…

На кухне было чисто и скромно. Низкий гудящий холодильник держал на себе единственную вещь, которая категорически не вписывалась в общий интерьер,— телевизор. Большой, дешёвый, новый. Сквозь синюю рябь я разглядел лежащие вдоль железнодорожных путей вагоны и бегущую строку, в которой угадывались слова: «крушение», «спасатели» и «телефон 8–800». Дед, перехватив мой взгляд, махнул на экран рукой:
— Глушат строители, скоты. Я сейчас настрою.

Кто-то говорил мне, что мужчины не любят ухаживать за цветами. Так вот подоконники деда Ильи были заставлены растениями. Разных видов и форм. Причём это было не кладбище засыхающих мертвецов, а вполне себе бодрые цветы и кустики. Из всех я узнал только мой любимый мирт, похожий на гигантское дерево в миниатюре.

Иногда между цветами лежали коробочки поменьше — цветные пластиковые и чайные железные.
— Удобрения и прикорм, — прочитал мои мысли Илья. — Растения уход любят, тем более в нашем климате.
— А кто сегодня играет?
— Наши, — многозначительно подмигнул дед Илья.
— Волейболисты?
— Точно!

Илья выпил, поморщился и налил себе ещё одну. Со второй рюмки дед стал разговорчивее. Нам нужно было быстрее переступить грань неловкости первых минут общения, ему помогла водка, а мне… Я в такие минуты стараюсь смотреть на человека как на исключительное произведение творческого искусства. Как кино, как герой театрального спектакля, собеседник превращается в персонажа, за которым просто интересно наблюдать. Возможно, моя любовь к сочинительству помогает мне абстрагироваться от быта и просто наслаждаться процессом общения с собеседником, как бы наблюдая за нами со стороны.
— Ты знаешь, а ведь она была очень хорошей. И вот так ушла. А ты её совсем не знаешь. Совсем. Она постарше была, уже не припомню точно. Так, я тридцатого, а она, значит… — дед прикрыл глаза, что-то складывая или вычитая в уме.

Процесс восстановления даты длился так долго, что я уже было решил, что потерял собеседника, но Илья неожиданно хлопнул себе по лбу:
— Нет, хоть чёрта лысого верти, не помню. А она говорила. Ты не знаешь, случайно, какого она года?

Я отрицательно помотал головой.
— Да теперь не важно. Ты сам-то откуда?
— Питерский. Было время — уезжал из города, но родился здесь.
— А лет?
— Двадцать шесть.
— Значит, не питерский, а ленинградский, — наставительно поправил меня дед. — У тебя что в паспорте написано? — и, не дожидаясь ответа, протянул: — Во-о-от.

Мы ещё помолчали. Илья вспомнил про телевизор и принялся теребить антенный провод. В какой-то момент времени исчезла рябь и у президента пропали морщины на лице.
— Вот! Сейчас хорошо показывает!
— Да? — Илья отпустил антенну и заглянул в экран — рябь вернулась, а лицо вновь постарело. — Разве это хорошо?
— Было хорошо. Да ладно, и так видно.
— Это строители, точно тебе говорю. Они глушат.

Илья ещё раз безнадёжно дёрнул антенну и вернулся за стол.
— Какие строители? Вокруг же нет строек.
— А эти, — неопределённо покачивая рюмкой, дед указал в сторону вокзала.

Его последняя фраза растворилась в тесном пространстве кухни, уступив место тикающим часам, вздрагивающему время от времени холодильнику и приглушённому голосу диктора в рябившем телевизоре. Я думал, с чего начать разговор, но, как всегда, в такие моменты в голову лезет всякая ерунда.
— Я видел у вас много книг. Это просто литература? Вы что-то из этого прочитали?

«Что за бред я несу?» — промелькнуло в голове, но в такие моменты речевой аппарат работает быстрее, чем мыслительный. Уши ловят то, что успел наговорить бестолковый язык, передают всё это обратно в мозг, который с ужасом анализирует, сокрушается и стыдится своего хозяина.
— О! У меня для тебя кое-что есть.

Дед хитро улыбнулся, ушёл в комнату и вернулся с большой книгой, точнее — альбомом, на обложке которого строгим и благородным шрифтом значилось: «Ленинград».
— Моя любимая, — Илья ласково провёл по ней ладонью, как будто стряхивал невидимые соринки, и протянул мне. — Тебе будет полезно, ты же не видел наш город таким, — Илья посмотрел на рюмку, затем на лицо в телевизоре, пробормотал: — И не увидишь, — и выпил.

А альбом был действительно любопытным. Фотографии не радовали яркими красками и чёткостью, шрифт был мелким (кто додумался делить его на эти дурацкие столбцы?), но атмосфера… Знамёна, автобусы, машины, чистые проспекты, демонстрации, дети и лица. Какие же там были лица! Я понял, что скучал по ним, по этим искренним, чистым и светлым улыбкам. Со страниц этого альбома мне улыбалась моя бабушка, которую я похоронил прошлой осенью, мои деды, один из которых пропал в финской войне, а второго сломала тяжёлая работа. Дух Ленинграда подрагивал глянцевым памятником в моих пальцах.

Дед внимательно следил за мной, невпопад комментировал фотографии:
— Вот видишь, как выглядел этот дом. Сейчас рекламой закрыли, ни черта не видно. А вот тут мы с друзьями гуляли до Летнего сада, который сейчас выстригли, как педика, прости Господи.

Я листал толстый альбом и слышал задумчивые рассуждения хмелевшего хозяина:
— Раньше всё было иначе. Это теперь бросают окурки на улицах. После блокады люди сами город восстанавливали и поднимали. Разве кинешь что-то на улице, которую сам подметал? Разве изгадишь стену, которую восстанавливал твой отец? Вот ты говоришь — Москва…

Я на секунду поймал себя на мысли, что про Москву не говорил.
— Ленинград — это совесть. Он не лучше других городов и не хуже — просто его миссия другая.

Если Москва—лицо нашей родины, то Ленинград—это душа. Ленинград—это мы!
— Всё верно,—заметил я, перелистывая очередную большую страницу.—Только боюсь, что теперь с душой у нас всё плохо.
— Понимаешь,—протянул Илья и достал из холодильника банку рыбы. Тип рыбы я определить не смог, так как этикетка отсутствовала.—Так я тебе и говорю,—продолжил Илья.—По кому будут мерить Ленинград? Я вот помню, мы с женой, кажется, в восьмидесятых, летом, ездили в санаторий в Белоруссию. Когда соседи узнавали, что мы ленинградцы, так знакомились сразу, относились по-особому, с уважением. Мы, живя в этом городе, будто получали незаслуженную медаль, которой можно было хвастаться. Вот Мариной город мог бы гордиться. Ох, сколько она пережила и как достойно, Лёша. А мы закапываем и забываем. Мне знакомый прапорщик как-то сказал: служба родине подразделяется на три этапа. Первый—любовь к родному дому, второй—уважение к уставу, третий—забота о достойных людях. Вот и возникает вопрос, Лёха: как так получилось, что мы всё это просрали?

Я не нашёлся что ответить.

В дверь позвонили, и Илья, шаркая тапками, ушёл открывать. Спустя некоторое время он привёл неуверенно упирающегося внука бабушки Марины.
— Вот Саня!—показал дед на пухлого молодого человека, удивлённо вращающего глазами.
— Мы знакомы,—слабо улыбнувшись, кивнул я в ответ.

Саня производил впечатление запуганного, неуверенного и что-то скрывающего человека. Он говорил быстро, не мог долго удерживать взгляд на чём-то одном и постоянно сбивался.
— Есть диван, почти новый,—выпалил гость и сел за стол на табуретку деда Ильи.

Илья, вздохнув, ушёл за новым посадочным местом в свою комнату. Парня звали Александр Черновой, ему было лет тридцать на вид и шестнадцать на голову.

Вернувшись со стулом, Илья налил Сане рюмку и весело потребовал рассказать о себе. Гость, немного потупив, опрокинул стопку и сбивчиво поведал, что приехал из небольшого подмосковного города, чтобы разобраться с квартирой. О существовании бабки он узнал через два дня после её смерти от родителей и по их наставлению поехал смотреть и очищать своё будущее жилище.
— Я вообще-то не хотел сюда ехать,—пытаясь зацепить жидкую рыбку, отметил Саня.—Родители настояли. А мне-то что?.. Я поехал. Сказали—и поехал. А что ещё делать? Что я?..
— Так ты с родителями живёшь?—поинтересовался я.
— Да, и неплохо. А что? Кормить—кормят, докупили два ядра в комп и мозгов две планки. Летом оптику провели, играю. А ты, кстати, не играешь?
— Во что?
— Ну, «Лайнейдж» там, «Танки».
— Танки армии нужны!—Илья услышал знакомое слово и явно повеселел.—А то всё вёдра и мозги.
— Ядра,—уточнил обиженный геймер и начал рассказывать о тонкостях строения компьютера.

Пришлось переводить тему разговора.
— Значит, Марину Константиновну совсем не знал?
— Нет. А что мне? У неё своя жизнь, у меня своя. Зачем лезть? Я должен, что ли?—неопределённо повёл плечом Саня.

Удивительно, насколько быстро складывается негативное впечатление о человеке. Черновой прямо-таки в трёх предложениях рассказал о себе всё. Я сидел, смотрел на его бегающие глазки, неловкие движения, ловил обрывки бессмысленных разговоров и думал: как ведь это бывает. Некоторые стремятся, работают, стараются достичь чего-то, стыдятся, когда не могут родителям помочь, вкладывают, вкалывают, снимают квартиры и живут в долгах, работая на износ. А некоторые, такие как Саня, получают квартиру, ежемесячные деньги от родителей, ведут нехитрый паразитирующий образ жизни, играя в компьютерные игры, и вечно обороняются от внешних раздражителей в виде обязанностей, работы и помощи кому-либо. Как правило, успешно обороняются.

В умных книгах пишут, что в каждом человеке есть частица космоса и вселенского разума. Писатели нередко в отрицательных героев вкладывают самый главный смысл истории, заставляя против собственной воли сочувствовать глупцам и путаться в понятиях добра и зла. Подростковое разделение мира на чёрное и белое превращается в бесконечное копание в сером. Бесконечные серые оттенки…

Надо и в нём найти что-то хорошее. Ведь он тоже человек. Пока Илья рассказывал про танковый взвод, который ему доверили готовить к параду, я выполнял упражнение на лояльность к людям и старался найти в Сане что-то хорошее, разглядывая его пухлое обиженное лицо с небольшими удивлёнными глазками и подрагивающей нижней губой.
— А я не служил, мать как раз получила премию, продали кое-что и купили мне билет, так что можно было спать спокойно,—веселился подопытный, рассказывая свою краткую армейскую биографию.—Да и нечего там делать. Одни дебилы сейчас в армию попадают.

Краем глаза я увидел, как Илья вздрогнул от этой фразы, но удержался от комментария. А Сане

градус придал уверенности, губа успокоилась, траектория движения глаз стала проще.
— Саш, а семья у тебя есть? — я всё ещё честно пытался…
— Так мамка же, — удивился Черновой.
— Нет, ты не понял, я про девушку.
— А, это… — протянул он и задумался. — Была Ленка, но она маме не понравилась. Не хотела пол мыть, как ей говорили, — всё по-своему. Ныла постоянно, что ей что-то не нравится. Короче, нам такие не нужны, других найдём. Нехозяйственная какая-то. Да ещё и родить хотела.

Дед заинтересовался трагической историей любви.
— Так, а как же ты девицу выбирал и сразу не приметил, что она по хозяйству слаба? И что значит «родить хотела»?
— Да нормальная была. Она тогда заканчивала учиться, я думал, что получит свою бумажку и возьмётся за голову. Но учёба отнимала много времени, и ещё непонятно было — с кем она там учится. Поэтому я надавил и заставил её бросить эту хрень.
— Ты про учёбу?
— Да, про эту херню. Надо — купи себе диплом или поступай на вечерку, если бумажка нужна. Зачем утром время тратить? А что не так? Что не так? Вы не согласны?

Мы с дедом промолчали. Точнее, я Сане ответил, но про себя, так как дед меня сразу бы вычеркнул из списка приличных ленинградцев. И Саня продолжил:
— Потом сказала, что беременна, но мама была против. Сказала: рано.
— Что значит рано? — изумился Илья. — Это же не простуда на губе — вы же вместе… ну…
— Да, дед, но она обо мне не думала. Короче, мама ей денег дала, чтобы аборт сделала, и за это обещала нам квартиру купить. Сказала: обживёмся, вот и родим. Ленка всё сделала как надо, но на этой почве у неё поехала крыша. Ныла ночами, что ребёнка убила, ну и так далее. Мама тогда сказала, что пока она не успокоится, никакой квартиры нам не даст.
— Боже ж ты, — пробормотал дед. — Неужели не могли дитё сохранить? Почему рано?
— А погулять? — пришло время удивляться Сане. — Что ж я, всю жизнь гробить буду? Короче, мама дала ей ещё денег, и мы её отправили обратно.
— Куда вы её отправили? — вырвалось у меня.
— Не знаю, — пожал плечами Черновой, — наверное, к своим уехала. Она не из Москвы.

Не сложилось, подумал я, эксперимент окончен.

Дед терпел дольше. Мне кажется, что он тоже пытался его понять, криво улыбался и изредка наполнял его стопку.
— Я сейчас вернусь, — подмигнул внук-паразит и вышел из кухни.

Дед тоскливо посмотрел в окно, затем перевёл на меня взгляд:
— А я тут тебе про ленинградскую совесть говорил. Видишь? Теперь петербуржец, — он покачал головой. — И воспитает такого же или двух. А они ещё двоих. И пошло-поехало. Оторванное поколение.
— Ну при чём тут поколение? — не согласился я. — Тут дело в человеке. Во все времена были разные люди, ничего не поделаешь.
— Нет, раньше человека исправляло общество, идеология. А сейчас что? Либералы хреновы: делай всё что угодно, только другим не мешай. Эта дорога ведёт нас к разрухе. А могли ведь такую державу построить, Лёша! — Илья хлопнул ладонью по столу. — Ты карту видел? Какие же мы огромные! Почему мы такие огромные и такие идиоты?

Вошёл Саня с бутылкой вина.
— Это вам, — он с гордостью протянул её Илье. — Друг часто из «рашки» выезжает, вот привёз мне из Испании.

«Что он несёт?» — подумал я.
— Из чего выезжает? — напряжённо уточнил дед.
— Ну, из «рашки», из страны. Вот ты даёшь, — ухмыльнулся Саня.

Я не страдаю искажённым чувством бешеного патриотизма, но Санино слово «рашка» вызвало во мне прилив тупого раздражения. Возможно, на каком-то генном уровне я сам никогда не смог бы произнести такого слова по отношению к земле, за которую мои предки заплатили слишком большую цену. Историческая память не позволит произнести подобные слова к той родной земле. Возможно, это звучит высокопарно, но мне плевать, как это звучит.

Дед Илья бутылку не взял, и, судя по всему, подобные мысли одолевали и его.
— Хорошее вино, — пожал плечами Черновой и сел за стол.

Дед молча налил себе ещё одну и многозначительно посмотрел на меня. Я отхлебнул остывшего чаю — прошло уже два часа. Неловкое молчание нарушил будущий петербуржец:
— Я спросить хотел: вам барахло-то не нужно из квартиры? А то выносить на помойку лень. Может, вы заберёте?.. За символическую плату, разумеется.

В следующее мгновение рука деда Ильи очень быстро и точно нашла шею Сани. Всё произошло настолько быстро, что я даже не успел понять, что произошло. Впив свою ладонь в кадык Чернового, дед резко притянул его к себе. На мгновение мне показалось, что горе-продавец даже протрезвел.
— Ты не смеешь так называть нашу страну — это раз, — громким шёпотом произнёс Илья.

Саня попытался высвободиться, но дед продемонстрировал неожиданно крепкий захват.
— Ты не смеешь называть вещи Марины барахлом, щенок,—это два,—громче продолжил бывший офицер.—Ты не ленинградец, пшёл вон отсюда… Три!

Черновой не на шутку перепугался, вырвался и затараторил:
— Ты перепил, что ли?! Чё хватаешь меня? Какой ленинградец? Нет никакого Ленинграда.

Он быстро переводил взгляд с Ильи на меня и обратно—видимо, ждал моей защиты или поддержки.
— Пошли вы,—обиделся Саня и вылетел с кухни.

Было слышно, как в коридоре он возится с замком.
— Там не закрыто,—хрипло крикнул дед, и через секунду дверь захлопнулась.

Несколько минут мы просидели в тишине. Точнее, единственным звуком был приглушённый голос комментатора, радующегося очередному точному броску наших волейболисток.
— Ты точно не пьёшь?—нарушил молчание Илья.
— Точно,—подтвердил я и вновь поставил чайник на огонь.
— Эх, не сдержался, едрить его пень. Но как же иначе?
— А есть ли смысл? Ведь, в сущности, ничего не меняется. Эти «Сани» всё равно приедут, и пропадёт «Ленинград».

Дед вздохнул, затем чему-то своему ухмыльнулся:
— Зато у меня дома, в моей квартире, будет порядок.

Мы посидели ещё часок. Илья хотел подарить мне альбом, но я тактично отказался. Вот протрезвеет, предложит ещё раз на ясную голову, тогда, может быть, я без сожаления и приму подарок. А сейчас я понимал, что для него это не просто книга.

Наши победили, несмотря на то что неведомые строители всё глушили сигнал телевизора.

Той ночью я помню, что спал каким-то поверхностным беспокойным сном. За окном проезжали одинокие машины, слева в палисаднике покоился Рыжик, дед Илья что-то складывал в очередную коробочку. А где-то в большом альбоме шли на работу и улыбались счастливые ленинградцы.

Гамлет Арутюнян

Не студи душу, хиус

Красноярск: ид «Класс Плюс», 2016

● ● ●

Кто эту затеял игру?
В словах то сарказм, то усмешка.
Я скоро, наверно, умру,
И люди промолвят: «Был грешник!»

Наполнится слухами день,
Лишь спать будет старый скворечник.
Придут из других деревень—
Кто медленно, кто-то поспешно.

А кто-то вдруг скажет: «Беда!
Ни лжи в нём не помню, ни фальши.
Идите скорее сюда,
Проститесь и следуйте дальше».

Когда же начнёт вечереть,
Поминки, как водится, справят.
Лишь лес будет грустно смотреть
На ветки, что люди оставят.

● ● ●

Когда наступает декабрь,
я хмурюсь и плечи сутулю.
ему показал бы я дулю—
Ведь он по натуре дикарь.

Он бьётся, он хлещет, он—юн.
В нём кровь молодая горит.
Я ветер декабрьский пью,
и он обжигает, как спирт.

Он ходит за мной по пятам
и так иногда заканючит,
нагонит строптивые тучи
по весям и городам.

И я по натуре—дикарь.
Я хмурюсь и плечи сутулю.
Ему показал бы я дулю,
но только вздыхаю: «Декабрь».

Александр Карасёв

Духовная жизнь

Капрал-шеф

Eins, zwei, Polizei,
Drei, vier, Grenadier.
Funf, sechs, alte Hex,
Sieben, acht, gute Nacht…[1]

С руками за спину, в белой фуражке легионера и камуфляже под джунгли, перед строем прохаживается капрал-шеф, ветеран 13-й полубригады. Суетливые французы выбегают из казармы, застёгивая синие мастерки на ходу.

Капрал-шеф негромко ругается по-немецки:

— Шайзе…

Прохаживаясь перед строем вот уже девять минут, он мысленно махнул рукой на этих недоумков-французов.

Русские давно стоят, один к одному. Это крепкие парни. Они не ёжатся от холода, как французы. Капрал-шеф взглянул на русских одобрительно: «Гутэ зольдатэн!» Ему скучно прохаживаться и ждать доходяг-французов. Ему хочется поговорить с русскими.

Поправив белую фуражку, капрал-шеф подходит к строю. Обращается к левофланговому волонтёру:

— Насьоналите?

— Русский.

— Спецнас?

— вв, внутренние войска.

— А… Спецнас!

Капрал-шеф идёт дальше:

— Насьоналите?

— Русский.

— Насьоналите?

— Русский.

— Насьоналите?

— Русский.

— Спецнас?

— Артиллерия.

— Спецнас… Насьоналите?

— Украина.

Капрал-шеф задумался. Он расправляет морщины под козырьком фуражки. Махнул рукой:

— Русский! Насьоналите?

— Эстония.

— …Э-э… Русский!

Следующим стоит сенегальский негр.

— Русский?

— Но, но…

Русские валятся от смеха. Капрал-шеф оборачивается к ним с улыбкой на тонких губах. Последние французы выбежали из казармы и стали в строй.

Капрал-шеф обводит строй взглядом. Строго смотрит на опоздавших. Строй замирает. Капрал-шеф поворачивает строй французской командой и французской командой, с выдержкой, командует:

— Ан аван… марш!

Волонтёры идут в черноту самого раннего утра. Подъём здесь в четыре. Русские идут, а сонные французы бредут. Вдруг капрал-шеф командует по-русски:

— Стой!

Русские останавливаются, они улыбаются. Французы налетают на их спины. Капрал-шеф приводит строй в порядок, делает внушение французам. Миша Кудинов (здесь он Курский) переводит своим:

— …Я говорю русским на французском… они понимают… Я говорю на русском… они понимают… Я вам говорю на французском — вы не понимаете… Говорю на русском — вы не понимаете…

Строй огибает крыло форта.

— Альт!.. Дэми тур а друат!

Строй поворачивается направо.

— Рэпо.

Капрал-шеф взбегает по ступенькам, стучит в дверь. Окна столовой черны. Наконец вспыхивает свет в прихожей. Доносится ворчанье повара, капрал-шефа впускают. Волонтёры негромко переговариваются…

— Капораль-шеф!.. Капрал идёт…

Капрал-шеф сходит по ступенькам. Улыбается, объясняет для русских:

— Мадмуазель дормир, — приложил руки к уху, — капораль-шеф трэ нэрвоз.

Миша переводит:

— Мадмуазель спит, капрал-шеф (повар) очень нервный.

Русские смеются.

— Гард а ву!.. Дэми тур а друат!.. Ан аван… марш! — командует капрал-шеф, и волонтёры идут обратно.

1. Слова из популярного в девяностые немецкого шлягера.

Они рассядутся в классе, с автоматом с напитками и пепельницей из старой французской каски, чтобы прийти позже. Раз «мадмуазель дормир». Мадмуазель — вольнонаёмная помощница повара. Для француженки это очень даже интересная блондинка.

Белая фуражка капрал-шефа плывёт в темноте. Он шагает справа впереди, с руками, заложенными за спину. Полукеды волонтёров дают только мягкий звук — издалека это как шелест мокрой листвы. Спят старый форт и деревья. Утром здесь пахнет сыростью и красным вином.

Вдруг капрал-шеф останавливается:

— Стой!

Оборачивается. Машет вперёд рукой:

— Айн-цвай, полицай!

Русские весело берут шаг. Французы в недоумении поспешают за ними.

Женя

На машине было нельзя — выпил. Петров вышел из подъезда через вторую дверь на улицу… Погорячился с одной майкой. Вечером будет прохладно… Развернулся и пошёл обратно, соображая, что он как раз зайдёт сначала в магазин, выпьет дома ещё одну бутылку пива, оденется посильнее — безрукавку хотя бы наденет, он любил её, — вспомнив сейчас язвительную критику жены, сказал негромко:

— Да пошла ты!

Жена сегодня поехала в Репино на дачу к тестю, а завтра, в субботу, Петров должен был к ней присоединиться.

Светленькая хорошенькая девушка, обычно приветливая, спала за прилавком алкогольного отдела. Петров взял в холодильном шкафу банку пива, из тех, что дешевле по акции, в шутку пожелал поднявшей голову девушке доброго утра, улыбнулся, расплатился:

— У вас здесь как ссылка.

— Каторга! чистая каторга…

В кассе общего зала взял ещё пачку сигарет и презервативы. Поднялся к себе на лифте (магазин был внизу под домом).

Он был энергичен, «в настрое», и знал, что этим состоянием нужно немедленно воспользоваться, иначе всё пройдёт, нельзя тянуть, упустить этот момент… Не допил пиво, закрыл кружку блюдцем, поставил в холодильник. Нашёл в шкафу свою любимую безрукавку (рукава со старой джинсовой куртки он отпорол сам), постоял в ней у зеркала — нормально. Хотел пододеть вместо футболки что-то с длинными рукавами, но передумал — так лучше (руки у него были мускулистые). Достал в кармане куртки складной нож, сунул во внутренний карман джинсовки, рядом в другой карман — телефон, проверил деньги, права — паспорт не брать, сигареты, зажигалка… И тогда уже пошёл, напевая песенку:

— Как-то шли на дело, выпить захотелось…

У него не было волнения: твёрдая решимость и порыв, уверенность. Он нравился себе таким.

Июльский хороший ясный вечер, время белых ночей. Только слегка продувает ветерком. Петров перешёл дорогу у гостиницы «Россия», чтоб не идти на подземный переход, а пройтись по парку. Вспомнил, что на телефоне нет денег. Направился к переходу на Бассейной, где в магазинчике можно было положить деньги без комиссии. Всё он делал собранно, лицо его было строгим, взгляд исподлобья. Но в магазине, продававшем телефоны, улыбнулся девушке, и та всё-таки нашла ему сотенные купюры для размена тысячи.

Выкурил сигарету ещё перед подземным переходом — чтоб не арестовали раньше времени. Жетон достал заранее — заранее приготовил два, туда и обратно. Как ехать, он знал хорошо, но когда входил в вагон, со схемой сверился: пересадка на «Невском проспекте», переход на «Гостиный двор».

Напротив сидела немолодая подвыпившая пара — с какой-то вечеринки, прилично одеты, он спал, а она его поддерживала. Помятая крашеная блондинка, а мужик, когда очухался и поднял голову, — пожалуй что и ровесник примерно. Да и она, если всмотреться… Вот так они сейчас и выглядят, бывшие одноклассницы…

Петров выглядел моложе своих лет. Ему все это говорили. Может быть, оттого, что занимался физическим трудом на свежем воздухе. А когда-то тоже он закончил никому не нужный и скучный институт, когда-то у него был бизнес, в прошлой жизни…

— «Сенная площадь». Следующая станция — «Невский проспект», переход на станцию «Гостиный двор»…

Ещё были две остановки в новеньком блестящем вагоне, с поручнями гнутой конструкции, электронным табло, показывающим станции бегущей строкой и время: девятнадцать сорок пять… Нормально…

На «Приморской» Петров не бывал три с половиной года и забыл, как это здесь всё выглядит, — иной раз он намеренно выходил на «Василеостровской», даже если было дальше потом. Первым делом он стал искать пивной бар. Или бар он не нашёл, или вместо бара был уже магазин, но в нём девушка продавала живое пиво. Как Петров ей ни улыбался, выпить пиво прямо в магазине девушка не разрешила. Пришлось рисковать и пить у входа — там был не один такой Петров.

Пили пиво ещё три мужика по отдельности и два парня компанией, с опаской выглядывая ментов по сторонам. Только толстяк рядом невозмутимо попивал из литровой бутылки, растягивая удовольствие, и закусывал чем-то сушёно-морским из пакетика. Петров курил. Парни смеялись между собой. Петров взглянул на них,

на толстяка, на другого... Ни слова друг другу, ни улыбки, каждый сам по себе. Вспомнил своё давнее наблюдение: такой это холодный город...

На остановке он зашёл в маршрутку ПАЗ.

— Знаю,—говорил нерусский шофёр,—там гаражи.

Гаражей никаких Петров не помнил, знал уже, что такое таджик за рулём и как ему верить в направлении движения, высматривал дорогу сам. Ехать было минут десять (пешком можно было пройти). И вышел точно у нужного дома. Номер он помнил приблизительно—неправильно и сказал водителю, не так уж тот и виноват. А по виду помнил... Точно он. Вроде как-то немного по-другому. Но он...

В подъезд попал сразу—заходила немолодая женщина, ехавшая с ним в маршрутке.

— Вам какой?—спросила она в лифте.

— Четырнадцатый.

Женщина посмотрела на Петрова внимательно, он сам нажал на четырнадцатый, а она—на пятнадцатый. Вместо обшарпанного, с расплавленными кнопками и запахом мочи, лифта здесь был теперь новенький, светло-серый. Петров всегда обращал внимание на новшества и как-то радовался им.

Общая дверь на площадку закрыта. Звонки справа в два ряда. Сообразил по расположению, нажал—вроде не работает; нажал на другой, третий. Волнения не было. Дверь открыл лысовато-белёсый мужчина с брюшком.

— Мне в крайнюю справа,—Петров показал рукой.

— Так и звоните туда.

— Там звонок не работает.

Петров зашёл (лысоватый был вынужден отстраниться). У двери звонок тоже не работал. И вообще был каким-то странным, советским ещё... Что-то не то, непохоже...

Петров обернулся:

— Здесь Эльвира живёт? И сын у неё маленький, Ваня.

— Здесь живут старенькие бабушка и дедушка,—сказал лысоватый с ехидцей, как это в манере у питерцев.

— Спасибо.

...Может, тогда тринадцатый?.. Да нет. У неё телефон заканчивался на «13», так бы он запомнил... Посетил он и тринадцатый, и двенадцатый, и одиннадцатый, другие потенциально похожие по памяти этажи, включая непохожий девятый.

Больше нигде к нему никто не выходил и не открывал общую дверь. На тех этажах, где было открыто, женщина за дверью крайней справа квартиры ответила, что никакой Эльвиры здесь нет, а другую ему открыла нерусская женщина, наверное, киргизка (с узкими глазами). Он глянул на обстановку у левой стены—это точно не то.

— А Эльвира здесь не живёт?.. Извините, я ошибся.

Женщина улыбнулась.

Постоял на лестничной площадке. Вот она откроет? «Я просто хотел на тебя посмотреть». Посмотрит с минуту и пойдёт. Всё. Больше не нужно ничего. Просто посмотреть... А там, если что, по обстановке... Петров это сразу продумал, повторял теперь. Для разных обстановок он взял даже нож и пачку презервативов. На самом деле он не представлял себе, что мог бы делать дальше, если б ситуация как-то обернулась... «Как-то шли на дело...»—привязалась, зараза... Петров давно не мог терпеть блатной шансон, а тут привязалась. В ранней юности они такое горланили с пацанами. Потом действительно многие на зоне оказалась. И многих уже нет в живых...

Ещё он ездил по этажам, звонил в звонки. Часть звонков не издавала звуки. По квартире киргизки, куда теперь заходила толпа весёлых гостей-киргизов и все ему приветливо улыбались («Одни киргизы нормальные люди здесь»), понял, что пошёл по второму кругу.

Вышел на площадку передохнуть. Там была полная окурков пепельница из пивной банки, отрезанной бахромой, как это делают в дешёвых кафе... А курить нельзя сейчас в подъездах... молодцы... А попробуй поймай... Закурил... Попытался представить технически, как менты будут ловить курящих в подъезде... Совсем здесь как-то тесно стало... Только и делаешь, что ментов шугаешься, полицаев теперь... Как затравленный волк в оккупации... Каждая сволочь хамит, каждая—чего-то боится: грабить их, блин, пришли...

Смотрел на реку из окна, вспомнил, как они гуляли и сидели на коряге на берегу. И пришло к чему-то: «В одну реку два раза не войдёшь...» Как узнать адрес?.. По её странице «вконтакте» Петров понял, что она снова ушла от мужа и, судя по всему, там же теперь и живёт (Петрову хотелось, чтобы одна), но узнать что-то конкретнее было невозможно, тем более что Петров сам не вёл и не мог терпеть ни «вконтакте», ни «Одноклассники»... Телефон подруги Светки он тоже тогда стёр. Эдик... у него и не было его номера... Спуститься—посмотреть её машину у дома. Сразу не сообразил. Да и сразу нужно было входить, пока дверь за женщиной не закрылась... Посмотрю, войду потом с кем-то...

Вот же её машина... Она—не она?.. BMW, две двери, чёрная, только грязная какая-то... Стоит там, где она бы её и поставила... Но вроде та какая-то чуть не такой формы была... Модели её BMW и вообще никаких моделей BMW Петров не знал. Ударил носком кроссовка по переднему колесу, чтоб сработала сигнализация,—ноль реакции. Больше не стал. Не узнал, в общем, машину. Пока версия... Решил сходить посмотреть, какие там дальше ещё дома есть... Может, домом ошибся всё-таки, поторопился выйти...

Вот так вот этот дом и выступал, а там магазин был, где он (или они вместе) брал иногда вино и продукты. Петров вспомнил бежавшую перед ногами крысу в последнее их утро. «Да они постоянно тут бегают»,—сказала тогда Эльвира… А машина тогда примерно там же и стояла… Петров вышел к следующему дому… Нет. Это всё уже не здесь. Посмотрю дальше и вернусь…

Он шёл мимо непохожих домов, смотрел их номера, номера были тоже непохожими, тридцать уже какими-то. Дома шли по левой стороне. Справа была дорога и река за ней, Нева или Малая какая-нибудь Нева.

— Подскажите, пожалуйста, мне нужен сороковой или сорок второй дом.

Женщина остановилась:

— Это вообще-то странно, здесь нечётные дома.

— А туда они убывают?—Петров это и сам уже сообразил.

— Да, убывают.

— Спасибо…

А вот таджику было не странно, а запросто: гаражи… Он пошёл ещё посмотреть, как они убывают, уже шли двадцатые номера, а справа за дорогой действительно теперь были гаражи… Гаражи не новые. Всё ясно…

Вернулся дворами наискосок. Озираясь, поискал место для туалета.

…BMW у дома больше не было… Петров толком не соображал ещё, что это может значить… Зато пришла мысль: у неё балкон был не застеклён (там была целая история с этим). Стал рассматривать балконы. Все застеклены, и только два новых, белых пластиковых. Посчитал пальцем этажи, раза три сбиваясь (всё же он был пьян, хотя сам не замечал этого): пятнадцатый и девятый. На девятом он вроде был. А на пятнадцатом?.. А почему он, кажется, не был на пятнадцатом?.. Странно… Как отводил кто-то… Пятнадцатый… Вполне пятнадцатый… Петров пошёл к подъезду. Камня, которым он заложил дверь, чтоб не закрылась, конечно, уже не было, но она и не захлопывалась—магнитный замок не работал.

Квартира на пятнадцатом этаже была её квартирой. Петров сразу узнал эту синюю дверь. Он даже вспомнил, где у неё есть изъян,—раньше он занимался стальными дверьми. Прислушался. За дверью смутный женский и явный детский голоса. Позвонил.

Кто-то тихонько подошёл к двери. Петров стал прямо перед глазком, громко сказал (у него получилось грубо и сипловато):

— Открой.

Голоса за дверью затихли.

Он постоял так и пошёл.

— Сюда этот Женя приходил,—сказала вошедшей в квартиру Эльвире женщина, с которой Петров ехал в лифте.—Я ему не открыла дверь.

— Какой Женя?..

Духовная жизнь

Людей в парке почти не было. В прудах плавали утки, и подлетали большие вороны. Мызников обошёл пруд, спустился к берегу, там, где у воды лежал кусок толстого бруса. Сидел и наслаждался природой. Вода была прозрачной и чёрной, посредине пруда был островок, поросший настоящим лесом. Вокруг было тихо, насколько это возможно утром в городе, тепло. Мызников снял лёгкий светлый пиджак, по привычке поискал глазами вешалку, согнул пиджак вдвое и положил себе на ноги.

Утки сначала, завидев его, отплыли от берега, а теперь подплыли ближе и плавали перед Мызниковым беззаботно, взлетали, чертя лапами воду, опускались и плыли, оставляя на воде красивые сходящиеся линии. Вороны на берегу островка суетились и каркали, будто обсуждали какую-то важную общую проблему. Мызников работал преподавателем, и вороны напомнили ему научную конференцию. Что-то плюхнулось в воду. Теннисный зелёный мячик. Мызников обернулся. Пёс, с белой лохматой мордой, смотрел на него из кустов.

Мызников с улыбкой поднялся с бруса и отошёл в сторону. Пёс, какой-то домашней или бывшей охотничьей породы, в жилетке и в ошейнике, спустился к воде, с секунду замялся, решительно зашёл в воду, поплыл, схватил зубами мячик, на берегу отряхнулся—на брюки Мызникова полетели брызги.

— Бунька!—звала пса женщина.

Бунька с мячиком в зубах взобрался на насыпь и уже бежал рядом с женщиной, а Мызников стоял с улыбкой на губах.

Потом он поднялся на дорожку и, обходя по берегу все попадавшиеся пруды, пошёл к роддому Цоя. Теперь в этом здании, выходившем из парка Победы на Кузнецовскую, располагалась кардиоклиника.

У клиники стояли «газели» скорой помощи. Мызников прошёл к кирпичной стене между зданием клиники и другим зданием администрации парка. В разных местах стены время от времени проступала красная надпись «Цой жив». Надпись своевременно ликвидировалась, поэтому жёлто-бежевая стена была в латках чуть иного колера. Иногда «Цой жив» скорее даже не читалось, а чувствовалось под слоем краски. Мызников изучил стену, прошёлся перед фасадом клиники, в который уже раз внимательно рассматривая двухэтажное здание.

С этого места Мызников шёл домой. Но сейчас, сделав над собой усилие, он направил себя в церковь на другую сторону парка. На самом деле ради церкви он и зашёл сегодня в парк, только

обманув себя прогулкой. Это была небольшая новая часовня, построенная года три назад.

С дубовой аллеи Мызников свернул на мостик с наивными замками молодожёнов на перилах, пересёк главную аллею с бюстами дважды Героев Советского Союза, шёл и думал о Цое, что на самом деле он жив и он святой человек, вспоминал концерт Цоя, на котором был в юности, а потом думал о том, что идёт по пеплу многих людей. На территории парка Победы во время блокады в заводских печах сжигали трупы, а пепел рассеивали прямо здесь. Мызников представил себе холодную чёрно-белую зиму, ободранный пустырь, мрачные трубы завода, измождённых людей, тянувших детские санки с телами своих умерших близких.

В церкви шла служба. Мызников неумело перекрестился у входа, за спинами людей осторожно прошёл вправо. Увидел, что закрывает обзор женщине за церковным прилавком, сместился ещё дальше, к окну и к иконе святого Александра Невского.

Парень в серой рясе читал церковнославянский текст. А за вратами свершал какое-то действо священник — Мызникову показалось, что над гробом и что это отпевание. Оглянулся на выход — выход закрывали опечаленные женщины, и неудобно было уйти.

Но никто не плакал, людей было не так много: пожилые женщины, дети и мужчина с ребёнком на руках — всего человек пятнадцать. Перед Мызниковым стояла молодая женщина в джинсах, а мужчина с ребёнком, видимо, был её мужем. Священник ходил за вратами, махал и брызгал, время от времени делая громкие высказывания. Женщины время от времени крестились, и Мызников внимательно крестился, боясь перекреститься не в ту сторону.

Открылись врата. Вышел священник в голубой рясе, напоминавшей костюм мушкетёров. Оказалось, что никакого гроба нет, а, должно быть, это обычная текущая служба. Священник дымил кадилом во все стороны и произносил по-церковнославянски — отдельные слова Мызников ухватывал. Потом совсем непонятно читал быстрым красивым голосом парень.

Откуда-то сверху звучало пение, Мызников вышел ближе, поднял голову: наверху была площадка с хором. Теперь Мызников стоял так, что сам собой оказался в очереди к священнику, и за ним стали выстраиваться женщины. Священник причащал детей. Мызников вспомнил, что в длинной ложечке это сладкое вино и что это причастие, но не знал, что ему делать в таком случае, и хотел отойти.

— Вы идёте?.. Нет-нет, сначала мужчины, — сказала молодая женщина с улыбкой, и Мызников остался в очереди.

Дети причастились, к священнику подходил мужчина с ребёнком на руках. За ним, как в полусне от необычных навалившихся впечатлений, продвигался Мызников.

— Подходят только те, кто исповедовался. Молодой человек!..

Мызников не сразу понял, что обращаются к нему. Женщина нетерпеливо перешла вперёд, взглянула на него и отвернулась.

Закончилось причастие. Священник елейным голосом поздравил прихожан. Люди расходились, некоторые задерживались у церковной лавки, бабушки цыкали на зашумевших детей. Священник подошёл к лавке и давал указания продавщице. Мызников стоял у иконы Александра Невского, пытаясь мысленно обратиться к святому, но не мог сосредоточиться. Подождал, когда уйдёт поп, и вышел из церкви.

Рассматривал уток у большого пруда. Во главе с синеголовым селезнем они сидели прямо на берегу, как на пляже, и совсем не боялись Мызникова. «Глупые вы, — думал он, — улетите на юг, а там вас подстрелят...» Здесь уже не было той природы, пруд был закован в бетон и у берега замусорен, а Мызников сидел на гранитной скамейке. Наконец утки одна за одной прыгнули в воду и поплыли на середину пруда. Мызников пошёл домой; когда обходил пруд по бетонному бортику, вспугнул утку, лежавшую в траве и незаметную издалека.

Больше в церковь он не ходил. Не мог себя направить. Если выбирались с семьёй в город, иногда заходили в Казанский собор. А так молился дома перед иконкой святой Матроны.

Рон Палин

Настя

Настя просыпается глубокой ночью. За дверью соседней комнаты раздаются стоны, чем-то похожие на кошачье мурлыканье. Настя (в немецкой школе её зовут «Анастазья») широко раскрывает глаза и прислушивается. Подобные стоны она слышала и прошлой ночью. Они то обрываются, то возобновляются. Отчего стонет её мама? Вчера за этот вопрос семилетняя Настя получила от мамы звонкую оплеуху со словами: «Это не твоё дело». Раздражающая, гнетущая взрослая тайна нестерпимо давит ей на виски. Она садится на край кровати, опускает ноги на пол и начинает плакать. Плачет горько, навзрыд. В перерывах между потоками слёз качает тяжёлой головой и тихо всхлипывает.

В коридоре, где горит ночной свет и спит Виллин кот, слышатся шаркающие шаги. Настя захлёбывается слезами, задерживает дыхание и замолкает. Вилли—немец с длинными худыми ногами и рыжеватыми щетинками на остром кадыке—хлопает дверью туалета. Оттуда раздаётся кашель, шум воды и громкое сморкание. Потом слышны мягкие торопливые шаги мамы, запах её духов проникает из-под двери. Насте раньше нравился запах маминых духов.

Сначала Вилли, а потом мама возвращаются в спальню. Опять стоны, а потом тишина. Слышно, как пощёлкивают за шторами накалённые батареи. Настя шлёпает босыми ногами по полу, раздвигает шторы и прислоняется лбом к прохладному оконному стеклу. За окном натужно завывает ветер. Яркий свет уличных фонарей освещает пустынную улицу, опоясанную с двух сторон красными велосипедными дорожками. Тени деревьев пляшут на мокрой плитке тротуара с грациозностью тряпичного клоуна. Когда мама пришла забирать её из папиного дома, Настя убежала на чердак. Там на пыльной табуретке лежал тряпичный клоун. С куском жёлтого поролона, торчащим из живота.

Настя подбирает с пола куклу, кладёт её на подушку и ложится, свернувшись калачиком, на кровать. За стеной похрапывает Вилли. Она не может уснуть, отбрасывает одеяло, садится, кладёт голову на ладони, а локтями упирается в ноги чуть повыше колен. Её локти оставляют красные следы на белой коже.

После ссоры мамы с папой Настя осталась на месяц жить у папы и продолжала ходить в прежнюю школу. По секрету она сказала своей немецкой подруге Ангеле, что скоро уезжает с папой из Германии. На следующий день директор школы повела её к себе в кабинет. Там за столом сидела женщина в полицейской форме и пила кофе из белой фарфоровой чашечки. У женщины были коричневые губы. Немка-мулатка спрашивала её о планах папы, подливала сливки в чашечку и помешивала кофе ложечкой. Настя смотрела попеременно то на чашечку, то на голубоватые глазные белки коричневой женщины и упрямо повторяла, что едет с папой на осенние каникулы в Прагу. Кофейная ложечка постукивала о фарфор. Наконец допрашивающей надоело задавать одни и те же вопросы, и она отпустила Настю обратно на занятия.

Папа крутится на одном месте, шипит и широко расставляет руки по сторонам. Его грустные ласковые глаза кажутся в этот момент необыкновенно красивыми. Он изображает самолёт, и его тонкие пальцы сложены лодочкой. Настя скачет от радости на диване. Папа хватает руками её под голову и колени и крутит по воздуху. До отлёта остаётся всего несколько часов. В розовом чемоданчике на колёсиках уложена одежда Покахонтас и золотоволосая Барби в коротком синем платье. На столе лежит билет на самолёт в Пекин, а оттуда в Хабаровск, где живут бабушка и дедушка. Папа беспрестанно звонит и долго говорит по телефону. Кладёт трубку, задумывается, подходит к комоду и выдвигает верхний ящик.

— Так и есть, твой паспорт пропал,—говорит он тихим голосом, садится на стул и опускает руки и плечи.

— Когда мама приходила и подарила мне говорящую куклу, она что-то искала в комоде. Ты тогда на кухне чай делал.

— Мама украла твой паспорт. Без паспорта мы никуда не можем ехать.

Настя принимается кататься по полу и тихо подвывать. На следующий день мама и Вилли увозят её в соседний город.

Мама танцует на столе. Вилли громко хлопает в ладоши, как будто бьёт подошвами ботинок друг

о друга. Руки у него большие, кончики пальцев толстые.

Учительница в новой школе—длинный нос, чёрные волосы птичьим хвостом—впивается острыми ногтями в её руку и тащит к школьной медсестре.
— Температура в норме. Что тогда с тобой? Почему у тебя такой вид?

У медсестры тонкий гугнивый голос. Она не сводит с неё своих выпуклых птичьих глаз.
— Я не сплю ночью, моя мама и её друг Вилли мучаются и стонут в соседней комнате.
— А ты дверь плотно закрывай и не подслушивай за взрослыми, паршивка такая. Быстро обратно в класс. Смотри, а то попадёшь в интернат для детей-беженцев без родителей.

Мысли в голове у Насти проясняются. Она встаёт с кровати, идёт в гостиную, открывает дверцу и роется в шкафу. Её сухие губы расплываются в напряжённой улыбке. Кот обнюхивает её босые ноги. Настя одевается, собирает свой школьный рюкзачок, укладывает туда шарф и куклу, осторожно открывает дверь и оказывается на улице. Кот проскальзывает за дверь вслед за ней. Она бежит до поворота дороги. Там кончается улица и начинается автострада. Настя слышит звонкое эхо своих лёгких шагов. Дорога пустынна. Луна прячется за тёмным облаком. Она оглядывается: кот следует за ней короткими перебежками. Настя шипит на кота, но тот, как бы в растерянности, застывает на месте и убегает, когда она грозит ему палкой. Она застывает на обочине между высокими деревьями и прислушивается. Тёмные кроны шумят на ветру. Ей становится жутко, к горлу подступает тошнота. Настя сначала бежит, пока хватает дыхания, потом переходит на быструю ходьбу. От холодного воздуха и аромата лесных запахов тошнотворный страх исчезает. Начинает светать. Теперь она узнаёт фасады домов, рекламные шиты и извилины дороги, по которой её увозили от папы. На душе у неё становится легко и радостно. Немного мёрзнут пальцы рук, но холод не забирается под курточку. Там у неё уютно и упорно бьётся горячее сердце.

Он просыпается рано и вспоминает свой сон.

«А английский капитан и его дочка, которых пираты бросили за борт?»—спрашивает Настя во сне. «Другой капитан и матросы другого корабля стараются их спасти».—«А если они убиты и утонули?»—«Всё равно их ищут и стараются поднять на палубу их тела».—«А если не могут найти—бросают на волны венок и грустят»,—быстро, не задумываясь, говорит ребёнок.

Он встаёт с кровати, быстро одевается и спускается в подземный гараж. Ему надо ехать туда, где сейчас находится его дочка Настя. Когда ворота ненавистной виллы откроются, он скажет, что хочет на минуту, перед школой, увидеть и поцеловать свою дочку, что устал от междоусобной войны и признаёт себя побеждённым.

На дороге ещё не так много машин. Он замечает жёлтую курточку на другой стороне дороги и, как от удара большой волны, задерживает дыхание. Затем он разворачивает машину лёгким поворотом руля и останавливается на обочине. Ступает на мокрую траву и опускается на колено. Дочка бежит к нему навстречу, прижимается всем телом, целует, обнимает за шею и шепчет ему на ухо:
— Папа, я принесла тебе мой русский паспорт.

Он держит дочку в объятьях, смотрит на полоску белой кожи между грязными ботинками и заскорузлыми штанинами джинсов, на прояснившийся блёклый небосклон и не сразу, глухим и надтреснутым от волнения голосом, отвечает:
— Хорошо, теперь мы уже точно полетим.

Елена Брянцева

По собственному желанию

А дождь идёт…

Медленно ползут по стеклу тонкие струйки воды. По ту сторону окна — дождь: серый, нудный и нескончаемый. Он стучит и стучит уже который день, нагоняя тоску. Мне видно, как он моет стальные конструкции подъёмного крана, застрявшего в бездействии на заброшенной стройке с полуразрушенным фундаментом и обгоревшим вагончиком. С высоты шестого этажа я смотрю, как в лицо, в его пустую кабину с разбитым стеклом и думаю, что в конце концов дождь просто смоет этот кран с панорамы, как рука художника смывает с полотна неудачно наложенный мазок.

В квартире царит сумрак. Он — как укрытие от пошлости и суеты дня. В нём можно немного задержаться, погоревать над быстротечностью времени или просто зависнуть в состоянии покоя, как давно остановившийся маятник смертельно уставших часов.

За круглым столом, массивным и старым, перед чашкой уже выпитого кофе, как всегда — с прямой спиной и в индийском сари, сидит моя мама. Духовные поиски привели её в зрелые годы к беззаветному служению Кришне. Мама пытается прочесть на дне чашки мою судьбу, зашифрованную в кофейной гуще. Но я почему-то не хочу знать будущее.

— Мам, ну что ты там высматриваешь? Всё равно ничего хорошего уже не случится.

— Любишь ты себя жалеть! — нотка презрения звучит в её тихом голосе. — Уныние — великий грех! Да… Надо иметь большое мужество, чтобы жить в материальном мире! Здесь необходимо бороться за жизнь, а ты имеешь привычку сдаваться без боя!

— Бороться за жизнь! Это звучит противоестественно! Жизнь — изначально данность. Почему меня вынуждают отвоевывать её в вечной борьбе?! Думаю, надо просто уметь пребывать в ней органично и легко, вот как эта муха! Я так и не овладела этим искусством.

На маму мой пессимизм не производит никакого впечатления:

— Ты не муха, и я вижу здесь нового друга мужского пола, — говорит она, разглядывая чашку сбоку.

— Слишком поздно! — грустно улыбаюсь я. — Моё женское предназначение в этой жизни уже исполнено, так что не знаю, стоит ли в ней задерживаться. Пора и честь знать…

Мама вскидывает свою седую голову и устремляет взгляд в потолок:

— Господи! Пошли ей дзэнского учителя с крепкой дубинкой!

И снова молчание, и шелест дождя…

— Знаешь что, дочь? — неожиданно оживляется мама. — Раз уж ты собралась в мир иной раньше срока, то перед этим исполни мою давнюю мечту — составь родовое древо! Могу поведать много интересного, пока жива!

— И то верно! Что я знаю о предках?! — мамина идея зажигает во мне искру интереса. — Вот и начнём с твоей бабушки по отцу. Когда-то давно ты рассказывала о ней, но я забыла. Её звали… — я напрягаю память, — Губата!

— Нет! Гошлаго! Губата была её золовкой.

— Да, да, теперь вспомнила! Странные имена у женщин нашего рода: Гошлаго, Губата, Губара, Гошала!

— Ты права, эти имена очень древние, они встречаются ещё в индийских Ведах. Десять тысяч лет назад их носили жёны полубогов. И вдруг они всплывают у осетин! Как тесно всё переплетено и взаимосвязано в этом мире!

— Так что Гошлаго? Какой она была?

— Сейчас покажу, есть довоенная фотография. Когда мы с родителями жили в Новороссийске, бабуля приезжала в гости.

— Надо же! Как старая женщина-горянка решилась совершить такой вояж?

— Ой! — мамины губы презрительно искривляются. — Для неё это было плёвое дело! Знала бы ты, каким решительным характером она обладала. И к тому же была смелой до безрассудства. Если что задумывала, то всегда выполняла, причём не как ты — через сто лет, а сразу же. В молодости она даже украла из Кабарды невесту для своего младшего брата!

— Да, деградируют потомки! — восклицаю я с усмешкой.

— Ещё бы! — намеренно не замечая моей иронии, отвечает мама. — Что ты хочешь — Кали Юга!

Мама долго роется в семейном архиве и извлекает оттуда средних размеров старую фотографию. На ней среди множества родственников центральное место занимает бабушка Гошлаго. Чёрный

платок закрывает её лоб и впалые щёки. Я долго вглядываюсь в изображение: тонкие черты лица, властный пронзительный взгляд, прямая осанка.
— Очень интересная! В ней чувствуется благородная кровь, и характер отмечен! — с удовлетворением констатирую я.
— Да, волевая была женщина, с мужским складом ума! В селе до сих пор помнят, что Гошлаго приглашали за старшую наравне с мужчинами. Уникальный случай у осетин! И, кстати, пьяных за её столом никогда не было. К ней обращались, как к третейскому судье. Она справедливо и мудро решала все споры, мирила кровников, и её слово было — закон! — с гордостью говорит мама. — Голос у бабушки был необычайной силы! Если что случалось и надо было народ собрать, она как крикнет со своего холма, где дом стоял: «Беда!.. Беда!» — так со всего села из-за реки люди сбегались на сход!
— Почему ты говоришь о нашем доме «стоял»? Ведь он и сейчас стоит.
— Это новый стоит, а старый, родовой, был чуть выше по склону. Когда его снесли, ты была малюткой, не помнишь!

Мама вздыхает, явно тоскуя по прошлому, потом продолжает:
— Гошлаго была мусульманкой, к тому же очень верующей. Молилась пять раз в день, как положено. Её дед совершил хадж в Мекку, что по тем временам было большой редкостью. Видимо, он научил её читать и писать. Она имела свои собственные суждения и представления обо всём на свете, даже об устройстве мироздания. Гошлаго точно знала о существовании кармических законов, поэтому и жизнь, и смерть принимала безоговорочно, как неизбежность. Учила нас вере во Всевышнего, говорила так: «Трудно молиться безликому Аллаху: глазами Его увидеть нельзя, только сердцем! Для этого сильную веру нужно иметь, но не у всех она есть. Поэтому люди пишут иконы, представляют Всевышнего в человеческом облике, чтобы видеть, кому молишься. Аллах не одобряет того, кто поклоняется многим богам, потому что они — только составляющие Его части. Это всё равно что ребёнок придёт к своему отцу попросить о чём-то, но в глаза ему смотреть не будет, а обратится к его мизинцу или уху, например, и будет разговаривать с ним, и восхвалять его, и просить его. Конечно, отец удивится и рассердится! Аллах един и находится во всём, в каждой вещи, особенно в сердце человеческом! Аллах — творец, а творит Он из самого себя. Сердце же — самое совершенное Его творение, оно — вместилище души! Вот возьми эту большую сучковатую палку. Посмотри, какая она некрасивая! Поставь её в угол, приходи к ней каждый день своей жизни, становись перед ней на колени и молись. Со временем эта палка станет святой, как икона, и угол этот станет святым местом, потому что даже в высохшей ветке пребывает Бог, а ты своими молитвами заставляешь его проявиться! Милость Аллаха не имеет пределов! Если чего-то желать сильнее всего в жизни, Он обязательно тебе это даст».
— Вот вам и угнетённая женщина гор! Откуда такое знание? — удивлённо спрашиваю я.
— Духовный опыт прошлых жизней! Она знала Истину! — с твёрдой уверенностью говорит мама. — Все удары судьбы Гошлаго принимала с большим смирением, поэтому гнулась, но не ломалась! Тяжёлую она прожила жизнь, много страдала, девятерых детей похоронила.
— Боже мой! Девятерых?! Как это возможно?
— Ещё как возможно! — мама выдерживает многозначительную паузу, как хорошая актриса, и ровным голосом продолжает: — Рождались дети живыми, здоровыми, но до двух лет не доживали. И что странно, только однажды смогли понять причину смерти: от болезни. Как Гошлаго выдержала всё это, один Бог знает, но вера её не поколебалась! Причиной этих несчастий она считала свой брак с Сосланом. Думала, Аллах гневается на неё и наказывает за то, что вышла замуж за иноверца.
— И какой же такой веры был мой прадед? — спрашиваю я лукаво, заранее зная ответ.

Следует неловкая пауза, мама опускает глаза в пол и застенчиво произносит:
— Ну, нашей, осетинской…

Мне вдруг становится пронзительно жаль её и горячо в сердце.
— Мама! Ты иногда бываешь такой смешной, — грустно улыбаюсь я. — Значит, он был наполовину — христианин, наполовину — язычник?
— Ну, что-то в этом роде…
— Ладно, что же было дальше?
— А потом дети перестали умирать, пятеро до старости жизнь прожили, слава Богу!
— А как случилось, что они выжили?
— О! Это целая история! — мама делает загадочное лицо. — Вот слушай, что произошло! Жили они в ту пору в самом конце ущелья, высоко в горах. От их селения было только две дороги: одна вела к лесу, а другая — к городу. Мужчины в основном занимались охотой и пасли скот. А по осени дружно отправлялись в лес за дровами. Надо было много заготовить, чтобы хватило на долгую зиму. Поодиночке никто не ездил: абреки разбойничали, грабили и убивали. Гошлаго тогда носила своего первенца, и срок родов уже приближался. В это время как раз и собрались все односельчане на заготовку дров. Решили выехать перед самым рассветом, чтобы к лесу успеть с первыми лучами солнца. Сослан подготовился с вечера, наточил топор и пилу, почистил своё оружие, захватил верёвки, чурек, воду — в общем, всё, что нужно, а потом лёг спать. Среди ночи слышит — стучат в окно: «Вставай, Сослан, ехать пора!» Поднялся он,

оделся, вывел лошадь со двора, сел на подводу и поехал по дороге к лесу. Едет, а сам думает: «Темень какая! Зачем так рано выехали?!» Вглядывается в темноту Сослан — впереди никого не видно и не слышно. Решил, что сильно отстал от своих, гонит лошадь, настичь всё равно не может! Вдруг слышит — громкие стоны раздаются откуда-то. Стал он лошадь придерживать, а она понесла! И тут стоны перешли в рыдания, а потом в вой! Остановился наконец Сослан и не знает, что делать. Подумал, абреки кого-то грабят-убивают. Глянул в подводу — а его винтовки нет! И он один в темноте! Первый и последний раз в жизни забыл тогда Сослан своё оружие! Делать нечего, развернул он лошадь — решил назад за подмогой ехать. А на въезде в село встретил свой обоз и рассказал им всё, что с ним произошло. Те очень удивились. «Не будил тебя никто из нас», — говорят. Поехали вместе к лесу, а тут уже светать стало. Осмотрели округу, ничего и никого не нашли. Тогда постановили: Сослана чёрт попутал! Долго в селе об этом случае говорили, но со временем история забылась. Наступил срок, Гошлаго родила сына — красивого здорового младенца — и не могла на него нарадоваться! Но через месяц ни с того ни с сего он уснул и не проснулся. Сильно горевала Гошлаго, плакала, молилась. А когда опять понесла, то успокоилась, надеялась, что её материнское счастье впереди. Второй ребёнок умер в полтора года без видимой причины — ещё один тяжёлый удар! Бедная Гошлаго! Считай, каждый год она хоронила своих сыновей.

Мама хмурит брови, что-то вспоминая.

— Да, точно! Рождались у неё только мальчики! И представь себе, было такое, что в один год и даже в один день от оспы умерли сразу двое: двухлетний и десятимесячный!

— И как она жила все эти годы? — мой голос предательски дрожит, и я боюсь заплакать.

— Знаешь, раньше люди были в большем согласии с жизнью, — как-то устало говорит мама. — Пришло горе — плачь, пришла радость — танцуй! Для скорби выделялось своё положенное, ограниченное время. Так и жила Гошлаго: в мире и согласии со всеми, работала по дому, ухаживала за скотом, да ещё на её руках были сумасшедшая золовка и старая больная свекровь. Спасала Гошлаго только вера во Всевышнего! Ни разу не пришла ей в голову мысль обидеться на Него и отвернуться. Гошлаго винила только себя и молила Аллаха простить ей, что живёт с иноверцем. Несколько раз собиралась она вернуться в родительский дом, но не так-то просто это было сделать в те времена. Ведь за неё был выплачен калым, и две фамилии могли стать кровниками! Что было у Гошлаго на душе — неизвестно. Своими мыслями она ни с кем не делилась, совета не спрашивала, всё держала в себе, гордая была! Родня и соседи судачили, считали, что кто-то навёл на неё порчу или проклял. Но кто? Кому это надо? Шло время, и после смерти девятого ребёнка Гошлаго наконец решилась расстаться с мужем. Но прежде пошла в другое село, за десять километров, к мулле посоветоваться. Мулла выслушал её внимательно, выспросил обо всём, потом открыл большую толстую книгу, долго читал и наконец сказал: «Аллах здесь ни при чём, а совсем наоборот: это дело нечистого! Много лет тому назад твой муж ехал тёмной ночью по пустынной дороге, а на обочине чертиха рожала своего чертёнка. Лошадь почуяла её и понесла с перепугу, и муж твой переехал новорождённого колесом своей телеги. За это чертиха прокляла его и тебя, чтобы все ваши дети умирали, как умер её детёныш!» Похолодела от этих слов Гошлаго и вспомнила тот случай, когда Сослана чёрт попутал! Но мулла успокоил её, сказав, что от проклятья можно избавиться, если правильно провести ритуал. Потом научил, как и что нужно делать. А в довершение предсказал, что после этого родится у неё сын, и назовут его Царай, что значит «живи»! И будет он жить! Пришла Гошлаго домой и не знала, как обо всём этом поведать мужу, потому что не верил он в подобные вещи. На следующее утро всё же решилась и сказала. Сослан, конечно, рассердился, кричал, что мулла, мол, дурак и всё выдумывает, а к вечеру всё-таки вспомнил ту давнюю историю.

Мама замолкает на мгновение, а потом продолжает таинственным шёпотом, будто, кроме нас, в квартире есть кто-то чужой:

— Тогда он сделал так: взял чёрную козочку с белыми копытцами, отвёз её на то самое место, нарисовал большой палкой на земле круг по размеру колеса телеги, поставил в него козу и стал молить у чертихи прощения. Потом козу принёс в жертву, приготовил мясо на костре в этом же круге и сказал: «Это тебе во искупление моего греха! Возьми козу, а детей не бери!» Оставил он мясо на потухшем костре, а сам домой уехал.

— Как же он нашёл это место после стольких лет? — удивляюсь я.

— А дорога сама то место петлёй огибала. Много там происходило неприятностей с путниками.

— Откуда ты знаешь все подробности этой истории? — спрашиваю я недоверчиво маму, подозревая наличие художественного вымысла в её повествовании.

— Как это откуда?! — возмущённо восклицает моя родительница. — От родни: невесток бабулиных, золовок, сестёр двоюродных. Я была у неё любимицей, вот мне и рассказывали! Ну так вот, слушай дальше! На следующее утро вышла Гошлаго коров доить, а во дворе чей-то козлёнок бегает, светленький такой. Подумала она, что потерялся, и пошла по селу хозяев искать, но они не нашлись. Тогда Гошлаго надела на козлёнка колокольчик и стала

его пасти. А когда в следующем году родился у неё сын, решили, что козлёнок был для этого ребёнка предназначен, устроили кувд и принесли его в жертву Богу. Сына назвали Царай, и он остался жив. Потом был Амурхан, который Баппу,—мама медленно загибает пальцы, стараясь никого не забыть.—Потом Гошала, твой дед Хадзбатр, потом Губара. Дожила Гошлаго до девяноста четырёх лет, но умерших своих младенцев так и не забыла. До конца дней болело за них сердце несчастной Гошлаго!

Мама замолкает и долго смотрит в серый туман за окном остановившимся взглядом. Потом у неё морщится лицо, губы поджимаются, а из глаз бегут слёзы. Но я понимаю, что она горюет не о той давней истории, а совсем о другом.

— Ну вот опять! Мамочка!—пытаюсь я успокоить её.—Уже прошло сорок дней бесланским детям, не надо больше плакать!

— А сколько плакали евреи после избиения младенцев Иродом?! Я буду по ним плакать и через год, и через сто лет! Все мы теперь будем вечно плакать!—со злостью на своё бессилие что-то изменить выкрикивает мама.

Тоска сжимает моё сердце, я отворачиваюсь и упираюсь лбом в стекло:

— Мой прадед с нечистой силой договорился, детей своих откупил, потому что даже у неё существуют какие-то законы, а с этим зверьём договориться невозможно: нет у них никаких законов, ни божеских, ни дьявольских!

В воздухе повисает скорбное молчание.

— Как надоел этот дождь! Сколько ему ещё лить, мама?

— Долго, дочка, очень долго!—притихнув, отвечает она.—Вселенского потопа мало будет, чтобы смыть всю кровь, пролитую людьми безо всякой меры. А у Господа каждая кровинка на счету!

Всё сказано. Только звуки дождя в тишине…

По собственному желанию

1.

Древняя старушка баба Паша, ровесница уходящего века, уже годков тридцать лелеяла заветную мечту поскорее отбыть в мир иной и с тем дожила до начала третьего тысячелетия. Однако, признавая за собой один тяжкий грех, она упрятала своё последнее желание глубоко в сердце и в молитвах, обращённых к Создателю, с неиссякаемым упорством просила совсем о другом:

— Господи! Боже мой праведный! Отец мой небесный! Прости меня, великую грешницу! Прости меня, блудницу непотребную! Прости меня, блудницу окаянную, проклятую!

Если бы кто-то мог слышать такое от дряхлой старушки, ему стало бы смешно, но баба Паша жила одиноко, и смеяться было некому. А как реагировал Господь Бог, выслушивая эту просьбу изо дня в день восемьдесят лет подряд, доподлинно неизвестно. Возможно, Ему было не до смеха.

Этим утром баба Паша проснулась, как обычно, с первыми лучами восходящего солнца. За окном была умытая ночным дождичком ранняя звенящая тишина. Открыв свои не выцветшие за сотню лет, на удивление ясные, как у малого ребёнка, глаза, старушка сразу определила, что она ещё не в раю, и, испытав лёгкое разочарование, с кряхтеньем поднялась с постели.

Из приличия поблагодарив Господа за новый день, она совершила омовение по пояс в старом медном тазу, подаренном ей на свадьбу ещё перед Первой мировой, и собралась было достать из дальнего уголка шкафа бутыль со святой водой, как под окном зарычала и затявкала дворняжка.

Не желая осквернять низкими вибрациями святую воду, принесённую ею из церкви глубокой ночью в полном безмолвии, старушка покорно уселась на свою высокую кровать со спинками из потускневшей нержавейки, свесила ноги, закрыла глаза и, заглушая собачий лай, запела чистым высоким голосом:

— Да воскреснет Бог! Да расточатся врази Его, да бегут от лика Его, яко тает воск от лица огня, яко рассыпается под ветром трава сухая!..

Заставив своим пением собачонку умолкнуть, она наконец достала заветную бутыль, отлила немного в гранёный стакан, положила рядом церковную просвирку и стала коленопреклонённо к иконе.

Её поясница нестерпимо болела, но всё-таки баба Паша простояла не меньше часа на коленях, читая нараспев псалмы, осеняя себя крестным знамением и замирая в поклонах, упёршись лбом в крашеный дощатый пол.

Успокоив молением душу, старушка села за стол, размочила в святой воде кусочек просвирки и положила его в рот. Медленно пережёвывая свой завтрак, она вдруг почувствовала себя неуютно, будто под чьим-то пристальным взглядом. Баба Паша невольно оглянулась и поперхнулась от испуга, увидев стоящую у окошка фигуру своего покойного супруга, расстрелянного красноармейцами в Гражданскую войну, лютой зимой восемнадцатого года.

Теперь он был совсем не такой, как при жизни—крупный, статный сорокалетний мужчина, а, напротив, молодой, стройный и очень красивый. Через его полупрозрачное тело проникали яркие солнечные лучи, создавая вокруг золотистое свечение. Баба Паша поразилась произошедшим с ним переменам. Сердце её предательски ёкнуло и оборвалось, чем очень удивило и огорчило просветлённую старушку.

«Здравствуйте, Тимофей Иваныч!»—отвесила она ему земной поклон, коснувшись рукой пола.

Муж помедлил немного, будто не сразу услышал её, и улыбнулся: «Здравия желаю вам, Параскева Васильевна!»

«Зачем пожаловали, Тимофей Иваныч? Может, вас за мной прислали?» — с надеждой спросила старушка.

«За вами?! А разве вы своё отработали, полностью очистились?» — тихим проникновенным голосом спросил он её.

«Неужто за сто лет не искупила? — баба Паша заинтересованно взглянула на мужа. — Да и можно ли в миру очиститься совсем? Здесь не монастырь: шаг ступил, слово сказал, мысль подумал — всё грех! Одно отрабатываешь — другое нарабатываешь…»

«Это верно, — грустно улыбнувшись, согласился он, — но я не о том! Что ты, Параскевушка, так церемонна со мной? Ведь я — всё тот же!»

«Может, вы и тот же, — с сомнением в голосе ответила она, — да я другая! Теперь уж совсем дряхлая старуха!»

«Да неужели?! И как же ты выглядишь? Расскажи!» — подтрунивая над ней, оживился муж.

«А вы что, сами не видите?» — потупив взор, прошептала баба Паша.

«Нет, я твоё тело не вижу, — его настроение изменилось, и тон стал серьёзен, — зрю только душу! А она юная, прекрасная, в белых одеждах! Да только они кровью чужой забрызганы!»

«Это почему — кровью?! — испугалась старушка. — Я никого не убивала!»

«А Павла помнишь?» — строго спросил муж.

«Как не помнить! Хоть вечность пройдёт — не забуду! — она смутилась и закашлялась. — Он погиб в Средней Азии от рук басмачей, — потом немного помолчала. — Моей вины в том нет…»

«Так ли нет? — призрак стал к ней полубоком. — Любил он тебя сильно, мечтал дать тебе счастье, семью, детей».

«Да, любил! Только венчаться со мной не захотел — большевики, видно, были ему дороже. А я во грехе жить не могла, да и дети у меня уже были — ваши!» — ответила старушка, ощутив к себе отвращение за то, что оправдывается.

«Вина твоя не в том, что без венчания с ним сошлась, а в том, что без любви! Ты надежду ему подала, а потом передумала. Сгубила ты его любовь! Он от отчаянья смерти искал и погиб раньше срока, ему отведённого!»

Говоря это, муж почти совсем отвернулся от своей жены. Взгляд его был устремлён куда-то в пространство.

«Может быть… — задумчиво согласилась она и, будто опомнившись, вскрикнула: — Что ж мне теперь делать?!»

«Принять то, что было отвергнуто!» — откуда-то издалека ответил его голос, и видение исчезло.

Старушка баба Паша долго не могла опомниться от разговора с мужем, залегла в постель и, не шевелясь, пролежала весь день до поздней ночи. Как волнение на море поднимает со дна всю муть, так его появление растеребило ей душу, и старые воспоминания, сильно потрёпанные, затёртые до дыр, давно надоевшие и упрятанные в кованый сундук под замок, вновь всплыли в ослабевшей памяти и больно кольнули сердце.

Вспомнилось ей неудачное замужество, и раннее вдовство, и трое её детишек-сиротинушек, опухших от голода, и красный командир Павел, спасший их от верной погибели, и её грех прелюбодеяния, совершённый из благодарности. Припомнила она тяжкий, надрывающий труд в колхозе наравне с тягловой лошадью и выкосивший подчистую всю её родню голодный мор тридцатых годов.

Медленно проплыла перед глазами Отечественная война со всеми её ужасами: гибель старшего сына, вражеская оккупация, изнасилованная немецкими солдатами дочь, так никогда и не простившая свою мать, что та не уберегла её. И вновь привиделись бабе Паше огромные железные сани, на которых она целый месяц из последних сил везла свою искалеченную дочку по лесам и болотам прочь от немцев, во Владикавказ.

Неожиданно снова всплыл в памяти забытый полвека назад молодой офицер. Она вынесла его с поля боя с обгоревшим лицом и ослепшими глазами. Он благодарил её за спасение и признавался в любви, а выписавшись из госпиталя, пустил себе пулю в висок.

Вместе с ним вспомнились ей ночные дежурства у постелей умирающих в медсанбате. Она опять ощутила тошнотворный запах отрезанных хирургом тяжёлых человеческих конечностей, которые они с медсёстрами носили в яблоневый сад и с молитвой хоронили под деревьями.

Не забыла баба Паша радость награждения медалью «За Победу» и пять долгих лет отсидки в сталинских лагерях за украденный не ею в магазине хлеб. Устыдилась она, что издевательства и унижения почти сломили тогда её дух, и поклялась навсегда предать это забвению.

Потом припомнила баба Паша всех мужчин, претендовавших на её руку и сердце. Они мало что значили в её жизни и промелькнули, как неинтересные, второстепенные персонажи, — ведь Параскева любила только Бога! Теперь же выяснилось, что она помнит каждого и ощущает, вроде бы необоснованно, смутное чувство вины.

Так неслись перед её глазами разные картины жизни, пока слёзы не затуманили взор: со щемящей тоской вспомнились старушке её приёмные дети, дорогие сердцу подкидыши-близнецы, выращенные с великими трудами до одиннадцати лет и отобранные у неё через суд родной их матерью.

И много всякого ещё, страшного и неприятного, вспомнилось ей, так что рада бы забыть, да не тут-то было…

И посмотрела баба Паша на свою жизнь со стороны — и в который раз удивилась: как смогла она пережить всё это и не тронуться рассудком?! Но в то же время и обрадовалась, ибо верная примета: только перед смертью дают человеку возможность увидеть прошлое!

Вопрос, для чего даны были ей эти страдания, она давно уже себе не задавала, ибо точно знала на него ответ: смирение и только смирение вырабатывала в ней высшая воля. Ведь была Параскева крепка в вере, но духом несмиренна: всё воевала и с людьми, и с Богом за справедливость…

Так она думала всегда, но сейчас задала себе вопрос: что же ею было отвергнуто? Вспоминая, как затрепетало и оборвалось при виде мужа её остывшее сердце, к этому пониманию добавилось другое. С горечью признала баба Паша, что в её долгой жизни нашлось место всему, кроме одного: не смогла она познать настоящей земной любви, той любви, что Господь завещал людям; сама не пылала и никого не согрела этим священным огнём.

Только теперь она осознала, что нет в глазах Господа ничего превыше любви, а самый страшный грех — преступление против неё. К великому сожалению, понимание это сильно запоздало, все возможности были упущены, а время не повернуть вспять! Тут померещилась старушке прямая дорога в ад, и она содрогнулась всем существом своим.

Долго ещё лежала баба Паша, полная решимости не сдаваться, и мысленно искала возможность воспрепятствовать своему переселению в худший мир.

Наконец, повторив утешительную формулу, что всё по воле Божьей, старушка помолилась часа полтора, немного успокоилась и уснула.

2.

На следующее утро, ощущая неимоверную усталость в теле и смятение в душе, баба Паша колебалась, не отменить ли запланированные на сегодня визиты к своим подопечным. В то же время ей очень не хотелось, чтобы Бог подумал, будто она жалеет себя и потакает своей лени, поэтому старушка решила не выпадать из проторённой колеи и продолжить возложенную на неё миссию. Совершив над собой усилие, она взяла из угла свою массивную старую палку и вышла из комнаты в тёмный коридор коммуналки, оттуда в подъезд, пахнущий сыростью, а затем и на свет Божий.

Держа спину не по возрасту прямо, старушка медленно пересекла большой двор, щедро усыпанный опавшим с деревьев перезрелым крупным тутовником, и вошла в соседний финский дом. Медленно преодолевая скрипучие деревянные ступени, она стала подниматься на второй этаж к своей крестнице Елене, молодой красивой вдовушке, оставшейся с тремя детьми после трагической гибели мужа.

В то же самое время Елена во Христе, а в миру Нэллочка — так её называли в редакции коллеги-журналисты, спала в своей одинокой постели и видела последний перед пробуждением сон.

Ей снились жёлтая знойная пустыня и Господь Иисус в длинных холщовых одеждах, идущий размеренным шагом босиком по раскалённым барханам. Сама же она страстно хотела следовать по Его стопам, но ватные ноги не слушались её, то и дело проваливаясь в песок. Она спотыкалась и падала, звала его со слезами, но Христос не хотел ей помочь и, не оборачиваясь, продолжал свой путь. В момент полного отчаяния рядом с ней появлялась баба Паша, поднимала её и помогала идти, буквально волоча за собой. Заметив это, Господь Иисус милостиво останавливался и позволял двум женщинам, молодой и старой, зацепившись за край его одежды, следовать позади.

Проснувшись от этого сна, Нэллочка лежала не шевелясь, глядя в потолок, и с благодарностью думала о бабе Паше. Слёзы текли из её глаз тоненькими струйками и заливались за шею прямо на пуховую подушку.

Услышав стук в дверь, Нэллочка вытерла слёзы и, как была в ночной рубашке на голое тело, побежала в прихожую открывать. Увидев на пороге старушку, будто из своего сна, она оторопела от удивления. Та вошла без приглашения, отодвинув в сторону хозяйку, и направилась на кухню.

— Доброе утро, баба Паша! — в спину ей прошептала Нэллочка.

— Здравствуй, милая! Разбудила я тебя? — спросила старушка. — Как ночь прошла? Что нового?

— Ничего нового, всё старое… — вздохнула Нэллочка. — Да и что могло за ночь со мной случиться?

— Много чего случается с людьми за ночь! — взглянув на неё острым глазом, ответила старушка. — Один за ночь в грех впадёт, а другой, наоборот, глядишь — за Господом в путь отправится…

— А вы откуда знаете? — смущённо прошептала Нэллочка, удивляясь тому, как старушка угадала её сон.

Баба Паша ничего не ответила, села на стул, оперлась руками на рукоять палки и прикрыла усталые веки. Постояв немного и не дождавшись от неё ни слова, молодая женщина пошла приводить себя в порядок, а вернувшись минут через двадцать и застав старушку в той же позе, Нэллочка со смешанным чувством восхищения и зависти подумала: «Надо же, с ходу впала в медитацию!» — тихонько села напротив и принялась изучать её иконописное лицо.

Лицо это было одухотворённым, красивым и одновременно пугающим: тонкая пергаментная кожа так туго обтягивала череп, что старческие морщины практически отсутствовали. Если бы не белый платочек, завязанный узлом на подбородке, чужому человеку невозможно было бы определить

не только возраст, но и пол владельца этого лица. От такого созерцания по спине у Нэллочки пробежали мурашки, и она зябко поёжилась. Баба Паша тут же вернулась в состояние бодрствования и, тяжело вздохнув, произнесла:
— Мой Господь от меня отвернулся, забыл обо мне! Не хочет призвать к себе. Зачем Он меня тут держит?!
— Что вы, баба Паша!— возразила Нэллочка.— Как это зачем? Вы же проповедуете! Вы меня к Богу привели! А Ольга с мужем?! Благодаря вам алкоголики, падшие создания, стали людьми! Очистились, пить перестали, Богу служат!
— Ты, Елена, заслуги Господа мне не приписывай!— строго сказала баба Паша.— Где твоя младшая дочь?
— Спит в той комнате,— Нэллочка кивнула головой в сторону спальни.
— Показывай!— приказала старушка.

Наклонившись над детской кроваткой и внимательно осмотрев девочку, баба Паша с укором сказала:
— Она же у тебя некрещёная! Сегодня же окрести её— она больная!
— У неё всего лишь пупочная грыжа, а так она совершенно здорова!— шёпотом возразила Нэллочка, любуясь розовой упитанной дочкой.— Правда, крикливая очень!
— Больная— потому и крикливая,— упорствовала баба Паша.— Вот смотри!

Она протянула свою высохшую, как у мумии, руку и стала водить ею над головкой и животом девочки, шепча какую-то молитву. Через минуту малышка забеспокоилась, побледнела, стала крутиться с боку на бок и корчиться.
— Видишь нечистого духа, что в ней сидит? Его извести надобно. А грыжу я ей быстро вправлю, только восковых свечей из церкви принеси.
— Как же так? Откуда это взялось?— прошептала расстроенная вконец молодая мать.
— Тяжёлые роды всему виной,— ответила старушка.— Если ребёнок сразу не закричит— бывает, подселяются неприкаянные.

С этими словами старушка направилась к выходу. Кое-как опомнившись от увиденного, Нэллочка кинулась вслед за ней:
— Баба Паша, не хотите ли позавтракать со мной? Или чаю?
— Да я уж завтракала, спасибо!— не останавливаясь, ответила старушка.
— А что вы ели? У вас же ничего нет!— воскликнула Нэллочка.
— Всё, что мне надо, у меня есть!— смиренным тоном сказала баба Паша.— Просвирку я ела со святой водой!
— Но это же не еда!
— Как же не еда?!— не оборачиваясь, возразила баба Паша.— Это— самая лучшая еда! А кабы не еда, могла б я ею три года питаться? Я ж ничего другого не ем! Жди, вечером загляну!
— Три года?!— ужаснулась Нэллочка и вдруг опомнилась:— Как вечером? Ведь после заката ничего делать нельзя!
— Пустое! Всё догмы да суеверия! Душа в них— как в путах: рвётся на волю, а они не пускают,— молвила старушка.— Бог во всём и везде! Если сердце Ему открыто, остальное не важно!— и на последнем слове затворила за собой дверь.

Нэллочка постояла недолго в раздумье, решила про бабу Пашу, что та святая, и стала собираться в церковь.

3.

К вечеру Нэллочка успела переделать все свои дела: и дочь в церкви окрестить, и борщ сварить, и статью о передовиках-кукурузоводах написать. Она с нетерпением ждала бабу Пашу в предвкушении обряда экзорцизма. Старушка явилась к ней с большим булыжником в руке.
— Это ещё зачем?!— засмеялась Нэллочка.— Нечистого камнем убить хотите?

Шутка не имела успеха. Баба Паша даже бровью не повела и, приказав не болтать лишнего, аккуратно разложила на столе Библию, камень, бутыль со святой водой, старинный медный пятак, восковые свечи и церковную ленту, полученную при крещении ребёнка. Затем она велела Нэллочке принести дочку. Малышка, едва взглянув на старушку, сразу ткнула в неё пальцем и закричала:
— Баба Ёба, уходи!
— Это значит— Баба Яга!— пояснила опозоренная мать, покраснев до корней волос.
— Нет! Это ты уходи! Вот я тебе покажу Бабу Ягу!— пригрозила старушка злобному духу.— Умой-ка её святой водой да дай попить!— шепнула она Нэллочке.

Потом зажгла три свечи, усадила мать на стул, а дочку ей на колени, и принялась читать молитвы. Сначала читала «Отче наш», потом Деве Марии, потом Иисусу Христу об отпущении грехов, потом покаянную предкам, потом какие-то неизвестные Нэллочке молитвы— да каждую трижды по три раза— и довела малышку до белого каления. Сначала та извивалась, сползала с рук и пыталась удрать, затем стала ругать старушку нехорошими словами, а потом зарыдала и завопила во всё горло.

Нэллочка прикладывала неимоверные усилия, чтобы удержать дочь, вся вспотела, чуть не плакала и уже хотела прекратить обряд, но безграничное доверие к старушке останавливало её.

Когда тельце девочки скрутили судороги, головка запрокинулась, а глаза закатились, она начала быстро и сильно дышать. В этот момент баба Паша поднесла камень ко рту малышки и угрозами заставила нечистый дух выйти на него. Булыжник неожиданно поменял свой серый цвет

на чёрный, и тогда старушка выбросила его через окно в палисадник, буйно заросший кустами цветущей сирени.
— Вот и всё, успокойся! — сказала баба Паша плачущей матери. — Клади её на спину!

Нэллочка положила квёлую, сонную дочку на кровать. Старушка беззвучно пошептала что-то, поводила своей старческой лапкой над её животом, залепила пупок тёплым воском свечи, прикрыла его медным позеленевшим пятаком и несколько раз туго перевязала церковной лентой.

Девочка крепко спала, а Нэллочка чувствовала себя совершенно разбитой. Зато баба Паша не проявила признаков усталости.
— Ты смотри, дочка, людям об этом не сказывай. Я давно уж этим не занимаюсь. Батюшка запретил: без сана, да ещё женщине, говорит, не положено, — заговорщицки прошептала старушка и добавила: — Пойду-ка я к себе! Надо бы одного человека полечить, обещала… — и заковыляла к выходу. — А ты завтра дела брось — и на природу, на природу, к Богу поближе!

Нэллочка, не в силах подняться, сидела и молча смотрела на старушку удивлёнными глазами. «Откуда у неё силы берутся?! Ведь уже почти полночь!» — только и подумала она.

4.

Проспав всю ночь мертвецким сном, Нэллочка проснулась на рассвете и, увидев за окном чудное росистое утро, отправилась с дочкой прочь из квартиры на свежий воздух. Пройдя вдоль красно-коричневых финских домиков с маленькими зелёными палисадниками, они свернули к железной дороге, перешли канаву по старенькому мостку без перил, миновали заросли цветущей амброзии и дикой конопли, перебрались через железные рельсы и медленно побрели дальше, в поля, разлившиеся пёстрым колыханием разнотравья.

Город с его грохотом дорог, пылью и суетой остался позади, и звенящая стрекотом кузнечиков тишина опьяняла и кружила Нэллочке голову. Прохладный ветерок, заигрывая и дразня, налетал с разных сторон и смывал с их лиц золотистый солнечный жар. Потом они лежали на шелковистой цветочной подстилке и, глядя в бездонное бледно-голубое небо, считали редкие прозрачные облака, сонно плывущие куда-то в неведомые дали.

И это умиротворённое небо, и дочь, уснувшая под огромным лопухом, и всё другое, куда ни кинь глаз, было несказанно прекрасно!

«Вот оно, счастье! И больше ничего не надо!» — подумала Нэллочка и раскинула в стороны руки.

В этот момент толстенькая зелёная лягушка неожиданно выпрыгнула из травы и села ей прямо на грудь. Нэллочка затаила дыхание, боясь спугнуть глупую квакушку. А та слизнула длинным липким язычком какую-то мошку с Нэллочкиной щеки, заглянула выпуклым глазом ей в ноздрю, громко квакнула и, оттолкнувшись пружинистыми лапками, сиганула в цветочные заросли.

Ощутив всем телом прикосновение этих крошечных живых лапок, Нэллочка вдруг почувствовала себя такой же маленькой частичкой мироздания, как эта лягушка, с теми же правами, что у неё, и с той же единственной общей обязанностью — жить!

«Что я, что лягушка — одно и то же! — восторженно подумала она, и ощущение полного слияния с природой горячей волной захлестнуло её. — Вот Он — Бог! А я сомневалась! Правду говорила баба Паша: познать его можно только сердцем!» — и Нэллочка закрыла глаза и затихла в попытке удержать это чудесное состояние.

Вернувшись домой к обеду, Нэллочка быстро накормила детей, собрала для бабы Паши небольшой подарок — белый платок, вязанный из козьего пуха, и белую же ночную рубашку, а потом помчалась к ней поделиться новыми духовными переживаниями. На удивление, она застала старушку совершенно одну и тут же завела разговор о своём.

Баба Паша, радостно улыбаясь, слушала свою крестницу и сожалела в душе, что слишком стара.
— Ох и трудно тебе, Елена, будет без меня! Нету здесь настоящих наставников! Местные батюшки только на то и годятся, чтоб грехи отпускать. Ну ничего, жить ты будешь долго — успеешь просветлиться!
— Баба Паша! — в каком-то озарении спросила Елена. — А у вас был духовный учитель?
— А как же! Муж мой покойный. Кабы не он, до сих пор была бы в невежестве: в отцовском доме, кроме «Отче наш», ни одной молитвы не знали, да и о Боге представления не имели. Муж меня и читать научил, правда, по-старославянски. До сих пор по его молитвеннику читаю. Он-то меня на двадцать три года старше был!
— Вы его, наверное, сильно любили… — грустно сказала Елена, вспоминая своего мужа и свою любовь.
— Нет, я его ненавидела! Ох, люто ненавидела! — со стыдом изрекла баба Паша. — Он-то уж очень богатый был, вот отец меня и выдал за него насильно; взял за меня две лошади и мельницу. Мне тогда другой парень нравился. А я сама красивая была: высокая, статная, глаза синие-синие, коса белая ниже пояса! Губы-то у меня были красные, будто вишня, я помню, всё их мукой посыпала — стеснялась! Мне тогда пятнадцати лет не было, — старушка задумалась и приумолкла.
— А что потом? — Елена затаила дыхание.
— А потом я всё мужнино хозяйство спалила. Аккурат в день свадьбы: и дом, и скотный двор, и конюшни — он-то разведением лошадей занимался, — всё сгорело дотла! Одна саманная конюшенка

уцелела чудом, так мы там и жили. И дети наши там родились,—смиренно проговорила баба Паша.
— Как же он после этого к вам относился?!—воскликнула её крестница.
— Хорошо относился, не бил. Простил он меня. Совсем простил. Даже отцу моему не сказал, что это я поджог учинила. Уж отец меня точно убил бы!—старушка помолчала, вспоминая былое, потом продолжила:—О Боге он много знал, бывал в монастырях, с отшельниками говорил. Всему меня учил, только всегда повторял: «Ты у меня смотри!»—и пальцем грозил,—старушка запнулась и неожиданно покаялась:—Несмиренная очень я была.
— И сколько же вы с ним прожили?—спросила Елена, поражённая до глубины души этой историей.
— Да всего ничего—года четыре. А потом, как пришли большевики, вывели его и расстреляли. Даже до отдела, где проверка шла, не довели,—обыденным тоном сказала баба Паша.
— нквд...—тихо прошептала Елена.

5.

Жизнь шла своим чередом, и Нэллочка крутилась как белка в колесе.

Днём она моталась по командировкам, писала статьи в газету, занималась домашними делами, а по ночам сочиняла стихи, размышляла и молилась. И хотя Нэллочка уже стала на путь постижения истины, но по инерции продолжала вести разбалансированный, непредсказуемый образ жизни, который у неё установился сам собой вследствие её безалаберности. После смерти мужа, человека строгого и организованного, её квартира превратилась в большое общежитие. Здесь часто и подолгу, как и положено у осетин, жили родственники, толпились гости и толклись соседки со своими детьми.

Нэллочка всех их любила, привечала, а потому постоянно была озабочена решением многочисленных чужих проблем. Она давно не виделась со своей крёстной матерью и очень скучала по ней. А когда Нэллочка задалась вопросом, почему это баба Паша сама не появляется, то сразу же получила ответ в виде возбуждённой соседки, которая прибежала и, будто посланец ада, радостно и язвительно прокричала с порога:
— Бабулька твоя просветлённая к тебе больше не придёт! Упала и сломала тазобедренный сустав!

Нэллочка с перепугу охнула, побледнела и схватилась за сердце. Видя такое дело, соседка сжалилась и успокоила:
— Не бойся, не умрёт! Пережитки прошлого знаешь какие живучие!—и засмеялась.

В сильном огорчении Нэллочка назвала вредную соседку «чёртовой дурой» и прямо как была, босиком, побежала через двор к старушке, пачкая ноги несмывающимся фиолетовым соком опавшего тутовника.

Баба Паша, в белоснежной рубашке и такой же косыночке, возлежала на высоких подушках и сияла от радости. Увидев, что нога её в свежем гипсовом корсете подвешена на верёвках за крючок к потолку, Нэллочка всплеснула руками и расплакалась. Но старушка, лучезарно улыбаясь, сказала своей духовной ученице:
— Видишь, вспомнил обо мне Господь! Даёт мне пострадать перед смертью! Так что ты плакать не смей! Порадуйся за меня!

Нэллочка, услышав такое, приутихла и вытерла слёзы.

С этого дня баба Паша перестала есть даже просвирку, а воду пила в два раза реже обычного, ибо не желала утруждать близких уходом за собой. Её крёстная дочь Елена просиживала с ней всё свободное время, пытаясь услужить старушке и получить от неё побольше знаний.
— Вот все сейчас говорят о духовности—модно стало. А что имеют в виду? Кто такой—духовный человек?—спрашивала баба Паша.
— Как кто? Тот, кто не грешит, творит добро, сострадает, кто жертвует собой ради истины. Словом, тот, кто обладает высокими душевными качествами,—отвечала Елена.
— Не то!—ласково улыбалась баба Паша.—Раньше и я так думала. Но всё это лишь следствие. А где корень? Вот из чего состоит духовность: первое—неколебимая вера в Творца, второе—беззаветное Ему служение. И всё!
— Как—всё?!—удивлялась её ученица.—Не может быть! А как надо служить? В церкви? В монастыре?
— Не обязательно, можно и в миру,—отвечала старушка.—Представь себе, что ты не одна, что каждую минуту твоей жизни рядом с тобой Господь. Но не умозрительно, а во плоти! Всё видит, что ты делаешь, всё знает, о чём ты думаешь. А ты при Нём вроде служанки, можно вроде матери или сестры, можно вроде лучшей подруги или любящей супруги—кому что ближе... И вот твоя задача—заботиться о Нём, ухаживать, предугадывать Его желания, выполнять волю Его!—учила старушка.—Но только служение должно быть добровольным, с великой любовью к Нему! Поняла?!
— Нет!—пугалась Елена.—Как я узнаю Его волю и желания?
— А ты веди с Ним задушевные беседы, как с любимым человеком, спрашивай совета, а Он будет отвечать,—разъясняла баба Паша.
— А вам Господь что-нибудь отвечает?—замирая и держась за сердце, шёпотом спрашивала Елена.
— Теперь уж ничего не отвечает, только смотрит и улыбается,—лукаво щурилась старушка.
— Но почему?!—поражалась Елена.
— Да потому что я Его давно уж ни о чём не спрашиваю!—смеялась баба Паша.

— Как же добиться, чтобы Господь отвечал?! — допытывалась ученица. — Со мною Он не говорит!
— Он-то говорит, да ты глуха — не слышишь! Да… услышать Его голос непросто…

Баба Паша замолкла в раздумье и долго смотрела Елене в глаза, как бы оценивая её возможности в постижении истины.
— Мало времени у меня, потому скажу всё сразу, но не знаю, поймёшь ли… В христианстве к этому путь таков: *пост, молитва, ночные бдения, сотворение милостыни.* Всю жизнь иди этой дорогой — и однажды услышишь Бога! — и добавляла устало и печально: — Не хочу, чтоб ты до этого через страдания дошла.

Придя домой, Нэллочка долго обдумывала услышанное, не могла многого понять и вопрошала Создателя. Наконец, засыпая и находясь в пограничном состоянии, Нэллочка получила ответ из своего подсознания: «Технология! Она учила меня технологии снисхождения Святого Духа!» — и, счастливая, уснула.

А через неделю рано утром Нэллочка, выглянув в окно, увидела бабу Пашу на двух костылях, с трудом идущую куда-то по своим делам. Она перегнулась через подоконник и возмущённо закричала:
— Да что же это такое творится?! Вы зачем встали?! Господи Боже мой!
— Время собирать камни! — ответила тихо старушка и заковыляла дальше.

6.

Баба Паша откуда-то знала, что её уход близок, но всё равно особо не суетилась, понимая, что всех дел не переделаешь, да и дело-то у неё, по сути, только одно — заронить искру веры в человеческие души. А кому успеет помочь, кому не успеет — не от неё зависит.

И хотя её очень занимали мысли о собственной будущей судьбе, она гнала их прочь и изо всех сил старалась сосредоточиться на служении. То самое страшное, что лежало на душе камнем и мучило её всю жизнь, — грех прелюбодеяния — теперь было переосмыслено, понято и навек закрыто. Настоящий же грех — её нежелание или неумение любить кого-то, кроме Бога, — уже не исправить!

После травмы молиться, стоя на коленях, баба Паша уже не могла, и это очень её смущало. Ни сидя, ни лёжа молитва почему-то не шла, а получался просто разговор с Богом, и разговор как бы на равных. На всю жизнь она добровольно выбрала себе роль покорной, любящей рабыни Господа, а сейчас, в самом конце, её амплуа менялось. Поначалу она стеснялась, переживала и не могла смириться с этим.

«Елену поучала, а сама не могу!» — корила себя баба Паша, а потом решила, что нужно освободиться от последней догмы, и успокоилась.

Когда во второй раз к ней явился её красавец-муж Тимофей Иванович, она ему не смогла отвесить земной поклон, но, не желая выказывать своей немощи, с трудом поклонилась в пояс. Едва сдерживая радостное ожидание, старушка с надеждой спросила: «Неужто теперь за мной пришли?! — и, не дождавшись от мужа ответа, смущённо добавила: — Я к вам хочу. Когда ж заберёте?»

«Что ты, Параскева, заладила: заберёте, заберёте?.. — он с любовью взглянул на неё, и её сердце сладко загорелось. — А ты сама возьми да уйди!»

«Как это сама?! — поразилась баба Паша. — Я не могу… не знаю…»

«Можешь, можешь, Параскевушка! Только сильно пожелай! — он повернулся к ней спиной. — Мне пора, а ты, как надумаешь, — приходи, я ждать буду!»

И исчез. Всю ночь отжившая своё древняя старушка баба Паша не спала, а маялась неожиданно посетившей её в конце жизни любовью к покойному мужу, обдумывала его слова и обижалась, что ей в обязанность вменили даже собственную смерть. Наконец под утро, придя к мнению, что это, скорее всего, большая честь, она решила не откладывать дело в долгий ящик и занялась приготовлениями.

Застелив кровать чистым бельём, она с трудом обмылась в легендарном тазу холодной водой, достала из чемодана своё подвенечное платье, хранимое всю жизнь для этого момента, надела его поверх новенькой сорочки и стала писать завещание. В нём старушка изъявила только два простых желания: чтобы после смерти её не обмывали, так как она уже сделала это сама, и чтобы её старинную Библию и молитвенник отдали крестнице Елене.

Закончив последние в своей долгой жизни хлопоты, баба Паша помолилась, улеглась поудобнее на кровати, накрылась до пояса простынкой, сложила на животе руки, крепко сцепив пальцы, прикрыла веки и затихла.

Внутренний голос сказал ей, что настал решающий момент, что всё кончено и ничто не имеет значения, кроме умиротворения. Выслушав своего Ангела-хранителя, она успокоила мысли, долго наблюдая за их появлением извне и за их исчезновением в никуда, потом отпустила от себя всё мирское, что ещё связывало её с жизнью, всем существом сосредоточилась на Создателе и устремилась сердцем в высшие сферы.

Одно мгновение — и она вдруг увидела себя со стороны и удивилась, как быстро всё произошло. Но тут же почувствовала, что лежащее на кровати тело тянет её к себе. Она не смогла воспрепятствовать этому притяжению и с лёгкостью слилась со своей старой плотью. Мыслительный процесс в её голове отсутствовал, но она интуитивно поняла, что вышла из тела через голову — потому и не освободилась, а надо бы через грудь. Когда возникло это понимание, баба Паша со всею своей душевной силой обратилась к Богу, выкрикнув:

— Господи! Ну Господи же!

И произошло желаемое: на этот раз старушка покинула свою земную оболочку навсегда.

7.

В ночь ухода бабы Паши из жизни Нэллочка спала очень плохо, крутилась в постели, видела страшные сны, стонала и дрожала в ознобе. Наконец на рассвете она ясно услышала бабы-Пашин голос, взывающий громко и страстно: «Господи! Ну Господи же!» — и окончательно проснулась.

Утром Нэллочка, как варёная, поплелась на работу — впервые в жизни с немытой головой и без макияжа. А следующим днём, вернувшись из районной командировки, она увидела бабу Пашу, лежащую в гробу во всей своей красе. Невыразимая тоска и страх за свою судьбу, ещё больший, чем после смерти мужа, тисками сжали сердце молодой женщины.

И хотя Нэллочка интуитивно опасалась покойников и никогда раньше близко к ним не подходила, бабой Пашей она не побрезговала и поцеловала её в лоб, а поцеловав, ощутила лёгкий цветочный запах. Стояла страшная жара, и Нэллочка подумала: умершую надушили, чтоб отбить запах тления. Ей стало обидно за бабу Пашу, хотелось плакать, но она не смела, зная пожелания покойной, и спросила шёпотом:

— Когда же похороны?

— А как внук из Новосибирска прилетит, так и похороны, — ответили ей старушки — божьи одуванчики, бабы-Пашины сёстры во Христе.

— Так это же дня три-четыре, не меньше! — воскликнула Нэллочка в полный голос.

— Бери больше — дней семь! Пока-а-а билет достанет! — спокойно отвечали они, не поднимая глаз от Библии. — Единственный внук! Ждать будем!

— Но это невозможно, сорок градусов на улице! Тело испортится! — завыла Нэллочка. — Думаете, раз вы её духами надушили, это спасёт?

Тут старушки как по команде закрыли свои Святые Писания, переглянулись и многозначительно стали спрашивать друг дружку:

— Ты её душила?

— А ты её душила?

— Нет, мы её не душили! — был их дружный ответ.

Тогда самая старая из них поднялась, склонилась над гробом, тщательно принюхалась и со счастливой улыбкой сказала:

— Это она сама себя надушила… жизнью праведной. Так что ты, милая, за неё не волнуйся, ничего с ней не станется, хоть сто лет пролежит!

А в это время Параскева Васильевна была не где-то далеко, а стояла рядом, улыбалась и чувствовала себя превосходно. Она любовалась своим молодым, красивым и лёгким телом, она была полностью свободна и вольна лететь куда угодно, но не знала — куда. Она была счастлива и испытывала восторг от случившегося с ней. Любовь и благодарность к Создателю захлёстывали её существо, и вся гамма возвышенных и прекрасных чувств, более тонких и сильных, чем на Земле, не имеющих названий в человеческом языке, вскипали в её теле. Она ждала своего Тимошеньку, и он пришёл, и позвал за собой, и протянул ей руку. И она слилась с ним душой в одно и пошла, не спрашивая куда, даже не оглянувшись на то, что оставляла позади.

И никто ничего не увидел, и никто ничего не заметил. Только Елена ощутила прохладное цветочное дуновение в раскалённом воздухе и невольно вздрогнула от мимолётного ласкающего прикосновения чьей-то ладони к своей щеке.

Игорь Корниенко

Старик и радио Бога

Вспомнилось вдруг старику, как на своё семидесятипятилетие отыскал это радио в ящике для инструментов. Когда была жива жена Галя, она в нём хранила картошку со свёклой да морковь с репой. Галя оставила старика, ещё когда он не был стариком. Старик помнит этот ужасный год. Дети, Ксюша и Витя, обвинили во всём отца и оставили одного в доме. Потом продали дом, купили ему однокомнатную квартиру на третьем этаже и оставили вместе с ящиком доживать свои дни.

Соседи жалели старика, изредка навещал Василий с первой квартиры, ещё реже Павел Петрович, бывший председатель колхоза «Красная заря»— так он всегда всем представлялся и повторял это в разговоре по нескольку раз.

Дети звонили. Иногда. Под весёлое настроение. А со временем лишь поздравляли с Новым годом.

На семидесятипятилетие пришла только Валентина, худая и болезненная болтунья из соцслужбы:

— Дочка ваша, Геннадий Николаич, звонила, сказала: мол, так и так, они все в разъездах, занесите отцу пирог. Поздравьте от нас.

Старик держал коробку с вафельным тортом, который он терпеть не мог ещё с детства, и молча кивал в такт её трели.

Она продолжала:

— Сказала, чтобы я к вам и по выходным приходила. Супчик-то вы себе какой варите? Чего молчите? Видала давеча, клейстер какой. Макарошки эти, когда вода закипит, потом их только бросать надо и мешать часто, чтоб не разварились, а то как, эт даж собака такое есть не будет.

Он вздыхал и кивал.

Торт, как Валя-болтушка ушла, отправился в мусорное ведро.

«С днём рождения, старик»,—тикали часы на кухне.

«С днём рождения»,—закипая, свистел чайник на плите.

Старик махнул рукой, и что-то потянуло к старому ящику, словно там всё ещё остался запах прошлого: Галиных духов, детской пудры—ребятишкам вечно что-то да припудривала мать…

Стоя на коленях, в углу сундука он и обнаружил радио.

Достал, повертел в руках. Маленькое, с две ладони, грязно-жёлтое, с кнопкой включения, роликом настройки и громкости.

— На батарейках, ёк макарёк,—выругался старик, привстал, болью отдало в спине, громко хрустнули колени.—У-у-у,—взвыл, ухватился за ящик: переломится—так и дело с концом.

Отдышался. Радио больно вдавилось в ладонь.

— Подъём, старик!—приказал себе.

Приёмник в ладони зашипел резко, негромко, и заиграла музыка.

Старик улыбнулся беззубой улыбкой:

— Вот так подарок.

Теперь вот уже третий год как они с радио разговаривают.

— Беседуем,—так объясняет старик.

К примеру, спросит старик приёмник:

— Как дела, батареечный?

И ждёт, пока в массе музыки и передач не прозвучит ответ. Радио отвечало всегда. Или диктор ласково ответит ему: «Всё у нас сегодня просто замечательно». Или же в песне какой промелькнёт: «Хорошо, всё будет хорошо».

Радуется старик и снова спрашивает.

— Погода-то нынче вон как вьюжит. Настроение как твоё? Есть ещё порох в пороховницах?

И ласково так его называет: приёмничек.

Про радио Бога он услышал от бабушки, Царствие ей небесное. Старик помнит: чуть что, так бабуля сразу это радио Бога вспоминала: «Да радио Бога не трогай это, внучек». Или: «Забирай уже радио Бога». Или вот: «Не шали ты, радио Бога». А ещё: «Говори, радио Бога»; «Послушай радио Бога».

Подрастая, он узнал, что такое радио, и про Бога узнал.

Радио—некий посредник между Богом и человеком, думал он тогда, давным-давно. Сейчас он в этом убедился.

У приёмничка не было названия. Старик осмотрел его со всех сторон, и батареи вытаскивал, и с лупой просмотрел каждый миллиметр. Никаких опознавательных знаков.

Вот и назвал его по-бабушкиному: радио Бога.

Для Валентины покупка долгоиграющих, как говорил старик, батареек стала проблемой:

— Они такие все дорогие, Геннадий Николаич. Жуть просто. Эти, с зайцами которые, так как двести граммов колбасы стоят.
— Мне они нужнее колбасы, я с радио разговариваю.

Охает женщина, руками машет:
— Рассказывала же я вам про ещё одну мою клиентку, бабу Шуру. Помните?

Не помнил старик, молчал.
— Она тоже одна, как и вы. Дети бросили, хорошо хоть платят пока, а так в богадельню собирались отправлять, да передумали что-то. Так вот, она стала по телефону незнакомым людям звонить. Наберёт какой номер из головы, какие цифры выдумаются, и разговор начинает. Здоровается, представляется: мол, так и так, баба Шура вам зво́нит,—спрашивает, с кем разговаривает, и всё такое… Бывает и дружбу заводит, а с кем и часами потом разговаривает. И по более часу, и весь день проговорить может… Так от одиночества и лечится. И никаких батареек. Вот и вам надо попробовать. Всё меньше растрат будет. Телевизор вон у вас сколько лет уже не включали?.. А там, между прочим, такие страсти,—она закатила глаза к потолку,—такой форс-мажор. Поглядите, поглядите. Но сперва позвоните кому-нибудь, вдруг кто откликнется, заговорит, вы и подружитесь, болтать будете потом и про радио своё с батареями забудете.
— Но батареек десять ты мне, Валюш, к субботе всё ж возьми, у меня и пенсия как раз,—тихо говорит старик—и ещё тише:—Да и двадцать можно.

Взмахивает костлявыми руками женщина, охает-ахает, прощается, уходит.

Старик включает радио:
— Вот дура баба.

Радио отвечает. Соглашается.

Попробовать позвонить на незнакомый номер решил даже не из любопытства—Валя-болтушка допекла. Каждый свой визит: «Звонили кому, Геннадий Николаич? Почему нет? Давайте вот при мне звоните…» Старик пообещал.

Старик набрал наугад первые пришедшие в голову цифры. На том конце провода раздались долгие гудки вызова.
— Старый дурак, дуру бабу послушался,—ругал себя вслух.

Щелчок—и голос, металлический, женский, неживой: «Вы позвонили в единую службу госконтроля…»

Старик положил трубку.
— Ещё раз—и всё.

Во второй раз трубку не взяли.
— Бог любит троицу,—решился старик.

Ответил детский голос:
— Алё.

Сердце старика подпрыгнуло к горлу.
— Ксюша?—голос дрожит.
— Нет,—дразнящий голосок.
— Витенька?—слёзы защипали глаза.
— Угадай! Угадай!—в трубке весело захохотало.
— Кто там ещё, Владик?!—донёсся мужской голос.—Не балуйся с телефоном, кому сказал!
— Ладно. Пока,—ответил Владик из другого мира, и на старика обрушились пулемётной очередью гудки.

Подстреленный, старик отпустил трубку. Заплакал. Громко. Завыл. Перебивая радио.

В следующий раз старик заказал, как отрезал, двадцать долгоиграющих батареек.

Он не сразу понял, что сквозь голос диктора, передающего новости, или между строчками песни он явно слышит обрывки чьей-то речи. Слышит голоса. Повертел волну. Белый шум, не более. Вернулся на нужную волну. Радио Бога ловило только эту станцию. Ранним утром, после четырёх, голоса слышались чётче. Старик прислушивался.
— Как есть голоса,—убеждался каждую ночь.

Он услышал слово «не бойся». И слово «старик» услышал. «Жди», «верь», «передай», «иди»…

Старик записывал слова в старой тетрадке жены с кулинарными рецептами и желтыми страницами: «день за днём», «сила», «слушай звёзды», «скоро», «радость», «дети», «возвращение»…

Как-то перед рассветом услышал имя: «Галина». Прибавил на полную мощность звук. Слова часто повторялись. И это повторилось. Старик соскочил со стула. Стул бабахнул об пол кухни оглушительным взрывом.
— Галя. Галина…

Радио Бога на столе затрещало, заиграла музыка. Было ровно шесть часов утра.

— Это голоса мёртвых или живых?!—спросила Валя-болтушка.—Чё-т не пойму я вас, Геннадий Николаич.

Сидели за столом перед радио. Старик пил чёрный чай. Валентина с собой всегда приносила смесь неизвестного содержания для очищения организма.
— Голоса звёзд,—пробурчал он.

Женщина по привычке закатила глаза и взмахнула руками:
— С космосом общаетесь, что ль?! С этими, как их там, забываю это слово, непроизносимое такое?..
— Инопланетяне?
— Вот, оно самое, инплатияни. Думаете, они в вашем радио того?..

Старик отхлебнул горячий напиток.
— Ой,—вскрикнула неожиданно она,—они что, по-русски говорят, что ли?

Радио Бога ответило за старика.

«Вероятно, да,—говорил диктор,—именно этот язык и выбрали исполнители для своего выступления на смотре „Евровидения“ в две тысячи пятнадцатом году».

Старику, как он начал записывать голоса из радио, стало сниться прошлое: живая Галя, любимые дети. Порой сны были такими яркими и живыми, что старик ещё долго ощущал присутствие того, минувшего…

И сегодня проснулся, сел в кровати с уверенностью, что рядом лежит Галина, всегда околдовывавшая его запахом своих волос. А за стеной ребятишки уже проснулись и, чтобы не разбудить родителей, тихо рисуют в альбомах карандашами. Ксения рисует русалочку, а Витя слонов. Он их обожает. Половина детской комнаты—в слонах: плюшевые, керамические, бумажные…

Старик даже слышит, как дети перешёптываются, хихикают. Он нагибается за тапками и понимает, что это был сон. А ведь ночью он именно это слово и услышал: «слон». Или это было слово «сон»?..

Старик не может разогнуться, в груди хрустнуло. Сдавило. Словно грудная клетка прилипла к спине. Старик коснулся ладонями холодного пола и позвал жену:

—Галя.

Тишина убивает, когда она беззвучна. Мертва. Старик всегда боялся тишины. Оттого и говорил сам собой, и громко шаркал шлёпками, и кашлял, и гремел посудой…

Он не вспомнил, как оказался на полу возле кровати. Сейчас его тревожило одно—тишина в квартире. И почему молчит радио?

На улице темень. Внутри словно изжогой выжжено в груди и горле…

На карачках старик пополз к кухне.

Радио Бога молчало.

Вскарабкался на стул, взял приёмничек в руки, покрутил настройку. Ни звука.

Всё так же в темноте, он давно привык жить вслепую, вытащил батарейки, вставил новые.

—Ну же, хоть ты не оставляй меня,—взмолился,—одного не оставляй. Ради Бога. Ради Бога!..

А в груди жар, в груди боль. Старик знает, что надо хотя бы принять корвалол, но как ненормальный крутит колёсико настройки, и слёзы горячие разрезают лицо глубже морщин и иссыхают. Огонь заполняет всё тело. Огонь вырывается и проглатывает маленькую кухню старика.

Огненное дыхание. Огонь в глазах и перед глазами…

Это конец. Это долгожданный ад.

Радио Бога умерло.

—Приёмничек,—смиренно шепчет старик,—маленький одинокий приёмничек…

Ему бы дотянутся до аптечки, там столько таблеток и капель от сердца. Только старик достаёт с полки из укромного места одну свечу. Свечу с тех времён, из того далёкого прошлого, когда в их доме во время штормов часто отключали свет. Они всей семьёй любили это время. Собирались в зале, и бабуля рассказывала, как они с дедом жили. За окном выл ветер, бросаясь в окна солёным дождём и листьями, а у них на столе горели свечи, отражаясь в зеркалах на стене.

«Как в сказке, во дворце»,—шептались дети.

«Мы и живём с вами во дворце»,—обнимал он жену.

Старик зажёг свечу. И пошаркал в спальню. Огонь шёл рядом. Огонь лёг с ним в кровать. Окружил. Старик поставил на грудь радио Бога, сверху, накапав горячего воска, прикрепил свечу.

Тишина и огонь здесь правят бал.

Старик смотрел на свечу, как бьётся пламя. Огонь пожирал его…

Старик закрыл глаза. Ему казалось, он видит свет, обещанный свет в конце тоннеля, как вдруг в огненной тьме услышал треск.

Сначала это был треск догоревшей свечи. Следом треск приёмничка.

Старик не открывал глаз. Боялся.

На том свете, быть может, тоже есть свои радиоприёмники…

А потом он услышал голос. Знакомый голос.

«Папа»—вот что это было за слово. Первое слово. Потом было море слов. Море голосов.

Голоса. Они звали его. Говорили с ним. Кричали его! Прощали! Возвращали!

В субботу утром, после долгих звонков в дверь, Валентина, окончательно выведенная из себя, открыла дверь старика своим ключом.

—Знаете что, Геннадий Николаич, у меня, между прочим, выходной, а таких, как вы…

Старика не было в спальне. Она заглянула в ванную и туалет.

—Геннадий Николаевич, где вы?!

Испуганная, она прошла на кухню. На столе лежала записка для неё: «Батареек больше не надо. Спасибо за всё. Удачи Вам, Валя. Ваш Геннадий Николаич».

Женщина закатила глаза, взмахнула руками, шумно опустилась на стул.

Она произнесла громко, словно пытаясь поверить, убедиться в правильном понимании слов:

—Батареек больше не надо!

На кухонном столе—рассыпанные батарейки, штук десять, и нераспакованный комплект новых.

Радио не было.

Екатерина Сергеева

Томатный час

Экскурсия

Они поехали на скоростном поезде из курортного городка Ла-Пинеда в Мадрид. Поезд был как игрушечный. Весь гладенький и чистенький. Он нырял ловкой змейкой из одного горного тоннеля в другой. Сидя в удобном кресле, Анна ждала встречи. Встречи с дворцом. Королевский дворец — Palacio Real de Madrid. Давным-давно она мечтала побывать в нём. И уже не раз мысленно бродила по изумительному тронному залу с четырьмя золотыми львами, рассматривала гобелены и бюсты римских императоров в Колонном зале, потихоньку трогала пальчиком шёлковую обивку зала Гаспарини, восторженно удивлялась керамическим панелям Фарфоровой комнаты… А коллекция скрипок Страдивари! Королевская аптека! Оружейная палата!

После прибытия на железнодорожный вокзал сели в автобус. Большой, белый, с красной полосой, разрезающей его бока росчерком молнии. И — вот он, дворец. Их группа собралась в огромном внутреннем дворе, и Татьяна, экскурсовод, давала последние инструкции:

— А главное, будьте крайне внимательны! Следите за сумками, карманами, девайсами! Во дворце орудуют несколько румынских цыганок-воровок! Я вам их покажу!

— И что, все про них знают и ничего не могут сделать? — раздражённо спросила полная дама в белом льняном платье.

Возле большой каменной лестницы сновали туристы, со всех сторон доносились фразы на самых разных языках.

— Вон, вон они! — Татьяна кивком головы указала на двух девиц лет двадцати с небольшим.

Анна оглянулась. Девицы были дорого, со вкусом, одетые. Одна — золотисто-рыжая, вторая — медово-русая. Кудрявые, длинноволосые.

«Ого», — подумала Анна.

Прижав рукой к животу висевшую через плечо сумку с деньгами и документами, она покосилась на мужа, Андрея. Высокий, голубоглазый. Ну чем не Хозе?..

— Что с тобой? — Андрей посмотрел на неё.

— Нет, нет, всё хорошо, пойдём…

С этого момента Анна следила исключительно за передвижениями цыганок, машинально следуя за экскурсоводом из одного роскошно зала в другой. А они, как назло, приклеились именно к русской группе. Вот — чуть дальше, вот — почти рядом. Приблизились к немцам… Пойдут за ними? Нет, опять, кажется, перемещаются к нам. Анна в деталях рассмотрела красивые платья воровок, золотые цепочки с причудливыми подвесками на их шеях, серьги-висюльки в маленьких смуглых ушах. Цыганки, видимо, заметили пристальное внимание. Одна из них что-то шепнула другой, усмехнувшись. Куда-то исчезли. Появились опять. Пропали… Где они? В какой-то момент оказались совсем рядом. Анна встретилась взглядом с золотисто-рыжей. Глаза цыганки были тёмные, нагло-спокойные. С какой-то тонкой, холодной насмешкой в самой глубине.

Наконец экскурсия закончилась. Андрей бережно подсадил Анну в автобус, помог устроиться на сиденье.

— Ну что, дамы и господа, понравилось вам наше путешествие по волшебному миру королевского дворца? — шутливо спросила стоявшая рядом с водителем экскурсовод Татьяна.

— Ну и королевский дворец! Вот у нас в Питере дворцы так дворцы! — выкрикнула полная дама в белом, сидящая через проход от Анны.

Анна погладила пухлую сумку, уютно пристроенную на коленях, посмотрела на сидящего рядом Андрея…

«Замечательно», — подумала она.

Томатный час

Две низкие ступеньки, крыльцо, тяжёлая металлическая дверь. Медленно, неохотно тянешь её на себя. Нужно отправить бандероль. Упакованную в бумагу и пакет бутылочку с барсучьим жиром для одной из бабкиных престарелых подружаек, живущей — во как! — в самом Питере. Нужно… Какое неприятное слово. Нужно — нужник. А у тебя — второй день каникул и июльское солнце играет в золотисто-каштановом локоне, щекочущем смугло-розовую, персиковую щёку. Пятнадцать… Много? Мало? Три-пятнадцать-десять-двадцать. Всё — игра. Всё — не всерьёз. Всё ещё можно переделать, переправить, переписать набело.

Сколько там в запасе? Час и пятнадцать минут до встречи с девчонками? Точно.

Ты сказала им вчера: «Girls, завтра—наш день!»

Школа? А что это? Только кино, только кафе, только… Cinnabon. Кстати, для тебя сегодня всё—free of charge. Платит Дашка. Проиграла пари на то, кто первым поймает покемона. Yes, первой была именно ты!

На почте—сумрачно и какая-то обволакивающая духота. И—катастрофа—очередь! Человек пятнадцать. Старики и старухи лет от сорока и больше. Подойти, узнать, кто последний, дождаться следующего—и к стене, на одно из жёстких деревянных кресел. Достать из кожаного шоколадно-коричневого рюкзачка смартфон… Чёрт, чёрт, чёрт! Ты же не внесла абонентскую плату! И денег с собой—только отправить бандероль. Эх-х… Вот… Жопа!..

Слева от тебя—стеклянная витрина киоска, торгующего семенами. Множество аляповатых бумажных пакетиков. Скользить по ним взглядом, невольно читая… Алый круглый Бабушкин секрет; крупный розово-красный Батяня; ровного пластмассово-красного цвета округлая Афалина; рядом—неправильно-продолговатая Аурия; шафранно-жёлтый кругло-волнистый Граф Орлов; светло-малиновое Малиновое чудо; грушевидная Пузата хата; сердцевидный тёмно-бордовый Мазарини; Рапунцель—длинные кисти с множеством ярко-красных вишенок; похожие друг на друга Акварель с Супермоделью, багряные, удлинённые, с остренькими кончиками…

Следить за мухой, путешествующей по стеклу витрины. Вот она купается в акварели, ползёт по лбу Супермодели, оставляя крошечные радужные бисерины. Запуталась в густых золотистых прядях Рапунцель, выбралась. Почтительно прошлась по красной шапке кардинала Мазарини. Попав в хату, безуспешно попыталась проникнуть в банку с грушевым вареньем—полупрозрачные полумесяцы в янтарно-медовом сиропе. Сняла пробу с малины, лежащей в большой белой эмалированной миске. Покружившись вокруг гордого Графа, спикировала на сдобное, пухленькое плечико Афалины, миновав сухощавую Аурию, опустилась на мясистый, в красноватых прожилках, нос старого служаки комбата. Проползла по Бабушкиному секрету—небольшому свёртку, серая шероховатая бумага в прозрачном пакете. Что в нём? Возможно, бутылочка с барсучьим жиром?..

Почти час, тягучий, противный. Перед тобой в очереди осталось всего двое. Так, где эта бумажка с адресом питерской старушенции? В карманах джинсов—нет. Обшариваешь рюкзак… Где?! Эта?! Бумажка?! Она где-то здесь, точно-точно! Просматриваешь ещё раз все отделения рюкзака, все карманы. И ещё раз. И ещё. Ты же не могла забыть её дома, на столике в прихожей?! Нет, только не это, нет… Что же делать? Бежать домой—и всё по новой? Но ведь тогда ты не успеешь к девчонкам. Бросить деньги на сотовый, позвонить, предупредить? Что делать? Что?!

Натыкаешься взглядом на стоящее в углу пластиковое белое ведро для мусора. Ты подходишь к нему. Стоишь. И—резко, отчаянно швыряешь в ведро пакет. А квитанция… Её ведь можно просто потерять. Бабка поверит.

Летишь на остановку, где вы договорились встретиться. Вдруг—входящий от Дашки.

—Слу-у-ушай…—тянет она.—Мне сейчас Дэн позвонил, зовёт нас с Маринкой в одно зачётное место, так что…

—А я?—вырывается у тебя.

—Там же будет Макс со своей новой… Ну ты же понимаешь…

Маринка отключается. Застываешь, опустив руку с телефоном. Мимо проходят люди. И кажется, что каждый из них косится на тебя ехидным, недобрым старушечьим взглядом.

Корзиночка

По дороге из школы Инна обычно забегала в хлебный. Купить круглого чёрного за пятнадцать копеек или кирпич белого за двадцать две. Изредка, когда подкапливалась мелочь,—шиковала. В придачу к хлебу брала песочную корзиночку со слоем повидла на дне, завитком белого сливочного крема. Сверху—ромбики разноцветного фруктового желе. Шла не спеша, откусывая крохотные кусочки. Наслаждаясь. Тугая деревянная массивная дверь подъезда четырёхэтажной хрущёвки была первым барьером на пути домой. Второй барьер—дверь квартиры, одна из четырёх на площадке второго этажа. Палец на кнопке звонка. Одна попытка. Вторая. Третья. Бабушка, Александра Петровна, как обычно, забыла включить слуховой аппарат. Инна присаживалась на ступеньку. Ждала минут десять. Потом опять подходила к звонку. Бесполезно. Внизу живота что-то сжималось—хотелось в туалет. Переминаясь с ноги на ногу, Инна начинала стучать кулаком. Затем—ногой. На шум открывалась соседняя дверь, выглядывала соседка, Зоя Яковлевна.

—Что, Инночка, опять бабушка не слышит? Заходи, заходи ко мне, деточка. Посиди у меня.

Инна опрометью бросалась в чужую квартиру и сразу же бежала в заветную комнатку. Через несколько минут выходила лёгкая, счастливая. Шла в гостиную. Зелёную, всю уставленную горшками с растениями. На широком подоконнике—продолговатые колокольца глоксиний, малиновые и фиолетовые. В углу—фикус с крупными гладкими листьями, покрытыми сизым восковым налётом. И множество кактусов, некоторые из которых цвели диковинными цветами. Инне особенно

нравилась большая белая многолепестковая звезда с золотистыми тычинками, которую выпускал толстый игольчатый шар. Бабушка Инны брала несколько раз «деток» от него, но они почему-то не цвели, только раздувались вширь да щетинились острыми чёрными иглами.

Зоя Яковлевна звала Инну на кухню, где было царство узамбарских фиалок — сенполий. Пили чай с печеньем. Болтали о разном. Разговаривать с Зоей Яковлевной было очень легко. Через некоторое время Инна опять шла на штурм своей квартиры и в конечном итоге попадала домой. Бабушка никогда не верила в Иннины мытарства.

— Да врёшь ты всё, не могла я выключить аппарат, — бранилась она.

То, что на шум и грохот открывалась соседская дверь, во внимание не принималось.

— Ну, постучала ты, может, чуть-чуть. Подождала бы. А то пошла чаи гонять к этой… Как она только пенсию-то заработала?.. Ни образования, ничего…

Сама Александра Петровна всю жизнь проработала учительницей начальных классов в лучшей в те времена школе города. И была, судя по всему, ценным специалистом: в картонных коробочках хранились нагрудный знак «Отличник народного образования», орден «Знак Почёта» и какая-то золотистая медаль с рельефным профилем Сталина. Эту медаль нужно было в своё время обменять на такую же с Лениным, но Александра Петровна делать этого не стала.

Однажды, совершенно неожиданно для Инны, бабушка дала ей ключи от квартиры, мрачно сказав:

— Смотри не потеряй. И чтобы не вздумала больше к этой заходить.

Жизнь стала значительно проще.

Как-то вечером Инна с бабушкой возвращались из гастронома, нагруженные сумками с продуктами. Рядом с подъездом они столкнулись с Зоей Яковлевной, которая шла под руку с каким-то усатым стариком. На Зое Яковлевне были маленькая шляпка и нарядное крепдешиновое платье в горошек. Она приветливо поздоровалась. Александра Петровна едва кивнула, больно дёрнув внучку за руку. Дома Инна слышала, как, сердито гремя посудой на кухне, бабушка вполголоса ворчала:

— Невеста… На восьмом десятке… Позорище…

«Удивительно… Неужели так бывает? Можно выйти замуж в такой глубокой старости?» — думала девочка.

Вскоре Зоя Яковлевна уехала. Видимо, с тем самым стариком.

Детство Инны давно прошло. Жила она теперь совсем в другом доме, в другом городе. Однажды, забежав в супермаркет, в кондитерском отделе увидела упаковку пирожных — тех самых корзиночек. С кусочками мармелада, завитком крема. Не удержавшись, купила. Дома, раскрыв пластиковый контейнер, достала пирожное. Прикрыв глаза, откусила… Маслянистый крем был приторным. Фруктовое желе — вязким, безвкусным. Инна положила корзиночку на стол. Закрыла контейнер, убрала его в холодильник.

Подумала: «Отнесу завтра на работу — девчонки сметут. Не выбрасывать же, в самом деле».

Владимир Гольдштейн

Провожалкин

Зайчики

Зайчиков мне подарили, когда я был совсем маленьким. Кажется, какие-то мамины знакомые привезли их из-за границы. Лет мне исполнилось всего ничего, и зайчиков я помню столько же, сколько и себя. Маленькие и забавные—один весь коричневый, с белым пятном на лбу и на лапке. Второй—наоборот, целиком белый, с коричневым хвостиком и половинкой уха. Чёрные бусинки глаз. Почти стёршийся мех. Ухо я отрезал сам, когда хотел попробовать, как работают мамины ножницы. Зайчики были скреплены прочной ниткой и прижаты друг к другу мохнатыми животиками. Когда их разводили в стороны, в животе у белого что-то проворачивалось и раздавался весёлый, чуть мяукающий звук. Издают ли зайцы такие звуки, я не знаю до сих пор… Потом нитка натягивалась, наматывалась в середине на невидимую катушку и снова прижимала зайчиков животами. Смутно помню, что ни машинки, ни пистолеты не привлекали меня так, как зайчики. Я даже спал с этой «девчачьей» игрушкой. Конечно, когда я стал чуть взрослее, мне страшно захотелось выяснить, что там внутри—откуда звук и куда девается нитка. Но распотрошить зайчиков я не успел. Просто потому, что появилась Вика.

Это случилось зимой, после моего дня рождения. Наверное, потому я и люблю зиму, что мой день рождения приходит почти сразу за Новым годом. А может быть, потому, что я чувствую, как пахнет снег. Этот запах ни с чем сравнить нельзя. Какая-то в нём неповторимая свежесть, покой и чистота одновременно. Какая-то радость новой жизни, когда всё ещё впереди, и по этому белоснежному идеальному покрову можно протопать в любую сторону… Снег пахнет, только когда он новый,—если он слежался и по нему ходили или ездили, его запах сливается с людьми, домами и машинами. Тогда праздники заканчиваются, и наступает пора длинных будней, когда снег только мешает, и его стараются растопить солью и побыстрее убрать.

Я хорошо помню то утро… Наверное, потому, что накануне выпал снег. Поэтому казалось, что праздники не закончились и старший брат везёт меня на санках не в детский сад, а к разукрашенной ёлке в городском парке. Свежий снег скрипел под полозьями санок и белой пылью задувал в моё укутанное шарфиком лицо. И пах он так, как будто сегодня не понедельник, а пятница, то есть впереди ещё и выходные, и подарки, и много всего интересного.

Во дворе детского сада я и увидел Вику. Она была в красных сапожках и всё время оборачивалась к маме, которая что-то говорила ей перед крыльцом. В раздевалке воспитательница сказала, что у нас новенькая, приехала издалека и будет теперь в нашей подготовительной группе. Ей нужен мальчик в пару. Я смотрел на её длинные светлые волосы, красивый сарафан, большие серые глаза и был уверен, что попасть к ней в пару мне «не светит». Я даже почти отвернулся, чтобы не видеть, как этот хулиганистый Серёжка—на полгода старше нас—сейчас подойдёт и возьмёт её за руку. Так и вышло. Он протянул ей дурацкую юлу и уже придвинул своё толстое плечо… Вика вдруг подняла голову, потом обошла застывшего Серёжку и сделала шаг ко мне. Сердце заколотилось так же, как в новогодний вечер, когда я нащупывал под ёлкой запакованный родительский подарок.

— Ты чего отвернулся?—сказала она.—Может, ты не хочешь быть моей парой?

Я не уверен, что она сказала именно так, но парой мы стали. Мы всё время оказывались рядом, мы дружили, хотя дружить с девчонкой—это ведь стыдно: «жених и невеста» и всё такое… Ну и что? Мы не обращали внимания.

Викин папа был военным, и они часто переезжали из города в город. Она родилась в далёкой Воркуте, которая казалась мне совсем другой планетой. Вика рассказывала про длинную полярную ночь с северным сиянием, про то, как закрывают плотные шторы перед сном, когда на полгода наступает день. Про метели, идущие неделями, и вездеходы на улицах. Но главным было другое. Вика тоже знала, что снег пахнет. Она чувствовала это даже лучше, чем я. Она говорила, что в нашем южном городе он пахнет не так, как на севере: у нас—мягко и неуверенно, потому что чувствует, что может растаять в любой момент…

Однажды мы стояли на крыльце в конце вечерней прогулки. Смеркалось, и нас вот-вот должны были

забрать домой. Кажется, уже началась весна. Днём была оттепель, но к вечеру опять ударил морозец, и я долбил лопаткой подмёрзшую на ступеньке сосульку.

— А ты рад, что мы завтра снова встретимся? — неожиданно спросила Вика.

— Я? Да… — промямлил я, стараясь делать вид, что ничто, кроме сосульки, меня не интересует.

— А я с мальчишками не дружу… Но ты — другой, не такой, как все…

Первый раз в жизни я почувствовал, как меня накрыла волна какой-то огромной радости. Её было так много! Казалось, можно было поделиться с кем угодно, а радость совсем не уменьшится. Радостью было пронизано всё — и тёмное небо, и заиндевевшие деревья, и даже осколки сосульки… С этого вечера я стал совсем по-другому относиться к нелюбимому детскому саду с его противными вафлями и пенками в молоке. Там была Вика…

На следующий день я принёс ей зайчиков. Коричневый словно хитро подмигивал ей своим белым пятном, а белый, кажется, старался спрятать своё покалеченное ухо…

Нашим любимым занятием в группе была возня с калейдоскопом. В замысловатых узорах мы оба находили какие-то дальние страны и разноцветные пики гор, покрытые хрусталиками снега. Отнимая картонную трубу от глаза, мы старались нарисовать красками то, что увидели, а потом смотрели, у кого получилось лучше.

Но в этот день мне было не до калейдоскопа. Вика всё время стояла рядом и пахла смесью парного молока и сдобного печенья, но главным было вовсе не это. Главным было то, что сегодня она уезжала. Родители увозили её в другой город — очередной переезд семьи военного. Наверное, именно поэтому осколки внутри калейдоскопа казались острыми хихикающими уродцами. Мы молчали. Потом день как-то быстро закончился, и за Викой пришёл папа в красивой военной форме. Она грустно посмотрела на меня, с сожалением пожала плечами, развернулась к двери и, не издав ни звука, исчезла в дверном проёме.

Прошло много лет. Очень много. Так много, что детский сад, казалось, растворился в прошлой жизни без всяких шансов появиться на свет даже в воспоминаниях. Моя страница на сайте «Одноклассники» заполнилась множеством лиц, фраз и пожеланий. И вдруг среди всего этого многообразия выскочило фото с зайчиками! Теми самыми… а может быть, и другими. Но очень напоминающими образ из детства. Во всяком случае, имеется ли изуродованное ухо, разобрать не удалось.

А потом появилось и письмо от Вики. Точнее, не письмо, а всего несколько фраз о том, что она меня, оказывается, помнит, хотя уже давно замужем, у неё двое детей и полный «о'кей» практически во всём. Я восторженно ответил, причём вспомнил всё, включая калейдоскоп и совместные игры в нашей группе, память о которых, выходит, никуда не делась, а лишь притаилась в дальнем уголке.

Однако на этом всё и закончилось. Больше она не писала, а на моей страничке осталось фото с зайчиками. Причём коричневый по-прежнему хитро подмигивал своим пятном, а белый старался что-то спрятать. Оказывается, они сопровождали меня всю жизнь, были где-то совсем рядом, стесняясь своего потёртого вида. Очевидно, была рядом и Вика, несмотря на замужество, детей и проживание в дальнем северном городе, где зайчики, наверное, водятся прямо на улицах и скачут между домами, покрытыми северным снегом с пятничным запахом свежести. Запахом, который колет, очищает, и им заполнен весь мир вокруг.

Провожалкин

Скорый снижал скорость медленно. Расписанная красными полосами глазастая морда локомотива почти поравнялась с пешеходным мостом, когда шипение тормозов перешло в повизгивание, и поезд почти остановился. Конечно, это только казалось. Состав ещё долго подтягивался, извиваясь вдоль платформы угловатой змейкой, похожей сверху на детскую игрушку — забавного гибкого ужика.

С высокого пешеходного моста был прекрасно виден и весь длинный состав, и сплетающиеся в дымке сумерек серебристые ниточки рельсов на соседних путях, и фиолетовые искорки далёких семафоров в конце каждой платформы, и разноцветные струйки спешащих пассажиров, и стайка бродячих собак, и курящий милиционер, и обходчики, лениво хлопающие длинными молотками по уставшим буксам… Ничего не изменилось. Точнее, изменилось всё. Опираясь на высокие, тронутые ржавчиной перила, он думал, что, пожалуй, лишь этот вид сверху на паутину рельсов старого вокзала связывает его с далёким прошлым, когда телевизоры не играли красками, а с портретов на площадях хмурились величественные бородатые вожди.

Тогда он приходил на этот мост почти каждый вечер. Школа, шесть уроков, полчаса пешком по широкому бульвару — и он здесь. Он не мог толком объяснить себе, зачем приходит на вокзал. Потому ли, что его душа распахивается здесь навстречу смелым мечтам о дальних странах, солёных закатах над тропическими приливами, весёлых, наполненных встречами и открытиями днях и прочих крупицах того, что зовётся таинственным словом «счастье»? Или, может быть, потому, что никак не удаётся познакомиться с классной девчонкой? А может, он просто уставал от вереницы нескончаемых серых будней, которые в итоге приведут

всего лишь к высокому баллу аттестата и поступлению в освобождающий от армии институт? Он точно знал, что среди этих ответов нет ни одного правильного. Только потом, много лет спустя, он понял, что самые главные вещи нельзя объяснить словами, а то, что объяснению поддаётся,—это так, не главное, незаметный полустанок, который забываешь, когда он исчезает за окном вагона.

Он очень любил поезда. Сладкий запах разогретого масла в буферах или струйка терпкого дыма из трубы над вагоном—и слёзы наворачивались на глаза, и невыносимо хотелось купить билет и уехать куда попало, как можно дальше—к новой жизни, к ярким событиям, главное из которых—праздник путешествия на поезде. Что ещё может сравниться с ароматом заварного чая в позвякивающих стаканах, неизменной копчёной курицей и треснувшей скорлупой на боках сваренных вкрутую яиц? А это ощущение превосходства над остающимися на перроне людьми, как будто бы жадно провожающими взглядами стремительный полёт тёмно-зелёных вагонов, непременно уносящих пассажиров к будущим радостям!

Он очень хорошо запомнил тот день ранней осенью, когда, прогуливаясь вдоль состава, увидел плотную крашеную блондинку лет тридцати. Женщина выглянула из двери вагона и поманила его наманикюренным пальцем:

— Паренёк! Сока не купишь? Во-о-он в том ларьке.

Она протянула деньги.

Этот поезд стоял минут двадцать, так что время ещё было. Банка с соком оттягивала руку, стараясь выскользнуть и шлёпнуться на потрескавшийся асфальт.

— В гости зайдёшь?—блондинка кивнула головой внутрь душного вагона.

Он пожал плечами и вскарабкался по лесенке.

В купе, как оказалось, кроме них, больше никого не было.

— Рита,—бросила она.—А тебя как?

Но едва он открыл рот, чтобы назвать своё имя, как она, усмехнувшись, перебила:

— Не... не говори. Останешься для меня незнакомым героем... Садись, герой, сейчас соку дёрнем. Лады?

Ключа-открывалки не было, но Рита несколькими ударами залихватски откупорила банку об угол видавшего виды вагонного столика. Затем она разлила сок в чайные стаканы без подстаканников и неожиданно выпалила:

— Слушай! А он сволочь всё-таки! Сковырнулся на прошлой станции вместе со своим коньяком!.. Ты коньяк пьёшь?

Он отхлебнул тёплый сок, ощутив на языке вязкую мякоть, и неопределённо пожал плечами.

— А-а... не важно—всё равно у меня денег больше нет...—невесело продолжила Рита.—И в каком ты классе? Небось, в десятом уже? В девятом... Ну, за знакомство, что ли?

Они чокнулись гранёными стаканами.

— Девчонка у тебя есть? Ясно, нету... И чего ты тут слоняешься по перрону? Я не первый раз этим поездом в командировку езжу, ещё раньше тебя заметила. Ты вроде как вообще все поезда встречаешь и провожаешь... Кстати, герой, знаешь, какое забавное имечко я сейчас для тебя придумала? Про-во-жал-кин!.. Скучаешь, что ли, дома, Провожалкин?

Он по-прежнему молчал, не зная, что сказать.

— Ладно, давай по второй, не закусывая!

Они снова отхлебнули тёплого сока.

— А как учишься? Вижу, что не отличник, но и не двоечник, верно?

Она чуть наклонилась вперёд, и ему открылось декольте с расстёгнутой пуговкой наверху. Рита протянула руку и быстрым движением, типа, из-за жары, расстегнула ещё одну пуговку—пониже...

— Есть для тебя, герой Провожалкин, новое задание—ты же тут всё время лазишь. Если увидишь этого козла с залысинами, в безрукавке,—ты его сразу узнаешь!—пошли его вместо меня... на все буквы. Договорились?.. Ну а не узнаешь—и хрен с ним!

Она болтала что-то ещё про свою несчастную жизнь, про мужиков, которые всегда пристают, и про «баб, вечно готовых отдаться в любом подходящем и не очень месте». Всё это опять сопровождалось ухмылкой, игравшей между яркими губами. В купе, кажется, стало ещё жарче, и уши у него противно горели.

Тут состав дёрнулся и начал медленно набирать скорость.

Он вскочил, задев столик и опрокинув стакан с очередной порцией сока.

— Ты куда, Провожалкин?!—заголосила Рита на весь вагон, пытаясь удержать его за футболку.— Всё равно не успеешь уже! Сиди до следующей станции!

Но он рванулся, опрометью бросился по коридору, чуть не сбил проводницу у выхода и всё-таки выскочил на убегающий перрон. Прыгать пришлось прямо из тамбура с уже захлопнутой верхней ступенькой лестницы. Приземлился он неудачно: связки на левой ноге предательски вывернулись, и всю ногу пронзила резкая боль.

Позже он так и не смог понять, почему его будто вынесло из вагона. Может, всё дело было в двух расстёгнутых пуговках?..

Почти месяц он не мог ходить на вокзал. Потом растяжение постепенно прошло. Риту и её «лысоватого козла в безрукавке» он не встречал. Да и весь ритуал теперь изменился. Приходя на перрон, он покупал банку с соком и медленно распивал её прямо около киоска.

Потом были летние каникулы и десятый класс. Почти каждый вечер он продолжал приходить на тот же перрон с его яблочным соком, запахом перегретого масла в буферах вагонов и призрачным образом крашеной блондинки с расстёгнутыми пуговками на декольте, рассказывающей о «мужиках и бабах».

«Провожалкин…»—привычно и сочувственно шептали проводники, медленно отводя глаза.

А потом поезд, похожий на длинную извилистую жизнь, медленно трогался и, набирая ход, исчезал в неизменной дымке, расползающейся сразу за подслеповатым далёким семафором. И по-прежнему очень хотелось чего-то ещё—запретного, привлекательного, такого же недостижимого, как Рита с её наманикюренными пальцами и сочной улыбкой. Тем более что связки на левой ноге начинали сразу ныть, как только он оказывался на перроне, заполненном в меру спешащими пассажирами, почти не покупавшими заурядный яблочный сок в неказистом покосившемся киоске.

Чёрно-белое

Туалет засорился ещё поздней осенью. И неудивительно! Что же другое может случиться с дворовым сортиром, подключённым к канализации, если никогда не чистить трубы и при этом массово ходить в него всем домом множество раз в сутки долгими годами? Короче говоря, делать то, что хорошо рифмуется со словом «жрать», стало невозможно уже в октябре в силу переполненности узкого отверстия застоявшейся фекальной твердью. Ну а более мелкие потребности пришлось отменить к середине ноября. Никакие коммунальные службы не работали или просто не собирались ничем помочь нашему жилищу в силу разгула длительного периода, позже названного «застоем». Да, застой образовался капитальный, включая миазмы, заполнившие весь наш не ахти какой по размерам дворик, застроенный по периметру уродливыми сарайчиками.

Стоп—я же не сказал главное. Дом у нас был особенный, исторический. На первом этаже, больше похожем на подвал, жили те, кто до революции служил прислугой хозяевам, или их отпрыски. Ну а на втором обосновалась наша семья и ещё парочка других счастливых семейств. Впрочем, нет—по части туалетных удобств счастливыми можно было считать только нас. Возможно, потому, что именно моей прабабушке принадлежал когда-то этот двухэтажный особняк в самом центре большого города. Прабабушка с домочадцами занимала второй этаж, а челядь ютилась внизу. Как бы то ни было, но теперь, в уже позднее советское время, только у нас в коридоре гордо зеленел несвежей краской старый комод, переделанный под настоящий домашний туалет. Внутри этого бывшего шкафа стоял стандартный унитаз, увенчанный традиционной длинной трубкой, упирающейся в полуржавый бачок, который с трудом заполнялся новой порцией воды после каждого дёрганья за свисавшую цепочку. То есть мы-то как раз жили очень круто по сравнению с соседями, справлявшими нужду в дворовом двухочковом нужнике!

Ну вот, а начиная с декабря, когда общее отхожее место окончательно вышло из строя, соседи снизу вынужденно перешли на ведро-сливной способ туалетной жизни. Несложная суть его заключалась в том, что сама нужда справлялась у себя в комнате, а затем ведро выносилось на улицу и выплёскивалось прямо в пространство вокруг злосчастного туалета. К всеобщей радости, в этом году морозы ударили как раз в декабре, так что содержимое вёдер быстро замерзало. В результате запаха почти не было, а когда выходило солнце, многослойная ледяная корка в его лучах начинала отыгрывать зеленовато-жёлтыми переливами… Но всё равно замёрзшее содержимое вёдер во дворе представляло собой крайне унылое зрелище, а сам двор почему-то казался даже на солнце вовсе не разноцветным, а каким-то чёрным пятном на фоне приглаженной социалистической действительности. Очевидно, урино-фекальная составляющая, сплошь укрывшая землю, создавала (как тогда никто ещё не говорил) выраженную негативную энергетику во всём окружающем пространстве. Ну чернота—и всё тут!

Мне было одиннадцать лет. Наступили зимние каникулы—длительный внешкольный праздник, который даже в те годы сопровождался какими-никакими развлечениями. Вернее, даже не так! Развлечение было вполне определённое и многоцветное. Дело в том, что в парк неподалёку от нашего многострадального двора впервые в его долгой истории завезли игральные автоматы! Да-да—такие себе стальные коробки, что-то среднее между нынешним компом и… Нет—пожалуй, сравнить больше не с чем, тем более что никаких компьютеров, кроме огромных вычислительных машин, тогда и близко не было.

Моим любимым автоматом стал «Морской бой». Сквозь пахнущую резиной прорезь «перископа» были видны медленно проплывающие на «горизонте» кораблики неведомого противника. Нажимаешь кнопочку на рукоятке, и к ним уходит «торпеда». Если повезло, то бишь хорошо прицелился и сам автомат оказался исправен, «торпеда» встречалась с корабликом, и раздавался шумный эффектный взрыв. После этого кораблики меняли направление движения на обратное. Попал десять раз из десяти выстрелов—получи бесплатную призовую игру.

В здании, где стояли автоматы, ежедневно собиралась внушительная толпа подростков, недоростков и переростков, вооружённых пятнадцати-

копеечными монетами. Именно столько стоила одна игра в любом из ярких чудо-приборов.

Каждый божий день я спускался по лестнице с нашей веранды (у нас был отдельный вход), бросал взгляд на замёрзшее содержимое многочисленных соседских вёдер и отправлялся в парк с полным карманом монет (спасибо родителям). Там около входа в «автоматное» здание меня обычно поджидал мой друг Лёшка. Лёха был старше, а главное, намного наглее меня. По его словам, он уже не раз интимничал с девчонками, а кроме того, был знаком с главарём местной парковской шантрапы по прозвищу Онарик.

«Вот сейчас Онарик с пацанами придёт, так тут всем кисло станет!» — обычно повторял Леха при встрече. Но Онарик так ни разу и не появился. Может, Лёшка его просто выдумал для пущей важности, а может, тот действительно шнырял где-то в толпе, не замеченный нами.

Через десять дней каникул автоматный праздник закончился, и начались нудные уроки. Землю во дворе продолжали заливать, и смёрзшийся слой становился всё толще. Потом как-то совершенно незаметно подкралась весна. А вместе с ней и пришедшим теплом со двора стал всё сильнее доноситься характерный запах. Видимо, именно поэтому вместо весеннего разноцветья двор по-прежнему казался каким-то чёрно-белым. В один из таких дней старший брат сообщил мне, что родители скопили денег на цветной телевизор. Наш старый чёрно-белый «Горизонт» действительно уже никуда не годился. Но показывать новомодный цветной агрегат будет, только если установить на крыше внушительных размеров антенну.

Установка была назначена на один из выходных дней. Мы вылезли на крышу через узкое чердачное окно, медленно подползли по ней к крутому гребню, а затем подтянули через то же окошко сложенную стреловидную антенну. Затем был непростая процедура её раскрытия и установки с помощью шурупов, которыми основание антенны привинчивалось к самой крыше. После всего пришлось ещё и закреплять антенну специальными растяжками — чтобы она устояла на ветру. А дальше… На пути обратно к чердачному окну меня вдруг полностью накрыла тошнотворная волна дворового «аромата». Похоже, всё, что там накопилось за зиму, растаяло окончательно и теперь одаривало мир бесподобным душком…

На какое-то мгновение я потерял равновесие и лишь в последнюю секунду схватился за один из стальных тросов, поддерживающих антенну. Брат что-то крикнул, но я не разобрал, что именно. В следующую секунду я ощутил свою руку, судорожно сжимавшую трос, и увидел собственные ноги в ботинках, свисавшие с крыши, будто чужие. Чёрно-белая земля была далеко внизу. Упади я, и самое лучшее — перелом позвоночника и инвалидность на всю оставшуюся жизнь. Брат продолжал кричать. И вдруг в моей голове ярко вспыхнул экран игрового автомата… Кораблик и с шипением летящая к нему яркая точка торпеды. Краски на экране были неестественно яркими, словно пронзающими насквозь. Ничего ярче мне до сих пор видеть не приходилось! Запах снизу тут же на миг исчез, и я окончательно пришёл в себя. Оказывается, брат был уже рядом и протягивал мне дрожащую руку, держась другой за ствол антенны. Ещё одно усилие — и я оказался на более-менее ровном пятачке крыши.

Через пару дней трубы под дворовым туалетом всё же поменяли — поговаривали, пришёл новый начальник жэка. А затем нагрянула проснувшаяся после зимней спячки санстанция, которая вместе с экскаватором и самосвалом за пару часов справилась со всем пахучим безобразием. Вот только новый телевизор показывал не совсем… То ли антенну мы установили не очень правильно, то ли качество цветного сигнала с телецентра оставляло желать лучшего.

Но главное было, конечно, не это и даже не то, что я вовремя уцепился за протянутую пятерню брата. Просто там, на крыше, я понял: торпеда не обязательно должна попасть во вражеский линкор, не оставляя ему никаких шансов! Взрыва не было — кораблик поплыл дальше, перестав быть мишенью.

С тех пор во все сложные моменты жизни, когда дело вокруг пахнет даже не керосином, а чем-то уж окончательно гадким, я чувствую, как большой палец правой руки медленно вдавливает прохладную кнопку, и яркая торпеда мчится по разноцветной глади искусственного моря, увлекательно сверкающего за пахнущей резиной прорезью почти настоящего перископа. Причём значение имеет лишь сама сверкающая чёрточка торпеды, которая уносит вдаль всё, что мешает дышать полной грудью и жить, вдыхая весенние ароматы вместо непотребных дворовых запахов. А кораблик… Пускай кораблик остаётся целым.

Семён Ермаков

Ане не спится

Ане не спалось.

Вроде и сказка на ночь послушана, а новую запускать не хочется, Аня уже почти взрослая, сказки сама запускать умеет, но это же вставать… А вставать не хотелось, хоть и не спалось. И какая другая сказка после того, как Дюймовочка и принц эльфов кружились в танце над цветами?

Аня давно научилась смотреть мультфильмы, не открывая глаз. Они выходили гораздо более интересными, чем то, что показывают по телевизору или папа с мамой, смеясь, смотрят на компьютере. Например, Дюймовочка каждый раз была разной. И принц эльфов. И крокодил Гена и Чебурашка были куда интереснее и веселее. Ане нравилось, как крокодил улыбается, а Чебурашка машет ушами, это были её собственные мультфильмы.

Аня почти взрослая, она знает, что сны — это тоже такие мультфильмы, и лучше всего засыпать под сказку. Папа очень хорошо рассказывает сказки, ещё всё объясняет так, что мультфильм видно хорошо; мама тоже хорошо рассказывает сказки, только ничего не объясняет. Тётя Света, когда папе и маме некогда, тоже рассказывает сказки, но так, как в садике примерные девочки становятся на табуреточку и начинают: «Крылов! „Ворона и Лисица"!» И дальше кричат изо всех сил. Тётя Света не кричит, но рассказывает так, как будто кричит. Зато тётя Света песни петь умеет. Разные. Папа и мама говорят, что петь не умеют, всегда включают. Даже когда гости приходят и все поют, они не поют. Аня точно знает, она сама так поёт: когда все в группе поют, она только рот открывает и слова выдыхает. Слова помнит, а голоса нет.

Аня снова повернулась с боку на бок. Мультфильмы про тётю Свету, про группу смотрелись, но чувствовались и одеяло, и подушка, и то, что ногам время от времени хочется взбить одеяло и с победным криком (как это бывало в садике в сонный час) вскочить и крикнуть что-нибудь. Просто так. Это в группе многие делали.

Аня открыла глаза, увидела над кроватью силуэт верблюда и вспомнила: если не спится, надо считать верблюдов.

Закрыла снова глаза. Включила внутри себя песню.

Шёл один верблюд. Раз.
За ним другой верблюд. Два.
За ним ещё верблюд. Три.
А за ним ещё верблюд.
А потом ещё верблюд.
И потом ещё верблюд…

Верблюды шли, шли, шли… Теперь уже Ане спалось.

— Мама завтра прилетает? — спросила Аня, как только проснулась.

Солнечные зайчики щекотали занавески в её комнате, сквозь щели лучики просачивались к зеркалу и сверкали вокруг.

— Мама прилетает сегодня ночью, — ответил папа. — Проснулась?

— Проснулась!

Аня сбросила одеяло, подскочила на постели, в одной пижаме и босиком бросилась к календарю, проверила. В самом деле, листик с надписью «День рождения Ани», и на нём же: «Мама прилетает». Вчерашний листик она сама, как обычно, перед сном оторвала.

Дальше день как день. Кроме ожидания мамы и ожидания дня рождения.

Аня не знала, чего ждать больше.

Вроде и папа, и мама часто улетали в командировки.

Командировка — это такое место, где живут командиры. Они улетают туда, чтобы тоже побыть командирами. Серёжка, самый младший во дворе, до сих пор верит, что улетают — как птицы. Но Аня уже почти взрослая, она знает, что такое самолёт, она сама однажды вместе с мамой летала в её командировку — и там мама точно была командиром.

Аня сперва даже не узнала, подумала, что маму заколдовали. А потом успокоилась, потому что мама командовала не ею, а тётеньками, очень похожими на бабок ёжек и кикимор из мультиков. И Аня поняла, что мама сама их заколдовывает, чтобы они не обижали больше маленьких детей, и сразу нашла карандаши и альбом и начала рисовать. А потом к ней ещё Настя присоединилась, дочка дяди Бори, вроде как маминого командира. Дядя Боря приходил иногда с ней и Настей

поиграть, и тогда он был добрый и бородатый, как Дед Мороз. А иногда он уходил помогать маме командовать, и Аня видела, что он, проходя через дверь, становится бородатым и злым, как Бармалей.

У каждого командира в командировке есть свои командиры, это понятно, а с Настей Аня тогда подружилась; жаль, что скоро пришлось улетать.

Аней мама никогда не командовала. Папа—тоже. Наверное, специально улетали в командировки, чтобы было кем покомандовать.

День—как обычно. Очень весёлый. Папа смотрит на какие-то странные картинки на своём компьютере, иногда стучит по кнопкам с буквами.

Когда-то давно Аня спрашивала: «Папа, это такие мультфильмы? Но зачем ты их смотришь? Они же скучные!» Папа тогда ответил серьёзно: «Аня, это не мультфильмы, это графики. И что-то в них не складывается…»

А у папы всегда голос один, когда он разговаривает с Аней про разные разности, или когда он с мамой разговаривает, или когда он сказки читает,—и совсем другой, когда он говорит—ещё обычным голосом: «Извините, я сейчас с коллегами…»—или по телефону долго-долго говорит, или на компьютере появляется какое-нибудь лицо, и папа с этим лицом долго-долго говорит, повторяя: «Формула… График… Подтвердилось… Не подтвердилось».

Совершенно очевидно, папа командует какими-то могущественными джиннами. Через компьютер. Поэтому ни Аню, ни даже маму папа к своему компьютеру не подпускает. У Ани и мамы есть свой, на двоих. На нём можно сказки слушать, мультфильмы смотреть. А ещё Ане нравится, сидя в кресле, смотреть, как мама быстро-быстро бьёт по кнопкам с буквами, а в телевизоре появляется почти как книжка.

Когда Аня однажды спросила: «Мама, а ты сама эту книжку в телевизоре наколдовываешь?»—мама прямо сгребла её в охапку, покачала, поцеловала, сказала: «Умница ты моя! Конечно, наколдовываю! Я её придумываю, и она появляется!»

Аня тогда ещё спросила: «А эта книжка будет с картинками? И с большими буквами? И я её буду читать?» Мама тогда стала серьёзной-серьёзной, почти как тогда, в командировке. И сказала: «Наверное, когда-нибудь будешь. А сейчас эта книжка пишется для учительниц и для воспитательниц. Помнишь дядю Борю? Мы её вместе пишем».

Аня поняла, что её мама совсем колдунья.

Во-первых, как так можно писать книжку, если дядя Боря в Москве, а мама здесь? Но как же маме не поверить?

Во-вторых, если эта книжка для учительниц и воспитательниц, наверное, младшая воспитательница в садике не будет кричать: «Ешь манную кашу! Через силу, но ешь!» И тем более: «Ну-ка быстро закрыли глаза и уснули!»

С тех пор, как переехали в этот дом и Аня пошла в новый садик, ей нравилось в жизни всё, кроме младшей воспитательницы. Может быть, она тоже заколдована, а прочитает книжку—и расколдуется?

День—как обычно. Аня завтракает кукурузными хлопьями с молоком, самостоятельно (уже почти большая) надевает майку и шорты, пижаму складывает в свой ящик, пристраивается в кресле, чтобы порисовать и посмотреть, как папа над своими графиками колдует; ещё у неё рядом пачка с апельсиновым соком, если пить захочется. Всё уже совсем как у взрослых, все своими делами занимаются.

У Ани совсем уже кикимора болотная вырисовывается, когда папа смотрит на часы. И спрашивает:

— Гулять пойдёшь?

Аня задумывается. Хочется дорисовать кикимору не спеша, а гулять… Дома бегать негде, прыгать негде, песка нет, качели и те совсем домашние, а во дворе ещё и ребята… И вдруг понимает, что доделать надо.

— Папа, можно, я сейчас кикимору дорисую и тогда пойду?

И рисует, приговаривая что-то себе под нос.

Потом выходят на улицу. Аня сразу мчится к ребятам на великах. И к тем, кто вокруг. В песочнице малышня копается, ну и пусть копается, а они же почти взрослые…

Аня не оглядывается, но знает, что папа сейчас сядет на лавочку и будет что-то читать. Или писать. Или с кем-нибудь разговаривать по телефону. На то он и папа, он серьёзный.

Среди тех, кто на великах, конечно, Вадик самый крутой. Во дворе он вообще самый крутой. В группе, конечно, нет, в группе его называют нюней и копушей. Одевается медленнее всех, рубашку неправильно на пуговицы застёгивает, ботинки шнурками друг с другом связывает. Иногда брюки задом наперёд надевает, а потом, когда в туалет идёт, сам не понимает, в чём дело. И каждый раз по этому поводу ноет. И ботинки у него неправильные, и пуговицы неправильные, а уж штаны совсем неправильные. И вообще всё неправильно.

Всё потому, что в группу не разрешают приносить свои игрушки.

В группе игрушек хватает—и кукол, и конструкторов, и кубиков, и мозаик. И даже велосипеды и самокаты есть, но только если по очереди. Не сравнить с прошлой группой, куда Аня ходила. А воспитательница там была ещё злее, чем младшая воспитательница сейчас. Всё время на прогулках кричала: «Куда попёрся на качель?! Куда попёрлась на веранду?!» Если бы не новый

садик, Аня бы думала, что веранда—это такое заколдованное место, куда никому нельзя. А оказывается, на веранде можно сидеть, играть, когда дождь, разговаривать…

В группе игрушек хватает. И все могут договориться, кто с кем и во что играет. Воспитательница тётя Света—мамина подруга (что такое подруга, Аня не знает,—наверное, вместе в одни куклы играли). Одному Вадику это всё не нравится. Ему нравится, когда всё своё.

По двору Вадик рассекает на своём велике и кричит:

— Эй, нищеброды—мне скоро настоящий электромобиль подарят!

Аня выходит во двор со своим самокатом, подкатывает к общей компании. Тут уже, конечно, кто-нибудь:

— Аня, дай посамокатить? А я тебе дам на велике пару кругов сделать…

Честный обмен. Самокат—одно, велик—другое, бегать—третье.

Все понимают, что условия неравные, но Руслан говорит:

— Спорим, что пока вы до того гаража и к подъезду два раза съездите, я до гаража и обратно добегу?

Соревнования принимаются.

Руслан выигрывает. Потом Аня и Валя—хозяйка велика—предлагают меняться. Пока не убегались и укатались вусмерть, от подъезда до гаража обратно бегом, на самокате и на велике, все по очереди…

Когда сели на лавочке и отдышались, признали боевую ничью.

Аня—девочка самостоятельная, разрешила папе разве что самокат нести, хотя он и её подхватить и нести хотел.

Самостоятельная. Хоть и устала, а сама разулась, умылась.

Пообедав, сказала:

— Папа, я теперь—спать.

Сама себе удивилась: в садике никогда после обеда не спала, а теперь…

— В пижамку переоденься, а я пока посуду помою,—сказал папа.

И ушёл мыть посуду. Когда посуда была помыта, Аня спала и сопела—наверное, во сне продолжала кататься и бегать.

Папа прикрыл Аню пледом и пошёл дальше с графиками воевать.

Проснулась Аня от восторженного крика папы. Через закрытую дверь было слышно. Так громко папа кричал, только когда играл с ней в индейцев или во дворе изображал паровоз. Дальше папа уже нормальным, папиным, а не деловым голосом говорил:

— Представляешь, Оля защитилась! Единогласно!

И о чём-то ещё.

И так несколько раз.

Оля—конечно, это про маму.

Аня поняла, что происходит что-то странное, но хорошее. Откинула плед, потянулась, поняла, что выспалась и отдохнула.

Дождалась, пока папа кончит говорить по телефону. Он вертелся на своём кресле, подпрыгивал, как будто плясал сидя (сидя плясать в садике тоже учили, но Аня не знала, что и папа так умеет).

Ещё до того, как папа, чем-то увлечённый, заметил, что она зашла, Аня от двери без разбега кинулась ему на шею («Уф, тяжёлая ты у меня стала, почти большая»,—приговаривал он потом, когда каким-то чудом кресло не опрокинулось) с криком:

— Ура! Мама победила!

Папа сразу понял. Повертелся вместе с Аней, а ей так нравилось лежать поперёк кресла у папы на коленях и вместе с креслом вертеться. Потом аккуратно подъехал к её любимому креслу, как обычно, сгрёб её в охапку и как бы нечаянно (Аня знает, что папа всегда так шутит, когда чему-нибудь очень радуется) поместил её в кресло вверх тормашками.

Аня сперва для смеху подрыгала ногами, они вместе рассмеялись, потом повернулась и на этот раз не калачиком откинулась в кресле, а растопырилась изо всех рук и ног. А потом засерьёзнелась.

— Мама всех победила?

— Ну, всех не всех, но победила.

— А дядю Борю?

Папа не сразу понял, потом совсем расхохотался:

— А с дядей Борей они вместе против других и бились! Вот мама прилетит, сама всё расскажет.

А потом снова были перегонки во дворе и Вадик, который всё кружил и кружил вокруг на своём велике. И что-то орал.

Как хорошо себя чувствовать, когда понимаешь, что ты что-то можешь, и вдруг что-то может измениться, и никому никогда ни в чём не завидуешь, даже если у него велик круче или он тебе объясняет, что у него родители богатые, а у тебя—нищие, потому что у твоих родителей только двухкомнатная, а у его родителей—четырёхкомнатная, что у твоего папы старая «девятка», а у его папы—новая «Тойота», потому что твои родители летают только в командировку, а его родители летают в отпуск… И вообще, у него велик круче всех во дворе… Вот…

Как странно себя чувствовать, когда понимаешь, что тебя любят, а к тебе подходит кто-то, кто говорит, что его никто не любит, потому что он круче всех…

Странно. Набегавшись и накатавшись, Аня принесла остаток этого разговора папе.

Разговор был после ужина, так уж у них было принято, что за едой или молчать и сосредоточенно кушать, или рассказывать друг другу, что у папы

с мамой на работе, а у Ани в садике приключается весёлого.

А о серьёзном — после еды. Можно налить чай, кефир, иногда папа пьёт пиво, иногда они с мамой пьют вино, если уж совсем о серьёзном, Например, кто-то хороший умер. Аня догадывалась, что это такое, хотя ни разу не видела, но понимала, что это плохо. Мама в таких случаях часто плакала. А однажды даже папа — не плакал, конечно, но салфеткой глаза иногда вытирал. И уходил вроде бы посморкаться.

Аню никогда не выгоняют (а она в группе много раз слышала: родители взяли вино, сели на кухне, меня выгнали, громко кричат, оттуда дымом пахнет).

Итак, о серьёзном — после еды. Так папа всегда говорил, и так однажды в Москве говорил дядя Боря.

Папа стал очень серьёзным. Даже очень-очень серьёзным. Даже не таким, как он про свои графики разговаривал. Папа стал серьёзным примерно как дядя Боря, и Аня сразу представила, как дядя Боря помогал маме защищаться. Или как Александр Николаевич, папин шеф, который заходил к ним иногда в гости (шеф — это ещё главнее командира, Аня это знала точно).

Папа стал серьёзным, как человек, который точно знает, что говорит. Не настаивает на своём (а и в садике такого полно бывало), не старается командовать. Просто точно знает. Аня с трудом понимала, почему так бывает, но точно знала, что когда она едет на велосипеде, она точно знает, как крутить педали, а когда идёт или бежит, точно знает, как ставить ноги. Или когда она рисует, например, кикимору, она точно знает, что это точно кикимора, а не леший какой-нибудь или тем более русалка.

И вдруг подумала: сколько она видела малышей, которые не точно знают, как и куда ставить ноги. На то они и малыши. Наверное, и взрослые — это те, кто точно знает, о чём говорит. А остальные — заколдованные. Ане срочно захотелось стать взрослой и знать, о чём она говорит, и срочно сказать об этом папе, но она не знала, как об этом сказать.

Год назад Аня расплакалась бы от куда большей мелочи, но сейчас она уже почти большая, умеет не плакать ни от разбитых коленок, ни от обиды.

— Вот что я думаю, — сказал папа.

Папа начинал с ней так в первый раз. До этого он начинал иногда, когда говорил с шефом или с мамой. И ещё с кем-то — Аня не помнила.

— Вот что я думаю… — повторил он ещё раз. — Это очень легко — гордиться не своими успехами.

— Это как? — спросила Аня и сама не поняла, что тоже очень по-взрослому спрашивает.

— Да очень просто! Вот этот Вадик — он что? Быстрее всех бегает? Дальше всех прыгает? Лучше всех рисует?

— Нет…

— А сколько у него друзей? В группе, во дворе?

Аня задумалась.

— Нисколько.

— А ему хочется быть лучше всех.

Ане стало страшно.

— Папа, а зачем хотеть быть лучше всех?

— Не знаю. Честно, не знаю. Просто есть такие люди, которые хотят быть лучше всех. Наверное, потому что они никого не любят…

Ане стало совсем страшно. Она вспомнила: «И никто-никто никогда не приходит к ним на день рождения…»

Она чуть не заплакала, но теперь уже от страха.

Папа, кажется, понял.

Сгрёб Аню в охапку, отнёс в кресло. Включил добрую-добрую, красивую музыку. А сам пошёл мыть посуду.

Под музыку не то что баюкалось, но мерещилось.

Музыка была какая-то очень английская. Аня не помнила, что это за музыка, просто когда папа или мама её включали, они говорили какие-то английские слова. Что слова английские, Аня знала точно, в садике был кружок английского, там говорили совсем другие слова, но эти слова звучали очень похоже. Похоже на эту музыку.

Ане не спалось.

Спалось не Ане.

Не спалось Ане, спалось няне.

Не спалось няне, спалось Ане.

Так Ане мерещилось под эту музыку.

И няня мерещилась, как будто это тётя Света качает её в колыбельке (почему в колыбельке — Аня же уже почти совсем большая, — её почему-то не смущает).

А потом — как будто это она качает тётю Свету, а потом маму, и папу, и деду Гошу, и бабу Зину, и дядю Борю с его дочкой Настей, и ребят со двора, и даже Вадика с его великом…

Аня просыпается. Удивлённо озирается по сторонам. Как будто комната, и папа за компьютером, и фотография его шефа на экране, и стук по кнопкам с буквами — это что-то совсем незнакомое.

— Вот мама на нас будет ругаться, — весело сказал папа. — Иди спать, Аня!

— А я уже поспала!

Аня подпрыгнула с кресла, привычным жестом откинула плед.

— Папа, а мой день рожденья уже наступил?

Папа посмотрел на часы.

— Ещё нет. Ты же родилась в час ночи… А сейчас ещё только одиннадцать часов вечера вчерашнего дня. Будешь дальше сны досматривать?

Аня, выспавшись, стала совсем весёлая. Побежала, умылась. Пристроилась к папиному креслу.

— Пока не буду. А мама когда прилетает?

— Через полчаса я поеду её встречать.
— Папа, а возьми меня с собой! Я же очень по маме соскучилась!
— И я по ней соскучился. И она по нам соскучилась, пока там, в Москве, защищалась… Но представь себе, ты уже поспала, ты захочешь с мамой говорить. А мама очень устала, она немного поспит в самолёте и ещё захочет поспать в машине…

Аня поняла. Много раз было: мама, сонная и уставшая, говорит: «Аня, я тебя очень люблю. А когда я высплюсь, я буду любить тебя в тысячу раз больше! Ты же дашь мне выспаться?» И в самом деле — так и было. Аня не знала, что такое «в тысячу раз», но догадывалась, что это много-много…
— Папа, я вот всё думаю про Вадика. Ему, наверное, плохо, что он один?
— Конечно.
— И он потому такой злой? Как крокодильчик, у которого болели зубы?
— Думаю, что именно так. Мама и тётя Света лучше знают, они психологи, но мне кажется, что именно так.
— Но с крокодилом же птичка подружилась? Она же ему помогла? А вдруг я с Вадиком сумею подружиться?

Папа уже давно выключил свои графики. Теперь он снова включил английскую музыку, но совсем другую. Как будто звенели колокольчики.
— Наверное, сумеешь. Только, если захочешь помочь, ты его не жалей.
— Это как? — Аня сама удивилась, что у неё второй раз за вечер вырвалась эта взрослая фраза.
— Помнишь, мы шли по улице и увидели мальчика, который еле-еле шёл на костылях? А с ним ещё бабушка шла.
— Помню.
— Помнишь, он поскользнулся, а бабушка не успевала, и ты хотела его поддержать? А он сам опёрся и сказал: «Извините, спасибо. Я сам».
— Помню. А Вадик?..
— А вот Вадик вечно не сам. Ты же уже почти большая, подумай. И — точно завтра что-нибудь придумаешь.

Звонок в дверь. Папа пошёл открывать. Тётя Света.

С тётей Светой всё понятно и уютно. И дома, и во дворе, и в группе.

Папа уже обувался — ехать за мамой в аэропорт.

Но что-то внутри Ани было неуютное. Она всё думала, как же так можно жить, когда ты никого не любишь. И вдруг подпрыгнула и крикнула:
— Папа, я что-то поняла! Вадика надо позвать соревноваться с нами!
— А попробуй, — сказал папа. — Вдруг получится?

Папа уже открывал дверь. Но вдруг остановился. Прижал Аню.
— Прыгучая ты моя умница…

Аня маленько размякла.
— Папа, а когда вы приедете, вы меня разбудите?
— Если мама будет хотеть спать, то нет. Просто когда ты проснёшься, ты увидишь, что мама дома. А если мама отдохнёт в дороге, она сама решит.

В Ане что-то вызревало…

Она сперва кинулась папе на шею, подпрыгнула, он её поймал, Она обняла его. И сказала:
— Папа, я поняла.

Больше слов не было, Аня захлебнулась и вот теперь уже честно заплакала. Оттого, что любовь высказать невозможно.

Папа поднял и аккуратно прижал её так, чтобы чувствовать дыхание друг друга. Потом опустил.

Включил ту же английскую музыку, только уже у Ани в комнате, объяснил что-то тёте Свете и ушёл.

Что бы ни происходило, но если тётя Света пришла сидеть с Аней, Ане нужно быть уже умытой, в пижамке, в постельке. Только тогда тётя Света забывает, что она — воспитательница, которой надо укладывать детей спать, и вспоминает, что она подруга Аниной мамы и умеет петь песни.

Через открытое окно было слышно: папа уехал. Значит, если всё в порядке, мама скоро приедет…

Аня лежала и слушала музыку. И сама не заметила, как стала подпевать. И тётя Света стала подпевать:

> We all live in a yellow submarine,
> Yellow submarine, yellow submarine…

А потом тётя Света выключила музыку и начала петь сама.

И Ане снились жёлтая подводная лодка, плывущая через моря и океаны, и люди, которые плывут на этой жёлтой подводной лодке, поют песни, строят графики, защищаются от кого-нибудь. А ещё у этой жёлтой подводной лодки сирена как у машины, на которой ездит муж тёти Светы, и жёлтая подводная лодка мчится наперегонки со скорой помощью, потому что надо успевать спасать… А дальше уже непонятно, снилось или сквозь сон слышалось.

Мамин голос:
— Спасибо, Света, извини, что мы тебя всегда так напрягаем.

Голос тёти Светы:
— Ты же знаешь, Оля, я так хочу свою такую!

Голос папы:
— Чай попьём или сразу на боковую?

Голос мамы:
— Давай попьём. Слишком много впечатлений за последние сутки.

Пауза. Из кухни плохо слышно.

Голос тёти Светы:
— Я ж разве против, целуйтесь… Всё, пойду Эдика с дежурства встречать.

Дверь тихонько открывается и закрывается.

Потом:

— Ты не представляешь, как я по тебе соскучилась.
— Попробую. Мы же Аню не разбудим?
— Ой, извини. С этой диссертацией о собственном ребёнке забыть можно!

Дверь открывается.

Тихие шаги.

И мамин поцелуй.

И теперь Аня совсем спит и ничего не слышит.

Аня просыпается. Те же солнечные зайчики. И мамин поцелуй на щеке. Совсем-совсем тёплый. Папу и маму не слышно.

«Мне уже шесть лет»,—думает Аня. Идёт в туалет, потом умываться. Смотрит, как папа с мамой одной аккуратной горкой под одеялом лежат. Аня знает, они устали, их не надо будить. Проходит в свою комнату, включает мультфильм про маленького злого крокодильчика, который был злой оттого, что не мог почистить зубки, и про птичку, которая помогла ему зубки почистить…

Потом, конечно, обнимашки с мамой, с мамой это именно обнимашки, это долго, Аня даже задыхаться начала.

И завтрак. Такой торжественный, что даже овсяные хлопья кажутся именинным пирогом. Папа, кажется, угадывает мысль.

— Именинный пирог со свечками—это вечером, а сегодня днём мы устроим из тебя королеву.

Аня согласна.

Мама улыбается, допивает чай, уходит из кухни, кажется, с кем-то по телефону разговаривает, слышно только: «Я же писала!.. Да, да, конечно!.. О, это великолепно!» И возвращается, несёт что-то в руке.

Фотографии. Большие, красиво напечатанные. На экране, конечно, можно много фотографий посмотреть, но эти, наверное, на стенку можно повешать?

Мама показывает:

— Это я. Защищаюсь.

Мама на этой фотографии командир-командир, стоит на трибуне, как генерал на параде, что-то командует, смотрит как будто вдаль… Сквозь очки, которые сейчас сиреневые-сиреневые!

— А это как бы на меня нападают. Называется— оппонент.

Смеётся, поворачиваясь к папе:

— Ну ты же знаешь, какие они оппоненты!

Их двое.

Да-да, та самая кикимора, Аня её вчера так и рисовала. Папа тоже понял, потому что сразу сказал:

— Оля, ты же мне так толком и не сказала, за что наезжала на тебя эта старая кикимора!

Ой, кикимора ещё и наезжала! Аня быстро представила, что кикимора садится на трактор (не на машину, конечно, и не на танк, по болотам только на тракторе кататься) и на маму наезжает! А мама такая хрупкая-хрупкая, особенно когда она в очках, в которых играют солнечные зайчики, и Аня не понимает, как это.

— Она очень подробно перечислила, о чём я не написала. Когда она перешла к десятому пункту, весь совет лежмя лежал от хохота!

И сама расхохоталась. И Аня сразу представила, как это кикимора едет на тракторе, а вокруг все лежмя лежат, потому что кикиморы не ездят на тракторах, и это на самом деле очень смешно. Жаль, что про это мультфильмов ещё нет. Не беда, Аня ещё нарисует. Только уточнит:

— Мама, а кто такие совет?

— Совет—это такие интересные дедушки и бабушки, а иногда дяди и тёти, которые пришли специально ставить оценки. Ты же помнишь, как это бывает на фигурном катании?

Фигурное катание Аня каждую зиму очень любила смотреть. Мама тоже. Ане только было непонятно, почему каждый раз, когда все покатаются, начинают что-то считать. А мама не объясняла, каждый раз, когда начинали считать, почему-то из комнаты выходила. Но при чём здесь? Ага, понятно, мама командует, кикимора едет на тракторе, а совет называет цифры.

Дальше мама показывает:

— Второй оппонент.

Вот тут такой симпатичный старичок-лесовичок. Про него Ане всё ясно. Наверное, в маму сучками и шишками кидался, мама легко отбилась.

— А это вот Борис Леонидович выступает.

На этой фотографии дядя Боря был и не Дедом Морозом, и не Бармалеем, а таким правильным Гэндальфом. Очень справедливым и очень добрым. Таким Аня всегда представляла себе добрых волшебников.

— А это вот тот самый, который выискался на прениях… Ты же помнишь, я рассказывала. Или мне уже приснилось в машине, что я рассказываю?

— По-моему, приснилось,—сказал папа.—Судя по физиономии, такие долго будут сниться в кошмарах.

И мама с папой почему-то снова расхохотались.

«Физиономия»—это Ане долго объясняли, что когда хочется сказать «рожа» или «морда», потому что это там, где у нормального человека лицо, но на лицо не похоже, а говорить «рожа» или «морда» неприлично,—надо называть именно так.

— Мне в кошмарах ещё протокол оформлять!— сказала мама.

Аня поглядела на этот будущий мамин кошмар.

Вроде человек как человек. В костюме, при галстуке. Наверно, что-то очень торжественное. Во всяком случае, когда папа надевает костюм и галстук, это что-то очень торжественное, они обычно с мамой уходят вдвоём и называют это «свадьба» или «юбилей». Мама тогда обычно одевается очень красиво, а папа всегда одевается красиво, кроме костюма и галстука. А у этого человека костюм

и галстук выглядели очень красиво, не то что у папы. И вдруг Аня вспомнила, как папа называл галстук удавкой, и спросила:

— А что, этого человека долго душили?

— А как ты догадалась?—спросила мама.

— Папа же всегда называет галстук удавкой, а удавка—то, чем душат.

— Похоже, Аня, ты угадала. Душили-душили, так он и ходит до сих пор задушенный. Юра, представляешь, это проректор. Он припёрся на защиту доказывать, что диссертации про детей вообще не имеют права на существование! Мне потом по секрету секретарь совета сказала, что от него конкретно пахло спиртным, но она не могла остановить!

— Ужас,—искренне сказал папа.—А что дальше?

— А дальше оказалось, что весь совет, даже те, кто был против, решили за меня заступиться. Кажется, поэтому и единогласно! А вот, Аня, тебе привет от Насти!

И мама показала ещё одну фотографию.

Настя на новом велике. Дядя Боря и его жена стоят тут же. На задней стороне надпись: «С днём рождения, Аня! Тебе такого же».

Аня, конечно, с удовольствием поиграла бы с Настей. И с дядей Борей. Но что значит «тебе такого же»? Тоже, как Вадик, хвастается великом?

Аня девочка гордая, но что-то тут не так. А папа с мамой продолжали обсуждать фотографии, где мама с дядей Борей пьют взрослую газировку, ту самую, которая называется «Шампанское», где кикимора почему-то радуется и чокается с мамой, и старичок-лесовичок с мамой чокается… И вдруг папа сообразил:

— Аня же ещё не поняла…

Аня честно старалась не дуться.

Мама обняла Аню и сказала:

— Прости, увлеклась… Ты же не будешь против, если мы с папой попросим тебя зайти в твою комнату и ненадолго закрыть глаза? Или просто посмотреть в окно, если хочешь?

Аня расстелилась вдоль мамы и сказала:

— Мама, ты думаешь, что я ещё маленькая? Мне уже шесть лет!

Маме стало совсем весело.

— Тебе шесть лет,—сказала она.—И сейчас я тебе включу музыкальный привет от Насти и дяди Бори, а мы с папой будем пока упаковки распаковывать.

Упаковки распаковывать… Каждый подарок—это что-то новое. Даже если это сосновая шишка, которую тётя Света привязала к новогодней ёлке,—она пахла по-настоящему, целых полгода, пока Аня не оказалась в настоящем сосновом лесу, где таких шишек было много. Даже если это пакет с конфетами, у папы и мамы на работе их каждый год в Новый год дарят. А сейчас, когда папа и мама идут упаковки распаковывать… В прошлом году это был самокат. А сейчас?

Мама запустила музыкальный привет.

Песня.

В песне пелось про звёзды, про звездочёта, Ане сразу представилась всё та же жёлтая подводная лодка, которая плывёт между звёзд, собирает всех, кто хочет смотреть на звёзды, а причал у этой жёлтой подводной лодки—жёлтая-жёлтая луна…

Ане уже давно не нужно ни отворачиваться, ни закрывать глаза. Она смотрела как бы в никуда, а как бы и в окно, и вдруг левой рукой нашарила что-то длинное и круглое.

Подзорная труба! Настоящая подзорная труба! Теперь звёзды и луну можно не только в мультфильмах, на них по-настоящему можно посмотреть!

Аня взвесила подзорную трубу, поняла, что без папы пока не справиться. Положила. Солидная вещь.

И вышла из комнаты.

В коридоре рядом с битым жизнью самокатом стоял велик. Точно такой же, как был на фотографии Насти. Может быть—тот же самый?

Аня села на пол рядом, погладила рукой шины и ребристые педали. Он был настоящим.

Аня молнией кинулась к себе в комнату, переоделась во всё прогулочно-дворовое. Снова села рядом с великом. Так было более правильно.

— Оля, мы же всё правильно делаем?—откуда-то случился голос папы.

— Всё не всё, но что-то, надеюсь, мы правильно делаем,—ответила мама.

Папа вышел в коридор.

Спросил:

— Пойдём гулять?

Гулять очень хотелось, но хотелось и чего-то другого.

— Можно я его пока поласкаю?—спросила Аня.—Можно я тебя и маму тоже немного поласкаю?

Аня даже сама взялась тащить велик в лифт. И потом по лестнице. Не маленькая, шесть лет уже. А потом села и сразу поехала. Как-то очень легко и быстро.

Конечно, носились наперегонки, для честности менялись с Валей великами, Руслана почему-то во дворе не было. А Вадик всё катался и катался по периметру.

И до Ани дошло.

Они сидели на лавочке, велики лежали рядом.

Валина мама сидела тут же с коляской, у неё была минералка.

Жарковато было. Девочки, пока гоняли, очень вспотели.

И вдруг Ане пришла идея.

Она вспомнила, как вчера хотела Вадика пожалеть, но не придумала, как. А сейчас поняла.

— Валя, давай Вадика догоним? С двух сторон?

В войнушку все играли, а теперь ещё весь двор кино про индейцев и ковбойцев (или про индеев и ковбоев) посмотрел, так что можно было вообразить велик мустангом, ехать, издавать индейские кличи и кричать: «Эй, ты, бледнолицая собака! Две старых скво на своих мустангах догонят тебя!»

Аня и Валя ехали за Вадиком, орали, на радость всему старшему поколению двора, смотревшему фильмы про индейцев и ковбоев (или всё же про индеев и ковбойцев?), ехали-ехали, пока не догнали.

На этот раз Вадик, кажется, не просто лениво катался, а удирал честно. Но и девочки его догоняли честно.

Сколько кругов по двору они сделали, они не считали, в шесть лет до стольки считать не умеют.

Валя первой обогнала. Свалила велик на газон, сказала:

— Мой мустанг утомился. Поговорим?

Аня просто тормознула, не сходя с седла. Сказала:

— Мой мустанг ещё может скакать и скакать. Поговорим?

Вадик тоже тормознул.

Посмотрел ошарашенно.

Сам вспомнил, как вчера Ане говорил, что она-де из семьи неудачников, а он вроде как удачник… Пока думал, Аня подошла, взяла его за руку и сказала:

— Вадик, давай просто так, через весь двор, по кругу, наперегонки? А то ты всё один да один катаешься…

Велик куда легче оказался, чем самокат, и Аня устала куда меньше кататься, чем бегать. Даже сама вкатила своего мустанга по лестнице до лифта.

Дома были гости, и это правильно. И у Ани праздник, и у мамы праздник.

Разные разговоры разговаривали, ели, вино и газировку пили.

Дядя Эдик, муж тёти Светы, пел песни и играл на гитаре.

Светофоры, дайте визу,
Едет скорая на вызов…

А потом «Если друг оказался вдруг». И все пели.

И ещё много разного пели и разговаривали, отчего у Ани слегка закружилась голова.

И вдруг — звонок в домофон.

Вроде как ещё один гость?

— А Аня ещё покататься выйдет? — голоса одновременно Вали и Вадика.

И Аня бежит в свою комнату, переодевается снова в уличное, решительно выкатывает велик к лифту. Мама и папа всё понимают.

И уже вечером, отмывшись, посмотрев с папой в подзорную трубу на Луну, Аня сворачивается калачиком, ей уже не надо ни сказок, ни мультфильмов, она держит маму за руку и спрашивает:

— Мама, я всё правильно сделала?

— Всё-всё, — отвечает мама.

И что-то ещё говорит, но Аня уже снова спит, и ей снится, как они катаются втроём по Луне на своих велосипедах, и она видит, как папа смотрит на них в подзорную трубу.

Василий Миронов

Белые кораблики ладоней

Чёрная невеста

Её никто не ждёт с цветами у ворот,
Приветливо толпой не встретят на вокзале.
Но каждой жизни счёт она давно ведёт,
Без спроса входит в дом безмолвием печали.

Рождённый человек с ней сразу обручён,
Чураясь мысли той, что свадьба неизбежна.
Она с тобой идёт к соседу за углом,
Чтоб уронить гвозди́к последних за кортежем.

А платье шелестит подолом за спиной,
И шёлковый озноб тревожит позвоночник,
Когда открыта дверь в обитель вечных снов,
И комья прогремят, закрыв засовы прочно.

Терпенью и любви, спокойствию верна.
И знает день, и час венчания, и место.
Пока людьми любим, мне дай пожить сполна!
А после я уйду за чёрною невестой.

• • •

Сколько летом я сорву ромашек?
Неизвестно, и не надо счёта.
Неба бухгалтерия однажды
Мне предъявит просьбу об отчёте.

Разведу руками, что не знаю.
Не сердитесь, главный фининспектор.
Жизнь прошла, грешил, ходил по краю.
Вот, смотрите, черновик конспектов.

Думал, что успею начистую
Написать былое аккуратно.
Не сумел—и с вами я толкую,
А в руках измятая тетрадка.

Стал не лучшим сыном, братом, мужем.
И отец, наверно, никудышный.
Но ведь я тебе таким был нужен!
Правда, фининспектор мой всевышний?!

• • •

Белые кораблики ладоней
Женщине любимой подарю.
Порыбачу в локонах-затонах,
Наловлю заколок полный трюм.

Водопад волос их не утопит,
Выбросит на плечи-валуны.
Но продолжат плыть вперёд ладони
По реке разлившейся спины.

Тёплое попутное теченье,
Пристани кораблики не ждут.
А куда стремятся и зачем же?
Карты нет, но им знаком маршрут.

Разойдётся дрожь по водной глади,
Растревожит речку капитан.
Не страшна волна, он с нею сладит,
Даже если в шторме океан.

• • •

Истрепало время гриву,
Плюш одряб, и хвост повис.
Смотрит царь зверей тоскливо
Из-за мусорных кулис.

Время содранных коленей
Отжурчало. В детской вдруг
Лучшим другом за мгновенье
Стал мальчишке ноутбук.

Лев скучал на пыльной полке,
Вспоминал ребячий гам.
И ушёл он втихомолку,
Шерсть роняя по следам.

Приютился на помойке,
Точно жизни лишний груз.
Будто просит: вы со мной-то
Поиграйте, я сгожусь!

Зульфия Алькаева

Метафизика Ларисы Васильевой

К медовому, прилипающему к небу, названию первой книги стихотворений Ларисы Васильевой «Льняная луна» (1966 год) за десятилетия труда присовокупились ещё более тридцати различных сборников. Критика не обходила вниманием яркую поэтессу: в прошлом году, к юбилею автора, в издательстве «У Никитских ворот» вышел многостраничный том отзывов, статей и рецензий на её поэтические книги, нашумевшую «кремлёвскую» публицистику, прозу и драматические произведения под названием «*Лариса Васильева. Женщина своего времени*». Познакомившись с этим любовно оформленным изданием, снабжённым красивой подборкой цветных фотографий и портретов писательницы, я обнаружила, что литературоведы почти не говорят о метафизической составляющей лирики Ларисы Васильевой. Считаю важным отчасти восполнить этот пробел.

После темы поля и темы моря, ароматно и широко обозначенных Николаем Рубцовым, авторская заявка Ларисы Васильевой выглядит вроде бы пресно: «*Четыре темы у меня, четыре мрака и огня: Любовь, Судьба, Война, Мечта*». Абстракции, и только. Ни взглядом окинуть, ни в руках подержать. Но вчитаемся — следующие строчки неожиданно щедро компенсируют слишком общий перечень тем: «*и каждая простым-проста, и каждая старым-стара*». Что здесь происходит? Время расслаивается. Двусоставные определения, качели фольклорной присказки, или попросту зеркала, выявляют наше прошлое отражение. Так возникает пятая тема поэта — тайна, пятая грань пчелиных сот, подтекст, в котором вздымается грудь «*разбуженной Руси*».

Всё сказано давным-давно,
всё выяснено, решено.
Зачем, когда темным-темно,
четырежды стучат в окно?

Смысл приходящих к человеку знаний бывает порой неясен, благо что является подмога — свет и огонь, и нужно лишь открыться:

Я отворяю. Я горю.

Демиург готов к строительству… Простым-простой двойной фундамент уже есть. Настал черёд кладки, и тут каждый кирпичик обретает объём куба; иными словами, заявленные темы рассматриваются со всех возможных ракурсов:

Не повторяю, а творю
свой мир — четыре стороны
Мечты
Любви
Судьбы
Войны.

В заключение личного акта творения, как будто освещая новую постройку непреходящим космизмом, Лариса Васильева макает перо в чернильницу «солнца русской литературы»:

Года пройдут
и новый голос приведут,
и для него начнутся вновь:
Судьба
Война
Мечта
Любовь…

Пушкинское триединство — «…и жизнь, и слёзы, и любовь» — преображается и конкретизируется. «Жизнь» занимает чёткую нишу человеческой судьбы, «слёзы» вызваны глобальным бедствием — войной, а к причалу «любовь» прибивается плот «мечта».

Всевозможные вариации на тему дома и сакральная цифра «четыре», символизирующая Землю и четвёртое измерение, укореняются в лирике Л. Васильевой. Откроем, например, сборник «*Синий сумрак*» (1970 год):

Мой дом стоит перед ветрами,
четыре растворя окна.
В узорчатой террасной раме
поляна синяя видна.

И снова тут как тут пушкинский дух, перекличка со сказочным запевом классика: «Там чудеса: там леший бродит, // Русалка на ветвях сидит»:

Там колокольчики степные,
сиреневые клевера,
там ели, как сторожевые,
стоят, раскинув веера.

Невидимым, но осязаемым вещам Лариса Васильева дарит цвет, а значит, и плоть. В одном из её стихотворений *«ветер синий»* благодаря грёзе о парусах возлюбленного побуждает вспомнить знаменитую песню Г. Петербургского и Я. Галицкого «Скромненький синий платочек» в душевном исполнении Клавдии Шульженко.

> В моих руках остался ветер синий,
> каким-то парусам полёта силу
> он должен был когда-то сообщить.

Образ той родной синевы из песни был настолько ярким в сознании поколения, рождённого за несколько лет перед Великой Отечественной, что ровесник Ларисы Васильевой поэт Вадим Рабинович уже прямо вкладывает спасительный «синий платочек» в руки героя своего стихотворения «Канатоходец под куполом неба»: «Настежь руки. В руках лепесточки — великая малость. // Белоснежный один, а другой просто синий платочек. // О, какое спасение — эти платочки! // Чистый шёлк. Равновесия вздох затаённый. // Это тайна моя, чтоб не сбить равновесье…»

Поэт, философ и алхимик В. Рабинович отождествляет «синий платочек» с земной любовью (ту же роль выполняет *«ветер синий»* у Л. Васильевой), а белый — с белым светом. Его канатоходец балансирует между светом и любовью на тонкой мембране линии жизни.

В магической и молитвенной силе русского слова Лариса Васильева находит инструменты для сохранения духовного равновесия. *«Да не сойдутся берега у бешеной реки. // Да не возьмёт тебя тоска в железные тиски»*, — таков зачин стихотворения «*Заклинание*».

А вот мы наблюдаем парение над бездной. Героя держит не канат — жёрдочка:

> Да ты сама, не оступясь, по жёрдочке пройдёшь,
> Да никогда в сплошную грязь лицом не упадёшь.
> Да не упрячешь за душой постыдного гроша.
> Да не опутается ржой летящая душа.

Человек вызревает в капсуле прошлого, в коконе, в яйце — назовите как хотите… Не линейное, а круговое течение времени просматривается в «*Заклинании*» отчётливо.

«Если душа родилась крылатой», как писала Марина Цветаева, расстояния преодолимы, и дом становится чистой условностью. Разве уютен уже упомянутый *«дом»*, что *«стоит перед ветрами, // четыре растворя окна»*? Скорее, это вообще не жилище — своеобразная конфигурация перекрёстка или большого камня у дороги с указателями, как в сказке, перед которым поэту суждено решить, куда направить стопы. В другом стихотворении Лариса Васильева договаривается до афоризма: «*…Тайна великой бездомности // Разве не в доме живёт?*» Духовная подкладка присутствует во многих её произведениях. Не о внешнем уюте думаешь, читая про уборку в горнице:

> Я снова тру и чищу я
> два слепеньких оконца,
> чтоб загорелись чистые
> два отраженья солнца.

Симметрично расположенные «глазки́» местоимения «я» призывают не пропустить в *«оконцах»* намёк и на «мифопоэтический „глаз“ дома», как отметила в своём анализе исследователь А. Д. Серова, и на глаза человека (зеркало души), а в одном из отражений *«солнца»* — усмотреть очищенное сердце. Лариса Васильева в то далёкое советское время не могла познакомиться со стихами Марины Цветаевой — поэтические переклички возникают по ведомым Богу законам: «Два солнца стынут, — о Господи, пощади! — // Одно — на небе, другое — в моей груди…» (1915 год). Ну а пример полного олицетворения убранного жилища с девушкой находим у любимого ею Ивана Бунина в стихотворении «Старик у хаты веял, подкидывал лопату» (1903 год): «А хата молодела — зарделась, застыдилась — // И празднично блестело протёртое окно».

Существенное дополнение: в поэтике Ларисы Васильевой царствами и временами движет женщина. В её выразительные метафоры часто впрыснут эликсир именно женской силы:

> Будто в детство вошла и в сторонку стала,
> и не страшен какой-нибудь новый обман,
> и чугунная баба сошла с пьедестала —
> утонула в туман.

Или такая миниатюра, положенная на «любовную» музыку Бунина («Она лежала на спине»):

> Сбежала с белого крыльца,
> толкнула тяжкие ворота,
> и даль ясна до поворота,
> а кажется, что до конца.

Перспектива взгляда снова попадает в «мёртвую зону». Зато неведомая даль вдохновляет на дерзкое движение вперёд. Они такие, женщины в русских селеньях… В каждой из них чувствуется и отголосок отваги девушки из стихотворения в прозе И. Тургенева «Порог», безоглядно готовой на все земные испытания.

В созвездии лучших произведений Ларисы Васильевой есть стихотворение «*Вишня*», где её метафизика выражена особенно отчётливо и полно, а лирический размах, живой хруст и сок метафор как будто подтверждают верность поэтических формул. Образно говоря, всю глину своего миросозерцания поэт по сусекам соскребла и единым жарким выдохом воплотила в ёмкое полотно:

Дожди идут, как двести лет назад,
и капли тонко падают на крышу.
Где мы живём — шумел когда-то сад,
в земле застыли корни прошлых вишен.
Там, где кровать, тогда была скамья,
там, где окно,— хмельная круча стога.
Чужие чьи-то жизни затая,
безуглый камень смотрит у порога.
Однажды ночью странный человек
стучался к нам. Зачем-то мы открыли —
и никого. Лишь на пороге снег
или щепотка серебристой пыли.
И стали тени посещать мой дом,
плясать ночами бурно и упрямо.

Здесь прочитываются и чеховский «Вишнёвый сад», и аллюзии на оду Г. Державина «На смерть князя Мещерского», и отзвук стихотворения А. Ахматовой «В том доме было очень страшно жить…».

При всей загадочности сюжет у Васильевой выглядит простым. Классический звукоряд убаюкивает читателя. Однако это не редукция. Раскопки внушительной картины мироздания чреваты находками реликвий, возможно, самим автором не опознанных или не осмысленных до конца.

Произносишь текст вслух — язык катится по гладким, как голыши, словам, да в серёдке вдруг спотыкается на непривычном образе и звуке: «*безуглый камень*». Воображение тут же переиначивает «безуглый» в «беззубый», и уже страшно становится, тем более что камень «*смотрит у порога*», у него есть глаза. Следующая строка окончательно очеловечивает валун: «*Однажды ночью странный человек…*»

По свидетельству автора, одушевлённый камень говорит с ним щепоткой серебристой пыли и пляской теней, что косвенно указывает на огонь в камине.

Что всё это значит в целом? Вода дождя, просочившаяся в картину дня в начале лирического монолога, не просто испарилась, но в огонь переродилась. Возникла новая энергия жизни, гумус для тех чеховских корней прошлых вишен, что «*в земле застыли*». Дождь напитал влагой почву и «*безуглый камень*», а согрел их древний огонь. В виде «*серебряной пыли*» можно представить себе пепел от сгоревших поленьев или живое слово Серебряного века, просыпавшего сияющий снег на огонь Золотого.

В конце же стихотворения происходит прорыв, воплощённое чудо будущего — чеховский сад оживает:

От дома не осталось ничего,
и озерко на месте кухни вышло,
на месте удивленья моего
пошёл росточек серебристой вишни.

Поэт служит вечности, и любая частность для него — повод сказать о несказанном. Не случайно российский филолог А. Серова отыскала в многослойном «наполеоне» Ларисы Васильевой под названием «Вишня» не только чеховскую, но и фольклорную, и библейскую подоплёку.

При этом правы и редакторы книги рецензий, определившие героиню издания как женщину своего времени.

Утверждая величие поколения, того, «*где девушка с веслом, // лётчик в белоглазом шлеме, // три танкиста, два бойца…*», и сохраняя верность однажды прирученному ею мистическому реализму, Лариса Васильева одушевляет материю высокой идеи, наделяя её материнскими качествами. В парадоксально-драматической роли провожатого «*идея*» выступает в стихотворении «*Свет и мрак в переплетенье*»:

Провожает их, седея,
поцелуем в льдину лба
их высокая идея,
несравненная судьба,

до последнего предела
не желая понимать,
смотрит вслед осиротело,
как оставшаяся мать.

Звукопись строки «*поцелуем в льдину лба*» достойна отдельного комментария. Притирка трёх согласных — «*м*», «*в*», «*л*»,— во многих случаях недопустимая, тут, на мой взгляд, оправдана. Плотно сцепленные, как бойцы в строю, звенья слов с буквой «*л*» подчёркивают и ритуал прощания (поцелуй в лоб), и жестокую неотделимость человека от героики суровой годины. Ассоциативный ряд широк: ледяная площадка, взлётная полоса, челюскинцы на льдине, название первой книги стихов нашей героини «*Льняная луна*».

Вернувшись в начало, окинув взглядом поэтическую библиографию Ларисы Васильевой, на лоскутном одеяле из названий книг мы обнаружим синие, алые и светлые принты: «*Льняная луна*» — «*Огневица*» — «*Лебеда*» — «*Синий сумрак*» — «*Одна земля — одна любовь*» — «*Радуга снега*» — «*Поляна*» — «*Огонь в окне*» — «*Русские имена*» — «*Василиса*» — «*Роща*» — «*Светильник*» — *Странное свойство*»…

Принимая образы художника за овеществлённое чудо, мы увидим, как синее небо перетекает в синий лён и васильковые поля, в землю, рождающую Василис, и почувствуем, как питают этот вечный божественный процесс небесные и земные источники света. «*Огонь*» и «*снег*», сияющие в названиях книг, включены в круговорот льна и любви в природе, ведь ещё в каменном веке наши предки сеяли лён первым по гари выжженного

леса, под снегом или дождями вымачивали собранные стебли, а затем высушивали их под солнцем.

Как известно, существительного от глагола «льнуть» не существует (да простит меня читатель за тавтологию). Но в лирико-мистическом мировосприятии поэта возможно всё. Тот же *«лён»* в поэтике Васильевой убедительно занимает место синонима-символа любви, неба и родной страны. Трудно не согласиться с филологом Мариной Князевой, считающей, что Лариса Васильева совершает «духовное путешествие в глубины России, ведёт своё историко-сказочное паломничество. От сюжета к сюжету, от героини к героине, идя к идее живительной мудрости и цельности мира—к России-Вселенной—Василисе. К Премудрости».

«Скажи в огонь—сумею, // Живая выйду из огня»,—обещает героиня Васильевой возлюбленному. Бурный поток чувств позволяет ей вырваться за границы личного, для преображения достаточно бросить в эту реку камень-слово—допустим, каблук…

Казалось бы, о подвигах всесильной русской бабы после Некрасова напоминать не нужно: «Коня на скаку остановит, // В горящую избу войдёт». Однако Васильева развивает известный образ. У неё из огня появляется фантастическая красавица вроде Сивки-бурки, вещей каурки, или кентавра в женском обличье: *«Мир отступает суетливо, // Под каблуком земля горит…»* В последней строке слышится эхо пушкинского портрета морской царицы («…А во лбу звезда горит») и скороговорки: «От топота копыт пыль по полю летит». Вспоминается и Россия, воплощённая Мариной Кудимовой в образе кобылы Арысь-поле из одноимённой поэмы.

Страсть Ларисы Васильевой далеко отстоит от публицистического пафоса Кушнера и Н. Коржавина, писавших о тщетной попытке пенять на эпоху: «Времена не выбирают, в них живут и умирают»; «Время дано! Это не подлежит обсужденью. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нём».

Поэтесса выламывается из календаря вообще, концентрируясь на часах, созданных не человеческими руками, поскольку *«высока седая Млечность, // и глубока Огонь-вода»*. Уже в первой книге Ларисы Васильевой, по выражению критика И. Денисовой, «преобладает мудрость зрелого чувства». Она нутром чует, как из звука рождается слово, из слова—весь мир. Недаром в открывающем цикл *«Терем»* стихотворении при начале Руси поставлена ею *«сорока»*, будто криком своим предвосхищает эта птица блеск и славу Сорока Сороков:

Сорока суетно кричала,
И ветки стряхивали грусть,
И начиналася сначала
Моя разбуженная Русь.

Тайна русской речи просачивается через самое что ни на есть простое ситечко. Если взять буквально четыре строчки из обращения народа к Ольге (поэма *«Княгиня Ольга»*) и начать переставлять в нём слова, как цифры в игре «пятнашки», мы с удивлением откроем, помимо чаепития (*«чай»*—*«кипяток»*), как *«сама»* княгиня превращается в *«кипяток»*, а *«лапоток»*—в лопотание, плетение речи, горячий святой ключ. Человек состоит из слова, окормляется им, исчезает в нём.

Чай, сама была
Не белым-бела,
Лапоток плела,
Кипяток пила…

Лариса Васильева естественно и умело переплавила в себе влияния стихотворцев разных эпох. Коллеги по цеху поэтов давно согласились: ей удалось избежать эклектизма. Маяковский дерзал разговаривать с Солнцем. Нашу современницу притягивает женская энергетика ночного светила. Она так же воспринимает мир не как данность, но как то, что нужно пересоздать, чтобы постичь. Лариса Васильева наряжает видимые реалии, словно ребёнок—ёлку, укрепляя на макушке дерева свою звезду-луну:

Подбежала я к окну,
и при всём честном народе
я повесила луну
на огромном небосводе.
И стою, закрыв глаза:
обласкают ли, осудят?
То ли вёдро?
То ль гроза?
Что же будет?
Что же будет?

Закрыла глаза—ночь, открыла—день… Кто сказал, что в сутках двадцать четыре часа?

Елена Крюкова

Попытка воскрешения

О новых книгах Натальи Гранцевой

Путешествие во времени, или Русский Шекспир

Когда литературоведение внезапно становится увлекательнее приключенческого романа — изумление соперничает с жаждой скорее погрузиться, углубиться в целый лабиринт загадок и их неожиданных решений. Такова книга Натальи Гранцевой «Герои России под маской Шекспира» — это терпкое смешение жанров: философия и интеллектуальный детектив, культурология и геополитика, языкознание и приключения, путешествия и медицина, магия и история театра сплетаются, на выходе образуя фантастический художественный сплав.

Автор — русская писательница, и естественно, что изыскание о «русском Шекспире» должно было появиться, что называется, здесь и сейчас. А интеллектуальным лейтмотивом книги автор выбрал мелодию избавления от старых иллюзий. Вернее, избрал вполне нетривиальный ход: поглядеть на традиционного Шекспира с другой стороны, не с той, где, по Андерсену, позолота, а с той, где свиная кожа; нарушить незыблемую ритмику всегдашней веры в положения, установленные и режиссёром, и шекспироведом, и зрителем, и читателем раз и навсегда.

«Нет ничего навеки установленного!» — словно говорит нам Наталья Гранцева — и, под магической лупой неожиданных аналитических технологий рассматривая классические Шекспировы трагедии и комедии, которые земляне знают едва ли не наизусть, умудряется повернуть их к нам такою стороной, что сперва диву даёшься, а потом начинаешь понимать новые (и убедительные!) смыслы, возникающие на крутых виражах классического текста и современной мысли.

Разумеется, автор не претендует на нахождение истины в последней инстанции; Наталья Гранцева сама оговаривается в послесловии, что это *«одна из возможных гипотез»* и что гипотеза эта *«в лучшем случае может описывать лишь фрагмент одной большой идеи* ***великого фолио****»*. Из главы в главу книги медленно движется огромный русский корабль, исследующий море Шекспира, измеряя лотом его глуби́ны, доселе не измеренные.

И на этом огромном пути первой из загадок (а может, разгадок?..) мы находим новое прочтение «Ромео и Джульетты»: вся трагедия и яд и кинжал внутри погребального склепа оказываются кошмарным сном, а Джульетта выходит замуж за того, кого полюбила всей душой, — за графа Париса, выступившего на балу в доме Капулетти под маской Ромео!

Не спешите негодовать и кричать: «Невозможный парадокс!» Искусство всегда парадоксально, хотим мы этого или не хотим; парадоксален Шагал с его летающими любовниками, парадоксален Эдгар По, парадоксальны Хармс, Рабле, Достоевский. А Шекспир парадоксален вдвойне — на нём надета маска Вечного Театра, и его «Глобус», возможно, не столько реален, сколько ирреален, это символ-знак бытия, где перепутаны Библия и площадная песенка, — и это и есть живая, медленно вертящаяся в пространстве планета, что надевает на себя маску снега, а под ним — зелёная трава; что закутывается в синие платы океанов, а под ними — выжженная пустыня.

Это совсем не значит, что Шекспиру верить нельзя. Но воспринимать его однозначно, плоско, а не объёмно — тоже не стоит. Догадка о том, что «Гамлет» — это вариация Гомеровой «Батрахомиомахии» и предтеча гофмановского «Щелкунчика», не только не принижает или искажает шекспировский замысел, но, напротив, придаёт ему новую глубину и остроту; и эта «глубоководная» трагедия становится ещё более глубоководной, ещё более океанской — в свете распахивающихся и у актёров, и у нас под ногами пластов времён. Может быть, это чувство сравнимо с тем библейским феноменом, когда Чермное море, по молитве, внезапно расселось, расступилось, волны разошлись в стороны, и Моисей со своим народом мог перейти его по обнажившемуся дну.

А офтальмологические пассажи в «Короле Лире»? Сорвать с человека в те времена очки и растоптать их — всё равно что вырвать у него глаза; а очки стоили в те времена недёшево, ибо тщательно обточенные линзы были предметом явной

роскоши. Так «глаза» становятся синонимом «очков», и весь «астероид» трагедии поворачивается к своей планете («Глобусу») и к своему светилу (Шекспиру) абсолютно неожиданной стороной…

Натуральное потрясение испытываешь от погружения в новое прочтение трагедии «Макбет». Макбет — не серийный убийца, а герой своего времени. Символически — под видом ряда героев и поворотов сюжета — изображены два солнечных затмения и лунное затмение, и они, эти космические знаки, — символ пережитых и предугаданных поворотов в «политической борьбе королевских фамилий средневековой Шотландии».

Так Шекспир становится ещё и астрономом, и провидцем — своего рода британским Нострадамусом; и впрямь для него, как для реального французского пророка Мишеля Нотр-Дам, время — канувшее, настоящее и грядущее — варится в одном котле библейской вечности «олам».

Зададимся вопросом: если за дерзкими авторскими гипотезами Натальи Гранцевой стоит самая что ни на есть авторская правда Вильяма Шекспира, почему автор Шекспир это всё в своих комедиях и трагедиях делает? Разве не легче было бы, не справедливее и понятнее написать всё, как оно есть, — страсть и гибель разлучённых влюблённых, смерть почти что опального принца Гамлета (на фоне целой вереницы смертей его друзей и врагов), Макбета-преступника и леди Макбет — убийцу с руками в неотмываемой крови? Ведь как всё просто… и доступно!

Искусство театра, по Гранцевой, сродни философии. А философия — река глубоководная. Её течение непредсказуемо извилисто, и она не подчиняется никаким, тем более жёстким законам холодной логики. Скрыть, чтобы явить. Убить, чтобы родить. Увенчать, чтобы низринуть. Театр — не констатация факта, а веер контрастов — и тайных, и явных. И чем ярче эти контрасты, чем зашифрованнее арт-акция, тем глубже опускается морской лот нашего восприятия и нашей мысли.

Средневековое мышление, вскормленное мифами, символами, загадками, мистикой, сильно отличалось от нашего, более линейного, дискретного, информативного. Средневековому человеку, каковым был Вильям Шекспир (кто бы он ни был — отдельно взятый человек или «группа граждан», женщина — «смуглая леди» — или, по одной из совсем уж безумных версий, шотландская королева Мария Стюарт…), свойственно было закрывать лицо веером либо маской, писать «подмётные письма» и дарить символические подарки «с секретами», и за этими секретами часто стояло торжество восшествия на престол или ужасная смерть от книги с пропитанными ядом страницами. Такие «бархатные маски» — на лицах, на ликах многих Шекспировых героев. И Наталья Гранцева осторожно — но и смело, и в этом тоже её собственный, авторский эмоциональный парадокс, — приподнимает эти маски, показывая нам истинные лица.

Но лишь на миг! Всего на миг. Не успеешь узнать и запомнить. Снова театр, и снова игра.

И вот она, удивительная «игра по-русски».

В знаменитой комедии «Сон в летнюю ночь» звучат мотивы летних языческих праздников и мотивы свадеб. Что удивительно — русских праздников… и русских свадеб! Смелый ход — предположить, что русские студенты-московиты (четверо недорослей — «боярских детей»: Микифор Олферьев, Софон Михайлов, Казарин Давыдов, Фёдор Костомаров) прибыли в «туманный Альбион», здесь влюбились и женились… в Петров день!

Целый ряд исторических свидетельств приводит нам автор, чтобы мы смогли погрузиться в конкретику событий, из которых потом, позже, проистекли философия, сказка, сценическое действо, метафора жеста, символика любви и природы. Любой социум всегда уходит корнями в природу; любая страна уходит корнями во всемирность. Однако то, что Шекспир был знаком с русской историей (равно для него — с русской современностью), заставляет обратиться и к гипотезам о его национальности, о происхождении. Благо маска, надетая на него самою Клио, — пока не сдёрнута никем…

Предположения о том, что в самом Шекспире реально течёт русская кровь, высказывались не раз — и в шутку, и всерьёз. Всего лишь четыреста лет назад всё, связанное с ним, происходило… четыреста лет — срок по меркам человеческой истории небольшой… а заглядываем в эти времена, будто в античные. И то правда: иной раз далёкое «в начале жизни» ближе, чем подлинное вчера.

Но почему же гениальный англичанин не мог заинтересоваться людьми далёкой Московии и её историей, тем более — её современностью?

А может, он интересовался этим именно потому, что Московия была ему не чужая?

И мы становимся свидетелями того, как в «Цимбелине» зеркально отражается история Бориса Годунова.

Поймём и то, что в тот век, отнюдь не «век скоростей», информация распространялась совсем не десятками лет и события дальних стран становились достоянием людского знания довольно быстро — и в Европе, и в Азии, и даже в Новом Свете, и в африканских песках. А художник, при получении этой новой информации из надёжных «реалистических» источников или — выдумкою, легендой — из уст певцов или сказителей (таких же художников, как он сам…), имел полное право эти образы, сюжеты, положения использовать, переработать, написать — родить вновь. Почему бы

Вильяму Шекспиру не написать текст «из жизни Годунова»?

И это удар «культурным током»: сразу в памяти всплывает пушкинский «Борис Годунов»! Та же музыка, те же образы! Наталья Гранцева тут же даёт нам понять, кто явился неким связующим звеном между Шекспиром и Пушкиным — Михаил Матвеевич Херасков, — и мы, благодаря автору, можем вспомнить, перечитать и по-новому осознать трагедию Хераскова «Борислав» — с тем же мятущимся героем, с теми же коллизиями…

Так ткётся «времён связующая нить». Так наслаиваются и перекликаются исторические личности — под бархатом вымышленных имён, под масками придуманных сказочных персонажей. *«Сказка — ложь, да в ней намёк…»* — сказал Пушкин в финале «Сказки о золотом петушке» и был прав: искусство всё — одна огромная сюжетная прекраснейшая «ложь», торжествующая мегаметафора, сугубый вымысел, но этому вымыслу мы верим иной раз больше, чем самой натуральной правде.

И в этом кроется неразгаданная тайна *мифа*: он прослаивает все Шекспировы тексты, и Херасков и Пушкин — его, мифа, верные сыны и ученики. Шекспир мифологичен гораздо более, чем реалистичен, и больше, чем принято думать; и, ставя его на театре, не надо об этом забывать, стремясь облечь его многие обличья в платья и плащи, в плоть и кровь «реальных» людей.

Поэтому Шекспир, возможно, не только (и не столько) для сцены, сколько — для неспешного, вдумчивого чтения; и именно это показывает нам в своей дерзкой, интригующей, «глубоководной» книге Наталья Гранцева.

Поэтика Шекспира, его таинственные, то насмешливые, то трагически-вызывающие, технологии написания пьес (что на самом деле и не пьесы вовсе, а некая концентрация бытия, квинтэссенция прекрасного и безобразного — высший пилотаж эстетики, соединяющей в едином кровеносном русле прошлое, настоящее и будущее вполне «по-нострадамусовски»…) составляют основную огненную материю, прочную и плотную ткань книги Натальи Гранцевой, и она сама ясно и ярко обозначила собственную позицию, давшую ей право заглянуть в мастерскую Художника, за кулисы «Глобуса»:

«Это всего лишь первый опыт нового взгляда на то, что казалось известным и не подлежащим сомнению».

Попытка воскрешения

Наталья Гранцева. «Неизвестный рыцарь России». Санкт-Петербург, издательство «Журнал „Нева“», 2015

Перед нами книга столь же удивительная, сколь и органичная.

Эта книга, с интригующим названием «Неизвестный рыцарь России», с исследованием жизненного пути, личности и произведений поэта, имя которого ничего или почти ничего не говорит современному читателю, — не только о человеке, но и о времени.

Что есть жизнь человека? Сгущённое время. Что есть произведение искусства? Запечатлённое время.

Вот только чтó есть само время, толком не знает никто; и почему с одними именами оно обходится смело и властно, запечатлевая на своей стене их огненные буквы, а с другими — тихо и тайно, затягивая мхом преданий, догадок и домыслов, а потом и захлёстывая бездонным молчанием прежде звонкие честь и славу?

Наталья Гранцева написала книгу о Михаиле Хераскове. Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков, Державин — эти имена восемнадцатого века мы ещё помним, они всплывают, как некий «Наутилус», из смутных глубин школьной памяти. Но вот Херасков…

А ведь это был поэт (даже так скажем: Поэт!), который немало повлиял на Александра Пушкина. Которого читали и перечитывали современники. Эпические поэмы которого — «Россиаду», «Владимира», «Бахариану» — читали и перечитывали, обсуждали и изучали.

Если провести аналогии с историей музыки, подобная судьба постигала иных музыкальных гениев. Где, у кого на слуху сейчас имена Николауса Брунса, Генриха Шютца, Дитриха Букстехуде? Кто слышит их сочинения? Крайне редко они звучат в концертных залах. Можно даже сказать, не звучат. Однако это сильнейшие, ярчайшие композиторы (как в Германии говорили и писали — компонисты) добаховской эпохи.

Бах явился — и их забыли.

Пушкин явился — и забыли, смею заметить — незаслуженно и даже трагично, того, кто дарил Пушкину вдохновение, темы, образы и даже самоё музыку стиха.

Михаил Матвеевич Херасков встаёт со страниц книги Натальи Гранцевой живой, творческий, работающий и в почтенных годах — как пылкий юноша: из-под его пера выходит «Бахариана» («Бахарияна», как писали и печатали на прижизненных обложках поэмы) — невероятное сочетание волшебства и точнейших наблюдений жизни, сказки и были, предания и правды; в тексте «Бахарианы» зашифрована, скрыта даже сама жизнь, биография автора («Неизвестный рыцарь» — это и есть сам Поэт!). «Чудеса и превращения» — это одно начало волшебного текста; второе, и Гранцева подчёркивает это, — «учебник морально-нравственного совершенствования».

«Почему его получил в подарок лицеист Пушкин, почему им зачитывался юный Гоголь, почему позднее его разыскивал по всем книжным лавкам поэт Николай Языков...»—вот как раз на эти «почему» Наталья Гранцева и даёт ответ.

И пытается дать его не однозначно, не формульно, а развёрнуто, раздумчиво, с тем чтобы мы вместе с ней смогли окинуть взором не только сюжетику знаменитых в своё время поэм, но и историческую панораму, прижизненную картину мира, что так внимательно наблюдал и так страстно любил Херасков.

А для Хераскова—впрочем, как для многих талантливых и образованных людей его времени—история была нынешним днём, она пребывала слишком близко в пространстве-времени—вчера, нет, даже сегодня. Иначе Херасков не написал бы роскошную и по набору изобразительных средств, и по пафосной высоте сюжета «Россиаду»—поэму, где её автор встаёт вровень с Гомером (и Гранцева не раз подчёркивает «гомерианство» Поэта!); в основу сюжета «Россиады» положен исторический факт—взятие Иоанном Грозным татарской столицы Казани. Но эта канувшая в вечность история, ожившая под пером Поэта, становится биением сердца, ходом стрелки сегодняшних часов.

То, что Пушкин вдохновился одной из сюжетных линий «Россиады» и следствием этого увлечения-вдохновения было появление на свет «Руслана и Людмилы»—одной из светлейших стихотворных сказок русской классической литературы,—давно ни для кого не секрет. Секретом для русской культуры—до сих пор, и это непростительно, это печально,—пребывает сама жизнь и весь творческий путь Михаила Хераскова.

Недаром в высокопоэтическом, невыразимо печальном и торжественном, как церковная лития, предисловии к книге автор, через изображение некрополя Донского монастыря, иносказательно говорит нам о беге времени (и тут уместно вспомнить бессмертные строки Анны Ахматовой: «...Но как нам быть с тем ужасом, который / Был бегом времени когда-то наречён?»). А бег времени оказался безжалостным к одному из бесспорных гениев России, к одному из великих её поэтов.

Наталья Гранцева внимательнейшим образом прочитала «Бахариану», последнее произведение Поэта,—и увидела в ней поистине новаторские ходы, что выламывались из современного Хераскову литературного канона; и вот что увидено исследователем—одно перечисление литературных примет уже уникально:

«Назидания, лукавая сатира, сентиментальная история, волшебная сказка, рыцарский роман, утопия, духовный травелог, педагогическая поэма, героический эпос, богатырская былина—множество отдельных форм, освоенных русской словесностью к началу XIX века, вошли в качестве эстетических элементов в единое художественное пространство „Бахарианы“».

В приложении приведён и текст самой поэмы; и можно поразиться и порадоваться тому, какое разнообразие метроритма, рифм, аллитераций, интонаций (разве возможно не узнать пушкинское веселье в этих шутливых строках: «Пониже опускаю стру́ну, / Стихов надутых не люблю; / Где будут надобны перуны, / Гремушку там употреблю...»?) использует поэт, причём всё происходит естественно, без интонационного и ритмического напряжения, без искусственности замысловатой выдумки: вместо неё—свободно реющая фантазия, безошибочное чутьё, изысканный вкус и живописная смелость словесного штриха. Всё это—Херасков!

Так где же он, этот русский гений? Забыт? Утрачены его писания? Сожжены в пожарах революций и войн?

Ничуть не бывало. Михаил Матвеевич Херасков—такая же великая принадлежность нашей истории, как и Михаил Ломоносов, и Гавриил Державин, и многие другие гении. И Наталья Гранцева задаёт в своей книге архиважные, надеюсь на это, вопросы: когда мы вернём имя гения читающей публике? Когда будет издано полное собрание сочинений Михаила Хераскова? Когда и «Россиада», и «Бахариана» зазвучат в полный голос со сцены, с экрана?

Забвение подобных художественных величин—непростительно. И слава тому исследователю, что делает, впервые за последние годы, попытку не только творческого воскрешения Хераскова, но и вызывания живого интереса к самой личности Поэта.

Оказывается, название последней поэмы Хераскова—«Бахариана»—происходит от слова «бахарь», что означает—баятель, баян, балясник, рассказчик; такие бахари в Древней Руси сказывали сказы, пели мощные эпические песни и былины. Чаще всего эти певцы были слепы.

Так же, как слеп был великий аэд Гомер.

Наш русский Гомер, Михаил Херасков, не ослеп в конце жизни, как Гомер, Бах или Гендель. Бог миловал его. «Бахариану» родил зрелый, проживший жизнь, зрячий и телесно, и духовно художник. Он видел, как из-под его пера выбегала быстрая строчка, и он слышал, как юный голос читает ему его собственные строфы.

А может быть, как смело предположила Наталья Гранцева, разгадка трагического забвения таится в том, что революционному пролетариату не были нужны авторы прошлого—не свободолюбцы, не борцы с тиранией, а, напротив, консерваторы, сторонники царской власти? Ведь при сломе эпох симпатии восставших были на стороне художников-революционеров, а отнюдь не тех, кому

было хорошо под сенью длани самодержца. Что ж, может, так и есть.

Но поменялись времена. И стал оживать интерес к прошлому. К его полуистлевшим страницам.

Самое бесценное, что могла сделать Наталья Гранцева, сама большой поэт,—это написать книгу о Поэте былых времён, вызвав в наших умах и сердцах не просто (и не только!) интерес к забытому имени, но и желание вернуть творчество Михаила Хераскова—в полном объёме—современному российскому читателю.

Что тут говорить, друзья мои? Это—миссия. Она внутри этой книги, самим появлением на свет этой книги, исполнена. И исполнена с честью.

ДиН ПЕРЕВОД

Миясат Шурпаева

Путями памяти

Перевод с лакского Марины Саввиных

• • •

Уходил мой дядя на войну.
Все меня оставили одну.
С платьицем не в силах совладать,
Я осталась у ворот стоять.

Обернулся дядя: «Как же так?»
Подошёл. С плеча спустил рюкзак.
Платье мне одёрнул: «Выше нос!»
Взял меня на ручки и понёс.

Мать сердито крикнула: куда?
Дядя улыбнулся: не беда!
Лишь сильней к груди меня прижал
И к шоссе быстрее зашагал.

Помню—запах гари, крики, пыль,
С кузовом большим автомобиль…
И красивый, сильный рядом с ним—
Самый лучший дядя мой Муслим.

Повзрослев, я горе поняла:
С фронта не вернулось полсела,
А тогда… могла ли кроха знать,
Почему так горько плачет мать?

Высечено имя на плите
Обелиска. В вечной высоте
Среди тех, кто не пришёл с войны,
Дядя мой о доме видит сны:
Горы, реку, свой родной Кумух
И девчонку—лет не больше двух…

Глажу мрамор—тёплый, как ладонь,
Память не тускнеет: только тронь!
И слезы непролитой ожог—
Жаркой влагой катится со щёк…

Памяти Магомед-Загида Аминова

Поэт ушёл… но путь его повит
Посмертной славой—и глухой молвою.
Убит, как Пушкин, Магомед-Загид.
Поэзия, что сделали с тобою?

В отечестве своём пророка нет.
Иные блага гражданам любезны—
Невнятно слово и бессилен свет
Над мраком приближающейся бездны,

Иначе на глумленье и позор
Бесценное не отдали бы имя—
Поэтов много, только до сих пор
Нет стихотворца с песнями такими!

В чужом глазу песчинку разглядим,
В своём—бревна не чуем… у народа
Душа по ветру тянется, как дым,
Не бережём, что нам дала природа!

О музыка родного языка,
Родник для вечно жаждущего духа!..
Поэта вдохновенная строка
Тобой жива. А без тебя—разруха…

И если слово лакское звучит
Ещё для мира Божьим назиданьем—
Тому причастен Магомед-Загид
Небесным даром и земным страданьем.

Миясат Муслимова

«Элементарна линия крыла»

О книге Евгения Минина «Погоня за ветром»

Книга Евгения Минина «Погоня за ветром» вышла в Иерусалиме в 2012 году. Поэзия — та сфера, где духовные достижения становятся профессиональными, где тоска по идеалу даёт ту особую ноту лиризма, которую невозможно достичь в обыденной жизни. Поэтому чтение книги стихов — лучший способ познакомиться с автором как поэтом и человеком, что я и сделала, получив эту книгу в подарок от автора, знакомством с которым я обязана виртуальной реальности в жж. За что особый респект всем новейшим информационным технологиям.

Вообще, сегодня всё в нашей жизни настолько фрагментарно, в том числе благодаря тем же технологиям, мир становится настолько расчленяющимся, что преодолеть клиповость мышления и вернуть ощущение целостности реальности могут только некие социальные интеграторы. В этом смысле роль поэзии неоценима. Как отмечал Померанц, поэзия даёт ту паузу созерцания, без которой нам не услышать перекличку царствия внутри нас и царствия вовне. Этим и интересен каждый поэт, которому дано слышать и творить.

Тематически стихи в книге «Погоня за ветром» распределены между разделами «Товарняк», «Если Бог меня оставит», «Поэт — брат мой», «Танец на углях», «Обними меня покрепче», «Восточная кухня»; отдельно даны циклы стихов, объединённые темой искусства; завершается книга разделом пародий. Однако по сути это стихи одного дыхания, одной жизни. Книга открывается стихотворением «Товарняк», рассказывающим об эпизоде детства. Однако если мы будем искать в этом разделе развитие темы детства, мы попадём в тупик

В разделах нет биографической последовательности, но это воспоминание из далёкого прошлого раскрывает главное, то, что было и будет в лирическом герое. Детская игра — прыгнуть на подножку поезда и в смертельном риске утвердить своё право на жизнь, на преодоление, свою тягу к манящим огням дальнего, другого, будущего. Жизнь, которая очень рано бросает вызов смерти. Но в этом вызове смерти — не просто отчаянная дерзость и игра жизненных сил, в прыжке над бездной — точный расчёт и знание единственно правильного способа действовать: *«А всё потому, что был выверен шаг И точен толчок ноги»*. Главная тема всех разделов книги — жизнь, и раскрывается она не как фрагмент и не столько в переживании здесь и сейчас, а в её траектории движения, в испытывающем взгляде автора, обращённом к себе самому. Годы пролетели, но осталась всё та же детская устремлённость: *«А я всё бегу от тебя, суета, К манящему жизни огню, Но силы — не те. И дыхалка — не та. Смогу ль, не сорвусь, догоню?»*

Семь разделов книги «Погоня за ветром» — это не столько разные темы или этапы жизни автора, преломившиеся в стихах, сколько встреча с поэтом, «здесь и сейчас» интересным читателю своим взглядом в прошлое и настоящее, лиризмом и ироничностью, ёмкостью лаконичных строк и ясностью, точностью слова. Но это ощущение ясности и доверие впечатлению простоты может обмануть нас и увести мимо понимания авторской мысли, если вы поддадитесь инерции чтения. Там, где обычно поэты облекают мысль во взрывные метафоры, автор не ставит эти знаки предупреждения и опознания. Минин пишет просто, требует читателя вдумчивого, внимательного. Его контрапункты незаметны на первый взгляд, но настоящие авторы тем и хороши, что они меняют оптику и расширяют возможности читателя. В каждом своём стихотворении, даже в самом маленьком, он словно учит ходить заново по земле — не как по прочному монолиту, а словно бы прислушиваясь к прочности земли под ногами, чтобы не ошибиться, выверяя каждый свой шаг. *«Я лишь — серый листок, вниз скользящий в свободном паденье»*, — легко льётся стих с узнаваемыми и понятными образами, и не сразу осознаёшь неожиданность последующих слов: *«Где от гнева и кары навеки укроет земля»*, — уход из этого мира связан в нашем представлении, наоборот, с ожиданием «гнева и кары»

«Стихи последних лет», — оговаривает автор первый раздел книги — «Товарняк». Он открывается стихотворным эпиграфом «Экклезиаст», задающим особое измерение взгляда на свою жизнь, когда наступает время одновременного существования в ней и за её пределами. В нём звучит вызов всему, что и в мудрости своей, и в тщете стоит между человеком и природой, и в нём

же наиболее ёмко выражено драматичное осмысление жизни, которое обычно потаённо звучит в стихах поэта и редко обнаруживается «в полный голос». Многие темы книги уже заключены в этом коротком стихотворении, но основная — тема жизни, смерти и преодоления. И хотя каждое стихотворение, в том числе и это, достаточно цельно, в них слышны скрытые следы внутренних диалогов, те столкновения мыслей, которые и придают особую наполненность звучанию слова, где отрицание проверяет свою силу через утверждение. Каждое слово в поэтическом потоке проверяется и кристаллизует свой смысл множеством его отражений в этом же произведении. Поэтому традиционный путь последовательного движения за автором может читателя обмануть. Авторский способ думать и жить — иной, он строится на тех же тончайших и незыблемых связях всего со всем, как в природе. Поэтому правильная траектория чтения стихотворения — идти от начала к концу — и снова к началу. «*Всё проходит в погоне за ветром. Жизни привкус — горше лимона*», — пишет автор, и уподобление горечи жизни бессмысленной погоне за призраком как будто бы раскрывает смысл названия книги, созвучный Экклезиасту: «Всё пройдёт». Но эта инерция восприятия или её традиция начинает рушиться при дальнейшем чтении, и её разрешение ты осознаёшь только в момент разрушения, не заметив, как казавшиеся завершением одной мысли строки оказались разворачиванием другой, рождающейся в её недрах. Обычно мысль о преходящести всего обессмысливает в немалой степени ценность того, о чём идёт речь. У автора же «разрушение» смысла работает на сохранение ценностей, без которых слабеет человек и скудеет его жизнь. «*Только каждая встреча с рассветом в необузданной круговерти и желанье погони за ветром убежать поможет от смерти…*» Переосмысление, расширение, углубление взгляда — это то, чем увлекают стихотворения, а наслаждение искусством точного слова, ритмикой, звучанием, чувством близости автора уже служит залогом нашего нового возвращения к творчеству поэта.

Смерть — как посыл к жизни, жизнь — как уход от смерти. «Погоня за ветром» — это поэзия не о преходящести жизни, обрекающей на тщету действия человека, а о её щемящей красоте, о неутолённости прекрасным и стремлении к нему. Очень динамичная поэзия, в которой много света, пространства, ритма, движения, порыва, и в то же время — созерцательности, потаённого трагизма перед лицом небытия. Пространственность в стихах — это и ощущение воздуха, простора, свободы духа, и какая-то особенная близость к автору, задаваемая его доверительностью, открытостью, беспафосностью, самоиронией, юмором, простотой. Той простотой, о которой сам поэт скажет: «*Нет волшебства, нет чуда никакого, искусство начинается с простого — элементарна линия крыла*» («Художник»).

«Предзакатные» стихи или мотивы уходящего времени, уходящей жизни, звучащие в разных разделах книги, не так явны, да и таких стихотворений не так много, но, мне кажется, именно они придают какое-то особое человеческое звучание книге в целом. И диапазон звучания темы богатый — от самоиронии и взрыва эмоций во внезапности встречи («Старость») до ностальгических возвращений в прошлое («Запах земляники», «Тот город»).

Евгений Минин — поэт русский или израильский? Можно ли так ставить вопрос, не знаю, но когда читаешь его стихи, не хочется никаких противопоставлений. Политическая история нашей страны в двадцатом веке вопрос выбора страны для проживания сделала вопросом жизни и смерти, верности и предательства. Постсоветская история страны и общие процессы в мире изменили отношение к праву человека выбирать родину и относиться к ней так или иначе. Для оценки поэзии широкой читательской аудиторией, к счастью, это уже не имеет значения, как раньше не имело значения для узкого круга ценителей поэзии. Евгений Минин — русский поэт для России, и не только потому, что он безупречно пишет на русском языке и впитал в себя русскую культуру, неразрывно связан с ней, но ещё и потому, что невозможно потерять ту самую жгучую и смертную связь со своей малой родиной, даже если отрицать это («*ностальгия ко мне не приходит, не мучает, шельма*»). Отрицать, наверное, из боязни пафоса, из разности миров прошлой и нынешней России: «*Вот смотрю по тв — когда горько, когда прикольно*» («Эльгрегор»). Но есть стихи о любви, которые в равной мере можно отнести к любимой женщине и к родине. Одно из самых пронзительных у поэта и размещённое сразу после стихотворения «Эльгрегор»: «*Если бы ведала только, как холодно мне без тебя…*» Потрясающие строки, которым неловкость признания, неумение легко произносить трудные слова придают особую силу: «*Оглянись на меня, это я поднимаю листок — Черновик этой осени, словно пустую страницу. И увидишь во мне неуклюжую чёрную птицу — Занесённую стаей на Ближний, но дальний восток*».

Образ птицы можно найти у каждого поэта, но мало кто может дать ощущение взмаха её крыльев вопреки тяжести, склоняющей её к земле, вопреки боли, которая бьёт прицельно и настигает на лету, дать почувствовать биение сердечка в ладонях. И прочитать так много в немногих словах, за которыми — неотвратимость участи преданно любящих: «*Стая в небо взлетит — и на юг, От родимой земли, от зимы, От суровых январских вьюг, Брать чужое лето взаймы. А другим этот*

путь незнаком. Что им лютый мороз-лиходей? Но на снег замёрзшим комком С ветки падает воробей. Ртутный столбик у сорока, Как на траурном замер посту. Всё умеет природы рука, Принимай её красоту. Всё под силу—алмаз огранить, Обучить полёту птенца, Одного не умеет—хранить Тех, кто предан ей до конца».

Верность и любовь «малых», незамеченных—та почва, на которой стоит большое и великое. Мы уже давно приучены к тому, что взаимность в этих отношениях—дело редкого случая. Но особенность подлинной любви в том, что она живёт вопреки. И без упрёка. Любовь—она родом из детства: кто этого не знает по себе? Самозабвенно вернуться в прошлое—значит, невольно рассказать о себе сегодняшнем. Память другого как дар воскрешения прошлого и мыслящее явление в настоящем становится нашим переживанием под пером художника. «Запах земляники»—это радость лакомящегося ребёнка, воссоздаваемая такими короткими и выразительными картинками, самыми простыми словами, а упоение—как от собственного пиршества—*«у окошка с липами В деревянном домике с низким потолком»*—и вот ты уже весь там, где *«воробей на веточке, весело чирикая, Долго уговаривал поделиться с ним…»*, ты уже в том прошлом, где нет вообще времени; но тут автор, «окунувший» нас в землянику с молоком, возвращает назад, и мы не успеваем опомниться, но уже смеёмся: *«Детство, моё детство пахло земляникою, Может быть, поэтому вырос я незлым!»*

Сколько стихотворений в книге—и ни одно из них не пройдёт незамеченным, не прочитается по инерции, потому что в каждом—своя мелодика, свой ритм, своя улыбка, свои образы, и так ностальгически знакомые по реалиям прошлого: *«Заправлена печь дровами, фырчит чугунок с бульоном, А за окном в скворечне птенцов бесконечный грай. А бабушка с дедом живы, и сахар ещё по талонам, И так безмятежно в тетрадке рифмуются „рай“ и „сарай“»* («Тот город»),—и так забавляющие улыбкой над своими школьными бедами («Урок физкультуры»), и печалящие невозможным: *«А память исколет сердце лапой еловой колючей За то, что кому-то когда-то три слова недосказал»*.

Всем знакомо то время дня, когда заходящее солнце погружает в золото серые улочки города, рождая ощущение некой благодати. О чём бы ни писал автор, всё мило сердцу, потому что и тревога, и печаль, и смех, и насмешка—всё это взгляд любящего человека, не умеющего перекладывать тяжесть и бремя её осознания на другого. Стихия лиризма преображает всё, поэтому и пародия не обижает, и уныние веселит: *«Какое утро погодонегодное, Жуткие в небе облакадабры. Вот как жара снимает исподнее И вешает всё на колючки сабры. Небо хамсонное, небо хамсинное, Даже сердцу душно-недужно. Мне это надо? Мне это нужно? Утро колючее, утро осиное…»* («Утро»).

А тем более когда нас, читателей, делают соучастниками встречи с чем-то высоким, куда можно смотреть, лишь запрокинув голову (*«Висит над землёю волшебная осень из птичьего клина, из листиков клёна. Давай у неё, всемогущей, попросим багряных искринок, дождинок солёных»*). Да, мир, увиденный вместе с поэтом, прекрасен, и пусть он обжигает горечью (*«О том, что у нас впереди расставанье, ещё мы не знаем, ещё мы не верим»*), но в этих же строках звучит такая музыка полёта, что всё отступает перед ней и перед тем, чем дано нам ещё наслаждаться: *«Но всё невесёлое в завтра отбросим, и гроздью калёной алеет калина. Висит над землёю волшебная осень из листиков клёна, из птичьего клина»* («Осень»). Стихи об осени полны того сентябрьского солнца, которое, как материнская ладонь, даёт утешение, но—«не прижаться к ней солёными губами». Эта изредка прорываемая нота страдающей человеческой души—она особенно дорога, так же как авторская улыбка над ней: *«Ни запала нет в душе, ни пыла В ожиданье завтрашнего дня. Это значит—осень наступила, Наступила прямо на меня…»* («Осеннее»).

«Я тот же, что и был, сентиментальней лишь»,—пишет автор. Старомодно? Вечно. Провинциально наше стремление казаться сильнее.

Одни из лучших стихотворений книги посвящены детству, в котором мы были родней со всем миром и где братья наши меньшие учили нас человечности («Дикий кот»), верности («Собака»). Стихотворение «Озеро» обладает какой-то магической оптикой, сталкивающей два потока времени и усилие вхождения в потерянный мир: то ли всё тот же мальчик плывёт по свинцовой воде к берегу, то ли мы тщетно стремимся прикоснуться к такому осязаемому и ускользающему на расстоянии вытянутой руки миру. Оно рождает множество ассоциаций, насыщено плотными потоками смыслов, звукописью.

Искусство звукописи у Е. Минина особое—оно не искусственно, оно не призвано демонстрировать техническую виртуозность автора, оно никогда не довлеет над смыслом, настолько органично, что не является признаком отдельных стихотворений, а пронизывает все жанры, это как от природы поставленный голос. Причём невозможно, как это часто бывает, говорить об ассонансе или аллитерациях, потому что мысль или чувство побочно не цепляются за воспоминание о гласных и согласных, они ниоткуда не выпирают, как детали украшения или элементы строения. Поэтические строки несут по волнам воспоминаний, удивляя точностью сравнения, поэтической зримостью плывущих навстречу образов и, как встречной волной, ошеломляя

встречей со своим детством и юностью (*«Городишко-городишко, пыльных улиц сладкий запах, И речушка через город, словно жилка на виске. Я — твой маленький мальчишка, пробираюсь тихой сапой, Чтобы после смыться-скрыться с кислым яблоком в руке…»*).

Ещё одна особенность лирики поэта — стилевая органичность слов высокой лексики и просторечья. Я не знаю другого примера в поэзии, когда разговорные и просторечные слова, которыми мы все так часто пользуемся, были бы столь органичны в лирике: «смыться-скрыться», «дребедень», «дыхалка», «прикольно», «задрипанный» и так далее. Удивительно, но они не только не снижают тональность стихотворения, а даже несут некую скрытую ласку и беспечность, а точнее, «к» беспечности. Встреча речевых потоков детского мира и мира взрослого происходит вне любых границ расстояния, там нет пути друг к другу, потому что всё пребывает в себе, и дальняя волна в океане — та же стихия, что и водные глубины на берегу озера. Мир лишь меняет свои очертания вокруг, а душа остаётся прежней, той, какой замыслил её Бог, чтобы она, оставленная один на один с путаницей мыслей, оглушённостью майским ливнем и ошалелой сиренью, чутко внимая миру, искала сама себя и свою связь с ним, прозревала свой путь, свой голос: *«Я — пацан длинноволосый, я — поэт, вопрос решённый, Это ты лишь мог подслушать первых строчек дребедень»*. Город, к которому обращён голос автора, маленький город Невель Псковской области с таким певучим русским названием, *«на краю судьбы и жизни неприметный городишко»*, — это та малая родина, в любви к которой сливаются наивная чистота детства и улыбка взрослого: *«И поверь, совсем не знаю, может, мною ты гордишься, Но чтоб это совершилось, я стараюсь как могу»*.

Можно писать стихи, отключая сердечность участия, и чувствовать, как высокое бесстрастие и философичность взгляда приближают тебя к сонму больших поэтов, претендующих на вечность. Можно прятать её за смехом, самоиронией, но когда она есть, стихи тоже становятся ближе к сердцу. Правда, парадокс: чем больше сердечное тепло, тем уязвимей сердце.

Что наше сердце, друг, — беспомощная мышца,
Сам чёрт не разберёт, как лечится она.
Не разорвать ей круг, чем издавна томишься,
И не нащупать брод там, где не видно дна…
Приподнимает жизнь таинственный свой полог,
Сердечко-то она вручила напрокат,
И смотрит на меня печально кардиолог,
А я гляжу в окно, где плавится закат.
(«У врача»)

В стихотворениях поэта мысль может быть высказана раньше или позже, хорошо и ещё лучше, но в них есть всегда то чудо, которое мы не могли не почувствовать в последних строках стихотворения: поэзия умолчания, явленная с такой зримостью, перед красотой которой приглушается боль.

Любая тема может стать поэзией, будь это политика или околополитические, любые иные реалии, если уметь с такой точной силой слова (а это уже беспощадность к явлению), лаконичностью дать узнаваемые его черты и опять же — умолчать об очевидном смысле, неопровержимо раскрыв его через единственно найденный образ:

Когда редеет первый ряд,
Выходят из-за спин вторые,
Неведомые, никакие —
И говорят, и говорят,
Что приносил, что наливал,
Кто, что, когда, кого и сколько,
Приврёт-придумает лишь только
Бесхозный подержать штурвал,
Чтоб находиться на виду
В плену чужого ореола,
Но мимо проплывёт гондола
И растворится на ходу…

Чеканность срок, плотность рядов, ни одного аморфного или спорного слова. Высеченная правда, вдруг к концу нашего взгляда растворяющаяся в мире объёма и тайны времени.

Человек хочет казаться сильным. О своей уязвимости он узнаёт перед лицом болезни, времени, смерти. Но и тогда он должен быть сильным, потому что он боится смеха. А болезнь, старость и неотвратимость ухода — что это, как не осмеяние человека временем? Его надежд, его возможностей, его заряженности на труд, на счастливое право быть нужным. Можно из трагедии сделать басню, можно из басни — трагедию. Вся разница замысла лишь в дистанции, которую надо задать между собой и героем.

Мы знаем классику про лошадь и немножко нервно. Мне кажется, это ещё одна классика — стихотворение Е. Минина «Лошадь», оно продолжаете ту же тему: все мы немножко лошади. Но не там, где мы печалимся о трудностях сегодняшнего и окололежащих дней в своей повседневной жизни, а там, где по инерции приложения всех своих сил в ежедневности пахоты вдруг спотыкаемся о камень, который нельзя убрать, перед которым мы все (лошади, естественно, а не стрекозы) равно достойны слёз, а не осмеяния: *«Лошадь выпрягли старую, бросили в поле: Мол, своё оттаскала, теперь бей баклуши, И траву ешь от пуза, и спи аж до боли, Заработала, мол, пансион свой старуший. А она — за повозкой бежать: непонятно, Как могли? Я — сильна! Я — стальная натура. Так возница кнутом её выгнал обратно: Живо в поле, гуляй! Эко старая дура! И застыла она одиноко и горько, На глаза набегала солёная влага. Надорваться бы*

ей на какой-нибудь горке Или с хрипом внезапно сорваться с оврага. И стояла она на крутом косогоре, Велика, непонятна в душевном ненастье. Может, сдохнуть на воле — великое горе. Может, сдохнуть в повозке — великое счастье».

Я не знаю, кто ещё так может укротить чувства и одновременно с такой силой выразить их, «рифмой пользуясь глагольной, речью пользуясь народной». Поэт всё время намеренно «принижает» стихи, особенно когда речь идёт о гражданственных темах. Это либо иммунитет профессионала от малейшей фальши, пафоса, либо форма протеста времени. Пародирование жанров в стихотворениях, отсылающих к воспоминаниям об оде («Размышления во время выгула собаки», «Размышления во время мытья посуды»),—это и пародирование всеобщей праведности на кухне, и всеобщего измельчания за рамками точки своего нахождения. Но я бы сказала, что стихотворения сохраняют странным образом пафос и гневного ораторства жанра политической филиппики, и памфлета, при этом ни один из этих жанров не разрушает другой: кто есть «диверсант» в тылу врага — не отличишь, настолько «бесшовны» линии стяжения. А зачем оно надо поэту? А разве не мы об этом говорим везде и всечасно? Единственное преимущество поэта — что он может эстетизировать чувство злости, переплавляя его в грусть и иронию. Единственное, не могу понять: как, живя в Иерусалиме, Е. Минин живёт в России, с такой правдивостью выражая наше состояние, наше восприятие времени?

Мы деградируем бездумно, смешны трагедии Шекспира.
Ромео цацкался с Джульеттой. Зачем пацан развёл базар?
В кровать её бы с первой строчки, в дом престарелых выслать Лира,
И что там Яго с этим мавром — «мочить», и всё! Так это ж — мавр!..

Что интересно, тема обличения варьируется на разные «социальные» лады в рамках одного и того же текста.

…Мир перепуган сам собою, он — и охотник, и — добыча,
Мы мрём от страха в самолётах, в автомашинах и метро.
Нет, не задрипанный Бен Ладен смерть сделал вроде за привычку,
Мы сами породили джинна и пьём свой ужас, как ситро…

Процесс политико-философских размышлений о глобальном в процессе мытья посуды как будто бы должен веселить, но почему-то веселья нет. Это какая-то крайняя форма бессилия отдельной личности, и проявлена она даже не в авторском тексте, а в нашей читательской реакции: смешное не вызывает смеха, потому что жизнь настолько спародировала сама себя, что в искусстве оно избыточно. Оно — дань традиции, пусть и ещё очень свежей. Поэтому в «Размышлениях во время выгула собаки» самые правдивые и горькие обличения и робкие надежды произносятся на фоне паркового мусора и свалки и обращены к трём воронам, чтобы методично быть сурово осмеянными мудрыми птицами. Порождение нашего времени — рефлексия, которой нет смысла в обнаружении себя вовне и внутри, настолько сузились горизонты смысла или всеобщей глухоты.

Тема «Человек и люди», «Человек в современном мире», помимо того, как она раскрывается в лирике автора, звучит подспудно и в зазоре между книгой и читателем: контраст между явленностью духовной, интеллектуальной полноты в лирическом герое и крайней беспомощностью перед лицом происходящего в мире, ощущением катастрофичности. Сознание лирического героя вбирает в себя массу культурных реминисценций, аллюзий. И это не культурные пласты (понятие археологическое), а суть, плоть, дух, реальность сегодняшнего «я» героя. Не рафинированная высоколобость лучшего ребёнка в семье, а ирония и «проделки» не желающего обращать на себя внимание Ивана-царевича в одеянии младшего «дурака». Детство Мефистофеля до его падения. Скепсис и трезвость ясного и сильного ума, укрощаемые неисчерпаемостью любви к миру и человеку.

И завершается раздел стихотворением «Прозерпина», в ритме которого слышны воспоминания о далёком гекзаметре и былинности прошлого. Голос поэта в нём от дружески-доверительного обращения к Прозерпине, возвращающейся каждый год из Аида, чтобы разбудить спящие души людей (*«Плюнь на нас, Прозерпина, не стоим твоей мы заботы. Что тебе суета и никчёмные дрязги людей?..»*), приобретает исповедальное и утешающее звучание (*«Я тебя понимаю и где-то, возможно, жалею…»*), и в одическом обращении звучит молитвенная сила сострадающего заклинания: *«Сколько лет миновало, и что же тебя гонит в спину? Оставайся у нас, чтобы вечною стала Весна, Оставайся у нас, чтобы славил народ Прозерпину, Вечной станет любовь, вечно юными — Он и Она…»*

Эта живая интонация в её психологически точной динамике, в её выверенных и богатых переходах не даёт ни малейшего послабления читательскому вниманию, захваченному голосом. И вдруг слом интонации как некое «отрезвление» с нарастающей горечью обличения: *«Впрочем, глупая просьба, и нет идеалов на свете. Сколько слов напридумано — ненависть, зависть и зло! Да о чём говорить, если взрослые люди — как дети, Если дети — как взрослые, с правдой своей наголо»*. И тут же иная интонация человека, оставшегося наедине с собой, со своими трагическими предчувствиями: *«Грянет холодом осень. И, к нам повернувшись спиною, В царство мёртвых твой путь, и с собой ничего не возьмёшь. Нам бродить без тебя ошалелой безликой шпаною И друг в друга стрелять, продавать свои души за грош»*.

Но последние строки парадоксальны: исполняется желание-мольба, Прозерпина возвращается, но лирический герой гонит её от людей во имя её самой, порыв к надежде, не оставляющей надежды: «*Что ж замедлила шаг? Не жалей! Уходи, Прозерпина! А вернись… через тысячу лет… Если будет — к кому…*»

Занавес упал. Трагедия завершена. Драматургичность — ещё одна особенность лирики Е. Минина, в которой человек, живя в социальном времени, и не подчиняется ему, и смиряется перед ним, и всё больше лишается возможности творить его. И тогда остаётся одно — подняться над ним.

Обращённость на «ты» как изначальная уравненность в живущести, в бытии — особенность лирического героя Минина. Поэты традиционно знают иерархию, и хотя она иная, чем в обыденной жизни, высокое отношение к теме или герою произведения определяет тот императив Тамары Габбе, который Е. Минин взял эпиграфом к стихотворению «Пташка»: «*Поэт не должен говорить на „ты“ Ни с ласточкой, ни с камнем, ни с судьбой*». Чтобы оспорить? Простенькое такое стихотворение про пташку на ветке, а запало в душу. И истончающейся нотой птичьей боли, и потрясающими строками в конце: «*…И кто я такой, чтобы слушать Печальные тайны её?*»

Поэзия — это те же отношения с Богом.

В названии раздела «Если Бог меня оставит» предельно ёмко отражены и тема, и герои авторских размышлений — Бог и человек. Бог — Он очень разный, всё зависит от того, какими глазами ты смотришь на Него и на свою собственную жизнь: если Он — Отец, о котором заботится человеческий сын, оберегая Его от своей обиды («Если Бог тебя оставит»), то ты — верный и любящий сын; если Он — Великий Никто, ослепший от творимого на земле, онемевший, отчаявшийся в людях, то ты — разделяющее Его боль и сострадающее человечество, пытающееся отчаянно верить в Него как в свой последний шанс; если Он — Печальный Стрелочник, вынужденный принимать остановку сердца на конечной станции, то ты — беспечный и мудрый пассажир, готовый к выходу без напоминания; а если Бог — Учитель, с пытливой и ехидной усмешкой взирающий, на что способен человек, то ты — совестливый и недовольный собой ученик, ощущающий за спиной всё время его испытующий взгляд… Бесконечное множество ипостасей… Но вопрос о том, кто есть Бог, имеет своё отражение: кто есть человек? И сколь мал бы он ни был, у него есть счастливая возможность стать больше, чем есть. И, даже оставленный Богом, он может возвыситься до заботы о Нём: «*Но когда душа сумеет удержаться в равновесье И не даст обиде горькой всё, что было, сжечь огнём, Может, станет Богу легче там, в далёком поднебесье, Что не Он теперь в заботе обо мне, а я — о Нём*». Наверное, самоирония не столько бережёт от бездны, сколько говорит о ней.

Вообще, надо отметить, что эта стихия юмора и иронии не может скрыть, а порой подчёркивает скрытый драматизм лирики Е. Минина. Интонационное богатство в рамках одного стихотворения интересно не самим фактом своего существования, а абсолютным слухом к малейшей фальши, позволяющим органично соединить и иронический смех, и аввакумовскую страсть, как, например, в стихотворении «Неси свой крест, неси». В нём уже и тема прощения Бога человеком приобретает иное звучание: с каждой строкой голос словно освобождается от иронии («*Неси свой крест, неси, клянясь и спотыкаясь, Стирая пот со лба, терпя насмешек гул. Ведь именно тебя принёс на землю аист, А мог бы заболеть и выпросить отгул…*») и к финалу звучит как отцовский императив: «*Неси свой крест, неси, упорнее ставь ногу. На Бога не гневись, не сетуй, а прости И то, что не тяжёл твой крест, поверь, ей-богу, И то, что силы дал нести его, нести!*» Не повторяет ли человек судьбу пророка, прозревает ли он в своей малости и немощи возможную и данную ему свыше силу, соизмеряет ли он милость Божию («на Бога не гневись, прости… что не тяжёл твой крест») со своими притязаниями?

Очень цельный этот раздел — «Если Бог меня оставит», стихи, написанные перед лицом бездны («*наступает время — пропасть…*»). Не прямой диалог с Богом, не попытка размышлений о Нём, а стремление через разноголосицу суждений прорваться к истине, в понимании, что отчаянная вера на границе безверия в мире, не укоренённом в самом себе, — это шанс на выживание. Ощущение будничной катастрофичности жизни и страх мыслящего тростника оказаться не равным ей заставляют и бросать иронический вызов миру («Жизнь как петарда»), и обращаться с молитвенными строками к жизни, говоря о самой глубокой боли как бы между прочим («отпусти меня, жизнь, на свободу — от страха»), и сохранять мужество перед неизбежностью. Безусловно, это позиция стоика. «*Не верь, когда твердят, что дальше будет легче, К нам беспощадна жизнь, а после — только тлен. Удар слепой судьбы лишь слабого калечит, А сильный — тот всегда поднимется с колен. Когда же вдруг нужда в дверь постучит клюкою, То незачем роптать, когда попался в сеть. Но слабый — тот пойдёт с протянутой рукою, А сильный — тот найдёт причину умереть*». Всё трагичней звучит тема времени и судьбы, всё афористичней: «*Жизнь, как любимое пальто, расходится по шву…*» Никаких иллюзий. Лирическая стихия, как об утёс, разбивается о неотвратимость ухода, до дрожи ясновидения прочувствованную и увиденную в стихотворении «Кровь застынет в разорванной вене…», чтобы, уйдя от небесной опеки, прошептать

немеющими губами: *«Боже, я у Твоих ворот, постучать не решаюсь, Боже…»*

Да, никто из смертных не свободен ни от физического, ни от метафизического страха перед смертью, да, порыв ветра может сломать хрупкий тростник, но даже если вся Вселенная обрушится на него—она не сможет отнять у него право мыслить и бесстрашие духовной бесконечности, уравновешивающей бездну.

Это иное понимание роли поэта, чем традиционно заданный в девятнадцатом веке образ поэта-пророка; здесь не поэт, а весь иной «тварный» мир поднимается на недосягаемую высоту. Эта степень отношения на «вы», согласитесь, особая. И как просто и с какой пронзительностью выражена мысль! Раздумья о поэте и поэзии вошли в отдельный раздел «Поэт—брат мой». И это не только ссылка на кредо известного сибирского поэта Юрия Беликова, адресата стихотворения, который идёт по следу забытых своей страной больших самобытных поэтов, чтобы вернуть стране их имена, открыть. Это и кредо самого Е. Минина: *«Всё богатство его—скалы суровые на Чусовой. Ищет братьев—поэтов пропавших, поводырь ему—только стих. Ему до фени—еврей ты, татарин или бурят. И одно повторяет он в мире зависти и жестокости: Поэт—брат мне, поэт—брат мой, поэт мне—брат…»*

Ясно, что это стихи, рождённые не столько темой как таковой, а саморефлексией, раздумьями о своей судьбе, о роли поэта в современном мире. Портрет, создаваемый контрастными взаимоотрицаниями и взаимоутверждениями («Поэт», «Творить стихи», «Не кормите поэта с ладони», «Тщеславие»), тяжёлыми раздумьями, бессонницей, тщетой и откровениями. Эта тема развивается как диалог с читателями (*«Не требуй от него геройства и отваги»*), чтобы сказать то, что до него говорилось мало кем или никем: *«Он плачет по себе, и плач летит во тьму»*. Уязвимость и обречённость на расплату за исповедальность строк—это плата за дар. Но из простых слов уметь сотворить поэзию, окликаясь на зов чистого листа, рождая музыку созвучий,—и блажь, не соизмеряемая земными ценностями, и великое благо. И, преодолевая сомнения в себе и иронию над «блажью», звучит поэзия как единственный способ прорваться сквозь время. Так и живёт поэт по курсу звёзд, чтобы умереть от жажды над рекой, что зовётся жизнью.

Да, тысячи звёздных голосов до сих пор звенят над Вселенной, и мы чутко прислушиваемся к ним, различаем во множестве дарованных нам богатств их особенный звон. И что может быть лучше для Бога, чем слышать этот божественный хор поэтических голосов, где нет больших и малых, если они рождены биением сердца, и чувствовать, что не зря Им создан этот удивительный мир? И если ты, стоя со склонённой головой перед великими, заглушил в себе Его дар, оправдания молчанию быть не может: *«Поэтом меньше—это ли беда! Поэтом меньше—это ли потеря! Но ни одна из тысяч бухгалтерий Урон не посчитает никогда»*. Удержать голос—как не выпустить птицу в небо. Не писать стихи—как не сказать «люблю». И писать стихи—это вырваться из времени, не чувствуя того рокового выстрела, за которым тьма поглощает его. И перед величием данного дара как нелепы и смешны игры над словом (*«Стёб поэтический гордо веет над нами»*).

Политкорректность стала требованием времени. И это правильно, поскольку в век информационных технологий даже частное слово становится публичным и может иметь непредсказуемые последствия. Но, с другой стороны, это не столько признак роста агрессии в обществе, сколько признак отступления здравого смысла перед страхом не соответствовать чьим-то ожиданиям, а точнее—ожиданиям самых нетерпимых. Как следствие, страх назвать вещи своими именами приводит к отступлению от защиты нравственных ценностей, к их ослаблению.

Религиозные и национальные конфликты в современном мире—не поэтическая тема, и не каждый поэт рискнет взяться за неё. Увы, политическая риторика не влияет на массовое сознание людей, поэтому в этой сфере всегда есть элемент тёмного бессознательного, который непредсказуемо может сработать при малейшей провокации. Но массовое сознание меняется через индивидуальное, и путь этот долгий. То, что мы рискуем не увидеть при своей жизни добрые плоды своих дел и желаний, не означает бессмысленности усилий. Главное—сделать на этом пути свой шаг.

Можно ли жить в Иерусалиме, жить на священной земле и не коснуться проблемы арабо-израильского конфликта? Это как вступить на минное поле: всё равно перед кем-то окажешься виноват. Но как оставаться мирным человеком там, где от тебя требуют быть воином? Как быть воином, если ты против войны? Как быть против войны, если тебя могут убить в любое время, в любом месте? Как быть благородным воином, если тебя и твоих детей могут убить руками и жизнью ребёнка? Как спасти этого же ребёнка, если он—твоя смерть? Как защищать святое, если убивают именем святого? Как развести политику и религию, если их смертный симбиоз запущен не тобой и от тебя не зависит? Вливаясь в судьбу своего народа, каждый уже несёт исторический груз его испытаний и долга. Как при этом не стать отщепенцем или заложником коллективных догм? Как выйти за рамки барьеров, по которые разведены те или иные люди и которые мы сами так или иначе поддерживаем, боясь своего личного, индивидуального поступка? Каждый вопрос

рождает множество других вопросов, ответы найти трудно, а людям хочется найти простые ответы на сложные вопросы, для этого нередко сложные вопросы прессуются в один простой, как будто это помогает решить проблему. Это помогает подставить простой ответ и создать видимость решения проблемы. И так по новому кругу… Жизнь—как танец на углях. Так и называется один из разделов книги Евгения Минина.

Я живу в городе, где так же непредсказуема атака террористов. Не евреи и арабы, так «чистые» и «нечистые» мусульмане. Имя тех, кому нужно держать людей в состоянии войны,—единицы. Имя тех, кто становится их орудием,—тысячи. Имя тех, кто не приемлет кровь и насилие,—миллионы. Кто победит? Читая Минина, окунаюсь в жизнь израильского города и по-особому чувствую смысл простых желаний: «*Нам нужна такая малость, Чтобы жить не на авось, Чтобы где-то не взорвалось, Не случилось, не стряслось*» («Выходной»). Что происходит с человеком там, где у войны и смерти мирное обличье? Исчезает доверие к жизни: «*Смотрю на входящих в автобуса дверь, И чудится в каждом шахид*» («Варяг»). И независимо от того, как обернётся случай, ясно одно: вера в единого Бога, в Его Божию ладонь над всеми не прибавляет нам чувства защищённости («Почему?!»). Более того, противоестественность вражды народов не только разрушает братство отдельных людей, но и заставляет усомниться лучших из них в правоте естественного человеческого порыва: «*Я дружу с Махмудом, что тут хвастать, мне твердят: опасно и не надо с ним дружить. И видимся нечасто, потому что снова—интифада. А когда, обнявшись поскорее, мы по сторонам глазеем, дабы: я—чтоб не увидели евреи, он—чтоб не заметили арабы*» («Дружу с Махмудом»).

Одно из сильнейших стихотворений этого раздела—«Интифада». Камень ребёнка, летящий в очки поэта… Смешно? Нелепо? Страшно, потому что уже и камень—ничто, если сам ребёнок становится живым оружием. Когда происходит нечто, противоестественное человеческому разуму, кажется, что нет большей степени варварства. Но, видимо, и на пути зла нет предела «совершенству». Что страшнее: ребёнок, не знающий, что он кем-то обречён стать живой бомбой, или ребёнок, убеждённо принимающий эту роль? Простите меня, но есть вопросы, перед лицом которых вопросы о поэзии уходят в сторону. И остаётся, примеряя на себя самые дикие конфигурации возможных ситуаций в жизни, спрашивать себя, насколько ты готов быть чистым перед поэзией и насколько она возможна, по крайней мере, в том виде, какая она есть: «*Буду смотреть я на всё в полусне, страшный пейзаж сумасшедшего века, это не просто—убить человека, пусть даже трижды опасен он мне. Как возвратиться к стихам на столе, пусть невиновен, никем не допрошен?..*»

Вряд ли случайно, что следующий раздел книги—совсем другой. Как ни странно—о любви: «Обними меня покрепче». Казалось бы, логичней его дать ближе к началу книги, а не к концу, тем более после раздела «Танец на углях». Но, с другой стороны, есть в этом смысл: чем бы ни была чревата современная жизнь, она всё-таки есть. Жизнь—не просто как удивительный дар на время (пусть у каждого—своё), но и возможность ответить ей творением красоты, ликованием человеческого духа, его полётом над огнём: «*Взлетаем, словно птицы, а угли жгутся—жуть! И некому водицы нам под ноги плеснуть*». И к тому же что может быть *большим* спасением перед лицом отчуждающегося мира, как не любовь («Обними меня покрепче может завтра не наступит…»)? Любовь человека, с которым прожита жизнь,—жены. Сквозь обыденное и повседневное звучит у поэта высокая нота любви, приглушённая всё той же авторской самоиронией: «*Этой музыке тысяча лет, Бесконечной, волшебной и зыбкой. Мы играем всё тот же дуэт, Ты, конечно же, первая скрипка! Не у рампы, где плещут огни, И не в платье, слепящем атласом, А в квартире, где вечно в тени Я всё время ворчу контрабасом*» («Дуэт»).

Повороты темы разнообразны и всегда свои, неповторимые. А разнообразие ритма и интонации лирического голоса поэта то тревожит воспоминаниями о первой скрипке, то отзывается оркестровым многоголосием, то смеётся над любовным романсом, над клятвенным задором маршевой атаки, готовой обернуться бегством: «*Я тебя завоюю. Готов арсенал Для внезапной атаки десанта. Я под вечер сонеты Шекспира читал И горящие строки из Данте. Напоследок присяду и залпом—сто грамм. Так заведено перед атакой. И—вперёд! За любовь! За прекраснейших дам! С белым флагом под мышкой. На всякий…*»

Читаю Минина. И, кажется, иду к финишу. Но не могу ещё привыкнуть к одной особенности его лирики. Есть ожидания? Обманет. Обманет Минин! «Крик души»—называется маленькое стихотворение в разделе о любви. Никакого крика—одна заворожённость любимым делом: «*Я вижу многое теперь: как звук поёт, как дышит слово, где в слове—боль, где в слове—зверь, где слово—просто бестолково. Мне эти тайны не сложны, вникаю с первого прочтенья. И только… Только от жены не вижу ни на грош почтенья*». Крик—дело смешное, прав поэт, умеющий шёпотом сказать то, что не каждому и в полный голос удаётся. А кому есть что сказать, он и о самом больном скажет так тихо, что не услышать его невозможно, потому что «*есть такая степень боли, когда не чувствуешь её*».

Вечная любовь—мечта, которой мы не хотим достичь. Не потому ли разрывы с любимыми

становятся противостоянием с ними, которое оплакивают наши души, если мы их слышим, и в котором мы не имеем мужества признаться даже себе? Даже если эта «пересадка» в экспрессе любви оказалась счастливой, много ли тех, кто может обратиться к поверженной любви со словами «мой друг»? («*Я буду вспоминать тебя, мой друг, Когда мне станет холодно и больно. И, может быть, однажды в странном сне Туда, где разошлись мы, всё разрушив, Вернёмся, чтоб услышать в тишине, Как от разлуки горько плачут души*»).

Смотреть из настоящего в будущее—роскошь, доступность которой делает нас не просто беспечными, но и жестокими по отношению к тем, кто рядом. Когда останется единственная возможность во времени—смотреть из будущего в прошлое, наверное, только тогда и можно осознать, что это расплата: «*Я стою на ветру перед рыжею рощей. Опадает листва, и наотмашь дожди. Я дорогу искал, что полегче и проще. Если мог—отступал, если мог—обходил. Только жизнь протекла, словно вскрытая вена, И удавом у ног роковая черта… У кого-то—любовь. У кого-то—измена. У меня—пустота, у меня—пустота!*» Одно из самых пронзительных и беспощадных стихотворений книги—«Пустота»: «*Оглянусь я назад и от боли завою, Кулаки о валун разобью до крови. Почему, пролетев над моей головою, Не коснулась мизинцем проказа любви? Жизнь прошла… Час последний когда бы ни пробил, Даже Там ожидает меня маета: У кого—обелиск, у кого-то—надгробье. У меня—пустота. У меня—пустота…*»

Но это редко дозволенное себе поэтом право говорить о боли: «*В чужую радость, словно в море, не страшно броситься ничуть. Но как войти в чужое горе, чтоб выплыть, а не утонуть?*» Поэтому—милости просим в следующий раздел «Восточная кухня»: «*Чтоб после во рту жгло, пекло и горело Так, чтоб ощущали свои вы истоки, Чтоб знали, как жарко на Ближнем Востоке, Чтоб долго сидели с бутылкой навскидку. Я вас приглашаю. Нам сделают скидку!*» И будем мы слушать искромётные «Знаки альтерации», где с блестящим юмором жизнь расписана как по нотам, петь фантастический «Блюз в ритме гриппа», завидовать «Распорядку» поэта, дежурный уход за которым обеспечат попеременно Клеопатра, Беатриче и Шахерезада («*А в полночь жена возвратится и, дабы Меня не будить, прочитает тетрадь, И выдохнет грустно: весь день были бабы, Могла хоть одна и квартиру убрать!*»). Много чем хочется поделиться, рассказывая о книге Евгения Минина «Погоня за ветром», читая которую, приобщаешься не только к искусству лирического слова, обаянию острого ума, но и к удивительной душевной щедрости: «*Конечно, остроумие—талант, Которым нужно пользоваться гибко, Не уколоть, как шпагой дуэлянт, А просто осветить лицо улыбкой. Мы всех не помним, павших от острот, Молчит порой история немая… А всё же по таланту выше тот, Кто хохотать умеет, понимая…*»

Нет, конечно, мы не будем пользоваться благородством поэта и присваивать талант себе, хотя разделяем его высокую оценку читательского дара. Но хочу напомнить слова Бродского, который писал о двух типах людей и, соответственно, двух типах писателей. Одни воспроизводят реальность во всех её деталях, и, закрыв их книги, чувствуешь себя как в кинотеатре после окончания фильма. Другие воспроизводят жизнь как лабораторию для испытания человеческих качеств. И закрыть их книгу—всё равно что проснуться с изменившимся лицом. Хорошо сказал. Так же хорошо, как Евгений Минин о художнике: «*Так рисовал Эжен Делакруа. Нет волшебства, нет чуда никакого, Искусство начинается с простого—Элементарна линия крыла*».

«И как ордена—синяки»

О пародиях Евгения Минина

В читательском сознании совпадение пародиста и поэта—не очень-то привычное явление. Пародист чаще всего—человек, сам не занимающийся сочинением стихов, и кажется, что в этом заключена какая-то особая степень его свободы. В том числе и от критики. Но лирик и пародист в одном лице—это очень смело: охота за такой мишенью должна вестись нешуточная. Особенно учитывая количество и имена «пострадавших». Но почему-то пародии Евгения Минина, и самые беспощадные, идут на «ура» даже у авторов, попавших под его «обстрел». Может, потому, что он пародирует не только современных авторов, но давно уже покусился и на классиков Серебряного века? А быть в такой компании, даже под градом стрел, незазорно. Думаю, что причина в другом. Как сказал замечательный поэт Ян Бруштейн, «хорошая пародия—как орден. Или хотя бы как медалька». Ну а Евгений—уже классик в этом жанре. Безупречное чувство языка позволяет автору, как отмечают критики, видеть малейшие неточности и двусмысленности в чужих текстах. Но не в этом секрет всеобщности признания пародий поэта.

Увидеть—это одно. Но показать увиденное можно по-разному. Минин владеет всеми средствами пародийного искусства, но использует их таким образом, что пародия оказывается в итоге не его словом со стороны, а саморазоблачением избранного автора. Превращение (или исчезновение пародиста) достигается за счёт использования приёмов самого автора, его мысли, его стилистики, с точностью до слова, и их критическая масса так искусно и незаметно нарастает, что превращение

удаётся осознать, как при внезапной вспышке света, в последний момент. Именно в момент завершения стихотворения происходит тот поворот (переворот) мысли, который наполняет все прозвучавшие слова абсолютно другим смыслом. И Евгений Минин умеет его находить с такой непредсказуемой и снайперской точностью, что на опережение с ним не сыграешь. Кульминация оказывается развязкой — это адреналин, я вам скажу. И мы рукоплещем не столько мастерству пародиста, сколько его поэтическому искусству — дару равного или даже превосходящего

Критики правы, отмечая, что пародии Евгения Минина стали явлением в современной поэтической литературе (Светлана Осеева). Но я, как счастливый обладатель книги «Погоня за ветром», вышедшей в Иерусалиме в прошлом году, уверенно говорю: Евгений Минин как поэт — явление в современной русской литературе. Поэт подлинный, самобытный, глубокий. Именно эта поэтическая высота обусловила если не всеобщность признания его пародии, то её силу — уж точно. Но мне всё-таки хочется подробнее о всеобщности любви. Я по этому поводу требую отчёта у своей горской ментальности: где моя пресловутая «мстительность» как у «пострадавшей» от пародии Минина? И почему вместо обиды я испытывала ликование, попав к нему на «прицел»? Как человек близорукий, не просто нажимаю на «стоп-кадр» при чтении пародий, но и пристально вглядываюсь, чтобы своей многословной медлительной мыслью выразить то, что мгновенно дано на уровне эмоций. И всё-таки нахожу для себя ответ. У Минина пародируемый, как сказали бы умные люди, амбивалентен. Он и осмеиваемый, но он же и герой. Сам себя разоблачая, он поступает как истинный самурай: делает себе харакири. И личное мужество налицо, и опять же срабатывает наше ментальное сочувствие «поверженным», тем более когда у нас за плечами груз народной мудрости, подчёркивающей ореол публичной «порки»: «На миру и смерть красна». Так мы тайно рукоплещем герою пародии, тем самым воскрешая его, возвращая ему жизнь.

А автор? А он так незаметно ушёл в сторону, что мы и забыли, кто здесь настоящий герой. Пародия у Минина — меньше всего традиционный предмет пересечения взглядов осмеиваемого и смеющегося. Незаметно «исчезая», оставляя нас один на один с объектом пародии и тем самым «раз-облачая» его, Минин демонстрирует искусство улавливать, как лазером, особенность оптики того или иного автора. И мы не может не отдать должное благородству пародиста, потому что этически это самый безупречный способ сказать правду, сказать её в абсолютно честном поединке. Раз поэт отправляет свои творения в публичную жизнь, он должен быть готов к ответственности за своё слово, если обладает мерой уважения к читателю. В этом смысле Евгений Минин — идеальный читатель, не всеядно аплодирующий, а представляющий автору зеркало, в котором можно максимально ясно увидеть своё отражение. Но это «зеркало» столь искусно, что несомненное явление Поэта тоже покоряет нас, как не может не покорить и благородство: последний убийственный удар он отказывается наносить и уходит со сцены, предоставляя право это сделать самому герою пародии. Я не знаю, это красота поэзии или спорта, но за явление красоты, эстетически и этически выверенной, я не могу не рукоплескать. Идеальному Читателю, Мастеру, а значит — авторитетному Судье.

Не будь я учителем литературы (уж простите мне привычку «разбираться» с текстом), мне было бы легче говорить о пародиях Евгения с точки зрения спортивного комментатора. Ясно же, что перед нами мастер нокаутов, выигрывающий на любой дистанции. И боксёр-панчер, и аутфайдер, выигрывающий не по баллам. Не больше одного раунда. Уж очень хорошо поставленный удар. И не только потому, что «боец» вкладывает всю силу мощи, а потому что изначально правильно поставленный удар. Очень опасный и приносящий неожиданную победу. Классический ли это апперкот, снизу верх, боковой, высокий, ближний ли это бой или дальний, он всегда победный, потому что ему предшествуют единственно возможные и правильные движения. Ведь в боксе нет ударов более или менее важных, каждый может привести к победе, если за ними стоит правильный расчёт. Тот самый, о котором поэт пишет в стихотворении «Товарняк», рассказывая об опасных забавах детства: *«Игра пацанов — догнать товарняк, Подножку поймать в вираже Ногою, а если сорвёшься — верняк, Домой не вернёшься уже. А я был удачлив, и ловок, и смел, И с уличной нашей шпаной Я прыгал — и поезд на стыках гремел, И лес танцевал за спиной. И ветер, как песня, крутился в ушах, И как ордена — синяки, А всё потому, что был выверен шаг И точен толчок ноги»*.

У меня тоже есть свой «синяк» от Евгения Минина. Пока я этот синяк не получила, не осознавала свою сдвинутую оптику. Не зря пародию Евгений назвал «Наизнаночное»:

Вереница белых звуков в рог охотничий трубит,
Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица спит.
Мариян Шейхова

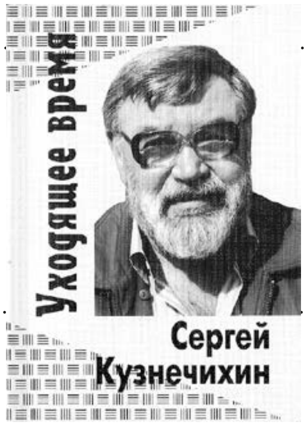
Иногда в стихах бывает всё не так — наоборот.
Снег пушистый и холодный в небо белое идёт,
Строчки с ямбом и хореем водят твёрдою рукой,
Вроде мир кругом обычный, но какой-то не такой.
Горы в турах, поле в лисах, в птице крепко спит ладонь,
Тополя шевелят ветер, на джигите скачет конь.
Сочиненье наизнанку завершаю — вышел срок,
Звук пародии колючей мне трубит в бараний рог.

Сначала я радовалась этому «ордену», остроумная пародия была мне интересней своих строк, которым я мало придавала значения. Но со временем заметила, что этот «орден» очень отравляет мне часы вдохновения. Напишу несколько строк — и вдруг замечаю своё «наизнаночное» отражение жизни. Теперь больше думаю, когда пишу. Чтобы в бараний рог некоторые пародисты не свернули.

Справедливости ради надо отметить, что блистательная язвительность в пародиях Е. Минина не уязвляет, потому что это не пересмешничество или стилизация, а явление языка, поэзии. Такова искромётность пародии «Полезные советы», в которой Евгений, отталкиваясь от строк Ники Батхена и «влезая в шкуру» своего «зверя», виртуозно выворачивает её, используя богатство языка. Так же блистательно разворачивается языковая игра метафор в пародии «Ботаническое» на строки Н. Гумилёва. Я говорила о том, чем рождается эффект победителя и в чём его «лелеющая душу гуманность» при всей жесткости «удара». Что касается эффекта комического, он рождается множеством разных приёмов. Не касаясь всех подробно, отмечу обыгрывание поэтических промахов или поэтических «изюминок» выбранных авторов, их поэтических вольностей («Сдвинутое» — на строки А. Белого «Говорят, что „я“ и „ты“ — Мы телами столкнуты»). Такая акцентуация «сдвигов» у избранных авторов — это не утрирование ради игры как таковой, а спрос с Юпитера: был ли смысл дозволять ему то, что не дозволено быку? Другой приём — вписывание пародийной ситуации в ритмику и тональность известных стихов. Так, в пародии на стихотворение К. Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие тени…» в классические строки вкладывается иное содержание, «осмеивающее» пафос самооценки и возвращающее ей простоту обыденного измерения. Это больше «очеловечивает» поэта и тем самым приближает к читателю. Известно, что пародия должна быть краткой, чтобы эффектней «выстрелить». Это безусловно для Евгения Минина. Но когда речь идёт о мастере, теряют всеобщность все правила. Страничная пародия «Темпераментное» на два предложения Дмитрия Быкова — убедительное тому подтверждение

Друзья мои, знаете ли вы, что хотела я написать небольшую рецензию на книгу Евгения Минина «Погоня за ветром»? А написала уже десять страниц мелким почерком только про один из семи разделов книги — эти мысли о пародиях не в счёт. Что делать? Либо перестать читать Минина, либо перестать писать о нём. Пока перспектив никаких.

Литературное Красноярье ∴ ДиН ревю



Сергей Кузнечихин

Уходящее время

Красноярск, 2016

• • •

Откуда светлые стихи?
Из тьмы, как это ни печально.
И рифмочка «стихи — грехи»
Стара, но вовсе не случайна.

И надо, что ни говори,
Не озаренье, не прозренье,
А нечто тёмное внутри,
Чтоб выдохнуть стихотворенье.

• • •

Том, в переплёте изданный,
Песни по всем программам, —
Был знаменит, стал признанный.
Странно всё это, странно.
Тексты, что «не пролазили»,
Дали (в стихах и прозе).
Может, с какой оказией,
Весточку в рай забросить,
Чтобы его порадовать?
Только (боюсь) не стоит —
Чаще поют по радио,
Реже поют в застолье.

Сергей Арутюнов

Немыслимость поэзии

Introduction

В канун столетия «октябрьского переворота» точно так же, как в каком-нибудь 1909-м или 1913-м, появляется ещё эфемерное, но с каждым месяцем крепнущее ощущение того, что прежняя жизнь уже невозможна.

Однако, заглядывая в недра социума, разочаровываешься довольно скоро: социальный компромисс слежался в плотный конгломерат — мздоимство по-прежнему выступает мерой успеха, нравственность же, отданная на откуп духовникам, отвыкшим от духовного властвования, продолжает катиться под уклон.

И как некогда не было «исхода» на фоне «четверти века», так и теперь, по истечении её с Августа, нет никаких оснований «мечтать» о Феврале и тем более Октябре.

Кануны вековой давности сияли: сектантские радения сплетались с марксистскими бдениями, и в непрестанном бормотании, перемежаемом взвизгами гармоник и собачьим лаем, неопровержимо шествовала кривыми тропами — к триумфу или краху — История.

Нынешнее внешнеполитическое топтание не разбавляет тяжкой поступи нового века — мы всё более одиноки среди безработицы и нищеты.

Какая же поэзия возможна на этом фоне?

Выставка жанров

Если бы литературная критика сегодня оставалась такой же идеологической, как тридцать лет назад, она бы не раз успела упрекнуть современную поэзию в том, что она-де «сдала позиции» — сделалась скучной и мало кому нужной.

Упрёк тем более справедливый, чем беднее содержание литературных журналов.

Среди базисных направлений поэтического ремесла, сложившегося в России третьего тысячелетия, смотреть почти не на что:

— Последователи классически «дворянского» направления со своими «венками сонетов», александрийскими элегиями и нескончаемо пейзажными зарисовками, оттёртые от быстротекучего бытия, а заодно и печати ещё советской властью, исправно изображают, что двадцатого века не было. В этом милом неведении их и следует оставить.

— Иронисты-«восмидерасты», составляющие весьма разрозненный анклав, по большому и малому счёту никому не нужный, не заметны уже даже в «демократических» журналах; смеяться более не над чем, всё обсмеяно на семьсот семьдесят лет вперёд — и люди, и власть, и неоколониальные нравы коммунальных служб.

— Сторонники «разлюли-малины», которую склонна печатать «патриотическая» литературная пресса, продолжают горевать о том, что Юрий Поликарпович Кузнецов разжевал и выплюнул двадцать пять лет назад и умер оттого, что пищи для него, не питающегося падалью, в стране не осталось. Бесконечные деревенские пейзажи с инвективами «городской» жизни способны заинтересовать лишь горстку филологов, изучающих стилистическое эпигонство. Если они, со всей своей дремучестью, замшелостью, инвалидной неуклюжестью слога, канонической повторяемостью метафор и эмоциональной безграмотностью эпитетов, и есть «русская поэзия», то говорить о ней не стоит уже сейчас. Что вообще можно взять с людей, избегающих называться интеллигенцией?

— Распространяться об «авангарде» и «зауми» было уморительно смешно уже тридцать лет назад. Какой авангард возможен в стране, где уже были обэриуты, «лианозовцы» и прочие «смоги», сначала разбившие слог на мелкодисперсные вскрики и выкрики, а затем превратившие его в нечто неудобоваримое и извне не воспринимаемое иначе, чем дурно скомпилированные обрывки раскромсанного в ЛТП и психбольницах некогда единого сознания?

— Современные «иосифляне», нежданная отрыжка нобелиата, пришедшегося ко двору полуобразованному — без сердца, одним умом — большинству, катятся в свои упоительные тартарары с грустным гиканьем, и этого падения уже не предотвратить. Их, разумеется, крайне жаль, но они сами виновны в том, что избрали для выражения себя инстинктивно понятную методологию технаря-недоучки. В результате желчно перегруппировывать элементы реальности сделалось куда проще, чем

гальванизировать даже самый дурацкий алкогольно-есенинский идеал.

— Буйно цветшее когда-то верлибрическое древо, особенно применительно к матерно-западническому «вавилибру» (ЛИТО «Вавилон» небезызвестного мутанта Кузьмина + «верлибр»), не дало русской поэзии ничего, кроме зыбящейся причастности к высоким западным образцам и немного западным деньгам на переводы этих самых образцов. Номинально русский человек, отказавшийся от ритмики и рифмы, способен сделаться таким же трогательным неврастеником, как и его французские, румынские, шведские и австрийские коллеги.

— Попытку «либерально-западнического» лагеря опроститься и дать своему народу образцы довольно дубовой силлаботоники можно с полным правом считать проваленной: читать эти вирши некому и незачем, потому что от них за версту несёт постмодернистски холуйской клоунадой.

— Явившаяся из провинции неонатуралистическая волна, поначалу обещавшая чуть ли не смысловые перевороты, изрядно поблёкла в сумерках ученически срифмованной чепухи. Надо отдать ей должное: убогость российского быта сочеталась в ней со свободным ритмом, почти райком, но долго выкипать по поводу не проговариваемо социальных и проговариваемо личных неустройств не получилось даже при глубокой метафизической оснастке — отсутствует контекст, на котором свинцовые мерзости выглядели бы призывом к действию. Куда лучше бытовое пьянство от безысходности научились передавать отечественные проза и кинематограф.

— Штучные доморощенные модернисты, «воспрявшие лучшие традиции трёх веков русского стихосложения», чувствуют себя как тот самый пациент с несбиваемой температурой в 37,1–37,2 градусов Цельсия: им знобливо, они никому не нужны, на них никто не обращает внимания, и скорей бы уже всё заканчивалось.

— Ошмётки залихватских «метаметафористов», «московременцев» и прочих, несмотря на былую обречённость, благоденствуют, но ничего нового не скажут в силу возраста.

— Наконец, феминистические дивы, недавно ворвавшиеся в поэтическое пространство с новой «глянцевой» правдой, обзавелись собственным развитым «делом» (выездным театром-салоном или чем-нибудь в этом духе) и потомством, огрузнели и сделались предсказуемы.

— О коммерческой молодёжи, делающей «бизнес» на таких выездах, говорить и вовсе не стоит: в совокупности она составляет бастион самого низкого вкуса из возможных, исключая штатных и заштатных «русских народных плакальщиков».

Остаётся задать самый правомерный из вопросов: если настоящее отсутствует, какого рожна, то есть плода, можно ожидать от столь неприглядного древа?

Теория «трёх взрывов»

Поэзия, сопутствующая взлётам человеческого духа, от века питалась воодушевлением элит и опекаемых ими народов. Значимыми и почти вневременными поводами для поэзии стали три «взрыва», тектонически поколебавшие быт большинства развитых и развивающихся стран.

Первый был связан с религией, когда Азия плодила пророков, как бройлерная фабрика.

Обращённые готовы были идти на край света и погибнуть лишь для того, чтобы доказать какую-либо из безумных максим. В этом смысле навязывание поэту преобладающе пророческой ипостаси — типично азиатский стереотип, а лишение поэта его — плод исключительно евро-американской разочарованности в силе литературного слога.

Много ли сегодня в России «духовной» поэзии? Порой кажется, что неприлично много: каждая тварь человеческая определённого возраста и рассудка пророчествует, остерегает, напоминает святые слова, — но какого же качества вся эта демагогия на «христианскую тематику» и что она даёт слогу?

Несмотря на возвращение православия, от заново обретённой веры веет едва заметным холодком. Ходоки к Поясу Богородицы (точно так же, как к шедеврам мирового искусства) умилительно смиренны, но ни в них, ни в духовенстве нет уже почти ничего похожего на прежний молитвенный жар, заставлявший истощать силы в постах и бдениях, звать к бунту или остерегать от него.

Над очередями к святыням витает дух светлой обречённости: идти больше не к кому. Да и много ли, по чести, надо садово-огородному хребту нации? Он, хребет, давно примирился с конторским укладом многофункциональных центров, и почти так же благопристойно сегодня и возрождённое православие: раскол в нём будируется телевизионными расстригами, воинствующими, скорее всего, за личное влияние в Церкви, а также за умножающуюся мало-помалу церковную собственность.

В сегодняшнем православии, мнится, растворён фермент рефлексии, не позволяющей ему быть сгустком прежнего воинствования. Се отсвет отсвета, вторичность, произведённая от железного обуздания некогда лихого народа с простодушным и слегка меланхолическим северным нравом.

Сегодня корневая, заложенная в основание Учения борьба с бесчисленными ересями почти

не выступает из тела Церкви, и, такое впечатление, сами ереси практически перестали появляться.

Какая же поэзия может сегодня гордиться тем, что «православна»? Очевидно, дидактическая или прямо катехизическая, что в глазах массового читателя не добавит ей ни грамма прелести…

Вторым «взрывом» стала наука. С какой непомерной страстью в неё ринулись люди, веками не находившие себе места в общественной структуре! Какие обобщения посыпались буквально с небес, какие вещества и устройства были открыты и пущены в промышленный и бытовой ход! И как заблистали некогда горизонты, подпёртые колониальными капиталами!

Где же пафос, владевший советским обществом ещё полвека назад? Ожидания, что бесконечная энергия вот-вот извлечётся могучими установками прямо из воздуха, воды, земли, солнечного света,— где? Покорены ли планеты Солнечной системы, достигнуты ли околосветовые скорости, побеждены ли хотя бы болезни века, объединены ли народы? Общество уткнуто в унылые заголовки насчёт «революционных средств против грибка ногтей», а вместо «гомонойи Нового времени» ноют и раздражаются застарелые язвы локальных конфликтов, и уж если что-то и скачет семимильными шагами, то эволюция средств физического и ментального уничтожения конкурентных культур.

Даже инфо-коммуникационная составляющая, дающая такой колоссальный прирост ведущим экономикам, не приблизила исполнения желаний. С помощью «социальных сетей» легко собирать разве что средства на очередную дурацкую выдумку (краудсорсинг, хоть слово дико) или удалённо координировать протестные митинги.

Именно длительная «научная» иллюзия породила «утку», пущенную в ход несколько лет назад,— «информационное общество», экономика которого основана на передаче и обработке неких big data — массивов информации, объём которых несоизмерим с возможностями обычного мозга. Мало кто учитывал во время дачи тех ослепительных анонсов качество информации в тех самых массивах, и уж точно никто не хотел ставить их ценность в зависимость от постоянно изменяющейся «истины».

Неужели же этим допплеровским смещением вдохновится сегодняшний стихотворец? Научись мы отращивать себе вторую пару рук, превратись мы в бесплотные копии себя самих — разве бы такие свершения хоть кого-нибудь удивили? Грохот станков, вдохновлявший конструктивистов и футуристов, смолк почти совершенно, и даже научно-фантастическая поэзия прекратила течение своё, и само употребление технических терминов сделалось немыслимо провинциальным.

Наконец, третий «взрыв» грянул, когда просвещённая и пресыщенная Европа увлеклась социально-экономическими теориями, последствия чего мы ощущаем до сих пор… напрочь не представляя себе поэзии «политической», в которой, помимо туч социального гнева и здравиц Марксу и Сталину, содержалось бы хоть что-то адекватное человеческому мировосприятию.

Изъяснение паузы

Поэзия великая, а не номинативно инерционная, возможна лишь в пору аналогично великих общественных ожиданий и тем самым всем своим существом прикреплена к Истории.

Ныне, в период уже далеко не первоначального накопления (узурпации) общественных капиталов и пассивного обнищания основного населения, о каких-либо ожиданиях нельзя и помыслить.

Пересыхание поэзии, возможно, связано с самым объективным процессом сегодняшнего периода: человечество утеряло веру в то, что всегда занимало его высшие умы, обретая со временем статус поистине религиозный.

Мы живём во времена поистине великой исторической и бытийной паузы, когда «потерянными» для свершений глобального масштаба оказывается не одно избранное для бойни поколение, но вся нация разом, от детей до стариков. Наши герои истреблены, и новые появятся нескоро, и этот системный «недочёт» сводит одинокие усилия литературы по созданию героев к абсолютному нулю: образцы чувствования никому не нужны.

Если и адресовать современной поэзии упрёк в том, что она ничего не выражает, стоит оглянуться на эти обстоятельства и понять, что она как раз выражает — Паузу.

Оглохшие от бытовых свар вряд ли поймут, какая вселенская гуманитарная тишина царит сегодня там, где ещё недавно носились валькирии и слышались вопли чего-то сокрушаемого навсегда.

Больше всего Пауза походит на светлый день, в который только что увлечённо пыхтевший над своими плюшевыми, оловянными и деревянными друзьями проказник вдруг отвлекается и смотрит «в направлении окна». Поток танцующих пылинок, взметённых только что оборвавшейся игрой, крохотные интерференционные радуги сквозь прикрытые ресницы, кажется, намекают на то, что мир неизмеримо больше комнаты, и это первые шаги взросления.

Поэзия росла вместе с человечеством, правдиво отображая мечты и страхи. Её заслуга в том, что человек, слепленный ею, получил новую степень свободы — произносить и повторять слова некоей высшей личности, словно бы надстроенной над бытовой сутью.

Сегодня поэзия бессильна повторить это деяние: личность в целом выстроена, но ей, вне больших идей и яростных споров о них, оказывается нечем и не для чего существовать — собирать

впечатления, припоминать, выносить вердикты бытию. Отзвучали прекрасные слова, заимствованные у поэзии политикой, и сделались пеплом, средством обуздания, риторикой лжи.

Усилия поэзии на ниве всеобщего народного просвещения привели её саму к гибели: общество создало поистине ужасающего всесословного мутанта, которому впервые в общественной истории стало совершенно наплевать на то, что говорят ему поэты.

Портрет монстра

Антипоэзия, воплощённая в предельной, «купеческой» здравости, разумеет из стихотворства лишь то, что ей в нём доступно,—пошлость. Лёгкие, звонкие, оборотистые, как скороговорка ярмарочного зазывалы, нередко славно срифмованные вирши возбуждают в пленниках «разумного подхода к бытию» восторг, сходный с прежним почитанием символистов.

Ай, ловок, ай, шельма!—будто бы кричат лопающемуся от телесного и словесного перевеса паладину гуманитарно-политических усобиц, не желая отвлекаться на нечто более тонкое, чем он сам.

Общество, предусмотрительно лишённое любых идеалов, кроме накопительских, подозрительно взирает на любую иррациональность, подозревая в ней ещё не разгаданный и оттого более опасный обман. Современный россиянин охотнее отдастся профессиональному сектанту, чем аскету, пробуждающему неуверенность. Россиянину сейчас важно вовсе не «как», а «о чём» («ни о чём» в сегодняшней разговорной речи как раз и означает бесприбыльность и тем самым бесцельность).

Меж тем то самое презрительное «ни о чём» и есть Поэзия, сброшенная с гуманитарной арены многочисленными издателями и популяризаторами иных жанров.

Как точно выражена поэзия Буниным, так и не добившимся успеха поэтического, в мужике, несущемся во весь опор, с размаху бросающемся в траву, рыдая оттого, что журавли улетели! Нечего и думать о таких натурах сегодня, когда в молодёжи поощряется ранний выбор «денежной» профессии, умение вовремя разглядеть опасность и крайний гедонизм.

Таким нестерпимо разумным школьникам, студентам и молодым специалистам чужда не просто русская письменная культура—она стоит для них в едином ряду с «городскими» видами спорта и интернет-блужданиями,—но весь русский, стоящий на иррационально православной жертве и языческой гибели «за други своя».

Россия боится и избегает поэзии именно в силу западнической парадигмы, вторгшейся в самое сердце славянства,—подавления эмоции, недоверия к всеведущему сердцу, которое русской поэзией и воспевалось, и исповеднически выслушивалось. Потребительское сознание не признаёт вольного помышления о жизни, труде, быте, поскольку в самой своей основе развалено на цветные осколки мелкого упоения ничтожным.

Русскому поэту сегодня приходится иметь дело с подавленным, разрушенным и отклонённым вектором развития. В потёмках социального дарвинизма, при котором человек является безвольным субъектом властных манипуляций, невозможно ждать от поэзии чего-то иного, чем вековой инерции, неумелого копирования среды, где прежний асфальт успешно заменяется «прогулочной плиткой» с имплантированными в неё скамьями, светильниками и «сервисами» шаговой доступности.

Историзм или гибель

Каковой же должна быть поэтическая практика здесь и сейчас?

Не выдержав экзамена на историческую зрелость в 1980-е годы, поэзия обязана вернуться в исторические координаты сегодня, в 2010-е годы, имея в виду превзойти кислящую оскомину настоящего, отыскав неложные пути для каждого человека к исконной цели—нравственному преображению перед лицом собственной судьбы.

Быть со своим народом в богатстве словно в бедности и в бедности словно в богатстве—вот закон, которого не превзойти применительно к подлинно национальной, а не имитированной литературе.

Только историзм и делал поэзию поэзией во времена, когда по всем параметрам и сноскам она точно была никому не нужна и, тем не менее, оказывалась цитируемой и заучиваемой наизусть, как заповедь и, может быть, единственная ценность.

Таким и только таким видится дальнейшее назначение русской поэзии, её будущая цель, её главная тема.

Владимир Нестеренко

Детям войны — поклонимся

На кудыкины горы

Народной артистке СССР
Алисе Бруновне Фрейндлих

Улицы родного и шумного города в эту зиму стали труднопроходимы. По обледенелым тротуарам тяжёлым шагом двигались люди, и среди них её бабушка, одетая в два демисезонных пальто. Ещё осенью прошлого года она ни за что бы не влезла в них; теперь, похудевшая, в полах пальто могла спрятать ещё и Алину. На ногах у бабушки высокие женские сапоги не её размера, но не хлябающие, потому что натянуты на накрученные толстые портянки; на голове меховая шапка, единственное, что сохранилось от довоенного гардероба. Из-под шапки струится шарф, закрывая уши, схваченный под подбородком в тугой узел. Алина всякий раз наблюдала из окна, как бабушка медленно удаляется, словно её прижимают к льдистому тротуару тяжёлые воинские доспехи: ведь бабушка всякий раз шла как бы в бой. На улицах часто рвались вражеские снаряды, попадали в дома и разрушали их. Бабушка торопилась не попасть под снаряды, но на быстрые шаги у неё не хватало сил. Но она всё же шла, незаметно уменьшалась и терялась в толпе таких же медленных людей, закутанных в тёплые одежды.

Сначала Алина плохо понимала, почему ровная улица, пусть и замороженная холодом, по которой она летом проворно бегала, стала для бабушки труднопроходимой. Бабушка Шарлотта не шутила, говорила серьёзно, строго глядя на Алину. В иное время она бы рассмеялась на её сравнение, бабушка любила шутить, но сейчас не до смеха. По словам бабушки, Алина стала прозрачна и легка, как пёрышко, и на смех у неё нет сил. Как-то она рассмеялась на бабушкину фразу о замороженных на улицах пешеходах, и у неё закружилась голова. Пол поехал под ногами, и если бы не стул, в который Алина вцепилась, то непременно упала бы. С тех пор Алина старается не смеяться, бережёт силы.

Труднопроходимость улиц для бабушки увеличивалась. В иных местах мешали завалы разбитых зданий, в других — воронки от бомб и замороженные, ещё не убранные пешеходы. Их надо было обходить, а добираться до завода, где она делала патроны, — далеко, опоздать же она не смела. Приходилось выходить из дому гораздо раньше. Трудность заключалась ещё и в том, что на заводе бабушку и всех остальных подкармливали кипятком и сухарями, заставляли есть сухари до крошки. Упаси Бог спрятать огрызок для Алины, а охраннику, хмурому и злому солдату с красными петлицами, найти этот огрызок! Припишут пособничество врагу: мол, сознательно доводит человек себя до истощения, чтобы поменьше сделать патронов. Трудность в этом и заключалась: она, бабушка, ест сухари, чтобы делать патроны, и почти накормленная вынуждена идти домой, а её маленькая внучка не ест, а смотрит на стрелки стенных часов, ожидая, когда они сойдутся на указанной бабушкой цифре. И тогда…

Алина часам не верила, хотя смотрела на стрелки, как обезьянка на удава. Она уж не была глупышка, знала о часах всё. Как они показывают время, почему тикают, зачем висят гири на цепочках, и для чего каждое утро гири подтягивают на самый верх. Ещё бы, она уж и читать умела. Но всё же часам не верила, потому что стрелки можно подвести. Подставить стул, на стул — маленький стульчик, взобраться на эту верхотуру и пальчиком прокрутить стрелку. Она уже так делала. Часы показали поздний час, а что толку: всё равно бабушка не пришла раньше положенного, не вынула драгоценный ключ из кармана, не отперла заветный шкаф, где лежит краюха хлеба, полученная ею по карточке.

А вот метроному Алина верила. Он был точен и неумолим. Она считала его бой и знала, после какого удара придёт бабушка Шарлотта, вытащит из кармана волшебный ключ, отомкнёт им шкаф, вынет из него тощую краюху хлеба, разрежет на рыжие пахучие части. Тут, как по зову, появляется из своего театра худющая мама, без лица, только с одними глазами, приходит из соседней квартиры полная сирота, длиннющая, похожая на цепочку Настя, и все садятся есть запашистые кусочки, запивая кипятком из термоса. Чаще всего кипяток наливали в миски, туда добавляли по ложке постного масла, мелко крошили хлеб и ели тюрю. Иногда вместо хлеба бабушка доставала из шкафа крупу и долго варила её на плитке в часы, когда давали по городу

ток. Все знали эти часы, успевали сварить крупу и вскипятить воду, заполнить ею термос. Алина не любила такие дни, потому что приходилось долго ждать кашу, немного сдобренную подсолнечным маслом, хотя каша получалась вкусной и сытной.

Настя-цепочка — тоже бабушкина внучка из-под Ленинграда. Сначала она жила в опустевшей соседней квартире вместе с мамой, а когда Настину маму убило осколком бомбы, бабушка приказала ей жить в их квартире. Но Алине от этого не стало веселее, потому что Настя была нелюдимая, всего боялась, а больше — того, что у неё фамилия, как и у бабушки, — Фрейндлих, немецкая. Алина сначала тоже боялась этой фамилии, потом привыкла, сдружилась с Настей.

Алине на всю жизнь запомнилась строгая процедура раздачи бабушкой хлеба или каши. В эти минуты все домочадцы заворожённо следили за движением рук бабушки. Это были волшебные движения. Вместе с движением рук шевелились бабушкины губы: она творила молитву. Алина тоже шептала эту же молитву, подражая бабушке, только с закрытыми глазами; сидела мама и терпеливо ждала окончания волшебных действий Шарлотты. Она угадывала их точно. Открывала глаза и начинала медленно есть. Алина спешила, но строгий взгляд бабушки укрощал её порывы. Это тоже была мука — долго жевать, когда пустой желудок властно требовал быстрее проглотить новую порцию пищи. О ней были все думы и желания. Играть с Настей даже в прятки тоже запрещалось, потому что надо было ходить и бегать — прятаться, тратить силы. Разрешалось рисовать или читать книжки, которых у Алины полно. Настя была старше и читала лучше Алины, но и тут запрет: вслух нельзя. После долгого чтения хочется ещё сильнее есть и пить. Но в квартире лишней воды нет, её тоже старались беречь для кипятка и тюри. Так и сидели немтырями, уставив носы в книжки, а хотелось если не бегать, то хотя бы разговаривать. Ещё надо было беречь силы, чтобы при страшном вое сирены спускаться с четвёртого этажа в бомбоубежище. Потом карабкаться по бесконечным лестницам в квартиру. Понятно, что спускаться без приказа старших быстро расхотелось, хотя в подвале было теплее. Если девочки всё же спускались в убежище, то оставались там долго, грелись. Уходить в пустую безлюдную квартиру не хотелось.

Настя придумала при воздушных тревогах прятаться в огромный сундук, окованный железом. Его привезли из Любека в старинные времена при каком-то царе. Сундук — бабушкино наследство. Он давно опустел, и в нём хранились мамины старые платья, какие никто не возьмёт, даже за один укус чёрной булки. В сундуке темно и мягко, только дышать трудно и крышку поднять тоже непросто. Настя догадалась подсовывать под крышку книгу, и тогда дышалось легко. И даже засыпалось, чего бабушка всегда требовала: «Спите мои, крошки, подольше, во сне человеку есть не хочется». Бабушка была на этот раз не права. Алине есть хочется хоть уснувшей в сундуке, хоть ночью в постели. Выгода от сна только в том, что стрелки часов быстрее подползают к заветному месту на циферблате. Так что мама говорит правильно: «Голод сном не обманешь».

Однажды бабушка страшно перепугалась. Придя домой раньше мамы, не нашла внучек. Она — к соседям: мол, не попали ли мои девочки под бомбёжку? Те отвечали, что их в убежище не видели. Бабушка — в рёв, и тут Алина с Настей проснулись и откликнулись из сундука. С перепугу бабушка едва осталась в живых.

Сундук у девочек превратился в волшебный теремок. Уже то, что он сделался для них ангелом-хранителем при воздушных тревогах, значило почти всё. В теремке было гораздо теплее и даже жарко, и просто интересно там прятаться и лежать, слушать шёпот Алины, что они попали в волшебное царство, где всего-превсего полным-полно, только злые феи жадятся их угостить. Но скоро они подобреют и угостят их козьим молоком, точно таким же, какое Настина мама доила от своей козочки, живя в деревне под Ленинградом. Настя рассказывала, что у них были куры. Они несли яйца, и мама часто жарила то омлет, то просто яичницу, или взбивала яйца со сливками, густо присолив. Взрослые с удовольствием ели сбитень с хлебом, а Настя поджимала губки и отказывалась. А теперь бы…

Алина смутно помнит радость старших, когда наладили ледовую дорогу по Ладоге. Стояла такая же стылая зима, глаза у бабушки повеселели, мама неожиданно принесла из театра несколько банок тушёнки. Алина вспомнила забытый вкус мясного супа.

— Теперь выживем! — ободрительно сказала бабушка и улыбнулась внучкам.

Это была последняя улыбка, которую видела исхудавшая, холодная, как стёклышко, девочка, закутанная в джемперы и тёплые панталоны, изношенные гольфы, потому что радость оборвали люди в шинелях с красными петлицами. Они пришли в квартиру утром и сказали бабушке, что как только подвернётся случай, её и цепочку-Настю увезут по особому указу на поселение за Урал. Бабушка потеряла душевное равновесие, у неё отнялся дар речи, ей сделалось очень холодно от таких слов, будто она попала в ледяную нору, из которой не выбраться. Но всё же, бледная и подавленная, она собралась и растерянно возразила людям в шинелях:

— Но мне же надо делать патроны!

Защитная фраза не помогла.

— Без вас сделают, — мрачно ответил человек в шинели со звездой на шапке. — Выполняйте, что вам предписано.

Предписано было собрать свои вещи, а также вещи едва живой цепочки-Насти, и ждать отправки. Отправка сразу не получилась. Сначала вывозили детей и раненых, места для бабушки не хватило. Она пождала-пождала да снова пошла на завод делать патроны и чуть не осталась без продовольственного пайка из-за ожидания и прогулов.

— Какое счастье, что я записала дочь на свою девичью фамилию, — со стоном вымолвила мама, когда страшные люди в шинелях ушли.

Алина знала, что её бабушка и её отец — немцы, а мама — русская. Выходит, и она наполовину немка, но не понимала, почему немка Шарлотта — замечательная учительница — враг вместе с такой же немкой Настей, а она, Алина, не враг. И цепочку-Настю, и кормилицу-бабушку надо прогнать за Урал.

Страшные люди всё же пришли за бабушкой, когда Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда, и увели с собой плачущую старушку и чуть живую цепочку-Настю. Алина в этот раз ещё больше перепугалась, чем тогда, или, может быть, она забыла о первом испуге. Только теперь она была ещё взрослее и понимала, насколько жестокое дело — прогонять в незнакомые земли бабушку, делающую на заводе патроны.

Алина смотрела то на маму, которая, казалось, умерла, сидя на стуле, — столь бледны и неподвижны были её лицо и тело, то на бабушку, которая виновато бросала взгляды на Алину, складывая в сумку кое-какую посуду и одежду. Под конец бабушка Шарлотта залилась слезами в беззвучном плаче, поцеловала свою внучку и, взяв за руку хилую Настю, недавно остриженную наголо от вшей, как и Алина, пошла к двери. Алина бросилась за бабушкой, но мёртвая мама жёстко схватила её за руку, остановила. Алина испугалась маминых глаз: они были переполнены гневом. На кого? Тогда Алина подумала, что на неё. Но оказалось — на людей в шинелях. Это она узнала потом, услышав разговор обессилевшей, опухшей от голода мамы со своим молочным братом, что неожиданно появился в их холодной и голодной квартире.

— Их страшат Зейтцы, Фрейндлихи, Шмидты — все советские немцы, хотя по эту сторону они делали патроны, чтобы стрелять в ту сторону, — говорила, рыдая, мама, после того как молочный брат Алины накормил их галетами, тушёнкой, напоил настоящим чаем со сгущённым молоком. — Шарлотту и Настю выслали на кудыкины горы. Подальше от центра.

Молочный брат молча слушал горький и слёзный рассказ русской мамы, в мире и дружбе жившей с немками Шарлоттой и Настей.

— Бабушку и Настю не спасти. Они, пока идёт война с немецким фашизмом, вне закона. Вам я помогу, — говорил военный молочный брат Алины.

Он сдержал слово, устроил Алину в детский садик, хотя она вышла возрастом, но была такой худышкой, одни глаза, что вполне сошла за малолетнюю. Маму он устроил на хорошую работу с пайком, хотя она с театром связь не порвала. Оживала Алина медленно, даже после прорванной блокады. Девочка долго напоминала ходячий скелет, но училась отлично и бесконечно скучала о своей бабушке-немке, которая спасла её в жуткий и страшно голодный первый год блокады Ленинграда. В самодеятельном театре первой ролью, которую она сыграла, была её бабушка Шарлотта с волшебным ключом в кармане от дверцы, где хранилась чёрная краюха хлеба из её рабочего пайка.

Заветное желание

Каждый вечер мальчишки-сироты детского дома, размещённого в бараке на окраине железнодорожной станции, заваленной штабелями круглого леса, ждали, когда воспитатель Андрей Иванович расправит правой рукой гимнастёрку, схваченную офицерским ремнём, и скажет: «Ну, хлопцы, во что будем играть сегодня?» Игры он придумывал сам. Военные.

Андрей Иванович молод. Только-только успел окончить педагогический институт — и началась война. Он знал немецкий язык, потому воевал разведчиком. На его широкой груди сверкали две медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и орден Красной Звезды. Левая рука у него не гнулась: осколок от мины разбил локоть. Андрея Ивановича после госпиталя списали в тыл, поручили учить уму-разуму детей-сирот. Гонимые войной, они собирались на станциях — тощие, измученные мытарствами, как выжатые гроздья винограда.

Ребята не успели растерять то воспитание, какое получали в трудовых советских семьях, и, угнетённые горем, тянулись к тёплой руке, к доброму сердцу воспитателя.

Барак поначалу пугал детей угрюмым видом и неухоженностью, стойким запахом долго не мытых людей и не стиранной одежды. Здесь был пункт пересылки заключённых. Дети вместе с Андреем Ивановичем несколько раз вымыли полы в пяти огромных комнатах, добыли извести, ковыльные кисти, побелили стены и потолки, печи. Получилось не ахти как, но жить можно. В одной комнате устроили кухню и столовую, во второй — школу, в двух, где широкие нары, — спальни, а пятая сгодилась для спортивного зала.

Чаще всего мальчишки играли в разведчиков, ползали по-пластунски, срезали лёжа подвешенные на тесёмках алюминиевые кружки и консервные банки. Так, чтобы не брякнуло. Затем задание

усложнялось: надо было срезать кружку с водой и по-пластунски же принести её в «землянку». Кружку ставили на голову, на спину — кто как хотел — и ползли, но вода чаще всего расплёскивалась. Выходило, «языка»-то взял, а притащить его живым в «землянку» не смог. Какая от этого польза командованию? Ребята к игре относились серьёзно, ревностно, старались изо всех сил, и у них стало получаться. Потом с таким же заданием желающие делились на команды и соревновались. Бывало, бегали в мешках. Шуму, смеху — «вагон и маленькая тележка».

Сегодня Андрей Иванович предложил:

— Давайте, хлопцы, поиграем в хорошую игру желаний. Представьте себе, что вы попали в волшебную страну, где исполняется любое твоё желание, но только одно.

— Одного мало, — возразил Витёк, — надо три, как в сказках.

—Согласен, мало, зато каждый выберет самое-самое заветное, от сердца. Подумайте хорошенько и запишите его на листочке в нескольких словах, чтобы не идти на попятную. Десять минут на размышление.

— У-у, — недовольно загудели мальчишки, — в школе пиши, вечером тоже.

— У нас останется время, устроим шашечный турнир: один против пяти.

Один на пяти досках, ясное дело, играл фронтовик. Но с каждым разом ему всё труднее было выигрывать у юных шашистов.

Мальчишки согласились. Витёк учился во втором классе, как и его товарищи по несчастью. Он, почти не раздумывая, написал своё заветное желание. Его дружок Костя — тоже.

Андрей Иванович собрал записки и стал читать вслух. Костя написал: «Хочу всегда быть сытым».

— Что ж, желание понятное. Я помню, каким отощавшим Костю подобрали на станции. Он и Витя скитались в поисках пристанища и пищи после расстрела и бомбёжки автоколонны с эвакуированными семьями в Большой излучине Дона. Они чудом, уже к осени, добрались до Саратова, изголодались — в чём душа держалась. Потом снова мытарства по железным дорогам. Собирались поехать в тёплые края, в Ташкент, но попали в Сибирь. Правда, им наговорили, что на юге тепло, а всё равно там есть нечего, а вот в Сибири хоть и холода, зато картошка родит богато, с голоду не помрёшь. Вот и оказались они здесь. Война ещё не закончилась, питание у нас скромное. Всё-таки зима. Придёт весна, посадим огород, вырастим картофель, огурцы, капусту, помидоры, морковь со свёклой. Еды будет вдоволь. Что же написал Витя?

Андрей Иванович развернул записку и прочёл: «Пусть папа найдёт меня по записке, что зашила в воротник рубашки мама, и живым вернётся с войны».

Андрей Иванович с изумлением воскликнул:

— Витя, верно, самое заветное желание — чтобы папа вернулся с войны. Но о какой записке ты пишешь? Где она?

— Вот здесь, в воротнике, — Витя потрогал пальцами воротник ситцевой поношенной рубашки в горошек. — Мама говорила, чтобы я берёг эту рубашку как жизнь, никому не отдавал.

— Но её же стирали, — с горечью вымолвил воспитатель, — записка не раз намокала! Наверное, давно перетёрлась, пропала!

Мальчишки с открытыми ртами уставились на друга, сочувствовали и сожалели, что прочесть записку — дело безнадёжное. Витя смотрел на Андрея Ивановича широко раскрытыми глазами. На них навернулись слёзы. Мальчик представил вновь, в который раз, жуткий вой самолётов, огонь из пулемётов по безоружной колонне беженцев, страшные кровавые взрывы бомб, разбитые в щепы автомобили, полыхающее хлебное поле…

И маму, бегущую под ливнем пуль, намертво схватившую его, обезумевшего от страха, за руку. Потом она споткнулась и упала. Витя попытался поднять её, но на спине по светлой блузке в горошек, как и его рубашка, расплывалась алая кровь.

Мама не шевелилась, а Витя сидел рядом и плакал. Потом, он помнит, его кто-то оторвал от мёртвой мамы… Потянулись долгие месяцы мытарства вместе с оставшимися в живых беженцами, среди которых оказался Костя.

Андрей Иванович хорошо знал историю скитаний каждого мальчишки его группы. Он, разведчик, закалённый в боях, в ночных поисках «языка» по ту сторону линии фронта, не мог без содрогания слушать несвязные скупые рассказы своих подопечных, но по крупице собирал их историю, записывал в толстую тетрадь для памяти о детях войны. И ещё он был немного поэт, из всех услышанных историй у него сложились стихи. Он ещё не читал их своим мальчикам, стеснялся за свой слог, но в глубине души понимал: если прочитает их, то может вернуть мальчишек в те страшные минуты их бедствия. Но он часто твердил их про себя:

Мальчишка сидел на дороге,
А мама лежала в пыли:
Бежали они по тревоге
Укрыться в отрытой щели.

Их папа ушёл на границу,
А сыну был отдан наказ:
Смотри, береги как зеницу
Мамулю, как собственный глаз!

Мальчишка рыдает над трупом,
У мамы прострелена грудь.
Нелепо всё это и глупо,
Вот встанет — и тронемся в путь…

Не встала. Её схоронил у овина,
Немного присыпав землёй…
Мальчишка, ты всё же мужчина!
Священная месть за тобой.

Поднялся, суров, — жаль, не слишком
Подрос и раздался в плечах…
Ушёл в партизаны парнишка,
Винтовку сжимая в руках.

…Да-да, это стихи о Вите и Косте, об их старших сверстниках, которые уже мстят в партизанских отрядах за своих погибших мам и сестёр. О тех, кто через год-два вольётся в ряды Красной Армии и будет бить фашистов, мстя за сожжённые города и веси, за убитых и голодных взрослых и детей. За этих мальчишек, кричащих ночами во сне от военных кошмаров, испытав наяву ужас вражеских бомбёжек, пулемётных обстрелов с воздуха, дни скитаний, голода и холода.

— Нет, Андрей Иванович, записка не перетрётся. Мама вышила на тряпочке номер папиной части и зашила в воротничок! — не сказал, а нервно выкрикнул Витя.

— Что же ты молчал?! Снимай скорее рубашку, посмотрим записку, и если разберёмся — сегодня же напишем письмо в часть твоему папе. Сообщим, что ты жив и здоров, ждёшь его с победой!

Андрей Иванович лихорадочно вынул из кармана перочинный нож, помог Вите снять рубашку. Воспитатель видел на воротничке ручную штопку. «Витя говорит правду, а не свою выдумку». Пальцы прощупывали небольшое утолщение. «Точно, записка!» Видавший смерть своих товарищей на фронте, десятки раз сам подвергавшийся смертельной опасности, старший лейтенант в отставке с трудом владел собой от волнения: сможет ли он прочитать записку? Его руки и лоб покрылись испариной. Зацепив лезвием нитку, он вспорол шов и извлёк лоскутик в горошек с вышитыми на нём чёрными нитками цифрами, бережно расправил его на ладони и весело сказал:

— Витя, смотри, все цифры сохранились. Полевая почта триста сорок пять шестьсот двадцать один. Это адрес твоего папы! Скажи, когда ты или мама последний раз его видели?

— Когда началась война. Мы жили в военном городке. Папа был танкист.

— Ты помнишь, какие у него были знаки на петлицах?

— Да, одна шпала.

— Судя по званию, он был командиром танкового батальона, а может быть, и полка. Так… — взволнованно продолжал допытываться воспитатель. — Скажи, Витя, когда вы получили от него последнее письмо или какую-то весть?

— Летом, когда нам приказали собираться и уезжать в эвакуацию. Мама читала письмо от папы и от радости плакала.

— Ты запомнил что-нибудь из письма? Скажем, откуда, из какого города оно пришло?

— Я не знаю, вроде бы из области, где город Орёл.

— Если это так, то твой папа с танками держит оборону в Орловской области. Сегодня же я напишу письмо в Москву военным. Расскажу о тебе и попрошу разыскать твоего папу. Я уверен, он жив и здоров! И скоро ты получишь от него письмо!

Витя стоял в кругу своих товарищей. Все внимательно слушали воспитателя и Витю. Вдруг мальчик сорвался с места и бросился к Андрею Ивановичу. Судорожно схватив его за гимнастёрку, уткнулся ему в бок, под левую негнущуюся руку, и зарыдал.

— Ну-ну, Витюша, поплачь, поплачь. Твой папа сейчас чувствует на расстоянии, что ты жив и здоров, желаешь ему победы и скорой встречи! — воспитатель ласково гладил Витю по ершистой, стриженной под машинку голове и сам волновался не меньше мальчика.

— Витька, ты же нашёл своего папку! Чего плачешь? Лучше смейся от счастья, — ворчливо успокаивал его Костя. — Мне бы такое выпало…

Витя оторвался от воспитателя. Слёзы катились по его щекам ручьём, и сквозь них мальчишки увидели, что глаза-то друга счастливые. И Витя громко и радостно засмеялся.

— Котька, видишь, я смеюсь! — взахлёб говорил он.

— Вижу, — ответил Костя и тоже засмеялся, разделяя радость друга, а за ним и все остальные. Андрей Иванович тоже!

Утром в штабы Центрального и Воронежского фронтов ушли письма от воспитателя детского дома Андрея Ивановича. Наши войска там держали прочную оборону, и воспитатель верил, что Витин папа обязательно откликнется.

Улица Победы

Артёмка — всего лишь пятиклассник, но его в школе прозвали ходячей энциклопедией, потому что он лучше всех знает историю села Родниковое, многих сельских ветеранов, живущих на улице Победы. Село стоит на невысоком холме и смотрит окнами на могучий Енисей.

Артёмка — самый активный следопыт школьного музея и недавно сделал открытие.

Улица эта раньше называлась Крайняя. Она вытянулась вдоль села. Одним концом упиралась в берёзовый лес, другим уходила в степь. Выглядела она неухоженной и какой-то забытой. Однажды в селе появился отставной офицер. На Кавказе в схватке с бандитами он потерял ногу и ходил теперь на протезе, с тростью в руке. Он был молод, имел жену, маленького сына Артёмку и вскоре стал главой сельской администрации. В этот же год в селе принялись строить два двухэтажных дома для ветеранов войны и труда. Выбрали лес, в который упиралась улица Крайняя. Строители

построили два дома, подвели к ним воду и тепло, и ветераны заселились. Люди бережно отнеслись к лесу, превратили его в парк, между домами разбили цветочные клумбы, где ветераны смогут с удовольствием отдыхать, совершать по аллеям прогулки.

— В новых домах будут жить победители Великой Отечественной войны со всего нашего района, а также ветераны труда. Давайте улицу Крайнюю назовём улицей Победы! — предложил глава администрации депутатам.

Мысль понравилась, и улицу переименовали. Дорогу закатали в асфальт. На одном из субботников сельчане и школьники высадили сотни саженцев рябины, берёзы и ели, разбили цветники, и улица преобразилась, как невеста перед выданьем.

Но в чём же заключалось открытие Артёмки?

— Папа, послушай, какие замечательные люди живут на улице Победы, — сказал однажды подросший Артёмка. — Я напишу о них заметку для нашего музея.

— Расскажи, я с удовольствием послушаю, — откликнулся отец.

— Степан Ванин был призван на фронт из села Родниковое семнадцатилетним пареньком. Через три месяца учёбы в артиллерийском училище он попал на передовую в 1944 году. И вот предстоял тяжёлый наступательный бой. В задачу артиллеристов входило подавить огнём пулемётные гнёзда и миномётную батарею противника. Перед началом боя командир батареи сказал: «Артиллеристы, мы получили много снарядов. Но они не совсем обычные, потому что пришли к нам из Красноярского края, откуда я сам родом и основная часть наших батарейцев. Но снаряды эти необычны ещё и тем, что изготовлены бригадой четырнадцатилетних мальчишек, а бригадир у них шестнадцатилетний юноша Сашок. Этот юноша и вся бригада работают на токарных станках, а потом на сборке снарядов по шестнадцать часов в сутки. Спят прямо в цехе. Но самое главное, они точат снаряды со знаком качества, то есть с личным клеймом. Так вот, я хочу, чтобы и вы вели огонь по врагу тоже со знаком качества, то есть чтобы каждый снаряд нашёл цель». — «Как же после этого мы могли промахнуться? — сказал Степан Андреевич Ванин. — Мы вели огонь точно и быстро и обеспечили прорыв нашей пехоте. Тут же мы снялись с позиций и пошли вперёд за своим полком, точным огнём батареи закрепляли успех атаки».

— Прекрасный рассказ, — похвалил отец Артёмку, — хорошая страничка для нашего музея.

— Но это ещё не всё. Слушай дальше. В доме напротив я нашёл ветерана труда, который награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Я думаю, это тот Сашок, о котором рассказывал Ванин.

— Действительно, любопытно! И ветераны не знают о том, что один делал снаряды, а второй бил этими снарядами фашистов! — воскликнул отец. — Эту несправедливость ты должен устранить. Но есть ли у тебя веские доказательства?

— Да. Сашок, или Александр Иванович Богатырёв, родился и вырос на железнодорожной станции нашего района. Его отец в первый же год ушёл на фронт и погиб под Москвой смертью храбрых. Саша успел окончить училище и стал токарем. Ему тогда исполнилось пятнадцать лет. В депо у них было много токарных станков, но они простаивали, потому что опытные токари уходили на фронт. И вот пришёл час, когда Саша остался в цехе один. Он точил детали по заказу депо для ремонта вагонов. Он, конечно, приуныл: один в большом мёртвом цехе, — и собирался перебраться на завод в город, но не успел.

Однажды в депо пришёл офицер, а с ним команда малорослых пацанов из школы фабрично-заводского обучения. Следом в цех вошёл начальник депо. Сашок придирчиво осматривал гостей. Одеты они были разношёрстно: кто в форменных штанах школы из чёрной крепкой ткани, кто в синих гимнастёрках. Обувь тоже разная: у кого ботинки, у кого сапоги. Вместо чёрных шинелей — телогрейки. Война длится уж который год, запасы обмундирования, оставшиеся от мирного времени, издержались, а шить новое просто некому и не из чего: всё шло на фронт, для воюющей армии. Мальчишки хоть и выглядели квёлыми заморышами, но с любопытными рожицами и озорными глазами: как тут, на новом месте? Может, медовыми пряниками угостят? «Держи карман шире, голо в цехе, станки и те в пыли. Половина из них даже брезентом накрыта. Видать, не до пряников тут!»

Саша потом узнал, что некоторым подросткам исполнилось только четырнадцать лет, другим — пятнадцать. Все они были местные, из красноярских деревень. Большинство сами приехали учиться на токарей, чтобы выполнять на заводе военные заказы. Четверо, постарше, сбежали из дому на фронт, но их выловили в пути и вернули назад, устроили в ФЗО и стали готовить ребят к работе на станках по сокращённой программе. Фронту требовалось много снарядов, но рабочих рук для их изготовления не хватало.

Офицер построил мальчишек в пролёте цеха. Начальник депо подозвал к себе Сашу, и сам встал перед пацанами рядом с очкастым старшим лейтенантом Чубиком.

— Ребята, — сказал Чубик, — наша армия громит фашистов на всех фронтах. Ей нужна ваша помощь, и Родина приказывает работать вам здесь. Видите, сколько простаивает станков, а фронту нужны снаряды. Много снарядов, чтобы беспощадно гвоздить фашистов и с наименьшими

потерями гнать нечисть с родной земли. Вы не доучились, придётся обретать навыки токарного мастерства здесь, под руководством начальника депо товарища Семёнова и вашего однокашника Саши Богатырёва. Он уже год отработал самостоятельно, показал себя отличным токарем. Он будет у вас бригадиром. Покажите себя настоящими патриотами нашей великой Родины.

Саша сначала растерялся: какой же он бригадир? Ему только-только исполнилось шестнадцать лет, а его новые товарищи ещё младше и, конечно, не точили снаряды, да и сам он тоже. Но суровое время требовало мужества. Саша вспомнил похоронку на отца, заплаканную маму и двух младших сестрёнок, которых надо поднимать на ноги, кормить и одевать. Он теперь старший в семье мужчина. Ростом Саша не особо выделялся, худой, с остриженной под машинку головой, но с сильными мозолистыми руками и крепкими ногами. Крепость его была добыта постоянным трудом на выполнении заказов. А детали, какие он точил, сами понимаете, из металла, тяжёлые. Саша иную заготовку поднимал на станок с трудом, зажимал в патрон, прижимал задней бабкой и точил. Словом, натренировался, как штангист. Вот он собрался с духом перед незнакомыми ребятами, подбадриваемый Семёновым, вспоминая свой, прямо скажем, героический труд и сказал:

— Ребята, за год я научился кое-чему. Детали для вагонов делал всякие, но снарядов не точил. Вместе будем учиться и стараться. Главное — настроить станки по операциям.

— Ха, — сказал рослый Коля Третьяков, — работа не волк, мы её не боимся. Какая кормёжка будет?

— Трёхразовое питание в деповской столовой по нормам военного времени, — ответил Семёнов.

Ребята поселились в тёплом общежитии при депо, а питались, как и сказал начальник, в деповской небольшой столовой. По инициативе старшего лейтенанта Чубика всех разбили на три отделения по операциям обработки заготовок и назвали боевым отрядом токарей. Каждый подписался под клятвой, что не оставит своего станка без распоряжения бригадира, которого стали звать командиром. Старший лейтенант подарил Саше армейские, правда, великоватые, галифе, но в них юноша выглядел куда солиднее, чем прежде. В отряде ввели воинскую дисциплину, а Чубик обещал всех одеть в солдатские галифе, подыскать батарею или артиллерийский фронтовой полк, чтобы над отрядом взяли шефство и вели переписку. Ребятам такие дела понравились, дух их креп с каждым днём. Старший лейтенант оказался хорошим наладчиком, настроил все станки на отдельные операции, показал на примере весь ход работы.

Пока станки чистили, смазывали, настраивали с Чубиком, изучали чертежи, Саше казалось: дело если не побежит, то пойдёт нормальным шагом. Но когда встали к станкам и начался поток, как говорил старший лейтенант Чубик, Саша понял: тут шаг собьётся, а то и захромает на обе ноги. С утра в цех пришли три полуторки с болванками. Разгружали всем отрядом. Умаялись, и это сомнение клюнуло более чувствительно. Гора из металла выросла многотонная, а будет прибывать и прибывать. Попробуй-ка перетаскай болванки по потоку со станка на станок, переставляя. Неподъёмные они для пацанов. Одну-две заготовки обработать каждый сможет, а десятка полтора за день? Жилы тонки. Он-то сам выдюжит, а вон Андрей, самый малый ростом, вряд ли.

Чубик тоже разгружал болванки и понял, что в цех надо добыть лёгкие тележки для перевозки заготовок от станка к станку. Все они вдоль стен стоят, посередине широкий проход со стеллажами, и для тележек места достаточно.

— Первая промашка, — сказал Чубик, — нужен подручный транспорт. В тарном складе есть тележки, пойду выбивать.

И ушёл.

— Ха, — закричал Колька Третьяков; это он на фронт из дому сбежал мстить за погибшего отца, — на таких харчах пудовые болванки таскать — пуп надорвёшь живо! Вместе с чушкой в корыто загудишь и стружку жевать начнёшь.

— Колян по делу говорит, — поддержал напарника коротышка Андрей. — У меня голова кружится от малокровья, когда я такую чушку в шпиндель заталкиваю. Харчей не добавят — толку с нас не будет, никакая клятва не пособит задание выполнять. Опозоримся.

— Поймали вы меня на этой же мысли, пацаны, — откликнулся Саша, — я тоже о кормёжке думаю. Голодно. Придёт Чубик — вопрос ребром поставим. А сейчас будем точить.

Старший лейтенант вернулся в цех быстро. Привёз три тележки, поставив их друг на друга.

— Первую осечку в организации труда, — сказал Чубик, — считай, исправили по ходу дела. Тележки позволят нам сократить нагрузку на пупы. Тележки лёгкие, вёрткие. Я ещё столько же привезу. Разработаем технологию обработки так, чтобы меньше перетаска было.

Саша попробовал — точно, тележка удобная, но на неё всё равно надо грузить и с неё поднимать болванку на станок. Он подумал и сказал:

— Верно, облегчит. Только заготовку, как дитятку малую, на руках таскать придётся. Пока настраивали станки, на тех харчах держались, а на потоке — упадём.

— Упадём, — закричал Андрей, — я первый, хоть и клятву давал.

— Так и будет, товарищ старший лейтенант. Никто не побежит от станков, но голодно, не сдюжим, план не потянем, — сказал Саша, и все мальчишки сгрудились вокруг командира.

— Да, задачу вы мне поставили серьёзную. С питанием всюду сложно. На заводе тоже, рабочие пухнут. Недобрали в прошлом году урожая. Недород, а сколько под фашистами хлебных земель! Но я вопрос в депо поставлю. Вам ещё расти надо, страну после войны поднимать. А что, если в сёла за картошкой податься?

— Без толку,— сказал Колька,— в наш колхоз эвакуированных больше ста человек привезли. Едва по квартирам расселили. Нам женщина с двумя малолетками досталась. Мать плачет, говорит: как же я свой косяк ребятишек за стол посажу, когда эти голодные? Разве я им миску супа не налью? Вот и варит на всех. Картохи в ямку засыпали с осени только на семью, остальную всю под метёлку заставили в заготконтору сдать. Сельсоветовские ходили и проверяли. Кто знал, что трое нахлебников явится?

— Ну, всем эвакуированным карточки продовольственные дают,— неуверенно возразил Чубик.

— Дают,— сказал Саша,— только отоваривать их нечем. У нас в семье такая же петрушка, что и у Кольши.

— И у нас тоже эвакуированные,— закричал Андрей.

— И всё же я вопрос поставлю в депо. Патоки могу привезти, она вместо сахара сгодится. Глюкоза.

— Мы ели, противная,— сказал Андрей,— её коровам и свиньям у нас в колхозе давали.

— Противная, а не отказывался,— засмеялся над Андреем Колька.

— На безрыбье и рак рыба, ребята. Две фляги я вам привезу, пока же давайте за работу. Я поразмыслю, как бы нам операции совместить, не перетаскивая болванку, хотя бы сверловку.

— Вот бы макухи достать. Я когда на Алтае околачивался, пацаны макухой из семечек подсолнуха угощали. Жмых такой чёрный. Сытный, зараза,— сказал Колька, отправляясь к своему станку.— Жаль, у нас масло не жмут.

Чубик достал мерительный инструмент из походного инструментального ящика и принялся колдовать возле Колькиного станка, настраивая заднюю бабку для сверловки, хотя у того была первая черновая обработка. Бабка оказалась исправной, надлежало её выставить, чтобы точность сверловки была высокой, по соответствующему классу. Отклонение — и снаряд потеряет заданную траекторию полёта, и цель не поразишь.

Наладчик справился с задачей, поток по его технологии исключил один перенос заготовок, что не только сберегло физические силы мальчишек, но и сократило время обработки. Ребята торжествовали, но о дополнительной пайке разговор пока зашёл в тупик. Правда, Чубик привёз в общежитие флягу патоки да чемодан с армейскими галифе. Мальчишки строго расходовали патоку, вечерами размешивали в тёплой воде и пили, как витаминную добавку. Лишнего такое «добро» прихватывать никто не решался, мог разразиться понос.

Чубик пробыл в цехе неделю. Убедившись, что работа налажена, а ребята выточили и собрали первый ящик снарядов, правда, без взрывчатого вещества, его закладывали на заводе в особом цехе, выдал напряжённый план, попрощался с отрядом и уехал.

Первый месяц бригада не смогла выполнить задание. Мальчишки запаниковали, кое-кто засобирался бежать. Но Саша не растерялся, он уже вступил в комсомол и обратился за помощью в депо. Начальник депо Семёнов отрядил в бригаду опытного мастера. Он посмотрел на работу токарей, ничего худого не нашёл, а только заявил, что недобор произошёл из-за малого опыта у мальчишек. И ещё отметил про себя мастер — из-за малой телесной силы. Но об этом он промолчал, решив подкрепить эту телесную силу.

— Ребята, это был ваш пробный месяц,— сказал он,— вы осваивались, набивали глаз и руку, а в следующем, я уверен, с заданием справитесь. Я к вам буду наведываться каждый день, помогать советом. Добьюсь, чтобы в обед вам выдавали дополнительные сто граммов хлеба. Завтра из леспромхоза, над которым мы шефствуем, привезут кедровые орехи. Два мешка вам выпишем через профком. Орехи не только вкусные, но и очень питательные. Дальше будем думать, как вас поддерживать.

Мастер сдержал своё слово. Ребята приободрились, силы от дополнительной еды прибавились, опыт токарный у них уже имелся, и они в следующий месяц отправили на завод, а оттуда на фронт полный комплект снарядов с письмом, где написали о себе и просили громить фашистов так, чтобы ни один снаряд не пропал даром. Вот это первое письмо и читал перед боем командир батареи, в которой воевал Степан Андреевич Ванин.

— Советую напечатать твои находки в газете в День защитника Отечества,— сказал папа Артёмке.— Ветераны прочтут о себе и обязательно встретятся за чашкой чая.

Артёмка так и сделал и был счастлив, увидев, как артиллерист и токарь знакомились, а потом делились воспоминаниями о боевой молодости.

Марина Эшли

Принцесса-горшечница

В одном роскошном дворце жила себе поживала Принцесса. Неплохо поживала. Полёживала целыми днями на диване и читала сказки. Когда в историях попадались грустные или страшные места, Принцесса волновалась. Тогда королевский повар готовил ей любимое лакомство всех принцесс — шоколад в нежнейшей белой пастиле. Принцесса успокаивалась и читала дальше.

И всё бы хорошо, да только король-отец решил, что пора подыскивать дочкам женихов. Начиная со старшей, с Принцессы. Во дворце стали устраивать балы. На них съезжались чопорные принцы со всего света, ели-пили, танцевали, вели скучные разговоры. Через положенное время просили руки Принцессы. Она отказывала. Отец сердился. Младшие сёстры дулись: им надоело ждать своей очереди. Королевский повар звал на помощь поварят, не справляясь с приготовлением шоколада в пастиле.

А Принцесса всего лишь хотела, чтобы сватовство случилось как в сказках. Чтобы сначала её похитил дракон и заточил в башне, потом отважный рыцарь, влюблённый в её портрет, сразился с драконом, освободил Принцессу, и они бежали. И чтобы никакая погоня не смогла их настигнуть. И только после приключений они бы поженились. И жили бы долго и счастливо. Примерно так. Хотя, наверное, и драконы, и отважные рыцари водятся исключительно в сказках. Но любовь, портрет и прочая романтика должны же существовать?

И вот приехал Принц, не похожий на остальных. Он пел серенады о её красоте, читал стихи о том, что влюбился в её портрет, и каждый день приносил охапки цветов. Принцесса чуть не на седьмом небе находилась от счастья, но всё-таки предложила ему устроить побег. Хотя, если честно, никакой нужды в побеге не было. Он же — состоятельный принц самых благородных кровей, король спал и видел его своим зятем. И желательно поскорее. Но, к радости Принцессы, Принц согласился, что непременно надо бежать!

Когда он в очередной раз декламировал посвящённые ей стихи, Принцесса, смущаясь, спросила о плане. Принц хлопнул себя по лбу:

— Ах да! Побег!

На обратной стороне листочка со стихами набросал план и протянул Принцессе.

— Когда? — замирая от волнения, уточнила Принцесса.

— Завтра на рассвете! — назначил день и час Принц.

Она вскрикнула — времени оставалось не так много — и, к огорчению Принца, убежала. Готовиться. Она основательно подошла к делу: взяла кошелёк с монетками и узелок с шоколадом в пастиле, приготовила самое скромное платье и самые удобные туфельки. На рассвете Принцесса отправилась навстречу приключениям — со стихотворным листочком в руках.

Зря она робела и не предложила свой план побега! А особенно зря она не нарисовала схему сама. Потому что Принц так путано изобразил место встречи, что Принцесса не нашла этих злополучных руин (или валунов?), где, по плану, её должна поджидать карета. Вместо того чтобы сразу повернуть домой, Принцесса всё шла и шла по незнакомым пустынным дорогам через перелески и луга. Она надеялась наткнуться на руины или карету с Принцем, который наверняка её ищет. Потом она устала, поняла, что заблудилась, и согласна была, чтобы её нашёл кто угодно: любой рыцарь или король-отец. Она обрадовалась бы даже сельской повозке. Фермер за вознаграждение отвёз бы её во дворец. Увы, Принцесса никого не повстречала на своём пути. Дороги обратно она не помнила. Сидеть на месте в одиночестве было глупо. Всё, что ей оставалось, — идти вперёд в надежде встретить человека или увидеть жилище. Ближе к вечеру, когда она совсем выбилась из сил, Принцесса заметила струйку дыма за полем. К счастью, это топилась печка фермерского дома.

Принцесса постучала. Открыла растрёпанная молодая женщина с орущим младенцем на руках. Ещё два ноющих ребёнка цеплялись за подол. Фермерша сердито прокричала, что все уехали на ярмарку на целую неделю и всё забрали с собой, потому ей нечего продать, и захлопнула дверь.

Принцесса читала, что принцам не полагается отчаиваться ни при каких обстоятельствах. Как вести себя принцессам, в книгах сказано не было, но она полагала, что так же, как и принцам. Однако не выдержала и зарыдала — похоже, что от отчаяния.

Женщина распахнула дверь, вылила на улицу помои, удивилась, что девушка всё ещё здесь, и позвала её в дом. Принцесса быстро вытерла слёзы.

Фермерша рассказала ей о своих неприятностях: муж с братьями и свёкор со свекровью уехали на ярмарку, её с детьми не взяли, потому что дети разболелись, все трое сразу. Никакого терпения у неё уже нет, замучилась совсем. Принцесса, краснея, поведала ей свою историю: она собиралась бежать с лучшим в мире Принцем, но заблудилась и хочет обратно во дворец.

— Не знаю я, где дворец,— пожала плечами фермерша,— вот вернётся муж через неделю, отвезёт в город, там подскажут.

— Через неделю! — ужаснулась Принцесса, но делать нечего, осталась у доброй женщины.

За постой Принцесса расплатилась монетками из кошелька и могла бы сидеть сложа руки. Тем более что ничегошеньки она не умела. Но в люльке заплакал младенец, Принцесса взялась покачать ребёнка, пока фермерша хлопотала по хозяйству. Поманила и старших. Те отцепились от подола материнской юбки. Принцесса отдала им шоколад в пастиле со словами, что это любимое лакомство принцесс, которое помогает от всех невзгод.

Дети дружно жевали сласти, размазывая по мордашкам, покрытым красными пятнами, коричневый шоколад. Доели и поинтересовались:

— А принцессы, они какие?

Принцесса о себе ещё ничего интересного рассказать не могла, неудачный побег не в счёт, поэтому она начала вспоминать все прочитанные ею истории. А в сказках, где принцессы, там обязательно и отважные рыцари. И драконы!

Замерев, слушали дети про ящеров, покрытых чешуёй и извергающих пламя. И про бесценный камень «Слеза дракона», которым постановили не владеть, а только хранить его, чтобы не вызывал он распри между людьми. Но камень, не имеющий цены, ребятишек не заинтересовал. То ли дело сами ящеры!

— Почему драконы не обжигаются внутри своим огнём? — спросил старший, оглянувшись на печку.

Принцесса задумалась. Однажды на дворцовой площади давали представление бродячие артисты. Один из них глотал факелы, другой выдувал пламя. Король-отец сказал, что это фокусы, трюки, любой сделает. Он даже подпалил слегка бороду, показывая дочкам, как дуть огнём. Принцесса улыбнулась воспоминаниям. Подняла глаза — все дети спят. Уснула и она, прижав к груди драгоценный стихотворный листок.

Дня через три услышала Принцесса стук копыт и скрип колёс. Сердце у неё забилось от радости. Увы, это не Принц на карете приехал, это дальний сосед фермерши собрался в город на ярмарку.

— Какой такой дворец? — наотрез отказался он везти Принцессу домой.— Не знаю никакого дворца. Хочешь в город — полезай в телегу на тыквы.

Поцеловала Принцесса на прощание детей, помахала фермерше и отправилась в город.

Сосед оказался добродушным, помог робкой Принцессе договориться с купцами из столичного города. Она отдала ему монетку и пересела в следующую повозку. Понадеялась, что уж эта-то поездка — точно последнее её приключение. Сейчас она вернётся домой, они с Принцем поженятся и будут потом с улыбкой вспоминать свой неудачный побег. А на стенку повесят в рамке злополучный листок с планом. Лучше, конечно, стихами наружу.

Принцесса тряслась в повозке, и сделалось ей очень плохо. Бросало то в жар, то в холод, клонило в сон, мучила жажда. Когда на купцов напали разбойники, Принцесса с большим трудом сошла с повозки. Голова болела, тело чесалось. Разбойник отшатнулся от неё и жестом велел бросить ему кошелёк. Принцесса лишилась последних монет. Она в изнеможении села на камень. Вокруг что-то творилось, а у неё так ломило голову, что она ничего не соображала — не тронули, и ладно. Очнулась — повозки уехали. Бедная Принцесса опять осталась на дороге одна-одинёшенька.

Принцесса заплакала. Она уже совсем не думала о том, что принцам и, наверное, принцессам отчаиваться не полагается. Сколько она так просидела — неизвестно. Показались ещё повозки. Останавливать их Принцесса постеснялась, кошелёк-то у неё забрали. Она собрала последние силы и потихоньку вскарабкалась в крайнюю телегу. Ей повезло, что повозки катились медленно и что её никто не заметил. Принцесса задремала.

Очнулась она оттого, что её грубо трясли за плечо. Когда повернула голову, от неё отшатнулись, совсем как тот разбойник. Из телеги ей приказали убираться. Принцесса хотела попросить помощи, объяснить, что ей надо во дворец, только губы не слушались, голос дрожал. Её сбросили на землю у какой-то громадной стены.

Принцесса прислонилась к холодным камням. Отчаянию её не было предела, о том, что полагается принцам, она почти не вспоминала. Она приготовилась умирать.

Стемнело.

Подошли люди, осветили её факелами, заспорили.

— Давайте лучше я заберу! — раздался молодой звонкий голос.— Сколько?

Начались торги. Ударили по рукам. Если бы Принцессе не было так плохо, она бы ужаснулась, что её продали.

Кто-то перекинул её через плечо, как куль. Потом сбросил в тачку поверх тряпья и повёз. Потом опять перекинул через плечо.

— Вечно ты всякую дрянь бесполезную тянешь в дом, Мусорщик,— проскрипела какая-то старуха.— Да ещё деньгами разбрасываешься. Ну и что нам с ней делать?

От страха и холода у Принцессы зуб на зуб не попадал. Послышался смешок:

— Сначала я её согрею!

Не успела Принцесса понять, грозит ли ей чем-нибудь такое заявление, как её снова перекинули через плечо. Очнулась Принцесса в другом помещении. В темноте вспыхнули два громадных глаза. Змеиных!

— Смотри, кого я тебе принёс! — опять смешок.

Открылась и закрылась пылающая пасть.

Принцесса испугалась.

— Пожалуйста, — взмолилась она. — Не надо скармливать меня дракону.

Но стало тепло и даже жарко, как у печки. Принцесса провалилась в темноту.

Проснулась она от дневного света, от звука шагов и звяканья посуды. Открыла глаза — в маленькие окошки под высоким потолком заглядывало солнце. Принцесса с удовольствием потянулась, ей стало явно лучше. Не то что вчера. Вошёл, слегка сутулясь, высокий человек. Показался он Принцессе странным, старым, чем-то отталкивающим. Может, тем, что смотрел по-птичьи, боком. Он приблизился и присел на корточки рядом. Да он совсем не старый, как она решила сначала, он довольно молод! Странный парень протянул ей одной рукой плошку с дымящейся жидкостью.

— На, пей. Старуха раздобыла кофе, — сказал он, поглядев одним глазом, не поворачивая лица. — Если можешь встать, иди поешь, пока не остыло.

Он направился к двери, Принцесса поднялась за ним. Правая рука у него висела как плеть. Волосы на голове свалялись. Нечего сказать, хорош!

— Удобства во дворе, — показывал он левой рукой, — еда на том столе. Мне — не мешать работать!

Принцесса оставила плошку и пошла во двор, в дверях столкнулась с противной Старухой. На приветствие та не ответила, глянула исподлобья.

— Ну и красавицу ты приволок! — услышала Принцесса её слова.

В ответ — смешок. И просьба не мешать.

Принцесса умылась, посмотрела на себя в мутное зеркальце над умывальником. И закричала от страха: опухшее лицо в красных пятнах мало напоминало её милое личико.

— Чего орёшь? — высунулась из-за двери Старуха.

— Там… в зеркале… я в пятнах, — пробормотала Принцесса.

Старуха хмыкнула:

— Похоже, ветрянка. До свадьбы заживёт. Не царапай, — и исчезла в доме.

Принцесса сжала в руках стихотворный листок. Как… свадьба? Её что, хотят выдать замуж за этого странного парня с висячей рукой? Принцесса решительно шагнула внутрь, но на этом её смелость закончилась, она только спросила:

— Какая свадьба?

Парень, склонившись над своим столом, что-то делал левой рукой. Он поднял голову, по-птичьи, боком, посмотрел на Принцессу одним глазом. Глаз смешно увеличивался специальным стёклышком. Такие обычно бывают у часовщиков.

— Что? А! Утешают так в болезнях. Или, гм, когда есть раны. Значит — всё пройдёт со временем, — пояснил он, хлопая под стёклышком увеличенными ресницами.

И позвал Старуху принимать работу:

— Ну-ка заведи!

Старуха покрутила ключик, и по игрушечной лестнице полез металлический трубочист — он никак не мог добраться до крыши, соскальзывал и снова начинал двигаться вверх. Принцесса играла таким в детстве. Хитрость состояла в том, что у лесенки не хватало ступеньки. Трубочист на самом деле не держался руками, а перебирал ногами, и когда ноге не на что было опереться, он сваливался к подножию. Принцесса в детстве гордилась, что раскусила трюк, в то время как её сёстры смотрели на игрушку как на волшебство.

Принцесса стояла, вспоминала детство и старалась не разрыдаться. Старуха неправильно истолковала её молчание, а может, ей захотелось поговорить.

— Ты — на Свалке, — произнесла Старуха с таким благоговением, как будто сказала «в раю» или, по крайней мере, «во дворце».

— Старуха живёт Свалкой, — продолжил парень. — Приводит в порядок вещи и находит им новых хозяев. А я, — он слегка замялся, — я здесь…

— Мусорщик, — вставила Старуха. — Мне удалось пристроить его на работу.

— Да, я вывожу мусор на Свалку.

— Из богатой части города, — дополнила Старуха с гордостью.

— Ночью занимаюсь мусором, днём, при ярком свете, пытаюсь чинить сломанные часы и другие механизмы. Иногда удаётся.

— Да он всё что угодно починит! — подтвердила Старуха, обтёрла трубочиста фартуком и сунула в карман.

— Прошли те времена, когда я мог починить всё что угодно, — сказал Мусорщик с лёгким вздохом.

Принцесса постеснялась спросить, в чём дело, но он сам поведал:

— Я обгорел. Справа. Конечно, наловчился управляться левой рукой. Но это совсем не то, что орудовать двумя руками. Теперь с трудом чиню даже крупные вещи, а раньше я любил придумывать и создавать новые механизмы, — он оборвал свою речь. — Садись, ешь.

Принцесса не заставила себя упрашивать. Позабыв все свои хорошие манеры, глотала кашу, с наслаждением запивая её кофе. Мусорщик вернулся к своему столу и занялся очередной вещичкой.

Старуха потопталась, посмотрела на Принцессу и проворчала:
— Зря ты её привёл. Ты посмотри, сколько она ест. Один пьёт целую прорву, вторая лопает.

Принцесса испуганно замерла с ложкой у рта.
— Один без нас пропадёт. А воды я ему натаскаю, невелика беда. Вторая отработает, когда сможет,— возразил, не поднимая головы, Мусорщик.— Не ворчи, Старуха. А то подумают, что ты злая. Кстати, меня кофе ты не отпаивала!— засмеялся он.
— Я тебя мясом кормила, неблагодарный!— вспыхнула Старуха.

Мусорщик захохотал. Упала и покатилась шестерёнка. Старуха подняла, подала ему и на цыпочках отошла от стола. Принцесса поняла, что это обычная для них перебранка, но кашу доела без аппетита.
— И куда ты её денешь? У нас тесно! Лучшую комнату невесть кому отдал! Где я для всех комнат найду?— продолжала ворчать Старуха.— А ты чего молчишь?— повернулась она к Принцессе.— Тебе есть куда убраться отсюда? Кто ты такая?

Мусорщик весело взглянул от своего стола. А Принцессу смутили сердитые речи.
— Я — Принцесса,— робко ответила она.
— Ха-ха, видали? Она — принцесса,— передразнила Старуха.— Так мы и поверили. У нас есть только Принц, он поехал свататься, скоро привезёт себе невесту, тогда будет и принцесса.

Вот это да! Такая удача! Принцесса оказалась в родном городе её обожаемого Принца! Она подпрыгнула на месте от желания немедленно бежать к нему. Потом сообразила, что Принц ещё не вернулся, а самое главное, от неё шарахаются все, кроме чудных её хозяев.

Принцесса, краснея, рассказала свою историю, начиная с дивана с книжками, даже упомянула шоколад в пастиле как лекарство от всех невзгод. Протянула доказательство своей великой любви — листок со стихами. Старуха не глядя передала Мусорщику. Он пробежал глазами, перевернул, покачал головой, увидев план, и вернул Принцессе.

Затем достал с полки над своим столом рулон и развернул перед Принцессой:
— Если ты любишь схемы, посмотри: я нарисовал, где мы находимся. Вот это наша часть городской стены. Она заброшена, никто здесь не живёт, кроме Старухи.
— Всё равно налоги дерут,— проворчала Старуха.
— За стеной — пустырь,— показывал Мусорщик дальше.— Часть его занимает Свалка. Однако осталось достаточно места, чтобы выгуливать домашних питомцев!

Старуха скорчила гримасу. Принцесса, уже было почувствовавшая расположение к новой компании, удивлённо подняла глаза. Похоже, они не в своём уме. Она дождётся приезда Принца и сбежит от них при первой же возможности. Быстрее бы сошли пятна с лица!
— Ты можешь уйти в любой момент, тебя никто не держит,— Мусорщик запихнул рулон на полку и достал небольшой лист.— Возьми эту бумагу, только не рви и не выбрасывай, никогда не знаешь, что и когда пригодится.

Он протянул Принцессе… купчую на неё же.
— Стражники делают обход городской стены, доходят иногда и до нас.
— Часто доходят! Ну как же, вдруг найдут к чему придраться и за что слупить денежек,— пробурчала Старуха.— Ты держись у меня за спиной, если припрутся. Я с ними справлюсь, учёная, хотя читать и не умею.
— Это точно, держись Старухи, она в обиду не даст,— посоветовал Мусорщик.— Тем более что за тебя деньги стражники уже получили. Они нашли тебя под стеной недалеко от городских ворот и не знали, что делать. Испугались, что ты заразная. С них станется бросить в болото, чтобы и следов не осталось. Поминай тогда как звали. Пришлось тебя купить, чтобы не утопили.

Принцесса спрятала бумагу вместе с драгоценным стихотворным листочком.

Мусорщик вернулся к работе. Принцесса сидела тихонько, стараясь не мешать. Старуха ушла сортировать тряпьё.

В обед ели всё ту же кашу, и на этот раз она не показалась Принцессе вкусной. И кофе закончился.
— Шоколада в пастиле у нас нет!— вдруг съязвила старуха.

Надо же, запомнила.
— Его умеет готовить только королевский повар,— грустно ответила Принцесса.

Старуха противно засмеялась.
— А почему ты смотришь боком?— перевела разговор Принцесса, повернувшись к Мусорщику.
— Да потому же, почему и мусор ночами возит. Чтобы его никто не видел,— ответила Старуха.
— Не хочу пугать людей,— объяснил Мусорщик.
— Дурак, люди привыкнут,— пожала плечами Старуха.— Какой уж есть, пусть терпят.

Мусорщик медленно повернул лицо. Хорошо, Принцесса знала, что увидит что-то страшное, и не вскрикнула, не отшатнулась. Шрамы от ожогов смотрелись безобразно.
— Пустяки,— сказала Старуха.— С лица воду не пить. Главное, выжил.
— Верно,— согласился Мусорщик.— Вот руку жалко. Уж лучше бы я лишился ног.
— Хватит нюни распускать! Темнеет, а тебе ещё воду таскать оглоеду, вот же связался с тварью,— решительно прервала разговор Старуха.

Мусорщик поднялся. Принцесса услышала скрип тачки, потом плеск воды.

Старуха растопила железную печку в комнате. Вышла. Вернулась в роскошной, но уже побитой молью шубе. Гордо поглядывая на Принцессу,

подбросила дровишек в печку. Длинная шуба волочилась по полу. Принцесса даже во дворце не видела подобной красоты. Но проплешины были большие, шуба явно не подлежала ремонту. Такая роскошная и… такая изъеденная молью.

— Очень красивая вещь,— вежливо похвалила Принцесса, к удовольствию Старухи.

— Ночи холодные, Мусорщик спит здесь, у печки, на матрасе, я сплю у себя, завернувшись в шубу, она тёплая, и печки не надо. А вот что делать с тобой?— задумалась старуха.

— Я могу спать там, где спала,— Принцесса поспешила в жаркую комнату, пока не отказали.

Над дверями на гвозде висела ещё одна купчая. Принцесса не успела удивиться, зашла внутрь, закричала от страха, бросилась обратно и угодила в объятия Мусорщика.

— Тихо, тихо! Он не любит крика! Ты его напугала!

В большой, как амбар, комнате на соломе лежал дракон. Вернее, уже стоял. Он поднялся на лапы, забил хвостом и открыл громадную пасть. Ещё и замахал остатками крыльев.

Мусорщик отпихнул Принцессу и подбежал к дракону. Погладил чудовище по морде, зашептал ласковые, успокаивающие слова.

Дракон потоптался и улёгся. Крылья свернул. Глазами змеиными следил за Принцессой.

Она провела тут ночь и не была съедена— это раз. Мусорщик смело с ящером обращается— это два. Принцесса сосчитала до двух и решила не бояться.

Она осторожно подошла к дракону и, набравшись храбрости, дотронулась до чешуи. Прошептала:

— Я думала, ты мне приснился.

Дракон повернул голову и посмотрел на неё боком, почти как Мусорщик. Из ноздрей ящера шёл горячий пар.

— Это он тебя так обжёг?— спросила Принцесса.

— Нет, конечно. Он ласковый, послушный. Пугливый и бестолковый, потому что молодой, но он не жжёт, если нет нужды.

Мусорщик открыл большие, как в конюшне, ворота на пустырь и вкатил бочку с водой. Потом ещё две. Дракон выпил всё. Мусорщик похлопал его по потрёпанному боку с опалёнными чешуйками:

— Наилучший домашний питомец. Есть не просит, так я и не понял, чем он питается. Не гадит. Пои его водой да выпускай побегать в солнечную погоду— вот и все хлопоты.

— Толку от него никакого!— появилась вездесущая Старуха.

Принцессу как будто дёрнул кто-то за язык:

— Камень «Слеза дракона» не имеет цены! Интересно, как заставить дракона плакать?

— Он не плачет,— быстро встал между нею и драконом Мусорщик.— Он был изранен и не плакал. Я отпилил ему палец— он не плакал. Дай лапу!

Дракон поднял переднюю лапу, на которой не хватало одного когтистого пальца от самого основания.

Мусорщик смотрел на Принцессу гневно. Она смутилась:

— Я вспомнила сказки и сказала глупость. Никакие драгоценные камни не стоят того, чтобы ради них мучить и заставлять плакать живое существо.

Мусорщик расслабился и кивнул. Дракон опустил беспалую лапу.

— Зачем ты отпилил дракону палец?— удивилась Принцесса.

— Чтобы ему не было больно. Перелом не срастался.

Мусорщик ушёл на работу. Принцесса устроилась на соломе возле дышащей теплом драконьей морды. Хотя было страшновато оттого, что под боком вместо печки— большой дракон, она быстро уснула.

…Королевский повар внёс на серебряном подносе шоколад в пастиле. Принцесса обрадовалась. Как здорово заесть кошмарный сон нежным лакомством! Только почему от присутствия повара так горячо? Принцесса открыла глаза и горько заплакала. Она лежала на соломе в большой, как амбар, комнате, громадный дракон подвинул к ней противную морду, и это от пара из его ноздрей ей стало жарко. Принцесса побрела умываться.

Мусорщик уже сидел за своим столом и старательно завинчивал что-то левой рукой.

— Мне снился шоколад в пастиле,— грустно сообщила его согнутой спине Принцесса, но он даже не повернулся.

Она заглянула в мутное зеркальце во дворе— противные пятна не сошли.

В комнате на столе лежал кусок хлеба. Принцесса жевала и глотала слёзы.

Мусорщик выпрямился, оглянулся и предложил:

— Попроси Старуху купить пастилы в шоколаде. Она поругается, но, может, принесёт.

— Это совсем не то, что шоколад в пастиле,— возразила Принцесса.

Мусорщик передёрнул плечами. Из металлического хлама на столе выудил пинцетом одну детальку и осторожно надел её на другую. Удовлетворённо хмыкнул.

На подоконнике стоял небольшой деревянный дракончик. Знакомая игрушка! Принцесса в детстве любила пускать похожего дракончика по широким перилам королевской лестницы. Он шёл вразвалочку, покачивая растопыренными крыльями.

Принцесса взяла игрушку в руки, раздумывая, где бы запустить. Крылья хрустнули и отвалились. Принцесса вскрикнула. Мусорщик вздрогнул, задел детали, которые собирал, тонкая работа рассыпалась. Он чертыхнулся:

— Полдня трудов впустую!

Принцесса присела на край стула и затаила дыхание, стараясь не мешать. Мусорщик заново приклеил крылья, отнёс игрушку на подоконник, заметил Принцессу и предложил со смешком:

— Я занят, а дракона надо бы проветрить. Справишься?

Принцесса с готовностью кивнула.

— Это несложно. Открой ворота и помани. Когда набегается, зайдёт сам, закроешь за ним ворота.

Принцесса отодвинула заслонку, как ей велели. Дракона можно было не манить, он услышал скрип тяжёлой двери и подошёл, похлопывая хвостом по соломе. Он нетерпеливо тыкался мордой, мешая Принцессе открывать. Как только его выпустили, он умчался на дальний край пустыря. Прискакал обратно, опять умчался, расправляя покалеченные крылья. Так он бегал довольно долго, вернулся с очень довольной физиономией, Принцесса даже не подозревала, что у драконов может быть такое выражение морды. Он улёгся внутри. Принцесса перестала обдумывать свою печальную судьбу и подошла к дракону поближе. Он смотрел на неё добродушно змеиными глазами. Принцесса его погладила по твёрдой чешуе, обошла вокруг, рассматривая. Дракон её восхитил, хотя местами шкура у него была потрёпана, а чешуйки расплавлены.

— Наскакался? — сунула нос в двери Старуха. — Теперь бочек десять вылакает, не меньше, зверюга поганая.

Дракон раскрыл пасть и икнул.

— Иди напои свою тварь! — крикнула Старуха Мусорщику.

Принцесса смотрела, как дракон пьёт.

— А он умеет извергать пламя? — спросила она у Мусорщика.

— А то! Ну-ка, фу-у-у, фу-у-у! — Мусорщик издал дующие звуки, показывая на пустую стену под потолок.

Принцесса в испуге отшатнулась от струи пламени, просвистевшей рядом. На стене осталось чёрное пятно копоти. Дракон самодовольно покосился на людей и допил воду. Улёгся, из пасти капала слюна, совсем как у фермерского младенца, которого несколько дней назад качала Принцесса. Только младенец сосал кулак, а дракон по-кошачьи лизал свои бока, пачкая их слюной.

С неохотой оторвалась Принцесса от дракона: Старуха позвала ужинать, а она Старуху побаивалась.

На столе Мусорщика рядами выстроились починенные механические игрушки. На подоконнике подсыхал дракончик.

— Жалко, что настоящему дракону так просто крылья не приклеить, — заметила Принцесса.

— Я знаю, как ему помочь, — Мусорщик достал очередной рулон бумаги и развернул схему. — Вот, смотри, что я придумал.

— Почему ты этого ещё не сделал? — удивилась Принцесса, впечатлённая устройством нового крыла для дракона.

— Очень сложно левой рукой соорудить такую конструкцию, а потом её ещё и прикрепить. Эх, работала бы у меня правая рука! — он говорил о грустном, но с улыбкой.

Поужинал, поднялся и ушёл на работу.

А Принцесса — к дракону, спать. На этот раз она почему-то долго не могла уснуть. Ворочалась на соломе. Если она оказывалась слишком близко к дракону, он осторожно отодвигал морду. Глаза, когда он их открывал, светились в темноте.

Утром Принцесса решила отчистить застывшую слюну на драконьем боку. Она так натёрла пучком соломы несколько чешуек, что они заблестели ярче столового серебра в королевском дворце. Старуха не дала ей продолжить работу — увидела и замахала руками:

— Прекрати немедленно! А то ещё понравится такая красота стражникам, и отберут оглоеда.

Принцесса удивилась. Ведь она была уверена, что Старуха терпит всех с большим трудом. Особенно дракона. Он же занимает большую комнату и отвлекает Мусорщика от работы! Даже на Принцессу Старуха меньше ворчала, чем на ящера.

— Откуда взялся этот дракон? — спросила Принцесса.

— Упал тут ночью. С грохотом. Со стола посуда посыпалась, — ответила Старуха. — Стражники подоспели первыми, Мусорщику пришло в голову выкупить чудовище. Телегу нанял, чтобы довезти. Лучшую комнату уговорил освободить.

Она вздохнула.

— Стражники его истыкали копьями, хотели заставить плакать ради бесценного камня. Я им говорю: посмотрите, он изранен, весь переломан и при смерти, но не плачет. И не заплачет, не дождётесь слезы, отдайте лучше мне, вам же меньше заботы выбрасывать такую тушу. Выторговал, — дорассказал подошедший Мусорщик.

— Весна, грозы сильные. Молнией, что ли, его так стукнуло? Совсем обгоревший был. А теперь и следов почти не осталось, — добавила Старуха. — Не то что на Мусорщике.

— Заведи-ка птичку, — перебил он её.

По столу запрыгала и заклевала воображаемые зёрна механическая курица. Принцессу игрушка не заинтересовала.

— Я никогда не видела настоящих живых драконов, — заметила она Мусорщику. — Думала, они остались только в сказках.

— Я несколько раз наблюдал, как стая пролетает над горами, — отозвался тот. — Впечатляет.

— Ты бывал в горах? — удивилась Принцесса.

Про горы она только читала в книжках с картинками.

Мусорщик не расслышал. Он опять чинил игрушки.

— Наберётся целый мешок к воскресной ярмарке,— Старуха спрятала в карман фартука курицу.— Если у тебя пятна сойдут, поможешь мне их продать. Дети скорее купят у молоденькой, чем у старухи.

Это Мусорщик расслышал, одобрил смешком.

Принцесса послонялась по комнате и решила, что раз ей не удалось почистить дракона, то можно заняться Мусорщиком.

— У вас есть ножницы?— спросила она у него.

— Несколько дюжин,— хохотнул Мусорщик, достал схему, которую показывал ей в самом начале, и ткнул пальцем:— Вот в этой комнате. Иди ищи.

Искать не пришлось. Старуха увязалась за Принцессой, чтобы похвастать. Она распахивала двери, с гордостью демонстрировала свои сокровища. Чего тут только не было! Но Старуха не давала рассмотреть, тянула дальше, по дороге делилась секретами торговли:

— Хорошие хозяйки идут за покупками рано утром, ещё затемно. Надеются купить продукты посвежее и подешевле у самих фермеров, а не у перекупщиков. После удачной сделки они не прочь и себя побаловать,— морщины у Старухи разгладились, лицо просияло.— А тут у них на пути мои вещички по сносной цене. Игрушки— другое дело. Их клянчат дети днём на ярмарке. Главное— не получить место рядом с продавцом леденцов. Родители не купят два подарка подряд, а дети выберут сначала сладость.

Принцесса тихонько вздохнула о шоколаде в пастиле.

Мусорщик наточил ножницы. Потом отнекивался, когда выяснилось, что именно его Принцесса и собирается подстричь. Старуха принесла гребёнку, прикрикнула на Мусорщика, он сдался.

Принцесса срезала все слипшиеся и спёкшиеся волосы. Он потрогал ёжик на голове.

— На человека стал похож,— одобрила Старуха.

Принцесса принесла мутное зеркальце, в которое сама смотрелась по утрам.

Мусорщик взглянул и вернул зеркальце.

— Ты, наверное, принц,— догадалась Принцесса.

— С чего ты взяла?— поднял Мусорщик брови.

— Потому что ты никогда не отчаиваешься! Ни при каких обстоятельствах.

— Это в сказках не полагается отчаиваться одним только принцам. В жизни хорошо бы не отчаиваться всем. Ни при каких обстоятельствах! Что толку унывать раньше времени? В жизни всегда найдётся чему порадоваться.

Он помолчал и заговорил снова:

— Моя история похожа на твою. Подвела тяга к приключениям. Отец мой— великолепный механик, как и дед, и прадед. Прадеда король за его золотые руки наградил землями и титулом. Деда отметил следующий король. И отец был на хорошем счету у нашего короля. Но после смерти матушки отец продал все земли, и мы с ним переселились в горы. Он для начала построил замок на скале, потом занялся мостами через пропасти. И вдруг решил, что мне пора жениться— ему захотелось успеть повозиться с внуками. Он даже начал придумывать замысловатые игрушки для моих будущих детей. Я испугался: вот появится жена, потребует от меня новых механизмов— или полезных для неё, или таких, которые можно выгодно продать.

Старуха закивала головой утвердительно.

— А я ещё не успел собрать что-нибудь замечательное, пока у меня ни перед кем нет обязательств. И я осуществил задуманное.

— И что ты собрал?— затаила дыхание Принцесса.

— Ковёр-самолёт,— просто ответил Мусорщик.— В горах манят соседние вершины, кажется, они близко, рукой подать, а ехать к ним приходится очень долго, и то если проложен путь. Я был так доволен тем, что мне удалось сделать ковёр-самолёт, что не подумал ни о плане, ни о том, чтобы хорошенечко ковёр испытать. Прыгнул на него, махнул отцу рукой и полетел куда глаза глядят. А глядели они вперёд и вперёд,— Мусорщик рассмеялся.— Потому что за горами были моря, за морями— новые горы. Красота необыкновенная. Потом я попал в сильную грозу. Сверкал гром, гремели молнии, ковёр-самолёт загорелся и упал. Вместе со мной. Прямиком на эту Свалку. Старуха меня подобрала и вы́ходила.

— Поставила на ноги,— подтвердила Старуха.

— Ты мне покажешь ковёр-самолёт?— просительно прижала руки к груди Принцесса.

— Конечно, покажу. Боюсь, он тебя разочарует. Груда расплавленных металлических обломков.

— Ты ведь его починишь?— с надеждой спросила Принцесса.

— Я выискиваю нужные детали. Уже все нашёл. Может быть, починю, если обучу помощника.

— А если нет?— прервался у Принцессы голос.

— Да разве Мусорщик будет сидеть и плакать? Уж он-то найдёт чем заняться,— хмыкнула Старуха.— Посмотри, сколько хороших вещей подправил.

Мусорщик вспомнил:

— Знаешь, что мне однажды попалось? Напольные часы, которые делал мой прадед! В отличном состоянии. Я не ожидал увидеть работу семьи так далеко от дома.

— Где они?— оживилась Принцесса.

— Антиквар нашёл им хозяина. Пускай забавляют людей,— улыбнулся Мусорщик.— Но раз часы добрались до этих краёв, значит, добираются и купцы. Найду земляков рано или поздно. Передам домой весть, что жив-здоров. Или попрошусь с ними. Видно будет.

— Я у всех заморских торговцев спрашиваю, откуда они,— кивнула Старуха.

— Мне пора,— поднялся Мусорщик.

Принцесса с неохотой отправилась спать.

Утром Мусорщик сидел на своём обычном месте и колдовал над очередным механизмом.

— Когда ты спишь?— удивилась Принцесса.

— Зимой отосплюсь, когда солнца будет мало,— отозвался с неизменным смешком Мусорщик.

— А как давно ты здесь?

— Два года.

Она не успела ужаснуться, как он обернулся, глянул на неё и предложил:

— Ну-ка, посмотри в зеркало.

Принцесса помчалась к зеркальцу. Уродливые пятна исчезли!

— Когда приезжает Принц?— спросила она вместо приветствия у Старухи.

— Откуда я знаю? Говорят «скоро, скоро», а он всё задерживается,— буркнула та.

Ну конечно же, он ищет Принцессу! Не знает, что она в его родном городе. На Свалке. Скорее бы он вернулся! Принцесса прижала к сердцу драгоценный листок со стихами.

Принцесса ждала, сгорая от нетерпения. Не слышала, когда к ней обращались, не замечала, что происходит, не чувствовала вкуса еды. Она придумывала, что скажет Принцу при встрече. Старуха ворчала больше обычного, по пять раз приглашая Принцессу к столу. Мусорщик посмеивался, как всегда. Зато дракон заразился хорошим настроением, носился по пустырю как угорелый, извергал пламя и истекал слюной. А Принц всё не ехал.

Мусорщик тем временем раздобыл гончарный круг. Кто-то выбросил, а он подобрал. Принцесса никогда прежде не видела, как лепят горшки, только читала в книжках. Она упросила Старуху повременить, не продавать круг, дать ей попробовать что-нибудь изготовить. Хотя бы разочек! Мусорщик принёс глины. Принцесса с упоением взялась за дело. Ей понравилась глина на ощупь, понравилось одним прикосновением придавать ей форму.

— Первый блин комом,— хмыкнула Старуха, посмотрев на результат.

— Начни с чего-нибудь очень простого,— посоветовал Мусорщик.— Я тоже когда-то начинал с простого.

Принцесса терпеливо вращала круг. Она пальцем осторожно сделала углубление, расширила его кулаком. Вытянула стенки вверх. И в этот раз добилась совершенства! Предмет её гордости, глиняный цветочный горшок, сох на подоконнике.

Мусорщик его одобрил. Принцессе стало интересно, что было его первой поделкой.

— Сейчас покажу,— Мусорщик огляделся, весело сверкнул глазами и взял деревянные треснувшие чаши — две маленькие глубокие и одну плоскую побольше.

Старуха их притащила в надежде, что Мусорщик что-нибудь придумает, но уже собиралась отправить на Свалку. Он осторожно накапал расплавленного олова в помеченное место небольшой чаши, затем склеил три чаши в форме гриба. И тоже поставил на подоконник. Принцесса терялась в догадках, что это такое. Когда клей высох, Мусорщик поставил гриб на стол и опрокинул. Гриб встал обратно. И как его ни толкали, он упорно поднимался.

— Так просто и так чудесно!— всплеснула руками Принцесса.— А что ты сделал следующее?

— Выстрогал детали шагающего бычка. Вроде дракончика, которого ты видела. Очень долго возился. Я был ещё ребёнком, пытался без схем и расчётов собрать довольно сложную игрушку… Ты лучше скажи, как мы твой сосуд обжигать будем? Не уверен, что наша печка подойдёт.

Принцесса не знала, что глину надо «обжигать». С интересом наблюдала она, как Мусорщик под ворчание Старухи пытался приспособить для этого их печку. Глядя, с каким рвением Принцесса мнёт глину, он пообещал собрать специальную печь, а пока посоветовал лепить что-нибудь небольшое. И принёс ей краски!

Это помогло Принцессе коротать время в ожидании приезда Принца.

В воскресенье Старуха взяла Принцессу на ярмарку. Пока Принцесса хлопала ресницами, оглушённая шумом толпы и ослеплённая разнообразием товаров, Старуха расталкивала всех локтями и ругалась. Она выбила хорошее, по её мнению, место, поставила ящик и вывалила на него игрушки. Принцесса оторвалась от созерцания базара и расставила игрушки аккуратно. Подумала немного и начала их заводить, одну за другой. На ящике зашумела затейливая маленькая толпа металлических и деревянных существ: спускался по досочке, покачивая крыльями, дракончик, карабкался по лестнице трубочист, снова и снова вставал гриб-неваляшка. Набежали дети — посмотреть, что тут такое происходит. Потянулись ручонки. Даже подошедший продавец леденцов не смог составить конкуренцию игрушкам. Их мигом расхватали. Старуха огорошенно пересчитывала монеты.

— Как же это так? Не поторговались толком, не поговорили! Ну, сиди тут, а я пройдусь по рядам, поздороваюсь со знакомыми.

Принцесса присела на ящик ждать Старуху.

Вдруг толпа заволновалась. Принцесса ещё не поняла, в чём дело, а сердце у неё уже забилось.

— Принц! Принц вернулся! Слава Принцу!— закричали вокруг.

Девушки, завизжав от восторга, побежали навстречу карете.

Из окошка выглядывал Принц и приветственно махал рукой. Карета остановилась. Принц решил

выйти к народу. Толпа напирала, стражники её сдерживали. Принц шёл, толпу теснили и оттеснили назад. И получилось, что между Принцем и Принцессой, которая сидела у него на пути, никого не осталось. Она резво вскочила и побежала к нему, задыхаясь от счастья. Протянула руки:

— Это я!

Их глаза встретились. Но улыбка Принца вдруг стала кислой. Он оглянулся на ближайшего стражника:

— Не подпускайте сброд так близко.

Принцессу отпихнули.

Принц прошёл мимо, продолжая приветствовать народ. У Принцессы всё внутри оборвалось, она стояла как в тумане и не заметила, когда вернулась, наговорившись со своими знакомыми, Старуха. Та покачала головой, быстро собрала своё хозяйство и повела спотыкающуюся Принцессу домой, на Свалку.

Принцесса села за стол и зарыдала.

— Что случилось? — испугался Мусорщик.

— Встретили Принца, а он её не признал, — коротко объяснила Старуха.

Принцесса зарыдала ещё горше.

Она ничего не понимала. Как такое могло произойти?

Принцесса вскочила, посмотрелась в зеркальце. Она не изменилась! Ну причёска не такая замысловатая, как во дворце. Ну платье обтрепалось. Но это же она, всё та же Принцесса! Он что, ослеп? Или… он её разлюбил?

Старуха неуклюже пыталась её утешить:

— Плюнь и разотри, найдёшь другого. Этот — просто смазливый дурак. Говорят, всё, что он умеет, так это слезливые стишки сочинять и песенки бренчать. Девушки, конечно, тают. Но разве это настоящий, подходящий в мужья мужчина?

— Ы-ы-ы, — завывала, умываясь слезами, бедная Принцесса.

— Ну богатый, ну Принц, но свет клином не сошёлся… — рассуждала Старуха.

— Ты купила то, что я просил? — перебил её Мусорщик.

Старуха, ворча, что лучше бы она купила мяса, порылась в сумке, отыскала какой-то свёрток и положила на стол.

— А ну-ка закрой глаза и попробуй конфету! — велел Мусорщик Принцессе.

Она согласилась, лишь бы её оставили в покое. И замерла от неожиданности, раскусив сладость, которую дал ей Мусорщик. Такого вкусного шоколада в пастиле она не ела даже во дворце!

Принцесса перестала плакать, широко открыла глаза.

— Ни за что бы не поверил, что эта штука помогает от всех невзгод, если бы только что не увидел, — произнёс Мусорщик со своим обычным смешком.

Принцесса слабо улыбнулась. Потом улыбнулась ещё раз. И потребовала от Мусорщика раскрыть секрет, где он раздобыл лакомство. Он признался, что попросил Старуху купить пастилу и шоколад. И в надрезанную пастилу просто вложил кусочек шоколада.

Мусорщик напоил дракона и ушёл со своей тачкой. Принцесса попробовала уснуть, горе вернулось и навалилось на неё с новой силой. Видимо, шоколад в пастиле перестал действовать, а добавки не было.

Принцесса встала, стараясь не потревожить дракона, и пошла к гончарному кругу. Глины оставалось на одно изделие. Принцесса сидела в темноте, горел только огонь в печке, лепила и сминала сосуд за сосудом, горшок за горшком, снова и снова. Она собралась скомкать последний причудливой формы сосуд, чтобы начать новый. Вдруг кто-то положил ей руку на плечо. Оказывается, уже вернулся Мусорщик.

— Остановись. Это прекрасная работа. Оставь её. Подари людям. Завтра я принесу тебе ещё глины.

Уставшая Принцесса послушалась, легла и мгновенно уснула.

Утром спозаранку Принцесса опять взялась за горшки, и до позднего вечера из-под её рук выходила чудесная посуда. И весь следующий день, и через день Принцесса с утра до ночи лепила свои горшки. Мусорщик едва успевал их обжигать. Довольная Старуха — продавать. Принцессе почти не думалось о Принце, тоска о доме тоже отступила. Такого с ней ещё никогда не случалось — её звал гончарный круг. Ей хотелось вылепить что-то необыкновенное, она с упоением возилась с глиной и не торопилась решать, как жить и что делать дальше. Гончарный круг оказался замечательным лекарством. Пожалуй, не хуже, чем шоколад в пастиле.

Однажды, когда Мусорщик ушёл, Принцесса не стала ждать его возвращения, сама сунула горшок в печку. И сильно, до пузыря, обожгла руку. Подула — не помогло. Принцессе хотелось, чтобы её пожалели. Раз дома никого не было, кроме дракона, она пошла жаловаться дракону. Глупый дракон привычно потянулся мордой к Принцессе, его слюна капнула на ожог. Пузырь исчез. Принцесса поверить не могла, но пузыря как не бывало! Даже шрама не осталось.

Дракон, играя, поднял морду и дунул пламенем в потолок. Опять закапала слюна. На потолке остался чёрный след.

— Ух ты!.. — задумалась Принцесса.

И догадалась, как обжигать горшки без печки! Надо всего лишь приспособить… дракона!

Она едва дождалась прихода Мусорщика и, только он появился на пороге, закричала:

— Смотри!

Принцесса бросила горшок на пол. Мусорщик дёрнулся подхватить, но не успел. Горшок со звоном упал и покатился по полу. Не разбился!

Мусорщик присел, поднял горшок и с изумлением уставился на него. В дверь протиснулась Старуха в своей ночной шубе:
— Что тут за грохот?
— Я попробовала обжигать горшки в пламени из пасти дракона, и они теперь не бьются!—торжествуя, заявила Принцесса.— А уж какой красивый цвет придаёт им этот огонь, и описать невозможно!

Она протянула им ещё один горшок. Казалось, краски горят изнутри.
— Вот тебе и повод появиться во дворце,— посоветовала Старуха.— На такой необычный сосуд Принц клюнет, как рыбка на наживку. Чем не подарок для невесты или её отца? Поговоришь с ним ещё разок. Авось опомнится.
— Невеста?— похолодела Принцесса.
— Ну так он же ездил свататься! Готовится свадьба. Завтра приезжает Король-отец и привозит дочку.
— Но ведь это же я — невеста, это я — дочка, это меня должен привезти Король-отец!— воскликнула Принцесса.

Уголки губ у неё поползли вниз, на глаза навернулись слёзы. Пожалуй, сейчас не помог бы и шоколад в пастиле. Даже гончарный круг не помог бы.
— Не вздумай реветь!— быстро сказала Старуха, пока Принцесса не успела заплакать.— Слезами горю не поможешь, надо действовать. Тебя всё равно не пропустят к Принцу. Хочешь попасть во дворец — сделай предмет из двух частей. Сначала передай первую часть со стражей. Если вещичка придётся Принцу по душе, он согласится лично принять продавца, чтобы заполучить вторую часть.

Увидеть Принца? Очень заманчиво! Принцесса тут же передумала плакать. Но вдруг Принц поведёт себя как на городской ярмарке? Второй раз она такого не переживёт. Отец! Вот кто точно узнает родную дочь! Она всё искала способ, как передать отцу весточку, а он сам едет сюда. Она увидится с ним и вернётся в семью. А потом поговорит со своим Принцем.

Принцесса наморщила лоб. Она хочет сначала попасть к Королю. Что же для него придумать? Она сообразила! Король так любит чай, что никому не доверяет его заваривать — ни слуге, ни повару. И ворчит, что крышечки у чайников падают и бьются, из носика всегда течёт прямо по чайнику. И что все чайники слишком маленькие, и раскрашены в тусклые, некрасивые цвета.

Остаток ночи Принцесса не спала — размышляла, какой заварочный чайник понравился бы отцу, гадала, кто эта таинственная невеста и что вообще означает предстоящая свадьба. Она ворочалась, и дракон беспокойно шевелился. Принцесса с благодарностью погладила его морду, вспомнила, как он несколько раз выручил её сегодня, и замерла, потрясённая ещё одной догадкой. Как же она сразу не додумалась?!

Она не дотерпела до утра, разбудила всех — и дракона, и Старуху, и Мусорщика.

Дракон возмущённо фыркал, но честно извергал пламя, истекал слюной. Принцесса собирала слюну в ведро. Мусорщик спросонья тёр глаза и ворчал. Старуха, наоборот, посмеивалась и готовила чистые тряпки.
— Я отказываюсь!— упёрся Мусорщик.
— Ты что, спятил? Попробуй!— подталкивала его к ведру Старуха.— А вдруг поможет?
— Я поняла, почему драконы не обжигают себя внутри!— оборачивала его руку и лицо вымоченными в драконьей слюне тряпками Принцесса.— То есть, может, и обжигают, но у них тут же всё зарастает! Потому что у них слюна… Специальная… Драконья! Мой ожог прошёл мгновенно!
— Хитро устроены, зверюги,— усмехнулась Старуха.
— У меня старые шрамы,— пробурчал Мусорщик.— Мне ничего не поможет.
— У дракона тоже были старые шрамы, но там, куда он дотянулся и где облизал, они затянулись,— спорила с ним Принцесса.

Однако шрамы Мусорщика не исчезли.

К утру Принцесса почти отчаялась, отпустила всех спать и легла сама. Её растолкал Мусорщик. Шрамы остались на месте, а он сиял. Он показал Принцессе правую руку: она всё ещё висела плетью, но он мог шевелить пальцами!

Принцесса запрыгала от радости и захлопала в ладоши. Старуха тут же предложила продавать слюну как средство от ожогов. Но, увы, в процессе лечения выяснилось, что помогает только очень свежая слюна. А старые шрамы даже самая свежая удаляет очень медленно.

Мусорщик был готов всё время держать руку в слюне, Принцесса норовила намазать ему лицо; он говорил, что рука важнее, но Принцесса настаивала. Спорили они весело. Старуха разулыбалась, глядя на них.
— Полгода дракон живёт у меня под боком, а я ни разу не задумался, как он устроен. А ты догадалась!— восхищался Мусорщик.

Принцесса даже немного поважничала. Что ни говори, приятно оказаться умнее самого Мусорщика.

Весь день она занималась Мусорщиком. Когда он напоил дракона и ушёл, уже сгибая руку в локте, довольная Принцесса, весело напевая, принялась за чайник для Короля. Она закончила работу до возвращения Мусорщика и оставила чайник на самом видном месте. Утром Мусорщик залюбовался чайником и похвалил Принцессу. Потом они вместе обожгли чайник в пламени из драконовой пасти.

И вот он уже стоял на столе и сверкал всеми оттенками самого весёлого красного цвета.

А Мусорщик вдруг перестал смеяться, уселся за свой стол и занялся очередным механизмом. Даже не похвалил ещё раз! Принцесса растерянно уставилась на его ссутуленную спину. Но надо было собираться во дворец. Принцессе стало страшно выполнять задуманное в одиночку, и она попросила Старуху проводить её.

Та охотно согласилась. И уже ждала на улице, а Принцесса всё медлила. Тронулась в путь и вернулась с порога. Мусорщик самозабвенно орудовал отвёрткой.

— Я иду! — чуть не криком сообщила ему Принцесса.

— Удачи, — буркнул он, не поворачивая головы.

«Набрался от Старухи дурных привычек», — решила не обижаться Принцесса.

— Если я не вернусь, не забывай прикладывать драконью слюну и к лицу! — напутствовала она Мусорщика на прощание.

Мусорщик наконец обернулся, посмотрел не боком, как обычно, а прямо в глаза. «Шрамы немного разгладились», — заметила Принцесса.

— Да топай уже к своему Принцу скорее! — бросил он.

Старуха нетерпеливо позвала Принцессу, и она не стала ждать, что ещё обидного скажет Мусорщик.

Чайник унесли, Принцесса осталась у парадной лестницы с крышечкой в руках. Вверху распахнулись двери, и по ступеням заспешил вниз сам Король. Он увидел Принцессу и от неожиданности выронил чайник. Принцесса ойкнула и выпустила из рук крышечку. Ни чайник, ни крышечка, обожжённые в пламени дракона, не разбились. Отец прижал к себе дочку и заплакал от радости. Старуха подняла чайник, накрыла крышечкой, поставила на ступеньку лестницы и тихонько пошла домой, на Свалку.

Принцесса наслаждалась. Она принимала душистые ванны, меняла нарядные шёлковые платья. Её замысловато причёсывали и изысканно кормили. Как здорово вернуться к прежней жизни!

Король пил чай из нового чайника, слушал рассказы Принцессы и не верил ни одному её слову. Он считал, что Принцессу похитил дракон, но ей удалось сбежать. И украсть у дракона для отца волшебный чайник: чай в нём получался необыкновенно вкусный.

Принцесса махнула рукой. Хотя и досадно, когда близкие видят мир совсем иначе, чем ты. Они объясняют всё по-своему и совсем не желают посмотреть на ситуацию твоими глазами. Да ещё и настаивают на своём видении как на единственно правильном. Вот Мусорщик её всегда понимал. Если не считать глупое прощание!

Мимо прошла сестра Принцессы, размазывая по лицу слёзы.

— Почему ты плачешь? — удивилась Принцесса.

— Когда ты исчезла, Принц был раздавлен горем, бедняжка. Мне удалось его утешить и развеселить. Он писал мне стихи, пел песни, носил цветы, и мы решили пожениться! А теперь явилась ты, он должен взять замуж тебя! — выпалила сестра и убежала.

Отец растерянно развёл руками. Всех дочерей надо удачно выдать замуж. Желательно за состоятельных принцев. А дочери то капризничают, то исчезают без предупреждения, то плачут. Тяжела отцовская доля. Король заварил чай в новом чайнике — он нашёл своё средство от всех невзгод.

Принцесса отправилась поговорить с Принцем. Она очень волновалась. А он как ни в чём не бывало преподнес ей букет:

— Ах, какое счастье, что тебе удалось вырваться из когтей дракона! Мы ведь не знали, где искать его логово, а то бы я тебя спас.

«По-моему, — сердито подумала Принцесса, — никто особо и не искал».

— Я спас бы тебя ценой собственной жизни, драконы ведь так кровожадны, — вдохновлялся Принц придуманными образами.

Принцесса попыталась объяснить ему, что драконы не кровожадны, и рассказать, как именно она встретила ящера, но Принц ей не верил. Тогда она опустила подробности и начала выяснять главные для себя вопросы:

— Вообще-то мы договорились бежать вместе. И ты нарисовал план побега, — напомнила она.

— Бежать? Зачем? — удивился Принц. — Какой план?

Она протянула ему листок.

— «Купчая», — прочитал он.

Принцесса вырвала купчую у него из рук и сунула ему план.

— А! Этот! Но это же было понарошку! Принцессы из дворцов не убегают. Мне даже в голову не пришло, что ты примешь это всерьёз! — равнодушно взглянул на свой план Принц и перевернул листок. — Вот, оказывается, где мой стих! Я искал черновик, чтобы сложить песню. Я спою эту песню своей невесте во время свадебного застолья!

— Которой из невест? — язвительно уточнила Принцесса.

Принц на мгновенье задумался.

— Ну, в сложившихся обстоятельствах… тебе, — решил он и посмотрел на Принцессу ясными глазами.

— Я подходила к тебе на ярмарке в день твоего приезда в город. А ты велел стражникам не подпускать «сброд» к тебе так близко, — напомнила она с обидой. — Ты меня не узнал!

— Неужели? Я не помню, — Принц пожал плечами. — А что ты делала на базарной площади? Принцессы не ходят по ярмаркам, они сидят во дворцах! Вот и не узнал.

Огорчённая Принцесса оставила Принца сочинять песню. Она отдала букет служанке и велела

принести шоколад в пастиле. Много! Целый поднос! Для двоих! Потому что, как она и предполагала, сестра лежала на диване и страдала. Рядом беспомощно суетился Король.
— Не плачь!—сказала сестре Принцесса.—Плюнь и разотри, найдёшь другого. Этот—просто смазливый дурак.

Король вздрогнул: где только Принцесса набралась таких вульгарных выражений?
— Девушки от таких тают, стишки, понимаешь, он строчит, букеты дарит. Но разве это настоящий подходящий в мужья мужчина?—продолжала Принцесса.

Сестра села и гордо выпрямилась:
— Он выглядит легкомысленным. Как и все в молодости. Поверь мне, как только он женится, он перестанет писать стишки и начнёт делать полезные вещи.
— Какие?—изумилась Принцесса.
— Ну, что делают принцы-мужья? Охотятся, коллекционируют фарфор…—перечисляла сестра.

Король кивал согласно.

Внесли шоколад в пастиле на серебряном подносе. Принцесса откусила.
— Принцу не хватает достойного руководства,—сестра положила в рот сладость и вздохнула.
— Мне разонравился Принц. Я, пожалуй, не буду выходить за него замуж,—сказала Принцесса, разглядывая надкушенный шоколад в пастиле. Почему он не такой вкусный, как у Мусорщика?

Сестра взвизгнула и бросилась ей на шею.

Король озабоченно посмотрел на Принцессу. Конечно, нет большой разницы, в какой последовательности пристраивать дочерей, но лучше бы первой выдать Принцессу, уж очень она требовательная. Какая жалость, что у дракона в логове заодно не оказалось и отважного рыцаря! Или она о ком-то упоминала? Отчего же она так пригорюнилась? Говорит, горшки лепить желает. Король погладил Принцессу по голове, но гончарный круг покупать отказался наотрез. Не принцессино это дело—горшки лепить.

Ничего, начнутся сейчас балы, фейерверки. К свадьбе сестры, глядишь, повеселеет.

Утром Принцесса обнаружила на балконе свой старый гончарный круг и ведро глины. Она счастливо засмеялась, позвала Мусорщика, но он не откликнулся. И никто не знал, как круг попал на балкон, никто не видел и Мусорщика. Принцесса крутила круг и гадала, что сейчас происходит на Свалке. Скучает ли Мусорщик так же сильно, как она, или совсем не скучает? Он-то всегда найдёт чем заняться!

Сестра затеяла пикник. Поехали за город. По базарной площади кареты катились медленно. Принцесса выглянула из окошка, узнала место и недолго думая выскользнула из кареты. Добралась до Свалки. Распахнула знакомую дверь. Никого! Как же так? Мусорщик днём обычно дома, он чинит сломанные механизмы при солнечном свете. Следующая дверь—в большой комнате пусто, ворота распахнуты. На пустыре стояла Старуха и что-то высматривала высоко в небе.

Она обрадовалась Принцессе:
— Я ему говорила: «Принцесса вернётся! Побегает, разберётся и вернётся. Ну какой Принц сравнится с тобой?» А он не верил, дурак.
— Где он?—дрожащим голосом спросила Принцесса.
— Улетел,—ухмыльнулась Старуха.—Рука-то восстановилась. Починил свой ковёр, крыло оглоеду присобачил. И махнули оба в небо.

Принцесса похолодела. Улетел? Насовсем?
— Утри сопли! Сейчас полетают и вернутся. Куда он без тебя? Как привязанный тут сидит и ждёт. Нет чтобы взять быка за рога. Дурак и есть.

Раздался грохот. Принцесса оглянулась—это приземлился дракон. Он потянулся к ней своей слюнявой мордой. Потом гордо прошёлся, расправляя крылья. Мусорщик постарался на славу! Но Принцесса не успела полюбоваться конструкцией крыла, дракон плавно взлетел. Вернулся с грохотом. И опять бесшумно взмыл вверх. Хвастун! Принцесса рассмеялась и обернулась к Старухе. Рядом с той уже стоял Мусорщик и растерянно рассматривал носки своих сапог. Принцесса тоже смутилась.
— Как поживаешь?—выдавила она из себя.
— Великолепно,—поднял он глаза.—Рука как новенькая. Кучу дел переделал. Собираюсь на днях домой.

Они молчали. Старуха взялась за голову и застонала.
— А как ты поживаешь?—спросил Мусорщик после паузы.
— Хорошо поживаю. Просто отлично,—ответила Принцесса.
— Как дела у Принца?—поинтересовался Мусорщик с деланным безразличием.
— Принц меня не интересует, он мне разонравился,—передёрнула плечами Принцесса.

У Мусорщика губы поползли в улыбку.
— Вру я всё. Плохо я поживаю без тебя,—признался он со своим обычным смешком.

Старуха закивала согласно. И легонько подтолкнула Мусорщика ближе к Принцессе.
— А уж как я плохо без тебя поживаю!—пожаловалась Принцесса.

Мусорщик смотрел так, что сердце у неё ёкнуло в предчувствии поцелуя. Того самого Поцелуя с большой буквы, о котором мечтают все принцессы. Она сделала шаг навстречу, всё-таки далековато стоял Мусорщик, чтобы её обнять и поцеловать. Принцесса закрыла глаза.
— Вот она где!—раздались крики.—Держи вора!

Мусорщика скрутили стражники:

— Обвиняешься в похищении Принцессы! Поступок карается отсечением головы!

— Стойте! — закричала Принцесса.

Стражники остановились.

— Я сама сбежала, — начала она, но, поняв, что это не поможет, достала бумагу. — Он же меня выкупил, вот купчая, он не похищал.

— Ай да ушлый малый! — завистливо сказал стражник, прочитав купчую. — Это же сколько денег можно получить у Короля за Принцессу? Сейчас Король прибудет. Смотри не продешеви. Тебе повезло.

Ошарашенный Мусорщик не успел толком прийти в себя, как на пустыре появились свита, слуги и, наконец, сам Король.

Король опасливо огляделся:

— Значит, я правильно понял твои рассказы, логово дракона — на Свалке. Хорошее местечко дракон выбрал, уединённое. И опять, злодей, тебя похитил. Надеюсь, ему отсекли голову?

И в это время с грохотом приземлился дракон. Свита, слуги, стражники и Король остолбенели. Дракон сложил свои новые крылья и просунул морду между Мусорщиком и Принцессой. Смотрел он боком, как когда-то Мусорщик.

— Лети отсюда, — попытался оттолкнуть его Мусорщик. — Спасай голову.

Дракон не двигался с места. Стража неохотно зашевелилась и выставила копья вперёд. Старуха тем временем сбегала за купчей на дракона.

— Это дракон Мусорщика, — показала она Королю бумагу. — Нечего тут чужими драконами распоряжаться!

— Ага, — воскликнул Король, — теперь я всё понял! Ты — отважный рыцарь, сэр Мусорщик, ты спас Принцессу и приручил дракона. А мне передал в подарок замечательный волшебный чайник.

Принцесса вздохнула. Впрочем, в чём-то отцовская версия соответствовала действительности.

— А он плачет? — заинтересовался драконом Король. — Камень «Слеза дракона», говорят, не имеет цены.

— Нет! — быстро встала между отцом и драконом Принцесса. — Мусорщик пилил ему палец, а он не плакал. Этот не плачет! Лапу!

Дракон с удовольствием на физиономии поднял покалеченную лапу.

— Жалко, — сказал Король. — А пламя извергает?

Дракон дунул огнём, свита попятилась, Король восхитился.

Старуха дёрнула Мусорщика за рукав и шепнула, что сейчас подходящий момент просить руки Принцессы. Что Мусорщик и сделал.

— Эх, — пожаловался Король Старухе, уезжая, — растишь дочек, растишь, а они разлетаются из родного гнезда.

Он не знал, насколько был прав.

Мусорщик тем временем обнимал свою Принцессу:

— Я представляю, как обрадуется отец: я привезу себе жену — умницу, красавицу, Принцессу, да ещё и горшечницу. А сколько полезных вещей я задумал сделать!

Принцесса удивлённо посмотрела на него.

— Пока я чинил тут всякие штуки, я заметил, что занятные вещи — все новые. Ими позабавятся, они сломаются, и их выбрасывают. А вот полезных вещей, годных для починки, почти не попадалось. Ими так долго пользуются, что они изнашиваются, — горели у Мусорщика глаза. — Вот что людям надо! Долговечные полезные вещи! Жалко, дракон улетит в стаю, как только доберёмся до гор. В его пламени получаются очень лёгкие и прочные материалы. Но ничего, у меня уже есть идеи!

«Вот это да, — удивилась Принцесса, — сестра была права про мужей! Но когда успело подействовать на Мусорщика достойное руководство, если мы ещё не поженились?»

Принцесса с Мусорщиком сделали в небе круг на ковре-самолёте и вернулись за Старухой. Однако им пришлось улетать в горы без неё, потому что Старуха наотрез отказалась покидать Свалку.

— Никуда не полечу отсюда! Да не переживайте вы за меня. Думаете, вы первые и последние гости на моей Свалке? Как бы не так!

Синяя тетрадь

Одуванчики, жучки и нечистая сила

Рассказы и сказки учеников Ермаковской школы русской словесности

ДМИТРИЙ ИВАНОВ

10 лет

Приключения маленького жучка

Жил-был в поле маленький жучок по имени Жорик. Хотелось ему повидать мир. Стал он строить плот. Когда достроил — начал собирать себе команду, чтобы отправиться в плаванье. Поваром назначил божью коровку Оксану, рулевым — кузнечика Кузю, вперёдсмотрящим — стрекозу Козьку, помощником капитана — червяка Бума, заместителем капитана — паучка Кешу, а себя — капитаном.

Отправились они в плаванье. Ветер был попутным, озеро — спокойным. Внезапно поднялась волна, корабль чуть не перевернуло. Кузька вскрикнул:

— Гигантская рыба!

Это была громадная рыба-сом. Он нырял и делал огромные волны. Тут Жорик взял свою саблю и обрубил трос, который был привязан к маленькой палочке. Палочка отскочила и ударила в глаз чудовищу. Сом открыл пасть и бесшумно взвыл от боли. Он погрузился в воду и пропал. Матросы были потрясены отвагой маленького Жорика, да и он себя хвалил.

Но недолго они праздновали: невдалеке показался корабль кровожадных пиратов. Пираты открыли огонь по кораблю жучка. Мелкие камни ломали мачту и весь борт. Но жучок не растерялся, взял спичку, зажёг и выстрелил ею во вражеский корабль. Так жучок снова спас свою команду. Оксанка приготовила вкуснейший пирог в честь Жорика. Все радовались за самого лучшего в мире капитана, особенно червяк Бум. День клонился к закату, и шумное озеро стало стихать. Все матросы спали крепким сном. Вдруг кто-то залез на борт. Жорик проснулся. Свет разбудил всех матросов. Оказывается, к ним пробрался светлячок Светик. Он очень хотел стать матросом.

— Ну а кем ты будешь? — спросил капитан.

— Я могу выполнять любую работу. Если надо, то и грузчиком буду.

— Ну ладно, — сказал Жорик.

Так в команде появился новый матрос.

Не бойтесь, наша история ещё не закончилась.

Вновь наступило утро. Корабль стоял на берегу. Вся команда вышла на сушу. Жорик нашёл в песке старинную карту, на которой было обозначено место клада. Клад находился под стеклянной бутылкой на песчаном пляже. В сундуке было много золотых монет, серебряных цепочек и очень большая корона. Тут прибежали пираты и закричали:

— Вы забрали наш клад, теперь нам придётся искать стекляшки и красивые камни, которые ничего не стоят. Мы хотели обменять это золото на игрушки и раздать их детям.

— Давайте вместе подарим детям подарки, — предложил Жорик.

И они купили много-много подарков. Все дети мира были счастливы.

Сонное средство

Настала тихая ночь. Сверчок пел свою песенку. День был трудным, все звери и люди спали крепким сном. Свет горел лишь в доме Карла Карловича Карпова. Весь вечер он ел. Вот и сейчас он уплетал карпа, а спать так и не ложился. Ему нечего было делать. Спать не хочется, телевизор смотреть не хочется, а есть надоело. Всю ночь он не спал, а утром пошёл к своему другу Александру Александровичу Тутурекову и стал жаловаться на бессонницу.

— А что ты вчера делал? — спросил Тутуреков.

— Вчера?.. С утра играл, днём смотрел телевизор, а вечером ел, — вспоминал Карл Карлович Карпов.

Александр призадумался:

— Есть у меня одно средство.

— Где оно? — взял его за плечи Карл Карлович.

— Оно зарыто в огороде.

Карл быстро взял лопату и перекопал свой огород и огород Тутурекова, а средства не нашёл.

Тогда Александр Тутуреков сказал:

— А, я вспомнил, это средство в одной из чурок. Расколи все дрова, чтобы найти, а то так и не уснёшь.

И с этим Карл справился, а средства не нашёл.

— Значит, ты его под дровами не заметил.

Карл сложил дрова в поленницу, а средства не нашёл.

— Значит, всё-таки в огороде. Возьми волшебные семена, сделай грядки, посади их и полей.

Посадил Карл семена, а средства так и не нашёл. Уже день к закату клонится.

— Ну и где же твоё средство?—спросил Карл.

— Сам не знаю. Завтра подумаю.

А наш Карл спал эту ночь без задних ног. Глупый, он не знал, что нашёл отличное средство.

Главное средство от бессонницы—это труд!

Солнце и луна

Мрак окутывал лес с макушек ёлочек и до самых последних веточек берёз. Большая белая луна взошла на чёрное небо и осветила чащу. Учитель Семён Браун любил проводить лето в хижине в этих лесах. Он жил там один, без шумных двоечников, которые на уроках выводят его из себя неверными ответами. Он писал здесь красивые картины, которые показывали жизнь,—все изображения были как настоящие. В доме была лишь книга «Русские литературные сказки». Ему жилось очень хорошо. Не слышно ворчание архитектора, губернатор не устраивает шум, и философы не спорят с учёными.

В лесу пахло листвой, и тихий ветерок щекотал лицо. Здесь можно было жить даром. Его товарищами были сосны, вода, солнце и луна. Он любил сидеть у озера и под луной писать с керосиновой лампой роман под названием «Жизнь».

Эх! Что может быть лучше свежего воздуха и солнца, что проходит сквозь ели и сосны? Там было так красиво! Водомерки танцевали по гладкой воде. Заросли рогоза придавали озеру свой особенный, русский вид. Что происходило в тине, из-за волн, стрекоз и водомерок не было видно. Семёну не было одиноко. Но, обходя сосны и берёзы, он грустил и печалился, сам не зная отчего. Гостей у него в хижине, кроме полевых и лесных мышей да птиц, не было. Не каждый любит шум и гам и когда следят на полу. А тут лишь природа—его друг и товарищ.

Ночью всегда что-нибудь происходило. Однажды в лесной чаще зажглись огоньки. Это лесные чудики. У них туловища—как шишки. Ноги и руки—веточки. А голова—кусочек дерева. Волосы—как мох. Они зажигают эти огоньки для пути нечистой силе накануне Ивана Купалы.

Вдруг вода в озере начала бурлить и кипеть. Из него вылезло необъяснимое и ужасное чудище. В лесу что-то происходило. Учитель всю ночь не спал. Он выглядел бледным и усталым. Ему казалось, что в чаще бегают тени. Он был совершенно прав. Это призраки хотели, чтобы он пошёл в чащу. Ему захотелось посмотреть, что там. Слава Богу, что с ним не было его коллеги, Андрея Тарасовича, философа с Украины. Когда Семён вошёл в чащу, он не поверил своим глазам. Это был «нечистый» концерт. На нём было столько нечистой силы: и бесы, и черти, и Баба Яга, и Кикимора, и Леший, и Лесовичок. Тут они отступили и спрятались по всем деревьям. Свет ослепил учителя. Огненная птица солнца полетела во мрак, сожгла всю нечисть, вылетела белоснежной и полетела в сторону луны.

Когда Семён прибыл домой, он всё рассказал учителям, учёным и философам. И учёные, и учителя не поверили, а философы пошли думать. Вскоре учителя удалили его из школы и отправили жить на Кавказ (от греха подальше). Но и там он жил хорошей жизнью. Забыл он про огненную птицу и про нечистую силу. Но он их видел!

СТЕФАНИЯ СЕРГЕЕВА

6 класс

Одуванчик на помойке

Пришла весна, пригрело солнце, пробежали ручьи. Земля вздохнула и приготовилась дать жизнь.

Весенний ветерок нёс по земле старую сухую траву, полусгнившие листья, мусор и ветки. Поднял ветер откуда-то семечко и понёс его по земле. Семечко зацепилось за какой-то комок и упало в ямку рыхлой земли. Земля приняла его и напитала влагой. Она оберегала семечко, давала свои соки маленькому нежному ростку. Под весенним солнцем росток быстро рос и вскоре превратился в молодой одуванчик. Он вытянул свою тонкую шейку высоко-высоко и распустил жёлтую шляпку навстречу солнцу. Одуванчик огляделся и вдруг заметил, что вырос на голой земле среди мусора. Он вырос возле мусорного бака, который норовил загородить ему солнце. Вокруг валялись грязные пакеты и блестело разбитое стекло. Выходит, родился одуванчик на помойке. Вот не повезло! Значит, так Богу угодно.

Одуванчик видел, что совсем недалеко есть парк с пышными клумбами, на которых растут изнеженные розы. Они чувствовали себя так, словно покорили дикую природу, снисходительно и брезгливо.

Одуванчик обомлел. Нет! Это несправедливо! Одуванчик тоже хочет красоваться на пышных клумбах, в красивых парках, и чтобы женщины и дети наклоняли к нему свои прелестные лица, чтобы вдохнуть его аромат. Но как это сделать?

Ведь так крепко его держит эта глупая и грязная земля! Она обхватила все его корешки и даже не собирается отпускать. Цветочек крутился и пыжился изо всех сил, старательно высвобождал корешки, чтобы покинуть помойку. Но ничего не получалось. Земля бережно, но крепко держала его и продолжала давать ему свои силы и соки, чтобы он рос и цвёл. Пошёл дождь, одуванчик подрос и стал сильнее, а земля все свои силы тратила на него.

Дождь кончился. Стало жарко. Собака, искавшая что-то на помойке, стала рыть землю. Она зацепила когтями корни одуванчики, и тот наконец-то вырвался на волю.

Одуванчик почувствовал свободу, воспрянул духом. Теперь он доберётся до клумбы и станет её украшением.

Солнце палило вовсю. Жара. Не прошло и двух часов, как одуванчик превратился в высохшую былинку. Его с лёгкостью подхватил ветерок, земля грустно вздохнула ему вслед. Но недолго она печалилась. В тени за мусорным баком красовался жирненький лопух, рядом примостилась неунывающая крапива, а на солнечной стороне торчала тоненькая пастушья сумка. Жизнь продолжалась.

ЮЛИЯ ГОГОРЕВА

6 класс

Роза и ромашка

Летом в парке выросла алая роза. Она была настолько красива, что все, проходя мимо, любовались ею, а она поднимала свою прекрасную головку всё выше и выше, горделиво оглядывая всё вокруг. Каждый день она была занята тем, что манила прохожих своей красотой и благоуханием. Ей очень нравилось, что ею любуются и восхищаются.

Однажды возле этого прекрасного создания выросла маленькая ромашка. Розе это не понравилось. Ранним утром, пока ромашка спала, роза прокалывала её стебель своими шипами.

Как-то утром ромашка проснулась от сильной боли и слабым голосом прошептала:

— Зачем ты это делаешь?

— Я — прекрасная роза, и мне не нравится, когда вокруг меня растут разные сорняки, — злилась роза.

— Но так ведь нельзя!

— Мне — можно! Ведь я роза, царица цветов.

В этот день была прекрасная погода. В парке прогуливалась влюблённая пара. Роза, как обычно, очень старалась привлечь внимание своим распустившимся бутоном и благоуханием. Парень подошёл, понюхал розу и… сорвал ромашку для своей любимой. Она долго прижимала к сердцу замечательный цветок. У ромашки от ласки и теплоты души зажили все раны, доставленные высокомерной розой.

Роза от возмущения стала ещё алее.

— Почему так? Я — самая красивая, а он выбрал простушку-ромашку!

Рядом росла сирень. Она зашелестела глянцевой листвой:

— Ты хоть и красивая, но глупая. Не всё красивое близко сердцу.

Молодая пара ещё долго смеялась на скамейке. Роза смотрела на это с завистью и скоро завяла. А ромашка ещё долго стояла в простом стакане на подоконнике у девушки, которая каждое утро, проснувшись, бежала к своей ромашке. Когда цветок завял и высох, девушка положила его в книгу любимых стихов. А потом, перелистывая страницы, она находила ромашку и улыбалась.

ЛЮБОВЬ ХОДЬКИНА

7 класс

Кто прав?

(По произведению А. М. Горького «Песня о Соколе»)

В рассказе А. М. Горького мы становимся свидетелями спора Сокола и Ужа, творения неба и создания земли, прекрасного и обыденного. «Рождённый ползать — летать не может». Отважному Соколу никогда не познать землю, он прожил короткую, но яркую жизнь, полную битв и приключений, в небе, в нём его счастье. Ужу чужда любовь Сокола к небу, он находит саму жизнь птицы бесполезной. Счастье Ужа — в спокойной и размеренной земной жизни. Кто прав? По-моему, оба. Правота и Ужа, и Сокола заключается в стремлении к своей стихии, к своему месту в жизни. Не всем суждено стать героями, но кому-то не дано быть простым человеком. В соседстве Ужа и Сокола — обыденного и прекрасного — состоит равновесие мира.

КСЕНИЯ ПИСАРЕВА

7 класс

Пожар

У нас в тихом селе Разъезжее живёт много семей, но я расскажу об одной. Это неблагополучная семья. Родители выпивают, и с этой семьёй едва не случилось несчастье.

Дело было зимой. Я и несколько моих знакомых возвращались с секции по баскетболу и совершенно случайно увидели, что возле одного дома что-то горит, и решили посмотреть. Оказалось, это тот самый дом. В нём все уже спали. И совсем рядом горело старое кресло. Пламя уже охватило его целиком и казалось огромным и опасным. Хорошо, что среди нас были старшеклассники, которые бросились как можно скорей тушить кресло, а иначе загорелся бы сам дом и пострадали его жители. С большим трудом, но с «пожаром» справились. Отлично, что никто не пострадал, а ведь всё могло быть иначе. Я горжусь нашими мальчиками, они поступили храбро, рискуя собой. Я считаю, это был настоящий подвиг, достойный похвалы. Ведь огонь — это очень страшно. Да, он может обогреть, но ведь может и убить!

стр. 186 **Алькаева Зульфия Юнировна**
Электросталь

Поэт, литературовед. Ответственный секретарь альманаха «Литературные знакомства» (Москва). Родилась в Ногинске (Богородск), в семье ногинчанина и сибирячки, выпускницы Абаканского пединститута, преподавателя русского языка и литературы. В 1995 году окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Работала журналистом в подмосковной периодике, библиотекарем, книжным редактором. В литературных изданиях публикуется с 2010 года. Автор пяти поэтических книг. Лонг-лист международной премии «Писатель XXI века» (2014). Лауреат XIV Артиады народов России в номинации «Литература» (2016). Победитель II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» (2016) в номинации «Поэзия. Стихи о Крыме» (Крым, г. Саки). Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века, Русского ПЕН-центра.

стр. 206 **Арутюнов Сергей Сергеевич**
Москва, 1972 г. р.

Российский поэт, прозаик, публицист, критик. Родился в Красноярске. В 1999 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первая публикация стихов — в 1994 году в журнале «Новая Юность». Регулярные публикации рецензий в широком круге изданий: «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Книжное обозрение», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День поэзии», «НГ-Exlibris», «Дружба народов» и др. С 2005 года ведёт творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Лауреат премии имени Бориса Пастернака (2004), Московского международного открытого книжного фестиваля в номинации «За лучшую рецензию» (2007), Отличия журнала «Современная поэзия» в области критики (2008), премии авангардного журнала «Футурум АРТ» (дважды: 2010, 2012), ордена «Золотая осень» имени Сергея Есенина (2013), премии имени поэта-декабриста Фёдора Глинки (2013), премии «Вторая Отечественная» имени поэта, участника Первой мировой войны Сергея Сергеевича Бехтеева (2014). Член редколлегии журнала «День и ночь» (Красноярск).

стр. 49 **Арутюнян Гамлет Арменакович**
Красноярск, 1952–2016

Родился 15 ноября 1952 года в деревне Коргино Енисейского района. Являлся почётным жителем города Енисейска. Своей профессии Гамлет Арменакович посвятил всю жизнь, начинал карьеру как детский хирург. В качестве заместителя главного врача онкодиспансера проработал больше 20 лет. Известный красноярский поэт, член союза российских писателей. Жил и работал в Красноярске.

стр. 40 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 155 **Брянцева (Антонова) Елена Георгиевна**
Владикавказ, 1956 г. р.

В 1973 году окончила среднюю школу № 15 города Орджоникидзе с золотой медалью. Мечтала поступать в Литературный институт, но в семье не было материальных возможностей. С 1973 по 1978 год обучалась и окончила Северо-Кавказский горно-металлургический институт по специальности «инженер-строитель», в эти годы участвовала в выпуске институтской газеты «Комсомолец СКГМИ». С 1972 по 1978 год была внештатным корреспондентом газеты «Молодой коммунист», где

работала журналистом её мама, которая помогала осваивать эту профессию. В 1978 и 1979 годах работала в Москве на строительстве олимпийских объектов (стадион «Лужники»). В 1978 году поступила в МГУ имени Ломоносова (Москва) на факультет журналистики, но диплом не защитила по семейным обстоятельствам. С 1980 по 1989 год жила в Норильске. Работала в институте «Норильскпроект» и в УЖКХ. Периодически печаталась в газете «Заполярная правда». В 1989 году вернулась в Осетию после смерти мужа. Имеет троих детей. Работала в различных строительных организациях начальником ПТО и главным инженером реставрационных мастерских, принимала участие в строительстве крупных объектов: очистные сооружения города Беслана, средняя школа №1 города Беслана после теракта и спорткомплекс, административное здание Управления следственного комитета и т. д. Работала в министерстве культуры СО АССР главным специалистом по реставрации, реконструкции и строительству объектов культуры и храмов республики. С 2007 года печаталась в северо-кавказском литературно-художественном журнале «Дарьял». Сейчас занимается изучением индийских Вед и пытается учить санскрит.

стр. 73

Гедымин Анна Юрьевна
Москва, 1961 г. р.

Поэт, прозаик. Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала сборщицей микросхем на заводе, руководителем детской литературной студии, литературным консультантом журналов «Огонёк», «Крестьянка», «Крокодил», «Пионер», редактором издательства. Автор поэтических сборников «Каштаны на Калининском», «Вторая ласточка», «Сто одно стихотворение», книги стихов и прозы «Честолюбивая молитва» и др., а также многочисленных стихотворных публикаций в московской и общероссийской периодике. Стихи переводились на польский язык. Лауреат нескольких литературных премий, среди которых премия Московского комсомола, издательства «Московский рабочий» и журнала «Москва» за стихи о Москве (1986); Венгерского культурного центра за переводы стихов (1992); радиостанции «Немецкая волна» за пьесу «Всё для Снежного человека!» (1992); журнала «Литературная учёба» за лучшую публикацию 2005 года; журнала «Дети Ра» (2010). Член Союза писателей Москвы.

стр. 172

Гольдштейн Владимир
Днепропетровск, Чикаго, 1965 г. р.

Родился в Днепропетровске. Работал программистом, затем рекламистом. В 1994 году приехал в США. Публиковался в русскоязычной периодике Чикаго и в Интернете. В 2015 году в США издал книжку «Первоапрельский велосипед», в которую вошли избранные рассказы, пьесы, притчи и стихи.

обл.

Горбачёва Наталья Вениаминовна
Дивногорск, 1966 г. р.

Родилась в Новосибирске. Окончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова в 1985 году. В 1996 году получила высшее образование в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина на отделении искусствоведения. Выставляется с 1998 года. С 2006 года — член Союза художников России. Участница краевых, региональных и зарубежных выставок. Работы Натальи Горбачёвой находятся в собраниях Министерства культуры России, а также в частных коллекциях России и за рубежом. В настоящее время художница преподаёт в Детской художественной школе им. Е. А. Шепелевича.

стр. 81

Елизарова Наталия Михайловна
Москва

Родилась в городе Кашира Московской области. По первому образованию юрист. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Стихи и рассказы публиковались в литературных журналах России и зарубежья. Автор сборника «Осколок сна». Стихи переведены на английский, немецкий, польский, сербский, румынский, венгерский языки. Член Союза писателей Москвы.

стр. 177

Ермаков Семён Вячеславович
Красноярск

Кандидат философских наук, доцент института педагогики, психологии, социологии Сибирского федерального университета, научный руководитель красноярской региональной молодёжной общественной организации «Сибирский Дом».

стр. 82

Ибрагимов Исраил Ибрагимович
Оренбург

Поэт. Стихотворения публиковались на русском и азербайджанском языках в альманахах «Гостиный Двор», «Башня», в литературном журнале «Улдуз» (Баку, Азербайджан), в газете «Вечерний Баку» (Азербайджан).

стр. 148

Карасёв Александр Владимирович
Донбасс, 1971 г. р.

Писатель, работающий в жанре короткой прозы. Родился в Краснодаре, служил солдатом и сержантом в Советской армии, офицером в российских внутренних войсках — командовал взводом в Чечне; два раза поступал в Иностранный легион Франции. Учился в Краснодарском ракетном училище, в КубГУ и МЭГУ — получил историческое и юридическое образование. Работал слесарем, монтажником радиоаппаратуры, охранником, преподавателем, юристом. С 2003 года рассказы выходят в толстых литературных журналах — от «Нового мира» и «Нашего современника» до «Урала» и «Волги».

В 2007 году из Краснодара переехал в Санкт-Петербург, где продолжал печататься, издал книги «Чеченские рассказы» и «Предатель», подготовил к изданию книгу «Парк Победы». Лауреат премии администрации Краснодарского края имени Е. Ф. Степановой, Международного конкурса еженедельника «Литературная Россия», Бунинской премии, премии О. Генри «Дары волхвов» (Нью-Йорк). С сентября 2015 года на Донбассе, офицер армии ДНР. Член Союза российских писателей.

стр. 166

Корниенко Игорь Николаевич

Ангарск, 1978 г. р.

Родился в Баку. Писатель, поэт, художник, организатор боди-арт-шоу. Работал журналистом в городских газетах, ответственным секретарём, заместителем редактора. Участник и победитель многочисленных художественных и экспериментальных выставок и конкурсов. Создатель и бессменный координатор литературного проекта «Дебют плюс», где на страницах ангарских газет публикуются работы молодых авторов и корифеев областной литературы. Создатель артхаусных художественно-литературных проектов «Победить море» («Плоды битвы») и «Интеллектуального порNO». Участник Форумов молодых писателей России. Стипендиат министерства культуры РФ. Лауреат городской конференции «Молодость. Творчество. Современность» в номинации «Литература» (проза, драматургия). Обладатель национальной премии России «Золотое перо Руси». Лауреат всероссийской премии имени В. П. Астафьева в номинации «Проза». Лауреат конкурса Игнатия Рождественского 2016 года в номинации «Малая проза» (рассказ «Птичка-невеличка»). Обладатель специального приза жюри международного драматургического конкурса «Премьера 2010» за пьесу «Памятник Гитлеру». Спектакль «Спасение» по пьесе «Человечина» поставлен в Казани, в Государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина (дипломная работа режиссёра Р. Гариповой). Автор книг «Победить море», «Игры в распятие». Многочисленные публикации в сборниках и альманахах, в толстых литературных журналах «Октябрь», «Москва», «День и ночь», «Полдень XXI век», «Смена», «Байкал», «Зелёная лампа» и др., в газетах «Культура», «Литературная Россия».

стр. 75

Кравченко Наталья Максимовна

Саратов

Родилась в Саратове. Филолог, литературовед, публицист. Автор 18 книг стихов, эссе и статей. Читает публичные лекции о поэтах разных стран и эпох. Публиковалась в журналах и литературных альманахах «Саратов литературный», «Эдита» (Германия), «Русское литературное эхо» (Израиль), «Сура» (Пенза), «Параллели» (Самара), «Новый свет» (Канада), «Фабрика литературы» (Украина), «Портфолио» (Монреаль, Канада), «45-я параллель» (Ставрополь), «Артикль» (Тель-Авив), «RELGA», «Эрфольг», «Московский интеллигент», «Семь искусств», «Лексикон», «Золотое руно». Лауреат 13-го Международного конкурса поэзии «Пушкинская лира» (Нью-Йорк, 2003, 2-е место). Финалист 5-го Международного конкурса поэзии имени Владимира Добина (Ашдод, Израиль, 2010). Дипломант Международного поэтического конкурса «Серебряный стрелец» (Лос-Анджелес, США, 2011). Дипломант III Международного поэтического конкурса «Цветаевская осень» (Одесса, 2011). Лонг-лист Международного конкурса поэзии «45-й калибр» (Москва, 2013). Победитель литературного конкурса интернет-журнала «Эрфольг» (Москва, 2013). Лонг-лист Второго Международного поэтического интернет-конкурса «Эмигрантская лира 2013/2014» (Бельгия, 2014). Номинант премии «Народный поэт» (2014). Лауреат конкурса имени Игоря Царёва «Пятая стихия» (2014).

стр. 190

Крюкова Елена Николаевна

Нижний Новгород, 1956 г. р.

Родилась в Самаре, на Волге. Русский поэт, прозаик, искусствовед. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Публикуется в толстых литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Финалист премии «Ясная Поляна» (2004, роман «Юродивая») и «Карамзинский крест» (2009, роман «Тень стрелы»). Роман «Изгнание из Рая» — лонг-лист премии «Национальный бестселлер» (2003). Лонг-листер премии «Русский Букер» (2010, роман «Серафим»). Лауреат премии имени М. И. Цветаевой (2010, книга стихов «Зимний собор»). Лонг-листер премии имени И. А Бунина (2010, «Зимний собор»). Лауреат премии «Согласование культур» (Германия, 2009) в номинации «Поэзия». Финалист Волошинского конкурса в номинации «Проза» (2009, рассказ «Яства детства»), Волошинского конкурса в номинации «Проза» (2010, рассказ «Краденая помада»). Лауреат премии имени И. А. Гончарова за роман «Беллона» (2015). Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом (вместе с художником Владимиром Фуфачёвым): «Священный бык» (Музей современного русского искусства, Нью-Йорк, 1998–1999); «Небесная колесница» (Марсель, 2004); «Архетип» (Нижний Новгород — Москва, 2006); «Символы Земли» (Кассель, Германия, 2006–2007); «Анестезия» (Нижний Новгород, 2007); «Долина царей» (Москва, 2008) и др. Директор Культурного фонда «Fermata» (США, с 2008). Член Союза писателей России.

стр. 85
Кузичкин Сергей Николаевич
Красноярск, 1958 г. р.

Родился в Тайшете Иркутской области. Окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. Печатался в коллективных сборниках столичных издательств «Детская литература», «Литературная Россия», красноярских писателей, в литературных альманахах и журналах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Венгрии, Норвегии, Канады. Автор нескольких книг прозы. С августа 2006 года автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» и журнала для детей школьного возраста «Енисейка». Член Союза писателей России. Живёт в Красноярске.

стр. 65
Ломтев Александр Алексеевич
Саров, 1956 г. р.

Родился в селе Пузо (ныне Суворово) Нижегородской области. После окончания школы работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтёром. Окончил Арзамасский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). Основал несколько газет: «Саров», «Саровская пустынь», «Знай наших». Являясь их учредителем и главным редактором, как журналист, специализирующийся на «горячих точках», побывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Боснийской Сербии, Южной Осетии; во время кризиса был у стен Белого дома, позже освещал происшествие в «Норд-осте». Публиковался во многих федеральных СМИ России, в том числе в литературных журналах «Роман-журнал XXI век», «Сибирские огни», «Север», «Южная звезда», «Дальний Восток» и др. Автор книг «Путешествие с ангелом», «Ундервуд». Повесть «Ичкериада» стала победителем конкурса «Имперская культура» Союза писателей России. Лауреат нескольких журналистских и литературных премий. Председатель общероссийской медийной организации «Клуб главных редакторов региональных СМИ России». Член правления Нижегородского отделения Союза писателей России.

стр. 81
Магомедов Джамбулат
Дагестан

Родился в Дагестане. Окончил филологический факультет педагогического института. Работал на заводе, учителем, корреспондентом, собкором, редактором в различных изданиях. Заслуженный работник культуры Республики Дагестан, награждён почётной грамотой Госсовета Республики Дагестан. Член Союза журналистов и Союза писателей России.

стр. 185
Миронов Василий
Оренбург, 1979 г. р.

Родился в Оренбурге. Кандидат юридических наук, работает по специальности. Ранее преподавал на юридическом факультете местного вуза, теперь работает в одной из оренбургских организаций. В журнале «День и ночь» публикуется впервые.

стр. 142
Михайлов Алексей
Санкт-Петербург, 1990 г. р.

Прозаик, драматург. Автор книги «Эгрегор».

стр. 82
Молчанов Виталий Митрофанович
Оренбург, 1967 г. р.

Родился в Баку. Выпускник Московской академии нефти и газа. Лауреат международного фестиваля литературы и искусства «Славянские традиции-2010», лауреат малой международной литературной премии «Серебряный стрелец», победитель IV международного поэтического конкурса имени С. И. Петрова, дипломант V международного конкурса памяти Владимира Добина («Русское литературное эхо», Израиль), победитель литконкурса интернет-журнала «Лексикон» (Чикаго) в 2010 году, победитель литконкурса фестиваля «Гоголь-фэнтези-2009» (Украина), обладатель звания «Стильное перо-2009» по результатам литконкурса фестиваля «Русский стиль-2009» (ФРГ). Публиковался в еженедельнике «Обзор» («Континент», Чикаго), в журналах «Русское литературное эхо» (Израиль), «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «Живой звук» (Москва), «Окна» (ФРГ), в альманахах «ЛитЭра» (Москва), «Гостиный Двор» (Оренбург), «Чаша круговая» (Екатеринбург), в газетах «Зарубежные задворки» (ФРГ), «Южный Урал», «На юго-восточных рубежах (Челябинск), «Литературная гостиная» (Тверь), «Молодой дальневосточник» (Владивосток), в сборнике «Обретённый голос», в «Антологии русской поэзии XXI века» и др. Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, член Союза писателей XXI века и координационного совета Ассоциации писателей Урала.

стр. 128
Монастырская Екатерина
Италия, 1967 г. р.

Родилась в Москве. По профессии живописец, художник-реставратор. Стихи и критические статьи автора опубликованы в изданиях «Литературная учёба», «Литературная газета», «Неман», в сетевом альманахе «Лиterraтура» и на сайте «Точка зрения».

стр. 195
Муслимова Миясат Шейховна
Махачкала, 1960 г. р.

Родилась в селе Убра Лакского района Дагестана. Получила филологическое и юридическое образование. Кандидат педагогических наук, профессор

кафедры методики преподавания русского языка и литературы Дагестанского государственного университета. Заместитель министра образования и науки Республики Дагестан. Член Союза журналистов РФ, Союза российских писателей. Стихи начала писать в 2005 году. Автор поэтической книги «Ангелы во крови», посвящённой трагедии в Беслане (2006), а также сборников стихов «Наедине с морем» (2009), «Диалоги с Данте» (2010), «Ангел на кончике кисти» (2011). Автор литературных переводов народных эпических сказаний «Парту-Патима» (2011), а также сборника публицистики «Испытание свободой» (2009). Пишет стихи на русском, некоторые произведения переведены на лакский, грузинский, осетинский языки. Лауреат республиканской литературной премии им. Р. Гамзатова, дипломант международного литературного конкурса им. Я. Корчака, номинант премии имени А. Сахарова во всероссийском конкурсе «За журналистику как поступок», победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа».

стр. 210
Нестеренко Владимир Георгиевич
Красноярск, 1941 г. р.

Окончил ремесленное училище, восемь лет работал на заводах слесарем. С 1966 года стал профессиональным журналистом. Окончил КазГУ. Победитель литературно-публицистического конкурса «Национальное возрождение Руси» (автобиографическая повесть «Иван в десятой степени»), трёхкратный золотой дипломант Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» с присвоением звания «лауреат», лауреат Международного литературного конкурса «Серебряный ручеёк» в номинации «Рассказы для детей», многократный дипломант конкурсов МТО ДА, лауреат литературного фестиваля Красноярского края «Вера, Надежда, Любовь». Наиболее известны романы «Дорога на плаху», «Удар небесный», «Охотники за любовью», сборник легенд и сказок «Сказание о Танну-Ола», сборник таёжных рассказов «Песня марала». Историческая трилогия «Перекати-поле» о судьбе поволжских немцев в 2008 году издана в Москве и Красноярске, переведена на немецкий язык в Германии. Член Союза журналистов СССР, Союза писателей России. Живёт в Красноярске.

стр. 59
Никифоров Владимир Семёнович
Новосибирск, 1943 г. р.

Родился в посёлке речников Подтёсово Красноярского края. Работал матросом несамоходного судна, слесарем, шкипером рейда, диспетчером в управлении пароходства, начальником смены в речном порту. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта (ныне Сибирский государственный университет водного транспорта), кандидат технических наук, профессор. Печататься как автор художественных произведений начал в 1990 году (сборник «Дебют», редактор-составитель Г. М. Прашкевич). В Новосибирске, Красноярске и Москве изданы девять книг прозы. Печатался в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Новосибирск», «Наш современник». Член Союза писателей России, член редколлегии журнала «Сибирские огни».

стр. 53
Николаева Олеся Александровна
Москва, 1955 г. р.

Родилась в Москве, в семье поэта А. М. Николаева. Окончила Литературный институт (семинар Е. М. Винокурова, 1979), в котором с 1989 года ведёт семинар поэзии. Доцент. Выступала со стихами и лекциями в Нью-Йорке, Женеве и Париже, преподавала древнегреческий язык монахам-иконописцам Псково-Печерского монастыря, работала шофёром игумены Серафимы (Чёрной) в Новодевичьем монастыре. В 1998 году была приглашена в Богословский университет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова читать курс «Православие и творчество» и заведовать кафедрой журналистики. Печатается как поэт с 1972 года. Публиковалась в журналах «Знамя», «Юность», «Новый мир», «Литературное обозрение», «Арион», «Дружба народов», «Вопросы литературы», в альманахе «Апрель» и др. Председатель жюри премии «Поэт» (2007), входила в жюри премии «Русский Букер» (2007). Отмечена стипендией фонда А. Тепфера (1998), медалью города Гренобль (Франция, 1990), премиями имени Б. Пастернака (2002), журнала «Знамя» (2003), «Anthologia» (2004), «Поэт» (2006), дипломом премии «Московский счёт» (2004). Член СП СССР, Русского ПЕН-центра.

стр. 153
Палин Рон
Бельгия

Прозаик. Родился и окончил школу в Белоруссии. Двадцать последних лет живёт в Бельгии. Публикации в журнале «День и ночь».

стр. 194
Саввиных Марина
(Наумова Марина Олеговна)
Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. В 1978 году окончила с отличием факультет русского языка и литературы Красноярского педагогического института (ныне — университет им. В. П. Астафьева). Первая публикация — в сентябре 1973 года (молодёжка «Красноярский комсомолец»). В 1980 году — публикация в московской «Юности» (статья о поэзии Юнны Мориц). Затем — многочисленные коллективные сборники, журналы — толстые и тонкие, и в 1995 году, после присуждения премии Фонда Астафьева, — первый собственный сборник «Фамильное серебро». Самые заметные публикации —

в журналах «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», антологиях «Лёд и пламень» (Москва), «Русская сибирская поэзия. XX век» (Кемерово). Издано девять книг стихов и прозы. С 1998 по 2013 год—директор Красноярского литературного лицея. С 2007 года—главный редактор журнала «День и ночь».

стр. 169
Сергеева Екатерина Юрьевна
Красноярск, 1970 г. р.

Родилась в городе Душанбе (Таджикистан) в семье военнослужащих. Окончила Красноярский государственный медицинский институт (лечебный факультет), Красноярский государственный педагогический университет (факультет иностранных языков). Доктор биологических наук, профессор кафедры патологической физиологии Красноярского государственного медицинского университета. Публиковалась в журнале «День и ночь», альманахе «Енисей», нескольких коллективных сборниках, изданных в Красноярске и Санкт-Петербурге. В 2008 году вышла книга стихотворений «Маленькие кошки». Победитель конкурса «Пушкин. Лето. Красноярск» (2008) в номинации «Лучшее литературное произведение».

стр. 31
Сизова Галина Николаевна
Красноярск

Бывший преподаватель Красноярского радиотехнического техникума, член общества «Краевед», отличник среднего специального образования, почётный радист, заслуженный учитель школы РСФСР. В настоящее время—пенсионер.

стр. 40
Тихоновец Василий Николаевич
Чайковский, 1955 г. р.

Родился в Пермском крае. Учился на факультете охотоведения. Служил в армии на Кавказе, в штурмовом десанте. В конце 70-х начинал строительство коммунистической колонии на берегах Нижней Тунгуски в качестве её главного идеолога. В 80-х добывал соболей, боролся с браконьерами. Затем занимался предпринимательской деятельностью: строил дома, производил мебель, трикотаж, обувь. Работал экспертом-оценщиком недвижимости и бизнеса, директором предприятия, главным редактором газеты, фермером. Победитель Всероссийского литературного конкурса имени В. М. Шукшина «Светлые души» в жанре короткого рассказа в 2006 году. Рассказы публиковались в периодической печати и литературных сборниках России (Пермь, Санкт-Петербург, Вологда, Ульяновск и др.) и Канады (Торонто). Автор романа «Пассажир с „Окрылённого“», изданного в Канаде. В 2013 году был принят в Союз писателей России на общем собрании Пермской краевой общественной организации Союза писателей России.

обл.
Ултургашев Алексей Леонтьевич
Абакан, 1955 г. р.

Родился 8 августа 1955 года в аале Усть-Чуль Аскизского района Республики Хакасия. Окончил Санкт-Петербургскую Государственную художественно-промышленную академию им. В. И. Мухиной (ныне—Санкт-Петербургская государственная Художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица). Открывал персональные выставки в России, а также Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Стамбуле, Баку и Алматы. Является заслуженным деятелем изобразительного искусства Республики Хакасия. Лауреат Международной премии ТЮРКСОЙ в области изобразительного искусства,обладатель гран-при всехакасского конкурса «Золотая кисть».

стр. 194
Шурпаева Миясат Нажмутдиновна
Республика Дагестан, 1937 г. р.

Родилась в селении Кумух Лакского района. Окончила Кумухскую среднюю школу в 1955 году, в 1962 году—Дагестанский государственный университет. Работала в редакции газеты «Дагестанская правда». Член Союза писателей России с 1998 года. Стихи писала ещё в школьные годы. Первые стихи опубликованы в районной газете «Новый путь» в 1953 году, в 1954 году—в альманахе «Дружба» на лакском языке. В 1955 году—участница совещания молодых писателей Дагестана. В 1979 году издала первый сборник стихов «Счастье в меру», второй сборник стихов «Беспокойное сердце» вышел в свет в 1985 году. Миясат Шурпаева публиковалась и в коллективных сборниках на лакском и русском языках. Издала книги «Рассказы», «Судьбы отцов», «Легенды и были Кази-Кумуха», «Рассказы старины» и др. Заслуженный работник культуры Республики Дагестан.

стр. 138
Щербаков Александр Илларионович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр. 218

Эшли Марина
Канада, 1965 г. р.

Окончила Московский физико-технический институт. Работала научным сотрудником кардиологического центра РАМН в Москве. С 2001 года живёт в Канаде. Победитель нескольких литературных конкурсов. Автор повестей, вышедших отдельной книгой на украинском языке.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Марина Саввиных

РЕДАКТОРЫ

отдел прозы
Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

отдел поэзии
Сергей Кузнечихин

отдел публицистики
Геннадий Васильев

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

СЕКРЕТАРИАТ
Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Николай Алешков — Набережные Челны
Сергей Арутюнов — Москва
Юрий Беликов — Пермь
Вера Зубарева — Филадельфия
Анатолий Кирилин — Барнаул
Валентин Курбатов — Псков
Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург
Евгений Минин — Иерусалим
Виталий Молчанов — Оренбург
Дмитрий Мурзин — Кемерово
Миясат Муслимова — Махачкала
Александр Петрушкин — Кыштым
Лев Роднов — Ижевск
Евгений Степанов — Москва
Михаил Тарковский — Бахта
Вероника Шелленберг — Омск
Владимир Шемшученко — Санкт-Петербург

В оформлении обложки использованы картины Натальи Горбачёвой и Алексея Ултургашева.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в «Сибирском» филиале
банка ВТБ ПАО
в г. Новосибирске

БИК 045 004 788

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются
по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.
т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.10.2016
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»

г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10; т. 294 15 77
эл. почта: 2007rex@mail.ru

Алексей Ултургашев | **Парад планет** | **70 × 90** | **2004**

Алексей Униургашев | Лики Бога | 120×80 | 2000

На обложке: *Наталья Горбачёва* | *Лоскутное одеяло* (фрагмент) | 2012